



БИБЛИОТЕКА
НАРОДОВ
СИБИРИ





БИБЛИОТЕКА
НАРОДОВ
СИБИРИ



ОДНА СЕМЬЯ. БИБЛИОТЕКА НАРОДОВ СИБИРИ

ТОМ VI

Семён
КУРИЛОВ

Томск – 2022

ББК 84(753.4)
К93

Семён Курилов Избранное. «Одна семья. Библиотека народов Сибири». Литературно-художественное издание – Томск, 2022. – 472 с.

Литературно-художественное издание
«Одна семья. Библиотека народов Сибири»
издаётся при поддержке
Администрации Томской области

ISBN 978-5-6048322-5-7



9 785604 832257

© Томская писательская организация, 2022



Семён Николаевич Курíлов (1935–1980) – первый юкагирский писатель, лауреат Государственной премии. Кроме юкагирского, владел русским, якутским, эвенским и чукотским языками. Его повести «Встретимся в тундре», «Новые люди» переведены на несколько языков народов СССР, роман «Ханидо и Халерха» – на европейские языки.

ХАНИДО И ХАЛЕРХА

Роман

Книга первая

ЛЮДИ «СРЕДНЕГО МИРА»

ПРОЛОГ

Суровая тундра простирается между сибирскими реками Индигиркой и Колымой. Суровы все тундры, но эта – озёрная, самая северная. На что уж холоден Якутск, но он далеко на юге, на севере же – ледяное Восточно-Сибирское море; сам батюшко земной Полюс холода соседствует с этим краем – он рядом, в пятистах километрах. Если кто-нибудь говорит, что мороз в их местах – как огонь, а ветер – как нож, то он просто не знает, что такое мороз и ветер, – он не бывал зимой в колымской и алазейской тундрах...

Но край этот – вовсе не вымерзшая пустыня. Напротив, обжит он давно, очень и очень давно...

С высоты полёта турбовинтового лайнера среди сотен озёр не всякий заметит два, похожих на блюдца. Но стоит произнести слово – Улу-ро, как любой юкагир, ламут, чукча, якут прильнёт к иллюминатору – если летит он, конечно, в летнюю пору. Озёра Большое и Малое Улу-ро – это центр юкагирской тундры, их гордость и красота, их прошлое...

Наше повествование и начнётся с прошлого юкаги-ров. Спустимся к этим озёрам, перенесёмся в те времена, когда одни только шаманы могли «летать» в «верхнем мире».

Люди, жившие возле Большого и Малого Улу-ро, назывались улуро-чи¹. Они были под стать суровой природе и тяготам бытия. Улу-рочи – это алаи и эрбэчканы. Алаи – потомки юкагирского богатыря Идилвея, вошедшего в родовую легенду. Идилвей перепрыгивал реки и виски², догонял диких оленей и в половодье переносил на своей спине трёх беременных женщин. А эрбэчканы – потомки мальчика Эрбэчкана, который будто бы родился в медвежьей берлоге, что, согласно преданию, в какой-то мере сроднило юкаги-ров с могучим медведем.

Улу-ро-чи были потомственными охотниками и рыбаками. Они умели по следу узнавать, голодный или сытый пробежал песец, в какую сторону уплыл косяк рыб. Это были несловоохотливые, а то и до немоты молчаливые, однако добрые и умные люди. Улу-рочи не рвали первых цветов, сберегали молодую траву, человека встречали по взгляду, а провожали по уму, они делились последним куском мяса и не знали, как можно про-сить еду, – кончалась оленина или юкола – шли в соседний тордох³, брали без спроса, и никто за это не осуждал. Умными, добрыми были они, но и

¹ Чи – люди.

² Виска – маленькая речка с болотистыми берегами (местное русское название).

³ Тордох – жильё юкаги-ров.

наивными. Не имея понятия о торговле, люди Улуру брали у купца не много, без жадности – плитку чаю да связку табаку – чтобы других охотников не обидеть, а отдавали ему всё, что сумели добыть...

Места для рыболовства и охоты здесь благодатные. Озёра большие: ширина каждого равна пятнадцати якутским беганиям, или полутора шаганиям, то есть пятнадцати километрам.

Могучие штормы на этих озёрах пугали даже чукчей, приезжавших сюда с морского побережья. Все люди тундры от матушки Колымы до сестрёнки Алазеи знали о богатстве Улуру – о знаменитой, вкуснейшей рыбе чир. Рыба эта славилась и в Средне-Колымске. А было её в озёрах до ужаса много. Из-за блеска чешуи небольшое тихое озерцо, окружённое высокими едомами⁴, якуты называли «мешком с деньгами»: сюда, в Сыппай, по узкой протоке заплывала огромная масса чиров, спасавшихся от шторма. Чиры Улуру ценились дорого: приезжие чукчи за одну юколу отдавали лишний мах ремня из дорогой шкуры морского зверя, не жалели и клыков мамонта.

А вокруг озёр, на болотистой равнине, поросшей тальниками, травой и мхом, обитало столько диких оленей и разного зверья, что каждый юкагир мог бы не думать об одежде и пище, жить да радоваться... Болота были сплошь покрыты морошкой; её росло здесь так много, что один якут, подъезжая к стойбищу юкагиров, в испуге крикнул: «Земля горит!». Над озёрами с суматошным криком носились целые тучи чаек...

В таком щедром крае жизнь юкагиров, однако, была далеко не счастливой. Как только выпадет снег, а лёд на озёрах огласит окрестности грохотом, трескаясь от жгучих морозов, на Улуру начинается нашествие купцов – русских, якутских, американских; приезжают сюда и богачи юкагиры, богачи чукчи, богачи якуты.

И не заметит рыбак и охотник, как чужие олени упряжки увезут по разным дорогам богатство, добытое ценой тяжкого труда, лишений, терпения. А как прожорливы шаманские духи! Правда, едят они не сами – они насыщаются через желудки шаманов, но ведь шаманы – люди, значит, насытить надо и духов, и самих шаманов вместе с их близкими...

Вот и голодает юкагир-охотник, юкагир-рыбак. Голодает тихо, терпеливо: лёд на озере не прорубишь, чира не поймашь, подстрелить оленя – пороха нет, да и холода стоят такие, что опасно уходить из стойбища. И идёт юкагир в соседний тордох, чтобы взять немного юколы или оленины, идёт, скрывая сосущую боль в животе. А особенно тяжело безоленному юкагиру – связан он по рукам и ногам.

Совсем иначе жили в те времена богачи. Не голодал знаменитый богач Тинальгин: в стадах у него оленей было больше, чем диких вокруг озёр. В дни состязаний бегунов или погонщиков такие люди, как Тинальгин, старались перещеголять друг друга, выставляя призы. Нередко бывали состязания, когда на приз набиралось целое стадо оленей. Открыто прославляли своё богатство имущие: круглый год, до новых состязаний, вся тундра говорила о том, кто на сколько разбогател и кто выставил лучшие призы.

Даже места для стойбищ бедные и богатые выбирали разные. На

⁴ Едома – обрывистый высокий берег (местное русское слово).

сухом берегу Большого Улуро лето проводили обычно только богатые да оленные, расставляя белые, красивые тордохи. А у Малого размещались безоленные, бедные семьи. На берегу Большого Улуро происходили важные переговоры князей, купцов и казацких начальников, здесь соби́рался ясак.

Надо, однако, сказать, что богачи не притесняли бедных так, как притесняли русские помещики крепостных или «раскрепощённых». Жизнь здесь была иной.

...На Дальнем Севере в незапамятные времена родилась одна жестокая легенда о злостной судьбе жены и мужа. Вот эта легенда.

Пять лет бродил по тундре, по горным лесам и вдоль рек молодой парень; он обошёл все стойбища в поисках невесты – но ни одна из девушек не откликнулась на зов его сердца. Отчаявшись, парень пришёл к старушке и попросил предсказать ему будущее.

– Понравлюсь ли я когда-нибудь девушке? – спросил он.

– Конечно, – сказала старушка, – найдётся, полюбит тебя. И пожени-тесь вы.

– А когда?

Старушка задумалась, усмехнулась.

– Я – старая женщина, – сказала она. – Но как бы ни состарились глаза женщины, они всё равно хорошо видят мужчину. Когда-нибудь и кто-нибудь полюбит тебя...

Опечаленный, жалкий парень собрался уйти, но подумал, что старушка не поняла глубины его горя и шутит. И он рассказал ей о том, как старался в разных стойбищах показать свою силу, ловкость и доброту – как таскал вороха тальника родителям девушек, томил себя голодом, чтобы хорошо бегать, поднимал живых оленей, чтобы укрепить жилы, и как ни к чему это не привело: ни одна не полюбила его.

Старушка вновь усмехнулась – и вдруг указала на маленькую внучку, лежавшую в колыбели.

– Видишь – там девочка, – шутливо сказала она. – Ей – три луны. Вот подожди пятнадцать зим – и она станет твоей женой...

Парень вздрогнул, потом весь затрясся. Он вскочил, бросился к девочке – и ударил её ножом.

– Чем пятнадцать лет ждать своё будущее – пусть его не будет совсем! – сказал он ошеломлённой старушке. И исчез из тордоха.

Через пятнадцать лет, так и не найдя счастья, вернулся этот парень в родные места, вернулся человеком в годах – и начал думать о смерти. Но однажды к нему заглянула девушка-сирота, и он сразу же полюбил её. Она согласилась стать его женою. В брачную ночь муж обнаружил шрам на теле жены.

– Ке, – спросил он. – Что это у тебя за морщинка здесь?

– Я не помню, но бабушка говорила, что, когда мне было всего три луны, парень ударил меня ножом... Не хотел ждать меня пятнадцать зим, не хотел далёкого счастья...

– А как же ты выжила?

– Бабушка зашила рану оленьими жилами.

– Я, это был я! – крикнул муж, и тот самый нож, что пятнадцать лет назад вонзился в нежное тельце ребёнка, снова сверкнул и окровавился снова...

Чукчи и юкагиры нескольких поколений задумывались над смыслом этой легенды. Однако мечта о счастье была пустой, и легенда в конце концов привела к неожиданным – к трагическим последствиям. Обвинение народа в жестокости – вот что видели в ней юкагиры. У чукчей между тем существовал обычай – старые, умирающие родители могли попросить детей убить их, и дети должны были исполнить их волю. Вот юкагиры и говорили: «Ваша эта легенда. У юкагиров нет такого обычая, и жестокости неоткуда взяться». Чукчи возражали им: «Да, но это – не месть, не жестокость, а воля каждого умирающего. А юкагиры – мстительные». И всё-таки чукчи были вынуждены вспомнить ещё одну легенду, в которой говорилось о том, как юкагир-охотник убил своего друга, не догадавшегося пригласить его на курение пахучей травы. И тогда произошла известная история – чукотско-юкагирская резня; легенды послужили поводом к ней. Чукчи, однако, напали первыми, и юкагиры, умирая, твердили: «Мы были правы. Пусть грех навсегда останется на вас». Поколебала такая уверенность чукчей, и они хотели остановить резню. Но юкагиры начали мстить: за каждого убитого сородича они убивали пятерых – по числу пальцев на одной руке. Умирая, чукчи тоже говорили: «Если бы вы были правы, то наших не убивали»...

Случай, происшедший в лето приезда на Колыму великого русского шамана Чери⁵ – с чего и начнётся наше повествование о судьбе Ханидо⁶ и Халерхи⁷, – внёс ясность в происхождение легенды о парне, не захотевшем получить счастье в неопределённом будущем. Ныне обе упомянутые легенды считаются подлинно юкагирскими.

Если бы могли в те далёкие времена юкагиры так же, как ламуты, чукчи и якуты, понять и признать весь глубокий смысл легенды о жажде счастья!

Но народы эти жили в дикости и в беспросветной, как полярная ночь, темноте.

ГЛАВА 1

Этот летний день⁸ не сулил ничего особенного – ни хорошего, ни плохого. Над горизонтом по синему небу плыло тёплое солнце, ветер шевелил зелёную травку, над Малым Улуру – ещё более синим, чем небо, спокойно кружились сытые чайки, лениво оглашая окрестность не тревожным и не радостным криком. Привычная жизнь протекала и в стойбище, что раскинулось на невысоком холме, у берега озера. Возле тордохов, у старой волчьей норы играли детишки, у верениц вешал для сетей и юкол хлопотали женщины, на берегу трудились мужчины, выгружая из узких веток⁹ чиров или проверяя снасти.

Может, лишь у одного человека, у сгорбленного старика Хулархи,

⁵ Известного русского исследователя Черского народы Дальнего Севера считали шаманом.

⁶ Мужское имя – Орлёнок.

⁷ Женское имя – Чайка.

⁸ 1892 год.

⁹ Ветка – лодка.

неспокойно было на сердце – у него тяжело болела жена. Однако болезнь её была затяжной и тоже для всех привычной, да и сам старик чего только не пережил за свои годы – ко всему притерпелся и уж устал говорить о своих бедах.

Средь этого ясного дня вдруг случилось невероятное, даже неслышанное – как вгорячах показалось всем. Беда всё-таки ворвалась в тордох Хулархи, но подкралась она совсем не с той стороны, откуда ждали её.

Кособокий тордох Хулархи стоит на самой окраине стойбища, в пяти шагах от воды: так старику было удобней жить – далеко таскать рыбу, воду и снасти ему тяжело, да и следить за погодой на озере прямо из сэспэ¹⁰ проще. Три луны назад бог послал ему дочь. Ради чего? Кто знает? Пути бога для юкагиров совсем неисповедимы – даже для сильных шаманов. Словом, старику при больной жене и малом ребёнке нельзя было сидеть на месте. Вот и сегодня Хуларха рано уплыл на своей ветке, а к полудню уже подгонял её к вешалам.

Когда ветка уткнулась в ил, старик с несбыточной, робкой надеждой глянул на свой тордох – не спешит ли ему на помощь жена, – глянул и почувствовал, как что-то холодное, неживое, вроде стального капкана, стиснуло лысую голову. Возле его жилища суматошно толпились люди; сквозь говор и крики он сразу различил плач – и в момент пожелтевшие губы его прошептали:

– Конец. Отошла. Померла...

Бормоча слова прощания со старухой женой, Хуларха медленно, тяжело поднялся к тордоху. Но знакомый пронзительный крик заставил его вздрогнуть и ускорить шаги. «Нет, помирает ещё, меня, бедная, ждёт...»

Старик ошибался. Случилось совсем иное – более страшное. В середине тордоха на пыжиковой пелёнке ёрзала, корчилась с ног до головы окровавленная Халерха, грудная, трёхлунная дочь... Если бы не тордох, старик Хуларха, наверное, в ужасе пятился бы до самого озера – но сейчас он ткнулся спиной в жердь каркаса и оцепенело стоял с вытаращенными глазами, ничего не слыша и ничего не понимая.

Чьи-то руки скручивали нитку из жил, чьи-то другие прижигали иголку на красном мигающем огоньке лейки; шаман Сайрэ шевелил губами, встряхивал бубен – будто хотел что-то вытрясти из него; жена Чирэмэде ногтями царапала голову...

...В тордох приходил Эргэйуо. Это он сватал всех подряд девушек, он и ударил ножом ребёнка, когда Чирэмэде пошутила: «Вон невеста твоя». Если бы вспомнила она ту легенду, которую слышала в детстве! Нет, не вспомнила. А всё между тем шло точь-в-точь, как в легенде, – за исключением одного: Эргэйуо был глуповатым. Ох, нельзя с глупыми говорить всерьёз. Если злые духи лишили ума – разве простые люди могут вернуть его! А Чирэмэде давала ему советы – будто был он не придурковатым, а лишь озорным, несерьёзным. И пошутила она, наверно, со злости: раз не поймёшь, что счастья следует добиваться, то жди его зим пятнадцать, жди – и наверняка не дождёшься...

С вечера до рассвета шаманы иступлённо камланили в тордохе несчастной семьи – били до усталости в бубны, пели до хрипоты. А тем

¹⁰ Сэспэ – дверь.

временем рану зашили, и измученная страданиями маленькая Халерха... нет, не умерла, а заснула.

Когда зашивавшие рану старухи плелись к озеру, чтобы вымыть руки, солнце уже показалось над тундрой. Вставало оно нынче как-то медленно и раздумчиво, едва прорезаясь сквозь синевато-серую дымку болотных туманов. Стойбище мало-помалу уgomонилось. Люди ложились спать.

Ложились и не знали, что через час раздастся истошный крик на другом конце стойбища.

Все беды одним ремнём связаны, и никто не знает, какую за собой потянет первая. Коротка в тундре летняя ночь. Однако её хватило, чтобы беременная жена Нявала, оставшись в потёмках, пережила весь ужас кровавого случая и беды болезненной Чирэмэде. Рассвет успокоил её – но потом она вдруг с криком свалилась на шкуры постели и стала рожать. А ходить ей надо было ещё три луны. Недоношенный, полуживой мальчик едва дышал, у него даже не было сил сучить ногами – и Нявалу пришлось бежать за шаманом.

После успешного ночного камлания Сайрэ заснул, как застреленный старый олень. Но вскочил он быстро, проворно – шаман ведь не должен уставать и мешкать. Правда, вид у него был ужасный. Маленький, как чукотский каргин¹¹, он спросонья подпоясался как попало, превратившись в связку старых истрёпанных шкур, схватил бубен и, ковыляя кривыми ногами, побежал за Нявалом.

Однажды в молодости Сайрэ попытался разорить гнездо сокола. Он не верил, что птица может драться до смерти, охраняя свой дом. Полез – и чуть не остался без глаза: спасибо, сокол промахнулся – разодрал когтем лишь щёку. С тех пор правый глаз у Сайрэ навсегда остался стянутым шрамом. Сейчас, однако, не раскрывался и левый, залепленный смагой, – и было непонятно, как старичок видит дорогу. Морщинистый, смуглый, сопливый, да ещё кривоглазый и кривоногий – таким был Сайрэ. Но всё это не имело никакого значения – старичок обладал огромной силой внушения, был известным шаманом, он не раз отгонял от людей болезни и спасал их от смерти. Ведь жива Халерха – дочь Хулархи, жива, дышит!.. Нявал понёс бы Сайрэ на руках, бросился бы с ним вплавь через озеро, сделал бы для него всё, что мог: у него умирал сын.

Между тем Сайрэ вовсе не безразлично ковылял за Нявалом. Он думал, думал напряжённо, трезво и тщательно, зная наперёд, что о нём теперь шумно заговорят не в одном стойбище. И ему не надо было глядеть на дорогу – он узнавал её по звуку шагов Нявала.

– Так, я кое-что вчера уже видел, – сказал он, войдя в тордох и ударив кулачком в бубен. – Чьи-то жестокие духи поселились в нашем несчастном стойбище.

Камлание началось. Но оно проходило совсем не так, как в тордохе старика Хулархи. Призвав на помощь всех своих духов и побывав под причитания и грохот бубна в «верхнем мире», Сайрэ, не успев отдышаться, стал отдавать срочные приказания. Он объявил, что спасать надо не только мальчика, а сразу обоих детей – иначе ничего не получится. А для этого нужно насытить духов – собрать всю юколу в стойбище, всю – чтобы духи не обнаружили людской жадности. Он, Сайрэ,

¹¹ Каргин – порода низкорослых чукотских оленей.

будет съедать её, и чем скорее и больше окажется её в желудке, тем скорее и уверенней станут действовать духи. Но это не всё. Надо сейчас же распороть брюхо собаке-сучке, а кобеля удушить в колыбели, завернув в пыжиковую пелёнку; потом нужно заколотить их в ящики, зарыть по отдельности в землю и могилы обозначить жердями.

Жуя юколу и жадно запивая её сырой рыбьей кровью, Сайрэ стал рассказывать, что он узнал, поднявшись над «средним миром».

– Следы духов Мельгайвача я видел. Да, Мельгайвача. Это он испортил парнишку Эргэйуо, и он поднял руку с ножом...

– Хайче!¹² Что ему надо от нас! – не удержался молчаливый Нявал. – И моего сына тоже выкинул он?

– Постой. Тут всё не так просто, – сказал Сайрэ. – Ох, Нявал... Устал я, наверно, или мои медведи устали. Проглядел я большую стаю чукотских духов, а они давно рыщут в нашем стойбище. Чукотский шаман больше меня знал, дальше видел. Он знал наперёд, кто у кого родится и кем станет каждый ребёнок... Но вы закройте все щели, чтобы свет в тордох не пробрался и чтоб не услышали моих слов духи-сплетники. Я расскажу очень многое...

Пока мужчины поправляли тордох, затыкая шкурами и травой каждую дырку, и пока другие мужчины убивали собак, стойбище уже облетел слух о том, что шаман Сайрэ узнал важные новости. И очень быстро в жилище Нявала стало невыносимо тесно.

– ...Я поднялся над облаками, чтобы бог поглядел в мою сторону, – начал рассказ Сайрэ, не переставая глотать юколу. – И когда бог, прищурив глаза, обвёл взглядом наш средний мир, я вытянулся, как аркан, и схватил свет его взгляда. Потом сразу бросился в нижний мир – и там, освещая путь светом божьего взгляда, быстро нашёл одного всезнающего, но одряхлевшего духа. Я поймал его за выпученный глаз, заставил пищать и отвечать на мои вопросы. О, много следов оставили чукотские духи – да только я лишь нынешней ночью заметил что-то неладное. А сегодня дух, которого я прижал, указал начало следов... Мельгайвач давно бродит в наших тордохах: у одного унесёт иголку, у другого разобьёт чашку, третьего ума лишит и заставит делать ненужное дело. Даже комаров напускал на детей, чтобы они заболели...

– Правда, правда! – закричал вдруг Пурама. – Мой сын вчера разбил большую кружку, которую подарил мне купец Потонча. Сирайкан¹³ Мельгайвач! Где я возьму теперь кружку? – Пожилой, узкилицый Пурама завертелся, заёрзал – и даже в потёмках было заметно, как зло сверкают его острые глазки.

– А я дней семь назад иголку последнюю потеряла, – тоже засуетилась в углу старуха Лэмбукиэ. – Перерыла весь мусор в тордохе – и не нашла. Как будто сама проглотила... Верно сказал ты, Пурама: сирайкан Мельгайвач. А только чего ж это наши шаманы, как спящие собаки, не чувт его.

– Перестань! – цыкнул на неё муж. – Ум потеряла. – Он не сдержался и стукнул жену ладонью по рукаву.

– Ты что меня бьёшь! – вспыхнула горячая и болтливая Лэмбукиэ. – Олень ты дрыхлый.

¹² Хайче – дедушка.

¹³ Сирайкан – сволочь.

– Кто бьёт? Я же крещусь! – солгал старик. – Слепла ты, что ль...

– Шаманы наши ослепли, а я...

Люди зашевелились; недобрый шёпот заставил Лэмбукиэ замолчать.

– Грех-то какой!

– Не мой грех.

– И не мой...

Открылись полы ровдуги¹⁴, ворвался свет – и старик вытащил свою Лэмбукиэ из тордоха.

– Не ругайте её, – спокойно сказал Сайрэ. – Не по своей воле она так говорит. Чукотские духи вселились в её голову. Они так хорошо вскормлены, что лишают ума даже при мне. А что я сделать могу – ослабли духи мои...

– Нельзя, чтобы духи твои голодали! – раздался голос. – Мы не враги себе.

– Правильно, – поддержал лучший бегун Хурул – младший брат Хулархи. – Мы даже готовы половину добычи отдавать им. Мельгайвач и сам богатый, и чукчи не жалеют для него ничего. А мы?

– Ладно, ладно, дети мои, – сказал Сайрэ. – Сперва сами разбогатеете: впереди зима. Нужно больше рыбы ловить да сушить. А моим духам много не надо: кто сколько может. Себя не забывайте, обедневшие дети мои... Но я ещё не сказал вам самое главное. Мельгайвач напал на следы Пайпэткэ. Напал легко, потому что она грешна. Все ведь знают, что она вышивала бисером кисет Потонче, играла с ним в тальниках и опозорила своих умерших родителей. А потом и с самим Мельгайвачом пасла оленей... Вот и разгадал чукотский шаман по этим следам одну тайну, которую знал только бог. А бог хотел послать ослабшим и обедневшим юкагирам мальчика, который должен был стать самым сильным, самым смелым и умным человеком в тундре. Он и имя ему уже дал – Ханидо. И был бы этот человек таким же, как Идилвей и Эрбэчкан. От его голоса трещал бы лёд на озёрах, одним взглядом он зажигал бы огонь. Не хотел Мельгайвач примириться с этим. Вот он и нашёл этого мальчика в доме Нявала. А чтобы запутать следы, он сперва вселился в душу Эргэйуо, пролил кровь Халерхи и заставил жену Нявала с испуга скинуть ребёнка...

– Сирайкан!

– Кровь ему надо сгноить! Напустить на него всех духов...

– Пайпэткэ сперва наказать надо. И она сирайкан, – твёрдо и зло сказал Пурама.

– Ну-ну-ну, – успокоил людей шаман. – Тут надо не злостью брать, а умом. Нужно так сделать, чтобы враг, умирая, не проклинал нас, а осознал нашу силу и ненависть превратил в уважение к силе... И с Пайпэткэ нельзя жестоко поступать, Пурама. Добром её отучивать надо. А лучше всего – спрятать в надёжном тордохе.

– В каком? – поднялась с пола старая Тачана. – Ты, хайче, и скажи. А у меня ей больше не жить. Хватит!

Сайрэ, однако, не мог ответить: он как раз откусил огромный кусок юколы. И чтобы люди поняли это, он стал медленно, громко чавкать.

А страсти горели – и сама Тачана предложила:

¹⁴ Ровдуга – внутреннее покрытие каркаса тордоха.

– Я хоть шаманка слабая и давно не камлаю, а поверьте мне: с умом её может справиться только шаман-мужчина.

– А почему бы не попросить хайче Сайрэ, чтобы он сам присмотрел за ней? – спросил до сих пор молчавший Ланга, лучший сказитель стойбища. – Наши ошибки могут дорого обойтись. Когда льётся кровь, тут всё надо делать надёжно.

– Это самое верное, – вдруг подал голос молчун старик Хуларха, неизвестно когда и как появившийся в этом тордохе.

– Пусть переходит, – согласилась, недолго думая, Тачана. – Ты, Ланга, умный даёшь совет. Как живёт наш Сайрэ? Жена умерла давно, а ему вода нужна, огонь в очаге поддерживать надо. Пора и жениться хайче. Пусть только с умом её совладеет!

– Да с умом Пайпэткэ я бы справился, – вздохнул шаман-старикашка. – Но жениться... Нет. Надо разрешение просить у дяди её, выкуп давать. А что у меня есть? Ничего...

– Ну это уже не беда, – ответил Хурул. – Кто не поможет? Каждый поможет.

– Завтра пусть она и идёт, – отрезал вдруг смягчившийся Пурама. – А сопротивляться начнёт – духов на неё напустить.

– Ладно, ладно, – сказал шаман. – Это не главное. Не обо мне забота сейчас. Собаки визжали – я слышал. Все должны держать это в тайне. Когда чукчи сюда приедут зимой – пусть думают, что обоих детей мы схоронили. Так мы обманем Мельгайвача, перепутаем ему всё до конца. И мальчика назовём не Ханидо, а Косчэ¹⁵. Девочка же пусть Халерхой и останется.

Сайрэ развёл полы ровдуги, впустил солнечный свет. Это означало, что камлание кончилось.

День был в разгаре. Как и вчера, тепло и ярко светило солнце, над озером так же спокойно кружили успевшие насытиться чайки. Выходя из тордохы Нявала, люди жмурились, потом осматривались по сторонам – точно стойбище и сама земля могли как-то перемениться за эти сутки. Нет, погода была весёлой, небо не почернело, всё оставалось на месте. Предсказания шамана тоже сулили добро. И всё-таки люди разбредались по стойбищу хмурыми, растревоженными.

В разговорах и пересудах, в хлопотах, накопившихся за две зари, остаток длинного летнего дня проскочил быстро и незаметно.

Сайрэ будто глядел в чистую воду Улуро: вечер принёс хорошие вести. Девочка Халерха спокойно дышала, не кричала, не корчилась – словно кто-то подсказывал ей, что надо терпеть – иначе хлынет последняя кровь; она не горела огнём и не остывала. А Косчэ-Ханидо, напротив, громко кричал, но этот крик мог только радовать... И в стойбище уже шли разговоры о будущем несчастнорождённых. Из Косчэ теперь не вырастет богатырь, наподобие Идилвея и Эрбэчкана, но он всегда будет помнить людские заботы и уж не сможет мириться со злом. И терпеливой, хорошей будет его жена Халерха... Говорили об этом в каждом тордохе. Говорили до тех пор, пока не заметили, что над тундрой низко стоит угрюмое, красное солнце и что вода в Малом Улуро блестит, как свежая кровь.

И сам воздух вдруг стал тревожным. В жёстком негреющем свете

¹⁵ Косчэ – от русского имени Костя.

тревожным стало казаться всё – и толчея комариных туч, и длинные тени от тордохов, обрывов, бугров, от тальников, жердей и даже травы. И без того страшная озёрная гладь стала доносить то непонятный всплеск рыбы, то с потемневших берегов звериный стон, рёв или храпенье, которые вроде бы и не походили на звериные голоса... Беды – как стая волков: оставишь их позади и уж забудешь о них, а глянешь – впереди сидит матёрый вожак, сидит, будто из-под земли выскочил... Притихло стойбище, как-то насторожилось. Смолкли громкие голоса, совсем исчезли с берега люди; появится между тордохами человек – и побыстрей скроется, выползет на четвереньках старик из-под полы ровдуги, оглядится по сторонам – и юркнет обратно, и нет его. Всех детей уложили спать... Не вернулся из тундры бешеный Эргэйуо. Где он? Что делает? И когда вернётся? А если вернётся тайком – что может сделать ещё? Не спят, конечно, вступившие так неожиданно в схватку шаманы Мельгайвач и Сайрэ. И никто не знает, что происходит кругом. Сайрэ вдоволь насытил духов своих. Но разве покинули стойбище духи Мельгайвача? И не ждут ли они возвращения Эргэйуо?

В тревоге и не для того, чтобы сразу уснуть, забирались люди под одеяла-шкуры. А из тордохов Хулархи, Нявала и родных Эргэйуо густо валил дым: там и не собирались спать.

И только одна женщина во всём стойбище в этот вечер совсем не думала ни о каких духах. Это была племянница Амунтэгэ, неродная дочь Тачаны – Пайпэткэ. Она думала о себе и ни о ком больше.

Укрыв одеялом ноги, Пайпэткэ сидела, тупо глядя на затухавшие угольки очага. Она не плакала и не всхлипывала, но из её маленьких, широко раскрытых глаз то и дело выкатывались слёзы. Капли не оставляли на лице следов, но, падая на оленью шкуру, они повисали на щетинках и в свете очага горели красными огоньками – точь-в-точь как бисеринки, которыми она вышивала кисет купцу Потонче. Пайпэткэ то и дело пыталась ухватить их пальцами, но они исчезали...

Амунтэгэ долго не появлялся в тордохе, а когда зашёл, Пайпэткэ тихо сказала – нет, не ему, а так просто – самой себе:

– ...Ни подарков мне, ничего. Обноски умершей старухи, линиялые шкуры... Другие сироты счастливей. И чем виновата я?..

– Не ты виновата, – ответил дядя. – Духи виноваты во всём. – И опять выбрался из тордоха.

А старая Тачана стала шумно сопеть и ворочаться на шкурах-подстилках. Ей не терпелось опять накинуться на ненавистную полоумную потаскушку, из-за которой в стойбище случилось столько несчастий. Но она боялась проговориться.

Если бы Пайпэткэ знала всю правду, знала бы то, что происходило утром в тордохе Нявала! Разве сидела б она вот так, без движения, разве бы плакала тихо и долго? У самых забытых сирот есть тоже предел терпенью – а вечер был нехороший, красный, тревожный, и, наверно, случилось бы то, что люди стойбища ждали: сирота Пайпэткэ была способна на всё.

Но Пайпэткэ ничего не знала. И не случилось третьей беды ни длинным предветренным вечером, ни короткой ветреной ночью.

ГЛАВА 2

Напрасно люди стойбища у Малого Улуро старались не выдать тайну. Неправда плавает поверху, как жир на воде. Весть о случившемся быстро облетела и колымскую, и алазейскую тундру. Да как скроешь правду: приезжий увидит могилки, расспросит, вздохнёт – но дети-то живы, и покинет он стойбище с хитрой усмешкой.

К осени слух дошёл и до яранги¹⁶ Мельгайвача. И чукотский шаман без промедления передал с попутчиком слова жестокой обиды на шамана Сайрэ. Убить двух собак, схоронить их на видном месте, да ещё обозначить жердями – это Мельгайвач принял как вызов.

Людам же стойбища послание показалось угрозой. А Сайрэ вскипел, как горячий жир от капли воды.

– Вертлявый чукча, вертлявый обманщик! – сказал он, проводив заезжего человека.

У Сайрэ как раз пил чай Пурама.

– За старое принимается, видно, – заметил он. – Надо глядеть.

– Всех людей тундры этот хищник может испортить. Нужно ехать к Каке. Пусть Кака одёрнет его. У тебя, Пурама, остался единственный брат. И если поехал бы ты, то Мельгайвач уж ни тебя не тронул, ни Умукана: слишком прямые следы бы оставил.

– Да, это верно, – насторожился и одновременно удивился уму шамана охотник. – Хорошо, я поеду.

Осень в этот год выдалась ранней. К Покрову все озёра и болота уже замёрзли и люди оделись в кухлянки. Ранний крепкий мороз – большая радость: скорее можно ездить в любом направлении, легче добывать побелевших песцов и диких оленей, да и просто дышать приятно... Олени Пурамы шли ходко, но в дороге от встречного каюра он узнал, что не туда едет: чукотский голова, богач и шаман Кака отправились по делам к Мельгайвачу, в стойбище на речке Коньковой. И Пурама повернул упряжку.

Не знал посыльный Сайрэ, что туда же, к Мельгайвачу, с двух противоположных направлений выехали ещё две упряжки – одна купца Потончи, другая юкагирского головы Куриля. Если бы знал он всё это, то уж постарался бы примчаться первым, тем более что ездок он был наилучший. Нет, Пурама решил дать передышку оленям и потому сильно опаздывал к разговорам, которые не всякому довелось бы услышать.

Апанаа Куриль ехал к богатейшему человеку, к шаману Мельгайвачу по важному делу. Он задумал пораньше отправить в город оленей – голов пятьсот или шестьсот – для продажи купцам. Но стада его паслись далеко в тундре, а Мельгайвач обосновался ближе к городу, и Куриль хотел взять у него оленей взаймы – чтоб сократить прогон; зимой он возвратит ему долг. В таких делах шаман не отказывал ни ему, ни Каке, ни другим богачам. Но сейчас Куриль сомневался. История с детьми на Малом Улуро и камлание Сайрэ, по слухам, крепко задела Мельгайвача, и теперь неизвестно, как он себя поведёт.

Головой юкагиров Апанаа Куриль стал и случайно, и не случайно. когда-то он имел всего одну важенку¹⁷. Но через шесть лет у него стало

¹⁶ Яранга – жилище чукчей.

¹⁷ Важенка – самка оленя.

семь оленей: приплод Куриль берёг, как детей, хоть и терпел нужду. Из уважения к такому хозяину люди подарили ему ещё трёх или четырёх телят, подарили и несколько взрослых оленей. Стадо росло; в тридцать лет он нанял пастухов и вместе с ними уходил в тундру. Жил с пастухами Куриль на равных правах: ел вместе с ними, пас, переносил голод и холод. А потом один из его пастухов на состязаниях гонщиков выиграл половину стада ламутского¹⁸ богача Омката. Стада соединили, и две зимы хозяева жили в достатке и дружбе. Богатство испортило многих людей тундры, и неизвестно, как переменялся бы Куриль при делёжке и после неё. Но тут произошёл ещё один удивительный случай. Богач с Колымы назначил в Большом Улуро состязания гонщиков на двадцать якутских шаганий и выставил приз – огромный табун оленей. Тот же самый пастух сел в упряжку и выиграл этот табун. Выиграл – и от радости умер. Был пастух сиротой. Судили-рядили: что делать? Наконец решили передать оленей его товарищу, Курилю.

Так Апанаа Куриль, ещё не забыв тягот пастушьей жизни, стал богачом. И может быть, поэтому он оказался добрым, чутким к людской беде. Чтобы сытно жить, к нему охотно шли молодые и опытные пастухи, и стадо его, теперь состоявшее не из чукотских каргинов, а из добрых ламутских оленей, росло, множилось, хорошело. Куриль каждой семье забивал оленя на одежду и питание, помогал даже якутским беднякам, которые носили дохи по шесть – семь лет, пока вся шерсть не вылезет. Пожилых юкагиров он не гонял по тундре, он велел им жить у озера и ловить рыбу. Очень нравилось Курилю, когда о нём хорошо отзывались: он от этого ещё больше добрел, хотя, конечно, знал доброту меру.

Слава о преуспевающем богаче, об умном хозяине и почитаемом человеке распространилась по всему краю. И вот из Якутска пришла бумага от большого начальника, в которой говорилось, что он, Апанаа Куриль, назначается головой юкагиров. Не поняв, зачем это сделано и что это значит, Куриль помчался в город.

– Что мне делать как голове юкагирскому? – спросил он у исправника. – Товары, что ль, продавать или следить за шаманами?

– Ясак будет платить твоя тундра, – ответил исправник. – А ты следить должен. И князьёв назначать можешь. А кроме этого – делай, что хочешь...

И получил голова печать. Эта чудная штучка, оставлявшая круглый рисунок с буквами и орлом, привела Куриля в восторг. Приехав домой, он стал лепить пометки на чём попало: дарил кирпич чая – ставил печать, разглядывал шкуры – с гордостью проштемпелёвывал каждую, даже свою драгоценную берёзовую палку изрисовал орлами... Никто, однако, над ним не смеялся: Куриль вошёл в большой мир.

Затем произошёл случай, надолго прославивший его как голову. Узнал Куриль, что исправник Друскин грубо обращался с ламутскими людьми, – и пожаловался в Якутск. Друскин перепугался, пригласил его к себе и хотел напоить горькой водой. Но Куриль пить не стал. «Водка не смоем гнев людей, а уважение ко мне смоем», – сказал он и уехал. И Друскин притих.

Богачи завидовали Курилю. Потому что тот, кто близко стоит к на-

¹⁸ Ламуты – старое русское и якутское название народности эвенов.

чаеству, много знает, далеко видит, а в делах это очень важно. Часто спрашивали его: что надо, чтоб стать головой? Он не знал. Но отвечал уверенно, как думал: «Сколько хочешь имей оленей, а будешь жестоким и жадным – головой не станешь». И не нашлось такого богача, который захотел бы отобрать у него печать...

Уважение к Курилю как к человеку особенному росло. Признали его ум богачи Тинальгин, Чайгуургин, Тинель-кут, известный якутский купец Мамахан, русские купцы, даже хитрый американец Томпсон.

Став настоящим царём тундры, Апанаа Куриль, однако, не мог постичь двух вещей – грамоты и шаманства. Ну, грамоту он оставил сразу – решил надеяться на ум и язык. А вот вера не в бога Христа, а во что-то иное – в духов, подчинённых воле людей, в способности видеть незримый мир, – это было для него неразрешимой загадкой с самого детства. Правда, став головой, он решил освободить себя от таких мук. С расчётом на то, что слова его разбегутся по тундре, он нашёл случай сказать: «Я не был и никогда не буду шаманом. Но если захочу, то без вдохновения и без бубна испорчу кого угодно. Особенно самих шаманов. Пусть тронут меня – я их отвезу в Якутск, а там русские боголюди быстро справятся с ними». Шаманы испугались угрозы, а Сайрэ даже видел потом во сне мир боголюдей, которые тоже предупредили его. Взял Куриль верх над шаманами – но на душе у него было всё так же.

Вот и сегодня, выехав к Мельгайвачу, он ломал себе голову: мог или не мог чукча-шаман за десятки якутских шаганий испортить людей?¹⁹ Это имело значение и для деловых разговоров, и для его жизни и действий как головы: юкагиры стали коситься на чукчей... Путь был долгим, и Куриль отдался раздумью.

Шаман Мельгайвач – богатей из всех богатеев. Оленей у него в два раза больше, чем у знаменитого Тинальгина, и даже сам голова чукчей Кака иногда берёт у него по нескольку оленей без отдачи – у Мельгайвача не убудет.

Разными были слухи о том, как разбогател Мельгайвач. Одни говорили, что будто бы он с помощью духов загнал к себе огромное стадо диких оленей, другие будто бы видели, как от стад богачей сами собой отделялись мелкие табунки и переходили в стадо шамана. Однажды Кака прямо сказал ему:

– Если не прекратишь эти проделки – я сам нападу на тебя. Мои духи тоже не слабые.

Мельгайвач лишь усмехнулся на это:

– Да никакой я не шаман. Всегда и всем говорю: не шаман я. Давно бы сжёг бубны, да боюсь, духи накажут. А шаманю так, для души.

Но ни Кака, ни другие шаманы, ни богачи и ни простые люди не верили этому. Считали уловкой, смелее которой и придумать нельзя.

Это был низкорослый, толстенький мужчина лет сорока. На его круглом и розовом, как выпевающая морозка, лице до сих пор не обозначилось ни единой морщины. Красивый, гладенький, чистый, он обворожительно улыбался, показывая снежно-белые зубы, блестящие, как пуговицы на шинели городского начальника; эта улыбка почти

¹⁹ Есть указания на «необъяснимые» способности «сильных» шаманов-чукчей воздействовать на явления на расстоянии (см. В. Г. Тан-Богораз. Чукчи).

не сходила с его лица. Мельгайвач был доволен всем на свете. Однако приятная внешность и добрая улыбка его обманывали далеко не всех. Юкагирские, ламутские и даже якутские и чукотские шаманы и побаивались его, и не любили. Никто из них не напускал на него духов, но все говорили одно и то же: горноста́й красивый – а хищник, хищники все красивые. И правда, доброта толстенького шамана была дьявольской. Заманит он человека улыбками и вниманием – а выпустит кумаланом²⁰. Впрочем, «создавал» Мельгайвача не один хитрый дьявол – «участвовал» в этом и бог. Вот бог-то и наградил его огромными ручищами с толстыми хватистыми пальцами – как бы предупреждая: не попадись! Но попадались, многие попадались. Люди знали, откуда появилось выражение «шаманская рука», но шли к нему и просили помочь... Не боялись шамана-чукчу одни колымские да якутские купцы. Они смело с ним торговали, подолгу гостили у него, поили горькой водой и спали с его молодыми жёнами. И ещё не боялись его двое – чукотский голова Кака и юкагирский – Куриль.

...Дружное фыркание оленей и громкие голоса подсказали Мельгайвачу, что к его яранге подъехали сразу две упряжки и что сблизились они только сейчас, а не в тундре. Шаман ждал гостей уже несколько дней. Он безошибочно знал, о чём, о каких делах с кем придётся говорить. Догадаться было нетрудно. Из яранги он вышел с обычной довольной улыбкой на лице, но сразу заботливо посерьёзnel – и бросился распрягать оленей Куриля. Один из его пастухов в это время бежал к упряжке Каки. Поздоровались между делом, как старые знакомые.

А в яранге уже хлопотали жёны Мельгайвача. Жарче загорелся огонь под треногой, загремела посуда. День уже стал угасать, и самое время было поест и выпить.

Куриль, Кака и хозяин подсели к огню и, не дожидаясь, пока приготовится мясо, разлили водку по кружкам. Выпили, стали закусывать строганиной, юколой, холодным мясом.

– Хорошее место выбрал ты, Мельгайвач, – сказал для начала Куриль. – Дрова есть, подтопить можно²¹.

– Огонь мне не нужен. Тепла от людей не хватает, – ответил шаман. – Плохо жить я стал, Апанаа. Одун-чи²², слышал я, начали ненавидеть меня, сородичи стали бояться. Никто не заезжает ко мне... ещё летом заметил это, а теперь и узнал причину. Ты бы, Куриль, унял своего Сайрэ. Сказал бы ему, что я никто. Зачем ему распускать обо мне злые слухи. Он великий шаман, а не я.

– А! Вечно грызётесь, – ответил Куриль. – Грызётесь, а не беднееете...

– Да как же, Апанаа, победнеешь? Сам посуди. Стали меня люди бояться, и никто ничего не просит. Раньше приходили – дай, Мельгайвач, оленя – один остался, резать жалко. Давал. А теперь не просят, ну, стадо-то и растёт...

– Значит, и так хорошо, и этак неплохо?

С юкагирским головой не разболтаешься. Отсечёт – и даже такой говорун, как Мельгайвач, почешет затылок: что же сказать-то в ответ?

Алайский юкагир, Куриль тоже невысок ростом и толст, и лет ему

²⁰ Кумалан – нищий.

²¹ Чукчи зимой обычно не топят – спят под пологам.

²² Одун-чи – самоназвание юкагиров.

столько же, сколько шаману-чукче. Но больше ничего общего у него с ним нет. Куриль уже поседел, а на темени обозначилась лысина. Лицо у него скуластое, белое, как у женщины-ламутки; широко открытые глаза никогда не улыбаются – если же он сощурит их раз в год, то это значит, что он смеётся. Губы у Куриля сомкнуты строго, а когда говорит – слова получаются чёткими, будто обрубленными. Да и говорит он звонким басом... Сейчас он почувствовал, что разговор неожиданно быстро склонился в его пользу: раз у Мельгайвача стадо растёт, то что ему стоит отделить взаймы полтысячи штук? К тому же Кака, наверно, тоже будет просить, и его надо опередить. Однако как же тогда улаживать склоку? В благодарность за уступку надо будет говорить мягко, но разве такую грызню мягкими словами рассудишь? И сказать нужно сегодня, а не потом. Потому что дело к зиме – Мельгайвач же может распустить такие слухи, что чукчи не покажутся в стойбищах на Улуро, а это ему, голове юкагиров, вовсе не безразлично. ещё в пути Куриль понял, что эта грызня к хорошему не приведёт. И он, не дав шаману опомниться, пробасил:

– Путь к богатству ты выбрал умно. Только людей съедать, пако-стить – это не дело.

– Куриль! Апанаа! Какие грешные слова ты говоришь мне, безбожному... Кака, зачем же мне такие обиды сносить. Скажи хоть слово... – Мельгайвач обхватил голову своими огромными лапами – и вдруг заплакал.

А Кака между тем уже не сидел с ним рядом. Осушив кружку и дожёвывая кусок холодной и жирной оленины, он заполз под открытый, недоделанный полог. Туда, под полог, забралась немного раньше младшая жена шамана, решившая не мешать старшей жене.

– Ну-ну, заплакал... – передразнил Кака. – Кому слёзы-то приготовил. Нам? Говорят, каждая слеза из твоих глаз – это пригоршня слёз твоих будущих жертв.

Разговор Кака слушал внимательно. Он догадывался, что Куриль будет просить у шамана оленей, но сам он тоже приехал за этим – ему тоже надо бы взять взаймы голов пятьсот или больше. Нападение же Куриля он воспринял как умный шаг: Мельгайвача и в самом деле иногда следует приструнить перед деловым разговором. А кроме того, он не мог в присутствии головы юкагиров не выговорить шаману: слухи давно ходят по тундре, совсем уж плохие слухи. Был Кака высоким и дюжим, на его смуглом до черноты лице сурово поблёскивали белки глаз, а на круглой голове торчали жёсткие чёрные волосы. Мельгайвач побаивался его как человека злого и сильного, а как начальника, богача и шамана ни во что не ставил. Но когда нападают двое, и свой, и чужой, – тут слезами ничего не докажешь.

– Ладно, – сказал шаман, вдруг перестав плакать. – Называйте меня и хищным, и жадным. Но я детям хочу только добра. Если бы я действительно был шаманом, то столько раз сохранил бы им жизнь, сколько детей родится в одно поколение. Вот умру – на кого будете вместе с Сайрэ вину сваливать? Без меня несчастий не будет?

Куриль прищурил глаза:

– А ты мне ответь. Как это так, чтобы никто не хотел умертвить детей? Скажи, как это может быть?

Оба они замолчали, приперев друг друга вопросами. Но Кака знал ответ на один из них и сказал:

– Умрёшь, а духи твои перейдут к кому-то другому. Не кривляйся ты, Мельгайвач: шаман ты, великий шаман, и пакостить любишь. – Он выплюнул шерсть, попавшую в рот от слишком пушистого одеяла.

– Значит, и в том мире я буду знать, что люди меня проклинают? – Шаман опустил голову и неопределённо уставился взглядом в пустую кружку. – Живьём мне, что ли, сжечься, чтоб облегчить свою участь...

– Не трогай больше детей, – сказал Куриль, наливая ему горькой зелёной воды. – Живы они – и Косчэ и Халерха. Но ты их не трогай. Это тебе и Кака скажет.

– Почему Косчэ? Пусть Ханидо и будет, как назвал Сайрэ, – задумчиво проговорил Мельгайвач. – А парень тот в речку бросился? Утонул?

Не ответив, Куриль тоже задумчиво предложил:

– А Кака может в Улуро съездить? Со мной. Сайрэ успокоить бы надо.

– Без толку это, – лениво ответил Кака, обнимая жену шамана. – Он детей не тронет теперь, но за это других сожрёт. Знаю его... Поехать можно – если он пятьсот оленей мне даст.

Мельгайвач взял в лапу кружку, покрутил её и, когда водка завертелась, как бурун в протоке, выпил, обтёр губы, потянулся за куском оленины.

– А тебе, Куриль, тоже, наверно, охота по теплу продать в городе стадо? – спросил. – Дам и тебе – зачем двойной путь делать?

Чтоб не ответить слишком поспешно, юкагир тоже выпил.

А в это время послышался стук копыт о мёрзлую землю и тяжёлое дыхание не одной пары оленей. Кака откинул полу одеяла, закрыл ею растрёпанную жену хозяина и вышел наружу.

– Кто такие? – спросил он.

– Кого слышу! Кака, кажется? – раздался из потёмок женский голос купца Потончи. – Это мы в твой табун попали?

– О, Попов, Потонча! Здравствуй. Мельгайвач здесь живёт, не я. Еттык?²³

– И-и!²⁴ – ответил весело Потонча. – Иди распрягать моих оленей, не важничай, как купец Антипин. А это кто? О-о! Сам Курилов стоит. Везёт мне. Как будто сговаривались. Иди и ты распрягай оленей попутчика, не зазнавайся, как приказчик Мика Берёзкин. Это гость аж с Верхней Колымы, русский. Начальники большие послали его. Из самого Пербурга он.

– Постой, Потонча, разошёлся, – сказал Куриль. – В яранге расскажешь. А про самый большой город знать ничего не хочу: всё равно нам с тобой там не бывать. И замолчи.

– Это ж город царя! Как же не хочешь знать?

– Не хочу. К царю не попасть ни нам, ни детям, ни внукам.

В ярангу, освещённую двумя жирниками и огнём очага, вошёл худой человек, весь обросший волосами, как русский священник. Он впервые попал в жильё чукчи и не мог сдержать любопытства – вертел головой, как сова на гнезде; и глаза у него были совиные – большие, быстрые, голубые.

²³ Еттык? – Приехал?

²⁴ И-и – да (чукотское приветствие).

– Я, кажется, имею честь видеть известных богачей Каку и Курилова? – спросил он.

– Ы-ы! – отрывисто по-колымски ответил за всех Потонча. – Это работник Черского – слышали такого? Умный мужик Черский был – по камням и листьям озёра и реки читал. Только помер он, в устье Прорвы. Заболел – помер. А за него баба осталась, жена. Вот она и послала его к начальству...

Не дождавшись конца этой речи, русский громко сказал:

– Я служащий экспедиции императорской Академии наук, которую возглавлял погибший недавно учёный Черский. Мое имя – Степан. Сейчас нашей экспедиции нужна помощь. Жена учёного должна ехать в Санкт-Петербург... Вот письмо от исправника Друскина. Прошу прочитать.

Кака, Куриль и даже всезнающий Потонча с великим вниманием и удивлением слушали гостя. Не все слова им были понятны, но что речь идёт о царе, о царских делах и о царских людях – это они поняли точно. Для людей тундры, даже таких, как эти трое, не совсем была ясна разница между царём и богом. И видеть, слышать посланца от самого богочеловека было чем-то вроде приобщения к сказке, которой и не веришь, и веришь. Один Мельгайвач не проявлял любопытства. Он много лет прожил в своём собственном мире, знал многих русских начальников, и его удивило бы лишь появление духов, ни одного из которых он так и не видел...

Обросший жёсткими волосами гость вынул из кармана бумагу, скрученную в трубку, и протянул её Курилю.

– Послушаем, что пишет господин исправник, – важно сказал Куриль, передавая письмо Потонче: сам он не смог бы разобрать ни одной закорючки.

С видом единственного здесь, а значит, и во всей тундре, грамотея Потонча развернул трубку. Он обвёл взглядом бумагу снизу вверх, потом наискосок, сузил глаза так, что их не стало видно, – и всё нагибался, нагибался к огню, будто ища иголку, чуть не стукнувшись лбом о котёл, висевший над очагом.

– Друскин, наверно, очень спешил и совсем непонятно писал, – сказал он по-русски. – Начальники всегда очень спешат. Ты уж, брат, сам лучше прочти.

Человек с голубыми глазами не улыбнулся, даже напротив – как-то болезненно сдвинул брови и взял бумагу.

Он прочел её без единой запинки.

На что уж у Куриля губы всегда бывают крепко сомкнуты, но сейчас и он раскрыл рот: таких учёных людей ему видеть не доводилось.

В письме исправник приказывал по первому снегу пригнать в город сто приручённых оленей и сто оленей на мясо. Люди Улуру и Халарчи после этого будут освобождены от ясака за уходящий год.

Прояснились лица Куриля и Каки: оба они стали нужны человеку от царя, а стало быть, и самому царю.

– Утром двести олень будет, – сказал по-русски Куриль. – Можно ночью двести олень.

– Господину Степану лучше спать, – посоветовал Кака. Русский закивал головой, облегчённо вздохнул:

– Я, с вашего позволения, переночую. За помощь превеликое вам спасибо.

Потонча бросился из яранги – и не успел никто опомниться, как он втащил деревянный ящик, полный бутылок.

В яранге начался настоящий пир.

Стали усаживаться к огню. Старшая жена Мельгайвача вынула из котла оленину и положила новую порцию. Под свод яранги хлынули клубы пара и дыма, запахло сварившимся мясом, водкой и табачным дымом.

Несмотря на усталость, русский выпил немного, ел без жадности, желания говорить не выдавал, и его ни о чём не спрашивали – такие люди сами знают, что и когда сказать. Завершив важное дело, он то напряжённо вслушивался в голоса хозяев, говоривших на смеси разных языков и местных русских речений, то принимался разглядывать людей, ярангу, диковинный стол на кругляшах брёвен, еду, а то вдруг уходил в себя и думал, думал и думал...

Да, впрочем, ему всё равно не удалось бы рассказать что-нибудь важное. Потому что рядом сидел Потонча.

А где выпивший купец Потонча, там даже из двадцати человек никто не сможет открыть рта.

Потонча повидал в жизни многое. Отец его был не то якутом, не то юкагиром, а может, и чукчей. Однако, несмотря на свою внешность, несмотря на то, что был он керетовским²⁵ колымчанином, сыном кумалана, о чём знала вся тундра, он упрямо называл себя русским. С таким же упрямством он называл себя и уроженцем Ближней Америки²⁶, когда имел дело с начальниками или городским людом. Но поскольку Потонча служил американцу Томпсону и был его правой рукой, земляки, не сомневаясь в истине, звали его, будто бы сговорившись, американцем – амарыканкиси. Томпсон взял его к себе неспроста. Как-то, играя с ним в карты, он продул сначала упряжку собак и нарту, а потом два ружья. У самого же Потончи в это время не было ничего, даже собаки или доброй дохи. Но Томпсону нужен был человек из здешних мест и обязательно расторопный ловкач. Потом американский делец не жалел, что столкнулся с ним: долго учить его не пришлось.

С виду Потонча – хилый, низенький и сгорбленный мужичок неопределённого рода занятий. На узком лице – никакой растительности, ладошки маленькие, пальцы узенькие, девичьи. Зверёк горностаи тоже мал, да удал. На состязаниях Потонча побеждает всех бегунов тундры, а прыгает – будто летит. Но подвижен он не только на состязаниях. Вся тундра для него – поле для бегов, на оленях, конечно. Если Мика Берёзкин сидит в остроге и, как сова, выглядывает, кого бы из приехавших общипать почище, а в тундре появляется раз в году, то Потонча носится по тундре и днём, и ночью, и зимой, и летом, и в дождь, и в пургу. Одно время Улуро было запретной для него зоной: якутские и русские купцы не позволяли там появляться американским хваталам пушнины. Но Потонча за большие проценты прорвался туда и, видимо, не ошибся в расчётах. Ловок, удал и хитёр Потонча. Перед ним не может устоять даже такой купец-медведь, как якут Мамахан Тарабукин, У Мамахана

²⁵ Керетовая – приток Колымы.

²⁶ То есть Аляски.

один закон: песец есть – купи что хочешь, нету – прощай. Потонча же товары не продавал, а давал, пушнину не покупал, а брал. А это совсем не одно и то же. «Вам чай нужен? Берите, – говорил он. – Табак? Вот он, пожалуйста. Водку пить не мешает, муку кушать – одна благодать, а бусы дарить девушкам – это же красота! Берите, берите...» Сколько хотели, столько и брали юкагиры и чукчи (правда, с расчётом не обидеть других). Но и не мелочились, не торговались – шкурки отдавали, не считая: Потонча – свой, ещё приедет, ещё привезет товара. Бывало, однако, и так, что он вдруг расплатится, начнёт жаловаться, что вот, мол, раздал много товара, а за него почти ничего не взял. И люди входили в его положение – за кирпич чая давали пару песцов, а за берданку – десяток: ладно, сочтёмся... От радости Потонча плакал – мол, хорошие люди всегда поймут человека, который не себе служит. Он задаром, из благодарности, наливал кому-нибудь в кружку глоток горькой воды и, продолжая плакать и приговаривать, садился на нарту, распуtywал вожжи. Потом сквозь топот копыт и скрип полозьев доносилась до стойбища песня. Но кто в пути не поёт?..

Доходили до людей и совсем другие слухи о Потонче. Однажды он будто бы сказал: «Мне бы золотишка накопить побольше, а шкурки, песчишки, камусы²⁷ – это так, барахло». В другой раз, сильно пьяный, он будто бы раз мечтался: «Разбогатею – подамся в Америку, построю шуну и по всем морям плавать буду». Так это было или не так, но купцы знали: Потонча обгоняет многих из них. Совсем иное дело – молодёжь из глухих стойбищ. Для многих ребят и девушек Потонча был загадкой: он не только жил широко, в ином мире, но и стремился куда-то, к чему-то готовился, И, наверное, потому он не был обижен счастьем любви, правда, всегда скоротечной...

Целый ворох историй привёз в этот раз в ярангу Мельгайвача керетовский купчик – амарыканкиси. О Черском, о его жене Марфе, об их сыне Сасе, о похоронах Черского, о попойках в остроге, о русской свадьбе перед Покровом в Верхне-Колымске... Не раз пытался русский гость поправить его – где там: Потонча был слишком весел и счастлив, чтоб понимать, где правда, где ложь, чтоб подумать о том, кто его поправляет.

И совсем не понял Потонча короткого, но сурового, страшного взгляда охотника Пурамы, неизвестно почему и как появившегося в яранге.

Шаман Мельгайвач к этому времени был уже сильно пьян. Но он услышал лай своей единственной собаки. Пока он, падая и вставая, обходил ярангу, Пурама уже стоял перед компанией во весь рост.

Сперва посыльный Сайрэ растерялся, увидев Куриля, Каку, незнакомого бородатого человека, каюра, трёх жён шамана. Ему особенно бросился в глаза бородатый русский – и он поклонился так, как учил священник Попов.

– Какие новости расскажут они? – спросил меньше всех пьяный Куриль. Младшая сестра Пурамы была женой Куриля, и потому он мог разговаривать только в третьем лице.

Пурама ответил не ему, а Каке:

– Хайче Сайрэ большое послание шлёт...

²⁷ Камусы – наиболее крепкая часть оленьей шкуры (сног), употребляется для пошивки обуви и других вещей.

– Хорошо, хорошо. Я знаю, что он хочет сказать через тебя. После поговорим. Дети живы, растут?

– Если волк не съест телёнка до костей и жил, телёнок выживет.

Поняв, что сейчас, в присутствии важного гостя может произойти неприятность, Куриль перебил их:

– А что же они не здороваются с Потончей – нашим другом?

И тут Потонча вскочил:

– Брат²⁸ это мой – Пурама! Что ты болтаешь, Куриль, – мы не враждем с ним. Настоящий человек он, охотник – нигде не найдёшь такого. Забуль²⁹. Я поговорить вам дал – может, он важную новость привёз. Беда какая случилась? А! – махнул он рукой. – Никакой беды не случилось. Кто родился – растёт, старик ваш – шаман – жену взял, как ягодку. Правда же, Мельгайвач, как ягодку?.. Дурак кинулся в речку. Беда? Нету беды. Сегодня мы пьём...

Он хотел одной рукой обнять друга, но Пурама потянулся за кружкой, взял её, чокнулся с русским и Курилем, выпил. Потом он поглядел в глаза купцу – амарыканкиси, перекосив лицо не то от горечи водки, не то ото зла, и вдруг смачно плюнул в огонь.

Неизвестно, что было бы дальше, если бы не Куриль.

– Я хочу спать, – громко сказал он, поднимаясь. – И гость хочет спать, и все пойдут спать. Подай, Потонча, доху.

Пурама повернулся и шагнул к двери, чувствуя, как в его спину глядят ничего не понявшие, но пронзающие голубые глаза бородатого человека.

На четвереньках и с помощью старшей жены Мельгайвач добрался до полога – и сразу же захрапел. А Кака опять полез под одеяло к младшей жене. Русскому и Курилю постелили отдельно: у шамана было достаточно хорошо мягких оленьих шкур.

Утром половину стада Мельгайвача – тысячу двести голов – погнали в лес, в сторону города. Русского провожали вместе со стадом. Кака и Куриль исполнили долг перед богом, царём и исправником, свои дела тоже сделали, как хотели. Но оба они весёлыми не были. Грустно смотреть на уходящее стадо, которое никогда не вернётся. Да и дел впереди много. Нужно собрать ясак, объехать все стойбища; собирать же его – не великая радость... А сперва надо в город поехать. Хорошо, беззаботно шаману Мельгайвачу: долг свой получит сполна, да ещё будет считать себя благодетелем. Вот и сейчас он спит, как оплывший жиром медведь, а они – на ногах...

Мельгайвач окончательно выспался к середине дня. Его разбудил громкий голос.

– Ничего Потонча не видел! – в сердцах доказывал нездешний каюр, привозивший русского человека. – Я лучше знаю. Чери – не божий человек, а шаман. За два дня вперёд знал, какая будет погода, собирал камни в мешок, воду измерял верёвкой, а землю – палкой. Разве будет божий человек или царский человек измерять землю, как мануфактуру? Речка Прорва и убила его за это. И жена у него шаманка, и сын будет шаманом: не успели они мёртвого придавить камнем в могиле – сами начали мерить речку...

²⁸ Брат – в значении «друг».

²⁹ Забуль – правда.

– Я думаю, ты больше прав, мэй³⁰ – сказал Кака, пошевелив палкой дрова в очаге. Он бросил палку, вытер ладонью пот и облизал ладонь³¹. – Похоже, русские начинают шаманить над нами. Измерять наш край и записывать его в бумагу, как купеческий товар, – это нехорошее дело.

– Юкагирский шаман зря, наверно, Мельгайвача обвиняет. У нас никто никого не убивал, а русские, говорят, в каких-то местах друг друга, как оленей, режут. Это их духи вселяются в наших людей. – Каюр раскурил трубку и повернулся к Пураме: – Сам ты говорил, что Сайрэ ваш старший. Вот он и принял следы Чери за следы Мельгайвача.

Пурама поскреб ногтями голову и вдруг насторожился.

– Ты, ке³², откуда родом? – спросил он, глядя своими острыми глазами в глаза каюра.

– Я? Из Анюя. Ламут из дельянского рода. А что?

– Ага. Значит, русских знаешь, – по соседству живёте. Но как же ты не знаешь, что русские – это божьи люди! Режутся одни безбожники – белоголовые и красные люди, которые и по-русски-то говорить не умеют, и по-божьи мыслить не могут.

– Чери, по-твоему, добрый шаман? – спросил раздражённо Кака. – Так ты хочешь сказать?

– Так. Может, Чери и шаман. Но речку он измеряет не нам во вред, а затем, чтобы амарыканы на неё не пришли.

Поднявшийся Мельгайвач потихоньку присел чуть позади Каки. Он, наверное, видел хороший сон и потому улыбался. А может, почувствовал, что разговор склоняется в его пользу.

– Всё знаешь! – насмешливо удивился Кака. – А скажи, если всё знаешь. Почему так пришлось: стали речку и землю мерить – и кто-то детей стал съедать? А за лето у наших шаманов ничего не случилось – чтоб кто-нибудь злей стал.

– Я как шаманил для души все годы, так и теперь шаманю, – развёл свои ручищи Мельгайвач. – И не пойму, за что Сайрэ на меня напал. – Он перестал улыбаться и добавил: – Если Сайрэ и дальше хочет меня травить, то лучше пусть сразу съест. Иначе я ум потеряю.

Лучше бы Мельгайвач промолчал. Потому что Пурама давно был готов вспыхнуть, как порох в костре.

– Меркешкин³³ ты, шаман, – прошипел он. – При людях свои заклинания говоришь! Я понял тебя. Ты совсем обратное мне сказал: сначала хочешь Сайрэ ума лишить, а потом съесть! Я шаманский язык понимать научился. Тебе мало было одного Косчэ – ещё девочке живот распорол. А чтоб следы замести – Эргэйу в речку швырнул. Теперь Сайрэ угрожаешь?..

– Хватит! – вскрикнула старшая жена Мельгайвача, бросив в котёл мясо так, что вода выплеснулась на огонь. – Не может быть, чтоб наш муж детей убивал.

– Ага. А взрослых, значит, может быть? – прицепился к слову расвирепевший охотник. – Так вот, послушай тогда, Мельгайвач, и ты по-

³⁰ Мэй – друг (чукот.).

³¹ У халарчинских чукчей не было принято стряхивать или стирать пот; пот – это «жар сердца», и сердце без него может остыть – тогда человек умрёт.

³² Ке – друг.

³³ Меркешкин – сволочь (чукот.).

слушай, Кака: при свидетелях говорю. Твои, Мельгайвач, духи разбили кружку в моём тордохе? Твои?.. Куриль, Апанаа, гляди – он покраснел. Почему покраснел? Правда глаза и нос колет?.. И ко мне подбираешься, значит, и к моему брату? Так ты запомни: если ещё случится что, я запрягу лучших оленей, приеду сюда – и не испугаюсь тебя ни днём, ни ночью. Я тебе...

Громкий стук ладони о стол прервал его речь. Куриль, как будто дремавший всё это время, встал.

– Черти! Все шаманы черти. И Мельгайвач, и Сайрэ. – Он подошёл ближе. – Если не перестанут они, я уеду сейчас.

– ...И зачем Сайрэ послал к нам такого безумного, – пробурчал тихо Кака, растерянно переводя глаза из стороны в сторону.

– Я уеду, – скрутил Пурама кисет. – Я сказал всё. Потонче не сказал, что хотел. Скрылся, трус. Вы передайте: лучше ему в Улуро не приезжать.

Посланец Сайрэ хлебнул из кружечки водку, раздвинул полы ровдуги и не спеша вышел.

– Кака! – сразу же заговорил Куриль. – Большое камлание созвать надо. Пусть шаманы собираются сами. Я ничего не могу – ни понять, ни сделать. Соберём якутских, чукотских, ламутских и юкагирских шаманов. Иначе случится большая беда, а это нам с тобой бог не простит.

ГЛАВА 3

Не всякое дело в тундре сделаешь быстро. На большое камлание шаманов собирали всю зиму; правда, Куриль и Кака не очень спешили, потому что никаких новых бед не случалось. Однако ссора шаманов не давала покоя. Сперва поползли слухи, что Мельгайвач будто бы творит зло не один, а вместе с головой чукчей, Какой. Потом заговорили о том, что Куриль и Кака будто бы выгораживают богатого Мельгайвача и сваливают вину на какого-то русского шамана Чери. Пришлось советоваться с алазейским попом Поповым. И тот сказал: о таких делах надо извещать городских начальников. Отправили в город нарочного с письмом. Ответа сразу не получили. Но потом стало известно, что из Средне-Колымска, с Верхней Колымы и с Индигирки приедут три знаменитых шамана. Им и было поручено разрешить спор.

Косчэ-Ханидо к этому времени исполнилось двенадцать лун, а Халерха уже хорошо ходила.

Жизнь в стойбище у Малого Улуро и само стойбище стали меняться изо дня в день. Сюда сразу же перекочевало много семей с берегов Большого Улуро: приехали те, у кого был или неизлечимо больной ребёнок, или убогий человек, или страдающий от шаманского призыва. Все эти люди надеялись на помощь знаменитых шаманов. Затем начали вырастать жилища богачей и купцов, съезжавшихся из острогов и со всех сторон тундры. Наконец всё больше и больше стало появляться простых людей: с Колымы приезжали на лошадях, с Индигирки приходили пешком. И небольшой холм у озера всё гуще и гуще обрастал пёстрыми жилищами, среди которых огромными скалами возвышались белые яранги богатых чукчей.

Жизнь этого невиданного стойбища мудрецов, любопытных, жаждущих чуда и жаждущих новых сделок наполнялась весельем, знакомствами, деловыми разговорами, сплетнями, тревожными слухами. Только настанет утро – и мальчишки уже бегут по всем закоулкам с криками:

– Литэмэч, литэмэч³⁴. Люди уже играют!..

Не поев, не попив чаю, мужчины бросаются из яранг и тордохов.

А вот уже тут и там раздаются плач и сбивчивые женские голоса – это поссорились дети, и матери – каждая на своём языке – защищают, конечно, своих собственных, не собираясь понять друг друга.

На берегу озера судачат, шепчутся женщины и девушки, пришедшие за водой. Оглядываясь, что-то выискивая глазами, бродят повзрослевшие парни. Едва ворочая языками, плетутся успевшие хорошо выпить, много лет не встречавшиеся друзья. Важно беседуют за чашкой чаю богачи и купцы.

И лишь два тордохы жили в эти дни особой жизнью. Никто из приезжих не заходил ни к старику Хулархе, ни к Нявалу. Да и сородичи не заглядывали к ним. Кто-то успел пустить слух, что Мельгайвач видел сон, который предсказывал: если их дети останутся жить, то погибнет весь юкагирский род. И хотя Сайрэ сказал, что это – выдумка самого Мельгайвача, люди так и не поселились близко к этим тордохам и с опаской поглядывали на них.

Наконец настал день, когда со стороны тайги на усталых конях в стойбище въехали пять человек – три долгожданных шамана, а с ними главный якутский купец Мамахан и его конкурент на реке Алазее Третьков Саня.

Самым внушительным из шаманов был верхнеколымский. Один рост этого седовласого старца заставлял содрогаться: сидел шаман на крупном коне, но ноги его едва не доставали земли, а удлинённая голова, похожая на лошадиную, возвышалась над головами всех остальных. Красный перекошенный рот старика был приоткрыт, и с отвисшей нижней губы стекала слюна. Оба побелевших глаза смотрели вдаль с таким надменным безразличием, будто не было ни людей, ни стойбища, ни земли. Никто не знал имени этого чудища, но, по слухам, якуты ненавидели его лютой ненавистью, считали кровожадным – чуть ли не живой помесью сатаны с чёртом... Рядом с ним ехал индигирский шаман Ивачан. Этот ничем не мог обратить на себя внимание. Был он невысоким, но упитанным, как бычок; простоватое лицо его не выражало ни ума, ни каких-либо скрытых чувств. Бросались в глаза лишь очень кривые ноги, которыми он цепко обхватывал лошадиное брюхо. Его можно было бы принять за удачливого рыбака или охотника, у которого одни заботы – семья. Но улурочи хорошо знали его – Ивачан шаманил среди ламутов, близких по крови к юкагирам, и был единственным в тех краях сильным шаманом – настолько сильным, что на него тоже поглядывали со страхом. Говорили, что Ивачан съел всех своих родственников, что он не позволял молодым обрести шаманскую силу и тоже съедал их – сживал со света... Третьего посланца вообще нельзя

³⁴ Литэмэч – игра, в которой выходит победителем тот, кто первым и большее число раз набросит аркан на оленьи рога; череп оленя с коротко опилёнными рогами лежит в центре круга.

было бы причислить к роду шаманов, а тем более – мудрецов, если бы люди не знали, что им был Токио. Этому Токио, якуту-шаманчику из Сен-Келя, тридцать лет от роду, но выглядит он настоящим мальчишкой. Сидя верхом на лошади, он сейчас вертелся в седле, с радостным любопытством разглядывая огромное невиданное стойбище, подмигивая девушкам, приветственно кивая возбуждённым мальчишкам. Это был необыкновенный шаман. Его всегда тянуло к молодёжи и даже к детям. Лёгонький, вёрткий, он бодро улыбался, не раздумывая, включался в любую игру, даже катался с детишками на салазках, а в прятки мог играть, забыв обо всём на свете. Многие девушки в разных стойбищах сошли по нём и не скрывали, что хотели бы стать шаманками – лишь бы оказаться рядом с ним на всю жизнь. Был Токио очень красивым – лицо у него розовато-смуглое, не скуластое и не длинное, губы яркие, резко очерченные и добрые, а в карих до черноты глазах так и плещется северное сияние. Однако же всем было известно, что невинное это лицо, эти детские шалости – только прикрытие, маскировка. Скопление огромной шаманской силы – вот что в действительности представлял собой Токио. Рассказывали, что он волшебными словами исцелял умирающих, а тех, кто оскорблял его, заставлял падать и стонать от боли. Был слух, что в городе он словами сбил с коня и отправил в нижний мир жестокого казака, а такое не смог бы сделать даже верхнеколымский шаман. Добрым был шаман Токио...

Шаманы и оба купца остановились в центре стойбища, на никем не занятой площади. К ним, ковыляя кривыми ногами, подбежал старый Сайрэ. Без хитростей и присказок он поздоровался по-якутски и по-деловому сообщил, кто в какой яранге или тордохе должен расположиться. Но не успели приезжие спешиться, как со стороны Большого Улуро показался караван Куриля. Решили дождаться главного здесь человека.

Куриль тоже приехал на лошадях. С ним был скупец – старик Петрдрэ и его сын Мэникан.

Глаза верхнеколымского шамана ожили, когда голова юкагиров прыгнул с коня.

– Богатой ту-ундры правитель, диких звере-ей укротитель, – нараспев заговорил он, – голова славного юкаги-ирского рода.... Афанасий Кури-илов, дорообо³⁵. Славлю твоё высокое и-имя. Привет до-оброму сердцу и большому уму-у!

Куриль бросил поводья сыну Петрдрэ, пожал руку шаману.

– Ага... Появился мучитель людей, безжалостный старикан! – сказал, улыбаясь, Токио.

Куриль улыбнулся тоже: ему такой разговор больше нравился, чем восхваление старика.

– Идёмте в тордох, – сказал он, пожав руку промолчавшему Ивачану, а потом потному толстяку Мамахану. – И тебе привет, Саня.

Тордох был рядом. Зайдя в него, Куриль со вздохом проговорил:

– Комар начинается... Но сэспэ закрывать не будем: в темноте насидимся ещё.

– Я слы-ышал, – запел дребезжащим голосом верхнеколымский шаман, хитро прищуривая глаза, – что ваш Сайрэ-э... иногда разговаривает... с комара-ами...

³⁵ Дорообо – здравствуй.

– Не знаю, – отрезал Куриль. – У него спросите: яранга рядом. Шаманского языка не понимаю.

– О-о, не понимает обладатель... такого ума, известный человек... в мире? – не согласился старик. – Шу-утишь... боишься раскрыть свои та-айны?

– Нет у меня тайн, не шаман я – и не жалею об этом.

– Всё это странно слышать, – заметил Ивачан, с кряхтением усаживаясь поодаль. – А я почему-то издали слышал твой сильный призыв – потому и приехал.

– Неправда, – спокойно ответил Куриль. – Ты получил письмо от исправника Друскина, узнал, где все трое встретитесь, – вот и приехал. На Ясачной³⁶ вы встретились?

– О-о! – обрадовался такому ответу верхнеколымский шаман, садясь за стол. – Это и мне-е теперь странно слышать... А как же правитель Охоноо³⁷ обо всём этом узнал? Друскин ничего ему не писал... на словах не передавал...

– На шаманское прошлое деда моего намекаете? Нет. Духи тут ни при чём. Это я подумал, что по-другому быть не могло. – Куриль взглядом, будто крючком, зацепил правый, более светлый глаз старика.

Шаман с Ясачной понял его, однако не подал виду и тем же монотонно дребезжащим голосом продолжал:

– По-омню я твоего деда... Си-ильный шаман был... И духи его сильными были... Не уследил только, куда они подевались...

– Постой: а не шаманским ли волшебством ты, Апанаа, разбогател? – ляпнул напрямик Ивачан.

Длиннолицый старик сперва вроде бы удивился такому истолкованию его слов, но потом брезгливо поглядел в угол и перевёл взгляд на Куриля: что, мол, там ещё болтает куцый волк с Индигирки и стоит ли его слушать. Но это не спасло посланцев Друскина: Куриль хорошо понял их. Исправник недоволен беспорядком у юкагиров, а значит, недоволен им, головой. Если б это было так, шаманы не поднимали бы шерсть. Ивачан же хорохорится не только потому, что умом беден: ламуты когда-то увидели в Куриле заступника, а это ему не нравится до сих пор. Недовольство исправника – не пустяки. Однако сейчас хуже другое. Духи деда, смерть товарища-пастуха, даровое огромное стадо... Всё это уже пытались связать с шаманством. Но заговорить о злодействе ради богатства сейчас, когда собрано столько людей, да ещё самых жадных к слухам, когда вся тундра повернулась сюда лицом, – тут, как ни нюхай, хорошим не пахнет.

«Что ему надо? Чего он хочет? – Куриль сильно зажмурился, чтобы перед глазами растаяла красная зыбь. – Бросит камлание это чудовище – и уедет. Скажет – не могу правду узнать: тут есть более сильный шаман – душит он моих духов. Одни черти знают, на что он способен. И ничего не потеряет, если уедет. Собьёт с ног; не успеешь оглянуться, как обвинят в покушении на детей и как печатать отберут. Разорит – и хвастать будет, что победил первого хищника...» – Куриль открыл глаза и увидел перед собой отвратительное лицо слюнявого старика. Шаман следил за ним, не моргая; он ожидал ответа и наперёд знал, каким будет ответ.

³⁶ Ясачная – приток Колымы.

³⁷ Охоноо – измененное «Афанасий».

Но эта самоуверенность старика неожиданно подсказала и Курилю ответ на трудный вопрос: «Чего он хочет? Ага, – подумал он, – тут всё и сложнее, и проще: надо не так разговаривать с ним. Уважения требует. Нет, большего – признания ума и силы, преклонения перед ним. Пото-му и пугает...».

– Мамахан, – повернулся Куриль к купцу, который уже блаженство-вал над чашкой ухи, удивлённо разнюхивая пар: молодая жена Мика-лайтэгэ хоть и была страшной неряхой, но зато умела приправить еду одной ей известными травами, да так, что можно было сжевать язык. – Мамахан, я сейчас знаешь о чём подумал? Всё-таки нам придётся с то-бой поехать по острогам да поглядеть, как строятся церкви. Своего бы попа заиметь, людей приобщить к светлой вере... А то вот ждали боль-шого камлания, дождались шаманов – а они начинают с угроз. Видно, правду узнать – для них последнее дело...

Мамахан понял игру Куриля, своего давнишнего друга.

– А чего ж не поехать, – ответил он. – Исправнику дело такое понра-вится...

Мутные глаза шамана метнулись из стороны в сторону, как два зерька, ищущих норку.

– О, Куриль! Кто ж тебе угрожал? – он обтёр рукавом рот. – Ты не так понял меня. Я думал, тебе приятно будет, если я деда твоего вспомню. А Ивачан просто злой: долго ехал верхом, шибко зад растёр...

– Пусть сходит к озеру и обмоется, – оборвал его Куриль, наконец берясь за еду. – Садись, Ивачан, угощайся. Если б я был владыкой ша-манов, я приказал бы всех глупых и ненастоящих шаманов пороть. А сильным, добрым и умным шаманам придал бы ещё больше сил – чтоб не путались по разным следам, а сразу бы узнали правду.

– Да что я? – закричал Ивачан, поднимаясь. – Я шаман так себе, сред-ний. Никого не обижаю. Только следы разгадываю, если люди попросят. Не держи на сердце мои плохие слова, Апанаа.

– Когда камланить начнёте? – спросил Куриль. – Да, а где Токио?

– С ребятами борется, за тордохом, – ответила жена хозяина, тихо хлопотавшая у пуора³⁸.

Действительно, снаружи доносились топот, сопенье, ребячьи голо-са, смех.

– Позови.

– Догор³⁹, не будем больше бросаться словами, как криками голод-ные чайки, – согласился на мировую старик, почти совсем перестав рас-певать свою речь. – Я думаю, после угощения и начнём. Дорогу открою я... А потом индигирский волк будет. Последним – Митрэй. Вот он – Ми-трэй. Слышь, Токио: будешь последним камланить. А уж потом, если за-хочет, Сайрэ. – Он испытующе посмотрел в глаза Курилю: не будет ли, мол, возражений! И хоть порядок этот явно играл на его руку. Куриль ответил:

– Мне всё равно.

Шаман еле сдержал тяжкий вздох. «Хитёр, лысый дьявол», – сказали его глаза.

Токио стоял перед почтенными людьми растерзанный, красный,

³⁸ Пуор – хозяйственный, «женский» угол в тордохе; кухня.

³⁹ Догор – друг (якут.).

весь в пыли и приставших к одежде травинках. Но он ничуть не считал себя провинившимся или ничтожным.

– Я на улице буду камлать, – твёрдо сказал он.

– На улице? Это как же – при свете? – не донёс до рта мясо Куриль.

– Без темноты обойдусь. Могу и без песни, могу и без бубна...

– Распорядись, догор Афанасий, чтоб тордох ставили. Пусть большой ставят. Детей не пускать. Только двоих – мальчика Ханидо и девочку Халерху.

Белолицая, красивая, но растрёпанная и грязная хозяйка тордоха потчевала гостей с таким увлечением и старанием, что они не знали, радоваться им или злиться. Уха, молодая оленина, вареный чир, печень налима – всё было приготовлено будто для самого исправника. Но женщина вертелась возле стола, как комар перед глазом; изодранную доху она надела внакидку, и рукава летали в воздухе, чуть не шлепая гостей по лицам. Куриль тихо бесился, но проклинал не её, а Пураму: это он – тёмный, как тайга, человек – настоял, чтобы гостей «хорошо покормили»...

Как бы то ни было, а за время потчевания люди успели разобрать два тордоха и соорудить из них один огромный. И костёр уже разоггли в центре его – чтоб прогнать комаров, а потом сушить на нём бубны.

А возле маленькой для такой громады двери собиралась, шумела толпа. Стало известно, что детей не будут впускать, но всем матерям хотелось непременно быть на камлании – и начался спор, кому «по справедливости» надо оставаться с детьми, если всех их оставить в двух ближних тордохах. Мужчины тоже сводили счёты, правда, совсем иные. Нужно было выделить несколько человек на очень важное и почётное дело. Шаман во время камлания может упасть, а это большая беда, которую нельзя допустить. Шаман рухнет на землю – и люди вскрикнут от ужаса: кто-то из них обязательно умрёт, могут умереть даже несколько человек... Мужчинам и хотелось прославиться, и было боязно: больно уж огромен один из шаманов. Двоим предстояло оберегать камлающего, а ещё двоим держать верёвку, чтоб шаман не упал на людей.

Толпа шумела – а в это время позади неё шла древнейшая игра мальчишек в салки – догонялки – толкалки. Всегда страдающие от этой игры девушки, однако, упрямо не смешивались с толпой. Вместе с ребятами носился здесь, как жеребёнок, и Митрэй Токио. И если молодым было просто весело, то взрослые и пожилые хорошо знали, что это вовсе не игра: странный, непонятный, но знаменитый шаман Токио не зря бегает, не зря распаляет себя...

Верхнеколымский шаман наряжался за небольшим пологом. Он вынул из мешка огромный бубен, увесистую колотушку, потом истрёпанную доху, в которой утонули бы вдвоём Ивачан и Токио, вытянул пояссок с амулетами, ожерелье с колокольчиками, деревянных и костяных человечков, коротко опилённые оленье рога. Он одевался – а лицо его было уже нездоровым, бледным, глаза ни на чём не останавливались, с губ сильно стекала слюна.

Тордох между тем быстро наполнялся людьми – и вскоре нимэдайл⁴⁰ задрожал от напора. Не дожидаясь, пока каждый найдёт себе место и

⁴⁰ Нимэдайл – треножная основа тордоха.

пока закроют сэспэ и онидигил⁴¹, наряжённый шаман вышел на середину и уселся рядом с другими шаманами. Сюда же, к середине, протискивались ещё два человека, за которыми и закрылась сэспэ. Этими двумя были совсем осунувшийся старик Хуларха с маленькой дочерью на руках и растерянный, как ребёнок, Нявал с сыном, обхватившим ручонками его шею. Кроме приезжих шаманов, в центре сидели ещё Куриль и шаман Сайрэ.

На большое камлание Сайрэ пришёл хорошо одетым, помолодевшим. На голове у него был новенький малахай, и под этим малахаем лицо, покрытое редкими волосинками бороды и усов, казалось благообразным, чинным – даже испорченный глаз как будто расширился. По всему было заметно, что Сайрэ чувствует себя чуть ли не в «верхнем мире». Люди понимали его: ведь он, а не кто-то другой, встал на защиту детей, он поднял на ноги не одну тундру, и по его призыву сейчас начнётся такое неслыханное камлание – всего этого достаточно, чтобы переживать настоящее шаманское счастье, которое теперь останется с ним до конца жизни. Конечно, сейчас могут сказать, что он ошибся в разгадке тайны. Но неужели Сайрэ не готов постоять за себя?! Наверняка духи его окрепли, и он теперь способен узнать куда больше, чем узнал год назад.

Между тем Сайрэ действительно знал больше других и был уверен, что опрокинет даже шамана с Ясачной. Кто видел, как Мельгайвач менялся с Эргэйуо ножами? Никто. А он видел, и, если что, Мельгайвач признает это... Сейчас Сайрэ, однако, вовсе не думал о доказательствах своей правоты, которые можно предъявить и без камлания. Он удивлялся своей способности угадывать связь происходящего с прошлым, и угадывать быстро, без подготовки. Ведь в тот день, когда он шёл за Нявалом, он не думал ни о чукотском шамане, ни о Потонче, ни о несчастной красавице Пайпэткэ. Полусонный, он думал о своей жизни и старости, о том, что делает людям добро, а остаётся бесславным и бедным. И только потом его озарило: после камлания стал говорить, и слова сами собой сплели прочную сеть, именно тут вспомнился случай с обменом ножами и всплыло красное, довольное лицо Мельгайвача, с улыбкой сказавшего что-то полоумному парню, который радостно и опасно схватил нож с белой ручкой... Нет, к Сайрэ приходит настоящее вдохновение, он – настоящий шаман. Придёт вдохновение и теперь; что подскажет оно – неизвестно, но он чувствует в себе силу, уверенность...

Став ногами на землю, Ханидо и Халерха даже не обратили внимания на людей, жадно, со всех сторон глядевших на них. Звон колокольчиков наряженного шамана был важнее всего на свете, и оба они потянулись руками к блестящим игрушкам. А когда рогатый, бледный шаман, как свирепый бык, недовольно повернул к ним лицо – они дружно захохотали.

Тут, однако, заткнули онидигил, и тордох сразу погрузился в потёмки. И пока глаза людей привыкали к темноте, в наступившей тишине вдруг раздался пронзительный плач, такой же дружный, каким был и смех.

Тугой и звонкий гром нагретого бубна заглушил детский плач.

Камлание началось.

⁴¹ Онидигил – дымоход, отверстие в верхушке тордоха.

Гусиный прерывистый крик огласил огромный тордох. Крик неожиданно оборвался, и словно другой человек очень спокойно запел протяжную песню каюра. Но песня тянулась недолго: шаман прыгнул, затрясся, рассыпав отчаянный звон колокольцев. Звон смешался с рычанием, и всё это слилось с грохотом бубна. Нагнетать звуки дальше было нельзя, и шаман, наверно, хотел снова запеть, но его опередил отчаянный плач детей. Халерха не плакала, а визжала, Ханидо хрипел, вырываясь из рук отца.

Токио встал.

– Нюхать! – сказал торопливо он. – Шаман будет девочку нюхать.

Огромный рослый Ланга, оберегавший шамана, бросился к Хулархе и прямо-таки отодрал от него цепкую Халерху. Рогатый старик быстро обнюхал девочку, поймал её руку, разжал ладошку и плюнул в неё.

– Сомкни ручку – в ней большая силища, – сказал он и отскочил в сторону, прыгнул, завертел головой, заколотил в бубен.

Старик Хуларха, заворожённый происшедшим, прижал к себе дочь и крепко обхватил её кулачок пальцами – словно в нём была великая драгоценность, а несмышлёный ребёнок может её потерять. Видя, что с девочкой что-то делают в темноте, Ханидо стал навиваться, хрипеть взахлёб, и Нявал, растерявшись, искал глазами жену...

А камлание продолжалось. Мало кто из людей знал якутский язык, но понять шамана с Ясачной не смогли бы даже сами якуты – шептал он неслышно, приговаривал, заклинал скороговоркой, а пел медленно, уродуя и разрывая слова. С трудом удавалось сообразить, что вот он поднялся в «верхний мир», вот подзывает своих духов и объясняет, что надо им делать.

Куриль сначала следил за ним пристально, с подозрением; он даже улыбнулся, прикрыв рот ладонью, – было смешно смотреть, как кривляется, прыгает, скачет неуклюжий, длинный старик, слишком умный для такого кривляния. Но когда он заметил на его губах пену – закрыл глаза, надолго закрыл, – и задумался. Кто знает, может, действительно человек, распалив себя до настоящего бешенства, способен мыслить как-то иначе и видеть то, чего не видят другие?

Открыл он глаза, когда люди вскрикнули от испуга: шаман упал на верёвку, которую изо всех сил натягивали Пурама и Хурул. Широкоплечий Ланга и крепкий мужик Микалайтэгэ схватили его, начали поднимать, но старик бился в судороге; как прирезанный олень, он дрыгал одной ногой в воздухе, а правая рука продолжала конвульсивно взмахивать колотушкой.

Но это не оказалось концом. Шаман вдруг ожил; словно проснувшись и вспомнив о деле, он метнулся, прыгнул, загоготал, закричал нечеловеческим голосом – но очень быстро обмяк и, опустив руки с бубном и колотушкой, сказал:

– Посадите меня...

В тёмном и душном тордохе наступила долгожданная тишина. Раскинув ноги и уронив на грудь голову, старик тяжело дышал. Так он сидел очень долго, пока наконец не попросил:

– Рыбьей крови... дайте попить.

В тордохе совсем исчезли звуки – даже дыхания и шуршания одежды не стало слышно: сейчас шаман начнёт говорить.

– Следы девочки... обнаружил я вокруг вашего стойбища, – объявил старик, отдавая опустевшую медную кружку, – они смешаны со следами... шамана-чукчи... Но Мельгайвач... не виноват. Зря на него злитесь... Воображение вас... обманывает... не настолько он кровожаден, чтоб убивать... невинных детей... Не Мельгайвач нашёл духов – они сами... нашли его. Они нападают от его имени и следы оставляют его. Но он не знает... Такие духи... Если же вы будете обижать этого человека, то он рассердится, разозлится, а злость его превратится в крылья духов, и тогда духи сделают всё, что задумает он. Не трогайте больше Мельгайвача.

Эти слова были такими неожиданными и такими понятными, что тишина сразу же нарушилась общим говором. Каждый судил по-своему.

– Хм, хорошо сказал, хорошо сказал, – бубнил себе под нос Сайрэ, ни к кому не обращаясь. – Но духов не удушил. Почему же не удушил?

Верхнеколымский шаман, не вставая, отполз назад, к Курилю.

– Тяжко камлать с дороги, – пожаловался он по-простому.

Куриль подался к нему:

– Спасибо тебе, хайче. Правда твоя облегчит души людей.

Народ судачил, а индигирский шаман уже переодевался и отдавал распоряжения. Как все ламутские шаманы, он потребовал перед камланием исполнить его условия. Сейчас надо было убить двух собак, кобеля и сучку, и захоронить их под скалою едомы. Для этого дела нужен был человек, и он быстро нашёлся: Пурама бросил верёвку, перешагивая через сидящих, пробрался к двери, с кем-то поговорил и сказал, уходя:

– Всё сделаем быстро и точно.

А пока завернули полы двери, пустили в тордох свет и воздух. Сильный угарный дым пластом потянулся наружу.

– Когда руку-то можно разжать? – спросил Хуларха Нявала.

Отец мальчика Ханидо, Нявал, был таким же молчаливым, как и старик Хуларха. Вечно приоткрытый и будто на ветру высохший рот его словно и не был приспособлен для разговора. Вместо ответа Нявал сейчас только пошевелил языком, и это означало, что он не знает, когда девочке можно разжать ладошку, в которую плюнул шаман.

Дети сидели у них на коленях теперь спокойно. Может, поняли, что здесь, в этом страшном загоне, нет надёжнее и безопаснее места, а может, обессилели просто. Щёки Халерхи и Ханидо были сплошь в грязных узорах и в дорожках от слёз. Глаза их смотрели на дверь, в сторону света, но смотрели смиренно и безразлично...

Духи ламутских, юкагирских и чукотских шаманов всегда считались слабее якутских. Но от ламута Ивачана люди ждали многого: слишком страшной была его слава, и как знать – может, он сделает то, чего не сделал верхнеколымский шаман.

Пурама вернулся, еле переводя дыхание. Он тут же схватил верёвку – и эта его ревностная служба шаманам для Ивачана была как нельзя кстати: выступать сразу же после могучего старика якута, да ещё перед чужими людьми, нелегко.

Долгим грохотом вновь нагретого бубна начал камлание индигирский шаман. Первые заклинания он произнёс кратко, поспешно. Потом и песни его оказались недлинными. Ивачан больше бил в бубен – бил,

бил и бил, будто заранее предвещая победу своих духов над духами Мельгайвача... И он поднялся в «верхний мир»: грохот быстро вдохновил его... Потом он упал на верёвку, упал раз, упал второй раз; поставленный на ноги, он продолжал шептать, приговаривать, отчаянно колотить в бубен и прыгать, широко расставляя кривые ноги.

«Хватило бы у него ума сказать, что передушил всех злых духов... – размышлял Куриль, неприязненно наблюдая за Ивачаном. – Всем бы хорошо сделал – и людям, и мне, и себе». Куриль был убеждён, что слава индигирского шамана держится на сплошном обмане, на хитром использовании случайностей: знал он, почему и как умерли его родственники... Сейчас Ивачан и на верёвку-то падает не потому, что переносится в иной мир, а из-за усталости, да и прыгает впрыскалку вовсе не ради дела, а потому что ляжки в дороге натёр, и так ему, видно, легче, только люди не знают этого...

Опущенный на землю индигирский шаман не стал отдыхать долго. И не случайно, что никаких новостей он не принёс.

– Много следов вокруг вашего стойбища... Так много, что я долго по кругу ходил... Но следы верхнеколымского шамана указали путь в глубину тёмного мира... Духи сами натравливают вас на Мельгайвача... Не поддавайтесь им, а то беда будет. А Мельгайвач не виноват – он хотел бы навсегда усмирить их, да не может...

Куриль едва удержался, чтобы не сплунуть. Знал, что сплунуть в такой момент, да ещё перед народом – значит надругаться над верой людей и над шаманом, но всё-таки чуть не решился на это. «Несчастный подражатель! – кипел он. – Хотя бы слова-то свои придумал...» Он встал и поспешно вышел из тордоха.

Наматывая на локоть верёвку, Пурама недоуменно посмотрел ему в спину, потом перевёл взгляд на Сайрэ, который сидел в глубокой задумчивости, не двигаясь. Первый раз в жизни простой охотник почувствовал что-то неладное. Опять голова Куриль вмешивается в шаманские дела, опять происходит что-то такое, что скрыто от него и всех простых людей... Теперь он видит это, хорошо видит. Острые, как охотничий нож, вопросы кольнули его сердце: «Голова требует от них что-то? А они не слушают его? А разве можно от них что-то требовать?...»

Куриль между тем остановился возле своего тордоха. Его распирало желание сейчас же сесть на коня, бросить всё и уехать в свой Булгунях. Ему теперь было всё ясно: шаманы хоть и не добились от него особых почестей, не заставили его унижаться, но упрямо не хотят начисто покончить со склокой – оставляют для Сайрэ широкую щель. Ведь нельзя же поверить, чтобы духи шамана-якута – если они есть – не передушили духов чукчи! Не хотят шаманы – и не боятся слабость свою показать... Куриль услышал говор выходивших из большого тордоха людей – и ещё отчётливее представил себе, что всё останется по-прежнему, когда шаманы уедут. И он заколебался: может, поглядеть, что будет дальше?

Чьи-то шаги стихли за его спиной. Он оглянулся – и увидел Нявала с ребёнком на руках и его жену.

– Это... Куриль... Как мне сказать-то? – с трудом заворочал языком Нявал.

– Ну, как думаешь, так и скажи.

– Да как я думаю... И не знаю как...

– Завтра же следы нашего Ханидо разгадывать будут, – вмешалась жена Нявала. – Ты не ругай, что я за него говорю... Я и угощение приготовила.

– Приду, – сказал Куриль. – Вот выплюсь – и приду... Чего это мальчик лицом вроде переменялся?

– Это... так... значит... – Нявал поводил по бледному и грязному лицу сына сухим скрюченным пальцем. – Комары покусали его.

– Ты вот что, Нявал, иди-ка к моему дяде Петрдэ: у него горькая вода есть. Пятки мальчишке натереть надо – я слышал, в остроге делают так. А то болеть будет.

Жена Нявала, вдруг сделавшись неподвижной, стала тихонько щипать мужа – мол, не соглашайся, идём поскорей. Куриль заметил это. «Не даст же водки этот жадюга, – подумал он. – Или счёл совет нехорошим?»

– Ладно, приду, – сказал Куриль, отворачиваясь от них.

До самого вечера голова юкагиров не встречался с шаманами. Но когда настало время идти в гости, он решил, что нельзя совсем обходить их – обидятся, разозлятся, да и люди станут глядеть с подозрением – а это пользы не принесёт.

В отличие от неряшливой жены Микалайтэгэ, жена Нявала была очень опрятной, аккуратной, не надоедливой. Еду она подала вкусную, добрую. Уха была свежей, без всяких приправ, а потому и особенно вкусной. Подала она жареную печень, икру и такую жирную юколу, что, когда стали её есть, запивая чаем, жир потёк на одежду ручьями. Словом, все – и шаманы, и Куриль, пришедший вместе с дядей Петрдэ, – были очень довольны. И, может быть, поэтому попытки Куриля завязать серьёзный разговор были вялыми, да и шаманы переводили его на простую беседу о прошлом, на мудрую болтовню о повседневных делах, и слабый заряд Куриля пропадал даром.

Разошлись поздно, когда солнце оставило над тундрой лишь макушку с золочёными стрелами.

Слух о том, что на второй день первым будет камланить Токио, облетел стойбище быстрее другого известия. Языки у девушек молодые и звонкие...

Девушки-то и взбудоражили стойбище раньше времени. Было ещё далеко до полудня, когда они уже заняли лучшие места в большом тордохе. За ними потянулись и взрослые.

Все их приготовления и ожидания, однако, оказались напрасными. Перед камланием появился Сайрэ.

– Разве женщина будет камланить? – спросил он, обведя взглядом плотное кольцо девичьих лиц. – Нет, нельзя.

Духи сразу почуют ваш запах и не будут подчиняться шаманам.

И поползли одна за другой из тордоха принаряженные невесты. И Токио глядел в их лица и подмигивал: не унывайте, мол.

– Ну и камлание... – кряхтя, проговорила Лэмбукиэ, выползая в первый ряд. – Игра, а не камлание. А вчера я чуть не плюнула, прости меня бог...

– Люди, вы так не говорите, – сказал Сайрэ, – и не думайте, что старый якут вас не поймёт: мысленно он может подслушать и беду напустить.

– А беда и так уже есть! – рада была прицепиться к словам болтливая Лэмбукиэ. – Чего же он вчера с полпути вернулся? Чего ж не придушил духов? От беды избавить не смог, а напустить беду может?.. Посмотрим, что молодой сделает. А от этого старого чёрта и ждать было нечего...

И, как всегда, вмешался муж Лэмбукиэ. Началась перебранка: он опять стукнул жену по рукаву, та вспыхнула, назвала его дряхлым оленем, а он её старой важенкой. И пошло... Только народ сегодня почему-то не одёргивал их, не открепивался от грешных слов, которые сыпала Лэмбукиэ на голову шамана-якута. Но Сайрэ крепко зажмурил свой глаз, давая людям понять, что от этих её слов у него в голове потемнело. Так, с зажмуренным глазом, он и хотел было сесть рядом с Токио, но перебранка вдруг оборвалась.

– Ты сказала – чёрт, – набросился он на Лэмбукиэ. – Мы на чертей больше похожи, чем якуты. Якуты чисто живут, грязь не любят, вшей не заводят. И русские так же живут. А мы во вшах видим счастье⁴², считаем, что человек будет богатым, если у него волосы от пота и грязи лоснятся... Но ты помнишь, что кулумский поп говорил? Помнишь? Бог сказал людям: грязное тело – всё равно, что грешное тело...

Это был неожиданный поворот в разговоре, и Лэмбукиэ не нашла, что ответить. Да тут кстати появились и оба шамана.

Сайрэ повернулся и увидел, что Куриль уже сидит возле Токио, – он наверняка всё слышал. Нехорошо получилось. Вчера Куриль при всех высказал недовольство приезжими шаманами, а он, Сайрэ, сегодня защищает их.

И чтобы сбить с толку всех, но особенно Куриля, он решительно сел рядом с ним, а не с шаманами: пусть думает, что неправильно поняла его...

Люди ждали камлания, а Токио всё не вставал и не брал бубна. Молодой шаман сидел, а потом зачем-то лёг и подпёр ладонью голову. Сначала никто не обратил внимания и на его тихую песню. Но когда песня усилилась и сменилась шёпотом – заклинаниями, – люди вдруг поняли, что камлание-то уже идёт.

Ни бубна, ни амулетов у Токио не было. Он просто надел короткую драную дошку, подпоясался тонким ремнём и начал, не сходя с места.

Когда все насторожились, Токио сел. Сел, но бубна опять не взял. Так, сидя, он на новый лад затянул негромкую песню. Он пел, пел и пел, лишь изредка поднимая или опуская голову – чтобы прошептать заклинания. В тордохе установилась такая тишина, какая бывает в безветренный день в глухой зимней тундре. Люди пытались лучше слышать слова и сдерживали дыхание.

А конца песни не было. Токио пел о своей длинной дороге в тот мир, где обитают духи, и дорога его не была такой запутанной, как у ламутского шамана... Вот он встретил одного своего духа, второго, третьего, четвертого, вот он спокойно разговаривает с ними, узнаёт от них новости – какие, этого никто пока что не знает... А дорога тянется и тянется,

⁴² У юкагиров было поверье: выдавая дочь замуж, родители высказывали пожелание, чтобы у неё в волосах «черви» водились. Это означало, что они желают дочери быть сытой и здоровой, ибо вши будто бы не водятся у голодных и хилых людей.

и нет впереди никаких примет, которые заставили бы ожидать что-то удивительное или тревожное...

Шаманы, Куриль и родители с детьми, как и вчера, сидели в центре. Шаманы, смакуя, пили рыбью кровь, похожую на жиденькую кашицу, – это любимое питьё шаманов всё утро и половину дня готовили жёны Нявала и Хулархи. Куриль сидел с закрытыми глазами, не двигаясь. Он ни о чём не думал, а только ожидал конца песни. Но потом голова его как-то сразу склонилась на грудь – и он вдруг очнулся. «Смотри-ка: в сон клонит, – удивился Куриль. – Уж не усыпляет ли этот волчонок?» Тревожно оглядев людей, он заметил, что все стали какими-то вялыми, разомлевшими, а девочка Халерха спокойно спала на коленях отца, спал и Ханидо, откинув руку. «Вот оно – волшебство!» – подумал Куриль и почувствовал, как сильно забилося сердце.

Все муки из-за шаманства Куриль потому и испытывал, что верил чудесам и не верил. Однажды умирала женщина, а шаман, покамлавив, сказал, что она завтра же выздоровеет. Но женщина умерла. Шамана упрекнули, а он ответил, что его надо было понимать в обратном смысле: выздоровление – это ведь вечный отдых. Вот тогда-то Куриль и смекнул, что точно так же мог бы выкрутиться и он, и любой другой человек – нужна только хитрость. Но Куриль знал и другие случаи. Он хорошо помнит, как один шаман приказал больному побегать возле озера – и тот сразу выздоровел. А его дядя – шаман призывал в тордох птичек и гусей – ведь можно же одним взглядом заставить собаку прыгнуть в воду, наверно, можно и вызвать к себе птицу?..

Пока Куриль соображал, что лучше – отдаться силе волшебства и испытать неиспытанное или, наоборот, постараться сохранить бодрость и на всё поглядеть со стороны, шаман Токио тихо смолк и неожиданно вскочил на ноги.

– Эй, проснитесь! – с мальчишеским торжеством крикнул он. – Я вернулся уже.

Люди заворочались. Некоторые из них действительно сладко дремали.

– Посидите здесь, – сказал Токио, – а я пойду чаю попью.

– Стой! – запротестовал Куриль. – Кто же так делает?

– Я делаю, – ответил шаман. – Если не устали, то спите. А я пойду.

И он ушёл.

– Плут, – шепнул Курилю на ухо Сайрэ. – Под долгую песню в тепле всякий заснёт.

– Вели-и-и-кий шаман, вели-икий, – скрипуче пропел верхнеколымский старец, – а будет совсем великим...

– Похоже на это, – согласился с ним Ивачан. – Сила в нём огромная...

Куриль, заметив, что Пурама, скручивая не пригодившуюся нынче верёвку, стал на колени и смотрит прямо ему в рот, торжествующе заёрзал на месте: ему пришла в голову мысль спросить Сайрэ – сильный ли шаман Токио, спросить при свидетеле. Что скажет он не на ухо, а для людей?.. Сайрэ, однако, почуял неладное и заторопился: ведь наступала его очередь камланить.

– Пойду спрошу Пайпэткэ, всё ли она принесла мне, – сказал он, вставая.

Куриль ничего не ответил. Он только сдвинул брови и, глядя в лицо Пурамы, как-то странно, с тяжёлым вздохом покачал головой.

Токио долго не появлялся в тордохе. Время шло, людям уже надоело сидеть в темноте и духоте, а его всё не было. Забеспокоились и шаманы, начали переговариваться.

– Догор, – наконец не выдержал верхнеколымский шаман, – сходи, догор, узнай, скоро ли...

Пурама в этот раз не бросился со всех ног выполнять просьбу. Он сидел, подумал и лишь после этого пополз к двери.

Вернулся он быстро. Вернулся, но в тордох не вошёл, а только просунул в дверь голову.

– Там... шаман ваш... за девочками бегают! – сообщил он. – По траве... за холмом...

Люди сразу вскочили и чуть было не подняли тордох на своих спинах и головах. Потом все ринулись на коленях к выходу, оттесняя и подталкивая друг друга. Одни шаманы да Куриль остались на месте. Проснулись и дети. Ничего не понимая, они стали метаться, а потом заорали, стараясь то спрятать лица, то вновь увидеть эту страшную суматоху в темноте и мелькающем свете.

– Малаак⁴³, – громко и зло сказал Куриль. – Зовите его сюда. И быстрее.

Верхнеколымский шаман задвигал своими мутными глазами, заворочал языком в опущенном углу рта. Вышел скандал, и он не знал, что делать.

А Токио между тем летел по скату холма вниз, догоняя сразу двух девушек, которые уж не могли ни остановиться, ни разбежаться в стороны. В руках у Токио был мох. Вот он поймал одну за шиворот и на бегу начал запихивать ей этот мох за воротник. Люди, стоя в рост или на четвереньках, глядели на эту игру так, словно там, на холме, был совсем иной, незнакомый им мир.

Вернулся Токио в тордох, когда все уже вновь заняли места. Он тяжело дышал и весело, как ни в чём не бывало, оглядывал людей.

– Гы, вы не спите! – сказал он и начал снимать рваную шаманскую дошку.

– Митрэ – эй, – недовольно прогнусавил верхнеколымский шаман, – ты к другому, видно, готовишься делу, а первое не закончил...

– А я... я прямо бежал сюда... С разгона и думал заговорить...

– Ну, говори.

– Дайте попить... Вести я обдумал, пока бегал... А в духоте разве обдумаешь? – Он прилип губами к краю кружки и стал жадно, с наслаждением пить воду. – Сын Нявала... будет... хорошим охотником и пастухом... А дочь Хулархи... будет хорошей женщиной.

– Значит, духи Мельгайвача не тронут их? – спросил Куриль. – Это новость. Может, ты передумал духов? Или у тебя сил хватает только на то, что душить наших девушек?

Раздался хохот. Лэмбукиэ, вырвав изо рта трубку, взвизгнула от удовольствия – и если б не задрала ноги, то упала бы на колени Пурамы, который сидел сзади неё. «А что? – подумал Куриль. – Они не боятся морочить головы, а я чего-то боюсь и молчу».

⁴³ Малаак – ну-ка.

– Зря смеётесь... – серьёзно и обиженно сказал Токио, смело усаживаясь между Курилем и верхнеколымским шаманом. – Я... я не всё сказал. Я задушил духов... пока вы спали и готовились похохотать...

Шум смолк, как озёрная волна в притоке.

– Всех? – спросил Куриль.

– Надо бы всех, – подсказал криворотый старик.

– Нет, – вздохнул Токио. – Нескольких. Но самых злых. – Он почти незаметно завертел головой, стремясь не пропустить даже шёпота, который мог прозвучать и справа, и слева. Куриль, однако, лишь засопел, а старик якут не подал и звука. – Я сказал всё!

Наряженный Сайрэ, стоявший позади них, прыгнул в сторону и ударил в бубен.

Так, без перерыва, началось последнее выступление. Все, кто находился в тордохе, а особенно улурочи, жители здешних стойбищ, хорошо понимали, что Сайрэ мог бы и не выступать – он ведь оказался прав и ему теперь можно удалиться с достоинством, которого хватит до конца жизни. Но раз он решился, значит, уж неспроста. И люди наперёд знали, на что он решился: конечно, Сайрэ попытается удушить последних духов Мельгайвача – ему, старику, может быть, и не представится больше случая показать свою силу вот так, на глазах у всей тундры...

Сайрэ не стал удивлять людей ни громкими криками, ни грохотом бубна, ни усыпляющей песней. Он камланил для себя, для одного себя, – и потому люди следили за ним как бы со стороны. Но так было только сначала. Камлание длилось долго, старик вдохновлялся всё сильнее и сильнее, и наконец оказалось невозможным следить за ним без сочувствия. Вот поэтому-то тордох и огласился общим негромким криком, когда шаман вдруг простонал и замолк. Тордох будто вымер на одно мгновение.

Ланга обхватил старика сзади под руки, а Пурама, решивший не выходить больше в круг, не удержался – выскочил на середину и тоже обхватил старика.

У Сайрэ был тяжёлый обморок. Возле него суеилось уже четверо мужиков, шаманка Тачана, и Пайпэткэ стояла на коленях перед верёвкой в оцепенении – как-никак, а с мужем что-то случилось.

Заволновался и Куриль: здешний шаман старый, и как узнаешь – может, у него кровь пошла внутрь. Но голова юкагиров, волнуясь, одновременно и злился на него: «Выскочил, старый чёрт! Не усидел. Как же: мало имя его вспоминали...».

Тяжёлая тишина, в которой отчётливо было слышно хрипение старика, тянулась долго, но наконец в тишине этой прозвучал слабый голос:

– Сесть хочу...

И люди дружно вздохнули.

– Я... на ровном поле видел следы когтей, – отдышавшись, начал рассказ Сайрэ. – Прошел ещё – и опять следы когтей. Потом различил совсем свежие следы двух шаманов, которые так перепутались, что я ничего не сумел понять. Но и тут были царапины от когтей, и я догадался, что это Токио дрался с духами Мельгайвача. Но я не увидел духов, которых не успел придушить Токио: они, наверное, испугались, стали беглыми, как снег, и среди морских льдин их нельзя было увидеть... Токио

будет великим шаманом. А Мельгайвач шаман слабый, он не сможет управлять даже теми духами, которые уцелели сегодня... Мы должны преклониться перед шаманами, гостями нашими, которые избавили детей и сородичей наших от бед. Всё я сказал. Дайте мне пить, а сами идите к своим очагам.

Сильно потеряв руками лицо, Куриль неопределённо крикнул. Как и вчера, он встал и, ничего не сказав, ни на кого даже не глянув, шагнул к выходу. Шаманы остались шаманами!

Направляясь к своему тордоху, где после камлания должны были собраться самые важные гости, Куриль обдумывал – как ему поступить, как сделать, чтобы и шаманам отказать в прощальном обеде и всех людей не обидеть этим отказом. Душу его мучила злость, но злость тихая и бессильная. «Знаю я ваш шаманский язык, хорошо знаю, – раздумывал он. – Всё наоборот у вас: «надо бы передушить всех злых духов» – это значит «не надо». Но раз ты, кукул криворотый, подсказал это и знал, что я всё пойму, то теперь мой черёд кидать аркан на рога...»

Перед самым тордохом Куриль, однако, решил быть мудрее.

– Ке! – сказал он, раздвинув полы ровдуги. – Ке, гости идут. У тебя всё готово? Ты хорошо угощай шаманов. А старика якута и Сайрэ – особенно.

ГЛАВА 4

О большом камлании в Улуро люди потом говорили много и много лун. Вспоминать предсказания знаменитых шаманов приходилось и по воле, и поневоле. Зима сменялась летом, лето – зимой, а несчастья не покидали окрестные тундры. То само собой выстрелит новенькое ружьё и убьёт охотника, отдавшего за него ворох шкур, то болото проглотит доброго пастуха и оставит об этом примету – малахай между кочками, то уйдёт из жизни молодая жена, бросив несчастного старика с младенцем и детьми от первой жены...

Сперва редко, а потом всё чаще шаманы опять стали валить вину на Мельгайвача. Всё упорней и упорней говорили о том, что его слабые духи, которых не передушили на камлании, обрели злую силу и мстят за своих сотоварищей.

Сам Мельгайвач за это время многое пережил. Узнав, что он никогда своими духами не управлял, люди быстро от него отвернулись; потом многие стали желать ему всяческих бед – чтоб он поскорей покинул мир, а духи нашли другого хозяина – где-нибудь за горами-лесами. И хоть он оправдывался, хоть напоминал кому только мог, что никогда настоящим шаманом себя не считал, большое богатство его перестало расти. Постарел Мельгайвач, сдал лицом.

Однажды заехал к нему Кака. Сели пить чай.

– Знаешь, что меня мучает, мэй? – сказал ему Мельгайвач. – Одно сомнение мучает. Уж если столько бед людям приносят мои кровожадные духи, то почему не натравить на них Токио? Он ведь может покончить с ними. Но раз Токио не делает этого – значит, виноват не я, а другие шаманы. Но мне кажется, что ни Токио, ни я тут ни при чём. Слушай: а не портят ли всё-таки наших людей духи шамана Чери? Сам подумай –

зачем было хоронить его, а сверху на могилу класть камень? Я что хочу тебе предложить? Давай поедem к Прорве и положим на его могилу ещё камней и сверху, и кругом могилы. А? Как думаешь ты? Попробуем и поглядим, что будет...

– Нет, – отказал Кака, немного подумав. – А если Чери привязал своих духов к могиле? Они же съедят нас с тобой! Нет, ты лучше посоветуйся с шаманом Пэлтэном или с самим Сайрэ... А вот помочь тебе обрести власть над духами – это бы я согласился.

– Полстада отдать за это – как говорил?

– Но ты же снова разбогатеешь! А так, без славы шамана, ты потеряешь больше.

– Нет, пусть стадо походит...

И только ушёл Кака – Мельгайвач стал собираться в дорогу. Он решил ехать к Сайрэ; встречаться с Пэлтэном – дело пустое, Кака мог бы и не говорить о нём... Понимал Мельгайвач, что показаться в Улуро, да ещё в тордохе шамана, разбившего всю его жизнь, – значит унизиться до конца. Тем более нелегко ехать, что придётся встретиться с Пайпэткэ, которая стала женой шамана Сайрэ, – каждому из троих будет тяжело, неловко, тесно... Дело, однако, слишком серьёзное, чтобы со всем этим считаться. Даже больше того, с этим давно не надо было считаться. Кака путал его. Вот уже больше двух лет он предлагает одно и то же: или половина стада, а стадо огромное, или унижение перед Сайрэ. И Мельгайвач содрогался – слишком дорого ценится унижение. Но сегодня он словно прозрел: да ведь Кака вымогает, запугивает и вымогает! Всё надо было сделать наоборот, и сделать сразу, давно. Ведь если поехать к Сайрэ, все обернётся как нельзя лучше: и стадо останется, и травле придёт конец, а может случиться и так, что обольщённый старик захочет стать покровителем. Есть у унижения другая цена, есть! Да к тому же и само унижение-то не вечно – дряхлый Сайрэ долго не проживёт, а смерть его можно будет использовать как угодно...

С такими мыслями, ободрённый, Мельгайвач и погнал оленей по крепкому, как головка сахара, снегу. За всеми этими предчувствиями удач уже стояла и более близкая радость: вот вернётся он из Улуро – и первое, что сделает, это молча повертит перед носом чёрта Каки своей огромной хваткой рукой... Лютый холод был ему нипочём: оделся он славно – два таких же мороза не одолеют, да и ветра нет в тундре. Глянув на яркие звёзды, впервые за эти долгие годы повеселевший шаман – не шаман Мельгайвач – затянул песню, как заправский каюр.

Не знал Мельгайвач, однако, что приедет он не совсем к стати.

Вот уже несколько суток на берегах озёр трещали бешеные морозы. Лёд на Малом Улуро то и дело ухал, будто предупреждая людей, что земля может лопнуть и поглотить в свой нижний мир всё живое. Ещё до этих морозов стойбище опустело – все уехали дальше от берега, где всегда тянет железным ветром, кто в тундру уехал, кто в лес. Шаману Сайрэ незачем было трогаться с места: он не охотился и не пас оленей, еды в мешках было достаточно, а люди всё равно вернутся сюда... Оставшись в одиноком тордохе вдвоём, Пайпэткэ и Сайрэ или молчали, слушая грохот озёрного льда, или принимались за привычное дело – за упрёки и ссоры. Чем же заняться ещё? Ну вытащит Пайпэткэ полог, кое-как собьёт с него иней и лёд – и опять к очагу. А очаг-то еле горит,

разжечь бы его посильней – может, и повеселело бы, но тальника заготовлено мало, а зима только на середине... Пайпэткэ была никудышной хозяйкой. Да она и не думала стать хорошей, а Сайрэ упрямо надеялся – и то ругал её, то учил, то просто ворчал. Первое время молодая жена сносила всё это, а потом язык её развязался...

Пайпэткэ не помнила ни матери, ни отца. Бездетный дядя Амунтэгэ не умел возиться с ребёнком, тётка же Тачана невзлюбила девочку сразу и на всю жизнь. Под градом ругани и оплеух прошло её детство, да что оплеух – если бы навсегда оставались на теле следы хворостины, то Пайпэткэ была бы вся полосатой. Никогда в жизни она не надевала новой одежды – ей перешивали старьё и обноски. У очага было её постоянное место, она ломала тальник, носила воду – но это считалось прогулками, а ведь чтоб вскипятить чайник, тальника нужно не меньше вязанки. И лёд таскала, и шкуры скоблила... Гнула спину, страдала и мало спала девочка, но выросла очень здоровой и крепкой. В детстве на неё никто не обращал внимания, однако потом люди как-то вдруг обнаружили, что это уже не девчонка, а девушка, причём заметная, очень красивая, но, правда, и странная. Лицо у Пайпэткэ было белым-белым, как шкурка песца, а ещё белей были зубы – белее самого чистого снега. Чёрные маленькие глаза на таком лице могли свести с ума самых достойных парней; эти глаза безостановочно двигались, они как будто жадно и боязливо искали что-то необычное и нездешнее... Если бы её дядя не женился на Тачане, то женихом Пайпэткэ стал бы внук Тачаны. Однако дядя женился; оказались родственниками и все другие люди Улуро. Однажды с Индигирки приехал очень хороший парень. Увидел её – изменился в лице, а послушал её разговоры – нахмурил брови. Уехал жених: понравились, но и насторожили его эти бегающие глаза, да и вообще она показалась ему неуравновешенной, непонятной. Потом появился купец Потонча, а вместе с ним и слухи о каких-то его тайных порывах и тайных мыслях. И стоило болтливому Потонче чуть-чуть приоткрыть эти тайны, как Пайпэткэ метнулась к нему – и уж ничего не понимала, ни в чём не отдавала себе отчёта... Вторым был шаман Мельгайвач. Этот тоже привёз с собой слухи о тайных делах, только был он очень уравновешенным, очень уверенным и очень красивым... Знал всё это отчаянный, резкий в словах Эргэйуо, но она отказала ему – и не потому, что он оказался моложе её, а потому, что в сравнении с Потончей и шаманом-чукчей он был маленьким, незаметным парнишкой, который и сказать-то ничего интересного не умеет. И она не считала бы его женихом, но он оставил на её сердце шрам: Пайпэткэ казалось, что именно её отказ заставил Эргэйуо отчаяться до конца и совершить страшное дело...

Потом было раннее-раннее утро, которое она никогда не забудет. Несчастливая, неудачливая сирота в тот рассвет собрала свои потёртые шкуры-подстилки и выползла из тордоха. Она увидела солнце, но такое, какого она не видела никогда: туча отрезала верхнюю половину красного шара. Серый туман застилал тундру, серым было и небо – и ей показалось, что солнце не встаёт, а садится, или что всё на свете перевернулось кверху ногами... Прячась от людских глаз – обходя тордохи стойбища сзади, с потёртыми шкурами на плече, перебралась бедняга в тордох к шаману Сайрэ.

Жизнь Пайпэткэ с гадким, уродливым стариком сначала казалась ей таким жутким сном, который не протянется долго и всё равно обрвётся. Сон, однако, не обрывался, а Сайрэ относился к ней ласково, часто как к дочке, и она поняла, что здесь всё-таки лучше, чем у старой сатаны тётки. Хуже стало, когда наступила осень: уходить из тордоха надолго она не могла, спать хотелось всё больше и больше, а лежать рядом со стариком было самым тяжким мучением. Как долго на земле живёт человек – это она поняла к весне: зима для неё тянулась так же медленно, как все её годы, прожитые у Тачаны. А вот лето принесло радости – это когда собиралось большое камлание. Сайрэ тогда принарядился, помолодел. Люди всячески выражали ему почтение, приносили подарки. Пайпэткэ было приятно. Но лучше б радости не приходили: кончилось лето – и во всём своём ужасе встало будущее; Пайпэткэ поняла, что больше никогда и ничего хорошего не случится – напомнив о себе людям, шаман будет с каждым годом стареть и стареть, а потом станет беспомощным, неподвижным. И так пройдут её годы. После сиротства в детстве, сплошных обид, унижений и мук в лучшую пору жизни – ещё и одиночество в старости... Пайпэткэ вспомнила, что не так давно она была очень решительной. И, начав упрямо думать, что же ей делать, она пока что стала поругиваться со стариком. Время шло, а выхода она не находила.

И вот неожиданно, в тот самый день, когда из стойбища укладывали последние семьи и тордох Сайрэ остался брошенным среди безлюдного мира, под страшный грохот озёрного льда, Пайпэткэ почувствовала, что радость всё-таки может прийти. Словно сам бог подсказал ей желание – желание ощутить в животе тяжесть. Мысль о ребёнке захватила её властно и целиком, и словно озарила всю её изнутри. С этой мыслью она начала пересиливать отвращение и прижиматься к дряхлому старику, с этой мыслью она во сне бродила по цветущей тундре, с ней вставала, с досады ссорилась с мужем и в задумчивости шевелила угли в затухающем очаге...

– Ты чего это, ке, опять шкурки перебираешь? Лежат они в мешке – ну и пусть лежат... – с этих слов Сайрэ и началась нынешняя перебранка.

– Гляжу, из чего пелёнки можно бы вырезать...

– Пелёнки! А огонь совсем угасает, и чайник пустой.

– А зачем тебе огонь и горячий чай? Всё равно ты бодрее не будешь...

– Тебе бы только одно...

– Да, одно. А тебе... тебе и одного не надо! Прежде чем брать молодую жену, нужно было подумать – справишься ли.

– Я же не сам – люди меня попросили. От злых духов тебя оградить...

– Меня? Люди просили? От каких духов?

Старик не проговорился: дело прошлое, и в своё оправдание можно было сказать самое главное.

– Ты же сидела тогда на камлании! – ответил он. – От духов Мельгай-вача оградить.

– Что? Это так было со мной? – Пайпэткэ бросила на пол пыжиковые шкурки. – Люди просили? А людей натравил ты! Это значит, что ты с людьми делаешь что захочешь?.. Глупая, глупая, глупая... – Она закрыла лицо руками, и из-под её ладоней на грудь покатались слёзы. – Тачана меня наказала, – отняла Пайпэткэ от лица руки, – а я подчинилась ей по

привычке. А если бы подумала лучше – ох, какой у меня слабый ум! – если бы догадалась людей расспросить, то всем вам назло ушла бы в лес, к стойбищу Мельгайвача, встречалась бы с ним. И хоть немного пожила бы в радости. И был бы теперь у меня ребёнок...

– Да-а... – проговорил Сайрэ, раздумчиво моргая одним глазом. – С твоим умом что-то не то... Теперь я совсем хорошо вижу, что духи Мельгайвача жили в твоём теле. А знаешь ли ты, чьим ножом Эргэйуо ударил девочку? Ножом Мельгайвача. Поезжай к нему и спроси: менялся ли он с Эргэйуо ножами? Он подтвердит... А знаешь ли ты, почему не согласилась стать женой Эргэйуо? Потому что и в нём, и в тебе жили духи, и ты не сама отказала ему. И Мельгайвач не мог взять тебя в жёны – не мог же он жениться на своих духах! О, ты о себе только думаешь и ничего не знаешь...

В глазах Пайпэткэ потемнело. Она беспомощно опустила на шкуры возле мешков.

– ...А когда тебя прятали в мой тордох, то спасали детей, – продолжал старик. – И не ошиблись люди: на большом камлании что сказали? Что я был прав...

Если бы с Пайпэткэ случилась одна вот эта беда, ей бы сейчас стало легче. Когда знаешь, с какой стороны подкралось несчастье, то уж непременно узнаешь, куда бежать. Но вся жизнь Пайпэткэ была словно накрыта чёрной ровдугой, и от ещё более чёрной шаманской разгадки-путаницы ей стало совсем плохо. Так плохо, что она ничего уж не видела перед собой, ничего не могла услышать.

А как раз в это время донёсся звонкий скрип полозьев и хруст снега под копытами бегущих оленей.

Сайрэ тревожно вскочил.

– Ке, встань... Потом... Ке... Гости... шкуры... в мешок... – зашептал он у самой двери.

Но Пайпэткэ так и не встала.

А Мельгайвач уже показался в тордохе.

– Гость? Мельгайвач? – отступая, спросил Сайрэ. – В такой мороз и ко мне?

– Рапыныл?⁴⁴ – поздоровался тот, сбивая с кукашки иней.

– Меченкин⁴⁵, – ответил Сайрэ, внимательно разглядывая чукчу. – Я так понимаю – только большая нужда заставила тебя ехать ко мне.

– Очень большая нужда, – подтвердил гость. – Ехал к тебе, чтоб совет получить, чтоб поговорить с глазу на глаз, рот ко рту, уши к ушам, лицом к лицу.

– Что ж! Если приехал – значит, и говорить будем. Садись. – Сайрэ расстелил шкуру. – Ке, – ласково сказал он жене, – гостю с дороги надо бы чаю согреть.

Пайпэткэ встала. Лицо у неё было чужим, почти мёртвым, она не взглянула ни на Мельгайвача, ни на мужа – и стала бросать на угли тальник, даже не посмотрев, есть ли в чайнике лёд или вода.

– Я готов слушать, – сказал Сайрэ, усаживаясь поодаль от гостя. – Жена моя мешать нам не будет, у неё свои, женские заботы и мысли. – Старик явно давал понять Мельгайвачу, увидевшему шкурки возле

⁴⁴ Рапыныл? – Как живёшь? (чукот.).

⁴⁵ Меченкин – Хорошо (чукот.).

мешков, что жена вроде бы готовится стать матерью. Пайпэткэ поняла это и вдруг зло, с ненавистью глянула на старика. Но промолчала.

– Что-то ты, хайче, одиноко стал жить, – проговорил чукча, сделав вид, что ничего не заметил. – Люди укочевали, а ты остался. Разве люди боятся тебя, разве гонят так, как меня?

Сайрэ боязливо поглядывал на огромные руки гостя, которые он положил на колени, растопылив толстые пальцы; кто его знает, зачем он ехал – схватит за глотку, на нарту прыгнет, а Пайпэткэ и с места не сдвинется...

– Я хотел бы дальше послушать тебя, – сказал он, доставая трубку, чтобы скрыть робость. – Пока не пойму, к чему ты разговор клонишь.

– Нет, я хочу сказать, зачем тебе, старику, и твоей молодой жене таскать лёд, копать снег, чтобы найти дрова? Жил бы с людьми, они бы всё для тебя сделали. Такому шаману, как ты, разве отказать в помощи можно?

«Так, – подумал Сайрэ с облегчением, – ласково подъезжает. Может, начнёт унижаться, а потом проситься в друзья? Ему это выгодно...» Но сказал он другое:

– Когда олень жиреет, его режут, люди его съедают и духи его пожирают. А тощего старого оленя убивать не будут – годится запрячь. Ни люди, ни духи не захотят есть старое жёсткое мясо. Я решил быть тощим оленем.

Ответ этот не понравился Мельгайвачу, и он, улыбаясь, сказал:

– Тощий олень мёрзнет и голодает. А жирный потеет и ягель жуёт. Я предпочел бы ягель жевать. А чем всю жизнь мучиться, лучше волку в пасть броситься.

– Ты не бросился бы. Люди ведь не бросаются, а мучения переносят большие. Таким бог и создал человека... Что ещё скажешь, мэй?

Мельгайвач чуть не засмеялся в ответ: «Так это ж люди!...». Нет, у него только загорелись глаза, но он этого не сказал. Однако старик понял его без ошибки. Понял – и сразу нахмурился, начал медленно доставать из кармана кисет.

Чукча перестал улыбаться. «Тут, кажется, дело сложнее, – соображал он, следя за тем, как неторопливо и деловито старик юкагир набивает пальцем табак. – Может, он проповедует бедность?.. Он и сам живёт не богато. Если все это так, то опасность большая. Люди считают его своим, а он чувствует силу – и ломится, и ничего не боится...»

Ниже холма оглушительно треснул лёд. Озеро будто раскололось до самого дна. Мельгайвач вздрогнул. Но испуга его никто не заметил – и он вздохнул, тоже достал трубку, только красивую, с медными кольцами, потянулся за горящим прутиком к очагу.

Молчание длилось: старик курил, разглядывая одним глазом разорванный, незащитый плек⁴⁶, – Сайрэ как будто давал шаману-чукче время хорошенько подумать о своём невысказанном ответе. И Мельгайвач думал. Он видел жильё своего инакомыслящего врага – и на душе его было тяжело, тоскливо. Тордох сплошь обледенел изнутри, вокруг дымового отверстия, будто клыки моржа, висели сосульки; то место, где ставили полог и спали, было похоже на лежбище старого, безразличного к жизни зверя. Богатый чукча с горькой улыбкой по-

⁴⁶ Плек – укороченная камусовая обувь.

смотрел и на мешки, которыми были заставлены углы тордоха. Ему в голову вдруг пришла мысль: какая бы получилась гора из мешков, если бы он снял шкуры со всех оленей своего стада, и как бы выглядела она рядом с этим несчастным богатством Сайрэ... И только сменилась горькая улыбка самодовольной, как глаза его расширились от удивления, вытаращились. «Да откуда ж у него взялось столько мешков? И чем набиты они?...» Мельгайвач сразу вспомнил старую жену косого шамана, вспомнил тордох, в который он заходил и в те времена, и позже, – вот этот самый тордох. Всё же здесь было не так: не видел он этих мешков, не видел этих ящиков с чёрными штемпелями!.. И немедленно взгляд его смело остановился на лице Пайпэткэ. До сих пор он сдерживался, не хотел глядеть на неё, чтобы она не отвлекла его мысли от главного, от разговора с Сайрэ. Нет, лицо у неё не стало рябым, как у казака в Верхне-Колымске, которого он пожалел когда-то, нет – ноги и руки целы, только глаза успокоились и не мечутся.

«Так это ж он на мне, на моём несчастье всё заработал!.. – Мельгайвач чуть не стукнул себя по лбу. – И мешки набил, и молодую жену-красавицу арканом поймал... Так как же теперь понимать его рассуждения? Значит, в словах о тощем олене – ложь? Или он так говорит по привычке, не замечая, что поступает наоборот? А может, он решил всё-таки разбогатеть?...»

Но Мельгайвач не стал искать ответа на эти вопросы. Он почувствовал облегчение, приятное, предвещающее добрый конец облегчение.

– Да, ты спросил, Сайрэ, что я ещё хотел бы сказать? – заговорил он, однако, тихим, заунывным голосом – будто в душе у него была не радость, а смертная печаль, которую он до сих пор скрывал или которую только сейчас до конца осмыслил. – Сиюх вот – припоминаю, с чем ехал к тебе. Знаешь, апай – если ударить камнем по куска льда, то лёд раздробится на части, и обратно его не соберёшь. Ты большую правду сказал – и мысли мои мелкими стали... чего уж тут говорить: не по-божьему я живу, хоронить меня будут без почестей... А как смыть грехи? Вот ты подскажи, апай, как это сделать.

– Грехи искупать и оставаться богатым? – вынул изо рта трубку Сайрэ. – Не получится это. У нашего Куриля получилось бы – если б он совершил какой грех. А у тебя не получится.

– Да вот и я думаю – трудно... Что же мне делать? Кака говорит: надо бы власть над своими духами взять, на хорошее дело их посылать – и люди это увидят, простят...

– Простят... – подозрительно повторил Сайрэ. – А как взять эту власть – он не сказал?

– И это сказал – поможет. Но шаман-то он слабый, да и за труд просит столько, что хоть хватай себя за косу и волосы рви. Половину стада за это просил.

– Сволочь, – сказал Сайрэ. – Да, ке! – обернулся он к очагу. – Ке, чай, наверно, готов. Ты налей нам, да потом полог поставь, да в жирнике что-то фитиль плохо горит... Гость, видно устал. А мы ляжем и тихо, спокойно поговорим.

– Это бы хорошо, – сдерживая совсем уж большую радость, согласился чукча.

В свете огня лицо Пайпэткэ было розовым, глаза от дыма сделались

влажными и потому казались живыми, юными, невозможно красивыми.

Когда Мельгайвач и Сайрэ заговорили о том, какого оленя скорее убьют – жирного или тощего, она вся задрожала, поняв это по-своему. Костёр, горящий жирник, мешки, обледенелый шатёр тордоха – всё поплыло и закачалось в её глазах. Но потом негромкий смиренный голос Мельгайвача остановил эту качку. А когда и старик заговорил мирно, её вдруг охватило странное тревожно-радостное оцепенение. Она не могла ни понять, ни осмыслить – что же такое случилось в мире; она только чувствовала, что где-то, в каких-то самых глухих потёмках прорезался яркий голубовато-белый луч света. Наконец Сайрэ сказал, что ляжет рядом с Мельгайвачом, – и у неё заколотилось сердце. Положив на пол широкую доску, поставив на неё деревянный поднос с кусками юколы и сняв с крюка чайник, Пайпэткэ посмотрела прямо в глаза гостя, в глаза человека, который не захотел взять её ни третьей, ни четвёртой женой, но который своим приездом принёс ей радость, долгожданное предчувствие перемен. От этого жаркого, благодарного взгляда в душе чукчи что-то перевернулось: он замер, затих, глаза его перестали моргать, а подбородок вздрогнул от движения кадыка.

Сайрэхватило бы и одного косого глаза, чтобы увидеть всё это.

Разлив по белоглиняным кружкам чай, Пайпэткэ бросилась устанавливать полог. Постель она стелила старательно, аккуратно, понимая, как важно всё сделать хорошо и приметно. Раньше ей было всё равно, на чём и как спать, а сегодня первый раз в жизни она подложила под ави⁴⁷ двойной ряд стелек-шкур, чтобы всем было мягко. Нетерпение пожирало её, и, чтобы скорее собраться с мыслями, успокоиться, она разулась, разделась и юркнула под одеяло в одной парусиновой грязной рубашке.

Мягкая оленья шерсть приятно ласкала босые ноги, и Пайпэткэ почувствовала, что теперь ей стало совсем хорошо.

Пайпэткэ верила в бога и даже знала имя его⁴⁸, а шаманской веры не понимала, боялась её. Поэтому-то сейчас она не хотела и не могла припоминать то, что знала и что рассказал ей Сайрэ. Она боялась запутаться и снова увидеть себя скрученной по рукам и ногам. Ей было легче и желаннее думать по-своему, проще, надеясь на божью милость... Вот они оба – Мельгайвач и Сайрэ, теперь уж почти не враги, – вместе вышли наружу, чтобы дать корма оленям, вот сейчас они вместе вернутся и лягут рядом. Они заведут разговор – нет, не о ней, а о делах, о себе, о будущей жизни. Они всё до конца объяснят друг другу, всё поймут и всё увидят, как есть. Один из них очень богат, он лучше всех знает о её чувствах к нему и видит несчастье, другой стар и мудр, он убедился, что жизни нет и не будет, он знает, что люди не бросят его... Проснувшись, оба они удивятся: а почему и зачем спит с ними рядом племянница Амунтэгэ? И кто-то ласково скажет: «Нарта готова, олени ждут; сейчас ты будешь в лесу, в кочевье охотников, а хочешь – в тундре, среди пастиуших семей... Возьми, что нужно тебе, а потом мы ещё привезём...».

Так она думала, убаюкивая себя, и не заметила, как заснула...

⁴⁷ Ави – одеяло из оленьей шкуры с мешком для ног.

⁴⁸ Юкагиры в те времена имели очень смутное представление о Христе и о христианских легендах.

Холодная, костлявая коленка растолкала её колени, рука пробиравлась под спину.

– Погрей, совсем я замёрз...

Пайпэткэ выгнулась, точно большая рыба в руках человека, хватившая смертельного воздуха.

– Что ты? Чего это так? Я же замёрз...

Красный огонёк трубки подсказал Пайпэткэ, что Мельгайвач рядом, и она, опомнившись, проговорила: – Обнимаешься... при гостях...

Все трое долго молчали.

Стыд – оправдание. Но Пайпэткэ всё равно сильно встревожилась. Не виновата она, что так резко и шумно оттолкнула Сайрэ, – само собой это случилось, спросонья. Но ведь старик может подумать, что она нарочно при Мельгайваче высказала своё отвращение. Что же будет теперь?

Немного согревшись, старик Сайрэ приподнялся и сел. А молчание продолжалось. Но вот в кромешной тьме засветились уже два потрескивающих огонька, и у Пайпэткэ отлегло от сердца.

Шаманы курили, а со стороны казалось, что какое-то чудище, может быть, самый свирепый дух, корчит рожу, прищуривая то один глаз, то другой...

– Апай... – тихо и доверительно заговорил Мельгайвач. – Скажу тебе правду: я никогда в жизни не видел ни одного из всех своих келе⁴⁹. И не знаю я, какие они – с рогами, волосатые или голые. Я даже не слышал топота их копыт. Но ты их видел, гнался за ними. Я этому верю. Одному шаману обманывать можно – как обманывал я. Но когда говорят четыре шамана, говорят при людях... Если б всё это было неправдой, разве бы столько людей по всем тундрам из рода в род передавали такую неправду? Да я и сам видел, как один охотник ходил только к тем капканам, в которые попадались песцы; к пустым не ходил, а я проверял – и верно: они были пусты... Духи есть. Они подсказывают... Но ты скажи, какие духи мои?

– Да... – протянул в ответ Сайрэ. – Не можешь ты вдохновение получить, не можешь. Потому и не видишь келе...

Сайрэ не ответил Мельгайвачу – это Пайпэткэ хорошо поняла. Но ей было теперь совсем безразлично, кто и как отвечает, тем более что она уже наслушалась всяких толков о духах. Главное, беседа мужчин уже не сулит ничего плохого.

– ...Отдай своих духов Каке, – продолжал старик, – отдай. Что тебе делать с ними? Вдохновение-то не приходит. Пусть Кака мучается. А тебе легко будет...

На озере опять раскатисто ухнул лёд.

Наступило молчание. Мельгайвач просунул руку под полог и выбил о землю пепел из трубки. Он нащупал кисет, стал снова набивать чубучок табаком.

В этой-то тишине Пайпэткэ наконец спокойно и крепко заснула. Уж если разговоры шаманов казались ей мирными, добрыми, то разве могло насторожить её их молчание?

Но шаманы не зря подолгу молчали.

Совет хозяина, которого гость называл ласково – дедушкой, был

⁴⁹ Келе – духи (чукот).

страшным советом. И Мельгайвач думал о дедушке вовсе не ласково. «Разоряет, косой сатана... – Чтобы не выдать волнения, он старался тихо дышать, а прикуривать не спешил, боясь, что огонёк осветит лицо. – Отдать духов Каке! Да меня же оциплют купцы, как жирного гуся. Со всех сторон налетят, и Кака – первый. Без бубна я ничего не стою... А говорят ещё, что колченогим ума не хватает. Этому-то хватает. Двойную выгоду чувствует: меня распотрошит до конца – прославится, начнёт воевать с Какой – ещё столько же мешков затащит в тордох. И за Пайпэткэ отомстит. Вот они и разговоры о том, что жирных оленей режут... Ладно – посмотри!».

– Слушай, Сайрэ, – сказал он. – Отдать Каке духов я не могу. Нет, не отдам. Пусть будет так, как сейчас. Ты ведь нападать на меня больше не станешь? Я вот сам приехал к тебе, приехал мириться, совета просить, я лёг с тобой рядом, зла тебе не хочу. А начнёшь опять нападать, что про тебя скажут люди? Это уже не шаманство будет, а месть... И ещё вот что тебе скажу. Ко мне как-то приезжал русский – тогда у меня гостили Куриль и Кака. Так вот, каюр говорил, что тундру портит русский шаман Чери. Сам-то шаман умер, и могилу его придавили камнем, но духи могут и вылезти... Ты хорошенько подумай. Может, зря меня все обижают? А духов шамана Чери не сравнить с моими. Спроси охотника Пураму – что о нём говорил каюр.

– Знаю, что говорил каюр, – сказал Сайрэ. Сказал – и задумался. Огонька в трубке Сайрэ уже не было, но он продолжал с силой сосать её – и Мельгайвач догадался, что юкагирский шаман сейчас решает самое главное. Молчать было нельзя.

– Дай мне, Сайрэ, вдохновение, – попросил он. – Дай. Подскажи, как его получить. Я завтра же пригоню к тебе четверть стада... нет, половину: лучше возьми ты – Кака обманет меня, а тебе я верю, ты великий шаман. Наймёшь пастухов и заживёшь с молодою женой лучше, чем я...

Сайрэ снова задумался, но не надолго.

– Чери – не шаман, – сказал он твёрдо. – Я никогда не видел духов его, и никто не видел. А разговор о них ведёшь ты один. Отдай своих духов Каке. Бедности же не бойся – совсем кумаланом не станешь. Может, придется двух жён прогнать и остаться с одной. Но это лучше, чем получить вдохновение.

– Почему ты так говоришь? – дрогнувшим голосом спросил Мельгайвач.

– Знаю, что говорю. Могу рассказать тебе, как я получил вдохновение. Полез я по крутой едоме, чтоб разорить гнездо сокола. И уже рукой дотянулся. Но тут у меня всё потемнело в глазах, я еле удержался на глине. В рот, на одежду, за воротник хлынула кровь. Чую, что половину света не вижу. А сокол бьёт меня, бьёт... Я половину света не вижу, но в голове, внутри наступило какое-то прояснение...

– Что ты говоришь такое, Сайрэ? – испуганно прошептал Мельгайвач.

– А то, что не выдержишь всех этих мук...

– Омовение кровью совершить предлагаешь?

– Я? Господи! Мельгайвач... – Сайрэ перекрестился, толкнув гостя локтем. – Да как же ты слышишь то, чего у меня в голове нет? Я тебе совет уже дал, и совсем другой. Но ты спрашиваешь, как можно получить вдохновение. Я отвечаю и ничего не советую больше. Да тебе это

могли сказать и другие... А если в моих словах слышишь зло, то лучше нам лечь поспать и с миром проститься.

– Нет, апай, я отдаю половину стада, и не за простой разговор отдаю – за совет.

– Половину стада... – пробурчал Сайрэ. – Не нужно мне ни половины, ни всего стада. Решишься живот попортить, придёт вдохновение – подарок возьму. А наперёд не возьму и пачки иголок... А теперь слушай, что я скажу. Пырнуть себя ножом – дело не хитрое. Перед этим надо все тайны раскрыть, а уж потом я мог бы сказать, что делать дальше.

– Ох, Сайрэ, много грехов у меня, много, – вздохнул Мельгайвач. – Слушай, так всей четвёртой луны⁵⁰ не хватит. И с чужими жёнами спал, и молодённых девушек совращал; да таких грехов я уже и пересчитать не могу. Хуже другое... А всё это началось с бубна...

– Что – решил тайны открыть? – не сдержал испуга Сайрэ. – Может, лучше договоришься с Какой?

– Нет, я буду шаманом! – со злым упрямством сказал Мельгайвач.

– Смотри. Ты не ребёнок. Если случится что – я ни при чём.

– С бубна всё началось, – громче и упрямее сказал Мельгайвач. – Пел я о своих хороших оленях, а их у меня было мало – и решил постучать в бубен. Понравилось мне, ещё стал петь и бить в бубен, а руки у меня большие, и звон получался громким. Это, наверно, понравилось духам – вот они и вселились в меня. Но я духов не видел. А тут у Петрдэ сдох олень, и, кажется, ты первый заметил следы от моей яранги. И с тех пор все беды начали сваливать на меня. Умрёт от болезни ребёнок – говорят, что я его съел, прибьются к моим оленям чужие – духи мои их привели, поломалась нарта, жена от мужа ушла – я виноват...

– Э, мэй, не так говоришь, – перебил его, прячась под одеяло, Сайрэ. – Что делал, то и рассказывай.

– К тому говорю, что сперва мне было обидно...

– А потом ты начал просить выкупа: «Отдай последнего оленя – а я прикажу духам не делать зла»?

– Было и так, – согласился чукча.

– И хуже было, – сказал Сайрэ, – сам призывал делать зло.

– Призывал...

– И мог ножик подсунуть...

– Нож? Какой нож?

– С белой ручкой. Которым Эргэйу ударил девочку Халерху.

– Что? Господи...

– Ты безбожник – не вспоминай господа.

– Но ведь я просто менялся... А откуда ты знаешь это? Сайрэ! Ты не человек...

– Я шаман. Говори всё, что делал. Я лягу, буду дремать; соврёшь – я перестану дремать и поправлю. Лучше уж не вертись.

Неожиданность эта подрубила под корень Мельгайвача. Он понял, что у него нет больше сил противостоять старику юкагиру. И в то же время он испытал великую зависть к нему. А зависть туманит ум; она ожесточает и всегда подсказывает одно и то же: ты можешь – и я смогу, смогу даже лучше тебя.

⁵⁰ Четвёртая луна – декабрь, месяц, когда солнце совсем не показывается над горизонтом: счёт ведётся с сентября до мая.

Мельгайвач, ничего не скрывая, стал говорить.

А на воле тем временем начиналась позёмка. Тучки сухого снега то и дело насккивали на одинокий тордох, шурша, облизывали его и катились дальше по скату холма. Ветер дул с озера, а такой ветер самый жестокий. В тордохе зашевелился полог. Костёр давно уж потух... Перемена погоды не настораживала Мельгайвача – он ничего не слышал, кроме своего собственного одинокого голоса.

Сперва он говорил с остановками, припоминая давнее прошлое и даже раздумывая, как это мог он совершить такое гадкое дело. Но потом вспоминать стало легче, а раздумывать больше уж не хотелось, и речь потекла быстро и ровно. Покачиваясь, даже распевая слова, он говорил, говорил, говорил. И лишь когда вспомнилась совсем юная, белолицая, плохо одетая Пайпэткэ, слова его будто наскочили на крутую едому. Скорее, чтобы Сайрэ не заметил этой заминки, Мельгайвач с усердием принялся перечислять, что он ругал в природе – волну, пургу, дождь, луну...

Ветер уже сильно давил на тордох, а пурга шумела всюю, когда он облапил лицо руками и ткнулся головою в колени.

– Сайрэ, – тихо сказал он. – Сайрэ... Пусть меня по дороге домой терзают волки, пусть я замёрзну и останусь без рук и ног, но я теперь буду добрым шаманом. Дай мне вдохновение, дай. Как ты, буду подарки брать за хорошее дело, как ты, буду приказывать духам своим нападать на злых духов...

– Ты всё сказал? – спросил старик, не шевелясь.

– Нет. Я не открыл тебе ещё одну тайну. Но я открою её, когда сяду на нарту.

– Пусть будет так... Но после того, что услышал я, трудно сказать, придёт ли к тебе вдохновение.

– Придёт. Я знаю. Ты только скажи, что делать дальше, как и когда делать.

– Осталось немного... Ладно, расскажу, если так просишь. Ты сделаешь это в первый весенний день, когда увидишь проталину. Ножом проткнёшь кожу ниже пупка – насквозь. Будет кровь. Этой кровью ты вымоешь руки и щёки. Смоешь грехи. Но это не всё. Потом, от появления новой луны до конца луны, ты не должен ничего есть, кроме жиденького мясного навара. Голодать будет трудно, но если не стерпишь – вдохновение придёт и быстро уйдёт...

И ещё Сайрэ дал много разных сложных советов и указаний.

Выслушав все, Мельгайвач долго сидел молча, погрузившись в раздумье. Но потом он встал на колени, вынул трут, кисет – закурил. Стал одеваться.

– Ты что это, мэй? – зашевелился Сайрэ.

– Поеду я. Мне надо ехать.

– Пурга бьёт. Куда ж ты в такую погоду? Ложись, отдохни. Не спавши, не евши – как можно трогаться в путь?

– Нет, я поеду. У меня теперь все пути трудные... Сайрэ, если я стану шаманом, всю жизнь буду делать тебе добро. А когда захочу уехать в тот мир, когда надену на шею петлю, то прикажу людям не забывать твоё имя, прославлять тебя – доброго шамана и мудрого человека. Проводи меня, добрый старик.

Ничего больше не возразил, не сказал Сайрэ. Он встал, обулся, выбрался из-под полога. Мельгайвач немного замешкался. Раскаяния размягчили его, и он потянулся рукой к голове Пайпэткэ, чтобы погладить её. Но нет, не погладил, отдёргнул руку. И пополз вслед за хозяином.

– Апай, – сказал он тихо, возле сэспэ, – уезжаю и хочу открыть грешную тайну. Присоедини, могучий старый шаман, этот мой совсем непростительный грех к тем грехам, которые ты теперь знаешь. Не воровал я и, кроме этой тайны, не скрыл ничего. Может, мелкое что-то забыл.

– Говори.

– Пусть, апай, об этом тебе расскажет твоя жена Пайпэткэ. А я кровью смою и этот грех.

– Хорошо, поезжай.

Мельгайвач ещё путался в полах ровдуги, отрывая прижатую ветром сэспэ, а шаман Сайрэ уже потихоньку крестился.

Пайпэткэ спала долго. Но открыла она глаза не потому, что выпалась – её разбудили холод и храпенье Сайрэ. Она выскользнула из-под одеяла, села на свёрнутую доху, лежавшую под головой, и замерла.

Мельгайвача на постели не было. В одно мгновение Пайпэткэ поняла, что его нет и за пологом, нет и на улице за тордохом. Однако, не веря самой себе, она сейчас же с великой осторожностью перескочила через спящего старика, оттянула полог, глянула в щель, прислушалась. Очаг не горел, нигде не было видно огонька трубки; в незаткнутом онидигиле шумела пурга, осыпая снегом очаг и треногу; по тордоху гулял лютый мороз. Сильно храпел старик. Босая, неодетая, Пайпэткэ выбралась из-за полога – и кинулась к выходу.

На воле гудела пурга. Небо чуть посерело, была середина дня, но что-либо разглядеть не могли даже молодые, жадно ищущие примет глаза: так и сяк проносились потоки снега, вздымая возле тордоха густые тучи. И всё-таки Пайпэткэ зашла в неглубокий сугроб, наклонилась и стала искать следы. Но следов не было никаких – ни новых, ни старых: всё давно зализала пурга. А Пайпэткэ не сдавалась: она нагнулась сильнее и разглядывала, разглядывала сугроб. Наконец она увидела свои голые ноги, вокруг которых извивались бурунчики снега, – и бросилась обратно в дверь.

В тордохе Пайпэткэ остановилась возле стола-доски и треноги. Очаг выглядел жалким, покинутым – над останками костра, притрушенными снегом, одиноко висел пустой крюк – сускарал⁵¹, чай в неубранных кружках замёрз. Эта заброшенность и противное храпение старика за пологом заставили Пайпэткэ вздрогнуть. Но, вздрогнув сердцем, она задрожала и всем телом, да так, что руки тотчас вскинулись к груди и начали трястись, хватая воздух. Дробный стук зубов рассыпался по тордоху. И был страшным дикий, прерывистый смех, вдруг перекрывший и нудный гул непогоды, и тягучее храпение старика. Пайпэткэ хохотала всё сильнее и сильнее и зубами стучала всё громче и громче – и это бы кончилось чем-то ещё более страшным, если бы не Сайрэ, выскочивший из-за полога.

Кривоногий Сайрэ засуетился, забежал вокруг жены, боясь сказать

⁵¹ Сускарал – крюк из железного прута или оленьего рога для подвешивания котла или чайника над огнём. Обычно вешают две – три посудыны.

или сделать что-то неверное. Но он нашёлся и оборвал этот смех:

– Ке, слушай, ке, а где ж Мельгайвач? Разве он не вернулся? Как же он не вернулся? Он ведь за подарком поехал – оленей пригонит сюда... Наверно, пурга его задержала...

Сайрэ спасал жену от беды, обманом возвращал ей рассудок и не знал, что Мельгайвач в это время действительно и всерьёз размышлял о подарке.

Ничего не случилось в пути с богатым, но обречённым на тяжкие испытания чукчей. В мешке на нарте у него была водка, и он, хорошо выпив, не щадил оленей, пробиваясь сквозь полосу непогоды.

В тёплой яранге, где всё говорило об огромном достатке, к нему пришли свои, трезвые, но слишком нетерпеливые мысли. Он рассудил так. Да, кровь и боль сводят с ума – даже животных, и человек, глядя на кровь, расширяет глаза, становится не таким, каким бывает всегда. Поэтому главное – кровь, а не всякие там проталины по весне и пустой навар вместо жирной еды; Сайрэ, как и все шаманы, конечно, немного жулик... И Мельгайвач, завалившись спать с младшей женой, начал гадать, сколько оленей нужно отдать Сайрэ – сто или двести и когда лучше пригнать их в Улуро – весной или сейчас.

За этими размышлениями Мельгайвач совсем забыл о том, что Кака, вроде птицы, клюющей падаль, в последнее время всё снижался и снижался над ним. Если бы он подумал об этом, то, наверное, остерегся спешить и уж непременно бы всё сделал иначе. Но ему слишком надоело видеть себя попавшим в беду, и слишком близкой была возможность опять улыбаться.

Уже на второй день Мельгайвач отправил всех жён к родственникам и остался один. Ему надо было выгнать ещё и собаку, но ведь собака не человек, что она понимает...

В опустевшей яранге было тепло и светло – под треногой горели поленья, горел, как всегда, и большой жирник. Мельгайвач ходил туда и сюда, разглядывая свои богатые пологи, каждый из которых был подобран из шкур одинаковой масти. И вдруг он подошёл к очагу, спустил на бёдра штаны, задрал рубаху и ударил себя не успевшим блеснуть ножом. Ощувив вполне терпимую боль, Мельгайвач удивился, как всё это просто. Он не взглянул на живот; он наугад придавил ладонью рану, а когда ладонь стала мокрой и тёплой, отнял её, поднял голову вверх, чтоб ничего не видеть, потёр руку о руку, умыл сразу обе щеки – но неожиданно зашатался, зашатался, как одинокое дерево, попавшее в круговорот горячего ветра. Дымовое отверстие метнулось в сторону, а подсвеченный снизу кособокий шатер⁵² расправился во всё небо и закрутился, как колесо на русской телеге. Чтоб не упасть, Мельгайвач схватился свободной рукой за жердь треноги и опустил голову. То, что увидел он, было ужасно. Ладонь опять зажимала рану, но из щелей между пальцами упругими струйками вырывалась в разные стороны кровь.

Вот тут-то Мельгайвач и оторопел. Он скорей закрыл правой ладонью левую, однако кровь моментально нашла новые щели. К тому же всё туловище охватила жгучая боль. Он согнулся до самой земли,

⁵² В отличие от тордоха чукотская яранга не сферическая; передняя «стена» у нее прямая.

чуть не достав головой пола, – но большие ладони отстали от живота, и кровь потекла сильнее. Тогда Мельгайвач упал на бок, упал и придавил локоть – и рана вовсе открылась. Растерявшись, не зная, что делать, он стал кататься по полу.

Он купался в крови и не мог закричать – боль со страшной силой стискивала ему зубы. И когда от этой боли и от отчаяния глаза совсем полезли на лоб, вдруг наступило какое-то успокоение. В муках всегда бывает миг отупения, передышки – его дарит сила жизни затем, чтоб у человека мелькнула трезвая мысль, может, последняя, а может, спасительная. Но Мельгайвач этот миг понял по-своему, так, как приготовил себя к нему. И только успел подумать о вдохновении, как закричал что было сил. Он заметил у очага собаку, лизавшую красную лужу...

В это-то время и показался в двери Кака. Рослый голова чукчей хотел войти поскорей, но потерял шапку и нагнулся, чтобы её поднять, – да так и оледенел, стоя на четвереньках. Ключья чёрных волос вздыбились на его голове, а глаза выкатились белками наружу. Смуглый до черноты, он сейчас был похож на чёрта, увидевшего такое, чего не мог бы придумать он сам вместе с другими чертями.

Поняв всё и забыв о шапке, Кака вскочил, пинком ударил собаку, с визгом отлетевшую в угол, схватил с ящика недошитый камус.

– Ы-ы-х, дурак... дурак! – начал подпихивать он шкурку под ладони Мельгайвача. – Да постой – книзу кожей. Шерсть набьёшь – кровь загниёт. Ну, прижимай. К Сайрэ ездил, жадюга? Пожалел половину стада, хотел подарком отделаться. Подыхай теперь, а стадо твоё новые мужья жён поделят.

– Нет, Кака... Не о том думал... – Из глаз Мельгайвача к ушам покатились слёзы. – Вдохновение хотел получить.

– В пасть зверю прыгнул. Во как он тебя разукрасил.

– Кака, помоги... – Бледный как снег и измазанный кровью, Мельгайвач смотрел на него глазами умирающего ребёнка, который впервые понял, что мог бы жить очень долго. – Возьми бубен, Кака...

Перестав суетиться и найдя на полу место, не залитое кровью, Кака сел и глянул на свои руки, тоже измазанные кровью. Покуда не сбежались люди, он лихорадочно соображал, что может произойти дальше – умрёт Мельгайвач или нет, сейчас умрёт или после долгой болезни. Но вот он решительно встал и пошёл к двери.

Он вернулся быстро, неся в руках обломки твёрдого снежного наста.

– Лежи, не крутись, – приказал он и стал обкладывать живот и руки Мельгайвача снегом.

– Кака! Не надо, – взмолился несчастный. – Не морозь меня, брат. Я сам, наверно, замёрзну.

– Лежи, если дурак.

– Ты лучше бубен возьми. Покамлай – может, ещё вдохновение и придёт.

– Да Сайрэ отомстил тебе, а ты о вдохновении думаешь! – проговорил Кака. – Останешься жить – разве этот шрам не будет напоминать тебе о шраме девочки Халерхи? Будет. До конца дней твоих. Вот как Сайрэ защищает свой род. А не так, как ты. Старый он чёрт, но молодец. Его похоронят с почестями. А тебя?

– Покамлай, Кака, – попросил Мельгайвач. У него уже не было сил

шевелиться, сил хватило только на то, чтобы прижимать к ране шкуру да говорить.

– Я покамлаю. Но ты обидел меня – на Сайрэ променял. Отдашь половину стада – буду камланить. Всё равно богатство твоё разлетится, как на ветру пепел. Слаб ты, а чтоб удержать богатство, надо быть сильным. Или посылай за Сайрэ...

– Покамлай, Кака, может, придёт ко мне вдохновение, – с упрямой надеждой попросил Мельгайвач. – Было уже вдохновение, было. А половину стада возьми. Придут пастухи, при тебе распоряжусь.

Народ сбежался в ярангу, когда голова и шаман Кака изо всех сил заколотил в бубен. Ужас и крики жён, суматоха, вопли испуга распалили Каку очень быстро. Ему никогда не приходилось прыгать по земле и шкурам, залитым кровью, и каким бы рассудительным он ни был до этого, сердце его теперь колотилось так, что от сильного удара палкой бубен лопнул и замолчал, а сам он упал под полог, ошалело вращая глазами. В яранге было шумно, и ему пришлось почти закричать:

– Будет он жить, будет! Но страдать и болеть придётся ему. Убейте собаку, которая крови его нализалась, сейчас убейте. А шаманом ты, Мельгайвач, не станешь, – сказал он тише, – ни большим, ни маленьким. И лучше тебе стать простым чукчей...

– Как – безоленным? – подал Мельгайвач слабенький голос.

– Да, безоленным. Поставь половину стада на приз, назначь состязания. Имя твоё прославится. Иначе ты умрёшь опозоренным и несчастным.

Мельгайвач простонал. Лицо его, обмытое старшей женой, было сейчас особенно бледным, и стон кому угодно мог показаться предсмертным. Но больше всех испугались жёны. Старшая из них, не помня себя, схватила пробитый бубен, схватила палку и начала стучать, приседать и подсакивать. Кто-то заголосил. Пробитый бубен издавал только треск, и хоть старшая жена колотила по ободу, на губах у неё быстро появилась пена – и она затряслась, свалилась на руки женщин. Но бубен и палку подняла вторая жена. Эта была помоложе, покрепче. Она закричала визгливым голосом, подражая мужу-шаману...

А Кака поднялся; он осторожно обошёл толпу сзади, начал искать возле двери шапку. Не найдя её, вышел на волю. Вышел – и оторопел: ярангу со всех сторон окружали олени. Их было до ужаса много. Ближние обнюхивали жильё своего хозяина. Все они теснились, не разбредались – будто почуяли что-то неладное. А может, пришли прощаться?.. Но Каке было сейчас не до нежностей. У него нетерпеливо зазудело сердце. Половина всего этого богатства теперь принадлежала ему, и он моментально представил себе, как будет выглядеть целое стадо, когда соединят то, которое он имеет, и эту часть, которую он тоже имеет отныне. Разве тут захочется размышлять, кто страдает и почему страдает!.. Кака вернулся в ярангу, нашёл пастуха, который подходил к хозяйну, и потянул его за собой к стаду.

– Знаешь? – спросил.

– Знаю.

– Разделяй. А я пойду кликну своих пастухов.

ГЛАВА 5

Куриль и Мамахан зимовали вместе. Куриль в этот раз не перекочёвывал в свою Дулбу – остался в Булгуняхе, на небольшой летней заимке. Места здесь ничем не примечательны – кругом холмы с жидким лесом, а между холмами впадины – днища давно пересохших озёр. Но вот эти-то впадины и привлекали сюда многих богачей со своими стадами: кормов для лошадей и оленей здесь куда больше, чем по другим местам. Почитай, все богачи окрестных тундр знали эти ложбины – и чукчи Кака, Чайгуургин, Мельгайвач, и юкагиры Курили – Афанасий и Пётр, и якуты Мамахан и Похон, и с Нижней Колымы Потонча, Бережновы, Соловьёвы, Шкулёвы...

Афанасий Куриль считал, что пасти стадо зимой в Дулбе выгоднее, однако не поехал туда. И для этого были причины. Несколько лет назад в Дулбу приезжал поп; божий человек окрестил некрещёных, накормил их божьей едой, а Курилю между прочим сказал, что ему стоило бы отдать одного хорошего парня на обучение, чтобы парень стал тоже попом. Жил бы поп-юкагир в Дулбе или же Булгуняхе, сказал он, детей бы крестил, был бы посредником между людьми тундры и богом, призывал бы всех к добрым делам и смирению... Этот совет Курилю очень понравился. Однако он сразу подумал о больших трудностях, без которых ничего не удастся сделать. Парень начнёт учиться, а тем временем надо церковь строить. Поставить же церковь одному не под силу, значит, нужно искать компаньона. Хорошо сговориться бы с Петрде, но Петрде неразворотливый и мелочный... Стало быть, надо искать других. А скажи об этом Каке или даже Мамахану – другу, сразу начнётся спор: почему в этой церкви будет петь и крестить юкагир, а не чукча и не якут.

Как бы то ни было, а пришлось открыть свои мысли. И выбор Куриля пал на Мамахана. Купец и богач Мамахан Тарабукин сразу смекнул: дело и нужное, и выгодное.

Разговор о постройке церкви произошёл после большого камлания. И Мамахан не дал Курилю поговорить: попом будет якут. Но ведь не ему же первому русский священник сказал обо всём этом – так почему же якут? Поспорили, но ни на чём не сошлись, а строить церковь всё же решили твёрдо. Потом они ездили в Средне-Колымск, в Верхний и даже Нижний остроги. Божьи дома были огромные – глянешь на крест, малахай потеряешь. А строить поменьше, видно, нельзя. Спросили, сколько надо песцовых шкур, чтобы такой же дом поставить в тундре. Городские сказали: двести мало, надо четыреста. А исправник даже с мягкой красивой скамейки вскочил: «Что? Четыреста? Да если в шестьсот обойдётся – это вам бог просто уважение сделает...». Вернулись домой невесёлыми. Собрать столько пушнины с людей, да ничего за это не дать – попробуй, помотайся по стойбищам. Бедно люди живут, у многих ровдуги дырявые, в день всего по две трубки выкуривают...

Но и Куриль, и Мамахан понимали, что строить церковь всё равно надо. Светлая вера не только очистит людей от грехов, но и сделает их послушными, а кроме того, она отнимет власть у шаманов и разорит шаманов-жуликов, которых развелось больше чем надо. Но главное – построить церковь на свои деньги и попа посадить в неё местного, своего. Если же за всё это возьмётся губернатор или исправник, то попом

станет русский или нездешний якут, которые будут на город оглядываться, и тогда туго придётся неграмотным богачам, не говоря уже о мелких купцах.

Время шло, а Куриль с Мамаханом никак не могли собраться и обо всём подумать по-настоящему. И вот наконец решили: пусть эта зима станет началом. А раз церковь выгодней строить здесь, в Булгуняхе, то и решать всё лучше на месте.

За ползимы много горькой воды выпили два богача-друга, много чохона⁵³ поели. Но не без пользы для дела. Условились твёрдо: Куриль возьмётся за сбор пушнины, а потом, когда Мамахан продаст её в городе и купит всё нужное для постройки, он привезёт материалы на место по якутско-колымскому тракту. У Мамахана были большие связи с якутскими, индигирскими, иркутскими купцами и даже с ветвью какого-то купца из Москвы, а Курилю было всё же сподручней иметь дело с простым народом: немало людей он выручил в трудное время, хапугой его не считали.

Всё хорошо и складно решили они, но тут до Булгуняхы долетели страшные и непонятные вести, из-за которых пропала охота пить горькую воду. Шаман Сайрэ будто бы внушил Мельгайвачу сделать надрез на животе, чтобы при грехомытии обрести власть над духами, а тот перестарался – не то задел кишки, не то смешал кровь с шерстью, стал опухать и чуть не умер. Голова же чукчей шаман Кака, говорят, спас его и получил за это подарок – половину всего огромного стада. Такие серьёзные слухи быстро опровергаются или подтверждаются. Эти подтверждались надёжным нарочным, посланным в Халарчу.

Призадумались Мамахан и Куриль. Пока они годами собираются отколоть людей от шаманов, шаманы действуют, да ещё так, будто они вот-вот возьмут всю целиком власть над тундрой. Это не просто новая свара, на которую можно плюнуть: один богач совершил глупость, а другой нагло ограбил его. Люди знают, что богачи вовсе не глупые и что добро им достаётся не даром. И только совсем непонятная сила может заставить их резать себя, отдавать за камлание половину богатства. Как же им-то, простым, совсем тёмным, малоимущим людям, не бояться этой силы, не почитать её и не подчиняться ей...

Несколько дней Куриль и Мамахан не встречались. Каждый заново обдумывал затею с попом и церковью, каждый прикидывал, побьёт ли светлая вера чёрную веру. Купец Мамахан, знавший, что на строительстве он кое-что заработает, рассудил в конце концов просто: церковь будет готова года через три или четыре, а к тому времени история с Мельгайвачом заглухнет, и опасаться, стало быть, нечего. Куриль пришёл к такому же заключению, однако он был головой юкагиров, и во все не хотел, чтобы эти три-четыре года с ним считались меньше, чем с шаманом Сайрэ. А ещё он сильно переживал неудачу во время большого камлания, когда шаманы не посчитались с ним, не пошли на сделку ради добра, из-за чего всё теперь обернулось вот так нехорошо для него, для юкагиров и чукчей. И он решил тоже действовать.

Зайдя к Мамахану и отказавшись выпить горькой воды, Куриль сразу заговорил:

⁵³ Чохон, или хаяк – коровье масло, очень дорогой продукт в тундре тех времён (якут.).

– А ты, догор, знаешь, почему мы слабы? Потому, что у нас нет ни шестисот шкурок, ни денег. А если было бы это, то как раз бы время сейчас завозить лес, говорить о светлой вере и божьем доме, о своём попе, и ещё о том, что шаманы – черти...

– Ты, Куриль, накинул аркан на собственную руку, – сказал Мамахан. – Ты все эти дни прицеливался?

– Нет. Я приглядывался к ветвистым рогам шаманов-чертей... Я в конце зимы проведу большое оленегонное состязание. Поставлю на первый приз половину своего табуна, другие богачи поставят по столько же, и я выиграю этот приз. Выиграю – или отдам печать кому угодно.

– А я продам этих оленей, куплю брёвна, ты привезёшь их – и в Булгунях или на берегу Большого Улуро застучат топоры, – договорил Мамахан.

– Это не главное. Главное, я скажу всем людям, что отдам выигрыш светлой вере.

– Хорошо. Но кроме этого, ты ещё соберёшь шкурки – и божий дом будет готов? А как же я? Может, ты без меня справишься?

– Глупому всё это я рассказал бы не так...

– Догор Куриль! До чего же у тебя умная голова! – Мамахан даже вскочил на ноги. – Я, значит, тоже должен провести состязание? Конное? Я на первый приз ставлю двадцать! Хватит! А выиграю сорок или больше... – И он добавил вкрадчиво, с расстановкой: – Сегодня мы пьём водку...

И покатилась вторая половина зимы под уклон, на ровное поле гонок.

Не мешкая, Афанасий Куриль отправил посыльных к богачам индигирской и восточной тундры. Мамахан послал вестовых во все якутские заимки. А как только дни начали удлиняться, Куриль покинул свой Булгунях, перекочевал к Большому Улуро и на едоме Артамона поставил огромный тордох.

Жаркими, хлопотливыми были эти дни у богатых друзей, решивших бросить вызов шаманству.

Куриль первым делом подобрал гонщика. За три луны до состязаний он пришёл в тордох Пурамы и спросил:

– Пурама не забыл, кто он такой?

– Я? Твой шурин и первый охотник, у которого в мешках вместо шкурок гуляет ветер.

– Шкурки надо менять на порох и железные капканы. А Пурама рыбу и мясо отдаёт шаманам, а потом шкурки на еду меняет.

– Я не пойму, зачем ты ко мне пришёл и что хочешь сказать.

– Пурама не забыл, что его близкий родственник два раза подряд выигрывал на состязаниях? Хороший гонщик – вот кто такой Пурама!

– Теперь понимаю. Я, значит, должен выиграть тебе ещё одно стадо и тоже умереть? Смотри, Куриль... Мельгайвач жирел, жирел – и лопнул. Кака ограбил его – и тоже лопнет. Всем богатством тундры одному человеку завладеть нельзя – бог не разрешит.

– Пурама прав. Я назначил большое состязание. Но гонки проведу по старому правилу: приз выигрывает хозяин оленей, а не гонщик. И ему незачем будет умирать... А за меня переживать нечего: если лопну, то не сейчас. Сядем, шурин, поговорим спокойно.

В тордохе было тепло. Пурама отличался огромным трудолюбием, без дела не мог сидеть, а лазить с иводёром⁵⁴ по снегу мог сколько угодно. Но хоть и любил Пурама жить в тепле, был он, однако, настоящим сыном тундры. Худой, с сухим обветренным лицом, он казался человеком, которого не может взять никакой мороз. Да в тундре всё зависит от подвижности и трудолюбия – ленивых она жестоко наказывает. А Пурама побывал в таких переделках, что иной и не выдержал бы. К тому же характер у него был вспыльчивый, и жил он в постоянном напряжении, словно дикий зверёк. Куриль, знавший его гордый и независимый нрав, редко бывал у него и мало ему помогал. Но сейчас он пришёл – ему нужен был человек-пружина, человек-стрела.

– Я скажу кое-что важное, и Пурама сам поймёт, почему об этом пока не надо рассказывать никому... Я и купец Мамахан решили поставить в тундре большой божий дом... – Куриль замолчал в надежде узнать, как воспримет главную новость простой человек.

И то, что последовало за этим, обрадовало его. И без того узкое лицо Пурамы стало вытягиваться – рот его открылся от удивления, а быстрые маленькие глаза будто ушли куда-то назад, чтобы издали разглядеть человека, знакомого и вроде бы незнакомого.

– Мы поставим божий дом, – продолжал Куриль, – а божьим человеком, попом, станет не приезжий, а свой, юкагир. Мы его пошлём в острог на обучение. Но божий дом будет для всех, и строить его должны все. Я приду к Пураме первому и попрошу хотя бы одну песцовую шкурку.

– Я дам две! Нет, я дам три! – выпалил Пурама.

– Две хорошо, три не надо – пусть другие тоже дадут... А я и Мамахан богаче вас всех, и потому мы должны больше внести. Мы внесём, но мы хотим ещё больше внести – чтобы дело шло скорей и надёжней.

– Я понял тебя, Апанаа, кажется, хорошо понял, – сказал Пурама. – Призы отдадите? И их надо взять? – Но тут лицо охотника неожиданно переменялось, стало обыкновенным, злым и недоверчивым. – Я понял тебя, – повторил он, но уже иным, недобрый голосом. – Я дам песцов, я погоню оленей. Однако с условием: перед самой гонкой ты скажешь людям, что весь выигранный табун отдашь божьим работникам, которые сделают божий дом. Согласен? – Пурама привычно искоса посмотрел прямо в глаза Курилю, будто прицелившись в него из ружья. – Не сердись, Апанаа: дело такое – сразу не сообразишь. Тебе я верю. Ты добрее других богачей. Но всё вы обдумывали с Мамаханом? А вдруг Мамахан не выиграет приз и ничего не даст? И тогда тебе одному отдавать будет обидно...

– Он меня с наглым Какой равняет! – вспыхнул Куриль, забыв, что стоит ему согласиться с условием, как зятю крыть будет нечем.

– Почему ж я равняю? – спокойно сказал Пурама. – Приз будет честно выигран... Да кто же поверит тебе, – сорвался он с мягкого тона, – что в тундре богачи захотели поставить божий дом, как в остроге? Да ещё захотели попом посадить юкагира, чтобы он с самим богом и царём разговаривал! Нет, не поеду я.

– Ну и ладно. К чертям! – встал Куриль и нахлобучил шапку. – Найду другого. Я сам хотел сказать, что оповещу народ: приз – для божье-

⁵⁴ Иводёр – крюк из рога молодого оленя, приспособленный для добывания топлива.

го дома. Найду гонщика. А Пурама пусть идёт и прислуживает Сайрэ. Может, шаман посоветует охотнику из ружья себе в живот выстрелить. Погляжу я, как зятю совестно перед богом будет, когда железный крест к облакам на ремнях потянут...

Он зло расшвырял обтрёпанные полы ровдуги и, конечно, ушёл бы, если б слова его не убили наповал всё неверие и подозрительность Пурамы.

Охотник вскочил и с ловкостью затравленного песка втиснулся в дверь между жердью и напрасно обиженным гостем.

– Апанаа, постой, – залепетал он, – зачем же ты так. Ну какой ум у меня? Что я видел и что понимаю? Выкинь из сердца мою обиду – мне твою выкинуть будет трудней...

И Пурама взялся исполнять такое неожиданное, такое важное и страшноватое поручение зятя.

Тайна, которой была покрыта его подготовка, напрягала и ум, и силы его до предела. Он сам отобрал оленей, переглядев всех потомков тех самых оленей, которые принесли Курилю богатство. Первый раз он выехал в тундру после полуночи, когда меньше всего бывает опасность встретить каюра или посыльного-сплетника. Уже на другой день после пробной объездки Пурама пришёл к Курилю и сказал, что нарта не годится для состязаний – она тяжела и груба. Куриль велел пока ездить на этой: пусть олени привыкнут к тяжёлой, и тогда лёгкую они понесут как на крыльях.

Катаясь на нарте, Пурама часто крестился, а ещё чаще разговаривал с богом. Нет, он не просил его помочь выиграть приз, который оказался очень большим. Он просил его сделать сердца Куриля и Мамахана твёрдыми, чтобы из них не ушла добрая воля и чтобы в них не проникла ни обида, ни зависть.

Новую нарту взялся выстругивать лучший мастер Нявал. С Нявалом разговор был короткий: зима перевалила за середину, и его семья, как всегда, нуждалась в еде, чае и табаке. Ну, а насчёт тайны договариваться не пришлось – Нявал по необходимости-то не умел толком сказать двух слов. Нарта у него получилась сказочной – он сам съездил к купцу Мамахану, и вместе с ним они выбрали самые стройные, без сучка и извилины, молодые берёзки, а тесал, гнул, сушил и подгонял он каждую рею с великим терпением. Готовую нарту можно было поднять рукой и повертеть её в воздухе.

А Пурама продолжал гонять по тундре оленей. Он гонял их и днём, и ночью, не щадя ни их, ни себя. И за три луны олени сбросили жир, исхудали, но зато и окрепли.

Первым из богачей, приехавших на берег Большого Улуро, был Тинелькут – владелец огромного стада в восточной тундре. Тинелькут потребовал, чтобы в призовом табуне Куриля были ламутские важеньки и быки: он надеялся на выигрыш, который позволил бы ему распространить кровь ламутских, самых лучших оленей на восточную тундру, то есть на своё стадо, состоявшее из каргинов. Куриль согласился.

Вторым, из Халарчи, пожаловал голова чукчей Кака. Встретив его, Куриль тотчас подумал: «Ага, богатеет без меры и уже зарывается. Пройграет, нет – лопнет», – вспоминал он предречение Пурамы. Но оказалось, что Кака не будет играть: он лишь привёз послание от Мельгайва-

ча, который почему-то решил поставить на приз последнюю половину своего стада. «Нет, тут всё правильно, – сообразил Куриль. – Кака его в это втравил. Хочет смягчить свою вину перед ним и сам будет готовить гонщика. Да! Гонщик-то у них – Кымыыргин. Это же чёрт, а не гонщик... Ладно... Ну а если Мельгайвач проиграет, то что ж: разориться на гонках – это почёт и слава, не то что разориться из-за неспособности управлять богатством...»

Условились так: на три якутских шагания, от едомы Артамона до берега Малого Улуро и обратно. Все три стада соединяются в один приз, и его целиком получает хозяин.

Второй приз – десять оленей, третий – пять. В гонках будут участвовать все желающие. На том и разъехались.

Прошло ещё две луны. Дохнуло сырым ветром и запахами земли. Высокие едомы сняли белые шапки, обнажив глиняные залысины. Солнце начало высоко подниматься над горизонтом. Совы стали прятаться в тень, а песцы веселиться, играть, радуясь свету.

В один из таких солнечных дней Куриль приказал разделить своё стадо надвое. Пастухам он велел проследить, чтобы ламутская важенка была в паре с ламутским быком. Куриль всё делал честно, боясь прогневить светловолосого бога, которого видел нарисованным на доске с золотыми краями: бог заметит обман и тогда найдёт других людей, которым позволит поставить церковь в тундре... Через несколько дней пастухи пригнали табун Мельгайвача и соединили его с табуном Куриля. Ещё через несколько дней показалось третье стадо, которое гнал вместе с пастухами сам Тинелькут.

К едоме Артамона длинными вереницами потянулись караваны богачей и купцов. Сразу начали ставить яранги и тордохи, растапливать очаги, готовить еду, приглашать гостей и ходить в гости. Ожил, зашумел берег озера, ещё недавно слышавший грохот трещавшего от мороза льда, свист пурги и вой волков.

Приехал самый богатый человек тундры старик Тинальгин. Ему уже некуда было богатеть, но ему хотелось посмотреть, как играют в удачу и неудачу другие властители Севера. Позже всех прибыл худой и бледный Мельгайвач – его везли не спеша, чтобы не потревожить едва зажившую рану. Встретил его один Кака да ещё гонщик оленей Кымыыргин. Только они ушли, оставив приехавшего на нарте, как из маленького тордоха выскочил кривоногий старичок Сайрэ. Шаман быстро, хлопотливо заковылял прямо к Мельгайвачу.

– Мэй, мэй.... – скрестил он по-женски на груди руки. – Как же так угораздило-то тебя? Почему же не дождался весны, как я говорил?

– Оставь в покое меня, – попросил, отворачиваясь, Мельгайвач.

И Сайрэ повернул назад, продолжая сокрушённо ахать и приговаривать.

Ни шумные встречи, ни пересуды мужчин, ни пьянки богачей, ни ребячьи игры – ничто не интересовало гонщиков. Всё светлое время они проводили со своими оленями, то и дело выезжая на ровное место, чтобы опробовать снег, оглядеться, приноровиться друг к другу. Каждый день они совершали пробные гонки, выстраиваясь в ряд и стремительно исчезая в клубах снежной пыли. Их было более двадцати, но жарче

всего люди судачили о главных соперниках. Заранее предугадывали неудачу гонщика Тинелькута, его младшего сына Нутувги. Да он и сам не был таким уверенным, как отец, – его низкорослые каргины не могли равняться с ламутскими беговыми оленями. Но было три-четыре гонщика, заставлявших людей чесать затылки и горячиться. Особенно привлекал к себе внимание индигирский гонщик Едукин: его олени были чистой ламутской породы – рослые, широкогрудые, со стройными сильными ногами и острыми копытами – во время езды этих копыт нельзя было видеть, и казалось, что олени летят по воздуху. Но олени оленями, а вот чукча, гонщик Мельгайвача Кымыргин, уже во время пробных заездов вытворял настоящие чудеса. Приземистый, весёлый, взявший немало призов на гонках, он без конца вырывался вперёд, вырывался так далеко, что останавливался, поджидая, будто дразня, других, и снова летел вперёд. Вот эти-то двое – Едукин и Кымыргин – создавали горячку: все знали, что гонки назначил Куриль, а его ездок Пурама казался угнетённым, каким-то слишком задумчивым. После пробных гонок он быстро скрывался в своём тордохе, будто злясь на ламута и чукчу. Поговаривали даже, что он не очень здоров.

А Пурама между тем действительно был угнетён. С каждым днём он всё яснее чувствовал, что состязания пройдут точно так, как обычные состязания. Богачи пьют горькую воду, пьют и Куриль с Мамаханом. И совсем никто не говорит о самом главном – о том, зачем юкагирский голова, человек суровый и умный, вдруг затеял такую большую игру. Хуже того, Пурама предвидел, что если Куриль и скажет в последний день, как он поступит с выигрышем, то это ничего не изменит: одни примут слова за шутку и посмеются, другие – хозяева приза, почуяв недоброе, подстегнут и без того опасных для Пурамы гонщиков. А он ожидал иного. Он ожидал, что все люди будут серьёзными, что многие станут молиться за него и желать удачи ему, что гонщики или расสวิрепеют и дадут понять Курилю, что игра есть игра, или наоборот, охладят пыл – как-никак, а богу уступить надо. Если б всё это случилось так, то Пурама выжал бы из себя все силы. А сейчас что ж получается? Все думают лишь о том, вернётся ли к Мельгайвачу богатство или он станет простым безоленным чукчей, повезёт ли Курилю, разбогатевшему на чужих гонках... Пураме уже давно было безразлично – шёпотом Куриль скажет о своих намерениях или громко в кругу богачей. Сейчас выходило так, что можно совсем не говорить ни о чём: игра и впрямь есть игра. «Все они, богачи, такие, – махал он в своём тордохе рукой. – Мутят, мутят воду, других заставляют мутить, а вытащат рыбу и на свою жердь повесят...»

Вот только ещё не решил Пурама, отказаться ли ему от гонок, если Куриль промолчит, или поехать. Не поехать – скажут, что трусил.

День гонок выдался солнечным, тихим. На том месте, откуда умчатыся упряжки в путь, уже стояла высокая жердь с верёвкой, привязанной за конец, – свалят жердь, гонщики дёрнут вожжи; здесь же лежали три кучи дров – это зажгут костры: три приза. Уже воткнули в снег и три кольца, согнутых из тальниковых прутьев, – победитель должен зацепить ногою одно из них.

Пурама запрягал оленей трясущимися руками. Он медлил и всё поглядывал в ту сторону, где торчала жердь. Народу там ещё не было –

люди толпились вокруг гонщиков, которые собирались к выезду у своих тордохов или яранг. Вон пляшет с бубном в руках сам Тинелькут. Он шаманит. И Кака шаманит, но его за ярангой не видно, слышен лишь звон бубна. Всё это странно – перед состязаниями так редко кто делает, а тут сразу двое... «Пусть шаманят», – неопределённо подумал Пурама и опять начал смотреть на жердь, возле которой уже появились ребята.

– Гляди, Пурама, – раздался голос Нявала, проверявшего свою новую, но уже обкатанную нарту. – Сайрэ наш... это... туда... вроде с бубном пошёл...

– Куда? Смотри: правда, идёт... К гонщику Мельгайвача, к Каке...

– Гы, чего это он?

– Н-не знаю... – рывком затянул Пурама узел постромки. – Ну-ка, дай я отойду.

Он сделал несколько шагов, чтобы лучше увидеть то, что происходит за ярангой, но махнул рукой и вернулся.

– А, всё понятно, – сказал безразлично он. – Виноват перед Мельгайвачом – вот и пошёл шаманить ему. Пнул ногой, а теперь хочет погладить.

Нявал, сидя на нарте, вынул изо рта трубку и постучал ею о полоз.

– Чего это ты... значит... вроде как это – злой на Сайрэ, – спросил он, спотыкаясь на каждом слове.

– Злой... – спокойно повторил Пурама. – Когда детей он спасал – больше, чем я, кто ему помогал? А только ум сам по-разному поворачивается. Если сказали, что Мельгайвач не виноват, а виноваты духи, так духи и надо уничтожить. А зачем же его самого-то резать?

На нарте, рядом с Нявалом, сидел ещё и Хурул – лучший бегун стойбища. Хурул обычно был разговорчивым, а то и вспылчивым. Но сейчас он сидел и молчал, разглядывая следы копыт на снегу. Это его молчание Пурама хорошо понимал: бегун, знающий толк в состязаниях, наверно, не ждал удачи. Но всё же он заговорил:

– А как, по-твоему, Пурама, – подойдёт Сайрэ к тебе или нет? Как-то получится нехорошо. Мельгайвач – чукча и к тому же безбожник, а он побежал вдохновлять его на победу. А ты свой, юкагир, да ещё на такое божье дело идёшь – и он, почитающий бога, не пошаманит тебе...

Пурама в это время разглядывал копыта оленей, и слова Хурула, будто лопнувшая тетива лука, выпрямили его. Жар ударил в лицо, но с языка не успели сорваться вопросы, потому что Хурул повернулся к нему и продолжал говорить:

– ...А пошаманит тебе – Мельгайвач обидится: приз-то большой один! Слышь, Пурама, – как-то так получается... – Он красноречиво поёрзал на нарте. – Хотя и втихую всё они делают, а люди-то знают! Нет, Сайрэ должен тебе пошаманить. Схватишь приз ты – что он будет делать тогда! Люди скажут, против божьего дела шёл.

– А ты думаешь, что Куриль всё-таки будет божий дом ставить? – показывая себя спокойным, спросил Пурама.

– Да если бы слух после гонок прошёл, люди, может, и не поверили бы. А теперь куда же ты денешься? Играть божьим именем? На это никто не решится. Как ты считаешь, Нявал?

– Это... конечно. Да ведь... смотря какой дом? Из чего делать будут?

Если из брёвен, так это... сто топоров будет мало. И топоры нужны из железа...

– А, топоры, топоры! – махнул на него Хурул. – Игровой табун, глянь, какой: больше половины едомы занял. согласишься и роговым топором брёвна тесать. Не об этом я говорю.

– А ты сам слышал? От Куриля? – спросил Пурама.

– Нет. Это вчера Мамахан горькой воды напился – и кому-то в ухо сказал... А вон, глянь, и Куриль идёт.

Хурул и Нявал поднялись с нарты, а Пурама стал нервно перебирать вожжи.

Куриль был одет в новенькую чукотскую кукашку⁵⁵, каких юкагиры ещё не носили, на ногах – новые саскэри⁵⁶. С ним рядом шёл Мамахан в пушистой медвежьей шубе. Оба они были веселы: Мамахан что-то рассказывал, жестикулируя толстым кулачком, а Куриль шурился в улыбке, важно глядя прямо перед собой.

– Пурама! – бодро и громко сказал Куриль. – Где ты прячешься тут? Выезжай – покажись людям. Пусть поглядят на твоих высокогрудых, широкогрудых оленей...

На дорогу уже выезжали другие гончики. Сразу сталолюдно и шумно. Народ начал метаться из стороны в сторону, боясь пропустить мимо глаз хоть что-нибудь в этот переполненный радостным возбуждением миг. Не часто бывает такое в тундре, далеко не каждому выпадает счастье видеть всё это... Как дробь из ружья, выскочила вперёд всех стайка ребят.

А Куриль подошёл к Пураме вплотную и стал говорить тихо, но быстро:

– Один глаз – на Едукина, а другой – на Кымыргина! Едукин не зря приехал, готовился с хитростью, себя не показывал. А чукчей надо остерегаться. – Он поглядел на нож Пурамы, висевший у него на боку. – Чукчи могут зло пошутить... Подойдут возле костров шаманы – уехать нужно от них – пусть на пустом месте пляшут. Пурама! Я всё сделал, как говорил, перед богом чист. Народу сказал, но потихоньку: испугался, что другие откажутся ехать.

– Все уже знают, – сказал Пурама.

– Да, знают. И Кака, и Тинелькут. Потому тяжело будет. Ну, пусть светлый бог поможет нам!

Он стукнул зятя по спине, и тот натянул вожжи.

Ярко светило солнце на пустом синем небе.

Рядом с жердью зажгли костры, и сизый, клубящийся дым тремя верёвками потянулся вверх, образовав одну общую тучку – розоватую сбоку и синюю, мутную снизу.

У костров шумела и пересыпалась толпа, окружавшая добрую полусотню упряжек. У одного из костров опять звенел бубен, взлетевший над головами людей, – это снова шаманил богач Тинелькут, которому так было нужно угнать в свою тундру ламутских оленей. А недалеко от него звенел и второй бубен – только шамана не было видно. Пурама проехал мимо старика Тинальгина, сидевшего в окружении богачей на

⁵⁵ Кукашка – глухо сшитая доха; верхняя, более удобная, чем юкагирская, одежда; впоследствии была признана и юкагирами (чукот.).

⁵⁶ Саскэри – обувь со щёточной подошвой.

нарте. Рядом с ним стояла другая нарта, на которой торчал, как высокий пенёк, Мельгайвач, укутанный шкурой. Пурама сделал крюк, чтобы посмотреть на второго шамана. А когда подъехал – увидел Сайрэ, скачущего возле упряжки Едукина.

«Так. Меня не искал. Значит, и он знает всё», – сказал себе Пурама и повернул прямо к черте на снегу, означавшей начало большой и трудной дороги.

Двадцать три упряжки наконец выстроились в одну линию. Сорок шесть оленей, натягивая и отпуская постромки, топтались на месте. Накренив на один полоз нарты, все гонщики замерли, глядя на жердь и только на жердь, к которой шагали трое – Куриль, Тинелькут и чуть согорбившийся Мельгайвач.

Вот богачи остановились, осторожно потянули верёвку – и тоже замерли. Затихла толпа. Треск сучьев в кострах и мягкий скрип снега под копытами нетерпеливых оленей сейчас казались невероятно громкими.

Богачи пошептались, глянули в сторону гонщиков. Потом попятнулись, дёрнули разом верёвку – и высокая жердь хлестнулась о снег.

Все, как одна, упряжки рванулись вперёд, но сразу же сбились в кучу. Началась борьба за дорогу. В снежной пыли ничего нельзя было разобрать. А когда суета ослабла, люди увидели далеко впереди бурые комочки, настигающие друг друга. За каждой упряжкой вилась пыль – и уже казалось, что огромную тундру, как белую шкуру, быстро испарывают из-под снега ножами.

Впереди было много времени: три якутских шагания – это не близко⁵⁷. Самое интересное начнётся тогда, когда гонщики повернут обратно, к стойбищу, и начнут приближаться к дымным кострам. Но волнение всё равно нарастало: сейчас юкагирский богач Куриль прикажет пастухам пригнать сюда стадо, которое трудно окинуть одним взглядом, и тогда у каждого совсем уж бешено заколотится сердце и станет понятней борьба и переживание гонщиков, в вихрях снега рвущихся к цели.

Проводив упряжки, богачи сели на нарты, поставленные в ряд. Никто из них не хотел выдавать того, что было на сердце. Но сохранить спокойствия сил не хватало. Тинелькут, показывая свою уверенность, которую будто бы никто не может понять, начал есть жирное мясо. Однако первый же кусок он не донёс до рта: а вдруг этому Курилю и в самом деле поможет бог? Как же заранее он не узнал, из-за чего назначены гонки! Просто проиграть и то страшно. А тут ещё проигрышем помочь прославиться юкагиру... Не меньше Тинелькута волновался Куриль. По его лицу, по крепко сжатым губам могло показаться, что он спокоен. Но его выдавали резкие движения. Он то пристально глядел на Сайрэ, сидевшего прямо на снегу недалеко от Мельгайвача, то резко отворачивался от него в сторону Тинелькута; потом он начинал вставать, отыскивая глазами кого-то из своих людей. Все богачи, купцы и простые люди знали, как ему будет плохо, если Пурама приедет не первым: именем бога нельзя шутить... В противоположность ему Мельгайвач сидел очень смиренно, однако представляться больным и безразличным к своей судьбе терпения не хватало – глаза его сами собой перека-

⁵⁷ Примерно 15 км.

тывались из стороны в сторону. И у Куриля замирало сердце, когда он перехватывал встречные взгляды его и Каки. Ему казались недобрыми эти взгляды, этот бессловесный разговор чукчей-шаманов.

Куриль встал и обернулся назад.

– Нявал! Тебе вызывать призовой табун. Иди. Пригоните его сюда и передайте в руки тем, кому повелит бог...

Куриль перекрестился, а сам подумал: «Если проигрывать, то лучше всего ламуту Едукину».

Нелегко ожидать победу, но куда трудней добывать её.

Как только упряжки вырвались на простор и перестали мешать друг другу, тундра огласилась криками двадцати трёх здоровых отчаянных гонщиков. Каждый старался определиться, где выгодней ехать. Едукин, Кымыргин, двое чукчей и ещё гонщики ламутских оленей решили быть впереди – они мчались густой кучкой, но сильно не отрывались от остальных. Нашлись такие, кто предпочёл быть последним: израсходовать силы – это не хитрость. Пурама ехал посередине и считал это самым верным: когда знаешь, кто впереди, кто сзади – легче бороться. Найдя себе место, Пурама успокоился. Позади сильных противников не было – сын Тинелькута выехал на каргинах, а разве можно каргинов принять в расчёт! Чуть тревожил его Ланга, гнавший ламутских оленей. Но Ланга не три луны готовился к состязаниям...

Так, изредка меняясь местами, гонщики одолели четвертую часть пути. Кымыргин и Едукин часто оглядывались. Видно, их беспокоило то, что Пурама выжидает и не теряет ума. Они тоже не теряли ума, и гонка пока что устраивала всех – продлилось бы так до поворота и ещё немного на обратном пути... Все знали, однако, что этого не случится.

Совсем неожиданно Пурама увидел мелькнувшую мимо него упряжку Ланги. И он не успел сообразить, что же случилось, как вслед за Лангой на одном полозе проскочил Нутувги – сын Тинелькута. Словно пуля через кусты, промчался Ланга между упряжками головной кучки – и погнал, погнал оленей, всё уменьшаясь и уменьшаясь. На какое-то время все растерялись. Но Пураму обогнали первого, и он быстрее других сообразил, что делать. «Это не страшно, – подумал он. – Но не подразнить ли передних?» Он натянул вожжи, олени шире метнули ноги. И вот уже позади остался сын Тинелькута. А Пурама взмахнул вожжами, крикнул; олени ещё прибавили ходу – и суетившиеся на нартах Кымыргин, Едукин и все остальные уплыли назад.

Если бы в это время возле дороги оказался слепой человек, он мог бы подумать, что целое стойбище, бросив жильё, рванулось к какому-то рубежу, где всех ожидает великое счастье, или, напротив, несётся от страшной беды, преследующей по пятам. Топот копыт, свист вожжей, удары полозьев о снежные заструги, звон постромок, натянутых будто струны, гиканье гонщиков... Пурама не видел этого охватившего всех порыва. Он оглянулся позже, когда сзади творилось что-то невообразимое. Задние нагнали передних – и началась потеха – неразбериха. Одни стегали оленей, крутя вожжами над головой, другие били их палками, кто-то свалился с перевёрнутой нарты, чьи-то упряжки спутались, и возле них суетились, ругались гонщики... Пурама так громко захохотал, что олени вздрогнули и ещё набавили ходу.

А вот и едома Норенмол. Вот она, долгожданная! Теперь – поворот. Перегнать бы ещё Лангу, да он недалеко, и олени его устали.

Опередив всех, Пурама перевёл оленей на рысь и, вздохнув, начал думать о том, как ехать дальше – подождать ли других, чтобы передохнуть, или постараться быть первым. Осилена лишь половина пути, и торжествовать ещё очень рано: многое может перемениться... Ничего ещё не придумав, он натянул левую вожжу, поворачивая оленей, – и вдруг съёжился от неожиданности. В лицо ему полетели ошмётки снега, по ногам чуть не стукнула нарта – пулей мимо него проскочил Кымыыргин. Пурама тряхнул головой, а в это время, словно стрела, мелькнула вторая упряжка – это Едукин чуть ли не по воздуху пролетел. Дробно стуча копытами, на поворот выскочили и каргины гонщика Тинелькута.

Ошеломлённый, бессмысленно перебирая вожжи, Пурама только моргал, глядя, как впереди одна за другой отмахивают дорогу упряжки. Но у него были верные стражи – глаза. Они-то и решали всё за него: впереди оказался подъём, и совсем незачем было сейчас что-то делать – выскочить наверх на большой скорости – значит, многое потерять.

Так оно и случилось. Сверху вниз Пурама полетел как ветер. Отдохнувшие его олени не испугались разгона и понеслись, понеслись, оставляя позади одного, другого, третьего гонщика.

А теперь можно было вздохнуть по-настоящему и подготовиться к самому главному, к борьбе за победу, к борьбе с теми, кто сумеет сохранить силы оленей. Пурама уже видел сбоку остановившиеся упряжки – это бросали игру гонщики, понявшие, что бороться дальше расчёта нет. Безнадёжно отстаёт и сын Тинелькута...

Три противника оставались у Пурамы – Кымыыргин, Ланга и Едукин. Все они недалеко, и вместе с Пурамой они набираются сил.

Пурама ожидал, конечно, что задние ещё настигнут его, может быть, даже немного опередят. Но случилось самое худшее. Кымыыргин с одной стороны, Едукин с другой промчались мимо него. А тут ещё подошёл Ланга – он тоже обошёл Пураму и встал как раз перед ним. А первые двое – ламут на сильных оленях и дьявол чукча тоже на сильных оленях всё удалялись и удалялись. Не помня себя, Пурама с такой силой врезал одному и другому оленю ремнём, что сразу весь утонул в непроглядной снежной пыли. Каким-то чудом он не столкнулся с Лангой. Но, даже обогнав первого, он нисколько не успокоился и всё хлестал и хлестал оленей, не щадя ни их, ни себя. Вот он, Кымыыргин, – близко. Он с ног до головы закидан снегом, как пень в лесу. И олени его от инея белые – пар у них из ноздрей вырывается тучами. А Пурама бьёт и бьёт вожжами и наконец перегоняет его. Но впереди Едукин. Его разглядеть невозможно – он тоже купается в клубах пыли и пара. Только догнать бы Едукина, только догнать бы! А там... Но сбоку храпят олени дьявола чукчи.

Какой-то миг Пурама и Кымыыргин летели рядом, не понимая, кто из них хоть чуть отстаёт: ошмётки снега из-под копыт и вихри пыли заставляли глядеть только вниз. Но тут что-то произошло. Кымыыргин вдруг как-то сразу скользнул вперёд и исчез, а левый бур – олень Пурамы с разгона свалился в снег, правый же дёрнулся, словно наткнувшись на стену, и медленно поволок нарту.

Пурама соскочил на снег – и в руках у него оказалась лямка, разрезанная наискосок возле постромки. От гнева у него не было сил заскрипеть зубами или назвать сирайканом чукчу. Сердце в его груди так колотилось, что от напора крови потемнело в глазах. Дрожащими руками, ничего не видя перед собой, Пурама привязывал лямку к постромке. Он привязывал её долго, так долго, что уже слышал крики людей, встречавших победителя гонок. Не спеша он взял вожжи и сел на нарту. И только теперь понял, что ни Едукин, ни Кымыыргин ещё не успели выскочить на равнину едомы.

И Пурама проскрипел наконец зубами. Дико крикнув, он хлестнул изо всех сил левого, затем правого оленя. Потом выхватил из-под сиденья кенкель⁵⁸ и начал бить им и того, и другого. Он уже хорошо видел три тонких дымка, скрестившихся в небе, видел даже толпу людей, стеной стоявших на самом высоком месте едомы. А левый олень его мучился – лямка была узковатой, с узлом, она мешала ему, и правый не мог приспособиться – то заворачивал в сторону, то отставал, несмотря на удары.

А впереди теперь было трое – Ланга тоже успел обогнать его. И Пурама от досады, наверно, заплакал бы, но глаза его уловили что-то такое, отчего снег опять сделался белым, небо синим, а солнце красным. Может, его оленей потихоньку подталкивал бог, а может, напротив, бог придерживал тех, что были ближе к кострам? Бог – не бог, но Пурама явственно видел, что расстояние между ним и Лангой сокращается и что две остальные упряжки вовсе не летят, как на крыльях. «Да ведь на взволлок идём... – догадался он, трясаясь будто в ознобе. – Мои отдохнули, пока стояли, – олени мои... И нарта моя самая лёгкая...»

Он вдруг выкинул палку – лишнюю тяжесть, и с такой силой опоясал вожжами левого, что тот пригнулся и прыгнул; тотчас же он опоясал и правого – и сам едва удержался на нарте. Олени теперь летели прыжками, а Ланга наплывал на него, наплывал – будто ехал назад, в обратную сторону.

Проскочил Пурама мимо Ланги – и пошёл нагонять второго, Едукина. Но лямка... Как же мешает узкая лямка оленю! И как она не развяжется!..

Поплыл на него и Едукин. Бьёт Едукин палкой оленей, а они будто не чувствуют боли – всё так же медленно бросают ноги.

Ещё шагов двести, а там равнина. Догнать бы Едукина!

А народ кричит, машет руками, топчется, пляшет...

Есть! Уплыл Едукин назад. Но впереди Кымыыргин. «Сирайкан Кымыыргин, сирайкан! Срезал мне лямку, срезал – я всем покажу... А оленей этих я тебе, Куриль, не отдам, не отдам, если даже и проиграю...»

А у оленей нет уже сил. Они не чувствуют боли, они, наверное, знают, что всё равно упадут и подохнут...

Последний перелом тундры – дальше ровное место. Пурама соскочил с нарты, побежал рядом с упряжкой.

Ха! Да ведь и олени чукчи не бегут, а тащатся! Языки-то красные вывалили – словно собаки, и дышат совсем по-собачьи. И это – на ровном месте... Пурама разбежался, прыгнул на нарту и подтолкнул её. Стегнув по бокам своих многострадальных оленей, он начал кричать на них и

⁵⁸ Кенкель – длинная палка.

крутить ременными вожжами над головой.

С победным шумом он и хотел промчатся мимо гонщика Мельгайвача, но вдруг дёрнул вожжу и отвалил в сторону. В руке Кымыргина ярко блеснул на солнце прижатый к рукаву нож.

Бешеным зверем глянул шаманский гонщик на Пураму – сорвалось у него и в такой момент. И он насел на оленей – начал хлестать их по чём попало.

А толпа орёт, прыгает, расступается.

– Олени мои, олени, – дрожащим голосом вслух лепечет Пурама и уже не бьёт их, а только из последних сил натягивает ремни. – Немножко, ещё немножко... Во-от, во-от. Отстал. Отстал, сирайкан!.. Родные мои... Выдержали... Выдержали! Выдержали!

Он ногой ловко зацепил кольцо из тальника, к которому был привязан красный лоскут – знак первого приза, – и влетел в прогалок ликующей, шумной толпы.

Бросив оленей и закрыв руками лицо, Пурама поплёлся, не зная, куда и зачем. Во всём его теле от головы до пят что-то стучало, вырывалось наружу, а перед закрытыми глазами то разгоралось, то гасло жёлтое лучистое солнце.

Объятие дрожащих рук остановило его. Пурама открыл глаза и тихо засмеялся, глядя прямо в лицо Курилю.

– Ну, не умирай, Пурама, – весь светился, как предвесенний день, Куриль, богач Куриль, теперь слишком большой богач Куриль. – Молодец. Какой же ты большой молодец, Пурама!

– Одарить его надо, хорошо одарить! – бил его рукой по спине Мамахан.

– Можно, Апанаа, умереть. После такого дела можно! – сказал Пурама, которого вместе с богачами толпа тискала, сбивала с ног. – Только не от радости – это брехня. От стука в грудях! Да, Куриль, а Кымыргин – сирайкан – срезал лямку на правом. Иди – погляди. И второй раз срезать хотел...

Куриль и Мамахан сразу освободили гонщика, раздвинули толпу – зашагали к упряжке.

А люди в это время ласкали оленей – кто целовал их в мокрые носы, кто прижимался щекой к их глазам, кто гладил спину, брюхо, бока.

Растолкав всех, Куриль сразу увидел узел с торчащими острыми концами и, взявшись за этот узел, решительно повернул упряжку, повёл её за собой – к тому месту, где стояли упряжки Мельгайвача и Каки.

Совсем сгорбленным сидел Мельгайвач на нарте. Перед ним, опустив голову, тяжело дыша, стоял Кымыргин. А Кака шагал туда и сюда по вытоптанному снегу. Сайрэ возле них уже не было.

У Куриля на языке крутились такие слова, от которых и Мельгайвач и Кака, наверно, провалились бы в нижний мир. Но вид совсем недавно страшно богатого чукчи мог разжалобить даже медведя: теперь Мельгайвач был никем – просто чукчей, может быть, пастухом Каки. И язык у Куриля не повернулся.

Правый олень является главным в упряжке.

Зато у Пурамы с новой силой вспыхнула злость, и он, толкнув рукой в бок Кымыргину – в то место, где висела пустая ножна, со счастливой издёвкой спросил:

– Мэй, а где же ты ножик-то потерял?

Кымыргин схватился за ножну, но тут же опустил руку и с такой ненавистью скосил глаза на Пураму, что Курилю пришлось встать между врагами.

А Мельгайвач, не выпрямляясь, повернул голову, увидел лямку, завязанную узлом, и тихо сказал:

– Плохо... Всё плохо. Теперь ещё и позор. Зачем Кымыргин сделал так? Всё равно бы тебе не отдали стадо, если б и первым приехал.

– А кто доказал бы? Может, он сам разрезал...

Заметив, что Кака куда-то исчез, Куриль догадался: не Мельгайвач, а Кака натравил гонщика. И он вдруг пожалел чукчу, на которого сразу свалились такие тяжкие беды.

– Может, Мельгайвач, ты обратно возьмёшь хоть немного оленей?

– Нет, нет, Апанаа, – замотал тот головой и вытер варежкой слёзы. – Я рад, что мои олени попали к тебе. Не хотел я, чтобы их на восток угнали. А ты, может, и вправду употребишь их на хорошее божье дело. И грехи тогда мне отпустятся... Да если бы ты состязания не назначил, я назначил бы сам, и всё равно ты выиграл бы.

– Ну, живи с богом, – сказал Куриль и отвернулся. К нему навстречу шёл Тинелькут, но он заметил медленно подъезжавшую упряжку – сильно заиндевелых оленей и усталого каюра-ламута. – Гость? – спросил он. – Издалека? Опоздал, мэй. Кончилось всё.

– Нет, Апанаа! – крикнули из толпы. – Он ищет Едукина, чтобы помочь ему стадо гнать.

– Куда гнать? – удивился Куриль.

– На Индигирку...

Толпа грохнула таким дружным и неожиданным смехом, что приезжий вздрогнул и растерялся; ламут, однако, смекнул, в какой просак он попал, – и под ещё более раскатистый смех завернул оленей, щёлкнул вожжой и скрылся с глаз.

– Хорошие у тебя, Куриль, олени, – сказал Тинелькут, смущённо улыбаясь. – И гонщик у тебя лихой. Если нынешняя удача поможет тебе в хороших делах, я не буду жалеть, что проиграл. По обычаю все богачи и гонщики-победители собрались у костров, набросали в них мозгов и сала, а потом расселись на снегу, стали закусывать и пить чай.

Едома Артамона, наверное, никогда не была такой оживлённой. Вся она кипела оленями и людьми; над этим подвижным, шумящим морем клубились дымы огромных, жарко горящих костров, уже хорошо заметных издалека в наступающих сумерках.

Когда чаепитие кончилось и настала пора всем расходиться, к богачам подошли пастухи и Нявал.

– Вот, значит, Куриль... – начал как будто ничего толкового не обещавшую речь Нявал. – Как ты приказывал, значит. Бог отдал тебе стадо. А мы тут говорили, что, может, через него бог и к нам ближе окажется...

– Хорошо, складно ты говоришь, – перебил его Куриль, поднимаясь. – Теперь что ж – остаётся проводить стадо...

Эти слова заставили Мельгайвача сильно вздохнуть и совсем согнуться над обглоданными костями. Бывший шаман и бывший богач тихонько толкнул локтем Кымыргина – иди, мол, ты за меня. И Кымыргин поднялся. Встали и остальные.

Проходя мимо костров, Куриль, Мамахан, Пурама сразу увидели запропастившегося Сайрэ. Они ничего не сказали друг другу, только переглянулись, но удивлению их не было меры. Шаман Сайрэ, улыбаясь и что-то бурча под нос, нюхал, целовал лежавших возле костра оленей, – тех самых оленей, к которым не подошёл утром и на которых Пурама победил всех остальных – даже слышавших звон бубна, бубна Сайрэ. Сейчас шаман желал им долго жить и далеко бегать...

Все прошли молча мимо него, каждый по-своему думая о старике...

И погнали выигранное стадо Куриль, Тинелькут, Кымыргин и Мамахан. Погнали, чтобы соединить его со второй половиной стада юкагирского головы.

На другой день, когда взошло солнце, все увидели, как сильно разбогател Куриль. Раньше стадо его занимало половину едомы, а теперь не уместилось на всей едоме.

Утром Мамахан отослал своего конюха в Булгунях и велел ему перегнать двадцать коней на хорошее пастбище, а также снова отправить посыльных на Алазею и к городу: пусть желающие готовятся к состязаниям конников.

А Куриль в это время одаривал всех своих близких. Кто получал двух оленей, кто пятерых, а кто и целый десяток.

Кака уехал, не попрощавшись. Когда уехал – никто не знал. Он ничего не сказал об этом Мельгайвачу, бросил его.

Зато пришёл попрощаться сам Тинальгин. Он молча пожал Курилю руку да по-стариковски важно, покровительственно улыбнулся.

ГЛАВА 6

Как ни храбрился Хуларха, как ни старался, а пришлось ему признаться в бессилии. Нет, Хуларха мог каждый день дёргать тальник и таскать его на спине, мог носить из озера воду, кипятить чай, чинить и вязать сети, мог даже уплывать далеко на своей ветке, ловить чиров, а потом потрошить их, готовить юколу. Он всё мог делать – даже без передышки, но ему не хватало дня и не было хоть маленькой, но постоянной помощи. Жизнь, однако, никак не считалась с тем, что ему не хватало. И стоило Чирэмэде, не вставая, проваливаться на шкуре только одну луну, как Хуларха понял, что так он долго тянуть не сумеет. Он уж и тордох-то поставил совсем близко к воде, и спал очень мало, и не отказывался от помощи соседа Нявала, и всё же чувствовал, что ничего не выходит.

Иногда он бросал всё, уходил далеко по берегу озера, садился под обрывом едомы – и долго глядел пустыми глазами на мутные волны, на стонущих чаек, на весь угрюмый, неласковый мир, который уж если невзлюбит кого из людей, так невзлюбит до самой смерти. Хулархе в такое время казалось, что стоит ему заплакать, заплакать навзрыд, громко, отчаянно, так, чтобы от слёз напухли глаза, – как после этого наступит какая-то перемена. Вот он встанет, вытрет глаза, на что-то решится, придёт в тордох, а там, у пуора, стоит жена, с хрустом режет юколу, ругает плаксивую Халерху и говорит ему твёрдым голосом: «Сходи, Хуларха, к озеру, умой эту грязнулю, а потом помоги мне принести шкуры в тордох...».

Вот тут-то к нему и вернулась бы сила, и он-то уж знал бы, что дальше делать, как жить... Но слёзы не появлялись. И медленно плёлся старик домой с опущенными руками. Он останавливался перед дверью тордоха и долго думал о том, напоить ли горячим чаем больную жену и голодную дочь, сходяв сначала за тальником, или заставить их потерпеть и попытаться поймать рыбы, которой слишком уж мало на вешале...

Однажды, когда Хуларха стоял на берегу вот в такой нерешительности, к нему подошёл Пурама.

– Хайче, – сказал он, – может, тебе один мой совет поможет? Больно уж трудно тебе.

– Не-ет, – затряс лысой головой Хуларха, – никакой совет мне теперь не поможет. Года бы три протерпеть, дочь подросла бы – тогда уж другое дело.

– А вот я про это и собирался сказать. Давай сядем, отец. Нет, не в тордохе. Пойдём к воде – у воды голове прохладней и уму спокойней.

Идти к воде – три шага. Они сели. Пурама набил трубку и отдал её Хулархе.

– Покури, хайче, и послушай меня... Заходил я по старой дружбе к Сайрэ. Ну, сам знаешь, слухи прошли – будто он ламутам и чукчам на гонках желал только не умереть, а на победу не вдохновлял. Да и Куриль говорит, что он делал больше добра, чем зла. Наверно, тут правда: детей защищал – потому, может, перестарался. И не безбожник он... Сели пить чай, попили, начал Сайрэ вспоминать страшные случаи. Я-то шаманскую речь понимаю – и думаю: может, обо мне что сказать хочет? Нет, вроде не получается. И тут он зачем-то вспомнил сказку о том, как молодая девушка и пастух убежали от своих родителей, стали жить в медвежьей берлоге, как родился у них ребёнок и как они жалели потом, что не послушали мудрых людей. Кончил он сказку, замолчал, а Пайпэткэ всё смотрит на него, всё смотрит. И как польются у неё из глаз слёзы!.. Сама вроде не плачет, а слёзы льются. «Что с тобой, – спрашиваю, – Пайпэ?» – а сам всё уже понимаю... Да это что – Сайрэ потом рассказывал, что она принесёт хворост, увидит корень, похожий на человечка, обязательно обрежет лишние ветки, а человечка куда-то спрячет... Детей у них нету – вот она и страдает. А жить они стали неплохо – голодные не сидят, как ты... Я говорю Сайрэ: «А вы взяли бы на прокорм девочку или парнишку. Ланга трудно живёт, Хулархе нелегко, есть и другие». А он отвечает: «Взял бы. И кормил бы досыта. И Пайпэткэ было бы веселей. Да только как же спросить?»... Я скажу тебе, Хуларха, что после случая с Мельгайвачом Сайрэ будет стараться...

– Ланга, говоришь, может отдать? – спросил Хуларха спокойно – будто речь шла не о его ребёнке.

– Да ты сам подумай, – сказал Пурама, – что тут страшного? Попроси его тордох переставить поближе – Халерха будет и мать, и тебя видеть, а есть-пить у соседей дети легко привыкают.

– Э, нет... Её же надо через кольцо передать! – немного отодвинулся от Пурамы старик. – А пройдёт через тальниковый круг – плачь тогда или не плачь, а дитя не твоё. Нет, не отдам.

– Послушай, – наклонился Пурама к его уху. – А что Сайрэ – тридцать лет от роду? Или сорок? Останется Пайпэткэ одна, замуж выйдет, и возьмёшь свою дочь к себе.

– Нет. Ждать смерти Сайрэ не буду. И дочь не отдам. – Хуларха возвратил Пураме трубку и встал.

– Я как есть говорил, – вздохнул Пурама. – На грех не толкал. А обиду на меня не держи.

И они разошлись.

Легко давать советы. А легче всего – несчастному. Пурама быстрее других проехал три якутских шагания – и получил за это полтора десятка оленей – от богача шурина, а если бы захотел, то получил бы и больше. Ему можно ходить по тордохам, раздавать советы, как Куриль раздавал после гонок оленей... Так рассудил Хуларха, утешая плачущую Халерху и собираясь идти за дровами.

И всё-таки о предложении Пурамы он рассказал жене, когда напоил её и дочь жиденьким чаем и задумался о завтрашнем дне. Рассказал не затем, чтобы узнать заранее известный ответ матери и этим подкрепить себя. Потеря всяких сил ожесточила его, и он хотел наконец услышать, думает ли она выздоравливать. Ответ Чирэмэде был, однако, таким, что Хуларха сначала не поверил ушам. Но вздоху облегчения и улыбке на болезненном, прозрачном и теперь очень скуластом лице не поверить было нельзя.

– Это было бы хорошо, – сказала она. – Сайрэ всегда желал нам добра. И, видно, добрые люди подсказали тебе.

– Пурама приходил... – Хуларха подполз на четвереньках к спящей дочери, посмотрел на неё, а затем попятился и быстро ушёл из тордох.

Настала наконец перемена в жизни бедной семьи. Хуларха воспрянул духом. Выгребая ветку к рыбному месту, он веселей поглядывал вдаль, руки его действовали проворнее, чем в прежние дни. Он понимал, что жене очень плохо – раз она не видит другого выхода. Но дочь-то будет сыта, ему станет легче – и, глядишь, жена пойдёт на поправку. А там будет видно...

И через несколько дней Хуларха привёл девочку к тордоху Сайрэ. Халерха уже всё понимала; она давно не носила ару⁵⁹, играла с Ханидо в оленя и волка, а то и одна убегала на холм за стойбище. От раны на её животе остался лишь белый шрамчик... Игра взрослых ей не понравилась. Хоть дедушка Сайрэ и присел на корточки, улыбаясь и расставив руки, чтобы поймать её, хоть красивая тётя Пайпэ и манила её к себе, она упёрлась в колени отца, начала озираться, как дикий зверёк, и не хотела пролезать через кольцо, согнутое из прутика. А когда отец нагнулся, прижался щекой к её щеке, а потом подтолкнул в кольцо – Халерха стала брыкаться, выкручиваться и вдруг завизжала, заплакала, хватаясь за руки и ноги отца.

С трудом удалось вручить девочку новым родителям. Несколько дней Халерха ничего не ела и не пила. Она или кричала, или спала. Сайрэ попеременно с женой пришлось сидеть и охранять дверь.

А в тордохе Хулархи стояла жуткая тишина: больная мать, вперив глаза в ровдугу, часто дышала, приподнималась на локтях, чтобы убедиться, не обманывают ли её уши. И плач-то доносился до неё еле-еле, но она всё слышала. Старик Хуларха жил беспокойно – то брался за любое дело с горячностью молодого мужа, то вдруг надолго цепенел и не замечал вокруг себя ничего.

⁵⁹ Ара – съёмный клапан из мягкой шкурки, нечто вроде подгузника.

Но время успокаивает кого угодно. Халерхе захотелось есть, а потом и понравилось быть всегда сытой. Да тут ещё ласки и разговоры, по которым она успела соскучиться.

Сайрэ был до глубины души тронут людским доверием. Ему отдали ребёнка! Слава сильного шамана – тяжёлая слава. В ней перемешаны и добро, и зло. И, видно, сам бог надоумил людей передать ему в дочери Халерху, чтобы они поменьше думали о его первой в жизни жестокости и чаще вспоминали о детях, которых он защищал. Пусть и Куриль теперь скажет, что все шаманы – черти: детей на воспитание чертям не отдают... Впрочем, старику Сайрэ и без того надоела безрадостная жизнь, и не просто безрадостная, а переполненная ещё и тревогой. Никогда и ничего шаман так не боялся, как сейчас боялся беды Пайпэткэ. Если с ней опять случится несчастье, он пропадёт. Невинный, в сущности, Мельгайвач, так страшно искупавшийся в своей крови, разорённый до конца, ставший простым пастухом Каки, а потом сумасшествие Пайпэткэ – это слишком много, чтобы люди думали о нём как о добром шамане. Тут уже одно к одному; глядишь – и в доброте увидят корысть. Быть жестоким Сайрэ не хотел – потому что жестоких бог не принимает к себе. И страшней всего было то, что сколько бы он ни камланил в последнее время, к нему ни разу не приходила догадка – чем оправдать беду Пайпэткэ, если беда случится при людях, во второй раз...

Теперь, когда он часто держит на коленях названную дочь, рассказывает ей сказки и кладет её на ночь не сбоку, а посередине, между собой и Пайпэткэ, – дышать стало легче и тяжкие думы растаяли, как на ветру комариная туча.

И уж совсем неожиданной была эта радость для Пайпэткэ. Стояли как раз тёплые летние дни, и когда Халерха накричалась вдоволь, потом до того наелась, что живот натянулся, как бубен, – они вместе ушли из тордоха далеко на берег Улуро. Тут Халерха и заснула на коленях красивой молодой тёти, которая гладила её по голове, прогоняла веткой злых комаров и, напевая, смотрела на синее озеро и на чаек в голубом небе. Хуже было, когда возвращались к стойбищу. Халерха захотела идти к маме, а не к хайче. Пришлось взять её на руки, уговаривать и пообещать отпустить к маме завтра.

Её и отпустили назавтра. Но она быстро вернулась – потому что дедушка Сайрэ велел Пайпэткэ шить ей одежду из новых и мягких шкур.

Пайпэткэ с утра бегала по стойбищу в поисках подходящей одежды, чтобы по ней выкроить для Халерхи шубку и всё остальное.

Так и потекли летние дни, полные семейных хлопот и радостей. А однажды в тордох явился весь испачканный глиной Косчэ-Ханидо и серьёзно сказал, что хочет поиграть со своей женой. И тут первый раз за все годы Пайпэткэ и Сайрэ рассмеялись, рассмеялись дружно, с какой-то прорвавшейся безудержностью – точно всё прошлое было зряшной игрой в неудачную жизнь.

Сайрэ стал ходить по стойбищу как молодой – немного подпрыгивая, а его жену люди заставляли озабоченной или весёлой – она за шитьём пела песни, ловко орудовала у пуора, даже сплетничала. Дети играли вокруг тордоха, а если уходили на берег, к родителям Халерхи, то возвращались как ни в чём не бывало. И хоть однажды старик Хуларха сказал, что его жене вроде становится лучше, это не насторожило

ни Пайпэткэ, ни Сайрэ. Потому что дело сделано полюбовно, да и было условие, что девочка может встречаться с родными, когда захочет.

Лето перевалило за середину. С каждой ночью солнце всё глубже и глубже цеплялось за горизонт. Стойбище жило заботами о зиме и ещё разговорами о божьем доме, который будто бы с Покрова собираются строить Куриль с Мамаханом.

В эти дни в тордох Хулархи пришла коварная радость: поднялась на ноги Чирэмэде. Подняться-то она поднялась, и хорошо ей было узнать, что муж заготовил, наверное, больше других юколы, но вот дочери теперь у неё не было.

А для её дочери между тем будто только теперь наступила весна. Лицо её округлилось, рёбрышки уже не прощупывались, как прутья в холщовом мешке. А сколько радости ей доставляли обновления! Сперва в одной пышной шубке, потом обутая и наконец одетая с ног до головы, она выходила каждый раз из тордоха с застенчивой важностью, улыбаясь и тёте, и дедушке, и каждому встречному.

Такой одетой по-зимнему, полненькой, очень довольной и увидела её мать, случайно проходя мимо тордоха шамана. Чирэмэде не удержалась – схватила дочь, подняла мягонького, пухленького медвежонка на руки, прижалась щекой к лицу, начала нюхать, но вдруг опустила на землю и быстро-быстро пошла вниз, к своему пустому тордоху.

Что ж: мать остаётся матерью. И случай этот пришёлся бы к ряду других – если б ночью не произошла беда, словно свалившаяся с неба и заглушившая всякие прочие разговоры и сплетни стойбища.

Со сложными чувствами легли в этот вечер спать Пайпэткэ и Сайрэ. Им было приятно, что долг перед бедной семьёй они исполняют как надо, и в их сердцах даже стучала гордость: вот видите – они не могут, а мы без труда можем. Но горе матери и отца, так поспешивших с решением, заставляло молчать. С двух сторон обняв спящую девочку, они лежали не двигаясь, боясь поправить одеяло или покашлять, потому что любое движение или звук могли стать началом неловкого, тяжкого разговора о людской беде, заставляющей делать страшное дело.

Лишь к середине ночи Сайрэ захрапел. Только храпенье его тут же и оборвалось. Тихий, недетский плач, словно холодной водой, окатил его с ног до головы.

– Пайпэ – ты? Чего это ты? – спросил он, не зная, что и думать.

В ответ на это Пайпэткэ вдруг закатилась рыданием. Она стала крутить головой по свёрнутой в валик дохе, метаться, точно в жару.

– Да ты что, Пайпэткэ? Никак заболела? Ох, несчастье-то...

– Где несчастье? Здесь несчастье! – она постучала рукой по своей груди. – Ребёнка мне дай!.. Да ты не поймёшь... Одноглазенького, как ты, малюсенького. Однорукого, одноногого! Дайте ребёночка мне! Моего! Жалко вам, что ли? – Она захрипела и опять начала метаться.

Халерха вскочила, прижалась к Сайрэ, а тот, глядя её дрожащей рукой, онемел, не зная, что делать и что сказать.

Прикрыв рот руками, Пайпэткэ голосила, шумно набирала воздух и опять голосила, не переставая крутить головой.

Сайрэ знал, что если как-нибудь не утешить её, то может произойти самое худшее. С ней уже было это – тогда, морозной и вьюжной зимой, он успокоил её обманом, а потом напоил горькой водой – и вернул рас-

судок. А что придумать сейчас? И медлить нельзя – разойдётся, вскочит, начнёт хохотать и побежит по стойбищу... Сайрэ решил как можно ласковой и спокойней заговорить с Халерхой – ничего другого в голову не пришло.

– Видишь, – заболела наша тётя Пайпэ... Заболела... Все болеют. И у меня спина болит, и давно болит. Только я мужчина, а мужчины не плачут... – Он прицепился к мысли о своей трудной стариковской судьбе, стараясь разжалобить и девочку, и жену.

И это подействовало. Пайпэткэ начала прислушиваться, прислушиваться и наконец замолчала.

Так они и забылись, придавленные невыносимо тяжёлыми мыслями. По-настоящему заснула лишь Халерха. А старик только дремал, будто повиснув в густом тумане. Он не спал – и всё-таки не слышал, как Пайпэткэ ушла из тордоха.

Вскочил Сайрэ, ничем и никем не разбуженный, – и сразу бросился к выходу.

То, что увидел Сайрэ, могло бы лишь рассмешить, если б это не было самым страшным. Пайпэткэ сидела на старой, ненужной нарте и выгибала из прутьев человечков. Она уже сделала двух – они лежали перед её глазами на вытоптанной земле – и сейчас трудилась над третьим, высунув набок красный язык. Шаман сразу обмяк, плечи его обвалились, как подгнившие жерди. А Пайпэткэ повернула к нему лицо и улыбнулась. Гадкой и жалкой была эта улыбка, и старик весь передёрнулся.

– Что же ты делаешь? – тихо, дрожащим голосом заговорил он, зная, что никаких слов теперь и не нужно. – Ты ведь чертей делаешь... Вселятся в них злые духи... Ты спать хочешь, Пайпэ... Пойдём... – и вдруг Сайрэ повернулся, сгорбился и, беззвучно плача, подёргивая плечами, ушёл в тордох.

Он вытащил из мешка бубен, повертел его в руках – и бросил: застучать – значит разбудить Халерху, разбудить стойбище. Но, может, ещё обойдётся, может, повременить?

Утро было ужасным. Совсем не зная, что делать, шаман сидел возле двери, бубнил что-то себе под нос, не выпуская жену на люди. А тут поднялась Халерха. Её надо было покормить, но старик лишь прижал её к себе и гладил по косматой головке, продолжая шептать заклинания.

А Пайпэткэ рылась в мешке, выкидывая шкурки. Она зачем-то искала и складывала в кучу обрезки, которые остались после шитья. Потом она расстелила пыжик, сложила в него обрезки и начала делать свёрток. Поднявшись, прижав этот свёрток к груди и покачав его, как ребёнка, она вдруг выскочила из тордоха. Сайрэ успел только рот раскрыть.

Оборвалась одна жизнь – начиналась другая... Схватив бубен, старик закричал, затопал ногами...

И стойбище засуетилось, народ потянулся на звон тревожного бубна.

А Халерха потихоньку выбралась из тордоха. Никем не замеченная, она увидела разложенных на земле человечков, села и начала с ними играть.

От этой игры её оторвал суматошный шум. Прямо к ней шли люди, держа под руки громко кричавшую, терявшую обрезки шкурок тётю Пайпэ.

Увидев Халерху и в руках её человечков, Пайпэткэ вырвалась, бросилась на колени, мгновенно выхватила человечков, прижала их к груди и заплакала. Но сразу же оборвав плач, она заскрипела зубами, перекосила лицо. Халерха побледнела, заморгала часто-часто, но не сдвинулась с места.

– Покалечила... Детей моих покалечила! – хрипло проговорила косматая Пайпэткэ, выпуская изо рта пену. – Смотрите – у этого ручки нет...

Ещё миг – и она вцепилась бы в Халерху. Но её схватили, потянули назад.

– Шубу я не отдам! Не отдам! Не для неё шила. Для своих детей шила. А знаете, сколько детей у меня! Три мешка... – И она захохотала.

Халерха бросилась со всех ног. Она упала, поднялась и опять побежала.

К середине дня Халерха не вернулась. Её не было ни в тордохе шамана, ни в тордохе настоящих родителей.

Хуларха и Чирэмэде начали метаться по стойбищу. Заскочили они и к соседу Нявалу, хотя к нему надо было прийти в первую очередь. Халерхи здесь тоже не было. Старик Нявал беспокойно вязал сеть, дёргая нитку; на вошедших он и не взглянул – нынче все шныряли из тордох в тордох. Да и сам он только что был у Сайрэ.

– Ханидо! – обрадовалась Чирэмэде, увидев сына Нявала. – Ты с Халерхой не играл?

– Играл.

– Где играл?

– Там.

– Где там? Покажи.

Нявал швырнул челнок.

– Это... что? А? Беда какая опять?

– Халерха пропала.

– Не пропала, – сказал Ханидо. – Она теперь жить будет одна.

– Как – одна? Где? Покажи.

Они все вышли из тордох, и Ханидо протянул руку, указывая на небольшой холм с обрывом:

– Там она будет жить.

– Ой, как же так? Ой, чует сердце беду, – запричитала Чирэмэде, бросившись бежать напрямик к холму.

Сил у Чирэмэде после болезни было немного, и она быстро отстала даже от мальчишка, не поспевавшего по траве за мужчинами.

Холм голый, как лысина Хулархи. Кое-где на нём виднеются кучки мусора, осмотреть которые очень просто. Правда, весь он изрыт песцями и волками, но песцовые норы узкие, в них ни за что не пролезет ребёнок, а волчьи топь и пошире, но в них тоже нельзя забраться, да они неглубокие и немного их. Здесь трудно было бы найти щенка. Но Халерха ведь большая...

Поднявшись на холм, Хуларха и Нявал стали кричать и оглядываться. Потом разошлись в разные стороны. Они продолжали звать Халерху, останавливаясь, ковыряя ногами мусор, заглядывая в широкие норы. Девочка не показывалась и не отзывалась.

Когда Ханидо и Чирэмэде подошли к Хулархе, тот уже тяжело дышал и был растерян, словно ребёнок.

– Нету? – спросила Чирэмэде, сжимая грудь растопыренными пальцами. – Я знала, что нету. Что же теперь делать, что ж теперь будет?

Хуларха беспомощно вздёрнул плечи, развёл руками.

– Ханидо, где ты оставил её?

Сынишка Нявала сдвинул брови и начал осматривать землю вокруг себя. Для такого маленького человечка холм был слишком велик, чтобы не растеряться, да и примет-то никаких нет – пойди, отыщи среди тысяч норок и ямок одну! Ханидо закусил губу и мучительно, словно взрослый, припоминал.

– Там! – вдруг сказал он, показывая на землю в двадцати шагах от себя.

Он с такой же уверенностью мог бы ткнуть пальчиком и в противоположную сторону. Если бы он имел в виду обрыв или кучу мусора, родители Халерхи, конечно, сейчас же полетели туда. Но нет – он показывал на голое ровное место, и Чирэмэде лишь скривила губы.

– Ну, иди, – сказала она упавшим голосом мужу.

Ханидо побежал первым, и Хуларха безнадёжно поплелся за ним. Мальчишка сразу же упал на землю, – там, наверно, была нора.

– Халерха-а! – пропел он. – Халерха!..

Но отец даже не наклонился: нора, в которую кричал Ханидо, была такой узкой, что туда могла бы пролезть лишь нога до щиколотки.

Подошла Чирэмэде. Она поглядела и отвернулась, поняв, что надеяться на ребёнка нечего.

– Халерха! – уже сердито крикнул Ханидо. Он растерянно скосил чёрные глаза на отца пропавшей подружки и пожал плечами.

– Она сказала тебе, что будет жить в норке? А может, там, где озеро? – спросила Чирэмэде, удивившись упрямству мальчика.

– Нет – здесь, здесь она будет жить! – твёрдо сказал Ханидо, вставая; для убедительности он потопал ногой по самому краю норки. Глядя прямо в глаза Чирэмэде, он рассудил со вздохом: – Шубку мама Пайпэ отняла у неё, и ни одной мамы теперь у неё нет. А в норе тепло; там очень тепло – я знаю. И зимой будет тепло...

Он продолжал рассудительно и сочувственно глядеть в глаза матери Халерхи, не замечая, как всё лицо её наливается бледным бешенством.

– Кукул... – прошептала Чирэмэде, а потом захрипела: – Кукул... Кукул! Ты подсказал ей, ты!.. Всё из-за него, из-за него! Дочке моей в земле будет тепло... В земле! Ты, Хуларха, слышишь, что говорит этот кукул? Из-за него всё – и кровь, и болезни, и наши несчастья.

– Что причитаешь, что клянёшь маленького? – одёрнул её муж. – Не искали ещё. Поищем – найдём.

– Ты... это... значит, сестра, зачем? Бога гневаешь зачем? – вступился подошедший Нявал. – Бог послал его нам, а ты – кукул говоришь. – Он погладил сына по раскосмаченной голове. – Пойдём, Ханидо, в стойбище – людей позовём. Ты это нехорошо сделал – Халерху бросил.

Притихший, испуганный бранью, Ханидо исподлобья, как связанный зверёк, поглядывал то на Чирэмэде, то на отца. И всё-таки у него хватило духа сказать:

– Здесь Халерха – я знаю.

– Ладно, пойдём, – взял его за руку отец.

Оставив шамана Сайрэ наедине с помешанной, всё стойбище от мала

до велика потянулось к холму и к ближней едоме. И сразу же тундра, прибрежные обрывы и озёрная гладь огласились протяжными криками.

Старик Сайрэ криков этих сначала не слышал, а может, слышал, да не обращал на них никакого внимания: девочка – не трубка, которую можно навсегда потерять в траве. Однако время шло, шло и шло, а люди не возвращались. И то удалявшиеся, то приближавшиеся голоса начали стегать его всё больней и больней – пока он с ужасом не понял, что ему на плечи карабкается ещё и вторая беда.

В углу тордоха сидела растрёпанная, безобразно чесавшая ляжку жена; всё лицо е, искажённое глупой улыбкой, было измазано кровью – следами от раздавленных комаров. Стойбище словно вымерло – в нём остались лишь древний, глухой старик, две женщины с грудными детьми да он, попавший в ловушку шаман. И Сайрэ, как очутившийся в тундре ребёнок, которому никто не может помочь, заплакал по-старчески, по-детски, во весь голос, навзрыд.

Но вдоволь наплакаться ему не пришлось: Пайпэткэ подобралась к нему на четвереньках – и, высунув набок язык, сопя, начала гладить по голове. Он оттолкнул её изо всех сил и перестал плакать, зло заиграв желваками.

Прошла середина дня. Люди не возвращались, девочка не находилась.

А к вечеру он узнал, что люди обошли берег, облазили ближние скалы, оглядели почти все тальники и каждую норку на холме и берегу, но от Халерхи не было ни следа, ни звука.

Голодный, совсем убитый этой вестью, Сайрэ чуть забылся, а когда очнулся – увидел спящую Пайпэткэ и потемневший онидигил. Ничего не соображая, он выбрался наружу и быстро заковылял к озеру, туда, где стоял тордох Хулархи. Над стойбищем проплывала грязно-синяя туча и из-за таёжного горизонта тоже ползли лохматые чудища дождевых туч; в мутно-красном свете жалобно пели комары – точно вдалеке плакали женщины. Малое Улуро морщилось волнами, а берег был белым от пены, как губы шамана во время камлания... Не дойдя до тордоха, Сайрэ вдруг повернул обратно. Но и до своего тордоха он не дошёл – снова заковылял к озеру. Так мечется человек, который боится мертвеца, но которого всё-таки к мертвецу тянет. Впрочем, шаман и в самом деле боялся подступить к жилью Хулархи – туда вот-вот могли принести маленький трупик.

И у Сайрэ едва не подкосились ноги, когда он услышал тяжёлое дыхание мужчин, а затем увидел толпу, что-то несущую на руках. Он шмыгнул за ближний тордох и с колотящимся сердцем начал подглядывать, топчась на одном месте. Нет, несли не девочку – несли женщину. Мать Халерхи несли, верней, волочили. У Сайрэ отлегло от сердца: волочат – значит, жива. «А где же девочка? Может, её другие несут?» – Старик опять насторожился и начал всматриваться в даль. Нет, люди плелись с холма поодиночке, по двое и, кажется, ничего не несли.

«Не нашли девчонку», – решил Сайрэ и быстро, стараясь не столкнуться с кем-либо из людей, засеменил к своему тордоху.

Много горьких, тяжких и страшных ночей пережило бедняцкое стойбище. Но эта была особенной, не такой, как другие. Ужас чёрной

птицей кружился не только в тордохе несчастных родителей. Люди в беде привыкли надеяться на шаманов, привыкли узнавать от них тайну, получать совет, а то и избавление от беды. Но на этот раз беда ворвалась и в тордох шамана, да не одна, а две сразу, да ещё в тордох не простого шамана, сильнейшего и прославленного. И люди, вдруг лишившись надежды, растерялись, не зная, что делать, что думать. К тому же ночь была хмурой, ветреной и дождливой и тянулась она не по-летнему долго, будто нарочно растягивая тревогу.

Поздно вечером, в самую темноту, перед утром люди подходили то к тордоху бедного Хулархи, то к тордоху Сайрэ. Но лучше бы и не подходили. Под вой ветра и шум кипящего озера мать пропавшей девочки жутко кричала или причитала, словно помешанная, а Хуларха метался, без конца выбегая к берегу, о который хлестали тяжёлые волны, – с ног до головы мокрый, он ни с кем не разговаривал, боясь выпустить изо рта трубку и в отчаянии разреветься. Зайти к шаману Сайрэ, потолковать с ним было страшно и безнадежно: укрывшись шкурой, старик лежал возле двери, вертелся, будто от нестерпимой боли, и громко, без перерывов стонал. Один раз к шаману всё же зашли.

Муки Сайрэ совсем растревожили стойбище. Люди знали, что ему тяжело, но старик не просто страдал – он корчился, не мог говорить – и это казалось третьей бедой. А три беды, да ещё таких, вырастали в напасть, которая неизвестно куда ведёт и чем кончится.

Шамана, однако, не пожирали духи, и корчила его не болезнь. Правда, его беспощадно грыз голод – так сильно, что сердце стучало будто не в груди, а в желудке, и совсем ничего не видел его воспалившийся зрячий глаз, но всё это старик перенёс бы без звука. Сайрэ подкосили видения. Как только хлынул дождь, он невольно представил себе одинокую девочку в тундре, мокрую, потерявшую голос от крика и холода, – и едва не закричал сам. А в следующий миг случилось настоящее чудо – Сайрэ почувствовал, что из-под ноги его выскочил камень, а тело ринулось вниз. Тоненький корешок, за который схватилась рука, остановил падение, но Сайрэ повис над обрывом и явственно увидел внизу острые камни и тинистую воду меж камней... Всё это было давно, в тот день, когда сокол раскровавил ему лицо и когда к нему пришло вдохновение. Нет, он сейчас висел над обрывом, сейчас – не может же быть, чтобы спустя пятьдесят лет рука чувствовала, как сползает с корешка кожа, а носок ноги лихорадочно ищет опору!.. Испугавшись видения, старик сбросил шкуру, сел и перекрестился. Но вдохновение не пропало. Глядя в кромешную тьму тордох, Сайрэ вдруг увидел восходящее солнце со срезанною тучей макушкой, увидел девушку, робко шагавшую с подстилками на плече. И ему опять, как и в то хорошее утро, показалось, что солнце садится, но что сам он смотрит на землю сверху, из облаков... Видение это, однако, быстро сменилось другим: буран и мороз, и Пайпэтка босиком бредёт по сугробу – ищет следы. Громко и страшно ухает лёд на озере. А вот уже и тот, чьи следы она ищет, – в огромной тёплой яранге он кувыркается по лужам своей крови и обливает кровью богатые полога – серые, пятнистые, с подпалинами...

Чавканье грязи под ногами идущих людей оборвало видение. Сайрэ быстро лёг, рывком накинул на себя одеяло-шкуру и, укрывшись с головой, застонал.

С вошедшими он не стал разговаривать. Он принялся стонать всё громче и громче, пока не разбудил Пайпэткэ. Люди смолкли, пошептались и тихо ушли.

Они просили покамланить старику Хулархе – поискать следы девочки. Они надеялись, что великий шаман поднимется над своей личной бедой, а потом поднимется выше – и из верхнего мира посмотрит на стойбище и на всех юкагиров: может, не в духах дело, а в сатане, может, надо ехать к попу и просить у него защиту?.. Сайрэ слышал каждое слово, но он ещё не успел опомниться от страшных видений и вгорячах едва не закричал людям в спины: «Да, я во всём виноват, я! Как же не видите этого? И пусть меня одного покарает бог...». Но нет, он не закричал так. Потому что понял: люди лишь испугаются, уйдут – и сейчас же скажут, что он, как и жена, тоже теряет ум... Рассудив так, Сайрэ неожиданно успокоился: «Чего это раскряхтелся я! – скинул он с себя шкуру. – Беда с девчонкой – беда отдельная. Тут нету моей вины. Плохо с ней обращался? Еду и шкуры жалел? Все видели, что не жалел... – Старик на четвереньках пополз к мешкам, в одном из которых хранились бубен и амулеты. – К Тачане камланить пойду», – решил он, и рука его быстро нащупала ободок бубна.

Нет, старик шаман только храбрился: никуда идти он не мог, а камланить за эти сутки пытался не раз. Сайрэ недаром часто крестился, недаром вспоминал светловолосого бога. Ещё прошлым утром, когда Пайпэткэ навсегда потеряла ум, он почувствовал на себе спокойный, но упрямый взгляд верхнеколымского старца шамана. С тех пор он почти непрерывно видел его лицо – от мудрости помутневшие глаза, уверенно перекошенный рот и важно отвисшую нижнюю губу. Это он, безымянный шаман-якут, умевший глядеть далеко вперед, оставил ему врага, врага самого страшного и самого нужного – бродячего духа Мелгайвача. Он знал всё, он и Сайрэ видел насквозь, как ледышку... И Сайрэ в этот тяжёлый день тысячи раз свалил бы обе беды или одну из них на духа чукчи – потому что другого выхода у него не было. И люди поверили бы. Поверили – да не все и не надолго. Язык Лэмбукиэ иглой не проколешь. Пурама теперь наверняка дышит огнём: он советовал Хулархе отдать дочь, он и ищет ответ – почему всё так получилось. Но, кроме них, есть ещё и Куриль. Этот рассвирепеет, как весной медведица, – растопчет и заплюёт тордох... Люди, однако, людьми: возненавидят – простят, убивать не станут, голодом не замучают. Перед богом страшно. А ведь была прямая дорога к нему, и была надежда вернуться после смерти на землю...

Озираясь по сторонам, Сайрэ сидел возле мешка и напряжённо угадывал, какие слова придут ему на язык после того, как он распалится под грохот бубна. Так он никогда не делал: он считал нечестным, не достойным шамана заранее придумывать речи. Но сейчас он боялся самого себя. Не будет, не может быть иного видения, кроме того, которое знают все, – Халерху испугала сумасшедшая Пайпэткэ. Эта картина выплывет из чёрно-красных бликов, и никуда от неё не уйдёшь. Придётся сказать. Но тогда придётся сказать и о том, почему Пайпэткэ – его жена, жена такого большого шамана – лишилась ума. Что начнёт лепетать язык, что?

И тут Сайрэ вдруг закрыл руками лицо, заголосил, всё сильнее и

сильней раскачиваясь из стороны в сторону. Он понял, что вдохновение было уже, и все видения были; под грохот бубна видения эти лишь повторяются – только более ярко и более живо. След к девочке Халерхе потянется от его тордох – другого начала нет и придумать его нельзя. Где и как оборвётся след? А может, уже оборвался? А если утром мутные волны Улуро выбросят на берег мёртвую девочку? Что скажут люди? Почему не помог, почему не камланил? И почему вообще такие страшные беды цепляют близких к шаману людей, близких и совершенно невинных?..

– Халагайу!⁶⁰ – выкрикнул Сайрэ и запричитал: – Всемогущий светловолосый бог! Найди и спаси девочку. Она не виновата ни в чём. А с меня и того хватит, что малый ребёнок ушёл в тундру из стойбища, ушел от шамана дряхлого и отца плохого...

После дождя судья горели плохо, но люди поливали костры рыбьим жиром, бросали в него рыбы пупки – и густые дымы из тордохов дружно тянулись в серое подвижное небо. Шли третьи сутки, как у бедного рыбака Хулархи бесследно пропала дочь, как сошла с ума жена у шамана и как сам шаман не показывался на глаза. И людям ничего не осталось, кроме обращения с мольбами и заклинаниями к властелину – огню Мэру⁶¹. Много судачили перед этим, в чём только не искали причину жестоких несчастий, какие ужасы не предсказывали на будущее. Но в конце концов сошлись на мысли, что юкагирам мстит бродячий дух Мельгайвача и другие чукотские духи и что надо ждать новых бед. Особенно усердствовали старухи и старики, знавшие грозную правду о тундре, о мстительных духах и не ожидавшие от жизни никакого добра.

Не все в этот день кормили огонь. Одни мужчины бродили по берегам, иные по ивнякам, по кочкарнику, по раскисшей тундре. А Пурама вроде бы ничего не делал – он слонялся по стойбищу и шептался с людьми. У Пурамы, однако, был замысел, но он побаивался говорить о нём вслух. Собрался он разрывать волчьи и песцовые норы – там, на холме, где играли дети. Ну а кто ж сочтёт его за умного человека: холм не кочка, нор не перечесть, сырую глину костяными лопатами и топорами не очень-то раскидаешь. Да и как это можно раскапывать нижний мир?!

Зашёл Пурама в один тордох – а там старые муж и жена по очереди поливают костёр рыбьим жиром и по очереди бубнят заклинание:

– Кушайте, великие чукотские духи, кушайте! Мы преклоняемся перед вами. Не шаманы мы, а простые люди. Мы знаем, что вы не слепые и не глухие. Пусть ваши уши услышат нашу мольбу, а глаза посмотрят на нашу бедность. Видите наш тордох? Он пустой внутри и дырявый. А жалкую нашу посуду видите? Она чистая, потому что в ней давно ничего не лежало... Не трогайте нас, великие духи...

Берет муж из рук жены костяную ложку, берёт черный котелок с жиром и тоже начинает кормить огонь и духов:

– Залатал бы я тордох свой, великие духи, да ровдуга вся прогнила, безоленный я человек. А на вешалах моих уже давно не висит ни одной юколы: вся съедена да променяна. А как же зиму-то жить, великие

⁶⁰ Халагайу! – «Ой!» – междометие (от юкагир. «халиго» – «боязно»).

⁶¹ Мэру – ритуальное название огня.

духи? Зачем вы боретесь с нами, с такими бедными и слабыми? Пожалейте нас. Боритесь с сильными, а нас пожалейте, великие духи...

Послушал-послушал Пурама – да и ушёл. Тут, видно, не до чужой беды – маленькая беда ворвётся сюда, и пропала семья. И сил у мужика, наверное, нет, чтобы землю копать.

А рядом тордох старуха Лэмбукиэ. Вот здесь иной разговор будет. Пурама в дверь, а ему навстречу Пайпэткэ и старуха.

– Хороший у тебя сын, хороший, – выталкивает Лэмбукиэ сумасшедшую. – Вот счастье-то шаману Сайрэ!.. Ты только закручивай его лучше, а то маленькому после дождя холодно...

Высунув набок язык, несчастная красавица Пайпэткэ неловко пеленает дощечку от ящика, и дверь запахивается за ней.

– Уходите-ка, мужики, наружу: я одна заклинать буду, – прогоняет Лэмбукиэ мужа и гостя.

Кряхтя, старик поднимается от костра.

Стоя возле тордоха, мужчины безмолвно смотрят вслед Пайпэткэ, пошавшей дальше хвастаться сыном-красавцем... Слова на язык не приходят.

А старуха уже причитает:

– Ой, великий огонь Мэру! Угости чукотских духов и передай мою просьбу. Пусть они не трогают нас, плохих и бедных людей, пусть не дразнят и пожалеют наших глупых, сопливых детишек, пусть они не повалят наши нищенские тордохы. О, великий хайче, огонь Мэру! Послушай меня и передай духам слова мои. Пусть чукотские духи нападают только на гордых людей, которые называют себя хорошими, пусть душат детей шаманов и богачей – сытых, чистых и довольных, пусть они повалят на землю огромные, как холмы, тордохы жадных людей. Огонь Мэру, передай бродячему духу Мельгайвача – пусть он мстит, но не близким к шаману нашему людям, которые не виноваты ни в чём, а самому шаману Сайрэ. Пусть поиграет с ним...

– Сирайкан старуха! – чуть не подпрыгнул на месте старик. – Что ты болтаешь там! – он откинул дверь и на четвереньках юркнул в тордох. – Грешные слова говоришь, безумная. Хайче, огонь Мэру! Моя старуха настоящая дура...

Мешать человеку во время кормления огня, однако, нельзя, и старик застонал.

Пурама не ушёл. Он дождался конца кормления, а вместе с этим и конца ссоры.

– Бабушка Лэмбукиэ, выйди наружу поговорить, – попросил он.

– Что Пурама скажет? – вынула старуха изо рта трубку. – А чего не в тордохе сказать? Заходи.

– Лопата есть у тебя?

– Лопата? – глаза Лэмбукиэ с неодинаково нависшими веками сверкнули белками, а рука с трубкой начертила в воздухе перед грудью крест.

– Нет, что ты, старая! Совсем другое сказать пришёл. Думаю, жива, может, девчонка ещё. Не духи беду принесли, не от духов и помощи жди. Волчьи норы хочу на холме расковырять. Да одному тяжело. Хожу вот – людей зову. Пойдём и ты, Лэмбукиэ!

– А я не мужик. И какая копальщица я! – старуха протянула сухие

морщинистые руки, но быстро убрала их. – На грешное дело зовёшь! Холм копать, пробивать землю. А бог?

– Грехов на нашем стойбище мало? – вмешался старик. – Ты ещё живым хочешь войти в нижний мир...

– Грехи, грехи! – разозлился Пурама. – А кто из юкагиров толком о боге что-нибудь знает? Будет церковь и поп – тогда и узнаем, что грешно, а что нет. А если не знаем, то за что же будет наказывать бог?.. Все пойдём. Может, девчонка в норе задыхается. За спасение, думаю, бог не накажет... Пойдёте вы – и другие пойдут.

– Как ты сказал? От человека беда пришла? – спросила Лэмбукиэ и другим голосом пробормотала: –

Я на Сайрэ всю жизнь косо гляжу...

– Оттого и косая, – вставил старик.

– Косая, да не слепая...

Дымы над стойбищем потихоньку начали исчезать, и люди с роговыми лопатами, пешнями и топорами потянулись к холму. Старики шли молча, воровато оглядываясь назад, будто прося прощения у своих очагов, молодые тоже молчали, поглощённые ожиданием чего-то неожиданного, может быть, страшного, а детвора, запуганная стариками, жалась к матерям и отцам.

Пурама и Нявал решили раскапывать старые волчьи норы, заваленные мусором и сохлым бурьяном. Оба в своё время играли здесь, и потому знали, что именно тут можно спрятаться. Они взяли лопаты, разом перекрестились – и ударили выше одной и той же норы. Грудка глины обрушилась.

– Это птичка клюнула, это птичка сделала! – проговорила выскочившая вперёд шаманка Тачана. Она бросилась к другим мужчинам, начавшим рыть землю, и снова проговорила: – Это птичка сделала, это птичка клюнула. – Шаманка заклинала духов не беспокоиться и не злиться.

То, что увидели люди, когда мусор был раскидан, а старые волчьи норы раскопаны, никому из них и во сне не снилось. Там, в глубине холма, оказался настоящий песцовый город. В стойбище, наверное, не было человека, который в детстве не играл бы на этом холме, но никто и подозревать не мог, что внутри он дырявый, как оленьё лёгкое. Ходы пронизывали его и так и сяк, пересекались, образуя большие ямы, расширялись, раздваивались. Увидев этот странный подземный мир, люди сперва оторопели, но потом с новой силой, с азартом взялись за дело. Никто уж не сомневался, что девочка где-то здесь.

Боязнь натолкнуться на мёртвую и желание скорее помочь, если девчонка жива, сделали людей непохожими на себя. Они копали и рубили землю со злостью, с остервенением. Многие из них не так давно молились огню, думали только о духах и боге, но сейчас живой человек – Пурама – был для них и умней, и нужней любого шамана. Какой шаман подсказал бы, какой решился проломить нижний мир?! Правда, вслух говорили, что Пураму вразумил бог.

Почувяв, что люди напали на верный след, старик Хуларха побежал в стойбище за женой. Однако вернулся, смекнув, что жена тут же умрёт, если дочь найдут мёртвой.

Но Чирэмэде уже и без него обо всем сказали – и она сама кое-как добралась до холма.

Увидела Чирэмэде развороченный холм и дружно работающих людей – схватилась руками за голову, закричала не своим голосом:

– Не надо, не надо больше копать! Маленькая она, маленькая, а яма такая большая... Зачем ей такая большая могила?

Ноги у неё подкосились, и она упала, начав биться в судороге.

Её подхватили и поволокли в стойбище: живого человека нельзя нести на руках – поднятый, он похож на покойника.

Взрослым с охотой помогали мальчишки. Они залезали в норы, исчезали там, кричали, звали Халерху, а когда выбирались наружу, говорили взрослым, надо копать дальше или не надо. С ног до головы был измазан глиной и сынишка Нявала. Старик не щадил Ханидо: он заставлял его пролезать в узкие норки и часто вытаскивал обратно за ноги. Старик очень хотелось, чтобы именно его сын, а не чей-либо другой, первым нашёл девочку. Человек тёмный, забитый до крайности, он, однако, хорошо понимал, что к чему. По его разумению, Халерха не должна умереть, потому что все норки в конечном счёте выходят наружу, и дышать под землёй, стало быть, можно. Ханидо предрекли большую судьбу, и кому, как не Ханидо, обрадовать стойбище. Да и Чирэмэде перестанет скулить, что его сын родился на погибель её дочери.

Старался отец – и не замечал, что парнишка давно уже хнычет. Там, под землёй, Ханидо звал Халерху не с надеждой, а с настоящей злостью. Но ведь это же под землёй! А если он вылезет, то принимался усиленно ковырять пальцем в носу и скрывал слёзы.

Когда дело подошло к сумеркам, а холм был порядком распотрошён, надежды погасли. Люди крепко устали. Начали говорить о неудаче, о том, что надо возвращаться к своим очагам. И тут вдруг обнаружилось, что исчез Ханидо. Нявал отмахнулся: сын, видимо, проголодался и убежал в стойбище. Однако неожиданно среди людей появился куда-то уходивший старик Хуларха, который остановился над ямой и, покачав лысой коричневой головой, проговорил:

– Зря. Всё зря. Не тут копаем. Поговорить бы надо с твоим парнишкой...

– А это... Как его... Он ушёл.

– Не теперь. Сначала бы. Вон там, на той стороне холма он кличет её.

Подняв лопаты, пешни и топоры, люди разом двинулись на вершину – и сразу остановились. Ханидо ничком лежал недалеко на ровном месте и громко причитал:

– Дура ты, дура. Чего не вылезашь? Не будешь есть – умрёшь. Халерха-а-а... Энэ⁶² кушать зовёт!

Все бросились вниз, тут же оттащили парнишку и, не раздумывая, стали копать. Теперь уже никого не удивляло, что Ханидо кричал в узкую норку: голова пролезет, значит, и плечи пролезут, а дальше может быть яма – лежбище.

Хуларха и Нявал вспомнили, что и три дня назад Ханидо показывал это же неприметное место. Они стали швырять лопатами землю, стараясь как можно быстрее расширить нору. Другие работали рядом.

Но люди напрасно отдавали последние силы. Углубившись, они видели то же самое – сплошь дырявую землю. Стали кричать, звать Халерху. Ничего не услышав в ответ, снова взялись за лопаты. А тем вре-

⁶² Энэ – мама.

менем быстро смеркалось: тучи, едва показавшие в своих трещинах зарево, как-то сразу соединились, и скат холма почернел, почернела под лопатами и бурая глина. То ли радуясь тьме, то ли озлобившись, то ли на ветру лучше почуяв запах пота, комары набросились на людей, как бешеные собаки.

Весь холм раскидать не было сил. И потащились улурочи по своим тордохам с дрожащими, напрасно натруженными руками и с опустошёнными от неудачи душами.

Дурное настроение, однако, быстро и неожиданно попятилось от людей. Ветер донёс от стойбищ грохот бубна. Звуки были сильными, бодрыми, и все уже издали догадались, что камланит Сайрэ. Кому он камланит, откуда пришли к нему силы, что он хочет узнать и сделать – всё это было загадкой, но всё это было не так уж и важно. Сайрэ ожил и камланил – значит, произошла какая-то перемена. Люди стойбища сильно устали за эти дни, и для них уже было радостью то, что жизнь вроде бы возвращается в свою протоку. Пусть в стойбище будет одна помешанная, пусть не найдётся ребёнок – с этим придётся смириться, и люди смирятся, но жить без бубна, в тревоге, так, как прошли эти дни, невыносимо.

А в стойбище ничего не случилось. Халерха не пришла, Пайпэткэ сидела возле чужого тордоха и впотьмах что-то чертила на земле пальцем. И всё-таки хорошо, что Сайрэ застучал в бубен...

Тучи сплошной ровдугой неслись по небу до самой зари. Сквозь них не проглянуло ни единой звезды, но они и не уронили ни капли дождя. К восходу солнца уже не тучи, а облака быстро плыли по холодному синему небу... Детвора спала в этот раз крепко и долго. А когда высыпала из тордохов, радостные голоса будто согрели холодный день: земля просохла, солнце то исчезало, то появлялось, меняя окраску тундры и умиротворённого озера. Первым делом ребятня бросилась к своему холму – надо же было им поглядеть, что там вчера понаделали взрослые. Все собрались, конечно, у самой большой ямы – и пятилетние, и пятнадцатилетние. Не было среди них одного Ханидо: он слишком много лазил по узким норкам, и теперь у него болели кости.

Всё как есть оглядели детишки и направились было ко второй яме, как вдруг кинулись вниз. Нет, они не побежали, а бросились сломя голову – все сразу, с дикими криками; те, кто побольше, мгновенно оказались внизу, меньшие падали, визжали, ползли, катились беспомощно – кувырком.

Из тордохов повыскакивали матери и отцы, а потом и все остальные.

– Там, там!.. – боясь оглянуться назад, бестолково кричали бежавшие. Даже не останавливаясь возле взрослых, они понеслись дальше, к своим тордохам.

Со свирепым визгом и лаем выскочили и бросились через луг собаки. Словно дробь из ружья, они полетели прямо к холму, оставив далеко позади мужчин, бежавших узнать, в чём дело. Но тут произошло непонятное. Детей кто-то преследовал. Мужчины остановились, замешкались, не веря своим глазам. Самых маленьких уже догоняло какое-то чудовище. На голове у него что-то торчало в разные стороны, руки с растарашен-

ными пальцами были разведены и готовы вот-вот схватить отставшую девочку, лицо и всё тело покрывали жёлтые клочья шерсти. Пока мужчины топтались на месте, в стойбище поднялась настоящая паника. Крестившиеся изо всех сил старухи и старики, услышав крики: «Дух!», «Мельгайвач!», «Пропали!» – начали прятаться. Чтобы их не увидел дух, они упали на колени – и на четвереньках, ползком скрылись в тордохах. Визг, крики, непонятное бормотание неслись по стойбищу. И никто не знает, чем бы всё это кончилось, если бы не собаки, которые, как оказалось, безошибочно отличают духа от человека. Правда, тут ещё так получилось, что страшное существо споткнулось и упало самым беспомощным образом. И вот собаки, с яростью налетев со всех сторон, не стали разрывать на части упавшего духа. Напротив, они ласково завизжали, завиляли хвостами и сразу же разбрелись по холму...

Халерху несли на руках. Была ли она бледной, была ли поцарапанной, этого никто бы не смог определить, потому что всё лицо её покрывала засохшая глина. Глиной были напрочь забиты уши, глаза – песком, волосы слиплись клочьями, одежду ни за что не узнала бы шившая её Пайпэткэ, будь она трижды нормальной. Не плакала Халерха, а урчала, как беспомощный новорождённый телёнок.

Мать Чирэмэде пришла в себя лишь после того, как женщины отмыли её дочь, одели во всё чистое и дали поесть.

Ни о чём девочку не расспрашивали – точно ничего не было, а если и было, то лишь во сне.

Тут в тордохе и появился Сайрэ. Он вошёл тихо, кивнул Чирэмэде и Хулархе, осторожно сел в сторонке и, закрыв глаз, точно задремав, начал негромко, медленно постукивать в бубен. Он не обращал внимания на толпившихся людей и ничего не ответил, даже не открыл глаза, когда Чирэмэде сказала:

– До смерти буду благодарить тебя, хайче Сайрэ. Один ты мог показать ей дорогу из нижнего мира...

Под мерный звук бубна Халерха и заснула.

А к вечеру вешало Сайрэ отяжелело, прогнулось от жирных юколов.

ГЛАВА 7

Остаток лета шаман Сайрэ прожил тихо и незаметно. Людям всё больше казалось, что он на глазах стареет, и поговаривали о том, что, видно, так и сойдёт на нет его земная жизнь. Рассуждали просто: Сайрэ всего один раз ошибся, обошёлся слишком жестоко с Мельгайвачом, и кто-то – бог ли, бродячий ли дух – наказал его, отняв жену и заставив мучиться с больной, ни к чему не способной женщиной. Ошибались люди, Сайрэ в действительности напряжённо думал о будущей земной и о загробной жизни, он выжидал, искал выхода из ловушки. Выход у него был. Только его плотно закрывала сумасшедшая Пайпэткэ.

Искать-то он искал, но, сам того не замечая, свыкался с бедой, вживался в неё.

Ухаживая за дурочкой, старик часто видел её красивое, набухшее в напрасном ожидании материнства тело и, зная свою вину, тяжело вздыхал. Хлопоты приносили ему облегчение: иногда он ловил себя на мыс-

ли, что его заботы, его отцовское внимание могут со временем переломить болезнь, и тогда он воспрянет духом, иногда он примечал, что заботы эти рождают уважение к нему со стороны людей, но чаще всего он старался просто так, из необходимости что-то делать. Как бы то ни было, но жизнь не стала пустой, и она создавала привычки. Придут, бывало, к Сайрэ старики, рассядутся; Пайпэткэ начнёт показывать им человечка, когда-то сделанного из прутиков, начнёт хвалить его, как живого, – а Сайрэ и не подумает выпроводить её – напротив, возьмёт из её рук человечка, станет тоже нахваливать его, водить по кругу, ласкать. И даже не кивнёт сожалеючи своим старым друзьям.

Время, однако, приближалось к Покрову, а никаких перемен даже и не предвиделось. И вот однажды вдруг пришла ему в голову решительная мысль. А что, если пойти к Тачане и сказать ей, что старику, мол, неспособно одевать-раздевать больную женщину, мыть её и делать всё прочее, непотребное для мужчины? Разве не вправе он заговорить об этом? Каждый его поймёт и не осудит... Он хорошо обдумал эту мысль, и было уже направился к Тачане. Но только отошёл от тордоха, оглянулся назад – и другая, беспощадная мысль полоснула его: «Взял молоденькую, красивую – тогда она нужна была, а возвращаешь дурочку?..». И он повернул назад.

А через несколько дней ноги зачем-то увели его далеко за стойбище. Стояли сухие морозные дни, он вышел просто подышать, размяться, но попал на первопуток – и дорога потянула его в тундру. Опомнившись и испугавшись неведомой силы, увлёкшей его так далеко, он заковылял обратно. Увидев первый тордох, Сайрэ почувствовал слабость в ногах и решил зайти передохнуть.

То, что он услышал и увидел в этом чужом тордохе, изменило все его мысли. Возле горящего очага рядом с хозяйкой сидела Пайпэткэ. Обнажив обе груди, она тыкала в сосок свёрток пыжиковых шкур, в которых, кажется, было что-то твёрдое. Сайрэ увидел кровь, стекавшую с соска в шкурки, – и выхватил свёрток. Не замечавшая крови хозяйка только теперь встrepенулась, одёрнула Пайпэткэ одежду. Взяв жену за руку, старик повёл её в свой тордох, но успел услышать от хозяйки новость, которую ни от кого не слышал. Пайпэткэ, оказывается, шла к Мельгайвачу – показать ему «сына».

По дороге домой Сайрэ жгла одна-единственная мысль: теперь всё пропало. Он догадался, что Пайпэткэ заходила не только в этот тордох. Значит, уже сегодня всё стойбище вспомнит о её прошлой связи с Мельгайвачом, потом вспомнит о нём, потом – о крови Мельгайвача...

Рано утром следующего дня шаман Сайрэ появился у Пурамы.

– Я слышал, ты в Халарчу собираешься ехать, – сказал он, садясь и набивая трубку.

– Собираюсь. А что? – Пурама осматривал сбрую и никак не выказывал внимания к гостю.

– Просьба у меня есть одна.

– Какая?

– К тебе просьба зайти к Мельгайвачу, а к Мельгайвачу просьба заехать ко мне.

– Дело, вижу, не спешное. Другие днями поедут. А у меня скорые охотничьи дела: туда – и сразу обратно.

Сайрэ вздохнул и, прикуривая, неразборчиво-жалобно проговорил:

– Моложе... всем нужен... Стар, слаб – хоть в тундру... помирать...

– Грызётесь вы. А я тут ни при чём. – Пурама зубами затанул узел на сыромятном ремне и встал. – Пособником быть не хочу.

– Какая уж тут грызня... – униженно проговорил Сайрэ. – За себя бы и не просил, обошёлся бы. За Пайпэткэ прошу.

– Гы! Мельгайвач-то не шаман. И духом он своим не владеет. Это все знают. Какой же от него прок великому шаману, что же он может сделать, если великий шаман ничего не может?

Сайрэ стал пыхтеть, раскуривая трубку, и Пурама понял, что он обдумывает ответ.

– Ты, Пурама, шаманский язык понимаешь. А в шаманских делах – совсем ничего.

– И в делах понимать стал. Девчонку Халерху кто нашёл, кто вызволил? Парнишка Нявала нашёл, мы разрыли ей выход. А благодарность шаману. Что скажешь на это, хайче?

– А ничего. Только спрошу. Почему это так: вы целый день всем стойбищем кликали, а она не слышала?

– Глиной уши были забиты!

– Ага, значит, не слышала? А меня услышала... Пурама, Пайпэткэ спасти могут только двое – ты и Мельгайвач. Никто, кроме тебя, не уговорит чукчу приехать ко мне. Ты его победил, честно победил, и у него уважение к тебе есть. Другого он слушать не будет. Я все слова скажу ему при тебе, при людях. Как я могу внушать плохое, если помощи от него жду? Не поможет – пусть едет с богом... Вчера Пайпэткэ груди до крови расцарапала. Смешает кровь с шерстью – умрёт... Позови его, Пурама...

Сайрэ просил жалобно, в словах его не было иного, шаманского смысла. Но Пурама всё-таки чуял что-то неладное и, подумав, спросил:

– Я узнать не могу, что задумал ты. Но что такое случилось? Почему ты вдруг захотел вылечить Пайпэткэ? Раньше почему не хотел?

– Ох, Пурама... Нелегко придумать, что делать, совсем трудно понять, как нужно делать. Спроси Куриля – чего это он не пять лет назад решил божий дом строить? А спроси его, как будет строить, – он и теперь не знает. Поезжай, Пурама. Зачем мне зло замышлять? Подумай в дороге – зачем?

И Пурама согласился.

Он уехал после полудня. Его нарта первой шла в эту зиму до Халарчи. А в первой поездке всегда думается легко и свободно. Куда трудней было Сайрэ, который остался ждать гостя. Сайрэ обманул Пураму. Никаких надежд на помощь пастуха чукчи у него вовсе и не было. Даже больше того – он твёрдо знал, что ни Мельгайвач, ни сам верхнеколымский старец – никто не вернёт рассудок его жене. Мельгайвач ему нужен был совсем не для этого. Сайрэ хотел поговорить с ним при людях, хотел, чтобы чукча открыто сказал, что он сам, по своей воле взял в руки нож и что, стало быть, никакой мести не было. Важен был сам приезд Мельгайвача и разговор с ним, разговор, в котором Сайрэ уже, конечно бы, начисто оправдал себя... Нет ничего тяжелее последней надежды: приедет чукча – Сайрэ спасён, не приедет – ему останется выкинуть бубен

в озеро. А ещё надо подумать о том, как Мельгайвач станет лечить Пайпэткэ, какую задачу ему задать.

Обменяв старенькое ружьё на другое, чуть поновей, дав за это много юколы впридачу, Пурама зашёл в ярангу Мельгайвача. Это была всё та же большая яранга, которая оказалась, однако, той же только снаружи. Дыхание холода – это ещё не дыхание бедности. Но в жилье бывшего богача шамана холод дышал даже не бедностью, а какой-то надвигающейся катастрофой. Все три жены хозяина взглянули на Пураму голодными, злыми волчицами. Младшая походила на старшую прежних времён, а старшая – на старуху. Сам Мельгайвач сидел на небольшой кучке шкур и раздумчиво заплетал косу. Может, он решил поменять шкуры на что-то другое, да увидел горький конец этой сделки, может, Кака велел ему заплатить ясак, а может, думал о том, что управлять бедностью куда сложнее, чем богатством...

Сразу почувствовав хозяйскую неприветливость и бесполезность своего появления, Пурама смущённо поздоровался. Рассчитывать на угощение и на долгие разговоры было напрасным делом, и он без всяких околичных заходов сказал:

– Я с посланием от сильно постаревшего и не совсем счастливого в жизни шамана Сайрэ... Он желает семье достойного чукчи, доброго пастуха здоровья и многих лет жизни.

– Что ему от меня нужно? – откинул Мельгайвач косу за спину. Он повернулся – и Пурама едва не попятился назад, испугавшись, что обозначился. Не так давно, во время гонок, лицо чукчи было худым и бледным; теперь оно пожелтело и сделалось дряблым, как дурная, испорченная ягодка морошки. – Никаких посланий я от Сайрэ получать не хочу! И ты мог бы не заходить. Ему не хватило моей крови – он ещё духов напустил на моего гонщика и отнял последний табун. Теперь хочет нищим сделать меня? Я помню, он говорил, что я должен оставить одну жену и жить в дырявой яранге. Может, за этим приехал ты?

– Подожди, Мельгайвач. Зачем так много слов говоришь, если ещё меня не послушал. Ему ты вовсе не нужен. Ты нужен его жене. Пайпэткэ на середине лета с ума сошла, а теперь ей совсем плохо, умереть может. Сайрэ говорит, что один ты способен спасти её...

– А какое мне дело до его жены? Сошла с ума – и пусть. Пусть поживёт с дурой и знает, что бог всё видит и поделом наказывает!

– Ты говоришь как богач! – сказал Пурама. – Но ты не богач. А у бедных совсем другие обычаи. Если бедный бедному не поможет, кто же поможет ему? Пайпэткэ на моих глазах выросла. Я сам видел, как мачеха Тачана приказывала мужу вить про запас плётки из тальника, чтобы лупить её без передышки. А такие, как Потонча, как ты, поиграли с ней и выкинули на муку к косому и сопливому старику...

Услышав такую речь, знавшие вспыхливого Пураму жёны Мельгайвача одна за другой попрятались под полога.

– Ну что ж... Ну, было когда-то... – замешкался Мельгайвач. – В молодости чего не бывает... Как у каргина осенью, кровь играла...

– Ты был тогда не так уж и молод! – поправил его Пурама. – И кровь от горькой воды играла... Давно ли теперь ты пил горькую воду и много ли пил?

– Я, Пурама, всё понимаю. Не думай... А как же я могу её вылечить?

Это даже смешно: боголюб и великий шаман просит помощи у безбожника-пастуха! Кто во всех тундрах слышал такое?

– Я не знаю, как можешь ты вылечить. Это знает Сайрэ. Мне он сказал, что надежда на тебя одного. – Пурама помолчал. – А сам я могу прибавить – это я знаю лучше тебя: смотри, Мельгайвач! У тебя десять оленей на четверых, это немного; выскочил из богатых, выскочишь и в безоленные – если к чужому несчастью будешь глухим... А теперь я поеду. Вижу, что ты сейчас ничего не ответишь.

– Нет, почему же мне не помочь? – засуетился хозяин, догоняя гостя. – Но сразу я не могу – у меня дела. А потом можно бы и поехать...

– Ну, вот и добро, вот и приезжай. Хуже себе не сделаешь, а душу очистишь.

Пурама откинул дверь и, не оглядываясь, широко и независимо зашагал по снегу, под которым ещё чувствовалась земля. Настроение у него было очень хорошим, и он знал, почему ему так хорошо. Он исполнил долг, и теперь никто уже не скажет, что из-за недоверия к шаману Пурама отказался помочь больной юкагирке. Но больше всего был он доволен тем, что увидел ярангу Мельгайвача, которую словно весенним ветром продуло, – эту ненавистную ярангу со всеми пирами в ней и с паскудной вознёй за красивыми пологами... Злая удовлетворённая радость так и обдавала его сердце теплом. «Если б Сайрэ не безобразничал сам – я за одно это служил ему бы до конца жизни, – рассуждал он про себя, зная, однако, что сейчас же злорадная мысль перекинется и на Сайрэ. – Но и старик тоже попался теперь: ждёт мирной беседы с Мельгайвачом, при народе говорить с ним собрался, а чукча распотрошит его, как рыбу, у которой лопнул желчный пузырь... Стой! – вдруг замедлил он шаг, – а может, Сайрэ и не думал лечить Пайпэткэ, может, ему самому Мельгайвач нужен? Да это, наверное, так и есть... А, чёрт с ними – пусть погрызутся: всё равно почти съели друг друга». – Он подошёл к нарте, вынул из-под шкуры ружьё, в раздражении пощёлкал курком, схватил вожжи, сел и прокричал оленям:

– Ок! Ок! Ык!

Опомнился Мельгайвач сразу, как только нарта посланца Сайрэ скрылась за бровкой увала. Он чуть не стукнул себя по лбу, вдруг увидев совсем иной смысл в этом неожиданном и решительном вызове. «А если я действительно вылечу Пайпэткэ? Если я вылечу? Если я способен на это? Кем же я буду тогда? Опять пастухом? – Мысли его потекли, как слюна перед жирной едой. – Но разве простой человек может вылечить, да ещё от такой болезни!..»

Мельгайвач вернулся в ярангу совсем другим человеком. Он сел на те же шкуры, снова поймал за спиной косу, но недавние тяжёлые мысли уже не возвращались к нему, и руки начали заново, быстро и ловко переплетать косу: «Юкагирский шаман что-то почуял. Просто так он не делает ничего...».

– Женщины! – громко сказал Мельгайвач. – Я уезжаю. Слышите – я уезжаю. И, наверно, надолго. Ничего без меня не обменивайте. Пусть приходит Кака. И пусть оленину приносит. Не от себя отрывать будет: половина его оленей – это наши олени...

Уехал Мельгайвач в этот же день. Но направился он не в Улуру, а на Среднюю Колыму. Зная повадки Сайрэ, с которым наедине встречаться

опасно, и желая показать себя чересчур озабоченным, что было выгодно при любом повороте дела, он решил появиться на Малом Улуро не один, а вдвоём с Токио.

От полнолуния до полнолуния был он в дороге. Токио согласился ехать не сразу. У него нашлась великая масса причин остаться дома, но все вместе они заставили Мельгайвача сказать напрямую: «Ты, догор, как вижу я, совсем не веришь Сайрэ. Может, и мне не ехать?». На что Токио ответил хитро и умно: «Всё могу бросить ради тебя, догор. Но ведь Сайрэ звал только тебя! А если таинство он затеял? Я могу помешать...» – «Но ведь ты никогда не враждовал с его духами!» – возразил Мельгайвач. «Зато я враждовал с твоими, – сказал Митрэй. – И, может, дело-то как раз в твоём бродячем духе...»

Всё было правильно в рассуждениях Токио, однако упоминание о бродячем духе – о давнишней надежде Мельгайвача – затмило все доводы, и Мельгайвач уговорил шамана поехать. А в дороге он уговорил его и покамлнить, если в этом появится хоть маленькая нужда.

Ехал Токио себе на уме. Он не верил в успех и давно уже знал, что Сайрэ лишь обводит чукчу вокруг одного и того же оленьего рога. Сказать об этом он не решался. Потому что о задумке Сайрэ вылечить сумасшедшую теперь непременно знали многие люди, и если бы он разубедил чукчу, а стало быть, и испортил дело, то всю вину юкагиры и юкагирский шаман свалили бы на него. А это бы означало что Токио заступил дорогу Сайрэ, взялся с ним враждовать – и потянулась бы путаница злобных нападок и обвинений. Ну, а Токио всё это было совсем ни к чему. Лучше он помёрзнет в дороге и поглядит со стороны, как вылечивают сумасшедших – при помощи человека, не обладающего шаманской силой.

Слух о том, что в стойбище едут Мельгайвач и известный шаман Токио, долетел гораздо раньше, чем оба они появились из потёмков у окраинного тордохы. Старик Сайрэ за это время нахлопотался вдоволь. Надо было и угощение приготовить, и топливо, постели, в тордохе тоже надо было прибраться – Пайпэткэ-то ничего решительно не кладёт на место, а берёт всё подряд. Но главное – надо было всё заново передумать. Неожиданный ход Мельгайвача привёл старика в смятение. Допрос чукчи и объяснение перед народом теперь утопали в людской жажде увидеть чудо. А к сотворению чуда Сайрэ по-настоящему не готовился. То, что придумал он до слухов о приезде шамана Токио, теперь не подходило никак. Токио слишком трезво обо всём судит, язык у него ни к чему не привязан – вроде лишней собаки, что бежит рядом с упряжкой. Возьмёт и всю затею с Пайпэткэ вывернет, как рукавицу, – а сам уйдёт кататься на санках с девушками, да ещё скажет, что от греха уходит. Как заставить безумную сказать хоть одно умное слово, как вернуть ей рассудок совсем ненадолго?.. Ничего Сайрэ так и не смог придумать, решительно ничего. Но он и не упал духом. Разве он кому-нибудь говорил, что сам вылечит Пайпэткэ? Он только узнал путь к выздоровлению, а всё остальное, значит, зависит от Мельгайвача – сумеет Мельгайвач или не сумеет, захочет или не захочет. Он как шаман, конечно, будет изо всех сил стараться ему помочь. И Токио пусть помогает...

Когда в тордох с шумом вошла Тачана и, сообщив, что оба шамана

вот-вот приедут, уселась на самом удобном месте, Сайрэ подумал: «Хорошо, что Токио с ним. Важный свидетель. И это лучше, что сойдутся два таких сильных шамана, как я и он»... И тут же Сайрэ сказал Тачане:

– Мать, не знаю, зачем ты пришла, не знаю, чего ждёшь и чего хочешь. Но ты шаманка сама – и должна понимать, что всякое может быть...

– Уже поняла. Давно разговора такого жду. – Маленькая, уродливая Тачана заёрзала, будто продавливая в земле лунку, чтобы покрепче сидеть. – Хочешь сказать, что если к ней ум не вернётся, то ты её приведёшь обратно ко мне? Не возьму, не возьму. И не жди – не возьму.

– Да ты подумай, почему об этом прошу. Хоть старый я, но всё же мужик. А ей баба нужна. Срам возиться с ней мужику. Люди-то как глядят на меня?

– Отчего это срам? Вон мужики завсегда телят от важенок принимают. Дело какое! А она хуже важенки... Видишь – что ни говори про неё, а она сидит себе и поёт...

Разговор оборвался, потому что в тордох вошёл Пурама, а за ним ещё и ещё люди.

Пока здоровались и рассаживались, пока разжигали очаг, упряжка как раз и подоспела ко времени.

Сайрэ встал, чтобы выйти встречать гостей, но якутский шаман опередил его – весь заиндевелый, он вломился в тордох, как медведь.

– Привет вам, братья и сёстры! Скорей дайте руки и язык отогреть. – Токио махнул рукой и скинул на пол варезку, махнул другой и скинул другую. Он снял вместе с сускаралом чайник, пощупал его и стал пить из носочка. – Это кипяток? – спросил он, напившись. – Так промёрз, что не понял. Мы в дороге два раза оленей поили чаем. А то сидели бы сейчас в тундре и строганину из них делали...

– Да, да, нынче морозы страшные, – поддакнули люди, следившие за каждым словом и каждым движением загадочного шамана, приехавшего тоже с загадочной целью.

Токио смекнул, что шутки его не доходят, и рассказал о том, что живёт он хорошо и что недавно женился на второй жене. И только теперь люди почувствовали его доброе настроение. Токио действительно поправился, раздался в плечах и животе, возмужал. Это доброе его настроение обрадовало даже Пураму, который, словно из засады, зорко следил за всем происходящим: может, и впрямь есть какая-то надежда вылечить сумасшедшую да забыть наконец беды?

Но тут взгляд Токио вдруг задержался на Пайпэткэ, которая сидела вместе со всеми и непрерывно что-то выделывала пальцами в воздухе. Язык шамана перестал двигаться, а брови нахмурились. Он увидел её, как только вошёл, но не выдавал себя. «Плохи дела, – решил наконец он. – Хуже, чем думал. Оторвалась от людей умом. Дня два или три придётся камлать – а толку не будет...»

Перемену в шамане заметили все и приуныли, начали безнадежно вздыхать, с жалостью поглядывая на Пайпэткэ.

Шамка ртом и угодливо приплясывая, Сайрэ пропустил в дверь Мельгайвача, распрягшего наконец оленей. Дрожащей рукой он указал ему на доску, где стояли миски с юколой, парными оленьими потрохами и плоская бутылка с зелёной горькой водой.

– Снимай шапку. Может, разуться надо... От людей тепло, костёр сильнее распалим.

– Малаак! – вдруг на весь тордох крикнула, вскакивая, Пайпэткэ. Чёрные маленькие глаза её горели таким красивым огнём, что люди замерли с открытыми ртами, будто среди зимы увидев яркое солнце. – Приехал... Мельгайвач мой приехал! – она перешагнула через чьи-то колени, но тут на неё сзади бросилась Тачана. Руки шаманки крепко опоясали Пайпэткэ, которая сразу же рванулась вперёд, волоча за собой маленькую старуху. – Уйди! Сатана! Все вы уйдите! Чего вы пришли? – Она изо всех сил разминала костлявые руки, но люди с разных сторон уже схватили её, согнули и усадили на землю.

Красное от мороза лицо Мельгайвача сделалось белым, как иней, сплошь покрывавший кукашку и шапку. Руки его сами собой стряхивали изморозь с шаровар, но ничего не понимающие глаза остановились – будто оледенели. Мельгайвач не видел Пайпэткэ сумасшедшей и сейчас не знал, что думать: или это и есть приступ бешенства – иначе зачем же её так хватать и удерживать, или к ней возвратился рассудок, да люди не могут понять.

А по щекам Пайпэткэ катились слёзы. Нет, лицо её сияло по-прежнему, глаза так же горели радостью, но слёзы падали – наверное, от бессилия, от нестерпимой обиды на победивших её людей.

– Ну что же ты стоишь, Мельгайвач! Ну растолкай их, прогони от меня! Иди сюда. Я ждала тебя, всё время ждала. Иди, понюхай мне щёку... Что они держат меня! Иди... Не понимает... – У Пайпэткэ сильнее покатались слёзы, и, уже плача, она продолжала: – Подойди хоть поближе, посиди рядом. В глаза погляди и щёку понюхай, а я уйду, я засну, я не буду мешать...

Слушая сумасшедшую, которая, кажется, помешалась на нём и потому признаёт только его одного, Мельгайвач постепенно пришёл в себя. Он отряхнул плечи, скинул шапку и шагнул к очагу, чтобы сесть рядом с Токио и Сайрэ. В этот момент Пайпэткэ встрепенулась и вырвалась из рук державших её людей. Она обхватила чукчу – и оба они сели на пол.

– ...Приехал, мой милый, мой хороший, мой умный! – шептала Пайпэткэ, глядя прямо в глаза Мельгайвачу. Она принялась нюхать его нос и лоб. – Мой плаксивый, мой робкий, мой невинный – приехал... Вот твой нос, вот твой лоб – как я по ним соскучилась! – Она стала водить пальцем по его лицу. – А это твои глаза, щёки, уши... Почему ты такой невесёлый? Ну погладь меня, не смотри в сторону – в глаза посмотри, а я посижу и уйду. Я сразу засну, я плохо сплю...

Мельгайвач наверняка оттолкнул бы от себя сумасшедшую и, может быть, ушёл из тордоха, если бы не видел вокруг себя людей, потрясённых случившимся. У шамана Сайрэ как-то провисла нижняя челюсть, а его зрячий глаз стал часто-часто моргать; Токио весь сиял от восхищения – как ребёнок, которому подарили бубен с блестящими колокольчиками; быстрые и зоркие глаза Пурамы перескакивали с одного лица на другое – он словно растерялся перед стаей диковинных птиц, не зная, в какую из них стрелять; уродливая длинносица шаманка Тачана кланялась, как лошадь, и быстро ворочала языком, точно стремясь раскусить хрящик, – она бубнила ей одной понятные заклинания; две

старухи, сидящие рядом, крестили животы – они боялись поднимать руки выше, чтобы не заслонить хоть на миг происходящего.

– Иди, Пайпэткэ, иди, – ласково сказал Мельгайвач. – Помогите ей, люди, лечь – она отдохнёт. Ты ведь спать хочешь? В тордохе тепло, я буду здесь; ты ляг и засни.

Пайпэткэ послушно разомкнула руки и, вдруг обхватив ими свою голову, медленно начала пробираться меж людей.

Её положили на три мягких шкуры и укрыли, как положено по обычаю, совсем вылинявшим одеялом – одеялом старой покойной жены шамана Сайрэ.

В тордохе повисла мёртвая тишина. Был слышен лишь лай собак, нападавших на чукотских оленей, да стук по жердям ровдуги, которую начал трепать поднявшийся ветер.

– Что будем делать дальше, хайче? – резко повернувшись к Сайрэ, спросил Мельгайвач.

– Не знаю, – робко ответил старик. – Пусть скажет Митрэй.

– Думаю, ничего делать больше не надо. – Токио потянулся к бутылке с водкой, но почему-то раздумал и спрятал руку. – Мельгайвач всё уже сделал. Не знаю, зачем он меня тащил за собой. Уверен, завтра Пайпэткэ станет ещё лучше. Я камланишь не буду.

Сайрэ заёрзал. Зрячий глаз его перестал моргать, а кривой совсем сощурился; выпученным глазом старик, однако, прицелился не в чукчу, а в Токио.

– Догор, Митрэй, – вкрадчиво сказал он. – Ты что-то непонятное всем нам говоришь. И я, и люди из многих тундр слышали другие слова... Помнишь – на большом камлании все шаманы вроде бы признали, что Мельгайвач зла юкагирам не делал. Потому как не владел духами. Да он и сам приезжал ко мне и обещал полстада оленей за вдохновение. Разве я вру, Мельгайвач? Вру? Скажи людям...

– Да, приезжал, говорил, обещал, – пробурчал Мельгайвач, не зная, куда спрятать глаза, но уже понимая, что сделал ошибку.

– Люди, вы слышали? – повертел головой Сайрэ. – Так не хочешь ли ты, Митрэй, сказать, что Мельгайвач потом завладел бродячим духом, напустил его на мою жену и испортил её? Могло, могло это быть. И я думал об этом. Но видно, стар стал – не разглядел.

– Не было так! – почти крикнул чукча.

Тишина в тордохе стала ещё глубже. Люди не шевелились. Шаман Сайрэ как будто одерживал верх, и могло показаться, что он сейчас скажет ещё что-то, более грозное. Однако старик как-то сразу погас, и даже плечи его опустились. Получалось так, что они подозревают друг друга в кровавой мести.

– Ну, тогда, значит, говорить нужно спокойно, – тихо сказал Сайрэ. – Мы вместе вылечили её. А ты, Мельгайвач, не шаман и никогда им не будешь. Сам знаешь это.

– Ты зачем меня вызвал, Сайрэ? – спросил так же тихо, но злобно чукча. – Чтобы перед людьми срамить?

– Нет! Как же ты можешь об этом думать? Юкагиры тебя никогда не забудут за этот приезд. Ты столько потратил дней, сильно мёрз, и даже к Токио ездил. Ты хорошо помог мне. Спасибо, что откликнулся на мой призыв.

– Юагиров Мельгайвач тоже надолго запомнит, – сказал Пурама, понявший, что склока вот-вот затихнет. Чудо поразило Пураму, но слава, которую так быстро и просто заграбастал Сайрэ, вызвала у него протест. Не знал он, однако, что старик шаман больше всего ждал именно этого разговора.

– Пурама рычит на меня, давно рычит. Я хоть с одним глазом, а всё, всё вижу... Он на меня злится за то, что перед гонками я камланил не ему, а Мельгайвачу. Это верно – камланил. И хотел, чтоб победил Мельгайвач. Куриль проиграл бы – не обеднел, а вот он последнее отдавал. Мельгайвач и так наказал себя – чуть не умер...

– Ну тогда, Сайрэ, ты должен сказать, как всё между вами было. – Пурама поднялся, протиснулся между сидящими и сел прямо напротив шамана. – Вот мы и будем всё знать, и кончатся всякие разговоры. Народ считает, что ты, хайче, поступил слишком жестоко.

– Вот я, вот он, – с готовностью ткнул нераскуренной трубкой себе в грудь, а потом в грудь Мельгайвачу Сайрэ. – Я не внушал! Я отговаривал даже. Бог это слышал! – Сайрэ быстро перекрестился.

– Если б ты хотел отговорить, то не рассказал бы, как это всё делается, – заметил чукча. – Зачем грех брал на душу?

– Э-э, ты просил. Ты долго просил! А ну-ка вспомни, какими словами просил... Ладно, я повторять не буду. Но ведь ты и сделал вовсе не так, как надо. Я сказал, что наши предки чуть надрезали живот, чтобы кровью руки и щёки помыть. А ты пырнул себя до кишок. Тебе подсунули шкуру, чтобы разрез заткнуть, – Кака подсунул. Замешал шерстью кровь, – она и сгнила. Конечно, сгниёт!

Шаман Сайрэ всё сказал. Он вставил в рот трубку и потянулся за огоньком к очагу. Руки его дрожали, а глаза улыбались – зрячий улыбался чуть-чуть, а кривой всюю, образовав на виске ёлочку складок.

Тишина выпорхнула из тордоха. Люди затараторили, зашушукались.

Взяв бутылку, Мельгайвач молча и не спеша налил в три костяные чашки горькой воды.

Но выпить за свою беспомощность ему не пришлось.

Слава Токио прочно держалась на двух ногах. Одной была тайна силы внушения, которую он унаследовал от отца, другой – невероятное легкомыслие и беспощадная, вроде бы детская, прямота, заставлявшая чесать затылок не одного мудреца.

Потянувшись за кружкой, он вздохнул и сказал:

– Говорили, говорили... Слов набросали целую кучу. А правда потерялась, как иголка в сугробе.

– Ты выпей, догор, выпей, – Сайрэ пододвинул гостью юколу. – И закуси. А когда выпьешь, то и правду будет легче искать.

Старик мог теперь говорить что угодно: каждый новый след в тундре будет и следом его ума, его силы и славы. Шаманить Токио не захотел; он тоже не станет брать в руки бубен. А любая другая правда, узнанная без камлания, – это сплетня, шутка, мирской разговор. Когда Пайпэткэ заговорила, в первый раз узнав человека, Сайрэ еле скрыл от людей потрясение. Но это длилось недолго – немного спустя он уже удивлялся силе, всё-таки существующей в нём. Надо же было его языку сказать Пураме, что один Мельгайвач может вылечить сумасшедшую! Если бы ещё, хоть на старости лет, научиться спрямлять этой силе

путь... Сейчас Сайрэ не боялся якута-шаманчика, но всё-таки не хотел, чтобы он взялся искать правду: шаманы при людях хоть и не подводят друг друга, но от Токио всего можно ждать.

А Токио между тем молчал. Он улыбался – улыбался этак невинно, по-детски. Сайрэ улыбался тоже. Они смотрели друг другу в глаза, улыбались, молчали. Но слова о ненайденной правде были сказаны, и люди перестали судачить, насторожились. Держа кружку между колен, Мельгайвач ждал, пока они нагледятся друг на друга; не дождавшись, он опустил голову и стал смотреть в зелёный омут горькой воды.

Негромкий, но неожиданный в тишине крик заставил его вздрогнуть.

Между шаманами что-то произошло. Да, верно – произошло.

Токио медленно ставил невыпитую кружку на стол. Одновременно он круто поворачивался к старику, чтобы смотреть прямо ему в лицо, в оба глаза. А рука Сайрэ, которая так и не отцепилась от края тарелки, тянула юколу назад, и сам он весь подавался назад – будто Токио давил на него чем-то невидимым. Оба они улыбались, но это и было страшнее всего. Старик шаман только что торжествовал и самодовольно шутил, а теперь его узнать было нельзя – зрячий глаз сделался влажным, на дряблой шее сильно билась кровь в жиле; он не владел собой и потому не мог скрыть, что пытается улыбкой задобрить, разжалобить Токио. Молодой якут подминал старика, а может, и поедал его у всех на глазах.

Дальше могло случиться лишь что-то ужасное: Сайрэ вот-вот готов был замахать руками, закричать или броситься из тордоха. Однако Токио отвернулся от старика – может, пожалел его, может, удовлетворился тем, что все увидели его силу. Он весело оглядел людей – и воскликнул:

– Да любит она его, любит! Пайпэткэ Мельгайвача любит! Вот правда где.

Он переставил ещё дальше от себя кружку с водкой и встал на колени, чтобы легче оглядываться.

– Ну, что вы все онемели? – сказал Токио. – Тут дело простое, совсем простое – как палка без веток. И не в нижнем мире, не в верхнем надо было искать следы. Она на любви помешалась. Тебя она, Мельгайвач, любит. И нам надо думать, что делать дальше. Никакая шаманская сила тут ни при чём.

– Да что такое ты говоришь, Митька! – сразу опомнился Мельгайвач. Он слишком круто повернулся, разлил на штаны водку – и рывком поставил кружку на стол. – Как это любит?! Это бред сумасшедшей! Бред. Все видели, все слышали.

– А ты хотел, чтобы после такой болезни она сразу здоровой стала? Конечно, немного бред. Но это уже выздоровление. Ты завтра уедешь – она опять ум потеряет, а может, и бешеной станет – волосья рвать будет и на людей кидаться. А останешься, поживёшь здесь – она совсем в себя придёт.

– Ага. Останусь... Ты, наверно, забыл, что я не богач. И так столько дней потерял. Потонча ждать не будет. Может, ты вместе с Сайрэ согласишься кормить меня и моих жён?

– Э-э... Ы-ы... – подал голос Сайрэ. – А любовь надо под мышкой держать... – Старик ещё не совсем пришёл в себя и сказал невпопад – только затем, чтобы не казаться людям окончательно побеждённым. Хотя,

возможно, он и собирался что-то добавить. Однако Токио перебил его:

– Кто должен любовь под мышкой держать? Она не смогла. Ты на старости лет не сумел... И ребёнок ей нужен – жить она хочет, как все!

Зрячий глаз старика сверкнул, как последняя искра в затухшем костре. Плечи его обвисли, спина стала сгибаться всё круче и круче.

– Ну вот и нашли правду, – сказал Пурама. Он взял кружку, опрокинул её в рот, обтёр ладонью губы. – Это мне за труды...

– Я думаю, что людям расходиться пора, – сказал Токио, садясь и доставая кисет. – Мы уж тут всё обтолкуем сами.

Сайрэ вздрогнул.

– Нет! – испуганно возразил он. – Зачем? Гостей прогонять не нужно. Пусть не уходят, пусть все слышат... Я, наверно, и вправду проглядел что-то. Может, всё было не так. Из-за беды и хлопот потеряешь и правильный след. Чувал всё верно, а попал, может, не на ту дорогу...

– Я об этом и говорю, – удовлетворённо согласился якут, – так и было оно. Мы, шаманы, иной раз правду по привычке ищем в потёмках.

Токио смеялся над стариком, видя, что взял над ним верх. Все это поняли. Не понял, а может, не хотел понять один Пурама.

– Как ты сказал? – взъерошился он. – По привычке? Об этом интересно поговорить... Ты, Митрэй, значит, будешь приезжать к нам после каждого камлания Сайрэ и объяснять – настоящую правду узнал наш шаман или ненастоящую? А он будет ездить к тебе?.. Ты сказал, что старик заслони от Пайпэткэ жизнь – а причину несчастья искал в потёмках? Ну-ка, теперь скажи: бывает так, что поймают рыбу, а потом спрашивают, как она оказалась в ветке и почему умерла?

– Бывает! – в открытую засмеялся Токио, не щадя старика.

Ободрённый поддержкой и немного захмелевший, Пурама разгорячился:

– Видишь, Токио, онидигил? Копоть и дым куда идут? Кверху, в дыру. Это бог так устроил: тепло и свет – людям, а вонь – наружу. Шаман же залезает в дыру – и копоть с дымом поворачивает на людей. Оттого мы и слепые... Я тоже был бы слепой, если б столько лет не прислуживал тебе, Сайрэ, и не видел всего, что другие не видят...

Сайрэ не сдержался.

– А что же ты видел такое? – выпрямился он. – Может, видел, с каким мучением я заставлял страдающих животом бегать – и вылечивал их? Может, видел, как я сутки не спал, а всё равно пошёл спасать выкидыша – и спас?.. Молод ты, Пурама, и негоже обо всём судить! Попробуй шаманить, залезь в онидигил. Нет, ты сейчас заберись на тордох и закрой лицом дымоход. Вот и узнаешь, каково шаману там, наверху. Людская копоть шаману первому глаза выедает...

– Это какой шаман, – подала голос старуха Лэмбукиэ. – Бывают шаманы, у которых совесть прокоптилась, как рыба: у таких глаза не боются дыма...

– Чего язык распускаешь! – взвилась Тачана. Цапнув костлявой рукой Пураму, она дёрнула его за рукав. – А тебе что от старика надо? Пайпэткэ тебе не дочь, не жена. Забыли, сколько добра всем сделал Сайрэ...

Пурама отдёргнул руку.

– А почему от людей копоть идёт? – спросил он, пытаясь поймать взгляды всех троих сразу – и Мельгайвача, и Токио, и Сайрэ. – Люди сами

копоть пускают? Торговал бы Потонча правильно – Хуларха не остался бы голодным, родную дочь не отдал бы людям, и беды не случилось бы. И тебе, Сайрэ, не пришлось бы камланить... и за камлание брать у Хулархи же последнюю рыбу. А с Пайпэткэ было как? Ведь негодяй, разбойник Эргэйу – и тот, как человек, сватал её. А купцы и шаманы? Ты, Мельгайвач, ты, Сайрэ, знали, что она беззащитная? Ну вот теперь и нюхайте эту копоть...

Пурама встал из-за стола-доски и начал протискиваться в глубь тордоха, давая понять, что говорить больше не о чем.

В тундре любое жилище остаётся жилищем, даже донельзя ветхое, дырявое, кособокое. Но в тундре немало жилищ, из которых хочется поскорее уйти или уехать. И тут бедность или убожество ни при чём. Тордох Сайрэ долго считался приветливым, хотя в нём царила страшная бедность, усиленная пожизненным шаманским обрядом. Казалось, что с приходом к хозяину молодой жены и появлением в углах ящиков и мешков тордох этот совсем оживёт. Однако всё было наоборот: подруги почему-то забыли о Пайпэткэ, детишки, ласково звавшие старика дедушкой, перестали к нему ходить, и друзья детства посещали теперь Сайрэ так, от нечего делать или из любопытства. То, что случилось сегодня в этом тордохе, что узнали люди из разговоров, заставило всех приуныть. Пурама обрубил разговор – и наступило тягостное, какое-то безысходное молчание. Над головами тревожным бубном стучала о жерди ровдуга – ветру как будто не терпелось сорвать её, скомкать и унести далеко в тундру, а мороз уже запорошил всё внутри инеем – и ни дыханье людей, ни тепло костерка не могли растопить его. Словно бесстрастно причитание по покойнику, звучало бормотание Тачаны, безнадежно призывавшей на помощь духов... Если б Сайрэ, несмотря ни на что, вдруг решился взять в руки бубен – тордох, наверно, ожил бы и люди повеселели. Но великий шаман сидел, согнувшись крючком, и не собирался камланить. Он не хотел, не мог, не был в силе помочь самому себе – и потому казался уже не шаманом, а мучеником своих же собственных дел, в которых переплелось и шаманское, и человеческое.

Молчание длилось долго. Токио сидел неподвижно, терпеливо выжидая, что скажет Сайрэ. После своих насмешек первым подать голос ему было нельзя. А Мельгайвач поглядывал то на кружку с водкой, то на согнутого Сайрэ. Никогда в жизни Мельгайвач ничего так не хотел, как хотел сейчас уехать отсюда. Пусть бы ушли люди – а они втроём молча выпили, закусили, и он с превеликой радостью бросился бы запрягать оленей. Плохо у него в яранге, но тут – как в могильной яме... Он думал так, однако хорошо понимал, что Токио и Пурама крепко привязали его к этой проклятой могиле: просто так не встанешь и не уедешь. Чем виноват он, что женщина помешалась на нём? Да, она была красивее любой из его жён, и счастье он с ней испытал такое, какого уже никогда больше не испытает. Но она жила с этим сопливым кривым стариком, а теперь у неё такая гадкая улыбка и такой мокрый отвратительный рот. Но если уехать сейчас, то обидишь весь юкагирский род и уже никогда в жизни здесь не появишься. Да и свои чукчи будут глядеть искоса: скажут – отомстил врагу несчастьем невинной женщины-сироты...

И всё-таки Мельгайвачу было не совсем плохо. Он со злорадством поглядывал на старика и думал: «Попался и ты, чёрт кривоногий. Те-

перь ты не раз вспомнишь, как травил меня целых десять снегов подряд!».

Не мог знать чукча, что старый шаман совсем не случайно оставил людей слушать горькую о себе правду. Сайрэ с трудом приходил в себя, потому что в нём кипела дикая злоба к Токио, затеявшему разговор, на который не решился бы ни один шаман. Однако ум его прояснялся всё быстрее и быстрее, хотя этого он никак не выказывал. От якута Сайрэ ожидал всего – только не хитрой глупости, за которой по молодости не сумел скрыть неожиданного озлобления, а может, и желания покончить со славой юкагира-шамана... Обо всём этом и думал Сайрэ, пока не смекнул, что ум его затуманила злость и ревность к преуспевающему якуту. А ведь ход, сделанный Токио, можно было обернуть в свою пользу...

Не разгибая спины, а только чуть повернув голову к Токио, Сайрэ наконец тихо сказал:

– Да что же говорить тут, Митрэй, – немощный я и духом, и телом. Молодое дыхание, оно молодого дыхания требует. Скучно ей было, конечно, в моём тордохе, ну а со скуки – известно – можно и ум потерять.

– А ты, старик, обрадуй её, – громко сказал красавец якут. – Ребёночка ей... Ты уж ради спасения постарайся...

Якуты и не такое говорят вслух, им прощается, и хоть женщины-юкагирки смутились и покраснели, в тордохе всё-таки стало легче дышать.

Сайрэ остался серьёзным.

– Ты – посторонний, тебе можно куражиться, – сказал он. – А мне не до этого. Нужно спасти её. Надо сознание ей поддержать. Может, такого случая не представится больше...

Мельгайвач насторожился, опять поставил так и не выпитую кружку на стол.

– ...Я тут не всё правильно понимал, – продолжал Сайрэ. – А вот поговорили – и вижу теперь, что иной раз хочешь сделать добро, а получается зло. Мне жена разве была нужна? Люди ведь так решили. А я о душе её заботился, уберечь хотел. И была она мне вроде дочки. Даже с помешанной мне легче жить: старый и одинокий я... А получилось, что от духов сберёг, а вот о женской беде и не думал. Пурама насчёт этого зря говорил – ей в то время всё равно жениха не было. Не ловил я её, как рыбу сетью, а если бы хотел внушить ей смирение, так внушил бы, наверно... Смертные муки я перенёс – думал, что пропустил духов. Не пропустил – ты, Токио, освободил меня из объятий медведя. Как же это надумал-то Мельгайвач заехать к тебе и взять на свою добрую нарту?!

Старик помолчал, поковырял пальцем в трубке и продолжал:

– Мне утешение есть – люди хоть не осудят. Бог-то, конечно, всё и без этого видел. Только утешение-то моё горше медвежьей желчи: к беде привязан, а избавлять от неё другие должны. И помогать-то теперь боюсь. А ну, как обратно введу её в злость? Может, случится и хуже – как ты, Митрэй, говорил: спохватится – гостя нет, опять я один – и ещё руки на себя наложит... Мельгайвач, ты, может, удержишься на день-другой? Я человек небогатый, но всё, что ты потеряешь за эти дни, я восполню. Насчёт этого не беспокойся...

Чукча бросил на старика непонятный взгляд, ничего не ответил и

спокойно потянулся за куском холодного мяса. А Сайрэ настороженно помолчал, подумал и ещё раз попросил:

– Только бы поддержать здоровье её... Дня на два остался бы, Мельгайвач?

– Хорошо, – подал голос Токио, – скажем, задержится он, легче ей станет. А что будет дальше?

– Лишь бы поправилась. А потом можно бы её отпустить. Я согласен на всё. Жалко ведь – молодая, красивая...

– Ну вот это уже настоящее сердце высказалось! – облегчённо воскликнул Токио.

– Гык, отпустить! – вырвала из рта трубку Тачана. – А куда же она пойдёт? У неё что – свой тордох есть? Кто ей поставил, где он – покажите мне?

– Женщины, спит Пайпэ или не спит? – очень спокойно спросил Сайрэ, будто тётка ничего особенного не сказала. – Спит? Пусть спит, хорошо. Говорить надо бы тише... Пусть она у меня пока поживёт – вместо дочери. Отдельный полог поставлю. Ей скажем правду: все мы хотели от духов её уберечь, уберегли – а теперь она может жить, как захочет. Постараемся, так найдём ей молодого мужа. И добром кончится всё. Ну а мне от этого и в одиночестве помереть будет легче...

– Ага, найдём молодого мужа – красивого и оленного, тордох ей белый поставим, соберём с каждой семьи подарков... Это за что же ей благодать такая? – Тачана помолчала, а затем вдруг вскочила на колени. – Что – люди не знают, как через неё к нам пришли беды? – выкрикнула она. – Может, Хуларха понесёт ей юколу, может, Нявал будет жерди тесать для её тордоха?

Сайрэ не стал ей отвечать. Он упрямо сказал:

– Не умру, пока не увижу её здоровой и пока жизнь она не начнёт новую... На красоту такую мужик молодой найдётся, болезнь её не поганая... Мельгайвач, как решил? Скажи – чего зря молчать!

Чукча медленно дожевал мясо, спокойно пощупал свою косу с пуговкой на конце, потом сказал, остановив на старике пронзительный взгляд:

– Ты хочешь, чтоб люди увидели, что я доброе дело могу сделать только за выкуп? Нет. Я много снегов терпел от тебя унижения, когда считался шаманом, – теперь не хочу терпеть. – Он встал, вынул из-под кулашки шапку и стал пробираться к выходу.

Токио весь напрягся, завертелся, как дикий строптивый олень. Лицо его исказилось, оно выражало и злость, и презрение ко всему происходящему. Он сейчас был похож на разгневанного родового судью, какие бывают у чукчей, который понял виновность обоих спорящих, но не знает, как их наказать и какой выход найти.

А Мельгайвач тем временем стоял в затишке у тордоха и тоже метался, ещё окончательно не решившись уехать. «Будь он проклят, этот бубен! – разговаривал он сам с собой. – И зачем я стал в него бить! Всеми двумя руками и двумя ногами попался в капканы... Чужие люди залезают в душу, влюблённая сумасшедшая, подачка за её мерзкие ласки... Гадко, выхода нет... – Мельгайвач почувствовал холодные полосы на лице и понял, что плачет. – Яма. В яму попал...»

– Запргай! – услышал он голос Токио. – Ни за какими делами ко мне

больше не приезжай. И я к Сайрэ никогда теперь не приеду. Ко злу обратили ум, а способности – на грубую корысть? Дураки. Вот и плачьте теперь кровавыми слезами.

– Ты тоже не щадил нынче ни старика, ни меня, хотя видел, в какую беду мы попали.

– Её беда – от вас. Я о невинной думал. А вы... Чёрт с вами. Запрягай. Теперь вам обоим сумасшедшая до самой смерти будет сниться.

– Зачем запрягать? – со вздохом сказал Мельгайвач. – Я уезжать не хотел: так вышел – подумать да старика попугать. Куда уж мне напугать важность! Под самую кручу скатился. Людям сказал, что ничего не возьму, а придётся взять – не пустым же возвращаться к голодным жёнам? Скоро совсем безоленным стану.

– Гы, вот это мудро. Это – совсем другой разговор. Живёшь среди оленей – нечего медведем реветь! – Токио повернулся, чтобы уйти, но добавил: – Ничего, порычишь, порычишь, а людскую беду понимать научишься. И ещё каким жалостливым станешь...

– Да, теперь каждому легко меня учить, – безнадежно сказал Мельгайвач. Однако взъерошился: – Когда растоптали меня – и ты заговорил другим голосом. Что ж не нападал раньше?

– Добро всегда терпеливей зла, – ответил Токио, приблизив своё лицо к лицу человека, которого не так давно остерегался. – Об этом мне говорил перед смертью отец. И я ему поклялся бороться только со злыми духами. А ещё мне отец сказал, что терпение и у добра когда-нибудь кончится. И тогда сам бог придёт людям на помощь...

Якут повернулся и быстро зашагал в тордох.

Возвращение Мельгайвача Сайрэ встретил спокойно – будто ничего другого и не могло случиться. Он выпрямился; лицо его было суровым, задумчивым. Отодвинувшись, чтоб Токио и Мельгайвач посвободней уселись, он уставился глазом в костёр и замер, давая понять, что восторжествовавшее доброе дело не требует слов. Все молчали. Наконец Токио потянулся за чашкой и, ничего не сказав, выпил. Мельгайвач поморгал-поморгал – и тоже потянулся за чашкой. Он выпил, плюнул под доску, но закусывать принялся лишь после того, как старик Сайрэ тоже поднёс ко рту чашку.

У всех троих были деревянные лица, и замёрзшие люди, недолго пошушукавшись, начали осторожно приподниматься, тихо покидая тордох.

Постепенно ушли все, ушла и Тачана. Остался лишь Пурама, одиноко сидевший у самого полога. У охотника дел было, пожалуй, больше, чем у других, – после пурги наступит затишье, – самое время ходить по следам, а к охоте Пурама всегда готовился очень старательно. Однако сейчас он забыл обо всём и торчал, как высокий пенёк, за спинами трёх людей, молчаливо занятых едой и своими сложными мыслями.

Пурама чуть-чуть захмелел, и это придало смелости его любопытству. Мельгайвач вернулся... Что будет дальше? Он поест и уедет? Или останется? Он передумал, он пошёл против своего слова, против своей правды, своей нужды? Ему Токио что-то внушил? А может, Сайрэ?..

– Я бы сейчас поспал, – услышал он голос чукчи. – И Токио бы поспал...

И Пурама смекнул, что он лишний, что им надо остаться одним.

Нахлобучив шапку, он встал и с шумом вышел, выказав обиду за отчуждение.

На воле бесилась пурга. Охотник зло и размашисто шагал к своему тордоху. На полпути он остановился и оглянулся назад. Из онидигила тордохса Сайрэ ветер вырывал густой дым с искрами. «Сильней растопили очаг, говорить будут», – подумал он.

Подойдя к своему жилью, Пурама бессмысленно пошевелил одну нарту, прислонённую к тордоху, поплотней приставил другую, шагнул к третьей – и тут призадумался. Холодный ветер успел выдуть из его головы хмель. «Сайрэ... Вот тебе и Сайрэ! Вернул Мельгайвача. Захотел – и вернулся... Хитрюгу этого. Забыл он, что ли, как в этом самом тордохе этот самый старик научил его купаться в крови?»

Чертовщина какая... Не бога же Мельгайвач испугался – безбожник он... И людям сказал, что за подачку не будет делать добро. Ум потерял, наверно. Хотя чего же терять – никакая опасность ему не грозит. Я бы уехал... – Пурама шагнул было к двери, но опять остановился. – Что ж получается? Сайрэ по-своему делает? Что захочет, то делает? – И он вдруг вспомнил, как срамил при людях шамана, как радовался наконец представившейся возможности взять верх над этим сильным человеком и как хорошо, приятно было ему потом. Пережитое торжество сейчас как-то сразу покатилося вдаль, в темень, всё уменьшаясь и уменьшаясь – будто летящие с крутой горы санки. – А вдруг он и мне не дал бы уехать? – пришла на ум Пураме тревожная мысль. – Да, задержал бы, наверно, – раз с Мельгайвачом справился. Чертовщина какая... Видно, он всё же внушил ему ударить себя ножом...»

По спине Пурамы пробежал мороз – и мысли его как-то сами собой сделали очень крутой поворот. «А может, и правда всё было так, как сказал Сайрэ? Может, тут Пайпэtkэ ни при чём? Мельгайвач умён – и знал, что без бубна ему не прожить. Мог, ясно, что мог приехать за вдохновением, а Сайрэ только его подтолкнул... Да его и надо было подтолкнуть: сирайкан Мельгайвач...»

Пурама сделал десяток шагов, но повернул назад. «А теперь всё оно складно выходит: что там ни говори, а бабёнке своей ум он вернёт... Гы, не пустил Мельгайвача! То-то он не удивился, когда чукча вошёл, и все они какие-то стали чудные. Да он же и Токио одолел. Чего это Мельгайвач про сон заговорил? И почему это все люди сразу ушли?..»

Много лет, с детства, Пурама верил шаманам, был первым прислужником их. И сейчас в его голову разом полезли воспоминания о чудесах, которые видел в разное время. Чтоб окончательно не сбиться с толку, он поскорее зашёл в тордох. Но тут, рядом с женой, у очага, к нему пришло не успокоение, а злость, досада на самого себя. Выхвалялся перед народом умом, к шаманскому столу подскакивал, – а доброе дело сделал Сайрэ, и слава опять ему...

ГЛАВА 8

Совсем другие мысли мучили в это же время шамана Сайрэ. Он-то уж точно знал, что чукча вернулся вовсе не по его воле. Просто он одумался – не захотел обижать юкагиров и решил всё-таки хоть что-ни-

будь привезти своим жёнам. Мысль промелькнула быстро: мешок юк-о-лы да несколько шкурок отдать не жалко, но придётся сделать подарок и Токио – и он сделает хороший подарок, только будь он проклят, этот шаманчик-выродок – не Мельгайвач, а сатана приволок его на берег Улуро!

Оправдаться перед людьми – это ещё не значит оправдаться перед всевышним судьёй и повелителем – богом. Если б так неожиданно не озлобился Токио, всё бы кончилось сказочно хорошо. Сайрэ оставалось бы подыскать случай освободить Пайпэткэ, а это теперь облегчилось в тысячу раз – и во искупление всей вины перед богом сделать ей ещё какое-то доброе дело. Вот и прожил бы он без страха остаток лет, и принял бы его бог к себе, и вернул бы его в средний мир в третьем поколении. Может быть, Сайрэ поступил бы как-нибудь по-другому, но только сам, один, без обещаний и постороннего любопытства. Токио заставил искупать вину на людях, искупать быстро, да ещё одним-единственным способом. Какие унижения он, старик, перенёс сегодня, как смеялись ему в глаза при людском сборище, как ковыряли его живое мясо! И впереди то же самое, а разобраться, так ещё более нестерпимое – он сам будет унижать себя: муж ищет для жены мужа, потому что стар и немощен телом – настолько немощен, что можно сойти с ума...

Мельгайвач и Токио спали рядом, подложив под голову хорошо мятые шкуры, подаренные Сайрэ за камлание, – а Сайрэ сидел у очага, курил трубку, смотрел в огонь, и выпитая горькая вода не мутила ему головы. Думал старик, курил и думал. Порывистый ветер налетал на тордох – и жерди каркаса скрипели, ровдуга стучала о них, как отсыревший бубен, а дым шарахался внутрь, повисая над головой старика клубящейся тучей... Ах, если б у чукчи была только одна жена, да если б он вдруг оценил любовь Пайпэткэ! Какие у него жёны – дрянь, а не жёны. И бросить их не грешно. Особенно младшую, с которой кто только из заезжих купцов не спал. И среднюю можно отдать Каке без жалости – она, говорят, так и липнет к нему, да она и сама теперь, наверно, ушла бы к чукотскому голове – от такой жизни...

Время шло, гости и жена беспробудно спали – и мысли шамана Сайрэ всё упорней вертелись вокруг Мельгайвача и его жён. Старик припомнил всё, что знал по слухам, и неожиданно понял, почему ещё так упорно думает только об этом. Да ведь вернувшийся из Халарчи Пурама сказал кому-то, что Мельгайвач совсем обеднел и будто бы поэтому хочет одну жену передать Каке! Сильно обрадовавшись, Сайрэ начал искать ходы. Ему, правда, сразу же стало ясно, что внушать Мельгайвачу ничего нельзя: такой ход бог не примет. Стало быть, надо по-человечески поговорить. А как?

Сайрэ не успел ничего придумать: спокойствие в тордохе нарушилось – из-за полога выбралась Пайпэткэ. Старик не повернулся к ней. Однако он умел «видеть» затылком. Вот Пайпэткэ бросила взгляд на него – и сейчас же повернула голову в сторону, туда, где спали гости. Она увидела Мельгайвача, насторожилась, потом засуетилась на месте, как будто раздумывая, что делать, – и вдруг быстро юркнула обратно, за полог. Сайрэ изо всех сил прислушался – и немедленно догадался, что она воровато расчёсывает волосы. Сердце старика застучало сильнее: со дня помешательства она даже слюни не вытирала.

И всё совсем ожило кругом, когда Пайпэткэ опять выбралась из-за полога и решительно подошла к пуору. И только теперь Сайрэ украдкой взглянул на неё. Она искала еду – она не ела целых полсуток. Её движения говорили о том, что сам бог гладит её по голове. Пайпэткэ начала резать юколу.

– Надо бы оленины сварить – гости скоро проснутся, – осторожно сказал Сайрэ.

– Тачана приходила к нам? – вместо ответа спросила она. – Я её голос сквозь сон слышала... А второй кто приехал? Вы горькую воду пили?

– Пили, ке, пили. – У Сайрэ неожиданно покатились слёзы; он отвернулся. – Токио к нам приехал. И Мельгайвач. Дела у них к Курило – не нашли в тундре, сюда завернули. – Сайрэ поднялся, взял котёл и пошёл наколоть льда.

В это время в дверях показалась лёгкая на помине Тачана. Сайрэ чуть не сплюнул. Дьявол её принёс!

Кто-кто, а Сайрэ хорошо знал Тачану. И сейчас он без ошибки понял, зачем она приковыляла к нему.

В годы молодости Тачаны юкагиры и чукчи кочевали вместе. А среди чукчей было много мужчин, искавших себе жён. Получилось так, что все люди Улуро оказались родственниками Тачаны, и она стала надеяться на жениха из чукчей. И вот тут-то она и узнала себе цену. Её старание завлечь хоть какого-нибудь жениха походило на прихорашивание совы перед уткой. Чукчи отворачивались от неё. Маленькая, колченогая, с непомерно длинным лицом, она была ещё и сплетницей. Годы шли, жених не находился – и тогда она вышла замуж за подслеповатого, тупоумного и безвольного юкагира Амунтэгэ, на которого вообще никто не смотрел. Замуж-то она вышла, но не успокоилась, затаив злобу на многих сверстниц. Потом эта злоба перешла на всех смазливых девушек и привлекательных женщин; она стала мстить им, как только могла. Косой Сайрэ помнит, как однажды она сказала ему, рассчитывая на поддержку: «Раз не одарил меня дух земли ростом и хорошим лицом, так я за это всех счастливых красавиц оплёвывать буду». Но красавиц появлялось всё больше, особенно от участвовавших браков юкагиров с ламутами, – и понемногу шаманившая Тачана стала талдычить другие слова, которым в конце концов и сама начала верить: «Обличье моё – не наказание. В девках была – не понимала. Это – шаманское обличье».

Десять зим Тачана ждала тяжести в животе. Не дождалась. И тут она окончательно обозлилась и на красивых женщин, и на тех, у кого рождались дети – особенно, если ребёнок оказывался здоровым и хорошеньким. Каких только сплетен она не распускала, каких гадостей не говорила! И в это же время Тачана принялась усиленно вызывать своих духов – она без конца колотила в бубен, прыгала, визжала. Добро, что Амунтэгэ всё это сносил безропотно. Люди стали бояться её глаз, её слов, её голоса. Наконец вмешался Сайрэ: ей от рождения шла тридцатая зима, когда шаман сказал людям, что Тачана добилась своего и теперь обладает шаманской силой. Но только стала она шаманкой, как умерла её соседка. А у соседки осталась девочка – Чирэмэде, будущая мать Халерхи. Тачана взяла к себе девочку – и сразу же поползли слухи, что бесплодная шаманка съела её мать, чтобы обзавестись ребёнком. Чирэмэде уже всё понимала, и когда в эту же зиму умерла вторая

женщина – сестра Амунтэгэ, у которой тоже осталась дочь, Пайпэткэ, Чирэмэде убежала от страшной старухи, поедающей матерей.

Амунтэгэ привёл в свой тордох племянницу-сироту. Но это уже не обрадовало шаманку. Ужасные слухи о ней передавались от стойбища к стойбищу – и звон бубна из тордоха Амунтэгэ стал доноситься всё реже и реже. Тачана испугалась. Шаманство её оборачивалось людской ненавистью к ней. Примолкла она.

Сайрэ хорошо помнил те годы: тогда он очень боялся, что люди переселят боязнь злых духов и разорвут шаманку. И он дал себе слово быть осторожным...

А дальше история с Тачаной была уже не шаманской историей. В отличие от тихой и простенькой девочки Чирэмэде, которую она успела полюбить сильно, по-матерински, Пайпэткэ оказалась красивенькой, да ещё и проказливой. Бедная Пайпэткэ! Разве она была виновата, что родилась такой, что тётка боялась изливать злость на людей, а злости надо было вырываться наружу?.. Сайрэ видел, как по приказу жены Амунтэгэ долго и спокойно выстругивал и скручивал плётку, как дёргалось от удовольствия морщинистое лицо Тачаны в ожидании счастья взять в руки плётку и как сверкала глазёнками бедная девочка, предчувствуя жгучую боль...

...Разбивая култышкой оленьего рога лёд, Сайрэ почувствовал, что руки его замерзают. И это оборвало его воспоминания. Да, он знает, зачем опять пришла Тачана. Знает, хорошо знает! Она хочет заступить Пайпэткэ дорогу, она не выдержит, если ей улыбнётся счастье. Она тогда изойдёт бешенством и не сможет ни есть, ни спать. Но она заступит дорогу не только ей, но и ему...

Когда Сайрэ вернулся в тордох, гости уже сидели на шкурах-подстилках и, настороженно наблюдая за Пайпэткэ, курили трубки.

– Хорошие сны, гости, видели? – назло Тачане добродушно осведомился Сайрэ. – Я крепко спал...

Токио и Мельгайвач закивали головами:

– Всё хорошо – выпались...

– А у меня радость, – сообщил Сайрэ, – у дочки моей много дней голова болела, а нынче ей стало лучше. И от этого в тордохе стало светлей...

– Это какая ж она тебе дочь? – перекосила своё длинное лицо Тачана, рассевшаяся на самом видном месте, у очага. – Жена тебе она, а не дочь.

У Сайрэ лицо в момент сделалось таким же холодным, как окоченевшие руки. Все мысли выскочили из его головы. Только на языке само собой завертелось слово, которое не выражало и малой части нахлынувшего потом бешенства: «Живодёрка. Не человек – живодёрка...». Повесив котёл на крюк-сускарал и опомнившись, Сайрэ, однако, нашёл в себе силы не выдавать бешенства.

– Я мог бы дважды быть ей отцом. И потому должен бы называть её не дочкой, а внучкой, – сказал он со вздохом. – Правда ведь, ке? Разве обижаются на добрую правду?

– Ох, какие ты речи заводишь, хайче! – укоризненно повертела головой Тачана. – Чудные речи. Подождал бы: гости только проснулись... Я вот зашла – и гляжу: жена твоя причёсанная, со стола всё убирает, а вон и оленину достала – варить да гостей привечать собирается. А ты не одумался, видно...

«Мерзавка. Хочет, чтоб она сумасшедшей осталась. С тем и пришла». И старик решил сразу заткнуть ей рот – чтоб она больше не лаяла и не мешала ему.

– Митрэй! – обратился он к Токио. – Ты во время камлания всё говоришь людям? Или самое важное только?

– Всё говорить – люди устанут слушать, – ответил якут.

– Я тоже так делаю. Но один раз в жизни я скрыл от людей важную весть... – Сайрэ повернул глаза на Тачану, как бы спрашивая её – продолжат или нет. Старуха не знала, что творится в душе шамана, а догадки её были не полными – и потому она приготовилась лезть на рога, надеясь лишь на семейную ссору. Она вызывающе подалась вперёд. Сайрэ решительно повернулся к ней. – Думаешь, духам отца Мельгайвача было так просто разгадать тайну рождения юкагирского богатыря Ханидо? Какое у Пайпэткэ было тело, когда она оставляла следы? Может, ты вспомнишь, какое? Кровавое, чуть зажившее – вот какое. А была её ты, кровь своего мужа была, а значит, и свою кровь...

– А я об этом сказал бы людям! – вмешался Токио. – Я бы сказал.

– Пожалел. И без этого люди были злы на неё. Но и теперь можно сказать. И бог простит меня, что я ей сейчас затыкаю рот... С плохим разговором ты пришла нынче ко мне, неродная тёща. С плохим. И я могу тоже плохо закончить такой разговор. Да... Вот оно как...

– Господи! Духи земные и неземные! – хлопнула руками по своей впалой груди Тачана. – Да чего ж я плохого сказала? Тьфу, тьфу, тьфу... Не сказала я, не сказала. И в мыслях дурного не было ничего. Не было, не было, не было!

– Было!

– Хвалить свою дочь – это зло? Да ведь я перед ней виновата. Добро я ей делать должна?

– Хвалить Пайпэткэ нечего: гости и так не слепые и знают её давно. Только твоя хвальба – хуже аркана. Мы все трое не паутиной сшиты, и перед нами вертеть языком, как вожжами, – дело пустое.

Старик зло бросил прутья в костёр и направился к Токио и Мельгайвачу, не слушая больше шаманку, оторопело и униженно бормотающую что-то невнятное.

Подсев к гостям, Сайрэ сразу приметил в глазах Мельгайвача что-то новое, никогда ещё им не виденное. Чукча как-то слишком живо переводил взгляд с Пайпэткэ на Тачану, с Тачаны на него; вот он совсем уж подозрительно уставился на шамана Токио, будто впервые увидел его. Сайрэ насторожился, но, чтоб никто не заметил этого, стал вытаскивать из кармана засаленный до блеска кисет и трубку с сильно выгоревшим чубуком. Старику шаману догадаться было не трудно, что на Мельгайвача подействовала ссора. Как подействовала? Хорошо или плохо? Кукул его знает... Сперва Сайрэ подумал, что схватка с неродной ненавистницей-матерью Пайпэткэ обернулась в его пользу: уж нашлёпал-то он её от всего сердца. Но он был слишком опытен, чтоб поверить первой догадке, тем более приятной догадке. С другой же стороны получалось совсем плохо. Мельгайвач плут и богатство нажил плутовством. И он вполне может подумать, что Сайрэ затеял какое-то новое и скорое дело, а потому и сорвался. Ведь так срысывается человек, забывающий всё на свете ради своей нужды. Уж не хочет ли

великий шаман просто отделаться от сумасшедшей жены, сплавить её поскорей?

Сайрэ знал, что в таких случаях надёжней всего иметь в виду не хорошее, а плохое. И он сумрачно проговорил:

– Вот так я и живу, гости мои дорогие... На старости лет мне бы по силе-возможности делать людям добро да почести получать, а я вот барахтаюсь в семейных делах, как в сугробе. А получаю подзатыльники и пинки... – Сайрэ вздохнул, по-свойски потянулся к Мельгайвачу за трубкой, взял её, наскрёб сухой былинкой в свой чубук огоньку, затянулся, слезливо сощурился. – А почему так у меня вышло? Я расскажу вам случаи. С Пурамой это было. Сами знаете – Пурама человек с десятью глазами, не то что я. Один раз увидел он оленя дикого и пошёл на него. Олень далеко, место ровное. Подкрался на выстрел – и бултых в болото. Еле выкарабкался... Так и я. Под ноги себе не глядел. А оно вон что у меня под ногами... Зря я вчера самому Пуре не напомнил об этом. А, ладно! Я привык уж сносить обиды... Но ты, Мельгайвач, теперь видишь, как сами люди на злое дело толкают? Даже родственники...

Чукча приподнял бровь:

– Родственники... Но родственницу ты решился одёрнуть, а меня тогда – нет.

«О себе думает», – заключил Сайрэ, а вслух сказал:

– Ох, Мельгайвач, не жалея. Ох, не жалея о той прежней жизни...

Сказал это старик и замолчал. Замолчал потому, что на язык ему налетела целая туча слов, потому что подвернулась возможность заговорить о самом главном. Но он был настороже и не хотел ошибиться.

Если бы знал шаман, какие мысли текли в голове чукчи!

После тяжёлой дороги, после хорошей еды и выпивки Мельгайвач спал в тепле как убитый. А когда проснулся – голова его была светла и чиста, как голубой летний день. Увидев Пайпэткэ и поняв, что с ней как будто бы всё хорошо, он закрыл глаза и, не поднимаясь, стал думать. Как бы сложилась теперь его жизнь, если бы он вдруг третьей женой взял её? И Мельгайвачу показалось, что всё было бы так же плохо, а может быть, даже хуже. Он-то уж знал, о чём Пайпэткэ мечтала в те времена. С купцом Потончей она собиралась плыть к американцам, а с ним – с богатым шаманом – хотела ездить в Средне-Колымск, на ярмарки – чтобы видеть много разноязыких людей, покупать красивые вещи. Такие её порывы напугали Мельгайвача. А тут ещё её красота, её безудержная страсть... Да, он бы любил её больше, чем других жён, потакал бы ей. Но сейчас, вот в такой жуткой беде и нужде она обернулась бы сатаной и не сама потеряла бы ум, а его лишила ума...

Обо всём этом чукча думал так, не всерьёз, поневоле. Но если б даже об этих несерьёзных мыслях мог догадаться Сайрэ!..

А потом пришла Тачана, и юкагирский шаман в сердцах сказал, что эта мерзкая старуха нещадно била сироту Пайпэткэ. И вот только тут Мельгайвач испытал какое-то страшное чувство, испытал первый раз в жизни. Ему вдруг стало тесно в одежде, а между тихой, молчаливой Пайпэткэ и им появилось какое-то невидимое, но живое существо, которое ткнуло пальцем в его переносицу – и куда бы он ни поворачивал голову, палец этот не отставал от лица. Не знал Мельгайвач, не мог знать, что хрупкое тело молоденькой Пайпэткэ было тогда сплошной

чуть зажившей раной. Он обнимал это тело, гладил, мял, сдавливал – и было ему так хорошо...

Он еле скрыл от знавшего это всё старика дрожь, пронизавшую спину.

С удивлением Мельгайвач уставился глазами в лицо якута-шамана: «Ещё каким жалостливым станешь!» – вспомнил он слова Токио, сказанные перед сном. «Как он мог это узнать? И почему так быстро сбылось его предсказание?... Может, они вдвоём околдовывают меня? Надо скорей уезжать...».

Не догадался Сайрэ и о пробудившейся в чукче жалости.

А между тем Пайпэткэ собрала на стол и подошла к мужчинам. Мельгайвач поглядел ей в лицо – и поспешил поймать за спиной косу, чтоб отвернуться, проверяя пуговку. Ух, какой же красивой стала Пайпэткэ за эти годы! Лицо округлилось, нос выровнялся, губы припухли, а сдвинутые брови похожи на крылья парящей птицы – замерли, но в любой миг могут вздрогнуть. Только маленькие глаза совсем уже не бегают, даже вроде притухли, как огонь под пеплом, – но ведь она уже женщина. И это всё – после болезни, да ещё одежда на ней – обноски покойной жены старика... Пайпэткэ ничего не сказала – только тронула за плечо мужа, развела руками, давая понять, что еда небогатая, – и поплелась к пуру.

Над Улуро гулял лёгкий верховой ветер. Снег успокоился – мягкой белой шкурой он лёг на землю, словно прикрыв её от мороза, который теперь усилится после пурги. А сейчас было тепло, бестревожно, уютно.

Умывшись снегом, Токио услышал ребячьи голоса на холме, за стойбищем, озорно насторожился, потом отряхнул руки и скорее зашёл в тордох.

– Нет, не усижу! – сказал он, ни к кому не обращаясь. – Пойду покатаюсь на санках. Дома теперь мне вроде нельзя: вторая жена...

– Сперва водочки выпьем, – охотно предложил Сайрэ, обрадовавшись возможности остаться наедине с Мельгайвачом и уже обдумывая, как выпроводить из тордوخа вовсе уже лишнюю Тачану.

– Я думаю, поедим – и запрягать надо, – со вздохом сказал Мельгайвач, перекидывая кверху дном весь котёл желаний и намерений обоих. – Пора. Пока тепло и тихо. А то затрещит на озере лёд, да пурга начнётся... Хайче Сайрэ, ты хорошо угощал, и вот опять хлопочет твоя жена. Спали в тепле, отдохнули, поговорили. Всё хорошо обошлось – и ты доволен, и мы... Поедем Куриля искать, – чукча улыбнулся, давая понять Сайрэ, что он слышал его разговор с Пайпэткэ. – Не знаю, как Токио, а я, наверно, в эту зиму ещё заеду. А по весне и ты бы заехал к нам в Халарчу... – Здесь Мельгайвач подмигнул: это он говорил для успокоения Пайпэткэ. – Вот так и начать бы нам жить в дружбе и уважении...

Они стояли друг против друга и украдкой поглядывали на Пайпэткэ, которая молча, будто ничего не слыша, убирала постель.

Кажется, пронесло: Пайпэткэ не вздрогнула, не насторожилась.

Мужчины помолчали, продолжая следить за ней, а потом почти разом вздохнули – Мельгайвач с облегчением, а Сайрэ тяжело. Вздохнув, старик потряс головой, опустил плечи, опустил голову. Всё кончилось. Уговаривать Мельгайвача никакой возможности не было.

К столу уселись совсем чужими – каждый возвращался к своим делам, к своей жизни, к своей судьбе.

Перед тем как сесть, Сайрэ достал откуда-то плоскую бутылку с горькой водой, но на стол не поставил – замешкался, раздумчиво ошупывая её.

– Не надо, хайче, – сказал Токио. – Побереги до другого раза...

А Мельгайвач уже ел. Он показывал, что спешит, хотя на уме-то у него было ещё и другое – покрепче наесться: дорога дальняя, и в родной яранге оленя в честь его возвращения не зарежут... Сайрэ сел рядом с ним, неуверенно поставил бутылку и, не раскупорив её, принялся за еду. Он отрезал кусок оленины, выложенной из котла прямо на доску, начал дуть на него и вдруг вскочил, что-то вспомнив. Мельгайвач не пошевелился: он знал, что хозяин забыл собрать подарок. «Пусть собирает, – подумал он, ещё полней набивая рот мясом. – Довезём потихоньку».

Токио уже закурил трубку и наблюдал за Тачаной, которая тоже вертела в руках пустую трубку, зло поглядывая на Сайрэ, набивавшего рыбой мешок, – а Мельгайвач ещё пил чай. Наконец он насытился, надел шапку и встал, чтобы идти к оленям. Но тут хозяин неожиданно повернулся к нему. Пайпэтка, спокойно державшая край мешка, тревожно подняла голову. Её маленькие глаза стали внимательными, колючими.

– Мельгайвач! – сказал Сайрэ, приближаясь к чукче. – Ты должен знать, когда и как это случилось. – Лицо старика было решительным, напряжённым – даже испорченный глаз приоткрылся.

– Что случилось? – не понял гость.

– Её сумасшествие. Первый раз это было в то утро, когда ты от меня уехал... Она не слушает шаманских разговоров, но спала она или не спала – а наш разговор о крови дошёл до неё. Она поднялась и начала хохотать посреди тордоха. Она босиком вышла искать следы от твоих ног и твоей нарты. А ты помнишь, какой тогда был мороз...

– Это брехня! Ты выдумываешь! – Раскрасневшийся после чая, потный, Мельгайвач так тряхнул головой, что с лица отлетели в стороны капли пота.

– Нет! Так было. Вот тебе крест перед светлым богом. – Старик решительно перекрестился. – Она снова потеряет ум – я знаю. Знаю, что второй раз ты не приедешь её спасти. А меня бог не простит, если я утаю что-нибудь.

– Гы! – вскочил на ноги Токио. – Что ж получается это? Ты, значит, всё знал, а людям говорил другое?

– Не по-моему, а по-твоему, Митрэй, получается, – спокойно ответил Сайрэ. – Вы спали – а я сидел думал. И если сейчас моя правда не верная, то и твоя не верная. Потому как я твою правду признал и всё по-другому увидел.

Якут отлетел, как колотушка от бубна.

– Тьфу! – в сердцах сплюнул он. – Запутали всё! Запутались! Да ты женись на ней, Мельгайвач!

– Осатанели! Осатанели вы все! – подскочила к ним Тачана. Её длинная голова вертелась на морщинистой шее, будто приделанная.

– Пусть сумасшедшей лучше останется? Так? Сумасшедшая – луч-

ше? – напёр на неё Токио. – Ну, если мать этого хочет, тогда дело другое. Тогда поехали, Мельгайвач...

Возбуждённый, взъерошенный якут, однако, не сдвинулся с места. Его по-мальчишески злые глаза как-то вдруг сузились, похолодели, вроде бы спрятались далеко внутрь. Токио с удивлением обнаружил быструю и резкую перемену, происшедшую с юкагиркой и чукчей. Тачана ворочала языком, а слова у неё не получались, и глядела она на него уже мягко, угодливо; Мельгайвач побледнел и смотрел на него бессмысленно, будто постаревшая лайка, у которой нет никаких желаний. В последнее время Токио всё чаще и чаще замечал подобные перемены в людях, когда он смотрел им в глаза и говорил неотступную правду или давал советы, которые казались ему единственно верными. Он давно знал, что умеет внушать, и это прежде не удивляло его, потому что отец его был настоящим шаманом. Однако, сталкиваясь с беспомощностью многих других шаманов и видя, как люди верят их глупым или корыстным советам, Токио усомнился и в своей силе, начал внимательнее следить за собой. Нет, ему верили и ему подчинялись совсем не так, как другим...

Пока Токио осмысливал происшедшее, Сайрэ переживал торжество. Он понимал, что гость-шаман подавил волю Мельгайвача и старухи. Но ведь это сделал не он – сделал якут, а бог-то уже знает, что якут не друг ему и не угодник. А раз враги заодно, то дело их, стало быть, богоугодное.

Между тем Токио сообразил, что играет опасно, вмешиваясь сразу в судьбы стольких людей, – это снегов пять назад он не подумал бы о последствиях...

– Кукул бы вас всех сожрал! Решайте сами, – сказал он. – А я чаю поью и пойду кататься.

Он отошёл к очагу и стал поправлять костёр под чайником.

Сжав ладонью лоб и закрыв глаза, Мельгайвач покачнулся, но протянул другую руку, нащупал жердь и устоял на ногах. В голове его комариной тучей закувыркались мысли. Но сразу же среди них обрисовалась одна прямая и неподвижная, как жердь, возле которой крутятся комары: «Не так жил, не так жил. Я не так жил...». Придя в себя после головокружения, он всем своим нутром почувствовал, что мимо него пронеслась какая-то неведомая жизнь. В этом мире существовал человек, который был ему ближе отца, ближе брата и друга. Человек этот мог быть лишь живой половиной его самого – иначе как же так получилось, что он не слышал, как ухает от мороза лёд, не видел бьющей в глаза пурги, забыл, что ноги босы, – но помнил о чьих-то следах?! Было наверняка и другое. И всё это кончилось сумасшествием... Да разве такой человек скулил бы сейчас, когда его одиножилец оказался в беде, соросил бы и соглашался уйти в другую ярангу?!

Неужели человек этот женщина, неужели она здесь, рядом? Какая она? Мельгайвач открыл глаза – и испуг заставил его скорей отвернуться, искать взгляд шаманки, Токио, Сайрэ – кого угодно. Он даже не успел разглядеть эту новую Пайпэткэ – шевелящиеся ноздри её, вытаращенные глаза, её частое дыхание подсказали ему, что она сейчас или закричит нечеловеческим голосом или зачем-то метнётся к нему... Но Токио ковырял головешки в костре, Сайрэ стоял спиной к Пайпэткэ, а

Тачана подслеповато моргала, морщила лоб, блуждая в потёмках своих отупевших мыслей.

Все молчали, и ничего не случилось. Мельгайвач глянул на Пайпэткэ ещё раз – и обомлел от её красоты. Неужели вот этими красными, как распухшая рана, губами она прижималась к его щекам, неужели эти маленькие, всё понимающие, а потому и раскрытые широко глаза когда-то были рядом с его глазами и от страсти и счастья заволакивались туманом?... Да нет, она вовсе не хочет метнуться к нему – она ненавидит старуху, его, старика Сайрэ, только не знает, какие слова сказать, каким голосом их сказать...

Медленно отвернувшись, Мельгайвач перевёл взгляд на стол и почему-то остановил его на нераспечатанной бутылке с горькой водой. Сколько вот таких же бутылок он отшлёпал ладонью по днищам за свою жизнь!.. Бутылки, бутылки, песцовые шкурки, клыки мамонтов, шкурки морских зверей... Потный, косматый, бессовестный Кака обнимается с младшей женой, какой-то купец спит со второй, а он – рядом со старшей, со старой... И счастлив. Дыхание тысяч оленей доносится до него сквозь ровдугу...

Далеко не всегда Сайрэ угадывал мысли людей. Но сейчас, наблюдая за чукчей, он мог бы точно пересказать его мысли.

– Эх, Мельгайвач... – сказал он со вздохом и тряс головой. – Ты постарел не от возраста и ещё можешь помолодеть. Мне бы годы твои да любовь такой вот красавицы... В твои сорок лет настоящая охота к жизни только приходит... Что собираешься дальше делать? Трёх жён не прокормишь, к работе они не приучены; оглянешься – и припасов никаких нет. А?... У вас, у чукчей, насчёт жён дурные привычки. И потому ты не знаешь цену любви и верности. Сломай большую ярангу свою. Сломай – и так, и этак её ломать. Только мук больше, если будешь тянуть да надеяться... Помню, Пайпэткэ дитём была ещё – осень, холод, бывало, дождю конца нет, а она, мокрая вся, и ночью рыбу таскала с озера; оскользается, падает, рыбу роняет – но уж ни за что не заплачет... Да с такой работающей и с её любовью к тебе ты к весне все беды свои забудешь! Даже удивишься, что счастьем считал дурную, богатую жизнь. Где любовь – там и лад. Детей народите, здоровые да весёлые будете...

– Ой! Ой! – прервал речь старика негромкий голос, сразу отдаливший все разговоры. Пайпэткэ отпустила мешок – он упал, юкола рассыпалась; вцепившись пальцами в своё лицо, она дико расширила глаза, будто собираясь заорать на всё стойбище. Ничего не понимая, мужчины повернулись к ней, и лица их вытянулись в ожидании. Только надолго оцепеневшая Тачана вдруг завертела длинной своей головой, точно нехороший крик Пайпэткэ возвратил ей разом и рассудок, и бодрость... Но Пайпэткэ не закричала. Однако её тихий и здоровый голос и сами слова её оказались неожиданней истошного крика: – Иде Тачана, иде!⁶³ Меня, меня муж отдаёт замуж... Да что ж ты молчишь? Свою жену он отдаёт другому – как варешку. Ой, стыд-то, стыд-то какой! Сам муж отдаёт замуж жену... Да когда ж было такое на юкагирской земле? – Пайпэткэ перешагнула через кучу юколы. – Нет, не пойду. Не пойду из тордоха!

– И не ходи! И я говорю – не ходи. Не пойдёшь! – У будто подстёгнутой вожжами Тачаны изо рта сразу выбилась белая пена. – Не пущу.

⁶³ Иде – тётка.

Скличу людей – не пушу! Определилась судьба её, определилась!

– Да погоди, Пайпэткэ, погоди, – залепетал Сайрэ, часто и напряжённо моргая глазом. – Ты же сама хотела так... ты всё время хотела... ты ребёнка хочешь... А мы от болезни спасаем тебя, мы счастья и здоровья желаем тебе!

– Здоровье? А кому нужно моё здоровье? – подступила к нему Пайпэткэ. – И не хочу я ребёнка. Ничего не хочу я! Жить я хочу? Нету мне счастья! С ребёнком, без ребёнка, с красивым мужем, с уродом, с богатым, с бедным – нету мне счастья, проклята я! И чего собрались вы, чего рвёте меня на куски? Уйду, уйду от людей я, в норе буду жить, в лесу. К медведю уйду! Нет в тундре счастья! – Голос её вдруг переломился, сделался мужским, хриплым, противным. – Отпустите меня, а то удавлюсь! – Она развела в стороны руки, будто мгновенно ослепнув и будто одновременно поняв, что надо скорее куда-то бежать.

И снова, как и сутки назад, Тачана быстро и ловко обхватила её сзади руками. Опять началась борьба.

– Пусти, пусти, сатана! – кричала Пайпэткэ, скрипя зубами.

Мельгайвач поймал одну её руку, поймал другую.

– И ты хватаешь меня? И ты? Звери, все звери! Голову мою хватайте, голову... У меня нет головы...

Токио громко стукнул кружкой по столу.

– Довели, опять довели! Ш-шаманами называются... – Он встал и пошёл прямо на Пайпэткэ, вытаращив на неё глаза, – холодные и страшные, как два ружейных дула.

Якут мог бы схватить Пайпэткэ за локти, которыми она вертела изо всех сил, но он только упрямо смотрел ей в лицо, стараясь поймать её взгляд. И он поймал его, а потом как-то быстро притянул к своему лицу. Сумасшедшая перестала вертеть локтями, и грубые путаные слова застряли у неё в горле.

– Сядь, Пайпэ, сядь, – спокойно, но твёрдо сказал якут. – Сюда сядь – на землю. Вот. Успокойся. Я один здесь великий шаман; это я хотел, чтобы ты к другому ушла. А теперь я не хочу. А они будут делать то, что захочу я... Отпусти её, Тачана! – крикнул он. – Отпусти и иди в свой тордох. Сейчас, Пайпэ, Мельгайвач уедет. Плюнь на все разговоры. Мы с тобой чаю попьём, ты отдохнёшь, а потом пойдём кататься на санках. Слышишь – ребята кричат на горе? Ты хочешь кататься? Давно ты каталась?

Старик Сайрэ стоял под самой ровдугой. Он был похож на дряхлого горбуна, который пытается разглядеть звёзды Хуораала⁶⁴ над головой. Руки его висели, как неживые, спина будто переломилась, а морщинистое лицо он выпятил вперёд, широко раскрыв желтозубый рот. Зрячий глаз его не моргал. Старик увидел сотворённое шаманом-якутом чудо, но как раз перед этим рухнули все его надежды и все затеи.

Морозы всё крепче брали над тундрой власть. Уже не возвращались тёплые дни. Озёра уснули под толстым льдом, а потом и лёд засыпало снегом. С каждым днём солнце всё ниже и ниже поднималось над горизонтом, пока наконец и оно не уснуло под белыми шкурами... Наступило самое тяжкое для жителей тундры время. Круглые сутки тьма – и

⁶⁴ Хуораал – Большая Медведица.

морозы, морозы, морозы. Начнётся пурга – станет немного теплей. Но куда же в пургу пойдёшь или поедешь! А ехать или идти надо каждому здоровому мужику: зима длинная, припасов на долгие месяцы не заготовишь, и стоит побояться мороза – пропала семья. Голод беспощадней самого страшного холода. Голод-то и гонит юкагира, чукчу, ламута из стойбища, гонит на опасную и малоудачливую в потёмках охоту. Обмороживая носы, щёки, пятки, сиротливо бродят по тундрам люди, без конца отгоняя жуткую мысль о гибели. Дома их ждут – ждут их шагов, их тяжкого от ноши дыхания... Это хорошо богачам да купцам: голод не стоит у них за спиной, а ехать на добрых оленях тепло одетым, сытым и пьяным, да ещё не в одиночку, а цугом, с каюрами, можно в любой мороз и в любую пургу.

Шаманам тоже нет нужды выходить в тундру. Даже самый бедный из них всегда переживёт и голод, и холод, вовсе не подумав о том, что следовало бы самому сходить на охоту. Шаман – больше, чем человек. Поэтому он и не должен жить, как другие. Да разве он в состоянии сам прокормить и себя, и своих духов, разве он сможет бороться со злом, питаясь, как смертные, или, хуже того, голодая?! И уж совсем нельзя допустить, чтоб шаман подвергал себя риску замёрзнуть, попасть в лапы медведя, упасть с обрыва.

Отлучка в стужу из стойбища или кочевья богатого человека мало кого тревожит, и разговоры о ней всегда коротки. Богач не пропадёт, а дела его – это его дела. Но если в такую пургу в тундру подался охотник – тревожатся и семья, и родственники, и соседи. Потому что мужик – кормилец, опора стойбища: попадёт он в беду – беда влетит не в один тордох... Совсем иное дело – шаман. Если середина зимы, если земля, воздух, снег – всё звенит от мороза, а шаман вдруг решился отправиться в путь, то это уже событие. На камлание ли поехал он, к родственникам или друзьям – об этом, во-первых, знают все от мала и до велика. Во-вторых, тревоги, в-третьих, разговоры, слухи, догадки...

Сборы шамана Сайрэ в дорогу были совсем неожиданными и непонятными. Сайрэ много зим не покидал берегов Улуро – а тут вдруг решился, да ещё в самое крутое, жгучее время. И не на камлание он уезжал, а просто так – навестить Тинальгина, своего старого богатого друга – вальбэ⁶⁵. Был бы он помоложе, выбрал бы для поездки тёплую пору, прислал бы за ним Тинальгин каюра – это было бы дело другое. Но Сайрэ стар, а поедет один...

Тревога тревогой. Однако главное даже не это. Почему, ради чего заколготился старик, что случилось, чтоб не повременить, не рисковать? Как ни ослеплены люди шаманскими таинствами, а мудрость всегда ищет выхода – и непременно в простых суждениях. Всем было ясно, что старик засиделся, погряз в неудачах и бедах и что ему в самом деле надо проветриться. После приезда Мельгайвача молодой жене его стало лучше. Но всё-таки Пайпэткэ часто срывалась. А ведь как среди людей: хоть двадцать зим назад человек терял ум – он для них помешанный на всю жизнь. А каково сознавать, что в помешательстве виноват ты, да ещё виноват так неловко, нехорошо? Всё стойбище знает о признаниях старика. А тут ещё кровь и разорение Мельгайвача. Шаману, слава которого была много лет доброй, жить после этого неуютно, конечно.

⁶⁵ Вальбэ – друг, товарищ.

Да, он признался людям во многих промашках, он пытался исправить ошибки – даже ценой чести мужчины, он вновь показал себя сильным и добрым шаманом, едва не осчастливив мученицу Пайпэткэ. Но ведь вот же не сидится ему на месте, несёт же его какая-то сила от людских глаз, и сила эта, видать, большая, нетерпеливая – раз уж старик не хочет дожидаться весны или хотя бы солнца.

Разное говорили. Одним казалось, что Сайрэ всё-таки хочет найти Пайпэткэ мужа и богач Тинальгин может ему помочь. Другие были убеждены, что старик совсем обеднел – раз он камланит редко и берёт мало – и гордость заставляет его лучше ехать к скраге Тинальгину, чем брать еду у людей, которые сомневаются в его доброте.

Больше всех в эти дни тревожился Пурама. Токио мог говорить что угодно: он приехал, сбил со старика спесь – и теперь спокойно миловался с жёнами; сводить с ним счёты Сайрэ и не сумеет, и не захочет. А Пурама попался. Неудачной была охота после того, как он узнал, что Сайрэ совершил почти чудо – уговорил Мельгайвача бросить всех своих жён и вместо них взять Пайпэткэ. Тачана была свидетельницей. Чудо рухнуло по вине Пайпэткэ, но Пурама понял, что оказался в болоте, которое может засосать его и по колени, и по кадык. Никто из сородичей не обижал шамана так, как обидел он. Пурама стал ждать мести – и не на шутку перепугался, когда узнал, что Сайрэ без всякой нужды, неожиданно уезжает в тундру. Не затем ли он уезжает, чтоб показать себя непричастным к беде, которая уже повисла над его головой?.. Он пытался прогнать эту мысль, но вместо неё приходила другая и тоже тревожная. Уж Пурама-то хорошо знал, что такое поездка в тундру в такие морозы. Это когда-то давно, в бодрые годы, Сайрэ был на удивление вынослив и ловок. Теперь он старик, и если в дороге с ним случится несчастье, вина упадёт на него: это ведь он вместе с шурином Курилем решил расклевать шамана и как мог делал его жизнь невыносимой. Куриля нет, затею с церковью, видно, топчет табун оленей, выигранный на состязании, – а Сайрэ удивляет людей чудесами и, как думают в стойбище, едет в тундру с добрыми намерениями...

Между тем сам Сайрэ вовсе не знал, как, почему и зачем он решил отправиться к Тинальгину. Поездка эта ему совсем ничего не давала. Пайпэткэ неожиданно сделалась доброй к нему, смиренной – когда ум её просветлялся, а разговор о новой и лучшей жизни её уж дважды кончался истерикой. Так что Сайрэ оставил мысль подыскать, подсунуть ей жениха. На сородичей он не обижался, хотя и чувствовал, что на помощь зовут его уже без прежнего трепета. Даже на Пураму не обижался старик: цену своим грехам он хорошо знал – и кто-то же должен был вспыхнуть порохом. Впрочем, дело не столько в Пураме, сколько в его шурине, которому недостаточно власти. А Пурама просто почуял, что ему выгоднее оказаться при церкви, да ещё вместе с могучим родственником. Но он сам себя наказал: на постройку церкви Куриль будет десять лет собирать шкурки... И уж вовсе Сайрэ не рассчитывал получить от Тинальгина подарок: отощавших оленей он заменить ещё согласится, а уж дать для котла хотя бы старого, одного – это пустая надежда. Он и просить не будет, хотя и знает, что юкола в его мешках незаметно исчезла, шкурки ушли на табак и чай, без которых жизнь была бы невозможна, что даже дощечки от ящиков сгорели в костре...

Так что Сайрэ отправлялся в гости без всякой цели.

Но ведь бывает же так, что вдруг раззудится тело – и нет ему места ни в своём тёплом гнезде, ни у соседа, ни во всём стойбище. И какая-то сила однажды властно прикажет: «Запрягай! Земля велика»...

Сайрэ запрягал оленей, переживая огромное облегчение. А когда по крепкому снегу заскрипели полозья и впотьмах перед глазами повернулись все сразу тордохи, на душе его стало молодо, радостно, бодро. Словно чьи-то добрые руки развязали над его головой мешок из грубой шкуры, в котором он так долго сидел, безуспешно проковыривая дыру. Последняя луна в жизни Сайрэ была самой тяжкой. Если бы он только чувствовал себя попавшим в мешок! Его ведь распотрошили. Приехал незванный якут-шаманчик, вместе с родственником головы распотрошил при людях, будто оленя, и спокойно уехал, прихватив с собой полкуля юколы. Сейчас и это всё отступило назад: «Подумаешь, – рассудил Сайрэ, – великого шамана учил жить шаманчик из Сен-Келя, тот самый, который ещё летом бегал за девками по лугу!..»

Старик оглянулся и, уже не увидев стойбища, вдруг утешил себя неожиданной мыслью: «Останется одна – заскучает, совсем опомнится... И как я не додумался до этого раньше?». Эта мысль неудержимо скользнула вперёд: «Может, ещё и поправится всё. Теперь-то уж бог видел, что я поступился ради добра, чем мог, и ведь она сама сочла за добро остаться со мной – в чём же теперь виноват я?.. А люди? Хе, люди...»

– Ок! Ок! – крикнул старик на оленей и вслух договорил:

– Куда они денутся, люди!..

Сайрэ ехал на западный берег Куропаточьей речки. В этом году Куриль почему-то редко бывал на берегах Улуро и ранней осенью вовсе перекочевал в Булгунях. Огромное стадо своё он отправил пастись далеко в сторону моря, в низовье Новой реки. Поэтому-то Тинальгин и кочевал в окрестностях Малого Улуро – Куриль разрешил ему. Старик Сайрэ хорошо знал эти края. Тинальгин остановился у озера Силгагай, и чтобы попасть к нему, надо поглядывать на хвост Хуораала, а по сторонам можно и не смотреть. Это не так далеко: чуть поднимется вверх хвост созвездия – значит, и озеро близко.

Мороз мало-помалу начал пощипывать старика. Сайрэ придержал оленей, прыгнул с нарты и, покручивая вожжами, побежал рядом по твёрдой корочке снега. Вполнеба вздрагивало, плескалось северное сияние. Сайрэ не обращал на него внимания – он косился то на оленей, то на Хуораал. Главное – выдержать направление. В такой мороз оплошность опасна: занесёт оленей немного вбок – и проскочишь мимо озера; будешь гнать их опять на звезду – и вдруг поймёшь, что ошибся, – тут-то и заплутаешь. Сайрэ был начеку. Он вспомнил, как лет пятьдесят назад ребята шутили: «Ты потому ловко бегаешь, что ноги кривые – нога ногу не задевает». Вспомнил – и сейчас же прыгнул на нарту: э, забываться нельзя – теперь он старик; не считаешь силы, споткнёшься, упустишь оленей или зазеваешься – и беда сразу раскроет объятия.

Пообвыкнув на холоде, Сайрэ поладнее уселся, чтобы больше уж не вставать с нарты.

Нет, он не только хорошо бегал когда-то. Он был ловким, прытким, выносливым. За летний день мог одолеть добрый десяток якутских шаганий, а зимой выезжал в любую погоду – пусть там ветер хоть весь

снег с земли в воздух поднимет... Сейчас Сайрэ почему-то вдруг вспомнил, как переплывал Алазею у каменных порогов Таас-Харгы. «Надо же было решиться!» – с самодовольной усмешкой подумал он. До него ни один человек не осмеливался зайти по колено в воду в этом свирепом месте... Затем вспомнился другой случай, заставивший старика ещё раз усмехнуться, а потом призадуматься. Это тоже было давно, когда он лишь начинал шаманить. Сайрэ как-то в шутку подбил на спор одного известного заезжего шамана. Смешными были условия этого спора: договорились проклинать друг друга – кто умрёт от проклинаний, тот умрёт, а кто останется живым, тот будет властелином шаманской мысли. В первый день они сели в тордохе друг против друга, и известный шаман навалился на Сайрэ такими проклятиями, что непосвящённый человек с испугу бросился бы из стойбища со всех ног. А Сайрэ в это время молчал, только губами шевелил. На другой день шаман охрип – и Сайрэ предложил выйти в тундру: раз ничего не получается, то пусть, мол, сама природа рассудит – они будут опять проклинать друг друга, а мороз уже выберет, кто послабей. Холода стояли тогда лютые. Шаман было заколебался – шутка зашла слишком уж далеко. Но если б он не согласился, то пришлось бы ему признать себя побеждённым, а Сайрэ – великим шаманом. И, засев в сугробе, шаман уже всерьёз начал проклинать коварного шутника. Всю ночь оба просидели под звёздами – а потом посиневшими от мороза вернулись в тордох. И тут Сайрэ сказал, что у него ломит голову, – сказал и прилёг поспать. А шаман, почуяв слабость противника, обозлённый, начал ещё сильнее проклинать его. Люди перепугались – как бы Сайрэ и впрямь не ушёл из земной жизни. Однако Сайрэ хорошо выспался под сиплый голос шамана – и тут увидел своего противника в агонии: лицо шамана было красным, он метался по тордоху с вытаращенными глазами и вместо бубна бил кулаком в старый мешок. Умер шаман, несколько дней лежал больным – и умер. Правда, и умирая, он проклинал Сайрэ...

Воспоминание об этом было и приятным, и страшным. Именно после этого случая его признали шаманом. А то ведь никто не верил, что к нему давно уже пришло вдохновение. Сначала Сайрэ мучился, догадываясь о настоящей причине смерти: горло-то у спорщика было надорвано – а он потянул его на мороз. Болезнь, она всегда ищет слабое место; мороз и задушил шамана. Но постепенно Сайрэ уверился, что мороз тут ни при чём – без духов разве может такое случиться? Люди даже слушать не захотели его, если бы надумал покаяться...

Вот и опять на плечи старика легла тяжесть. как-то всё нескладно получалось у него в жизни: удача всегда рядом с бедой и задетой за самое живое совестью. Может, так оно и должно быть, может, и все другие шаманы чувствуют то же самое, только ничего в этом не видят дурного? «Нет, у якута Токио дорога вроде бы ровная», – подумал Сайрэ.

Вспомнив Токио, старик нахмурился – и мысли его опять вернулись к Мельгайвачу, Пайпэткэ, к Курилю и Пураме, к ненавистнице Тачане.

...Сайрэ взглянул на хвост Хуораала: ага, кажется, он подъезжает к озеру. Тут должна быть ложбина, а на ней следы от оленьих копыт. Только что-то пока не видно следов. Старик заёрзал, начал разглядывать снег, потом осмотрелся по сторонам. Нет – рано ещё: он ведь слишком медленно ехал, задумался. «Надо погнать оленей...»

И старик крикнул, взмахнув вожжами. Нарта стрелой понеслась в темноту.

Так он ехал долго, всё подгоняя и подгоняя оленей и ни о чём больше не думая. Наконец он заметил, что звёзды поднялись чересчур высоко. Тревога легонько пошевелила на его голове волосы. Но нет – кажется, вот она и низина... что-то темнеет вдали – наверно, табун. Только следов почему-то не видно... Сайрэ привстал на одно колено, сильно стегнул вожжами оленей.

А тем временем тёмные пятна расплылись, пропали. И следов опять же не видно: снег ровный, прилизанный, и заструг, заметей мало. «Что за оказия!» – совсем насторожился Сайрэ, приостанавливая оленей. Он поднялся с нарты – и вздрогнул. В свете сияния впереди вырисовывалось что-то высокое, чёрное. «Тьфу! Так это куда же я заехал? – удивился Сайрэ. – Это ведь Ентэгэ, Святой Нос! До самой Куропачьей речки доехал...»

Огромная едома у Куропачьей речки оканчивалась высоким обрывом, скалой, сбоку похожей на огромное дерево без ветвей. Русский поп приезжал как-то сюда – и назвал утёс Святым Носом. Проплывая на лодках мимо этого чудища, люди старались держаться подальше от Носа, боясь – он обвалится, рухнет... Стало быть, Сайрэ проехал лишних целых три якутских шагания и отклонился далеко в сторону!

«Как же так получилось? – оторопел старик, понимая, что олени без отдыха и кормёжки теперь до озера не дотянут. – Одурел я от старости, что ли? Память моя отупела?»

Делать, однако, нечего. Надо оленям дать передышку – пусть пожуят ягель. А что делать ему? Стоять, ходить? Или на нарту лечь?.. Нет, старик знает, что лучше всего вырыть в снегу ямку, лечь в неё и вздремнуть. Не страшно. Хвост Хуораала задрался к самой верхушке неба – значит, скоро наступит утро, станет немного светлей. К тому же он не заблудился и хорошо знает, куда потом ехать.

Старик отпустил оленей пастись, нашёл сугроб, раскопал его и сразу улёгся. Неплохо бы посидеть у костра. Но возле костра не отдохнёшь: только придёт сон, а огонь потухнет, тальник сгорит. Лучше сразу забраться в сугроб: снег в глубине тёплый, ветер в ямку не залетает... Вот только немного поясницу и ногу ломит. Но это от долгого сидения на нарте, это ничего, это пройдёт... Сайрэ снял одну рукавицу, подложил под себя. Так совсем хорошо. Вверху блещут звёзды. Они подмигивают – желают спокойной ночи. Можно закрыть глаза и уснуть. До Тинальгина недалеко. Отдохнувшие олени мигом прикатят его к вальбэ. А там костёр, чай; может, Тинальгин раздобрится и заколет жирного оленя...

С этими мыслями Сайрэ и задремал. Задремал, однако, не крепко и ненадолго. На край тундры выкатилась луна, и старик зашевелился, потом вскочил.

– Что? Кто это? Пайпэткэ? Это ты, Пайпэткэ?.. Фу ты! Жена пригрелилась...

Совсем успокоившись, он улёгся поудобнее и теперь уже не задремал, а заснул.

Сон его длился долго, и был он крепким, очень спокойным. К середине дня Сайрэ чувствовал, что пора бы и подниматься. Но вставать

ему не очень хотелось. Даже напротив, было приятно лежать до тех пор, пока глаза не откроются сами. Тем более что мороз вроде бы ослабел. Нет, ослабел – это точно; снежок как будто бы перепархивает... «Подожди: как же так получается, что шаман Токио внушает без всяких усилий? – неожиданно задумался старик. – Что захочет, то люди и делают... Тачана, Мельгайвач, Пайпэткэ... Как это сразу они подчинились ему? Вот бы мне так... Ни подсматривать за людьми, ни сплетни выслушивать... И надеется Токио на слова, которые вдруг придут на язык... О чести шаманской он вовсе не думает. Кому уважение – тому и доверие? А кто же его уважает? Девчонки сопливые? Неужели он сильнее меня?..»

Сайрэ повернулся на спину – и тут почувствовал сильный прострел в ногу и поясницу.

«Ой, что ж это со мною случилось? Никак заболел... – Он привстал – и дёрнулся, скособочился: в поясницу будто укололи шилом. – Э-э, надо скорей подниматься, а то не встану потом. Ехать надо».

Прижав к пояснице руку, старик на коленях выбрался из сугроба, попробовал встать на ноги. Но его словно ударили по спине камнем. Он пересилил боль и, согнувшись крючком, шатаясь, поплёлся к оленям.

Ветер гнал по тундре густую позёмку. Святого Носа старик не увидел. С каждым шагом он чувствовал всё более страшную боль, которая вдруг выпрямила его спину, но подкосила ноги. Сайрэ упал. Однако поднялся. Сделал ещё шаг. Снова упал и снова поднялся. Еле-еле добрался сквозь летящий снег до оленей. А когда добрался – увидел, что олени сильно запутались в сбруе. Скинув варежки, принялся выправлять сбрую. Выправил – и обрадовался. Но только разогнул спину, чтобы шагнуть к нарте, как из груди его сам собой вырвался дикий, нечеловеческий крик: боль полоснула его с такой силой, что всё кругом сразу скрылось в страшной чёрно-золотой тьме. Олени шарахнулись от этого крика. Но Сайрэ устоял на ногах – и когда тьма просветлела, он переставил одну ногу, потом вторую в направлении нарты.

На какой-то момент боль освободила его, однако только затем, чтобы он наконец осознал весь ужас своего положения. Позёмка быстро переходила в пургу; земля и небо скоро соединятся, а ему надо править оленями, выбирать дорогу, удерживаться на нарте, иметь запас сил на случай ещё большей беды. Со всем этим ему, наверно, не справиться... И варежки он растерял... Ужас арканом сдавил ему горло. «Надо пересечь большую равнину, дальше холмы, за холмами озеро Силгагай», – подсказывала услужливая память, только подсказка эта была вроде жалкого, горького бормотания. И как раз в этот момент до слуха старика донёсся крик хагимэ – крик дурной птицы, предвещавшей, наверно, смерть. Сайрэ сразу забыл обо всём на свете. «Неужели и я помру?» – подумал он – и вдруг, дико озираясь по сторонам, отчаянно, отрывисто, как на каком-то страшном камлании, закричал:

– Духи! Духи! Духи мои! Духи – скорей... Пропадаю. Спасайте. Духи, скорей. Я вас зову, я! Духи, духи...

Он плюхнулся на нарту, схватил вожжи, дёрнул их – и тотчас же погрузился в мир сплошной боли, от которой лезли на лоб глаза и трескали кости.

Застоявшиеся олени дёрнули нарту и понесли корчившегося старика в белый мятущийся мрак.

Олени действительно выскочили на равнину. Только эта равнина оказалась хуже заснеженного кочарника – вся она была покрыта застругами, заметями, будто замёрзшими волнами. Нарту стало подкидывать и бросать вниз. Ничего не соображая, старик, однако, цепко держался голой рукой за грядку нарты. Густой снег совсем залепил ему лицо, но он не чувствовал этого. Он лишь чувствовал, что не хватит сил переносить толчки. Но у него не было сил и сдержат олени.

– Ой, духи... На спину, на спину меня положите... Хорошо, так хорошо...

Духи положили его навзничь. Только через два-три новых толчка он стал просить их положить его на живот. И духи положили его на живот...

Сайрэ лежал поперёк нарты. Он уже ни за что не держался, а только пел и звал духов.

На высокой заструге он зацепился ногами за гребень сугроба – и олени вырвали из-под него нарту.

– ...Теперь опять на спину меня, на спину, – приказывал Сайрэ своим духам, не понимая, что лежит на снегу и что олени скрылись из виду. – Скорей поворачивайте, скорей!.. Что? Не хотите? Почему не хотите? Я вам велю, я – ваш хозяин! А ну – я хочу на вас поглядеть... Хочу на вас поглядеть – я ни разу не видел вас... Да вы меня повалили – и душите? Хозяина душите? А другие грызут? Меня вы грызёте? Что же вы делаете? За что?.. Ну, грызите, грызите – я знаю, за что. За то, что у Пайпэ-ткэ отнял молодую жизнь, с ума её свёл, за то, что хотел Мельгайвача убрать со своей дороги и пролил его кровь, за всё... Грызите меня, грызите – может, бог мои муки увидит...

Нет, это был вовсе не бред больного. Ужас и боль довели Сайрэ до иступления, но быть в иступлении он привык за долгую шаманскую жизнь – и потому совсем не случайные слова бормотал и выкрикивал он.

Сайрэ лежал неподвижно, и от этого боль начала стихать. И тогда он привстал, а как только привстал – увидел себя на снегу.

В полном сознании старик тихо и жалобно попросил:

– Духи, спасите меня. Я тут замёрзну. Спасите.

Он посидел, подождал. Однако ничего решительно не изменилось.

– Где же вы, духи? – зло спросил он. – Покажитесь. Может, вас нет совсем? Ну покажитесь! Перед смертью я должен увидеть вас!

Сайрэ заплакал. Потому что свирепствовала пурга, оленей не было, варежек не было, людей не было. И духов не было тоже. А пальцы рук не разжимались, ноги ничего не чувствовали.

А потом старику стало тепло и хорошо. Он очень отчётливо увидел перед собой свою первую жену – старуху, она будто бы сильно помолодела. И он сказал ей, покачив головой: «Видишь, ушёл я из среднего мира. Не призовёт меня к себе бог, не простит грехов. Потому что я о себе одним думал, себя жалел одного»...

В торчащую из снега хворостинку превратилась потом первая жена шамана Сайрэ...

...Олени приволокли в стойбище пустую нарту. Гибель шамана подняла на ноги всех, кто в эту ночь спал и кто дремал, размышляя в полубытьи о тяжёлой жизни. Смерть шамана всегда наводит ужас, а тем более загадочная. Люди знали, куда поехал Сайрэ, и поэтому все муж-

чины от старого до молодого, недолго раздумывая, умчались к озеру Силгагай.

Больше всех перепугался притихший в последние дни Пурама. Он знал, что люди будут искать виноватых, он предчувствовал, что отмщение первым заденет его, – и поэтому завертелся, как песец в мешке. Всех своих добрых оленей он отдал под упряжки, отдал и все нарты. Он определил, кто и как поедет на поиски, он послал нарочного к Тинальгину и посыльного – в Булгунях, к Курилю. Сам же сумел обогнать всех мужиков и первым пробивался сквозь пургу к озеру.

Не он, однако, наткнулся на умирающего шамана.

На запылённых, покрытых ошмётками льда и снега нартах привезли Сайрэ в стойбище. Он был закутан в шкуры, и когда его внесли в тордох, развернули, Пайпэткэ вскрикнула и упала без чувств. Её затащили за полог и оставили там одну. Потому что все старались протиснуться к шаману, поймать его дыхание, его взгляд или услышать хоть одно его слово.

Большую беду сотворил старик Бахчэде – он неосторожно взялся за руку Сайрэ и отломил мёрзлый палец.

Стоя вокруг шамана, люди крестились, шептали, но все притихли, когда губы умирающего пошевелились.

– Нет духов, – тихо проговорил Сайрэ, не открывая глаза. – И я не шаман. Я не был шаманом. Я обманывал вас... Тёмный мир... Бог... может... простит – каюсь. Нет духов. Я не был шаманом...

Он даже не вздрогнул – умер. Просто губы его перестали шевелиться.

– Нет! Нет, нет, нет! – завизжала, перепугав людей, Тачана. – Его кто-то испортил. Я знаю, кто испортил его. Это не он говорит!

А Пурама снял шапку.

– Что ж, – сказал он, – все люди смертные. Ничего не поделаешь. Но смерть Сайрэ непонятная. Он был крепким стариком и мудрым шаманом. Видно, его и вправду кто-то испортил. Но тому, кто испортил его, будет другая смерть. Он не умрет на руках родственников и знакомых, он пропадёт под снегом, как должен был по его злой воле погибнуть Сайрэ. Мы спасли от плохой смерти своего шамана и похороним его с почестями... Душа его отлетела к богу, а бог таких мудрецов, как он, принимает к себе, не расспрашивая...

Пурама продолжал говорить – а возле полога поднялась суматоха и раздались крики. Это очнулась и набросилась на людей Пайпэткэ. Её пропустили бы к мужу-покойнику, но она дралась, плевалась, царапалась. Пришлось умирять её. Пайпэткэ связали руки верёвкой и повели в соседний тордох. По дороге она орала, кусалась, била мужиков ногами.

Умер Сайрэ, умер великий шаман, запутанная слава о котором много лет металась по тундрам.

На похороны шамана обязательно должны сойтись и съехаться все, кто его знал. Первыми в стойбище появились Куриль и прочая юкагирская знать. Потом приехал чукча, друг покойного, Тинальгин, а вслед за ним понаехало столько чукчей, что невозможно стало ни войти в тордох, ни выйти из него. Из якутов первым прикатил Мамахан, вторым – Токио, вызванный распоряжаться на похоронах. Появился и Мельгайвач, но не один, а вместе с Какой.

Голова юкагиrow Куриль воспринял смерть шамана Сайрэ с тайной радостью. Кончилась власть старикашки, из-за которого он превратился в простого сборщика ясака. И уж в открытую можно было радоваться предсмертным словам шамана. Пусть Тачана и уверяет людей, что Сайрэ испортили и съели чьи-то духи: отречение от шаманства всё же произошло, и отречение не какого-нибудь простачка, на которого можно махнуть рукой. Вместе с тем всё случившееся сильно встревожило Куриля. Как-никак, а тундра долго жила слухами о делах Сайрэ, о делах то очень добрых, то очень жестоких, однако всегда не пустячных. И стоит даже такой бесславной шаманке, как Тачана, указать на чукотских или якутских духов, как может произойти такое, чего и предугадать нельзя.

Все свои мысли, чувства и предчувствия голова юкагиrow, однако, скрыл и за лучшее посчитал повести себя перед разноязыким людом достойно, чинно и даже заботливо.

Похороны шамана – дело сложное и ответственное. Это не то что похоронить богатую женщину. Там не страшно допустить ошибку. А если земле предаётся шаман – тут гляди и гляди. Малейшая неосторожность или оплошность – и умерший станет всепожирающим духом. Одна неосторожность уже была допущена – у Сайрэ отломился палец. Люди, правда, утешали себя мыслью, что шаман в тот момент был живой, однако теперь соблюсти ритуал старались с великой точностью. А тут ещё требовательность Куриля.

Самое сложное и самое важное – это подготовить могилу. Куриль и Токио выбрали для неё место на равнинном восточном берегу Малого Улуро: на холме шамана нельзя хоронить – холм одухотворится и будет приносить живущим в среднем мире беду. Два дня люди пешнями и топорами долбили яму. Грунт пробили с трудом, но дальше пошла вечная мерзлота – сплошной, крепкий, как железо, лёд. Вырыть яму – это, однако, ещё далеко не всё. Стены ямы должны быть совершенно гладкими, как гробовые доски, – без малейшей вмятины или выступа. Но ещё более тонкое дело – это дно. Гроб ставится на возвышение, а возвышение должно изображать лицо – с глазами, носом и ртом, уши изображаются не полностью, так, будто их кончики придавили стены могилы. Высота этого выдолбленного лица – не меньше пяти пальцев.

За эту труднейшую на холоде работу взялись Пурама и Ланга. Гладкость стен они проверяли ровной доской, поворачивая её и так, и сяк. А дно отделявали ножами.

Куриль с богачами несколько раз приходил сюда. Он был суров и придирчив. Пурама принимал это с испугом – ему казалось, что мудрый шурин таким способом подсказывает, как загладить вину перед шаманом.

Ланга работал молча – и это тоже настораживало Пураму. Перед самым концом дела Пурама не выдержал молчания и сказал:

– Добрый всё-таки был старичок. Человека иной раз понимаешь после его смерти... Если дух земли прибрал его в такое хорошее время, значит, добрым считает его.

– Да, конечно, – ответил Ланга. – В тёплое время хоронить хуже: вода и грязь текут со стенок на дно...

Пурама наострил уши:

– Ты что-то не то говоришь...

– Почему? Разве я не согласился с тобой? – Ланга помял руками оконечнее лицо, поглядел вверх из ямы. – Смотри-ка, звёзды уже проснулись. Давай кончать. А то зазубрин наделаем...

Суетливо жило стойбище все эти дни. Не суетились одни богачи – они сидели в тёплых тордохах, пили горькую воду, приговаривая, что желают покойнику доброго пути в мир божий. Подпайвали они старух – чтоб они добром вспоминали своего шамана. И мужикам подносили, но только к ночи, когда дневные заботы кончались. Каждый вечер звенел бубен. Это шаманили Тачана и Кака.

На одном камлании побывал и Куриль. Он сидел, плотно сжав губы, и насквозь прокалывал взглядом то лохматого чукчу, то уродливую Тачану. Ушёл он довольным и успокоенным, даже немного весёлым. Тачана объявила, что Сайрэ погиб от заклинаний Мельгайвача и что Пайпэткэ стала хозяйкой чукотских духов. «Ума не хватило придумать что-нибудь новое, – усмехался Куриль, шагая по сильно втоптанному снегу. – А может, это я обладаю силой внушения? Испугалась моего взгляда – и понесла чушь? Мельгайвач – не шаман, все знают. Какие тут его смертельные заклинания! И хорошо, что Пайпэткэ примешала: юкагирка она, и что возьмёшь с сумасшедшей... А, ничего, ещё Токио будет камлать...»

Между тем Куриль сильно ошибся. Уже на второй день поползли дурные слухи снова о Мельгайваче и Пайпэткэ. Приезжие, а потом и люди стойбища стали коситься на тордох, в котором жила вдова покойника. Не только коситься, но и не без причины строить догадки, от которых пахло чем-то вроде правды.

Дело в том, что распорядитель похорон шаман Токио убедил Мельгайвача следить за Пайпэткэ. В тордохе Пайпэткэ была не одна, и Мельгайвач согласился. Уже на второй день вдова шамана, как ни в чём не бывало, появилась в своём тордохе и бросилась со слезами к покойнику. Не обращая внимания на злые взгляды старух, она стала просить у Сайрэ прощения за грехи, поплакала, потёрлась щекой о ледяной лоб покойника, потом села у его головы – и так, молча, просидела до глубокой ночи. Первый раз увидев близко покойника, Пайпэткэ не могла оторвать от него взгляда, но покойник был её мужем, и она гладила его щёку, гладила, гладила...

Потом она вернулась в соседний тордох, из которого так и не ушёл Мельгайвач.

В эту ночь над стойбищем бесилось в танце сияние. По небу металась сполохи – то красные, как кровь в голубой воде, то белые, как свежее сало. Наверное, хозяин и хозяйка тордоха оказались добрыми и догадливыми – они куда-то ушли на всю ночь. И совсем зря металось по небу сияние. Простой, безрадостной и, наверно, вовсе ненужной была близость бедного, плохо одетого чукчи и холодной, как лоб мертвеца, юкагирки. Просто они глянули друг другу в потухшие глаза и молча забрались под шкуру...

По повелению Токио бубны, колотушки, амулеты и все прочие шаманские принадлежности в середине ночи сожгли на большом костре. То, что много и много лет внушало и страх, и надежды, что было окружено великими тайнами, очень быстро и просто исчезло в языках пла-

мени. А поутру двух оленей, подаренных Курилем и Петрдэ, впрягли в нарту, на которой лежал покойник, впрягли – и запряжёнными закололи. Разделали обоих оленей, всем миром съели, а кости покидали в костёр и сожгли дотла.

Похоронили шамана Сайрэ. Огромный деревянный крест поставил купец Мамахан у ног покойника, который при жизни так хотел вернуться на землю в третьем поколении юкагиров.

ГЛАВА 9

Несмотря на короткие дни всё стойбище вскоре перекочевало на новое место: после похорон шамана полагается кочевать. Легко сказать – полагается. А если семья безоленная? На чём повезёшь скарб?.. Безоленных семей в стойбище было немало. И спасибо, что Куриль не сразу уехал, – он намекнул жадному Тинальгину – раз, мол, Сайрэ был твоим другом, то кому ж, как не тебе, помогать улурочи. А своему дяде Петрдэ – такому же скупцу – Куриль просто приказал: «Моё стадо далеко, а твоё близко. Дашь оленей и нарты. С людьми живём – понимать надо».

И стойбище перебралось на северный берег озера. Оно расположилось на высокой и обширной Соколиной едоме, откуда в ясные дни видно далеко окрест и тундру, и противоположный берег. Сейчас солнце совсем не показывалось; но ощущение высоты радовало людей. Впрочем, на новом месте всегда радостнее, чем на старом. Это, видимо, из-за надежд: может быть, вместе с перекочёвкой в жизни наступят какие-то перемены?

Ох, сколько же раз улурочи переживали такую радость и какие только надежды не связывали с перекочёвкой! Проходили, однако, дни – и люди тихо свыкались с мыслью, что ничего не переменялось и перемениться не может.

Вместе со всеми перебралась на новое место и Пайпэткэ. Разобраный её тордох и вещички перевезли на чужих оленях. Пурама и Ланга, тяжело вздыхая, кое-как собрали каркас, а когда начали накрывать его – ужаснулись: ровдуга оказалась совсем дырявой, да от неё ещё был отрезан большой лоскут, которым прикрыли гроб. Пришлось уменьшить каркас, подлатать шкуры... Вещей Сайрэ почти никаких не оставил – как будто унёс с собой в могилу всё, что составляло ценность. Когда черти терзают душу – вещи с испугу исчезают бесследно... Несколько истёртых шкур, обеденная доска, кое-какая посуда и два крючка-иводёра – вот и всё, что осталось Пайпэткэ в наследство. Да ещё остался полог, который и спасал несчастную от холодов. Еду Пайпэткэ не готовила, потому что её совсем не было и неоткуда её было взять. А есть надо – и Пайпэткэ стала приходить к Тачане. Она брала кусок рыбы или кусок мяса и уходила, съедая его на ходу. Тачану это бесило, но закон запрещал отнимать еду, которую берёт родственница. Тогда старуха решила прятать и мясо, и рыбу. А Пайпэткэ, со своей стороны, стала заходить чаще – и всё-таки заставляла Тачану возле наполненного мясом котла. Наконец люди узнали об этом – и в жизни Пайпэткэ произошла перемена. Несчастную стали жалеть, приглашать то в один тордох, то

в другой. Молча поев у людей, Пайпэткэ пряталась за своим пологом, и никто не знал, впадает ли она в спячку, как медведица, или лежит – отдыхает и думает, думает, думает... Всё чаще начал заглядывать в бывший шаманский тордох Пурама. Он молча брал крюкиводёр, уходил в тальники и приносил хворост. Приносил он и лёд. В жалком жилище появлялись признаки жизни – огонь, тепло, дым.

Никто не знал, что Пайпэткэ стала считать себя счастливой. Дни шли, никаких бед не случалось – и люди совсем перестали коситься на неё. Но главное – её никто не терзал, её оставили в покое, точно так, как много лет назад оставили в покое сестру Хулархи – Абучеде, которая не смогла выйти замуж и так прожила всю жизнь в одиночестве.

Между тем Пайпэткэ ожидало настоящее счастье. Как-то вечером она почувствовала в животе тяжесть и какую-то тесноту. Кровь отлила от её лица: ей показалось, что болезнь Сайрэ передалась и ей, и что это плохо. Не зовёт ли её старик к себе... Ночью она увидела странный сон: ноготь на большом пальце левой руки как будто удлинился вдвое. В тревоге Пайпэткэ побежала к старой Абучеде, но та ничего не сказала, а лишь посоветовала сходить к шаманке. Пришлось идти.

Тачана так и выронила из рук бубен, когда Пайпэткэ указала на свой живот. До смерти испугавшись, её приёмная дочь пролепетала:

– И сон я видела... страшный. Ноготь... вот на этом пальце... как будто вырос большой и кривой...

– Халагайуо! – воскликнула Тачана. – Сон... Вот это – сон! Ноготь у неё длинный вырос... А груди как? Не распирает?

И только теперь Пайпэткэ поняла, что с ней случилось. Лицо её загорелось огнём, глаза засветились весенним солнцем. Она бросилась прочь из тордоха.

За пологом, укрывшись старенькой шкурой, Пайпэткэ осторожно погладила свой живот и вдруг заплакала. Нет, не просто заплакала, а сразу заплакала и засмеялась. Слёзы лились ей в уши, а из груди вырывались чудные звуки – птичьи не птичьи, но и не человеческие.

Нигде в этот день Пайпэткэ не показалась. Она даже не слышала, как пришёл Пурама, как он разжёт костер и сказал, что дров много – можно вдоволь погреться. И лишь когда за полог пробрался дым, она, не вставая, счастливо сообщила, сдерживая дыхание:

– А у меня... Пурама... ребёночек будет! Сыночек у меня будет...

Пурамы в это время уже не было в тордохе у очага – он ушёл.

Не знала многострадальная женщина, что радость её – это только приманка проклятию, которое лишь на время спряталось у неё за спиной.

В тордохе Тачаны уже в этот день плясали черти, радуясь своим близким страстям. Амунтэгэ позеленел от злости, когда узнал, что его племянница забеременела от чукчи. А Тачана бесилась: она то колотила в бубен и разговаривала с духами, то рассказывала мужу об этих своих разговорах, то, бросив шаманить, трясла над головой кулаками, всячески проклиная неродную дочь. Рот её переполнился пеной.

Было отчего беситься старухе. Она-то, бездетная, знала, что счастье женщины часто не в муже, а в материнстве. А тут ещё проклятый Токио не выходил из головы. На последнем камлании при похоронах Сайрэ якут доказал людям, что если в Пайпэткэ и вселились чукотские духи,

то духи не самого Мельгайвача, а его отца. Какая была возможность вытряхнуть из живота Пайпэткэ ребёнка – отпрыска мстительного чукчи!..

Но зло находчиво. Уже на второй день по стойбищу пробежали дикие и страшные слухи. Пайпэткэ будто бы стала хозяйкой духов отца Мельгайвача, но кроме того, она общается и с духами давно умершей якутки-удаганки⁶⁶; кто родится на свет – мальчик или девочка, – это не важно, только ребёнок будет смертельным врагом Ханидо, спасителя юкагиров.

Слухи эти сразу метнулись и в Халарчу, и на Алазею. Однако быстрее всего они отозвались в двух тордохах – в семье Нявала и в семье Хулархи. Когда Ханидо станет богатырём – это ещё неизвестно, да и не все и доживут до тех дней. Но вот из-за него уже чуть не зарезали Халерху, из-за него так жестоко враждовали шаманы, он стал причиной и смерти Сайрэ, поскольку шаман защищал его, но не выдюжил, его именем произошла порча и Мельгайвача, и самой Пайпэткэ... На Нявала стали коситься. Духи – духами, шаманы – шаманами, а людям житья нет, и всё из-за него, из-за отца мальчишки. О жене Нявала и говорить нечего. К большому несчастью, она была снова беременна, и нетерпеливая молва уже страшила людей: не на подмогу Косчэ-Ханидо родится ребёнок, а на горе ему – быть мору или резне, быть невиданным бедам... Потерял покой и старик Хуларха. Как-никак, а его дочь Халерха считалась невестой Косчэ-Ханидо.

И снова угрюмые, спящие в морозном тумане едомы Улуро становились свидетелями подозрений, вражды и обид.

Нашёлся только один человек, который решил припугнуть беду в её настоящем гнезде. Им был Пурама. Прошло много дней, прежде чем охотник понял, что смерть Сайрэ никак на его жизни не отразится – она откликнулась совсем в другой стороне. Ну а Тачану он знал и мог без ошибки сравнить её с шаманом Сайрэ: самозванка она, никакой силой внушения не обладающая. Да и взбеленился он, когда подумал о том, что ждёт одинокую женщину, у которой нет ничего, кроме распухающего живота.

Однажды Пурама попал к Тачане на камлание. Выслушав её длинную речь, он спросил:

– Значит, в одежде Пайпэткэ спрятался дух удаганки? И он похож на корову? Что же ты не задушишь его? Хватай вошь – и под ноготь её.

– Га! Как это у тебя просто всё! – не поняла старуха насмешки. – А ну, объясни ему, Амунтэгэ, что я задушу и этого духа, и духа отца Мельгайвача в тот же день, когда Пайпэткэ выйдет замуж за шамана Ивантэгэ.

Муж Тачаны почесал лохматый затылок:

– Ты слышал?

– Нет, не слышал.

– Может, в твои уши тоже вселился дух?

– Может. Пусть бабушка вытащит оттуда его. А я ей за это оленя дам...

У Тачаны от злости перекозились глаза.

– Плюнь ему в ухо – пусть подумает, что я духа выгоняю оттуда. И скажи, что я сообщу Курилю, как он над шаманами насмехается.

⁶⁶ Удаганка – шаманка (якут.).

Пурама вскочил на ноги.

– Я вот возьму да и плюну в твоё, старик, ухо – прочищу от сплетен и выдумок вот этой бабушки. Шаманы нашлись! Дух-корова у них в вошь превращается. И они берегут её, чтобы разводиться сплетни да людей пугать... Я вот поеду к Курилю и расскажу ему, как ты издеваешься над племянницей, как прячете от неё еду, когда она беременная и ей надо хорошо есть!

– Ладно, Амунтэгэ, – сказала старуха, – поезжай в Булгунях завтра, передай моё послание Курилю. А с разбойником разговаривать – всё равно что воду сеткой черпать.

– Ну, а это ты слышал? – спросил Амунтэгэ.

– Нет, не слышал. Пусть бабушка вытащит духа – только теперь я ей потроха от оленя дам...

– Зачем ты пришёл ко мне, Пурама? – спросила старуха, тоже поднимаясь на ноги.

– Вот теперь слышу! – воскликнул Пурама. – Когда со мной разговариваешь через старика – я не слышу. Отчего получается так? Объясни, если шаманка... А, ладно, не объясняй. Я к тебе, бабушка, с просьбой пришёл. Пошли Пайпэткэ мяса. Вон у тебя сколько его. Шаманить стала недавно, а уже не голодаешь...

– Я пошлю мяса. Могу и тебя покормить...

– Хорошо. Мясо, которое я должен съесть, тоже отдай Пайпэткэ. Ребёнок хоть и в животе ещё, а он тоже есть хочет...

У старухи отнялся язык. Она промычала – и быстро пошла к пуору.

– Вот это дело другое, – сказал Пурама. – А Пайпэткэ можно спасти, знаешь как? Взять да и передуть всех духов, которые у неё прячутся. Вот я начну шаманить, поймаю эту корову за рога – и не то что молоко, всю кровь у неё выдою...

– Шути, шуты, смелый охотник, – злобно проговорила старуха. – Дойдут твои слова до чукотских и якутских шаманов, тогда забудешь о шутках.

– А это моя забота. К тебе за помощью не приду. Мясо готово? что-то на двоих маловато. Ладно, давай.

И Пурама ушёл.

Всю эту ночь Пайпэткэ плакала. Тётка затеяла что-то страшное. Опять старика подсовывает ей в мужья. «Но у меня будет ребёнок – она это знает»...

А Пурама радостным ушёл на охоту. Долго будет чесать свой тощий зад эта старая злюка.

Рано радовался Пурама. Ничему жизнь не научила его.

Тачана не послала, однако, мужа за Курилем – и притихла. Притихла надолго. Зима всё веселей и веселей катилась к весне – а шаманка лишь упрямо повторяла свои обвинения Пайпэткэ, но ничего не делала, чтоб взбодуражить людей.

А Пайпэткэ тем временем толстела с каждым новым восходом солнца. Лицо её покрылось бурыми пятнами, скулы чуть заострились, глаза проваливались глубже и глубже. Почувствовав первый слабый толчок ребёнка, Пайпэткэ пережила и взлёт к розовым облакам, и падение в бездну. У неё будет ребёнок! Как только появится он, всё её страшное прошлое канет в небытие; она сожжёт счастливым взглядом ненавист-

ницу Тачану, она вытянется в жилу, но сделает свой тордох уютным, зимой всегда тёплым, а если придётся жить среди добрых чукчанок, то найдёт себе хороших подруг; пусть Мельгайвач останется со своими жёнами, но он всё-таки хоть изредка будет навещать их двоих, брать на руки ребёнка... Всевозможные радости и счастливые моменты перебрала в своём воображении Пайпэткэ. Перебрала и испугалась: у неё опять от красивых желаний и мыслей кружится голова, а это плохо, она знает, как это плохо, опасно... И не успела она уговорить биение сердца, как само сердце будто оборвалось. Ребёнка надо кормить. Чем кормить? У одинокой, одноглазой старушки Абучеде есть брат Хуларха, и как ни тяжело брату, а крохи ей всё-таки достаются. У Пайпэткэ никого нет, дядю Амунтэгэ она забудет навечно. Где же брать мясо, рыбу, чай, одежду? Где взять еду, когда сын или дочь вдруг скажет: «Энэ, есть хочется»?.. А Мельгайвач может вовсе ни разу не появиться – ведь не едет же он сейчас, хоть и обещал... Тачана же не сгорит от её взгляда – она станет срамить и травить её и ребёнка, она опять доведёт её до болезни, когда воздух превращается в мутную воду; Амунтэгэ заберёт ребёнка к себе... Положив на живот ладони, Пайпэткэ стала часто дышать, взгляд её начал метаться по белой от изморози ровдуге. Ребёнка, конечно, возьмет к себе Амунтэгэ – больше некому взять. И сядет он на чурбак у костра и примется скручивать из тальника плётку...

Резко поднявшись и откинув старую негреющую шкуру, Пайпэткэ выползла из-под полога и начала ходить по тордоху, оглядывая его так, точно он был чужой.

Но что толку метаться! И Пайпэткэ снова скрылась за пологом.

Она легла и лёжа вдруг начала креститься. «Бог, светлицый бог, ну погляди ты хоть один раз на меня! – взмолилась она. – Как ты терпишь духов и людей, владеющих духами? Хуже сатаны, хуже зверей эти духи и эти люди. Хуже, хуже, хуже!...» Пайпэткэ зарыдала. Но слёзы у неё почему-то не полились, и она сразу же стихла.

Что толку рыдать! Бог не будет ей помогать, потому что она никогда не вспоминала о нём.

Она постепенно забылась, а потом задремала.

После этого наступили дни, когда уже никакие толчки ребёнка не поднимали её к розовым облакам. И об ужасах, ожидавших её, она старалась не думать. «Пусть будет, что будет», – решила она, тая от самой себя надежду, что должны же найтись люди, которые пожалеют если не её, то хоть ребёнка.

Пайпэткэ отдала себя воле судьбы. А судьба её по-прежнему продолжала кривляться в тордохе тётки, которая между тем вовсе не собиралась отступать от вдовы шамана.

После смерти Сайрэ шамана в стойбище не осталось. Нет, шаманили многие, бубен был не у одной Тачаны. Однако шамана, признанного людьми, не оказалось – и ближе всех к признанию была Тачана.

Жизнь и слава Сайрэ подсказывали старухе, что лишь какое-то шумное дело освободит её от недоверия и принесёт известность. И она весь остаток зимы ломала голову, готовясь прославиться. Речь, впрочем, шла о наиболее верном расчёте, а главное, она определила сразу и с бешеным упрямством: Пайпэткэ и никто больше.

Как только люди почувствовали тепло солнца своими лицами, Тача-

на упростила двух мужиков вызвать в Улуро шаманов Каку и Токио. Причины собирать большое камлание не было, а вот небольшое она могла. Потому что улурочи скоро примут к себе ребёнка, отец которого – чукча, сын шамана, оставившего свирепых бродячих духов.

Каку Тачана вызвала неспроста. Он – чукча, и люди убедятся в уверенности и справедливости Тачаны, тем более что они совсем не знают о её связях с ним, связях куда более важных, чем связь во имя её шаманского будущего... ещё более неспроста вызвала она Токио. Опять же люди убедятся в уверенности и справедливости шаманки – Токио-то якут, а она будет обвинять и якутских духов. Но это – не главное. Шаман из Сен-Келя – знаменитый шаман. И уж его-то слово будет услышано. Токио жалеет Пайпэткэ – это все знают. И хорошо, что знают. Сейчас не о Пайпэткэ заботы, а о шамане, который обязательно должен быть в стойбище юкагиров. Тогда, на большом камлании, он без труда смекнул, что всех чукотских духов не нужно уничтожать. С тех пор он стал гораздо смышлёней...

Приехали Кака и Токио в одно утро – и уже в середине дня началось камлание.

Оживилось стойбище на Соколиной едоме. День выдался солнечный, тёплый, уже пахло талым снегом и отсыревшей землёй. В тордохе Амунтэгэ загремел бубен, взрослые собрались вместе – и детвора визжала и кричала на горке, почуяв свободу и радость прощания с холодами.

На люди Пайпэткэ вышла в одежде первой жены Сайрэ – во всём ветхом, облезлом, с погрешками на груди. Руками она стыдливо прикрывала большой живот. Сдвинув тонкие брови, ни на кого не глядя, она спокойно уселась в середине тордоха. У неё когда-то были подруги, но она не хотела найти их взглядом – они её бросили. Ей в лицо упрямей других смотрел Пурама, она заметила это, немного повеселела, хотя никак не выдала этой маленькой радости.

Для всех было полной неожиданностью появление Куриля. Голова вошёл властно – он резко протиснулся между сидящими и сразу сел в середине, никому не кивнув в знак приветствия, не обведя даже взглядом собравшихся. Он помял пальцами лоб и зажмурился. Пайпэткэ чувствовала, что Куриль сдерживает дыхание, – и догадалась, что он пришёл сюда прямо с нарты. Ей стало легче, и она почему-то решила, что ей тоже лучше закрыть глаза. «Ещё Токио здесь. Может, заступится он»...

Токио и начал камлать первым. Все ожидали от него какого-нибудь чудачества. Но ошиблись. Сегодня он вдруг начал прыгать, кричать, колотить в бубен, причитать по-якутски. Это обрадовало и Тачану, и Каку: видно, он понимает серьёзность дела.

Вторым вышел чукотский богач и шаман Кака. В тордохе было темно, но люди всё-таки различали блеск его глаз на чёрном лице. Всем стало немного страшно, потому что воображение дорисовывало его оскаленные зубы, светло-красные, как оленье лёгкие, обнажённые дёсны, его торчащие во все стороны грубые волосы. Кака закричал так громко, что где-то в углу тордоха зазвенел чайник. Чукча стал прыгать, словно пойманный арканом каргин, потом донеслась его совсем непонятная речь, топот, потом опять крик. Грохот бубна был похож на удары весеннего грома.

Тонкий гагарий крик Тачаны после этого грохота заставил людей вздрогнуть. Шаманка уже поняла, что камлание будет удачным, и сразу же начала неистовствовать. её прыжки – прыжки женщины, старухи – были отвратительны, безобразны, однако Тачана ещё нарочно крутила своей длинной, будто приделанной головой, и до крайности доведённое безобразие вдруг оборотилось каким-то отчаянием, ожесточением, попыткой из последних сил соприкоснуться с чем-то недосыгаемым, потусторонним. Старуха совсем не разговаривала, а только кричала, колотила в бубен и, трясаясь всем телом, рассыпала треск и звон погремушек. Она быстро взмылилась; ошмётки пены с её губ летели в стороны, попадая в лица людей... ещё не пройдя до конца свой путь, шаманка вдруг позвала на помощь Каку и Токио. Это было неслыханным, но это случилось – и вот в тордохе загрели сразу три бубна, на трёх разных языках, путано, с выкриками раздались причитания и песни.

Долго прыгали и шумели в тесном людском кругу шаманы. Но наконец они устали – и тут как раз оборвался их путь. Пурама поспешил вытолкнуть палкой затычку из онидигила. В тордох ворвался свет – и уставшие люди зашевелились. Но передышки не было. Все заметили, что Тачана и Кака в упор смотрят на Пайпэткэ.

Первым заговорил Кака. Он заговорил по-чукотски, и Тачана сразу же перевела его слова:

– Перестань думать о Мельгайваче, оборви навсегда мысли о нём – и дух его отца покинет тебя. Тогда и всем улурочи будет легче. Слышала? Пайпэткэ ничего не ответила.

– Ты слышала? – грозно повторила старуха. – К-кукул. Молчишь? Мэй, она не хочет послушаться нас. Не хочет. Придётся тебе самому разговаривать с Мельгайвачом...

Пайпэткэ всплеснула руками, прикрыла лицо ладонями и громко заплакала. Пурама вскочил, оглядел людей – и шагнул к середине. Он сел рядом с плачущей женщиной и зашептал ей на ухо:

– Нет, нет, не поддавайся, Пайпэткэ, слезам. Погляди – люди тебе сочувствуют. Ты только скажи что-нибудь, заткни рот шаманам.

– Чего это ты нащёптываешь, Пурама? – раздражённо спросила старуха.

– Советую послушаться тётку...

– Это не только я говорю. Кака и Токио говорят то же.

– Что? – вздрогнул Токио. – Разве я говорил? Кто слышал, что я говорил?

– Как же? Ты ведь отгонял вожака духов отца Мельгайвача. Я видела. Я в это время как раз высмотрела гнездо духа. У Пайпэткэ в сердце ножевая рана – там и гнездо. Ты отгонял духа, а я высматривала...

Токио удивлённо поднял бровь, глаза его заблестели.

– Никакого духа я вовсе не отгонял, – сказал он. – Ты, наверно, меня с Какой спутала. Я только стоял в конце пути и следил – вы вдвоём будете бороться с ним.

– Не может быть! Неужели мои глаза отупели? Значит, ты отгонял, мэй?

– Я, – ответил Кака. – Я около тебя пробежал...

– Ой, дети мои! Ой, глаза мои! – воскликнула старуха, с усилием открывая и закрывая глаза. – Могла ошибиться, могла, старая стала. Но

это совсем неважно. Слушайте дальше. Вот духа удаганки я так и не нашла. Он, видно, в её крови спрятался.

– Что от меня вам надо! – неожиданным криком заглушила её Пайпэ-ткэ. – Что? Крови моей хотите? Крови? Режьте меня, режьте! Напейтесь крови моей – и успокойтесь. А я не хочу жить, не хочу!

Несколько женщин бросились к ней, чтоб успокоить и не дать снова потерять ум.

Шаманы притихли.

И лишь немного спустя в тишине снова послышался голос Тачаны. Голос этот был по-прежнему твёрдым и беспощадным:

– Кровь её нужна не нам. Она нужна злым духам. Может, её ребёнок как раз и нанесёт ей ножевой удар. А след в её сердце уже есть – это будущий след. Но у неё есть и спасение. Пайпэ-ткэ надо отдать замуж за большого шамана. Мои духи давно узнали, что лучшим её покровителем стал бы шаман Ивонтэгэ. Только он поможет ей избавиться от чукотского и якутского духов. Я Пайпэ-ткэ не чужая, и потому не хочу, чтобы племянница моего мужа всю жизнь носила в своём сердце злых духов и страдала от этого... Великий шаман Токио! Ты всё слышал. Надеюсь, ты подтвердишь всё, что сказала я. Ты сегодня был рядом со мной...

– Я? – обернулся Токио и теперь удивлённо поднял обе брови. – Я вовсе не был рядом с тобой. Я всё время был рядом с Ярхаданой. – Якут протянул руку к красивой молоденькой девушке и потрепал её по щеке. Та схватила его руку – и моментально укусила её. – Ой! В ней тоже сидит злой дух. Это он её зубами кусается...

Весь тордох так и грохнул дружным раскатистым смехом. А Пурама от удовольствия не захохотал, а заржал, как лошадь.

Когда люди отвели душу, якут продолжал:

– Да, ты права, старуха. Права. Есть в сердце Пайпэ-ткэ рана. Но глаза твои отупели, совсем отупели. Была ты рядом с сердцем – а не разглядела, какая это рана. Каку ты со мной спутала? Спутала. Так же и насчёт раны. Это совсем не будущая рана от ножа. Это рана от твоих слов, от твоих ругательств и оскорблений. Я был далеко – а всё разглядел. А ты... Тачана перебила его:

– Значит, ты камланил затем, чтоб меня преследовать? Чтобы мною рассмешить Ярхадану? А судьба улурочи не беспокоит тебя?

Это уже был серьёзный упрёк и серьёзный разговор! Куриль, до сих пор сидевший без движения, как мёртвый, зашевелился и кашлянул в кулак.

«Ты, шаманчик, может, и умеешь таращить глаза и притягивать к себе взглядом. А на язык ты ещё зелен», – торжествовала Тачана, качая перед лицом якута своей лошадиной головой.

Токио поднял глаза к онидигилу и, не опуская их, спокойно ответил:

– Одну юкагирку спасу – и то хорошо. Куда ж мне болеть за весь юкагирский род!

Эти слова будто стегнули шаманку по лицу – голова её вздрогнула и перестала качаться.

– Но ребёнок-то – от Мельгайвача! – бешено выкрикнула старуха. – Ты что, саха⁶⁷, одну защищаешь против всех нас?

⁶⁷ Саха – самоназвание якутов.

Теперь вздрогнул Токио. Это уже был вызов, страшное обвинение. У Курилы вздрогнули ноздри, губы его зло сомкнулись – и это означало, что сейчас он что-то скажет. Однако Токио приподнял руку, как бы окорачивая его.

– Значит, ты предлагаешь убить ребёнка? – спросил он и так сощурил глаза, что люди совершенно замерли, испугавшись и этих слов, и этого взгляда.

– Что? Почему убить? Ты не слишком распускай свой язык! Прибереги для другого камлания. Я говорю, что надо заранее что-то сделать...

– Ага. Заставить скинуть ребёнка? Это одно и то же. И ты, старуха, считаешь, что настоящий шаман должен так избавлять людей от страданий и бед? Не со злыми духами бороться, а людей терзать? Удивляюсь, какие стали появляться шаманы. Мне отец не о таких рассказывал... Ну вот что. Я заберу Пайпэткэ к себе. Если у вас в стойбище не находится места для одной беременной женщины, если вы, люди, позволяете столько лет глумиться над сиротой, то пусть она уйдёт от вас навсегда...

От полного поражения глаза у Тачаны разъехались в разные стороны. Она тяжело, напряжённо дышала, но сказать уже ничего не могла.

Амунтэгэ для успокоения протянул ей чашку с чаем. Она взяла, заглянула в неё.

– Что это? Чай? Это моча!.. Уйди от меня. А племянницу свою убери куда хочешь. Я не только двумя, но и одним глазом не могу её видеть.

– Вот так сразу бы и сказала, старуха! – воскликнул Токио. – А зачем надо было камлание собирать?

– Я брошу шаманство, если ты так говоришь. Пусть люди без шамана живут. Пусть каждый раз тебя вызывают из Сен-Келя...

– Ладно, не будем ругаться. Дети мы, что ль! Шамань на здоровье. А Пайпэткэ не трогай. согласишься не трогать – я буду рад. Ты старше меня, и ты должна учить меня справедливости, а не я тебя.

– Ну и хватит! – зашевелился Куриль. – Впервые вижу ругающихся вслух шаманов. – Он встал, затянул на дохе ремень и вышел.

А Кака продолжал молча сидеть. Он делал вид, что дремлет и во сне разговаривает со своими келе.

Весь вечер и, наверное, половину ночи Пайпэткэ проплакала за своим пологом. Она плакала от счастья, от облегчения, от страха перед родами, от дум о больших заботах, от неизвестности.

Утром она увидела на доске большой кусок мяса, две юколы и плитку чая, на обёртке которой стояла печать головы юкагиров.

Приближалась весна. Солнце уже хорошо пригревало землю. Снега осели. Олени обленились – днём стали вылёживаться на солнце, а пастились – по ночам. Важенки еле передвигали ноги – скоро начнётся отёл.

Жизнь стойбища на Соколиной едоме бурлила заботами и хлопотами.

Как-то среди ясного дня люди заметили старуху Абучедэ, бегущую со свёртком шкурок.

А немного спустя верхом на олени потрусил в тундру Ланга. Он спешил к Курилю: Пайпэткэ вот-вот должна родить и стать матерью.

Но Пайпэткэ родила лишь через несколько дней. Всё стойбище собралось возле её тордох. Абучедэ вышла и, плача одним глазом, сказала:

– Мужик. Хороший. И она ничего. Крепкая баба. Счастье выпало женщине.

Черноволосый, весь красный, с огромной головой и толстыми руками и ногами, сын Пайпэткэ заорал так громко, что люди замерли возле тордоха.

Рывком откинув ровдугу, в дверь ворвалась Тачана. За ней юркнула и одноглазая Абучедэ.

– Ну, зачем вызывала, старуха?

– Камланить бы надо...

– Камланить над этим ребёнком? Да ты что – не видишь, что ль, своим одним глазом? Это же вылитый Мельгайвач. Это внук его злого отца. Я знала, что он из мочи Мельгайвача родится. Так и вышло оно.

– Халагайуо! – схватилась за голову Абучедэ. – Да какие же ты грешные слова говоришь! Да как же бога-то не боишься.

– Тьфу! – Тачана плюнула на ребёнка и вышла наружу, в бешенстве чуть не порвав полу ветхой ровдуги.

Оказавшись среди людей, она отыскала глазами Нявала и сказала ему:

– Слышишь, старик! За своим сыном гляди: как подрастёт этот кукул, – она кивнула на тордох Пайпэткэ, – ты его к своему сыну близко не подпускай. И Хулархе скажи – к дочери чтоб не подпускал. Подпустите – так не говорите, что я молчала...

Она важно прошла сквозь толпу.

Старуха шаманка, к удивлению всего стойбища, не поджала хвост после позора на недавнем камлании. И она не просто хорохорилась. Она вела себя так, будто одержала победу. И эта наглость её походила на самоуверенность. Люди даже начали думать, что шаманское дело слишком сложное, чтобы вот так просто одного признать совсем правым, а другого побитым.

Ни один человек в стойбище, если не считать мужа шаманки Амунтэ-гэ, не мог бы поверить, что всё дело тут в чукотском богаче и шамане Каке.

Люди не знали многого. Сегодня они не знали, что Кака приближается к Соколиной едоме, что владелец огромного стада бросил своих оленей в самую пору отёла – чтобы встретиться с Тачаной. Чукча и Тачана затевали важное дело, такое важное и такое страшное, что история с Пайпэткэ и её сыном в сравнении с этим была просто маленькой стычкой. Между прочим, старуха бесилась ещё и по той причине, что богатый и крепкий здоровьем чукча глядел слишком уж далеко, а её годы катились под гору...

ГЛАВА 10

В конце прошлого века на реке Анной через каждые три-четыре года купцы и богачи всех мастей проводили большую торговлю или большой обмен, а проще говоря – собирались на ярмарку. Вначале ярмарки затевали купцы Средне-Колымского острога, но, когда в Нижне-Колымском остроге появились свои купцы, с которыми перезнакомились чукотские, юкагирские и ламутские богачи, ярмарками стал руководить

Нижне-Колымский острог. Тем более что здесь появились первые, а потому более прыткие царские чиновники, а раньше их – до ужаса разворотливые казакишки-кабатчики.

По-разному проходили эти шумные сборища крупных и мелких менял. Всё зависело от конъюнктуры, а стало быть, от настроения; разными были игры и попойки. Бывало и так, что товаров появлялось мало, – тогда толкучка быстро рассасывалась, и приезжие возвращались в тундру, увозя обратно и песцовые шкурки, и мамонтовые клыки. В иной же год товаров прибывало столько, а ярмарка была такой горячей, что люди забывали о весне, и не раз чукчи и юкагиры обратный путь продельвали в половодье.

Чтобы не промахнуться, чтобы не обмануться в надеждах, богач Куриль ещё зимой отправил в Нижне-Колымск сына Петрдэ – Мэникана. А Мамахан, так тот сам съездил на разведку. Вести были хорошие. Впервые на ярмарку приедет американский купец Томпсон и другой, более молодой американский купец – Свенсон⁶⁸. Стало известно, что Томпсон серьёзно готовится к нынешней ярмарке – его подручный Потонча в эту зиму ни разу не появился в Улуро, потому что хозяин его придерживал товары до весны. Понятно, что об этом, конечно, узнали и русские купцы, которые не захотят остаться в дураках. В общем, ожидалась бойкая ярмарка.

Вот почему для простых людей тундры зима эта была особенно тяжкой: не хватало чая, табака, сахар совсем пропал, о горькой воде даже не вспоминали.

Едва начался отёл оленей, Куриль прикочевал к Большому Улуро, быстро собрался и, не дожидаясь ехавших с запада Саню Третьякова и богача Татаева, двинулся со своим караваном на нижнюю Колыму. С ним отправились богач Петрдэ и его сын Мэникан. В помощь себе Куриль взял шурина Пураму. Десять упряжек загрузил Куриль оленьими шкурами, камусами, песцовыми шкурками, прихватили немного мамонтовых клыков. Два каравана продвигались прямо через Халарчу, не пропуская по пути ни одного стойбища: оба родственника-богача старались побольше выменять песцовых шкур...

Куриль никогда не был азартным или алчным менялой. Но он всегда был до предела расчётливым и уж облапошить себя не позволял никому. Сейчас он, однако, нервничал: американцы могут привезти редкостные товары и сбить цену дорогим шкуркам и клыкам мамонта.

Вот под такую горячую руку и попался ему на дороге Кака. Чукча явно ехал в Улуро, а о ярмарке как будто забыл.

– Мэй, еттык! – бросил Куриль привычную фразу, с подозрением оглядывая пустую нарту.

– И-и, – как-то робко ответил Кака.

– Вроде бы в наши края направление держишь?

– К вам. Тачана вызвала. Вон её муж сзади едет. Зачем позвала – не знаю, послания не было. Просит – и всё...

Куриля не проведёшь. Бросить стадо перед отёлом и ехать, не зная зачем? Лицо его побагровело, губы жёстко сомкнулись, глаза спрятались в холодном прищуре.

⁶⁸ Свенсон Олаф – купец, промышленявший по побережью океана до устья Колымы вплоть до 1921 года.

– За Пайпэткэ взялись?

Чукча заёрзал на нарте, но нашёл в себе силу деланно улыбнуться:

– Пайпэткэ? Да что ж, она одна только на свете? У шаманов есть и другие дела. Ей-богу, не знаю, зачем зовёт.

– Мэй, смотри! Если тронете Пайпэткэ – ты со мной будешь дело иметь. А меня Друскин шутником не считает... – Куриль натянул вожжи, и олени дёрнули лямки.

На Амунтэгэ он и не посмотрел – молча проехал мимо.

– ...Развелось шаманов, как вшей у незамужней чукчанки, – пробормотал он. – Кто захочет, тот и становится шаманом.

Встреча с Какой сильно растревожила Куриля. «Это что же получается? – размышлял он в сердцах. – Я считаюсь начальником юкагиров, а шаман-чукча едет к моим людям и без меня будет делать всё, что вздумается?..»

Кака уже не был головой чукчей. Исправник Друскин отобрал у него печать, потому что он ошаманился. И Куриля тем более раздражал этот чёрт со сверкающими белками глаз на тёмном, как закопченная ровдуга, лице. Вроде бы недоверие выказали ему, принизили перед людьми – а он стал шаманом, и теперь не только взял власть над чукчами, но подбирается к юкагирам, а захочет – подберётся ещё и к ламутам.

У Коньковой речки караван остановили, чтобы заночевать. Надёрпали ивняка, разожгли костёр, поставили котелок со снегом – кипятить чай. И тут Куриль опять заговорил о том же:

– Я чего боюсь-то? Задумает Пайпэткэ рожать, а их двое; на что хочешь людей подобьют. И заступников нет. Одна Лэмбукиэ...

– Да будет тебе головой камни без толку ворочать, – заметил старик Петрэдэ.

– А это как поглядеть! Без толку... Сайрэ пустил кровь Мельгайвачу? А теперь чукча нашим кровь пустит. Что получается? Найдётся такая вот горячая голова, – Куриль кивнул на Пураму, – схватит нож – и пошла... Вот тебе и мои заботы, чтоб юкагиры и чукчи друзьями были!

– А ты прикажи всем шаманам сжечь бубны, – пошутил старик, набивая трубку. – Ты же – голова...

– И приказал бы! – надломил об колено прутья Куриль. – И не то ещё сделал бы... А говорить без шуток – так начальники царские за шаманов стоят. Обычаи, говорят, уважать надо. Не трожь!..

– Ну, а ты сам-то так уж и совсем шаманам не веришь? Я вот не раз видел: тебе бы можно и слово сказать без опаски, а ты молчишь, тебе бы иной раз над глупостью посмеяться, а ты спишь на камлании... Бубны он сжёг бы... – Старик Петрэдэ высморкался, отвернувшись от Куриля. – Не первый ты такой медвежатник. Которые похрабрей тебя – и те не решались шутить с шаманами...

Куриль бросил прутья не в костёр, а к ногам и свесил с колен ладони в новеньких варежках. Помолчав, он спокойно заговорил:

– Есть и в твоих словах правда. Есть. Как людей без веры оставишь? Иной нажрётся дурного мяса – и кувыркается по земле от боли. А шаман придёт – глядишь, и боль прошла. Сам видел. Отними у человека надежду – самым лютым врагом станешь. Вот и молчу, и сплю на камланиях... – Куриль скинул варежки и начал доставать из кармана кисет.

– Я и говорю про то: живи своими заботами, а не чужими, – заметил Петрдэ.

– Постой: я не всё сказал. Жуликов развелось много. Сайрэ потому и отрёкся, что понимал: не он вылечивал и добро делал – вера в него вылечивала и умный совет помогал. Может, они, духи, и есть. Куда денешься – Токио что захочет, то и сотворит с человеком. А другие колодят в бубен только из-за корысти или затем, чтоб тёмные дела делать... Нет, дядя: надо окрестить тундру. Верой в бога надо заменить чёрную веру. Сильные шаманы тогда останутся – лечить будут, советы давать хорошие, и это богоугодно. А все прочие уплывут, как олений помёт. – Куриль сплюнул в костёр.

– Ну и крести людей! – обернулся к нему Петрдэ. – Зови попа и крести!

– Как окрестишь? Из Среднего? Какой поп согласится!.. Да и мало – окрестить тундру. Божий дом нужен...

– А с божьим домом-то как? – Петрдэ спросил и пожалел: рядом сидел Пурама.

Куриль, однако, не поперхнулся.

– Строится дом, – ответил он. – Первые брёвна в мешке: двадцать шкурок собрал... Трудно строится. Обеднел народ, особо за эту зиму. Что ни возьми – всего не хватает. А купчики к шкуркам чутьё имеют. Это Потонча сплеховал. Да у его хозяина свой расчёт... Вот плохо, что Мамахан подвёл. Тоже набрал штук тридцать – а не сдержался. Подвернулся хороший товар – пустил их в обмен... Ну, ничего. Я ещё погляжу – может, одному мне сподручней будет...

Во время разговора Пурама и Мэникан сидели молча: обычай не позволял им открывать рта при таких родственных отношениях. И Пурама без звука проглотил слова Куриля насчёт поножовщины, не посмел напомнить, что он-то чист перед богом – отдал голове шкурки.

Когда напились чаю и закусили, улеглись спать, не вставая с места, не закручиваясь в чумы⁶⁹: морозец был мягким, ночь ветра не предвещала.

Пурама не засыпал дольше других. Он глядел то на луну, то на звёзды. Огромный мир в вышине настраивал на раздумья – он был и красив, и до жути загадочен... Вот распалась на две части звезда. Одна половинка сразу погасла, а другая понеслась не вниз, а вбок, к другой звезде – и та поймала её, будто съела. Что там произошло? Почему так случилось? Кто это захотел, чтобы все звёзды остались на месте, а эта устремилась к другой, заставив свою половину погаснуть? Какой в этом смысл?.. «Нет, конечно, божий мир куда больше и куда непонятней, чем мир, где живут духи, – размышлял Пурама. Он уставился на луну. Вон на луне тёмные пятна. Говорят, что это девушка-сирота варит кровяную кашу. – Как Пайпэктэ... Сирота... Кровяная каша... Все сироты варят кровяную кашу... И как только не поймут люди, что бог знает всё? Может, он напоминает, что нельзя обижать сирот? А кто не смущается, того он отдаёт сатане? Сайрэ-то помирал в муках... Теперь небось на Тачану смотрит. Придумал бы ты, сатана, этой бешеной сучке самую страшную смерть...» – Пурама потихоньку перекрестился.

⁶⁹ Чум – кусок ровдуги, одежда или ткань, в которую заворачивается путник, ночуя в тундре.

Засыпал он легко, будто на ворохе мягких шкур. Бог и о нём всё знает. Он для его дома выиграл целый табун... Он отдал две песцовые шкурки... Если божий лачидэдол⁷⁰ – солнце – начнёт гаснуть, он поедет в тайгу и будет таскать сухие деревья для очень большого костра... А за всё за это бог позволит ему поставить свой тордох рядом со своим домом...

Утро было ясное и морозное. Проснулись все сразу – продрогли до самых костей. Однако это было не зимнее утро, а почти весеннее – не-вдалеке хабекали куропатки, лаяли песцы, какие-то птицы кружили высоко в небе, купаясь в лучах ещё не взошедшего солнца, – и путники резво взялись за дело.

Поели, опять напились чаю, согрелись – и двинулись дальше.

Сколько ни ехали в этот день, а ни человека, ни упряжки, ни стойбища не увидели. Тундра обезлюдела. И Куриль наконец удивился:

– Не пойму, почему не встречается нам Чайгуургин. Каждый год он пригонял сюда стадо телиться...

– Наверно, ягеля тут мало осталось, – предположил Петрдэ. – Вытоптал, видно. Хотя... Хотя должен бы это место уступить племяннику Лелехаю. Но и Лелехая не видно...

И лишь на закате увидели вдалеке четыре белоснежные яранги.

Первой караван встретила приветливым лаем чёрная, как уголёк, собачка, пулей летевшая по твёрдому снегу. Потом из яранг высыпали люди – кто в кукашке, кто в тамбаке⁷¹. Все стояли в ряд, загораживая ладонями глаза от лучей заходящего солнца.

– Глянь – это же Чайгуургин с краю стоит, – сказал Куриль.

Действительно, это было стойбище нового головы чукчей. Чайгуургина мог бы узнать издали каждый, кто видел его хоть один раз: это был мужчина преогромного роста, с длинными, расставленными руками. Его племянник Лелехай рядом с ним мог показаться ребёнком – этот молодой богач пошёл не в рост, а вширь. Чукчи, как всегда, встретили улурочи с неподдельной приветливостью. Парни и девушки бросились распрягать оленей, в руках у женщин появились снеговывивалки – и они принялись осторожно, с шутками сбивать иней и снег с одежды путников. Не успели гости войти в ярангу, как пастухи притянули на аркане молодую, не брюхатую важенку. А в яранге уже сильнее разожгли огонь под огромным котлом, в который бросали и бросали снег.

– Ну, рассказывай, что тут, на Кулуме, нового...

Куриль не видел Чайгуургина несколько зим. В те времена чукча не был головой, а теперь они оказались равными, и от хозяина-чукчи следовало ожидать самых солидных ответов, рассказов, суждений о жизни.

– О, Кулума много чудес увидела, – сказал Чайгуургин. – И смешных, и непонятных, и страшных... Не знают, что думать – растревожились все люди насквозь по её берегам. Я, между прочим, тоже собрался на ярмарку. С вами и двинусь.

– Силёнкой хочешь помериться?

– Придётся – не откажусь...

Чайгуургин был знаменитым силачом. Однажды на ярмарке во время потешной борьбы он поломал кости восточному чукче. С ним про-
бывал бороться известный якутский силач Ботго, но и он сдался ему.

⁷⁰ Лачидэдол – буквально: «огонь горит», очаг огня.

⁷¹ Тамбака – комбинезон, детская одежда.

Из юкагиров один только Микалайтэгэ мог бы помериться с ним силой и ловкостью, но Микалайтэгэ трусливый. Словом, Чайгуургин слыл самым могучим человеком в низовье Колымы и Алазеи.

– Пока мясо варится, полакомьтесь, гости, – прервала начавшийся разговор жена хозяина, подавая на огромном медном подносе свежие оленье уши, губы, глаза, мозг, жилы ног с костным мозгом.

– Так что же такое случилось на Кулуме? – спросил Куриль. – Говоришь, даже смешное?

– Было и смешное, да только оно плохой конец имело. И меня этим плохим концом стегнуло...

– Тебя, голову? Это совсем интересно. А я не слышал.

– Ну, а о русском-то человеке Чери – слышал?

– А-а, понимаю, – усмехнулся Куриль. – Как он вошек у женщин собирал, как считал камни?

– Да вошек-то пусть бы и собирал. Кроме пользы, тут ничего нет. А вот камни считать – дело плохое. Сосчитают – потом увезут. Чем наши люди будут загружать сети, чем шкуры и камусы мять?

– Не будут собирать камни! – уверенно возразил Куриль. – Я ездил за Ясачную речку – так там столько каменных гор, что можно и не считая брать камень.

– Вот! Вот и люди не понимают. И так и этак думают. А если не увозить камни – зачем считать? А зачем насекомых всяких сушить? Это же не юкола! А зачем верёвку по земле растягивать, палочки втыкать, ничего не сделать – и уйти?

– Это учёный человек! – сказал Куриль. – Царь его послал сюда. Я точно знаю. Должен же царь знать, что на его земле лежит, растёт, какой длины реки! Как же управлять будет землёй, если её не знает?

– Ты, мэй, погоди... Мы это слышали. А скажи, кто такой царь? Это бог на земле, может, его брат или сын. Так? Что же выходит? Что бог землю не знает?.. Люди совсем другое думают. Шаман Чери! Настоящий шаман. Ты слышал, что на Анюе делается? Не слышал? Там у людей волосы выпадают, даже носы и уши отваливаются. Раньше так страдали только якуты возле городов, а теперь даже анюйские ламуты страдают. Несколько человек, говорят, в город зачем-то увезли. Сами собой люди портятся? А ты говоришь – учёный... Теперь смотри, что у меня случилось. В позапрошлую весну я, как всегда, пригнал табун на Коньковую. Начался отёл. И пятьсот телят погибло. Пятьсот! Отчего? От болезни? А откуда она? Тундра – та же, ягель – тот же, важенки – здоровые. А полтысячи телят нету...

Старик Петрдэ, привыкший в гостях больше есть и меньше говорить, вдруг перестал жевать. – Ну, что на это скажешь, Апанаа?

Куриль, однако, не ответил ему.

– То-то тебя нет на Коньковой, – сказал он. – А мы ехали и удивлялись.

– Чего ж удивляться! Ты бы погнал табун на испорченное место? Я и Лелехаю запретил. Это плохие шутки – терять каждый год по пятьсот голов... Да, скажу тебе, что и ты мог понести убытки. Тинелькут прогонял по этому месту то стадо, которое ты у него выиграл. Твоё счастье, что как раз поднялась пурга. Русские духи, видать, заблудились, а то бы они и тебе напакостили.

Куриль призадумался. Перед ним сидел не какой-нибудь замухрышка-страдалец, а крупный богач, голова огромного рода, человек могучий, даже телом могучий, – словом, человек, который на всё должен был глядеть свысока. И Куриль невольно полюбопытствовал:

– Ты, мэй, сам так решил, что русские портят тундру? Или камлание было?

– У меня свой ум есть, – ответил Чайгуургин. Он сомкнул толстые губы и холодно огляделся по сторонам. – Я разве ребёнок, чтобы не видеть, что происходит кругом? Кулума наша бедная? Тундры бедные? Если были бы бедные – русские разве лезли сюда? Даже амарыканы прут! наших людей они научили пить горькую воду, табак курить – а какой от этого толк? Мы мясо едим, а они хотят, чтоб мы белый песок⁷² на масле жарили, как рыбу, и ели. Вот поживёшь – и увидишь: сейчас они шкурки берут за чай и табак да горькую воду, а потом за белый песок заберут оленей... Духов своих они напускают, и тундру портят тоже они.

– Гы! Да какой же расчёт им портить тундру, если им мясо потребуется? Какой же расчёт портить людей, если мы шкурки им добываем? – возразил Куриль, радуясь, что чукча запутался.

– Не знаю, – пробурчал Чайгуургин. – Камланил не кто-нибудь, а Кака! Другому я, может, не поверил бы. А у Каки сильные келе, сильные и надёжные. И сам он шаман надёжный, потому что богатый. Какой ему смысл меня-то обманывать? Мы с ним друзья, сам предпочёл быть шаманом, а не головой.

– А откуда же у него взялись такие сильные и надёжные духи? – не выдержал Пурама. Чайгуургин вздрогнул и вытаращился на Куриля: как, мол, этот человек смеет встревать в разговор? Однако Куриль чуть улыбнулся, давая понять, что на вопрос надо ответить.

– Могу сказать, откуда у него эти келе, – перевёл хозяин недобрый взгляд на Пураму. – Могу сказать... О духах отца Мельгайвача ты, мэй, что-нибудь слышал? Думаю, слышал. Так вот Кака завладел ими. Давно завладел! Все чукчи знают об этом.

Пурама выпрямился над столом, быстрые глаза его забегали туда-сюда – он готов был прослыть последним на земле человеком, но дать волю своему языку.

– А улурочи знают другое! – выпалил он. – И не только улурочи. Не мог Кака завладеть этими духами. Их давно передудил Токио. Остался один вожак. Это на большом камлании было! Куриль может прогнать меня, пусть я пешком обратно уйду, но я должен ещё сказать. Совсем недавно Кака был на камлании – у нас, на Соколиной едоме, и он всем людям сказал, что этот вожак духов вселился в тело вдовы Сайрэ. Его келе гонялись за этим духом, он хотел его задушить. Вдвоём с Тачаной они гонялись за ним!.. Убей меня первый весенний гром, если я вру. Куриль! Они же были на этом камлании...

– Ну, хватит язык распускать! – одёрнул его Куриль и, насупившись, принялся грызть жилу.

Наступило молчание. Оно длилось долго. Уже подали варёное молодое мясо, поставили кружки для чая, уже начали дружно есть, а разговор никто не осмеливался продолжать.

⁷² То есть муку.

Наконец Куриль кивнул в сторону Пурамы и тихо сказал:

– Они говорили правду – так было всё...

– Не знаю. Кто знает?.. – примирительно проговорил Чайгуургин. – Может, шаманские сложности...

– Мы Каку вчера встретили, – спокойно сообщил Куриль. – Поехал в наши края...

– А зачем? А на ярмарку не поедет? И к тому же скоро отёл...

– Вот и я обо всём этом подумал.

Перестав есть, Чайгуургин вдруг достал огромную трубку, выстроганную из корневища, натолкал в неё табаку толстым пальцем, закурил, зажмурился от едкого дыма и, протирая кулачищем глаз, проговорил:

– Да... Ты меня, мэй, заставляешь думать о Каке совсем с другого конца...

– Там у меня, на Малом Улуро, плохо со вдовой Сайре, – сказал Куриль, вытирая ладонью рот. – Тачана её травит. А она вот-вот принесёт ребёнка от Мельгайвача. И как раз Кака поехал туда – Тачана его вызвала: он с ней заодно. Я предупредил Каку. Думаю, всё обойдётся. Но ты всё же пошли туда человека и своё послание передай... Нам с тобой, Чайгуургин, наперёд тоже надо быть заодно. Совсем ни к чему, чтоб люди наши во вражде жили. Иначе Друскин обоих нас призовет и бумагу царю напишет...

Голова чукчей вздохнул:

– Вот как бывает: уедет в тот мир умный человек – и гляди, как бы без него плохо не было... Ты передай, как сумеешь, мои добрые пожелания старику Сайрэ. – Чайгуургин вытащил из-за пазухи деревянного человечка, висевшего на тоненьком ремешке, поцеловал его и опять спрятал.

– Старик от шаманства перед смертью отрёкся, – сказал Куриль, глядя исподлобья на чукчу. А у чукчи вдруг поднялась и опустилась рука – он, наверно, хотел перекреститься, но почему-то не решился. – Кстати отрёкся, – добавил Куриль и потянулся к мясу. – А то ведь Тачана обвинила в его смерти чукотских духов. Могла бы опять начаться вражда. А тут всё замутилось, запуталось.

Вместе с хозяевами гости съели два котла мяса, выпили несколько медных чайников чая, вдоволь полакомились прэрэмом⁷³. Хозяева совсем не подали горькой воды. Чайгуургин в жизни придерживался строгих правил, он даже имел одну жену – в отличие от других чукотских богачей.

В дорогу отправились на другой день, хорошо выпавшись.

Чукчи снарядили пять нарт. Везли они мятые шкуры, выделанные камусы и пыжики. Одна нарта была целиком нагружена песцовыми шкурками. Чайгуургин взял с собой Кымыыргина: на оленегонных состязаниях будут участвовать кауреляне⁷⁴, любители резать лямки, – а Кымыыргина они знают и будут побаиваться. Лелехай, как и Петрдэ, с собой никого не взял.

⁷³ Прэрэм – чукотское лакомство. Варёное мясо жуют, смешивают с топлёным костным жиром и замораживают.

⁷⁴ Каурелянами западные чукчи называли восточных чукчей, живших на восточном берегу Колымы.

Хорошо ехать в апреле: ни холода, ни пурги, снег осел и – олени бегут уверенно, потому что копыта их совсем не пробивают наста.

Караван вёл Пурама – знаток всех ближних и дальних озёр. Куриль и Чайгуургин сидели рядом на самой последней нарте. Весь день ехали по Халарче. Это была совсем ровная, как доска, тундра, на которой лишь кое-где возвышались холмы.

К вечеру добрались до озера Артамон – и здесь заночевали, устроившись в глубоком сугробе.

А следующий день был туманный и мрачный. Туман не мог разогнать даже морской ветер, и Пурама только каким-то чутьём определял направление. Уже на середине озера догадались, что едут не по тундре, а по льду, занесённому снегом. Потом показалась большая чёрная сопка – и все обрадовались: это была единственная едома у озера Артамон. Ехали правильно. Вскоре показались деревья. Огибая холмы и пересекая озера, выбрались наконец к Стадухинской протоке. Рядом была Колыма – Кулума по-чукотски, по-якутски, по-ламутски и по-юкагирски.

Величественная река открылась сразу во всю ширину; где у неё начало, а где конец – об этом даже страшно было подумать. Почуввав слишком незнакомое место, олени на ходу начали наклоняться, обнюхивать снег, прислушиваться. Но путники уже не следили за ними. В невозмутимом спокойствии спала Кулума подо льдом. Однако по берегам её возвышались огромные чёрные скалы – и было что-то затаённое, сокрытое холодом и тишиной, в этом её молчаливом величии. Олени сами собой остановились, а люди встали с нарт, и каждый замер на месте.

Колыма... Она некогда была молодой. Она родилась где-то в далёкой тайге, среди гор, и никто её за речку настоящую не считал. Петлял ручеёк этот между камней, пропадал в болотах. Он боялся пересохнуть, пропасть – и потому стал искать море – бабушку. Как всякое юное существо, Колыма сильно петляла в жизни и в поиске. И не заметила она, как повзрослела и как стали появляться у неё дети. Очень доброй была река к людям – и потому детей своих она называла самыми лучшими именами, а учила их только добру. Реке Балыгычан мать Колыма сказала: «Людям не хватает еды – и ты разведи для них много рыбы». Другой дочери – Коркодон – велела быть узкой и высокобережной – чтобы люди под берегами прятались от холодов. Река Анюй родилась самой последней, но и ей она приказала: «Пусть на твоих берегах густо растут тальники – чтобы люди у огня согревались, пусть разведутся возле тебя куропатки и зайцы – чтобы люди сытыми были». Из всех многих своих детей Колыма одну только дочь попросила помогать ей самой: «Старая стала я, тяжело мне теперь от зимнего сна пробуждаться. А мне ведь надо море искать. Ты, Омон, пораньше меня буди». И стала могучей, беспокойной река Омон. Раньше всех – во второй половине мая река эта вдруг ломает свой лёд и теребит, будит старушку мать.

Долго ещё искала бы Колыма море, может, и не нашла бы его. Но море узнало, что есть река, которая всю свою жизнь рвётся к нему, – и само шагнуло навстречу. Оно разбросало землю, плеснулось вперёд и соединилось с рекой. Потому-то матушка Колыма так неожиданно широко разливается при впадении в море...

...Много песен, сказок, легенд придумали люди о Колыме. Но эту легенду знают больше всего, и больше всего она им по душе.

Четверо богачей, стоявших сейчас возле нагруженных нарт, тоже знали эту легенду. Да только ехали-то они не затем, чтобы долго стоять в раздумье. Так, повздыхали от нечастого ощущения чего-то великого, беспокойного, хоть и сокрытого – и крикнули замороженному Пураме ехать дальше вдоль берега. До Нижнего оставалось не так далеко.

На третий день впереди показался острог. Это была кучка заснеженных юрт, в беспорядке столпившихся возле высокого божьего дома с лениво покосившейся колокольней. Из круглых приплюснутых юрт поднимались вверх смешные тонкие струйки дыма. И ничего больше, и весь тут Нижне-Колымский острог.

И всё-таки это – знаменитый Нижне-Колымский острог!

Куриль приказал остановить караван вдалеке от посёлка. Пурама удивился: зачем останавливаться, если можно сразу подъехать к тёплому дому? Но он не успел высказать это. Куриль и Чайгуургин бросились к нартам, быстро достали новые малахаи и белые рукавицы, надели их, а старые спрятали, потом они обмотали шеи пёстрой материей, оглядели друг друга. «Ага – прихорашиваются, – смекнул Пурама. – Значит, важная будет встреча...»

– Давай! Быстро! С ветром! Ок! Ок! – властно махнув рукой, крикнул Чайгуургин.

Куриль тоже приказал что-то, но Пурама уже не расслышал. Он хлестнул оленей вожжами и прыгнул на нарту.

И караван влетел в острог так, будто за ним гналась целая стая волков, – с топотом и гиканьем, со снежной пылью из-под копыт и нарт.

Богачи, однако, не успели пережить полного удовольствия от столь шумного въезда: в самый важный момент, когда караван должны были заметить здешние богачи и начальники, со всех сторон вдруг выскочили собаки. Со свирепым лаем, с остервенелым хрипением рыжие, чёрные, пёстрые псы самых чудных пород накупились на оленей, на лихих ездоков, на поклажу. Они вовсе не в шутку пытались цапнуть за ноги и людей, и оленей, а густой запах от шкур приводил их в настоящее бешенство. Дело приобретало плохой оборот, да спасибо из юрт высыпали с палками и кнутами хозяева.

Растерянные, сконфуженные богачи кое-как стали здороваться со знакомыми и поскорее направились к большой и высокой юрте, похожей на огромную бочку. А навстречу им уже спешила здешняя знать – кто в зипуне с суконным верхом, кто в шинели с блестящими пуговицами, кто в дохе или кушаке. Стали шумно здороваться, перекидываться словами. Знать нисколько не важничала. Да и кто позволил бы себе важничать, если глаза каждого так и косились на караван нарт с драгоценной поклажей!..

Так, шумной толпой, и ввалились в дом богатого казака Филата Малькова. Ни к кому другому Куриль не собирался стать на ночлег, и все хорошо знали, почему он устремился сюда. Мальков был трезвенником, он не играл в карты и не курил. Так что дожидаться ярмарки безопасней всего было тут.

Казак Мальков содержал и дом, и хозяйство своё в строжайшем порядке. Пол у него выстлан досками, а доски покрыты чистенькими дерюжками, в горнице бело, как в зимней тундре, и на стенке здесь висит икона в позлащённом окладе, с постоянно горящим жирником возле

неё. За домом у казака – сарай, а в сарае две коровы, которые телятся каждый год, и три лошади – две для езды верхом и одна рабочая, для хозяйских дел. Три лодки у него, и сетей волосяных много – лошади вечно ходят без хвостов и грив. Есть два ружья, железные заступы, топор железный и всякий другой незнакомый тундровикам инструмент. Филат работяга – за десятерых успевает. И еды у него всегда наперёд заготовлено вдосталь. Содержит, правда, он и работника – немного горбатого, курносого, с редкими рыжими волосинками на лице Мишку. Но Мишка невероятный лентяй и придурок. Он потому и не женился, что ни одного дня не сумел бы прожить на свои харчи. Однако и без такого помощника трудно: казаку приходится выезжать по приказу начальников, а у жены трое детей на руках.

Не сразу Филат Мальков понравился Курилю. Слишком уж был он чужим: волосы у него совсем белые, лицо красноватое, а глаза такие светлые, голубые, прозрачные, что страшно смотреть в них – не глаза, а ледышки. И только потом Куриль понял, что в этих глазах не одна суровая чужина, но ещё и тоска – тоска по далёким родным местам,

– Работаю, не пью, богу молюсь, поборов нет никаких – вот и богат, – так объяснил Мальков своё благоденствие.

И Куриль не раз вспоминал эти его слова. Вспоминал – и вздыхал: юагиру далеко-далеко до такой жизни...

Зайдя сейчас первым в дом казака, Куриль сорвал с головы малахай и направился к двери в горницу. Откинув рукой ситцевую занавеску, он сразу же опустил на оба колена и начал креститься. Петрдэ и Чайгуургин стояли сзади и крестились на занавеску.

Глаза у бога были светлыми, голубыми; в мигающем свете жирника казалось, что бог сквозь какое-то зарево смотрит в упор, не моргая. Такие же голубые глаза были и у хозяина дома, который стоял сейчас позади. И в сознании Куриля это совпадение опять обрисовало очень живую связь чего-то великого, неземного и непонятного с этим вот чужим, навечно поставленным на одно место домом. У гостя мелькнула мысль – хорошо бы сейчас остаться наедине с беловолосым Филатом и весь остаток дня, всю ночь проговорить о боге, о шаманах, о людях тундры и русских начальниках. Да разве богача, приехавшего на ярмарку, могут оставить в покое?

Поднявшись и ещё раз взглянув на икону, Куриль отвёл занавеску – и вдруг увидел попа, будто по божьему велению появившегося за спиной. Это новое совпадение было и удивительным, и приятным. Куриль всегда испытывал тревожно-радостное чувство от приобщения к божьей жизни и божьим делам, которое каждый раз происходило как-то неожиданно и со всех сторон... Священник Попов словно был с головы до ног обросшим шерстью: мех пыжикового малахая сливался с могучей рыжеватой бородой и усами, а борода терялась на длинной, до пят, оленьей дохе, ладоней рук не было видно – поп спрятал их в широкие рукава. Глубоко посаженные голубые глаза, смотрящие прямо в душу, острый нос и ярко-красное пятно нижней губы под усами делали это обросшее волосами лицо совсем непохожим на другие лица, а огромный начищенный медный крест, висевший поверх дохи на животе, окончательно отделял этого особенного рослого человека от всех остальных. Курилю всегда было приятно видеть попа Попова в такой

одежде – ему так и чудилось, что божий служитель навечно сжился с тундрой и с людьми тундры и что в этом есть добрый, обнадёживающий знак.

– О, кого нам в гости послал господь бог! – распростёр руки поп, увидев голову юкагиров. – Здравствуй, дорогой сын Афанасий, здравствуй во Христе, раб божий! – Попов обхватил Куриля и поцеловал его в лоб. – Да будут благословенны все богоугодные дела твои, да пребудешь ты, и семья твоя, и народ твой во здравии и благоденствии...

Он бы и ещё говорил, да вошли самые богатые люди острога – Соловьёв с Бережновым.

– Здорово, брат!

– Здравствуй, брат!

Припёртая к каменному очагу, жена хозяина тем временем ухитрилась подкинуть дров в огонь, а в дверях, тесня богачей, показались Пурама и Кымыргин, притащившие в мешках оленину, юколу и другую снедь.

Богачи заполнили комнатёнку, размороженное окно которой глядело во двор, на сарай. Кто разделся, кто нет, кто уселся на лавки, кто на пол.

– Ну, рассказывай, Курилов, как вы там живёте в тундре по божьему велению, – спросил поп. – Всё рассказывай – кто много песцов поймал, кто разбогател, у кого беды какие. Про хорошее расскажешь – меня обрадуешь, про плохое – не удивлюсь: по божьему велению всё на свете бывает...

– Всё по божьему велению, – ответил Куриль, зная, что нельзя перечить священнику.

– И в Халарче так всё идёт, – поддакнул Чайгуургин.

– Ну и слава тебе, господи, – перекрестился поп. – А как семьи ваши, как бабы, как дети?

– Хорошо, всё хорошо.

Поп великолепно понимал, что Куриль так отвечает лишь ради приличия, однако смущать его он не хотел и не стал.

Но тут голос подал Соловьёв:

– А у нас тут беда случилась: помер большой учёный, это вы знаете, думаю. А дальше что было? Слухи пошли, что был учёный шаманом. Слухи эти донесли до начальства, а начальству не понравилось это. И письмо, говорят, издалика прислали – чтоб разговоры такие не мешали царю-батюшке дела свои делать. Скандал настоящий... Как там у вас – что говорят люди?

– Не был, значит, Чери шаманом? – удивлённо спросил Чайгуургин.

– Какой он, к чёрту, шаман! – хихикнул стоявший у двери Мишка. – И не учёный человек, а божий: имя-то у него рыбе – чир...

– Простит тебе бог, – махнул на него рукой поп.

– У нас говорят, но мало, – сказал Куриль. – У нас другие беды.

– Какие же беды?

Чайгуургин не дал Курилю ответить:

– А у меня пятьсот телят погибло!

– Как! – вздрогнул ошарашенный Соловьёв.

– Прикочевал на самое лучшее пастбище, а они подыхать стали. То дохлый появится, то чуть подышит – и нету... Кака шаманил и сказал,

что не видать следов ни наших, ни якутских, ни всех прочих духов, а вот следы с Кулумы – есть.

– О! – шлёпнул Соловьёв рукой по коленке. – С Кулумы! Афоня, ты помнишь Старцева Хедьку? Помер твой Хедька. Утонул в Кулуме.

– Картёжник-то? Хедька?

– Утонул. День был совсем хороший, река блестела, как шашка Филата. А Хедька с ребятами рыбу ловил... Вот слушайте – расскажу. Тихо так было – а тут как рванёт низовой ветер, как поднял всю Кулуму на дыбки. Хедька давай выбирать сеть, выбрал – и, дурак, не к берегу, а к острову лодку погнал. Ребята машут ему, кричат, чтоб заворачивал, а он не послушался – и у всех на глазах пропал. Лодку нашли аж в Керетовой... Два дня бурлила река. И только стихла – плывут карбасы Черского. Мавра – жена его, Сашка – сын, Степан Расторгуев и ещё служилые мужики. И тут мы узнали, что самого-то Черского нет. Гурка Котельников стал шаманить – и говорит, что это духи его отомстили Хедьке, сгубили его. И не одного Хедьку. Немного спустя медведь Хому Бибикова задрал.

– Хому? – вытаращился Куриль. – Моего друга Хому?

– Нет. Умереть-то не умер он. А без глаза остался, и правая рука вся поломанная теперь... У вас, говорят, тише, а у нас, видишь, дело какое...

– Тише... – повторил Куриль. – Если уж говорить, то у нас ещё хуже.

И он стал рассказывать всю запутанную историю вражды шаманов, которая обернулась бедами и которой не видно конца.

– ...У нас прямо мученье людям. Боятся всего, житья никакого нет... Я не пойму этих шаманов. Да если б они все настоящие были, а то ведь подозренья всякие есть...

– Ну а теперь и мне сказать надо, – перебил его поп, поправляя крест, съехавший набок. – Про Черского скажу одно: богом вас уверяю – не был шаманом он, всё это ложь. Может, это от темноты, от привычки. Такой раб сатаны, как Иван Рупачев с Омолона, всякие слухи может пустить. От безбожия, от темноты. Ну а кто иной способен дурные слухи пускать и со зла на русских людей... Черской раб бога, учёный. На пользу царя и на пользу всем вашим людям работал... Ах ты, господи боже, – какую напраслину возвели на православного человека!.. А тебе, Куриль, я вот что скажу. Шаманы – наравне с попами. Ты это учти. Только мы рабы господа бога, а они – рабы сатаны. Ты о шаманах-то осторожно думай. Человек ты видный и умный. Я желаю тебе добра – пусть шаманы живут сами собой, не трогай, не мутит народ...

– Да я вроде молчу...

– Ну и с богом. А мне на вечернюю службу пора.

И поп ушёл, совсем озадачив и юкагиров, и чукчей.

ГЛАВА 11

В полдень караван тронулся через речку. За утро успели кое-что обменять. Теперь последняя нарта Куриля была нагружена не оленьими шкурами, а берёзовыми слегами. Чайгуургин приобрёл за камусы заячье одеяло и рыбу. Пурама сбыл три пары новеньких рукавиц, две пары обуви, а заимел две посуды пороку и старый чайник на пули. Один скупой Петрдэ не дотронулся до своих мешков.

Ярмарочный посёлок располагался на левобережье Анюя, среди тайги. В этих местах тайга очень густа, и ветры не продувают её. Снега под соснами здесь лежат ворохами, они сыпучие, мягкие, очень белые. Люди тундры больше привыкли глядеть вдаль и на землю, а тут хочешь не хочешь, но голова сама задирается вверх: деревья, деревья, дали не видно. И хорошо, и красиво в тайге, и небо-то здесь другое – совсем синее, как глаза русских женщин. Однако в тайге тесно, и оглядываться надо почаще – а то задерёшь голову, а нарта на корягу наскочит...

Стойбище даёт о себе знать издалека. ещё и просвета поляны не намекается, а всё кругом оглушено гвалтом собачьего лая. Тайга так и звенит от этого дружного лая – и кажется, впереди не стойбище, не сбор торгового люда, а самый большой на земле собачатник... Впрочем, временами наступает и тишина – это значит, ярмарка поглотила ещё одну упряжку или один караван, и собаки успокоились, примирились с гостями.

А вот и поляна, и стойбище на поляне. Три деревянных рубленых дома посередине, а вокруг них в беспорядке – чукотские яранги, ламутские тордохи. Посёлок-стойбище кишит людьми – всюду шум, говор, крики. Сплошным кольцом опоясывают эту толкучку перевёрнутые вверх полозьями нарты собачьих упряжек. Ближе к деревьям – олени упряжки, а на отшибе – лошади возле раскуроченной копны сена.

Сквозь сумасшедший лай, как сквозь пургу, прорвался караван Куриля, Чайгуургина, Петрдэ и Лелехая.

Ярмарка уже жила своей собственной жизнью, и приехавшие сразу исчезли в этом скопище людей и товаров, будто котёл рыбы, выплеснутый в бурлящее озеро.

Пураме ярмарка показалаcь единственным местом, где можно чувствовать полнейшую волю, не стеснённую ни родовыми обычаями, ни другими законами. И, может быть, из-за этого чувства, среди совсем незнакомых разноязыких людей, у него нестерпимо загорелось сердце поскорей показать свою ловкость и удаль. Как только путники из Улуро и Халарчи распрягли оленей, Пурама, едва успев оглядеться, схватил аркан и побежал туда, где над толпой взлетал деревянный шишак, привязанный к длинной верёвке. На ярмарке нынче был «день аркана», и он до зуда во всех жилах обрадовался, что подоспел как раз к этому дню.

Передохнув и собрав, как надо, ремённый аркан, он поскорее занял место между двумя чукчами с разрисованными татуировкой лицами. Игра в муньхат так забрала толпу, что на него никто не обратил никакого внимания: играть мог каждый кому не лень... кто-то подкинул деревянный шарик – и тотчас вверх прыгнули ремённые петли. Пурама тоже метнул – и через миг толпа издала громкий крик удивления: аркан Пурамы проскочил в петлю восточного чукчи – и моментально выхватил из неё деревяшку. Все игроки так и ризнули рты.

– Меченкин!

– Хорошо!

– Ловко, вот это ловко!

– Мэй, откуда приехал?

– Сверху! – пошутил Пурама, сворачивая ремень и кивая головой в небо.

Теперь Пураме надо было бросать деревяшку. Он бросил раз – и ни-

кто её не поймал, бросил второй, третий – и опять арканы падали на истоптанный снег пустыми.

– Да ты и кидаешь как-то хитро – игру не даёшь! – ещё сильнее удивился восточный чукча. – Где ж это ты наловчился?

– Божий я человек – бог научил...

Четвёртый бросок дал победу как раз этому чукче.

– Ага, теперь будем считать – и посмотрим, кому достанется связка телячьих шкур! – дрожа от радости, похвастался он и подкинул болванку.

Арканы свистнули, метнулись за ней. И одна из петель как-то боком накрыла её. Однако внутри этой петли опять влетела другая петля, поменьше – и деревяшка сразу шарахнулась вниз, к Пураме.

Восточный чукча от злости весь задрожал и зубами вцепился в конец своего аркана.

– Бери шкуры! Не буду играть, – сказал он, рывками собирая аркан.

– Тьфу! – плюнул на свой аркан другой игрок. – Женщина утром перешагнула через него – не могло быть удачи...

Несколько петель схлестнулись, запутались в воздухе, хозяева стали распутывать их – и игра как-то потеряла для всех интерес.

– Мэй, мэй! – позвал Пураму старик чукча. – Взгляни вот на этот аркан. Может, сменяем? Для сына сделан, а сын запропастился. Твой счастливый. Сменяем? Но только с условием. Ты своим поймаешь верхушку дерева...

Пурама подошёл к старику – и понял, что это какой-то богач. Аркан его сына был сделан на удивление: сплетён он ладно, каким-то красивым узором, конец его тяжёлый, а сам он длинный, удобный.

– О, хороший аркан. Большой мастер делал его. Сменяем...

Размахнувшись, Пурама метнул свой вверх – и побежал к дереву. Он остановился в тот самый момент, когда петля обхватила макушку сосны.

Толпа заорала от удовольствия.

– Ещё раз! Ещё!

– Аркан мой, – сказал Пурама. – А на дерево петлю снимать пусть лезет его сын.

– Отдам, если ты и моим поймаешь макушку сосны, – заартачился старый богач.

Пурама выхватил из его рук красиво сплетённый, новенький жгут. Разгорячившись, он отошёл далеко назад, размахнулся и опять побегал вперёд.

Не успели люди опомниться, как Пурама дёрнул аркан – и макушка сосны хряснула, обломилась и сползла вниз, осыпая снег с веток.

– Срубить сосну! – закричали в толпе. – Пусть высокий пень, пока не сгниёт, прославит имя его!

Не скрывая радости, не важничая, Пурама собрал дорогой аркан, накинул его на плечо и пошёл забирать приз – связку телячьих шкур.

А невдалеке шла такая же азартная игра в литэмэч. Как мог Пурама удержаться! Бросать аркан на рога – это куда проще, чем в небо, да ещё такой удобный аркан...

На удивление и этой толпе он быстро справился со своими противниками и под крики одобрения и завистливый шёпот забрал ещё один приз – связку листьев хорошего табака.

К вечеру, когда кончился праздник аркана, на ярмарке вдруг появилась толпа богачей и купцов. Их было много: Соловьёв, Шкулёв, Берёзкин, Третьяков, Тинелькут, Мэникан, американец Томпсон, а с ним Потонча и какой-то молодой, бойкий чукча. Их невозможно было пересчитать. Тут были и казаки, и русские, и якуты, и чукчи, и ламуты, и выкресты, и люди совсем непонятного рода-племени. Все они будто договорились приехать разом. И, может, в этом был какой смысл, – может, никто из них не хотел попасть на праздник аркана?

Каждым взглядом своим, каждым шагом и каждым словом американец Томпсон давал понять, что считает себя здесь первым лицом. Это был рослый детина с живыми, выпученными глазами, одетый в медвежью доху. Весело разговаривая, он размахивал и так и этак огромными, как два заступа, руками, из-за чего другие богачи и купцы шагали далеко по сторонам от него. Томпсон и все остальные шли к деревянным домам, где давно уже орудовали кабатчики.

Куриль и Чайгуургин зашли в один из этих домов, когда там уже вовсю развернулось пиршество. Столы на ножках-крестовинах были завалены всякой снедью. Богатая братия ужехватила горькой воды и теперь возбуждённо шумела – хохотала, доказывала, судачила. По деревянным стенам метались огромные тени – в комнате горели два больших жирника, обмазанных глиной.

– Афоня, ты? Бра-ат!

– Дорова, Куриль!

– Здорово, Чайгуургин – бра-ат!

– А Петруска где? Лелехай где?

– О, юкагирский голова! Курилле! – воскликнул на чистом чукотском языке Томпсон. – Иди сюда, садись со мной рядом, брат, – я угощаю сегодня. Всех угощаю! О, и новый голова чукчей здесь! Не узнал – будешь богатым. Эй, ет – тык? Совсем хорошо... Сколько друзей у меня! Да я без вас в Америке и жить не смогу...

«Перед ярмаркой угощает? – удивился Куриль, перешагивая через скамейку и усаживаясь на неё рядом с американцем. – Что-то не так. Какой же ему расчёт? Отчего добрый такой?..»

Чайгуургин уселся напротив и тоже подозрительно уставился на американца.

Забулькала в одну, а потом во вторую кружку тёмно-коричневая горькая вода. Американец, дружески улыбаясь, поднял обе кружки, стукнул их друг о друга и раздал новым гостям.

Как ни следили за американцем в этот вечер Куриль с Чайгуургином, как ни ломали голову, а всё-таки ничего опасного для себя в таком неожиданном и недешёвом гостеприимстве Томпсона не обнаружили. Другое дело, если бы он подпаивал их одних или вообще лишь богачей тундры. Тогда можно было бы думать, что он надеется на особую с ними связь, переманивает их товар. Но Томпсон угощал и купцов, задабривать которых было бы бессмысленно. Но больше всего удивляло то, что никто из купцов и богачей не затевал разговора о самой ярмарке – о спросе на товары, о мерах обмена. Ничего не пытался узнать и Томпсон... И гости наконец успокоились, разомлели. Тем более что вода оказалась не горькой, а сладкой...

Огромный, но непьющий Чайгуургин охмелел крепко, и Курилю

пришлось поддерживать его, когда они пошли спать к Тинелькуту. Чукча был очень весел, душа его размякла – и он вдруг захохотал, да так громко, что с испугу забрежали собаки.

– Дядя твой... Петрдэ... дверью пальцы отбил...

– Какой дверью? Чего городишь! – спросил Куриль.

– Сунул нос, а мы пьём. И назад. А тяжёлой дверью – по пальцам! Ха-ха-ха... Да, заходил! Ты к двери спиной сидел – не видел. А я видел. Узнает, что все задарма пили-ели – лопнет с досады... Прогадал и пальцы отбил. Ха-ха-ха...

Куриль захохотал тоже. Петрдэ и впрямь был до глупости жаден и уж никогда не упускал случая поесть за чужой счёт.

И только на другой день утром Куриль и Чайгуургин узнали, зачем американец потратился на угощение. Появился на ярмарке Потонча. Он сильно сердился на своего хозяина американца, который в эту зиму оставил его без товара. Потонча рассудил так: что ни говори, а Томпсон самый чужой в этих местах человек. Вот он и задабривает всех без разбора. А не станет задабривать – русские и местные купцы перекроют ему дороги. Это было похоже на правду.

В этот же день выяснилось, что Потонча не ошибся.

Русские и местные купцы не дали себя обмануть. Они выставили для обмена точно такой же товар, как и американец. Чай, табак, водка, сахар, мука, соль, порох, патроны, материя, верёвка, бусы – всё это можно было взять у кого хочешь. Немедленно стало известно, однако, что у Томпсона товаров очень и очень много. И на ярмарке на какое-то время произошла заминка: стало ясно, что меру обмена установит только один человек – американец. И вот тут-то с быстротой громкого крика распространилась радостная для купцов весть: Томпсон меняет так, как меняют все, – он не стал подводить тех, кого вчера называл друзьями.

Были, конечно, и расхождения: русский табак и русскую водку брали охотней, и Томпсону пришлось дешеветь, зато чай, материя, порох, разные безделушки старались взять у Томпсона. Но всё это уже было мелочью и обычным делом.

К середине дня страсти стали стихать. Приезжие богачи понабрали всего в меру и начали прижимать купцов. Теперь уже подолгу ходили с пустыми мешками, приглядывались, убеждали не дорожиться.

Сегодня, однако, был «день борьбы», и ярмарка продолжала свою бурную жизнь.

Хорошенько упаковав на нартах товар, выменянный за камусы и олени шкуры, Куриль и Чайгуургин заметили, что старик Петрдэ вообще не трогал свою поклажу.

– Э, да ты ничего не выменял! – удивился Куриль, подойдя к старику дяде, караулившему свои нарты.

– Да я думаю, что, пожалуй, лучше обменять в Нижнем, – сказал Петрдэ. – Мне ведь только чай да табак нужны. А это и в Нижнем есть.

– А порох, а сахар? А песочная еда?

– Ну, это всё ни к чему. Своих оленей порохом убивать не буду, песочную еду – эти оладьи да лепёшки – пусть купцы и попы едят. Мы на мясе и рыбе выросли. А сахар только охоту к еде отбивает: в тундре, слава богу, ягоды много.

– Да тебе выгодней здесь сплавить камусы и шкуры! В Нижнем только песка возьмут! – рассердился Куриль.

– Не возьмут камусы – и ладно. Место в тордохе найдётся.

– Вот что, дядя, получится: в Нижний приедешь – разворуют твою поклажу. С ярмарки пьяный народ потечёт, баловаться начнут...

– А вот это ты правильно говоришь, – наконец насторожился Петрдэ. – Молодой ум, он, конечно, резвей старого. Об этом я не подумал. Наверно, придётся развязывать воз. Да я ещё тут подумаю хорошенько...

– А чего ж ты, старик, вчера в заезжий дом не зашёл? – спросил Чайгуургин, глядя на его скрюченную руку. – Американец-то за так всех угощал. Напоил, накормил – и ничего не взял.

– Приедешь домой, Чайгуургин, – детям будешь сказки рассказывать, – ответил Петрдэ. – А над стариками смеяться – грех.

– Нет, правда! И Куриль подтвердит. Ты разворотливей будь – времена другие настали.

– Ладно, пойдём борьбу поглядим, – сказал Куриль, напавшая рукавицы.

– ...Даже на Индигирке знают о его скупости, – сказал он чукче. – И зачем ехал?.. Да тут ещё дело не в скупости. Видел, сколько товара на ярмарке? А вспомни, сколько было его лет двадцать назад. Разница?.. Только люди в тундрах живут, как сто зим назад жили...

Море людей столпилось вокруг борцов. Не все, правда, стояли: рядов десять передних уселись на снег, но остальные образовали непроходимую стенку. Чайгуургин ещё мог видеть происходящее в середине, а Курилю не помогла бы и нарта. Они обошли кругом всю толпу – и без толку.

– Дайте-ка мне дорогу! – сказал наконец Чайгуургин, расталкивая стоящих. – Бороться буду.

И их пропустили.

Боролись якут Третьяков Саня и тот самый восточный чукча, что служил разъездным купцом у Томпсона.

Чайгуургин и Куриль сели рядом с Пурамой, Потончей и самим Томпсоном.

Толпа гудела, как Большое Улуро во время шторма: то орали все сразу восточные чукчи, то все сразу якуты – так, волнами, и переливался крик; не молчали и остальные.

Томпсон сидел, обхватив колени ручищами, вздрагивал, качал головой и без конца повторял одно и то же:

– О-эй... О-эй!.. О-эй!

Если Чайгуургин сразу же с головой окунулся в самую борьбу, то Куриля больше привлёк американец. Что означало это «о-эй», на чьей стороне был он? Ему надо было переживать за восточного чукчу, за своего помощника, но он подбадривал одинаково и того, и другого. И вдруг у Куриля мелькнула мысль: да ведь Томпсон – самый чужой здесь человек, ему совсем безразлично, кто кого победит...

Но вот чукча рывком приподнял якута. В воздухе мелькнули новые обутки Сани – и борцы рухнули наземь. Якут был на лопатках. Восточные чукчи издали такой оглушительный крик, что с ближних деревьев посыпался снег.

– О-эй, – спокойно сказал американец и вставил в рот белую папироску.

А Потонча упал лицом вниз и со злости начал бить кулаками по снегу. Видно, сильно не любил он чукчу – такого же подручного американца, каким был он сам. Пурама, переживавший за Третьякова, глянул на Потончу и вдруг закричал:

– Молодец, мэй! Молодец! Хорошо! – Он встал и ушёл на другое место.

Пурама всячески избегал встреч с Потончей, но тот без конца попадался ему на глаза. И охотник знал, в чём тут дело. На днях будут оленегонные состязания, и оставшийся не у дел купчик рассчитывал погулять надармака: в победе Пурамы он не сомневался.

А восточный чукча, расправившись с Третьяковым, не ушёл с середины. Расставив ноги, он стоял, отдыхая и давая понять, что ждёт нового противника.

И тут молча поднялся Чайгуургин. Он бросил Курилю рукавицы и вышел на середину.

По толпе прокатился шёпот. Чайгуургина как борца хорошо знали многие. Однако теперь он был головой западных чукчей, и никто не думал, что он решится опять помериться силой. Но Чайгуургин вышел – и толпа, пошумев, замерла. Ожидали увидеть что-то такое, что запомнится на долгие годы.

Восточный чукча сильно вздохнул, гаркнул на выдохе и неожиданно накинудся на огромного Чайгуургина.

Никто в точности не успел разглядеть, что и как произошло. Все только увидели короткую схватку, после которой Чайгуургин грохнулся навзничь, а восточный чукча вдруг начал пинками бить его в бок.

– Эй, нельзя! Стой! – закричали ближние.

Те, кто сидел, повскакивали на ноги, задние немедленно напёрли на них. Опасаясь давки, вскочили и заправили ярмарки – богачи и купцы. Американец испуганно осмотрелся и стал нервно натягивать чёрные меховые перчатки и обминать кулаки.

Куриль, Лелехай, Пурама и ещё какие-то люди оттолкнули восточного чукчу, быстро подняли Чайгуургина, лицо которого перекосилось от боли, и повернулись к борцу, ожидая ответа.

– В пах ударил меня, сюда ударил меня! Это – по правилам? – тяжело дыша и побледнев не то от злости, не то от страха, сказал драчун.

– Он сам налетел, – проговорил Чайгуургин. – Я не хотел... Я бы и так его положил. Нечаянно вышло...

И голову чукчей под руки повели сквозь толпу.

Поравнявшись с американцем, который снимал перчатки, Куриль опять услышал «о-эй», сказанное удивительно безразличным голосом. «Прав был Потонча, – проскользнула мысль. – Ему всё равно... Сейчас белую папироску достанет». Чтобы убедиться в точности своих мыслей, он оглянулся. И верно – американец пустил над головой дым и уже повернулся к кругу, на который вышел обнажённый по пояс второй восточно-чукотский борец.

День был солнечный, тихий. Состязания продолжались. По примеру восточного чукчи борцы теперь выходили на круг в одних меховых штанах и камусах.

А Чайгуургин в это время уже лежал в яранге Тинелькута и охал. Пальцами он нащупал два переломанных, хрустевших под кожей ребра.

Вяло прошёл следующий день большого обмена. Соревновались в беге и прыжках мужчины, соревновались красотой наколок на лице женщины – а обмен шёл спокойно, будто бы нехотя.

Но ярмарка так не могла кончиться – и все это знали. Все – и те, кто таил самое ценное – песцовые шкурки и мамонтовые клыки, и те, кто ещё крепче берёт равноценное – товары, которые нельзя отдать за камусы, пыжики да оленьи шкуры.

И однажды терпение обеих сторон оборвалось.

День этот был очень бурным.

Всё началось с оленегонных состязаний. Богачи выставили по одному оленю на приз, и приз получился не маленьким – в пятьдесят три оленя. Ещё вечером Тинелькут пустил слух, что юкагир Пурама не только мастак арканить, но и ещё большой мастак схватывать любой приз на гонках. Рассказ Тинелькута рано утром повторил Потонча, пришедший помочь Пураме, и теперь этот рассказ выглядел так. Гонщику-юкагиру будто бы помогает сам бог: олени его не бегут, а летят – люди будто бы видели, что на снегу во многих местах не остаётся следов от копыт, ещё удивительней то, что бесполезно срезать лямки его упряжки – чукча Кымыргин будто бы может подтвердить это, он срезал лямки у самого финиша, но Пурама забрал приз.

Впрочем, не в одном Пураме было дело. Люди хорошо знали и Кымыргина, и других отчаянных гонщиков, и народу пришло на состязания много – считай, вся ярмарка.

Состязания, однако, прошли довольно спокойно, а никакого чуда не произошло. Просто Пурама вырвался далеко вперёд, ему никто не помешал – и он поддел ногой обруч, спрыгнул с нарты и шагом, вразвалочку направился к табуну.

Протаптывая широкую дорогу между деревьями, ярмарочный люд вяло потянулся обратно. Но тут всех разом охватило какое-то тревожное нетерпение. Все будто вдруг поняли, что проспали самое важное дело, что кто-то хитро воспользовался общим увлечением игрищами. И толпа дружно устремилась вперёд, многие побежали, а важно шагавшие группами богачи моментально рассыпались, перемешались с толпой.

Поначалу тревога показалась напрасной. Люди увидели женщин, столпившихся за домами, увидели куски яркой материи, развешанные на перекладине, и успокоились: кто-то из купцов заманил женщин состязаться в беге. Ну и всем вдруг стало весело: ничего нет потешнее этого зрелища. Но успокоение длилось недолго. Люди увидели подручного американца – восточного чукчу, который шагал к перекладине, неся в руке небольшую коробку.

Иголки! Американец ставил на приз иголки!

Вот тут-то и наступило всеобщее пробуждение. Песцовые шкурки по-настоящему в ход ещё не пошли – и появились иголочки. Не надо было иметь большого ума, чтоб догадаться: если американец ставит иголочки на приз – значит, их у него много. За десяток иголок любой чукча, любой ламут, любой юкагир не пожалеет двух шкурок. Потому что в тундре нет ничего дороже иголки – она одевает, спасает от холода, она

бережёт вещи, она прославляет вышивальщиц-невест; без неё невозможно жить. Но эта могучая остренькая спасительница невероятно коварная: была в руках – и пропала, выскользнула – и хоть переверни все жильё, хоть вой волком – а не найдёшь...

Худой, узколицый Мика Берёзкин даже закрыл глаза и зашатался, словно у него в голове потемнело, когда он понял, какую совершил ошибку. У него в амбаре хранился запас иголок, предназначенных для самого верного барыша: он всегда поддерживал высокую цену на них. Теперь произойдёт непоправимое. Люди нахватают вдоволь иголок, а его будут лежать и ржаветь, их придётся сбывать за бесценок... И как он не догадался взять их с собой, хотя бы на всякий случай – разве тяжело их было везти!.. Он поглядел в сторону острога – и чуть не заплакал. Можно послать человека, но ведь опередить американца теперь не удастся – день на середине, а завтра будет поздно. И всё-таки Мика подозвал Якова Габайдуллина – своего помощника и сказал ему, отходя в сторону:

– Скорее – в острог... Возьмёшь все иголки, все до одной. Гони собак, скорее! Ни одного лишнего шага не делай...

А купец Саня Третьяков смотрел на восточного чукчу, который втыкал иголки в куски материи с такой бессильной ненавистью, что его, наверное, пожалел бы сам американец Томпсон.

Зашевелилась ярмарка. От толпы в разные стороны – к тордохам, ярангам и нартам – бросились сломя голову подручные богачей. Сейчас руки их развяжут мешки с драгоценными шкурками – и уже ничто теперь не остановит горячку. Зашушукались и купцы. Иголкам Томпсона надо противопоставить хоть что-нибудь. Людям тундры не прожить без охотничьих причиндалов – без пороха, гильз, дробы, ножей, капканов; надраенный медный чайник сведёт с ума любого богача, фарфоровая кружка или тарелка – это богатство, аршин цветастой материи заслонит невесте красоту северного сияния... Есть это всё у купцов, есть. Но иголки...

– Первый приз – коробка иголок, два напёрстка и мах материи! – объявил по-чукотски помощник Томпсона. – Второй – полкоробки иголок, один напёрсток и мах материи, третий – мах материи и пять иголок...

Это было ужасно. Сколько же у американца иголок, если он ради потехи отдаёт больше полутора коробок?!

А нетерпение женщин уже угрожало непоправимым скандалом. Они могли без разрешения кинуться к жерди, и состязание тогда превратилось бы в потасовку. Вот кричат и размахивают руками три чукчанки, ссорясь из-за места возле черты, вот переступила эту черту на снегу красивая молодая девушка – и ссорщицы немедленно хватают её, тянут назад, но сами тоже переступают черту – их тоже хватают и тянут назад. Из толпы между тем выскакивает старуха со сморщенным, как почерневшие оленины мозги, лицом – она тянет за руку десятилетнюю внучку и оглядывается назад – в глазах у неё и бешенство, и недоумение: она определённо не понимает, почему люди ждут и не бросаются за подарками... Ближе всех к жерди кучкой стоят ламутки с Анюя и Омолона. Побегут только чукчанки, а они – ни за что; бежать на глазах у мужчин – это для них позор. Однако лица стыдливых ламуток горят такой отчаянной завистью, что, кажется, у людей не бывает более силь-

ной борьбы всемогущего желания со всемогущим законом. Да что ламутки! Сейчас и мужчины грубо оттеснили бы этих чукчанок, если б Томпсон разрешил. Легко сказать – коробка иголок задаром!..

Весь сияющий и в меру злой, восточный чукча заметил взмах перчатки своего хозяина – и крикнул по-американски, рубанув воздух рукой и даже присев от старания:

– Фовод!

Толпа чукчанок ринулась вперёд. Сразу же эта толпа, ожесточённо заработавшая ногами, будто отбросила от себя лишний груз – старуха со сморщенным лицом упала на первых шагах, высоко задрав ноги. Громкий хохот всей ярмарки был беспощадным ответом на её дремучую неосведомлённость в жестоко-потешных законах игр. Этот хохот не пощадил и её внучку, которая тоже упала и, быстро вскочив на ноги, залилась с испугу, а может, от досады, отчаянным плачем. Народ двинулся за бегущими женщинами, теперь уже забыв обо всём на свете.

– Ну глянь, ну ты глянь – как медведи, бегут! – тормозил ламут другого ламута. – И зады без хвостов, и ноги назад не откидывают...

– Срамота!

– Чистая срамота!

– Ги-ги-ги...

– А ноги-то вон у той кривые, как оленье рога!..

– Ой!.. споткнулась. Это самая длинная... упала! Га-га-га...

Неожиданно хохот, крики, улюлюканье стихли: путь женщинам преграждал высокий сугроб. С разгона передние сразу попадали. Чуть отставшие немедленно настигли их – и какое-то время невозможно было понять, что делается там, в сугробе. Были лишь видны барахтающиеся тела да летевшие во все стороны ошметки снега; в наступившей тишине слышались хруст ледяной корки сугроба и отчаянное пыхтение завязших женщин. Но вот из этой кучи вырвалось несколько человек – и вся ярмарка заорала сотнями глоток; одни кричали от азарта, но мужья бегущих – по-разному: одни радостно, другие зло, третьи ожесточённо, четвёртые лишь мычали и охали от досады.

За сугробом дорожка была очень узкой, стеснённой кустами и снежным заносом. Десятерым первым женщинам здесь никак нельзя было по-честному состязаться – передние не уступали дорогу. И поневоле началась потасовка. Вторая оттолкнула в сторону самую первую. Та чуть не упала, а когда поняла, что случилось, – бросилась из последних сил за обидчицей, догнала её, схватила за волосы. Моментально дерущихся опередили другие, но и среди них завязалась схватка. Раздались крики, кто-то отлетел в сторону и плюхнулся в снег, кто-то попытался обежать стороной дерущихся, но завяз по пояс в сугробе над ямой.

Шутки уже не были шутками, и мужья не могли молчать. Тем более что заветная жердь была недалеко.

Это твоя схватила мою за волосы. Зачем схватила?

– Толкаться не будет! Пусть толкает тебя.

– А ей надоело глядеть на кривые ноги. Хлыстом свою погоняй по тундре – может, ноги прямыми станут...

– С кривыми – да первая. А за такие слова – убью!

– Том! Том! – перебил спорщиков громкий голос. – Ты сейчас иголками торговать будешь или жён мирить?

– Мужиков будет мирить! – ответил за американца другой весельчак.

Томпсон икал от смеха и огромным клетчатым платком вытирал слёзы. Другой рукой он держался за живот, который вздрагивал так, будто в нём бился телёнок.

Четыре женщины резко рванулись вперёд, оставив позади и кривую, и её соперницу.

Толпа загоготала, как табун лошадей.

А у четырёх женщин от смертельного напряжения и близкого счастья глаза перекосились или залезли под лоб – вместо глаз виднелись только белые точки. Одна из четырёх бежала чуть впереди; чтобы обогнать её, вторая сняла рукава – и керкер её поволочил по снегу. Третьей вдруг стали мешать толстые, длинные косы – она засунула их в рот и прикусила зубами. Четвёртая неожиданно выдохлась, руки её повисли, а ноги подкосились. Но в этот момент третья – та, что держала косы в зубах, – поскользнулась и грохнулась на спину. Увидев это, потерявшая силу и надежду воспрянула духом, зачатила ногами. Однако глаза её не всё видели – она наступила на рукав, волочившийся по снегу, ноги её разъехались, и она шлёпнулась. Тут же упала вбок и та, которая волочила свой керкер. Тогда вперёд, словно из ямы медведица, бросилась упавшая на спину: она не выпускала изо рта косы, зубы её были оскалены, и понеслась она почти на четвереньках.

А толпа заорала что было мочи: самая первая схватила двумя руками яркий кусок материи, скомкала его на бегу, прижала к груди – и упала в снег, как убитая пулей. Полная коробка иголок и напёрстки, привязанные к материи, достались одной, всего одной женщине! И подступившая к самой жерди толпа шумела, приплясывала, подпрыгивала – будто шаманила. И не было ей никакого дела до того, что женщина потеряла сознание, что к ней бросился муж, который никак не мог вытащить из её окостеневших рук богатой добычи.

А между тем женщина, закусившая косы, нырнула под жердь – и все увидели, что второй клоч материи остался на месте. Упала женщина, но не замерла, не потеряла сознание – она сразу же села и начала медленно водить по сторонам мутными, сильно перекосившимися глазами. Видно, сплошная чернота была в её голове.

Но четыре руки, разом сдёрнувшие материю, она разглядела. И тут же вскочила.

– Мой приз! Отдайте! Я не успела схватить!

– Ишь ты какая! Она не успела! А я успела!

– Нет, я, я первая сдёрнула!

– Как это первая ты? Все видели – я! Не ври!

– Ты не ври!

– Я первая прибежала – мой приз!

– Не успела – бери третий.

И, глухая, тряхнув косами, бросилась к последнему призу. Но вместе с её руками в материю вцепились ещё четыре руки.

– Уходи! Не твой!

– Как – не мой? Кто прибежал раньше? Отдайте – моя материя.

– Ага! Погналась за вторым – не сумела сдёрнуть. Теперь за чужой ухватилась? Уходи!

И сильная рука ловко поймала её толстую косу, рванула в сторону.

– Ай-ай! – закричала несчастная.

А материя треснула с краю и поползла вдоль по нитке, рыча, как медведь.

– Так вам и надо! Тьфу!

Но сдаваться было нельзя, и женщина с красивыми, теперь растрёпанными косами снова бросилась к своему законному куску материи, который перетягивали туда-сюда всё те же две женщины.

– Не мой третий приз! Мой второй. Отдайте. Мужчины видели – я второй прибежала.

– Ага, оборвали тебе косы, сюда пришла! Уйди – а то волосья твои с кожей вырву.

– Ах, так! Вот вам!.. – И рассвирепевшая, замордованная чукчанка в момент перекусила край материи, рванула её руками. – И вот вам ещё! – Она сильно ударила по коробке, болтавшейся на шнурке. Иголки брызнули вверх, словно дождь. – Не мне, и не вам!

И тотчас обе женщины упали на снег, пытаясь прикрыть драгоценное место. Обе они стали быстро и жадно сгребать истоптанный снег. Но люди знали, что они не правы, и тоже бросились собирать иголки – мужчины, женщины, дети.

А чукчанка с растрёпанными косами стояла в стороне; у неё дёргался подбородок, а по бледным щекам катились слёзы.

Куриль, расставив ноги, смотрел из-под бровей вниз на ползающих и пересыпающих из ладони в ладонь пожелтевший снег. И когда он увидел старого чукчу, который вроде собаки лицом разгребал снег, очевидно, надеясь, что иголка воткнётся в подбородок, нос или лоб, – поднял голову, обвёл взглядом верхушки деревьев – и вдруг уставился на Томпсона.

Эта игра кончилась. Теперь начиналась другая, размах и законы которой знали одни богачи.

Американец без ошибки понял взгляд Куриля. Он повертел выпученными глазами, собрал губы в кружок, пососал одну щёку, потом другую. Что-то прикинув в уме, он наконец чмокнул губами, поднял руку в перчатке и пошевелил огромными пальцами. Около него сразу же появился человек, которого богачи и купцы считали до этого посторонним. Все напряжённо следили за тем, что будет дальше, и одновременно разглядывали ещё одного подручного американца. Это был опять же восточный чукча среднего роста с широченными плечами; бросался в глаза его маленький, но острый, крючковатый нос, похожий на клюв совы. Остроносые люди часто очень подвижные. Этот был, однако, удивительно собранным, спокойным, даже холодным, медлительным. В малоподвижных глазах его отражалась такая самоуверенность, точно был он, по крайней мере, братом Томпсона или помощником исправника Друскина...

Не спеша чукча достал из кармана коробку, выгреб из неё часть иголок, высыпал их в варежку и подал неполную коробку американцу.

– Люди, люди! – сказал Томпсон по-чукотски. – Нехорошо кончилось состязание, ой как нехорошо. Надо по совести делать всё. По совести. Только по совести. Я не затем выставлял призы, чтобы женщины ссорились. А драться вовсе нехорошо. Всё испортили сами. Теперь спра-

ведливость может восстановить только моя доброта. На, лэди с косами, получай свой приз... – И Томпсон протянул руку с коробочкой.

Молодая женщина ловко шмыгнула через людей, не хотевших вставать с земли, цапнула, словно зверёк добычу, коробку и мигом исчезла в толпе.

– А теперь женщины – все женщины, которые состязались сегодня, подходите ко мне, – сказал американец. – Я каждой подарю по иголке. На память. А девочке... Где девочка с бабушкой? Девочке я подарю две...

Чукча с кривым остреньким носом встал перед Томпсоном и через плечо подал хозяину вторую коробку с иголками. И тут же с силой, не покачнувшись, не изобразив на лице никакой злости, оттолкнул ламутку, которая не выдержала и протянула к Томпсону руку.

– Так вам, ламуткам, и надо! – сказал Ниникай – младший брат богача Тинелькута. – Бегать им совестно. Дуры...

– Ну и помощников себе подобрал амарыканкиси, – сказал по-юкагирски, вроде бы сам себе, Пурама.

– Не тебе чета, – буркнул Куриль. – Ходишь по ярмарке с разинутым ртом. Люди вон уже мешки с песцами трясут...

– А я из любопытства приехал.

– Любопытствовать надо с умом.

– Стараюсь с умом...

Мика Берёзкин не смог до конца вынести этой картины щедрости американца. Брызнувшие дождём иголки мелькали перед его глазами, куда бы он ни посмотрел. Он, правда, утешал себя мыслью, что Томпсон сильно пострадал, отдав бесплатно целых три коробки людям. Но если у американца этих коробок сто? Тогда он года на три вышибет козыри из его рук... Чтобы дальше не мучиться, Мика решил уйти.

Он осторожно протиснулся к Курилю и тихо сказал:

– Учти, Афоня: американские иглы круглые, потому ломкие – для материи только. А шкуры шить лучше трёхгранными, русскими. Яков мой к вечеру привезёт русские. Чайгуургину скажи...

– Ладно. Сам разберусь.

Раздав всю коробку, Томпсон легонько толкнул чукчу – и тот, не оглядываясь, подал ему варежку, в которой было ещё полкоробки иголок. Вытряхнув на свою огромную ладонь и эти иголки, он продолжал раздавать их, теперь уже каждому, кто протягивал руку.

– Шагай к нартам – тащи мешок, – тихо приказал Куриль Пураме. – Туда, к палатке тащи.

С кислыми лицами, уже понимая, что американец взял на ярмарке верх, купцы начали расходиться, мучительно соображая, что делать сейчас, как торговать в ближайшие годы.

Томпсон возвращался к палатке один. Он шагал медленно, разглядывая то макушки деревьев, то рассыпавшуюся по большой поляне толпу, сплошь одетую в шкуры. Перчатки он нёс в руке. Было тепло, ярко светило солнце, в воздухе так и висел запах близкой весны. Томпсон начал было высвистывать какую-то песню, но быстро оборвал её: он увидел впереди себя человека, в котором узнал Потончу.

Поджав губы, Томпсон коротко свистнул.

Потонча немедленно оглянулся и сразу остановился.

– Что невесёлый нынче? – спросил американец, шлёпнув его пер-

чатками по спине. – Обиделся на меня? О, обижаться не надо. Скоро в Америку я поеду. Нас ждёт большая торговля. Очень большая... Только людей у меня мало. Взял недавно ещё двух – пусть подучатся. А ты всё умеешь, ты подождать можешь...

– На золотишко моё намекаешь? – задрал голову и искривил лицо Потонча. – Э-ге-ге! Нет у меня ничего. Урвал немного, да за эту зиму всё и спустил.

– Не надумал жениться?

– Жениться? Зачем? Интересно каждый раз свеженькую... Тундра белая.

– О-эй! – ответил американец и оттолкнул его в сторону. Однако сейчас же свистнул. Потонча опять оглянулся. Томпсон погрозил ему пальцем: разговор, мол, никого не касается.

Потонча неопределённо осклабился и зашагал быстрее.

Сердце Томпсона, в привычном понимании, было не на месте. Оно стучало сразу в двух местах – в большой палатке, до которой оставалось двадцать-тридцать шагов, и в тёплом, увешанном зеркалами магазине, до которого не одна тысяча миль. И всё-таки сердце американца было как раз на месте – потому что его и здесь, и там ласкал, нежил белый песцовый мех, белый и мягкий, как гагачий пух, как облака...

Сейчас Томпсон отогнал от себя все тревоги. Да, свора этих разнолицых – узкоглазых и курносых – купцов останется в дураках. Но разве он плохо относится к ним, разве не угождает? А торговать пусть учатся: торговля дело такое – обижаться можно только на самого себя.

Сегодня у Томпсона нет конкурентов – он знает, он всё знает. На ярмарке даже не появился его земляк Свенсон: здесь ему нечего пока делать...

В самом лучшем расположении духа американец и подошёл к своей огромной палатке, где уже сустились оба восточных чукчи.

У закрытого входа – десятки людей, половина которых ему знакома – богачи тундры. И знакомый богач, и незнакомый, и работник богача – все топчутся возле мешков; лица у всех напряжённые, жадные. Это не их мешки – это мешки Томпсона...

– Том! Том! Иголки!..

– Будут. И по дешёвке будут. Только немного. Я не стану жилы из вас тянуть. – Американец откинул шкуру на брезентовый верх.

И толпа сразу вломила в палатку.

Томпсон бросил перчатки через штабель ящиков, прикрытых морской парусиной, за которым стояли наготове его помощники – чукчи.

– Одну коробку иголок меняю на два песка! – объявил он и вытаращил глаза: лица людей будто распёрло – рты пораскрывались, узкие глаза стали широкими и страшными.

Это была неслыханная цена. За пятьдесят иголок всего две шкурки!

– Сколько ж в коробке... иголок? – робко спросил кто-то.

– Как всегда: пять десятков.

С толпой произошло невероятное. Все разом нагнулись, потом на них будто обвалилась огромная снежная глыба, под которой заворочались придавленные люди, высвобождая руки и головы. И эта шевелящаяся масса двинулась на Томпсона.

– Том! Мне. На. Самые лучшие!

– Том! Том! Глянь на мои: пух, не шкурки!
– Дай коробок! Дай, дай! Бери три песка! Бери.
– Восемь песцов даю! Мой коробок!
– Восемь линялых? Лучше четыре хороших! Том – на. Бери, Том, не пожалеешь.

Американец был могуч ростом, но руку с коробкой он поневоле протянул вверх, боясь, что иголки опять разлетятся брызгами.

– Тише, пожалуйста! – сказал американец. – Слово – моё, слову хозяин я. Беру твои шкурки, Куриль. Две – как сказал.

Пурама взмахнул рукой – и две шкурки, как две белые птицы, мелькнули в воздухе.

Чукчи сцапали их, ловко спрятали под прилавок и, будто два близнеца, одновременно стукнули о прилавок коробками.

– Мне теперь! Шесть шкурок даю. Сколько хочу, столько отдам.

– Том! Том! Тоже шесть. Только разницу видишь?

– Я даю десять! Десять. Том, десять! Лучший товар. Десять! – это кричал ламут, забывая все голоса. Не вытерпев, он швырнул за прилавок целую связку. – Мой коробок! Больше никто не даст.

Томпсон не удержался – отдал коробку ламуту. Но в руке у него уже была третья коробка.

– Двенадцать! – вдруг заорал одуревший от волнения Тинелькут. Он бросил сначала одну, а потом другую связку.

И снова чукчи стукнули коробочками о прилавок.

Стоя сзади бурлящей и орущей толпы, Мика Берёзкин не находил в себе силы уйти. Так бывает, когда глядишь на покойника: очень страшно, а глаза смотрят, не отрываясь, а ноги будто прилипли к земле.

– Тоже двенадцать! С реки Раучуа. Лучшие шкурки! Песцы только там настоящие. Здешние – мышечники⁷⁵.

– Это мои мышечники?! А ну, глянь – это плохой мех? Плохой?

– На берегах Раучуа лучшие шкурки! – стоял на своём восточный чукча. – Пусть скажут помощники Тома...

«Раучуа... Раучуа... Речка Раучуа...» – В голове Мики Берёзкина было пусто, как в тундре, накрытой чёрными тучами. И в этой пустоте-тундре, будто одинокий заяц, прыгало туда-сюда слово «Рау-чуа... Рау-чуа...»

Бессмысленно повторяя это слово, Мика выбрался из палатки и пошёл, сам не зная куда и зачем.

Понастоящему он опомнился, лишь когда увидел себя на разъезженной дороге под высокими деревьями. Между стволами леса проглядывало круглое, без лучей, солнце. Кажется, вечерело. Да, а зачем он здесь? Куда ведёт эта дорога? «А-а, – вспомнил Мика, – въезд из острога... Габайдуллин... Яшка... Где ж его черти перехватили?»

Мика заколебался: идти ли ему навстречу посыльному или же возвратиться к людям, на ярмарку. «Нет, всё пропало, – вдруг решил он. – Скоро стемнеет».

И быстро зашагал к заезжему дому. В груди его всё горело, и он знал, что душа просит водки. С трудом открыв плохо обшитую шкурами дверь, Мика Берёзкин вдруг ожесточённо захлопнул её и зашагал опять к палатке Томпсона.

⁷⁵ Песцы-мышечники – то есть песцы голодающие, питающиеся мышами.

А там, под натянутым на колья брезентом, творилось что-то невиданное. Прилавка словно и не было – он утонул под горами шкур. Рядом с покрасневшим хозяином стоял на ящике один из его помощников и потрясал коробкой, второй забрался на бочку и поправлял вороха, а все вместе они будто плавали в белой клубящейся туче.

– Восемь очень хороших даю!

– Десять!

– Том, Том – тоже десять! Но ты возьми в руки, только возьми! Обратно уж не отдашь.

И связка полетела прямо в лицо Томпсону.

– Бери, не жалея!

Томпсон поймал её и не только ничуть не обиделся, но даже обрадовался: он был добр, они были добры – и всё тут происходило посвойски. Один только Мика Берёзкин видел всё это иначе. Американец купался в мехах и блаженствовал, а богачи понимали его...

– Десять давал – двенадцать даю! Том! Том, я ещё ни одной коробки не взял!

– О, так нельзя. Вот коробка твоя.

«Что он делает! Что только делает, – сильно зажмурился Мика Берёзкин. – Богачи же купцами станут! Купцами... А мы? О-о, что будет на следующей ярмарке! Порох задаром, чай задаром, табак задаром...»

Чуть не закричав вслух, Мика выскочил снова наружу – и едва не упал, налетев на собачью упряжку.

– Яков, ты! Дай. Дай скорей. Они грабят! Там – грабят! – Трясущимися руками Мика сорвал с большой коробки засаленную тряпицу, потом крышку. – Где, где ты был, где пропал? У-у... – зарычал он медведем. – Убью, променяю иголки – убью...

И он кинулся в дверь.

Тут, в палатке, Мика немедленно преобразился.

– Иголки! – закричал он весело и изо всей мочи. – Русские! Трёхгранные! Лучшие иголки. Трёхгранные. Не ломаются, не теряются – из рук не вываливаются. Русские иголки – лучшие! Одна бумага – десять иголок, десять иголок – один песец!

Мика кричал, не обращая внимания на шум и суматоху. Он сразу увидел, что здесь произошла неприятность.

Связки шкурок, разом брошенные Томпсону, запутались, некоторые повалились.

– Не моя эта связка! Мою отдай, – кричал один.

– А зачем кидал – мне коробку подали! – зло швырнул через себя связку другой. – Где моя?

– У меня в связке не хватает двух шкурок!

– Чего орёшь? У меня целой связки нет. Стойте. Ищите.

– Люди, не топчите мои! Шкурки топчете!

– Как – твои? Это мои.

– А где мои?

– ...Русские иголки! Русские – лучшие иголки. Трёхгранные! – продолжал кричать Мика Берёзкин, надеясь, что суматоха образумит людей, заставит опомниться.

Люди и в самом деле опомнились. Многие повернулись к нему, трясая связками шкур. Однако и Томпсон не зевал.

– Одна коробка, пятьдесят штук – четыре песца! – закричал остроносый чукча. – Коробку за четыре песца – подумайте, что говорю!..

Однако круглых иголок уже нахваталась вдоволь, и теперь многие бросились к Мике. Но и от Томпсона не отвернулись, тем более что он брал уже все без разбора – не самые лучшие, даже залинялые шкурки.

Очень быстро Яков Габайдуллин навешал на обе руки по пять – шесть связок.

Мика радовался: он знал, что бумажек с иголками у него не так много и что его барыш будет похож на мышонка перед барышом-медведем Томпсона, однако же иголки не останутся никому не нужными, не поржавеют.

Этого не мог знать американец. Он испугался: земля всё же российская, во все её тайны он не проник. А глаза его видели, что мешки богачей до конца не опорожнены и что с нарт то и дело подтаскивают новые.

– Кто возьмёт сразу две коробки иголок – сто штук – и ружьё? – вдруг закричал он по-чукотски и поднял над головой что-то такое, от чего можно было только зажмуриться: два ствола – как два луча солнца, – не стреляя, они уже стреляли, возле курков – блестящие изрисованные накладки, приклад изогнут – будто приготовился прыгнуть, рука, наверно, так и влипнет в тонкую шейку приклада...

Американец вертел ружьё в одной руке, и все видели, что оно очень лёгкое.

После дикого гвалта палатку захватила такая тонкая тишина, что было слышно, как дышат собаки, загнанные Яковым Габайдуллиным. Мика Берёзкин так и замер на месте с протянутой рукой, в которой держал бумагу с иголками. К этой тишине и подоспели старик Петрдэ, за которым посылал Куриль Пураму, и Чайгуургин, принесший ещё один совсем небольшой мешок.

– За ружьё – пятнадцать шкурок, – сказал остроносый чукча, неизвестно как узнавший цену Томпсона. – И сто иголок – десять. Всего двадцать пять шкурок. Ружьё новое, такого здесь нет ни у одного человека. Это ружьё оправдывает пятнадцать шкурок не один, а пятнадцать раз. Ну, кто удал? Удалой всегда будет богат!

Не до конца выслушав эту речь, старик Петрдэ повернулся и очень спокойно вышел на волю. Здесь он высморкался и, словно нигде не был, заковылял обратно к яранге.

Тишина держалась недолго после слов чукчи. Её с безбожной смелостью нарушил старик Тинелькут. Он поднял мешок и кинул его на ворох шкур между Томпсоном и чукчей.

– На. Тут больше, чем двадцать пять. Отдай моё ружьё.

– Нет, погоди. Погоди! У меня шкурки с берегов Раучуа! – сказал восточный чукча и поставил свой мешок на мешок Тинелькута. – Погоди... Раз – и взял! Нет, так не получится. У меня самые белые и пушистые шкурки. Снега белей... Бери, Том. Отдай ружьё и иголки.

И только теперь все остальные поняли, что через один миг взять ружьё будет уже невозможно. Ничего нет страшней и упрямее чисто мужской страсти. Богачи вдруг попёрли вперёд. Раздались короткие, отрывистые голоса. Все сразу стали не просто чужими, а вроде бы никогда и не видевшими друг друга. В глазах – кровавое бешенство, лица – в

суровых складках, локти у каждого растарашены – не могли напирать, но дорогу мне дай...

Почувяв неладное, чукча сбросил оба мешка под ноги толпы.

– Не класть ничего, пока не будет согласия! – зарычал он. – Сейчас цену набавлю.

Пурама хорошо знал, что Куриль не полезет. Поэтому он рванулся назад и выскочил из кряхтящей, щипящей, осатанелой толпы. Он остановился у самой двери и начал быстро-быстро моргать, играя желваками скул и кадыком. Наплывшие слёзы размыли всё перед ним, и в этой неясной, будто залитой мутным жиром картине чётко сверкали только полоски ружейных стволов, поворачиваясь и так, и этак...

Неизвестно, чем бы всё это кончилось и за какую цену загудело бы диковинное ружьё, если бы не Чайгуургин. Загородив искалеченный бок мешочком, морщась, кряхтя и обливаясь потом от боли, он упрямо протискивался вперёд. И когда до Томпсона осталось подать рукой, он поднял над головой мешочек, тряхнул его – и выкинул на белый ворох десять чернобурых лисиц. Чернобурые шкурки медленно, будто живые зверьки по пушистому снегу, сползли в ложбинку и замерли.

– С Ясачной реки. Из тайги. Три раза стоят двадцать пять шкурок песка. Гок! Гок! Возьми мои лисьи шкуры.

Напрасно он объяснял и хвалил товар. Американец и без слов видел, что выпрыгнуло из чужого мешка и влетело в его ещё не завязанный огромный мешок. Он опустил ружьё и рывком подал его Чайгуургину.

– На, возьми. Шкурки не пожалеешь, – сказал он, но сам не удержался и схватил один из десяти почти готовых воротников.левой рукой он привычно колыхнул мех, правой погладил его, однако тут же отбросил шкурку, будто она ничего особенного собой не представляла.

– Эй, мэй, где ж ты такой товар достаёшь? – спросил Ниникай, брат Тинелькута.

Обалдевшая от неожиданного оборота дела толпа жаждала услышать от счастливец хотя одно слово. А Чайгуургин, одновременно морщась от боли и улыбаясь, сказал:

– У жены под одеялом поймал... Ты ещё не женат? Смотри, как бы под одеялом у твоей красивой невесты кто-нибудь раньше тебя не поймал чернобурку...

Толпа закатилась хохотом. Смеялись все – смеялся Томпсон, смеялись его злые помощники, даже смеялся Куриль. Это было концом напряжения, в котором прошёл большой и горячий день. Молчали только Мика Берёзкин да Пурама. У Мики ещё оставалась половина коробки иголок в бумажках, а Пураме вдруг сделалось нехорошо, от всего нехорошо – от счастья Чайгуургина, от гогота богатых людей, вообще оттого, что он приехал на эту проклятую ярмарку.

И всё-таки Пурама сказал Чайгуургину, когда тот подошёл к Курилю:

– А патронов-то нет. Чем стрелять будешь? Тут нужны патроны Osborne.

– Эй, мэй! – восторженно, опомнившись, чукча. – Патроны! А где патроны? Дай патроны – бери десять песцов!

– О, патроны? – выпрямился американец, гладивший шкурки. – Мэй, мы же друзья! Много будет патронов. Ничего не стоят они. Только приходи завтра: устал я.

Он вдруг бросил шкурки и направился через толпу прямо к Курилю и Чайгуургину.

– О, господа, – сказал он, осторожно дотрагиваясь голыми ручищами до их спин. – Мы ещё хорошо не знакомы. Я буду очень рад видеть вас завтра в заезжем доме. Я всех позову, а вы приходите раньше... Послушайте, люди! – обернулся американец к толпе. – Если я никого не обидел, завтра к вечеру заходите выпить хоть по полкружки. Я угощаю. Глотки размочим, а то накричались так, что после ярмарки рывкать будем...

– По-заячьи разговаривать будем! – крикнул кто-то в ответ.

И толпа недружно захохотала на прощанье, двинувшись к выходу.

– Если он никого не обидел!.. – пробурчал Мика Берёзкин, завёртывая коробку в тряпицу. – Ну ничего: будет ещё ярмарка...

На Приколымье опускались потёмки.

ГЛАВА 12

Последний день ярмарки был суматошным, каким-то неровным, растрёпанным. Все как будто метались на нартах по кочкарнику, отыскивая, что бы такое схватить или во что выстрелить. Да всё оно и впрямь было так. Каждый, кто приехал сюда, уже сделал своё главное дело, и теперь оставалось лишь нарываться на случайную вещь, придумывать, на что бы выгоднее променять остатки, искать шаромыжника или менялу, которому позарез надо сбыть опоздавший товар. С утра ещё мелькали песцовые шкурки в палатке Томпсона и в ярангах других купцов. Но охотничьи принадлежности и припасы оказались у всех, и сделки тут проходили с прижимом и быстро: есть шкурки – бери, нет – уходи. Этот товар похлеще иголок – на дешёвизну надеяться нечего... Опростили тундровики мешочки, а многие пожалели при этом, что чересчур увлеклись иголками, – опростили и вышли искать гостинцы, подарки, дешёвую или случайную вещь.

Пурама в это утро проснулся рано: его, как и всех, кто ночевал с Тинелькутом, разбудил Чайгуургин. Голова чукчей стонал и охал. Сперва все молчали, как будто раздумывая, какие лучше слова сказать. Было ясно, что Чайгуургин вчера сделал сам себе хуже – больной, с разбитым боком, полез в толпу за ружьём; ружьё взял, а теперь охает. Но шутить было грешно, тем более что и Тинелькут, и Куриль, и Лелехай, и Ниникай, не говоря уже о Пураме и Кымыыргине, сами, не задумываясь, полезли бы за таким ружьём – если бы у них тоже оказались мешки с чернобурками. К тому же Чайгуургину было действительно плохо.

– Полночи не спал, терпел, – пожаловался он. И тут ему стали давать советы.

– Уезжать надо скорее, – сказал Тинелькут. – И шамана Каку вызвать.

– Рёбра никакой шаман не исправит, если они поломаны, – не согласился с ним Ниникай. – Даже Токио. И ушибы не пройдут сразу. Лучше водки выпить.

– Много ты понимаешь! Тебе бы только водка.

– Тут, на ярмарке, слух про русского лекаря ходит, – подал голос Куриль. – Говорят, деревянной трубкой прослушивает, что у человека

внутри делается. И заставляет пить целебную водку. Сразу вылечивает, говорят. Вот бы тебе к нему. Хоть бы только прослушал да сказал, что у тебя.

– Ну? Деревянной трубкой прослушивает? – привстал на локтях Чайгуургин. – Ой!.. Даже подняться нельзя... Это – шаман. Что ж ты мне до сих пор не сказал? Это – шаман. А вчера Кымыргин весь день бежал – искал шамана.

– Не шаман он, а лекарь, учёный! – сказал Куриль. – Царь его от себя прогнал.

– Видишь – прогнал! Царь-то – сын божий. Как же он не шаман, если келе внутри человека прослушивает?! А где этот русский?

– Говорят, в Среднем.

– А-а. А я думал, здесь. Но ничего. Можно и в Средний поехать. А зовут его как?

– Мускевич⁷⁶.

– Ну вот. Конечно, шаман. Сложное имя – Мукевич. Или как ты сказал?

– Мускевич.

– Запиши мне на доску – там прочитают. У них, у русских, лёгкие имена: Попэк, Солон, Бэрчэнов, Майкоп. А это – шаманское имя.

– Пусть будет шаман, – согласился Куриль. – Только ты поезжай.

Чайгуургин начал стонать. А когда боль отошла, неожиданно изменил решение и отверг совет Куриля:

– Ох, нет – не поеду в Средний. Не поможет мне русский шаман. Чукча я.

– Он и якутов, и чукчей лечит. Ему всё равно – так говорят.

– Нет, мне способней Каку попросить. Этот, который меня ноги-то бил, говорят, чукча прибрежный, а не восточный? Алитетом зовут. А прибрежные чукчи, они всегда ненавидят тундровиков. Может, тут вражда какая: всё-таки я – голова... Ружьё-то небось Алитет брал в руки – вот и следы оставил. Пусть Кака келе на него напустит. Да заодно и узнает, зачем приехал этот русский шаман...

Куриль шумно вздохнул, заворочался, сел.

– Ну вот – лучше б не говорил, – сказал он. – Опять по тундре разговоры пойдут...

Пурама не стал слушать дальше. Он отбросил шкуру, встал, подтянул меховые штаны, вышел наружу.

«Опять шаманы, опять грызня», – подумал он, усаживаясь на одну из опустевших нарт Куриля. И сразу всем телом почувствовал, что сегодня – последний день ярмарки, что завтра он поедет домой.

Пурама вздрогнул, зевнул в кулак, достал было кисет с трубкой, но не закурил. Перед ним по поляне, от яранги к яранге, от яранг к деревянным домам сновали люди с мешками, верёвками, ружьями. Многие увязывали на нартах поклажу.

Домой...

Пурама сегодня долго не спал. Из-за ружья не спал. Верней, не из-за ружья. Когда Чайгуургин завернул двустоволочку в шкуру и положил её рядом с собой, Пурама задумался: пойдёт или не пойдёт богатый чук-

⁷⁶ Сергей Иванович Мицкевич – политический ссыльный, врач, друг В. И. Ленина; жил в Среднеколымске в 1899–1903 гг.

ча на то, чтобы поменять эту двустволку на что-нибудь более дорогое? И решил, что не пойдёт; он не согласится отдать её ни за пятнадцать шкурок таких же лисиц, ни за все двадцать. Он – голова халарчинских чукчей, и ему всегда будет приятно похвастаться перед богачами вещицей, какой нет ни у одного человека в ближних и дальних тундрах. Обо всём этом Пурама рассудил довольно спокойно: мало ли что у кого есть, и волноваться тут нечего. Но ему вдруг пришло в голову пойти завтра к американцу и договориться с ним: американец привезёт точно такое же ружьё, а он даст ему за это пятнадцать или даже двадцать чернобурых шкурок. Вот тут-то и заколотилось сердце. Американец наверняка согласится – но где взять столько меха? Где? Перекочевать на Ясачную и добыть самому? Нет, это мальчишество – он же не богат, чтобы самостоятельно перекочёвывать, да и скоро ли один человек настреляет двадцать лисиц! Оставался ещё один путь. Часть огромного стада Куриля – это его, Пурамы, часть. Раз Куриль не выполнил слова, не отдал этих оленей на общее богоугодное дело, стало быть, он взял грех на свою душу, и если Пурама намекнёт – Куриль тут же отрежет часть стада. Вот и ружьё!..

Ружьё у него в руках. И он уже было решил поговорить утром на этот счёт с Курилем. Но шаманы научили Пураму рассуждать, глядеть во все стороны, а не в одну. Что же получается у него? Всемогущий бог почему-то не вразумил Куриля, не подсказал ему, как дальше быть, – года идут, а он не подсказывает. Может, он испытывает Куриля – стоит доверять ему большое дело или не стоит? Но бог, наверное, не разгневется, если Куриль отдаст оленей тому, кто их приобрёл своими стараниями: не сумел его раб исполнить благо задуманное дело – что ж, значит, и не сумел. Зато честен. Афанасий может спокойно жить. А Пурама променяет оленей. На ружьё променяет. Вот так просто, не задумываясь, не вспомнив бога, возьмёт и променяет...

Дорога вела к обрыву. Бог испытывает его. Испытывает так же, как Куриля. Нет, не так. Курилю он ружья не показывал. Показывает ему, соблазняет. А чем сильнее соблазнишь охотника, как не ружьём? Возьмёшь эту красиво и ловко сделанную двустволку – бац, а стволы на куски... А один кусок – в лоб... Нет, нет – богу не нужна его такая смерть: зачем ему пробивать в голове простого охотника дырку? Он просто оставит Пураму в тундре с обломком приклада и скажет: «Ну вот – а теперь думай...».

И станет Пурама на всю жизнь чужим, нелюдимым человеком, к тому же ещё и посмешищем...

Когда посреди ночи Чайгуургин тихонечко застонал, Пурама лежал с открытыми глазами и был очень спокоен. Ему уж не хотелось иметь второе ружьё, к американцу он передумал идти.

Он и заснул бы так, очень спокойно. Однако ружьё было рядом, и оно всё-таки не давало покоя. Ведь может же кто-то не мучиться, не размышлять – взял, швырнул из мешка чернобулки, забрал красавицу – и под бок её. Просто всё...

И тут Пурама вдруг возненавидел всю ярмарку. Богачи, купцы, перекупщики, шаромыжники – все эти важные и мелкие хитрые люди ему показались одинаково нехорошими, жадными, сумасшедшими из-за жадности. Он мог бы поклясться, что только сотую долю всех отданных

купцам шкурок эти люди добыли сами. А где остальные взяли? Собирали ясак – и не весь отослали царю? Или у голодающих брали за кусок мяса? Не за кусок, а за малый кусочек, потому что от тысячи оленей даже целый олень – это только кусочек... Но разве достойно мужчины не самому добывать шкурки, а брать у других или выменивать взятые у других – за порох ли, за иголки, за материю или ружьё?! Пурама лежал в одной яранге с шестью такими людьми: тут были Тинелькут с братом, Чайгуургин с племянником, его шурин Куриль и старик Петрдэ. И он с насмешками и злостью припоминал, как каждый из них, кроме старого жадины Петрдэ, метался по ярмарке, вынюхивая, выслеживая товар или бросаясь в толкучку, при этом вовсе не вспоминая о том, что в мешках у них – чужое добро. Особенно гадким ему казался Чайгуургин. Огромный, могучий детина с разбитым боком лезет в толпу, обливаясь потом, выкидывает чернобурок, живыми которых наверняка и не видел, берёт ружьё, потом бессовестно шутит. Он шутит – а все гогочут... А другой великорослый детина, которому бы на медведя ходить – американец, – трясёт коробочками с иголками и хватает на лету шкурки... Куриль важничает, хочет показать себя достойнее, умнее и честнее других – но всё-таки берёт от американца подачку, а придержанные шкурки тут же сбывает Мике Берёзкину...

Когда Чайгуургин застонал утром и сказал, что терпеть больше не может, Пурама подумал: «Так и надо тебе. Хоть бы у твоего американского ружья стволы разлетелись на части».

Такой была эта ночь Пурамы. Но одно дело – ночь. Если надо спать, а сон не приходит, то вместо сна приходят тяжёлые и дурные мысли. Когда же человек отдохнёт и проснётся – тут дело другое. На всё передуманное и пережитое человек непременно посмотрит сверху. Что Пураме Чайгуургин? Разлетятся ли при первом же выстреле стволы у его ружья или он будет хвастаться им до старости лет – какое ему до этого дело? Пурама едет домой – вот что теперь главное...

Вспомнив о доме, о тундре, невыспавшийся охотник зевнул, нехотя, по привычке достал кисет и трубку. Прикурить огня не было, потерял кремёнь, но он не стал искать глазами ярангу, из которой бы поднимался дым. Сунул в рот трубку, спрятал кисет – и вдруг остро почувствовал здешние запахи. Дым ярмарочного стойбища был совсем не таким, как в Улуру. Там топят сырым тальником, и дым всегда отдаёт едкой горечью. Здесь на костры ломали сухие сучья, и дым потому был нежным, пахучим, приятным. И ещё здесь круто, приветливо пахло помягчевшей к весне древесной корой и конским навозом... Пурама подумал о том, что ему в общем-то везёт в жизни. Вот ведь никто из простых людей не видел этой ярмарки и наверняка никогда не увидит. А он побывал и насмотрелся всяких чудес. Его теперь каждый день будут расспрашивать... «А что, если бы всё стойбище на эти дни перекочевало сюда? Вот бы уж простым людям-то любопытно было! – Пурама вынул изо рта трубку и усмехнулся, представив себе, как удивлялись бы старики и старухи, как радовались бы ребятишки. – А разговоров, а разговоров бы потом было – на много зим... Да, а с чем бы приехали сюда люди? А что, если бы устроить ярмарку без богачей и купцов? Э, нет – плохая получилась бы ярмарка. Невесёлая. Нет, совсем не получилась бы ярмарка...»

И он, мельком вспомнив обо всём пережитом ночью, стал рассу-

ждать трезво. «А, да не в этих людях всё дело! Не приехал бы Чайгуургин – приехал бы вместо него Кака. А вместо Берёзкина – Мамахан. Иголки мог привезти не Томпсон, а Свенсон... Нет, это не они придумали ярмарку. Наверно, богом она заведена. Может, и к лучшему заведена. Нахватаются здесь богачи иголок, сахару, табаку, чаю – и успокоятся. От них и простым людям что-нибудь перепадёт. А когда разъезжий купец появится в тундре – богатый человек ничего у него не возьмёт, и всё достанется простым людям...»

Душа Пурамы улеглась. В глаза ему уже било солнце, взошедшее над макушками леса. «Ишь ты, дни-то какие стоят! Даже слабого ветра не было... Да, надо бы наломать сучьев да сходить поглядеть оленей». Пураме стало совсем хорошо, когда он вспомнил о своём выигрыше: пригнать домой пятьдесят три оленя – из-за этого стоило ехать на ярмарку...

Он повернулся назад и начал приглядывать дерево с сухими нижними сучьями. И в это время увидел Лелехая и Ниникая, вышедших из яранги.

Брат Тинелькута был женихом – чуть-чуть переростком. Считалось, что он мог бы обзавестись семьёй лет пять назад. Звался он Ниникаем, а попросту парнем, был он очень красивым, ну а красивый парень из богачей всегда на виду и на языке. Не сбылись ожидания, что Ниникай вот-вот начнёт разгонять молодую кровь: он стал пить и пить, а беды девушкам от него не было. Прошлой осенью он как будто сошёлся с очень красивой чукчанкой. Однако прошла зима, а Тинелькут свадьбу не собирал. И сам Ниникай что-то мудрил: новую невесту не подыскивал и с этой не сходилась по-человечески... Это был высокий, ладный, хоть и не плечистый парень, с гибкими молодыми движениями, которые не могла скрыть свободная одежда из шкур. Лицо у него чуть лоснящееся, в меру смуглое, волосы мягкие, и нигде они не топорщатся, нос ровненький, губы нежные. И только глаза ему как будто достались чужие – они диковатые, а часто – когда он выпьет – ещё и вьедливые, какие-то опасные. Из-за этих-то глаз всем и казалось, что Ниникай непременно начнёт куролесить.

Пурама не просто не любил его, но ненавидел, как только может ненавидеть мужчина более молодого мужчину. Почему – он не знал сам. Может быть, потому, что Ниникай чем-то походил на него – нет, не красотой, а гибкостью тела, глазами; да, только этим. Между ними, однако, и впрямь была огромная разница: один пил и жил в своё удовольствие, а другой рыбачил, ходил на зверя, впутывался в грызню шаманов, любил, чтобы о нём говорил народ... Ну а толстенького, маленького Лелехая Пурама вообще не считал достойным своего внимания.

Сейчас оба молодых богача шли напрямик к Пураме, хотя им следовало бы идти к купцам – чтобы потихоньку от старших выпить горькой воды: камусы-то завернули в тряпочки, – видно.

– Что? – спросил Пурама, когда они подошли к нему и молча стали разглядывать его лицо, будто никогда не видели.

– С нами... брат, а? – неуверенно, но стараясь выглядеть отчаянным, попросил Ниникай. – Понемногу бы... для весёлости...

– Я пью только вечером, да и то если душа горит, – ответил охотник.

– Домой собираешься, а душа ничего не просит? – спросил Лелехай.

– А чего ей гореть! Жене три маха материи привезу, сыну – амери-

канских калачиков, а себе – пороху и пуль... – Пураме показалось, что Лелехай грубо намекает на его зависть к богатым людям, которые увезут с ярмарки очень много товаров.

Ниникай без ошибки понял его.

– Нет, брат, мы не про то говорим, – подступил он ближе. – Это мы сейчас от Куриля слышали, что у вас там сложно с одной красивой бабёнкой... которой ты помогаешь... Что – она родить скоро должна?

Пурама от этих слов похолодел. Но не просто похолодел. Он испытал то же чувство, что в момент встречи с медведем, которого непременно надо убить, – хочешь не хочешь. Отвернув лицо, Пурама искоса, беспощадно посмотрел в глаза Ниникая.

– А вы так луны через четыре приезжайте в Улуро, – сказал он. – Бабёнка после родов поправится. Побалуется...

Глаза молодого богатого чукчи блеснули таким холодным огнём, что Пурама не удивился бы, если б увидел в его руке выхваченный нож.

Насупился, сдвинув широкие редкие брови, и Лелехай. Однако Лелехай в счёт не шёл, и, если б все они разошлись молча, Пурама даже не заметил бы его лица. Но толстенький, маленький племянник Чайгуургина шагнул вперёд и сказал такие слова, от которых у охотника даже заребило в глазах.

– Пошли, Ниникай, пошли, – тронул он за рукав дружка. – Мы к нему, как к своему человеку, а он нас вожжой... Наверно, из-за ружья обозлился на всю ярмарку. Да мы сейчас разговор о вашей Пайпэткэ слышали – хотели тебя расспросить. Вот ему, ему удивительно это всё. Хотел по-человечески... Нам тоже жалко её...

Ниникай вдруг резко повернулся – и, не сказав ни слова, зашагал по направлению палатки русского купца Соловьёва.

– Знаю, как вам жалко бывает! – сказал уже не так зло Пурама. – Особенно если девка сирота и защиты у неё нет.

Он хотел уйти, но Лелехай сделал ещё шаг вперёд и спросил:

– У тебя сколько оленей в стаде?

– Пятьдесят три. Да дома десять. Не дойдёшь до палатки, как считаешь.

– А те, что Куриль пасёт?.. Слушай, чего ты волком на богатых оленых людей смотришь? Сам-то – оленный! Живёшь только под бедного. А!.. – махнул короткой рукой Лелехай, собираясь уйти. – Чудные вы, юкагирские богачи: Петрдэ – глупый скряга, вашему голове шаманы мешают жить, ты – видно, большой хитрец. А у Ниникая переживания. Понимаешь – переживания!

– Га! Переживания! У чукчи... По три жены имеете. – У Чайгуургина одна. У меня одна.

– У Каки тоже сперва была только одна... Не о чем говорить: ты молод и ничего в этих делах не смыслишь.

– Ну не смыслю – значит, не смыслю. А тебе только скажу: у Ниникая невеста беременна, а свадьбы не было. Ты понять это можешь? Мучается человек.

– Ха-ха-ха... – зло изобразил Пурама смех. – А я о чём говорил? Красивая? До свадьбы с женихом играла? И шаман Кака знает об этом, наверно?.. Ладно, иди, Лелехай – веселись, пей со своим другом. Переживайте. И нечего вам интересоваться судьбой юкагирики: у вас то же самое будет.

Пурама зачем-то перевернул ногой нарту кверху полозьями и зашагал в лес.

Не ожидал Пурама, что этот последний день ярмарки будет таким суматошным. Не успел он засыпать снегом костёр в яранге, как старик Петрдэ, обтерев руками губы и подбородок с редкими волосинками, спокойно проговорил, растягивая слова:

– Ты, Афанасий, должно быть, умно тогда сказал, что камусы да оленьи шкуры надо бы здесь обменять. Чего их в Нижний везти? Пьянство будет, а торговли не будет... Попроси-ка Пураму, чтоб он мне помог кое-что променять...

Он свалился с дерева, ударился и опомнился – не иначе... Ни один из возов Петрдэ действительно не был развязан – это Пурама видел. Но он знал и другое: старик слишком опытен и хитёр, чтобы сделать себе что-то во вред. Мало ли! Возможно, ему не подходят цены, может, он учуял чей-то просчёт и ждёт выгодного момента – ни одного ведь дня он не сидел на месте, каждую ярангу и палатку обошёл только кругом, почитай, раз по десять... Но что же теперь получается?.. А если бы разум у него пробился сквозь скряжничество завтра, когда люди разберут яранги и палатки?..

Пока Пурама соображал, что бы такое ответить старику, Куриль уже придумал ответ:

– Да он поможет, конечно. Только я хотел возы вместе с ним поправить: не всё хорошо уложено. До середины дня и прокрутимся...

Петрдэ не обиделся и не отчаялся.

– Ну что ж, – спокойно сказал он, – и ладно. А я посижу на нарте, покурю и вас подожду.

Ух, каким ненавистным вдруг стало для Пурамы сморщенное лицо старика! Стыд-то какой – ходить со шкурами и упрашивать купцов взять их. К тому же к середине дня всё кончится, купцы и богачи начнут пить – попробуй поговори с пьяной компанией. Хохотать будут, насмешки сыпать...

– Что ж – придётся, – неожиданно согласился Пурама. – Только так, я считаю, сделать бы надо. Чего с мешком ходить – запрячь нарту, наложить побольше шкур, я бы оленей водил, а хозяин-то уже пусть договаривался бы...

– Ну ладно! – рассердился, поняв его уловку, Куриль. – Хайче лучше нас знает, что делает. Это мы швыряем дорогие шкурки за любой товар, которого не хватает. Твое ружьё, Чайгуургин, одной лисьей шкурки стоит. А ты сколько отдал?

Богачи закричали, заёрзали.

«Умён Куриль», – подумал Пурама. Злость с него соскочила, как малях с головы.

– Сейчас пойдёте, – сказал Куриль. – А возы потом подготовим к дороге.

И Пурама пошёл.

К счастью старика, ему удалось добыть и чаю, и табаку, он даже взял муку и сахар. Нашлись купцы, которые и в последний день позарились на камусы и оленьи шкуры.

Этот запоздалый обход купцов неожиданно сильно увлёк Пураму. Вместе со стариком Петрдэ он появлялся в торговых ярангах и палат-

ках как раз в ту пору, когда шёл суетливый подсчёт барышей и остатков – необменного товара. Над ними никто не смеялся, их не вытаскивали за дверь. Даже напротив. Одни купцы видели в старике юкагире чудаковатого барахольщика, с которого можно содрать всё до нитки, другие – ловкого хитреца. Так ли, иначе ли, но Пураме удалось побывать за пологам, за перегородками, где совершалось самое главное в жизни купцов.

Всё ненароком увиденное и услышанное оказалось таким удивительным, что сердце Пурамы в конце концов переродилось в какое-то существо, начавшее отдельную жизнь, – оно само прыгало, само замирало, само прислушивалось и само скрипело собственными зубами. Никогда не предполагал Пурама, что кто-то может иметь целый мешок бус, пересыпать пустые патроны, как ненужные камешки, что мука от долгого лежания может стать горькой, а потому её надо незаметно выбросить в снег, что песцовые шкурки – это самое верное золото... Пурама узнал, что есть огромные лодки, на которых может плыть по тысяче человек, что Томпсон все до одной шкурки обменивает на золото, что и поп Попов, и исправник Друскин тоже участвовали в ярмарке и получают барыш...

Сперва перед Пурамой приоткрылась какая-то новая, сказочная жизнь, где не хватает одних только шкур да мамонтовых клыков. Но когда Петрдэ сказал: «Хватит, больше менять не будем», сердце Пурамы опять стало обыкновенным сердцем.

Уже возле яранги он вспомнил о стойбище на Соколиной едоме – и вдруг будто провалился в какую-то пустоту. На душе стало горько, одиноко, тоскливо.

Кончилась ярмарка – и погода испортилась. К вечеру лес зашумел, деревья затрещали сухими ветками. Морской ветер погнал сперва крупный сырой снег, а потом ледяной мелкий песок.

Когда богачи уже собрались идти в гости к американцу, в яранге Тинелькута появился разъездной купец Потонча. Он был немного пьян, бодр и полон самых разных ярмарочных новостей. Новостей он знал слишком много, и поэтому начал так:

– Афоня, бра-ат, мужики! Неужели мы все разъедемся и не поговорим по душам? У американца разговора не будет, убейте меня – не будет. Нам бы, знакомым-то, собраться одним. Я же набит новостями, как мешки у купцов шкурами, а ваши мешки – припасами. А что оставалось делать? Томпсон-то меня подсёк. Вот и ходил и шевелил ушами, как заяц. Ну дела, ну ярмарка!.. Афоня, ты, Тинелькут, ты, хайче Петрдэ, и вы, Ниникай с Лелехаем, – двинем к нам на Керетовую? И Чайгуургина обязательно доведем – у нас и подлечим. Или так сделаем. Говорят, в Нижний приехал лекарь из русских, он человека режет, а человек ничего не чувствует. Вот он ему рёбра и поставит на место...

Куриль с силой тёр лысину красной и толстой от работы ладонью. Он воображал. Предложение Потончи хитрое: хочет повеселиться за чужой счёт – подвыпившие богачи не будут скупиться. Но дело наверняка не только в одной этой хитрости. В Томпсоне дело. Он подсылает его.

– А что – я бы не против повеселиться, – сказал он. – Только на Керетовую не поеду.

– Ну? А почему? Места посмотрел бы, от ярмарки отдохнул, да и люди наши тебя хотят видеть, брат.

– Гы! Я им бог? Или царь? Я даже и не купец, чтобы меня чужие люди видеть хотели.

– Какие ж керетовские тебе чужие! – воскликнул Потопча. – Они тебя знают, о тебе слышали многое. Тебя почитают больше, чем других знатных людей!

– Ну, я ещё ничего такого не сделал, чтобы меня почитали. Это ты, брат, врёшь. На Керетовую не поеду. – Куриль повернул голову к Тинелькуту и, наверное, что-то передал ему взглядом – потому что Тинелькут сразу же предложил:

– А если ко мне, на Сохатинскую речку поехать? До табуна моего недалеко. Всем хорошо будет. И купцов западных пригласить... Ты, Чайгуургин, как?

– Ох, не знаю. Мне лишь бы уехать. Резать себя никакому шаману не дамся.

– Что, Петрдьэ, – к Тинелькуту в гости поедет? – спросил Куриль.

– Можно. Можно, – тотчас согласился старик. Да его племянник мог бы и вовсе не спрашивать: как же Петрдьэ откажется от угощения! Но он его всё же спросил – из уважения к старику.

– Ну тогда пошли к Томпсону – выпьем за хорошую торговлю.

И они ушли.

В яранге остались лишь двое – охающий Чайгуургин и Пурама. Кымыргин, наверно, встретил старых дружков и режется с ними в карты.

Только сейчас Пурама почувствовал, как сильно устал за все эти дни. Ноги от бесконечной ходьбы по растоптанному снегу ныли и дрожали в коленях, руки были горячие и тяжёлые, голову не хотелось поворачивать набок. Глаза сами закрылись. И он бы сразу заснул, если б не охал богатый чукча да не шумел лес.

Грустно было на душе Пурамы. Отдыхая, он обычно любил думать о разных загадках человеческой жизни, а больше всего любил думать о тайнах земли, неба, озёр и рек, солнца, луны, звёзд, о боге, о духах, о возвращении человека на землю спустя много лет после смерти. Но сейчас никакая из этих мыслей не шла ему в голову, не настраивала на сладко-тревожные или страшные вздохи. Ему сейчас было грустно, так грустно, что хотелось услышать какие-то тихие-тихие голоса – голоса матери и отца, что ли, а может, голоса добрых духов, которые не собираются помочь ему в какой-то большой беде, но готовы лечь рядом и долго, весь вечер, всю ночь петь жалостную, однотонную песню...

Ветер качал деревья, шипел в тоненьких ветках; сухой и тяжёлый снег налетал на ярангу и дробно стучал по ней; за пологом охал, а иногда скрипел зубами Чайгуургин, и оттого, что Чайгуургин был крупным, упитанным мужиком, его страдания Пураме казались особенно тяжкими. Ни бедное стойбище на Соколиной едоме, в тордохах которого за многие годы не прибавилось никаких дорогих предметов, ни богатое стойбище этой вот ярмарки, где у многих людей мешки трещат от добра, – ничего не притягивало его мыслей. Пураме было грустно не так, как раньше, среди лютых зим, когда и делать нельзя ничего, и не делать тоже нельзя. Как будто заболела самая сердцевина души и боль расплзлась по всем тундрам, холмам, рекам, лесам...

Так он лежал очень долго, не открывая глаз, и чувствовал, что если

даже заснёт, то сон оборвут пьяные богачи. Богачи погалдят, потом захрапят, и он опять не сможет забыться, и ночь для него будет тяжёлой, может, невыносимо тяжёлой. А дальше – серое утро, безрадостная дорога, пьянство у Тинелькута, опять дорога с ночёвками в тундре, наконец, стойбище... Мысли Пурамы то и дело доходили до стойбища. И он пытался продолжить их, уцепиться за что-то определённое. И хоть это определённое проступало в ужасных картинках нищенства и убожества, в горьких случаях изломанной голодом или шаманами жизни, – он был рад ухватиться и за такой поводок. Потому что надеялся испытать злость, боль или другое сильное чувство. Но всё получалось не так. Только начинала вертеть своей длинной уродливой головой Тачана, как в лицо ей вдруг почему-то летели белые шкурки песцов – точь-в-точь так, как летели в лицо Томпсону. Только появлялась в кособоком тордохе худенькая Пайпэткэ, только начинала она смотреть пустыми глазами в мордочку сосунка, изъеденную комарами, как над её тордохом сыпался дождь иголок. И вот тут-то Пураму покидали силы. Всё его тело заполняла боль и тоска – боль терпимая, но нудная и бесконечная, как шипение ветра в макушках лиственниц, а тоска чёрная, как беззвёздная зимняя ночь над Улуро...

Придут пьяные богачи... Куриль сказал шаману Каке: «Пайпэткэ не трожьте: будете со мной иметь дело». А живот Куриля полон американской водки и американской еды... Ниникай на четвереньках вползёт в тордох. Он переживает – нарушил обычай; не знает, что делать, а часть табуна брата получить хочется – чтобы через три года отдельно приехать на ярмарку... Кымыргин заночует у старых дружков. Лямки на состязаниях он резал затем, чтобы заиметь побольше оленей и сегодня ночью уверенно дуться в карты...

Стойбище – ярмарка... Пайпэткэ вышивает Потонче кисет бисером, а Потонча может до плеча засунуть руку в мешок с бисером...

...Почему и зачем Пурама поднялся, какая сила его подняла, он не знал. Он только почувствовал, что до возвращения богачей надо уйти из яранги. Куда уйти – это не важно.

Было темно. Сухой снег шуршал, засыпая следы толкучки. Кругом шумел лес. Из забытья Пураму вывели непонятные крики, сбивчивый говор, топот ног о дощатые приступки заезжего дома. «А... пьянка идёт», – догадался он, и вдруг ощутил под мышкой какой-то свёрток. Он выхватил его и удивился: откуда у него камусы, закрученные в пыжик? У него не осталось никаких шкур, всё променяно. «Не украл же я!.. А может, пошёл и украл? У Петрдэ? Или у Чайгуургина?.. Что такое – не помню... – Он оглянулся по сторонам, но ничего, кроме белой ряби летящего снега, не обнаружил. И зубы его почему-то сами собой стиснулись, губы нехорошо поджались, а глаза остро прицелились в темноту, в то место, откуда доносились говор, крики и топот ног. – Украл... А кто разберётся тут, чей товар свой, чей царя или бога?»

И он зашагал к заезжему дому.

А там, в деревянном доме и возле него, творилось что-то невообразимое. Если бы Пурама, решив удавиться, обвязал кочку арканом, а петлю надел бы на шею и уже разбежался бы, то он непременно остановился бы, увидев то, что увидел сейчас: разве согласился бы он умереть, не узнав, как кончаются ярмарки на Анюе! Но настроение у Пурамы было

куда хуже, чем перед самоубийством. И поэтому он без всяких страстей принялся наблюдать за происходящим.

В темноте то расширялась, то сужалась жёлтая светящаяся полоска – это раскрывалась и не до конца притворялась дверь. А в двери то и дело мелькали тени. Но до дома ещё шагов тридцать, а тут, рядом, кто-то храпит. Пурама шагнул в сторону и увидел мужика, растянувшегося на снегу. Нагнулся. Кукашка у мужика задрана, штаны – ниже пупка, и твёрдый снег колотит по голому дышащему животу. «Ничего, отлежишься; не холодно – не замёрзнешь», – подумал Пурама и пошёл дальше. А навстречу ему два мужика волокут третьего. Тот, которого волокут, плачет тоненько, по-бабьи, а его не до конца спившиеся дружки, оступаясь, припадая на колени, по-детски, заливисто хохочут. Они проковыляли мимо, а Пурама, заметив на снегу унт, поднял его и швырнул вслед дружкам: может, поднимут... У входа в заезжий дом – суета, толкотня, споры, плач, смех, голоса женщин. кто-то выворачивает наизнанку переполненную утробу, оглашая поляну страшными криками, кто-то барахтается в высоком сугробе, стараясь непременно забраться наверх, кто-то, расставив руки, медленно движется вдоль стены, не то пытаясь обнять дом, не то отыскивая дверь. Одни стоят плотными кучками – что-то делят и ссорятся, другие, обнявшись и еле держась на ногах, разом подаются то в одну сторону, то в противоположную. А вот двое вцепились друг другу в горло и замерли на месте, будто оледенели; не поймёшь, что происходит между ними, – то ли они боятся опустить руки и разом свалиться под ноги толпы, то ли медленно душат один другого...

Это и есть окончательное прощание с ярмаркой.

Но главное происходит не здесь, не на улице. Только Пурама протиснулся в дверь, как мимо него спиной вперёд пролетел чукча, а возле самых глаз мелькнула растопыренная пятерня Алитета. Чукча грохнулся возле стены и скорей схватился за нос, утёрся, размазав по губам и подбородку кровь.

– Так его!

– Молодец, что не бьёшь кулаком!

Ух, каким окаянным был пьяный народец: сорвалось – получай, мы тоже можем сорваться...

А сорваться было нетрудно. Дело в том, что Томпсон разрешил любому и каждому выпить за так одну кружечку горькой воды, за другую же и за все прочие надо платить – шкуркой телёнка или камусами. Ну, понятное дело: простой народ давно обменял шкурки на порох, чай и табак – а выпить хочется, а одной кружечки мало. К тому же хватившего горькой воды легко подмывает надежда: разве каждого Алитет запомнит?.. Но Алитет и его остроносый друг хорошо помнили каждого – Томпсон знал, кого брать в помощники. Да и определить ловкача было не трудно: раз масляные глаза – значит, уже подходил. Тут, правда, могла случиться ошибка. Горькой водой торговал не один Томпсон. Но и в этом случае обижаться было не на кого: шкурки отдал другим, а здесь хочешь выпить задаром?

Ничего этого Пурама не знал. Верней, знал, но забыл. Его, однако, ничуть не задело бешенство Алитета: бьют – значит, надо, совсем не виноватого не ударят... Войдя во вторую настежь открытую дверь, он

увидел компанию богачей и купцов, плотно сидевших вокруг столов, заставленных бутылками и едой. Кого-нибудь разглядеть он не мог, потому что в доме висела настоящая туча синего дыма, в котором резко мигало слабое пламя жирника. Впрочем, он разглядывать и не хотел. Ему достаточно было увидеть в углу ворох шкур, бочку, а на высоком ящике – жестяной жбан, чтобы понять, что здесь к чему и что ни к чему. Он бросил свёрток в общую кучу и взялся было за кружку, но остроносый чукча положил руку на жбан.

– Что бросил? – спросил он и приподнял бровь. – Залинялые бросил? А ну обратно возьми.

– У твоего отца залиняла голова, – спокойно сказал Пурама. – Погляди.

Сердце у Пурамы, однако, заколотилось: если шкурки он взял у Петрде, то они могли быть и старыми. И тогда ему влепят не пятёрней, а кулаком. К счастью, всё обошлось хорошо, да тут ещё подскочил Алитет, который сказал:

– Он первый раз – две ему. У нас всё по совести.

– Наливай сам, – зло приказал остроносый чукча. – Тут нету работников.

Пурама выпил одну кружечку, выпил другую и собрался было идти, но заметил склонившегося над уголком стола Ниникая. И ему вдруг захотелось непременно остаться.

Ниникай был пьян, однако не сильно. Это Пурама определил сразу. Длинные чёрные волосы Ниникая свалились вниз и закрывали половину его лица. Он смотрел одним глазом. На Алитета смотрел. Хороший охотник в момент понимает взгляд зверя, а человеческий ещё быстрее. Ниникай уже давно следил за помощниками Томпсона, но особенно за Алитетом – и всё полней и полней наливался кровавой злобой. Из-под его кулашки выглядывала круглая костяная ножна... А рядом с ним вертелся на скамейке бледный не то от нетерпения, не то от бессилия Лелехай.

– Ты, крючок! Я здесь остаюсь, – грубо сказал Пурама. – Я богач, я близкий родственник головы юкагиров. Вон сидит он с Томпсоном.

– Ну и шагай! – так же грубо ответил чукча, но оправдался: – Шкурки мы должны проверять, чтобы нас в Америке не осмеяли... Что ты даёшь! – набросился он на следующего мужика, уже схватившего кружку. – Какие это камусы? Кто их выделывать будет – я? Жесть принёс, а не камусы, меркешкин. Иди отсюда. Добротой американца пользуются... Ну а ты, красавица, что принесла? – обратился он к пьяненькой чукчанке с лицом, густо разрисованным наколками. – Вышитые рукавички? Пойдут... Любишь водицу-то горькую пить?

– А кто же не любит её?

– Ну, тогда пей да иди скажи подружкам своим, что я приму и красивые новые вещи. Только новые и только красивые.

А в это время мужик, у которого не прошли плохо выделанные камусы, убеждал Алитета:

– Ну возьми эти вот за полкружки!.. За четверть кружки...

– Принеси хорошие – за всё полторы и выпьешь. А так не возьму.

– А где же хорошие взять?

– Попроси взаймы. После отдашь... Уходи, не мешай!

– У-у, – завыл со злости мужик. – Раз в жизни хотел... до конца хотел повеселиться...

– Алитет, Алитет... Мэй, догор... Хочешь?.. Насмех... им... всем вам... насмех... в бочку залезу... А что выпью – моё.

Алитет, не размахиваясь, двинул ему ладонью в рожу и остался стоять, будто ничего и не сделал. А мужик упал и скорей-скорей пополз на четвереньках к двери, оставляя на грязном полу чёрно-красные капли крови.

Пурама делал вид, что отыскивает местечко за столом богачей. Но богачи его не интересовали. Он не спускал глаз с Ниникая, хоть и приходилось их сильно косить в сторону. Ниникай не пошевелился, когда Алитет ударил пьяного мужика. Это ещё, однако, ничего не значило: северный человек терпелив и умеет хитро скрывать намерения. Пурама чувствовал, что Алитет давно заметил пристальный взгляд из-под чуба. Но ведь скрыть намерение можно по-разному: расчёт Ниникая, наверно, был прост – всё вытерпеть, обмануть спокойствием. Пурама напряжённо старался предугадать, как это произойдёт. Алитет обязательно увлечётся – это он врёт, что сохраняет спокойствие, видя кровь и чувствуя безнаказанность. Кровь – она бесит... И тогда Лелехай повалит жбан с водкой, отвлечёт внимание остроносого чукчи. А Ниникай встанет, быстро пройдёт в дверь, оставив Алитета корчиться. Если же он так не сделает, испугается, то уж наверняка толкнёт его через порожек и начнёт бить ногой по лицу...

Прижимаясь к стенке, Пурама за спинами богачей пробрался в глубину комнаты, глянул на играющих в карты и нетерпеливо пошёл назад. Он вдруг начал метаться. Горькая вода как-то сразу ударила ему в голову – пришёл-то сюда, ничего не поев, и здесь не закусывал. Надо было найти местечко: пусть вертятся глаза и мысли, а он вертеться не должен... Пурама опустился на корточки возле самой стены, быстро достал кисет и трубку, рукой побеспокоил незнакомого богача, взял у него дымящую трубку, прикурил и огляделся, не поворачивая головы. Четыре шага до Ниникая, до Алитета – два...

Лелехай заметил его и, кажется, повеселел.

И сразу же мысли точно кто-то хлестнул вожжами, хлестнул ещё и ещё. А те самые ноги – толстые и проворные ноги в унтах, которые искалечили Чайгуургина, были совсем рядом. Под гулкий стук сердца и шум сплошного пьяного говора, упрямо помня, что всё происходящее здесь и ещё не происшедшее – это прощание с ярмаркой, хмельной Пурама напряжённо соображал, как повести себя напоследок: «Алитет сирайкан, его надо бить, бить в кровь, чем попало и по чём придётся, может, до смерти бить»... Но удивительно – бить его собирается Ниникай. «За что собирается бить? За Чайгуургина мстить хочет? Подготовил его Лелехай? Пусть бьёт. Всё равно получится, что не за одного Чайгуургина»... А может, Пурама просто Ниникая не знает?.. «Разве при людях мстят, зачем при людях?..» Да он и в самом деле Ниникая не знает. «И о Пайпэткэ Ниникай нынче подумал и сейчас бесится потому, что простых людей тундры бьют. Нет, Ниникай парень хороший, наверно, хороший»...

И Пураме нестерпимо захотелось получить, подтверждение своим новым горячим мыслям о Ниникае. Пусть бы он только встал, пусть бы

совсем незаметно потрогал нож...

Тогда бы?.. Что было б тогда? «За ноги Алитета дёрну, – решил Пурама. – Он кувыркнётся. И пусть Ниникай месит его. А с остроносый чукчей я как-нибудь справлюсь... Сердце его ещё сильнее заколотилось, а зрачки нетерпеливо скользнули вниз – за правым голенищем он носил охотничий нож. И только поднял он глаза, как Лелехай согласно скривил губы и осторожно кивнул.

Мысли пьянеют быстрее и сильнее человека. И нет внутри самого человека силы, которая отрезвила бы их. Но у Пурамы сегодня такая сила была.

«Так. Случится всё это, быстро случится. А что будет дальше? – подумал он. – Ниникай прыгнет на нарту и улетит в тундру, а может, в тайгу. А как быть ему, семейному человеку? У Пурамы тордох, жена, ребёнок, охотничьи снасти, хозяйский скарб, и ещё тут пятьдесят три оленя... Рискнул бы Ниникай на его месте? Даже пьяный? Э, наверняка не рискнул бы»... – Пурама задрал голову и уставился глазами в мутное облако табачного дыма.

Взгляд его надолго завяз в этом облаке, угрюмо клубившемся над чёрным, как попало набранным из горбыля потолком. К Пураме пришло пьяное успокоение, и всё только что сгоряча пережитое поплыло в разные стороны. Он и сам будто поплыл вверх, оставляя где-то внизу говор, шум, крики картёжников и то, что не позволяло ему вертеть головой, – упрямый, заledenевший взгляд Ниникая из-под чуба и порывистые движения толстых ног Алитета.

Наконец он увидел себя на нарте, пробивающимся сквозь густой туман к далёкой Соколиной едоме. Он будто бы дремлет и вспоминает последнюю ночь шумной ярмарки... Была вроде бы какая-то суматошная, кровавая драка, в которой погибли и Алитет, и остроносый чукча... Он дремлет, смутно припоминает и слышит разговор Куриля с Тинелькутом: «Томпсон обиделся, навсегда уехал...» – «А мне он сказал, что через три года на ярмарке будет Свенсон. С десятью Алитетами будет...» – «А я слышал – исправник приедет. С казаками. Он ведь с ярмарки тоже барыш имеет...»

Неожиданно для себя Пурама встал. Он покачнулся, мутными глазами осмотрел всё кругом, ни на ком и ни на чём не остановив взгляда.

«Спать пойду, – решил он. – Ничего не хочу. Спать хочу... А это – просто всё. Кто я им – ниникай?»⁷⁷

Он пальцем примял табак в погасшей трубке – чтобы не высыпался – и шагнул было к двери, но вместе с ветром в лицо ему ударило ещё что-то, более холодное, сразу проникшее в грудь, в сердце, в голову. Лучше бы ударил его Алитет – просто так, ни за что. Но на него налетела тоска – чёрная, ледяная, без проблеска. Он понял, что уходит не из заезжего дома, а из заезжего мира, уходит навсегда в свой привычный печальный мир. И пьяная обида на весь божий свет железным капканом перехватила ему горло. В том привычном печальном мире теперь ему будет совсем плохо, совсем безнадежно...

Алитет лениво повернул к нему голову. Чего, мол, остановился? Трезвое безошибочное чувство вдруг подсказало Пураме, что Ниникай и Лелехай встали, неправильно поняв его появление у двери. Он кру-

⁷⁷ Ниникай – парень (чукот.).

то повернулся и шагнул к краю стола, из-за которого действительно осторожно выходили брат Тинелькута и племянник Чайгуургина. Головы оба дружка опустили, скрывая внутреннее напряжение. Пурама заставил их одновременно вздрогнуть. Лелехая будто дёрнули арканом сзади, а Ниникай откинул длинную густую чёлку – и всё красивое лицо его перекошилось от злобного удивления и ненависти.

– Хочу в карты с тобой... играть, – сказал Пурама. – Пойдёшь?

Ниникай глянул на Лелехая, нехорошо хохотнул и, раздувая ноздри, высоко подняв тонкую бровь, сквозь зубы презрительно проговорил:

– Отойди.

Лелехай тронул его за рукав:

– Сядь.

Всё сорвалось. Теперь было поздно и не умно бросаться на крепкого, вёрткого, настороженного Алитета. Ниникай опустил глаза и обмяк.

– Ну, что? Старших родственников боитесь? – спросил Пурама. – Или жалко оленей? На оленей хочу играть.

Ниникай сел и презрительно отвернулся. Но он тут же уронил голову, с силой помял лицо ладонями, потом зажёб наверх волосы, вздохнул и остановил взгляд на бутылке с горькой водой. Пураме показалось, что ему стало легче, а себя он почувствовал мудрым старшим, сломившим волю неразумного младшего. Однако с ним разговаривать не хотели.

Пурама переминался с ноги на ногу, не зная, что делать.

И как раз в это время Алитет сбил с ног пьяного якута. Якут упал не в сенцы, а в комнату, и Алитет взялся лупить его ногами под зад, стараясь заставить его на карачках убраться из комнаты. От первого удара меховые штаны у якута лопнули по шву, а потом полукругом лопнула и сама шкура.

– Э, Алитет, – нехорошим ты человеком будешь! – крикнули из двери.

– Совсем пьяного бить – это последнее дело...

– Больше нет бесплатной горькой воды! Нет, нет! Только за плату, за плату! – рычал Алитет, провожая пинками уползающего якута.

Ниникай весь дрожал от бессильной злобы. Но он уже понимал, что ничего сделать нельзя: Тинелькут сидел рядом с Томпсоном, и оба они глядели на дверь, где орудовал Алитет.

– Хей, Алитет, хей! – крикнул Томпсон. – Дверь надо закрыть, дверь! Нам оставь что-нибудь. Ночь большая – мы много пить будем... – Он облапил бутылку, потряс её над головой и начал быстро наливать горькой воды богачам.

Упёршись плечом в стену, Пурама принялся бессмысленно разглядывать свои растоптанные унты. Помятая жестяная кружка с трепыхающейся горькой водой, которую он неожиданно увидел возле своей груди, удивила и обрадовала его. Ниникай одумался и теперь предлагал мировую.

– Пошли отсюда, – предложил Пурама, осушив кружку и нетерпеливо взяв со стола большой кусок оленины и американский калачик, посыпанный сахаром.

Но перед тем, как уйти, они молча выпили ещё.

Помощники Томпсона дружно рылись в куче шкур, наводя порядок, когда Ниникай резко отодвинул щеколду и ударом ноги отворил дверь.

Перед заезжим домом всё ещё колготился пьяный люд, а небольшая

толпа продолжала тискаться к входной двери, надеясь выкликать Али-тета. Дул сильный и холодный морской ветер; он уже не гнал снега, но стал резким, порывистым, злым. Налетая на пьяных, он валил их с ног, заставлял шархаться, пятиться или сбиваться в кучки. Ветер будто выметал поляну, будто требовал оставить её поскорей.

Молча, один за другим Ниникай, Лелехай и Пурама добрались до второго заезжего дома, где продолжали торговать горькой водой русские купцы и где в холодной полутьме, прямо на земляном полу, резались в карты десятки самых жуликоватых людей.

Оказавшись здесь, пьяненькие новички сперва разбрелись, чтоб отыскать подходящую компанию, а потом Пурама и Ниникай случайно столкнулись в свободном углу.

– Ты? Ага, это ты... – схватил Ниникай Пураму за вырез воротника. – Хочешь, охотник, правду узнать? Обо мне... правду...

– Всё знаю... Начисто всё.

– Врёшь. Лелехай даже не знает... Лелехай мне не друг, и нет у меня ни одного друга...

– Порезать хотел?... Алитета. Голова горячая... а пустая. Эх, парень ты, парень!.. И звать тебя Парнем... А плакать тебе хотелось хоть раз? Не хотелось – значит, ещё не дошёл...

Ниникай легонько потряс кукашку на Пураме, но бессильно опустил руку.

– А-а... не в этом дело... Не в этом... Порезал бы Алитета – ушёл бы в тайгу. Не порезал – ты поперёк встал... Зачем встал?

– А невесту бросил бы с пузом? Да? Бросил бы? Ух вы, рыба мелочь!..

– Нет, – тихо сказал Ниникай. – Мою бросить нельзя. Хотел увести в тайгу... Да ты что знаешь? Ты – чукча? Ты – шаман, чтоб знать мою душу? Один Куриль мою душу знает...

– Га! Куриль! – Пурама покачнулся и обнял Ниникая. – Да Куриль и свою не знает! Хочешь, переkreшусь – не знает... Ты только тихо: он даже бога обманывает... Понял? Но ты тихо об этом... Я тебе всё расскажу...

– Куриль? Бога?.. Так говоришь? Да? Так говоришь? – Ниникай отстранился от Пурамы, скинул его руку со своего плеча. – А ты всё знаешь? Да? Всё?.. Вон ты какой... Плохие – все, дураки – все? А сам лезешь в душу?.. Ты – хороший? Уйди. Уйди – ненавижу таких...

Он повернулся и сам ушёл от Пурамы.

Оставшись один в тёмном углу, охотник долго и ошарашенно моргал глазами. Потом он тихо зарычал и завертел головой так, что светлые пятна жирников побежали вкось и вкривь полосами.

Ему бы уйти, запеть бы на ветру самую грустную песню, поплакать бы, как плачут пьяные, или свернуться в комочек в этом уголке и потихоньку заснуть. Куда там! Не понятому Ниникаем, Пураме вдруг показалось, что он один постиг всю правду жизни, что с этой правдой ему будет не тяжелей, а легче. Из этого он сделал простой вывод: зачем ему метаться, как в прошлом, как сейчас мечется Ниникай, зачем ломать голову, если всё ясно, – а не лучше ли ему жить так, как живётся?

И, посчитав, что к нему наконец пришла высшая мудрость, Пурама сел в круг картёжников. Да не простых выбрал картёжников, а тех, которые решились играть с самим Потончей. Мудрецу ли играть со слабыми.

– Мне, – потребовал он карты. – На оленей играю,
– Эй, мэй, Пурама! – повернулся к нему Потонча. – Садись, хорошо садись. Мы тут балуемся: весь вечер играем, а проигрыш пять оленей и песцовая шкурка. Ей-богу!.. Да вы знаете, это кто? – спросил он дружок. – Это же юкагир Пурама! Он на состязаниях по тысяче оленей выигрывает!

– Помолчи, Потонча. А то он подумает, что мы не знаем его, – сказал редкозубый, широколицый якут со шрамом поперёк брови. – Лучше скажи ему, как мы играем, как пьём...

– Ке-ке-ке, – неловко захохотал купчик. – Это он насчёт тебя говорит... Мы тут одинаково пьём... понемногу, мерочкой из-под пороха...

– Ага, я, значит, пьяный? Да? А если я скажу, что ни в одном вашем слове нет правды, – тогда как?

– Тогда тебе придётся две мерки выпить! Ке-ке-ке...

– Вот это... другой разговор... Пурама первый раз в жизни такой трезвый – всё насквозь видит...

ГЛАВА 13

В то время как Пурама проигрывал третий десяток оленей и, трезвея от нестерпимой головной боли, начинал понимать, что вся жизнь – против него, – голова юкагиров Куриль, наоборот, чувствовал всё большую и большую крепость в ногах и плечах.

Никто из богатых и знатных людей никогда не обнимал Куриля. Одни считали его слишком умным и важным, другие важничали сами, третьи брезговали даже руку подать немытому тундровику. А вот американец Томпсон был совсем иным человеком. Огромная ладонь его сильно согрела плечо Куриля за прощальный вечер.

В первый день ярмарки ни сам Куриль, ни другие богачи не придавали значения особому к нему отношению американца. О голове юкагиров ходили слухи, которые были известны всем этим людям и которые, конечно, докатились и до Томпсона. Однако никто и не думал, что заморский купец – богач, заслонивший собой всех прочих купцов, начнёт выпячивать своё особое отношение к юкагиру. Никто не мог понять этого: юкагирская тундра не богаче других, есть в ней, правда, озёра со знаменитой породой рыбы, но Томпсона рыба начисто не интересовала. Тогда богачи стали рассуждать так: если исправник и всё русское начальство считается с Курилем, то чужому купцу, конечно же, следует угодать ему. Точно так рассудил и сам Афанасий Куриль, когда американец попросту подарил ему коробку иголок. Но потом американец при людях пригласил голову юкагиров к себе в палатку, и хоть Куриль без Чайгуургина не появился там, слух о его приглашении вырос в событие. И вот наконец на прощальном вечере Томпсон посадил Куриля рядом с собой, обнял его левой рукой и редко её убирал – наливал правой, ел правой, а левой гладил мех новой кукашки юкагирского головы. Полысевшему, суровому и неразговорчивому Курилю была сперва неприятна такая мужская нежность. Но потом он выпил, свыкся с этой рукой и уже не хотел, чтобы Томпсон встал и переменил за столом место. Однако Томпсон так и не оставил его.

До полуночи Куриль очень жалел, что из-за Чайгуургина не пошёл

к американцу в палатку: там, наедине, Томпсон говорил бы прямо и что-то объяснил бы ему, а тут, при других богачах и купцах, он только шутил, поддерживал разговор – и совсем молчал о себе, о жизни в Америке, о торговых делах, о своих связях.

Так бы и уехал Куриль с ярмарки, радуясь лишь тому, что с Томпсоном у него установились хорошие отношения, но не понимая, в чём же тут дело. Но вот когда Алитет закрыл дверь за Пурамой, Ниникаем и Лелехаем, когда все почему-то стали дружнее пить и есть, Томпсон незаметно налил себе и Курилю горькой воды и, приподняв тонкий стеклянный стаканчик, тихо сказал:

– Пью за умный взгляд моего нового друга господина Курилова...

Но не сразу он выпил. Держа огромными толстыми пальцами тонкий стаканчик, Томпсон сильно прищурил выпученные глаза – и так долго смотрел в лицо Куриля, стараясь убедиться, что слова его поняты.

Куриль этих слов не понял, но догадался, что переспросить надо позже, когда Тинелькут и другие соседи забудут об этом случае.

Потом он взялся резать сваренную целиком оленью ляжку и тихо сказал:

– В тундре тёмный народ – не всё понимает сразу... Томпсон улыбнулся:

– Когда мистер Курилов вспомнит дерущихся женщин, он всё поймёт... Я вот говорю господину Курилову, – повернулся он к Тинелькуту, – что мне нравится его неразговорчивость. Он отвечает, что это от темноты. Я не согласен: задумчивость – признак ума. Это уже нам, купцам, некогда думать, мы должны уметь говорить...

Он пускал в глаза Тинелькута дым. И это придавало его главным словам особенное значение.

Куриль всё вспомнил. Да, когда женщины поскандалили из-за иголок и когда простые люди увидели, что они не люди, он не вытерпел и поглядел Томпсону в глаза. Этот взгляд сейчас американец и назвал умным. Смысл во всём этом был очень большой, как теперь понял Куриль. Томпсон дорого заплатил за один его взгляд – отдал две коробки иголок, или, по крайней мере, двадцать песцовых шкур, а если бы иголки менял Потонча, то и все пятьдесят. Это – не шутки, для любого купца потеря такая чувствительна. Но американец пошёл на неё, да ещё обнимает, благодарит за подсказку...

Куриль – не Сайрэ и не Пурама. Он не привык, не умел мучить себя долгими размышлениями. Однако то что принесла ему ярмарка и эта неожиданная связь с Томпсоном, меняло многое в его жизни. У него никогда не было никакой опоры – теперь она появилась, и он уже знал, что обо всём придётся думать и думать. Но быстрый хмельной ум и сейчас подсказывал кое-что. Томпсон видит в нём сильного человека. Если б это было не так, он выбрал бы кого-то другого. Томпсон же и сам человек сильный, потому знакомство с ним сделает Куриля ещё более сильным, и все другие богачи и купцы будут считаться с головой юкагиров... Томпсон человек приезжий, чужой, и, может, это заставляет его быть добрее всех прочих купцов. Может, он просто богаче других, может, лучше знает настоящую цену товару, который имеет тундра. Как бы то ни было, но с ним куда выгоднее иметь дело, чем с любы-

ми другими купцами, которые просто шкуру сдирают с людей. Станет Томпсон надолго вне конкуренции – другие хвосты подожмут и подберут сами. А простым людям тундры надо хоть маленькое, хоть самое маленькое облегчение сделать: стонет ведь тундра... Томпсон всё это видит – иначе он просто бы не запомнил осуждающего и просящего взгляда, не благодарил бы за этот взгляд...

Пьяная радость – как снежный ком: ядрышко маленькое, а накрутиться на него может снег со всей тундры. Курилю пришла в голову и такая мысль. Томпсон и его дела могут не понравиться местным и русским купцам; он это предвидит и ищет опору. В нём ищет опору...

Эта последняя мысль сильнее всего взбудоражила Куриля. И он, перестав жевать, не удержавшись, спросил русского купца – богача Соловьёва:

– Василь, к Тинелькуту не хотел бы поехать? Мы собираемся погулять у него в стойбище.

– К Тинелькуту? – насторожился тот, поспешно вынимая огромный платок и вытирая им усы и губы. – Да я полагаю так: если к Тинелькуту, то он и приглашать должен... А впрочем – премного благодарен, благодарствую, но поехать не могу: семья у меня, дела...

«Ага, принижает меня, – подумал Куриль. – Не по нраву ему это всё. Так и есть. Но ничего: на иголках нарвались – нарвётесь на порохе и табаке или на чае. Поглядим, что покажет ярмарка через три года...»

– Ну, братья! Пора и богу молиться, – сказал, вставая, Томпсон. – Поздравляю всех с хорошей торговлей. Надеюсь, что на следующую ярмарку каждый из нас привезёт ещё больше товаров... Тундре много нужно вещей, всяких вещей, всяких продуктов...

Американец устало закрыл глаза. Казалось, что он хочет открыть их тогда, когда останется один посреди задымлённой, замусоренной комнаты.

Поднялся, надел малахай и Куриль.

Не открывая глаз, Томпсон тихо сказал:

– Моего человека не обижайте. Мамахану Тарабукину передайте привет.

Он говорил о Потонче. Никакого привета Мамахану передавать не следует: Мамахан и Потонча – конкуренты. Надо лишь открыть пошире дверь Потонче, а значит, Томпсону – за счёт Мамахана. Мамахан же – давний друг Куриля...

Томпсон ждал ответа.

Куриль сдвинул брови, подумал.

– Нашим людям табак и чай нужны. Весна – тяжёлое время, – сказал он и вздохнул.

– О-эй. – Американец открыл глаза, но остался стоять неподвижно, не желая больше ни с кем разговаривать.

На следующий день с утра ярмарочное стойбище начало быстро таять: одна за другой исчезали яранги, и длинные караваны упряжек пропадали в лесу, будто их и не было вовсе.

Раньше всех поляну покинули три упряжки Томпсона, гружённые одними песцовыми и лисьими шкурками. Золотой караван повёл Атитет, перепопоясанный патронташами.

К середине дня от стойбища остались одни воспоминания – кружки

снега от яранг, кучи оленьих костей да следы от полозьев, ног, копыт и собачьих лап.

День был сумрачным и сырым. Ветер как будто не мог выбрать определённого направления. Когда караван богачей во главе с упряжками Тинелькута виллял между холмами, ветер просто бесился и вроде бы дул со всех четырёх сторон, на равнине же он то налетал спереди, то сбоку, то сзади. Весна наступала на зиму, и тёплый ветер боролся с холодным.

В пути главный груз – в голове. У Куриля голова была набита мыслями круто и до отказа. У Тинелькута – свободней, там ещё находилось место мыслям о Ниникае, которого нужно срочно женить. У Потончи в голове было так же, как в его новом кисете, подаренном никому не известной девушкой, – в крепко перевязанном кисете болтались камешки золота, а в голове болтались золотые мысли о лучших днях. Голова Пурамы больше всего походила на пустой, со всех сторон зашитый мешок; он мог бы наполнить его очень быстро, но для этого следовало распороть шов. А пороть не хотелось, особенно после того, как к нему подошёл Кымыргин и сказал:

– Там у тебя – девятнадцать оленей. Пастухи говорят. Девять – мои. Ты не забыл?

Пурама не только забыл, сколько осталось от призовых оленей, но он ни за что не сумел бы вспомнить, играл ли он вообще с Кымыргинном. Однако ему сейчас было решительно всё безразлично, и он ответил:

– Помню.

До Сохатиной речки доехали к вечеру. Тут и было весеннее стойбище Тинелькута.

Никто не лёг отдыхать. Лишь Чайгуургина положили поближе к костру и тут же налили водки.

Пир начался с ходу, будто не было никакой дороги. Сразу же выпили, загалдели.

– Будем играть и водку пить! – сказал Тинелькут, стукнув опустошённой кружкой о доску. – Эй, жена! Положь на стол варёное мясо, мозги, жилы. Всё подавай, не жалея! На иголки... – Он стукнул о доску одной коробкой, потом второй.

Жена Тинелькута зажмурилась и покачнулась.

– Бери! Прячь. А вот ещё две бумаги русских трёхгранных.

Мужчины не умеют сразу смеяться и плакать. Женщины это умеют. В руках больше сотни иголок – тут счастье покажется сном... В такое время, однако, женщины забывают о себе и мечутся, как птичий пух от дуновения, – куда дунешь, туда летит... Мясо жена Тинелькута не варила, но мясо тут же задымило паром – наверное, выхватила его из котла в соседней яранге.

– Теперь мы веселей будем жить! – храбро воскликнул Куриль. – По-новому будем жить!

Эти его слова по-разному были поняты. Одним показалось, что речь идёт о богатых запасах, приобретённых на ярмарке, которые позволяют жить посвободней, другие сразу вспомнили о завязавшейся дружбе юкагирского головы с американским купцом. И лишь один Пурама тяжело вздохнул:

– Эхе-хе, хе-хе...

– Чего это мой шурин вздыхает? – спросил Куриль, готовый взять верх в разговорах.

– Так... – сказал Пурама, собираясь выйти и заняться делами работника. – Приедет Афанасий Куриль в наше стойбище, а там уже голова не он, а Тачана – шаманка...

– Вот, верно он говорит, – согласился Куриль. – И это может случиться. Только царицей ей быть не долго: я быстро прижму ей лапы. С шаманами я буду теперь разговаривать по-другому...

– Это как же? – спросил Ниникай.

– Ой-ой-ой, ой-ой-ой, – запричитала жена Тинелькута, суетясь между мужчинами. – Грех, грех, грех...

– Грех? Перед кем грех? Перед богом? – спросил, ни к кому не обращаясь, Куриль. – А что божий человек в Нижнем сказал? Шаманы – рабы сатаны. Так сказал? Чайгуургин слышал, Петрдэ слышал, Лелехай слышал. А я давно знал. Да я и другое знаю. С сатаной бороться никто не будет. А вот его рабов тальником сечь надо... Без них и сатана будет не страшен!

– Ох, Апанаа, оглядывайся, – закричал Чайгуургин. – Положишь сечь Токио, а он поглядит на тебя – ты про тальник забудешь и начнёшь снимать штаны сам...

Многие захохотали. Но Куриль всё обдумал очень давно.

– А Токио не за что сечь, – сказал он. – В том-то и дело, что Токио настоящий шаман. Да он всего один и шаман. Остальные, которых я знаю, обманом живут. Звоном бубна забивают нам уши, пугают всякими криками. Это игра детская, обман без стыда.

– Ой-ой, ой-ой! – снова заныла жена Тинелькута.

– Куриль! – сказал Тинелькут. – О шаманах говорить будем потом. А сейчас давай пить, в карты играть. Да песни ещё попоем. Чего это ты?

– Чего? А вот так: кто над чукчами власть имеет? Чайгуургин? Я думаю, что Кака.

– Ниникай! – сказал Тинелькут. – Чего ты ушами двигаешь, как олень! Иди к невесте своей.

– А у него есть невеста? – зашевелились гости.

– Что ж ты молчишь, Тинелькут!

– Свадьбу играть!

– Сюда невесту! Горькой воды много, гости какие! Самый хороший случай.

– Подарки невесте привёз? – спросил Ниникай старый Тинелькут. – Иди подари.

– Я ещё хочу отдохнуть, – упрямо проговорил жених.

– Хорош! Ну, хорош жених! Я бы к такой красавице вперёд каравана бежал...

– Перед свадьбой жених отдохнуть должен, – нахмурился Ниникай.

Тинелькут зло отвернулся. А Пурама с шумом выбрался из яранги.

Старший брат мог бы настоять на своём. Ему не хотелось, чтоб Ниникай слушал пьяные и опасные речи головы юкагиров. Но невеста его младшего брата была в положении, и Тинелькут сообразил, что ей и в самом деле лучше бы появиться перед богачами попозже – когда все опьянеют.

– Потонча, у тебя есть карты? – спросил он. – Только не меченые...

– Хе-хе-хе... – не обиделся чуть сгорбленный мужичок. – У нас всякие есть... – И он извлёк из кармана тонкими девичьими пальцами новенькую колоду, завернутую в тряпку. – Мне только и осталось, что в карты играть. Из-за Мамахан торговля стала невыгодной. Наверно, пастухом к Курилю придётся идти.

– Мамахан сам просчитался, – сказал Куриль. – Не поехал на ярмарку, значит, не обернётся. А сейчас людям совсем тяжело: всю зиму, считай, купцов не было. Думаю, из-за одного человека люди страдать не должны. Потонче надо послабление сделать. А мой друг Мамахан пусть поворачивается, – это ему самому на пользу.

– Правильно, – согласился Чайгуургин. – Ко мне приезжай, Потонча.

– Нет уж, сначала ко мне...

– Хе-хе-хе – смотрите: карты сдавал Лелехай, а мне достались все козыри. – Потонча бросил карты. – Перемешай получше. Как будем играть? По олешку поставим?

– Конечно. Ты, Чайгуургин, хочешь играть? – спросил Тинелькут. – Тебе полегчало?

– Как выпью, так легче.

– Видишь – легче! – сказал Куриль. – А если б русский учёный дал своей горькой воды, совсем полегчало бы. А то на Каку надеешься. Кака – пустой шаман. Я лет десять за каждым шаманом слежу – знаю.

Хозяин и несколько богачей стали играть, и Чайгуургин, вспомнив недавний разговор об этом, сказал, ударяя на каждое слово:

– Своему шаману не верь, а чужому – верь. Так получается?

– Тоже сравнил! Мускевич у самого царя служил.

– Плохо, видно, служил, раз он его прогнал так далеко... И ты хочешь, чтоб я ему разрешил келе прослушивать, резать меня, и чтоб я пил его собачью мочу!

– Царю он мог не угодить! А ты-то не царь!

Богачи дружно захохотали. Но Куриль вдруг совсем разозлился и, обедев всех суровым взглядом, заговорил дальше каким-то решительным, незнакомым голосом:

– ...Царь... Царь так делает: не подходит ему человек, не угождает, мешают ли – он его сразу в тайгу или тундру. А мы? А у нас как?..

– Мне шаманы не мешают, – сморщился не то от боли, не то от злого несогласия Чайгуургин. – Ходи, Потонча.

– А что ходить: у меня опять все козыри... Посмотрите!.. Олень – мой. Гок! Ламутского бора возьму.

– Нет. Тебе олень для котла. Каргина бери.

– На общий котёл отдаю! Чтоб не считали меня жадным. Пусть гости решают.

– Ладно. Хозяин потом скажет, кого зарезал... Мне не мешают шаманы, – повторил Чайгуургин, ожидая, что ответит на это Куриль.

– А ты можешь позвать Каку и сказать: «Я голова, богач. Вылечи меня. Но за камлание подарок дам, какой захочу»? Нет. Всё получится как раз наоборот. Придёт Кака и скажет: «Половину табуна за камлание». Да ещё заставит тебя делать то, чего ты смертельно не хочешь. Кто же, получается, голова – ты или шаман?.. Если бы царь рассуждал так, как ты, то царём стал бы Мускевич.

– Ниникай! – резко повернулся Тинелькут к брату. – Забыл про свадьбу? Видишь – веселья не получается из-за того, что ты о невесте забыл. Давайте-ка выпьем, братья!

Ниникай покорно встал и начал пробираться к выходу.

Но богачей и купцов заинтересовал разговор Куриля с Чайгуургином, да и сам Тинелькут выпроводил брата лишь затем, чтобы он не слышал таких не нужных ему разговоров.

Костёр погас, и за ним никто не следил. На дворе стоял апрель, и было тепло. Богачи выпили, и многие придвинулись к играющим в карты.

– Ты, Куриль, говоришь такое... Люди перестанут бояться духов, – сказал Тинелькут. – Ходи.

– Пусть бога боятся, – ответил Куриль. – У меня хорошие карты...

– С богатыми и почтенными людьми шаманы живут мирно, – сказал Чайгуургин.

– Шаманы в каждую душу пролезли. А я и ты только ясак собираем.

– А я больше ничего и не хочу делать. Мне наплевать, что там шаманы в бедных стойбищах вытворяют...

– Может, ты забыл, что когда-то наши люди за ножи хватались. Кака не доведёт до добра: по ухватке вижу. И Тачана такая же. Кого, скажи, Друскин призовёт тогда? Шамана? Тебя призовёт, меня призовёт. А то ещё и к царю повезут. Мельгайвач и Сайрэ грызлись – а чукчи с юкагирами чуть врагами не стали. Было такое?

– Ну, до этого мы не допустим. Мы же все братья, – сказал примириительно Чайгуургин. Он повернулся и закричал: – Ох... Вроде опьянел, а боль чую. Каку всё равно вызывать придётся, а то как бы в тот мир не уехал... Что там у тебя, Потонча?

– Хе-хе-хе... Господин с госпожой и туз – все козырные...

Куриль бросил карты, остальные тоже.

– Ещё выпьем! – предложил Тинелькут. – Сейчас молодые придут, а мы слишком серьёзные... Нальём?

– Оленя там закололи? – спросил Потонча.

– Жена всё слышала. Она догадливая у меня... Выпили?

– Выпили...

Гости, однако, и без того уже опьянели. Но горькая вода из плоских и круглых бутылок забулькала снова.

– ...Я тебе, мэй Чайгуургин, ещё и такое скажу, – не успокоился, но уже стал заплетать языком Куриль. – Ты там, на ярмарке... лежал в яранге и охал. А я... ходил... Всё видел, десятью глазами смотрел... Богатая ярмарка?.. Никто не помнит такой богатой. Петрдэ вон спит, а то бы сказал, как было раньше... Да Тинелькут помнит... Нет... сбился я. Забыл, что сказать хотел...

– Выходит, сказать хотел, что легче жить будет, – напомнил Тинелькут, который хитрил – пил меньше других.

– О! Правильно!.. Сейчас люди без чая? Так? Без табака? Так?.. Колымчане голодают? На Алазаи что?.. Эх... Да, говорю: попрёт товар в тундру, а царь ясака прибавит. Вот...

– Пусть. Пороху больше, чаю-табаку больше – и песка больше...

– Песца больше – шаманов больше! – сказал Куриль. – И шаманы жадней... Ты, Чайгуургин, ты, Тинелькут, вы все, друзья, понимаете? Ясак... С шаманов его не возьмёшь.

– Э, Куриль, чего о том толковать! Соберём... любой ясак... Собе-рём! – Чайгуургин хотел вздохнуть и потянуться, но схватился за грудь, сморщился. Перетерпев боль, он уже не так бодро спросил: – Скажи, что собираешься делать?

– Чёрную веру хочу заменить светлой. И всё! И конец!.. Поставь-ка церковь, да своего попа туда... Как? Другой разговор? Да приветь попа... А две веры – много... Мешают шаманы мне...

– Мудрый ты человек, Афоня! – сказал Потонча, который был трезвей всех, трезвей даже Тинелькута. – Не зря тебя Том обнимал.

– Обнимал, не обнимал – ты не видел, – огрызнулся Куриль. Пьяная гордость требовала не опускаться до похвал Потончи, хотя слова его были сказаны как раз кстати,

– Стало быть, что делать-то и не знаешь!.. А ну, Лелехай, налей-ка мне ещё кружку. Напьюсь так, чтоб и боль не чують, и все разговоры забыть, – сказал Чайгуургин.

– Знаю, что делать! Дом божий ставить буду... И повыше, чем в острогах...

– Ну? Так ведь две же веры получатся? С шаманами как поступишь? Сечь тальником будешь? Или как?.. Смотри, Апанаа!.. От злых келе бог, может, защитит тебя. А уж от исправника защиты не будет.

– Поп сказал тогда, что лучше с шаманами не связываться, – добавил, еле выговаривая слова, огненный от вина Лелехай.

– Вот с шаманами как – не знаю, – сказал Куриль, тоже заплетая языком. – Не знаю... А церковь срублю... – Он вдруг весь напрягся, напыжился, покраснел и, тряся для убедительности руками, выговорил совсем уж несусветное: – Шаманы, шаманы! Кто такие они? А я, может, головой всей Кулумы стану! Может, я купцов со всего мира сюда зазову...

– Это вместо Друскина? – спокойно спросил Тинелькут, понимая, что голова юкагиров спился.

– А берёзовые палки везёшь церковь строить? – не удержался от насмешки Чайгуургин.

Куриль пошевелил губами, грозно поглядел поверх голов богачей и, не то поняв, что сказал лишнее, не то обидевшись на всех сразу, нахмурил свой высокий лоб, встал и молча направился к выходу.

А богачи загалдели, зашевелились, устав сидеть на одном месте. Кто-то запел тихим хриплым баском, но этого голоса было достаточно, чтобы и других потянуло на песню.

И пошёл разливаться поздний ночной пир уставших, пьяных и сытых людей, которые продолжали, однако, пить, есть, говорить, спорить, доказывать, мало что при этом запоминая.

Тут-то и появился Ниникай со своей невестой. Невесту звали Тиненеут. Это была рослая, круглолицая, молодая чукчанка с широко расставленными глазами, пухлыми губами и тонкими сине-чёрными нитями татуировки на смуглых щеках. Уже беременная, невеста робко дышала грудью, поджимая чуть обозначившийся, но заметный живот, который напрасно пытался заслонить малахаем её немного подвыпивший, однако сильно настороженный жених. Ниникай напрасно переживал: все были настолько пьяны, что не разглядели бы даже младенца под её керкером... Худой, узкоплечий старик лет восьмидесяти – отец Тинелькута и Ниникая и сгорбленная старушка с трубкой в сморщен-

ном провалившемся рту – их мать быстро пробралась вперёд, тоже загораживая молодых. Возле них остановились родные невесты. В ярангу набились другие женщины и мужчины, создав невозможную тесноту.

Тинелькут передал всем родителям и своей жене кружки с горькой водой.

– А вам нынче нельзя, – сказал он жениху и невесте. – Нынче мы за вас будем пить.

– Ну что же... – заговорил старик, видя, что гости размякли и требуют быстроты дела – чтобы зашуметь, взбудоражиться из последних сил. – Ну, значит, семейный теперь Ниникай. Значит, не один теперь будет табун, а два, и стойбища будет два: табун и стойбище Тинелькута, табун и стойбище Ниникая. – Он отхлебнул горькой воды и продолжал: – Живите, сыновья, дружно и поближе друг к другу, а каждый из табунов пусть скорее станет таким, как этот общий табун. Будьте богаты, здоровы и счастливы; живите, молодые, по законам нашего рода и наших обычаев... А свадьба, вижу, хорошая: и богачи с разных сторон приехали, и горькой воды много. Настоящая свадьба, хорошая свадьба...

Родители и родственники выпили, передали гостям кружки, и горькая вода снова забулькала в кружки и мимо кружек.

Гости стали хвалить жениха и невесту, но больше невесту:

– И где молодых девушек находят таких?

– Хороша... Ну совсем как двухлетняя важенька.

– Красива, ох красива!

– Целую кружку выпью за неё и за счастье Ниникая...

Тинелькут поспешил распорядиться, чтобы молодые легли спать за материнским пологом, потому как поздно и трезвым сидеть с пьяными не интересно.

А на дворе всё усиливался и усиливался порывистый ветер. Под грохот ровдуги пир начал быстро стихать; многих давно уж клонило ко сну, а в непогоду засыпается легче и слаще.

Прохладившийся на ветру Куриль вернулся в ярангу, когда все уже спали вповалку кто где – кто за большим пологом, кто посередине, по углам, у двери. Там и здесь раздавались тяжкие вздохи, храпение, свист. Не спал один Потонча. Сгорбившись и положив на колени руки, он неподвижно сидел близко к горячему жирнику и о чём-то думал. Курилю было не до него. Горькая вода хоть и распирала всё его тело, но в сознании ещё плавали светлые пятна. Большая яранга сильно вздрагивала от порывов ветра, жерди скрипели, низ ровдуги то тут, то там сильно стучал о каркас – и душа Куриля тоже трепыхалась, не находя места. Он уже хорошо понимал, что наговорил лишнего, и что завтра кто-нибудь да напомнит ему его же собственные слова. Во всяком случае, разговор этот не забудется начисто, потому что на язык пьяному не полезет то, о чём человек не думал, и уж если над глупостью можно и посмеяться, то всего сказанного Курилем забыть невозможно... Увидев спящих людей, он было загорелся желанием отыскать Пураму и уехать отсюда. Однако рассудка хватило сдержаться. Завтра он должен говорить то же самое, осторожней, конечно, но то же самое. И пусть богачи поверят, что голова юкагиров ни пьяный, ни трезвый не умеет шутить...

Его успокоила, а вскоре и уснула сказка, которую он припомнил

под шум непогоды. Какой-то старик в детстве рассказывал ему о злом, но обманутом ветре. Показалось однажды ветру, что в шумном и людном тордохе все умерли. Он и бросился засыпать густым снегом жилище. Всю ночь ветер трудился и радовался. Но люди не умерли – они просто спали. Утром они разгребли снег, стали жить ещё веселей, а ветер долго жалел, что напрасно трудился...

Ниникай сильно соскучился по красавице Тиненеут. Он любил её так, что боялся не вовремя встретиться с ней. Увидит её – сразу забудет любое дело. А если уж удавалось ему остаться наедине с ней, то он забывал и себя, не думал, не понимал, что делает. Тиненеут он знал с детства, давно знал, что он нравится ей. Но сперва Ниникай презирал всех девушек, а над красивыми лишь смеялся. Потом он стал бояться её. Тиненеут была умной, ловкой и работящей. Она метко ловила арканом оленей, хорошо управляла упряжкой, вышивала такие узоры, что ни конца ни начала строчки найти было нельзя. Она всё умела. И была бы она не такой красивой – Ниникай, может быть, год или два назад сошёлся бы с ней, как сходятся все молодые, женился бы, справил свадьбу. Но её расторопность и ум при такой красоте отпугивали его. Ниникаю казалось, что эта слишком заметная, рослая девушка – стоит ему показать свою слабость – потянет его в какой-то сумасшедший, полный опасностей мир, в котором он будет меньше радоваться, а больше страдать...

Два года крутился и мучил себя Ниникай. Научился пить горькую воду, сошёлся с плохими друзьями, стал играть в карты. Но даже на ровной тундре, в самую тёмную ночь, два путника сталкиваются лицом к лицу. Четыре луны назад Ниникай ехал на нарте к табуну Тинелькута, ехал и любовался сиянием. В пастушьей яранге он не застал никого и решил развести костёр. Но не для себя он надёргал хворосту – кучку тальника уж потом сожгли пастухи. Тиненеут подкатила на нарте к самой двери и, окликнув пастуха-родственника, со свёртком в руках появилась в яранге. Они бросились друг к другу так, будто сто зим назад согласились на эту встречу, но потом потерялись в сплошной черноте...

И попал Ниникай в тот полный опасностей мир, который сулил ему и великие радости, и великие муки. Уж в яранге родных Тиненеут он однажды увидел её оголённые груди – она первый раз при нём развязала тесёмки керкера. И хоть глаза и руки его испытали тогда неземное счастье, боль и дурные предчувствия напоззли на него, как тень от тучи. Напоззла эта тень и остановилась.

Ниникай был чукчей. Правильно говорил юкагир Пурама, что чукчи-мужчины не считаются с женщинами. И он был бы прав, если б сказал ещё, что и многие из чукчанок ничего плохого не видят в том, что становятся второй или третьей женой или спят с гостем мужа. Но как раз это всё, как теперь понимал Ниникай, и было самым страшным в его судьбе. Он не хотел, он не мог верить, что Тиненеут станет такой же. Но ведь разве всё зависит лишь от неё? Будут гости. Но слепых не будет гостей. Стоит только увидеть, как вздыхает она, как при этом напрягается на груди керкер, чтобы уж ничего кроме не видеть.

Ниникай продолжал пить даже после того, как живот у его невесты чуть-чуть пополнил. Временами он пил потому, что никакого не видел выхода, а чаще совсем по другой причине: думал, что стоит ему по-на-

стоящему пристраститься к горькой воде – и постепенно всё в жизни будет казаться проще.

Горькая вода, однако, не помогала. Хуже того: чем сильнее он напивался, тем острее чувствовал, что свою круглолицую Тиненеут он не променяет ни на кого. Пьяный, Ниникай бесился и срывал зло на всех, кто был, на его взгляд, неправ, несправедлив или просто противен ему. Теперь он женат. Вот только сейчас это случилось. Ниникаю и Тиненеут теперь нечего прятаться. Молодые, красивые, крепкие, любящие друг друга, они отдались страстям, для которых апрельская ночь была куцей, вроде хвостика жирного медведя.

– Ты не здесь кусай мои волосы. За ухом вшей много, – шептала она, едва сдерживая счастливый смех. – Ты косы грызи – там меньше их.

– Мне и вши твои вкусны...

– Подожди. Жарко... Давай немножко поговорим.

– Наговоримся ещё. Днём.

– И правда. Говорят, после замужества вши пропадают.

– У тебя к утру их не будет. Вытащи косу...

Они играли, как медвежата, причиняя друг другу ласковую боль и радуясь этой боли. Дружное храпение пьяных гостей хоть и заставляло их разговаривать шёпотом, но зато делало ещё более счастливыми – эти люди разрешили им всё, разрешили и улеглись рядом, как самая надёжная охрана от людских глаз и ушей, от пересудов: так надо, на том держится средний мир...

Но охрана всё же спала, и молодым перед утром пришлось сильно встревожиться. В ярангу на четвереньках вполз Пурама.

Если бы Пурама увидел всех до одного спящими, он рухнул бы на шкуры и лишь добавил бы храпу. Он, впрочем, и сделал так, но сперва произошло короткое, однако важное для молодых событие.

Пурама увидел сидящего Потончу. Сгорбленный, одетый в полинявшую дошку, мужичок-купчик почему-то не спал. В нежных девичьих руках у него был крепко перевязанный ремешком кисет, который в момент исчез под полой, как только Пурама показался в двери.

– Что спрятал? – спросил Пурама, не поднимаясь.

– Хе-хе. Не спится, – повернул Потонча молодое лицо, не имевшее, кроме бровей, ни одной волосинки.

– З-золото спрятал?.. Много з-золота натаскал?..

– У Потончи золото? Хе-хе...

– Сирайкан... А твою Пайпэткэ режут... Ш-шаманы режут!

– Что кричишь? Люди спят...

– Я сейчас р-разбужу... Всех разбужу!..

Пурама стал перебираться через людей, угрожаясь приближаясь к растерянному и уже вовсе не сгорбленному Потонче.

– ...В Америку целишься, да?.. А где родился, там гадишь?.. Глупых девок... з-золотом соблазняешь? Да?.. В Америку увезти обещаешь?.. Сирайкан!.. А ярмарку ни одной не показал? А сироту режут... Пайпэткэ режут...

Пурама размахнулся, высоко занес над собой кулак. Но когда же пьяный охотник попадал в цель? Потонча с мальчишеской ловкостью увернулся – и пьяный Пурама крикнул, свалился, не удержавшись. Он заворочался возле чьих-то ног, забормотал по-юкагирски и по-чукот-

ски, потом проскрипел зубами и стих.

Заворочались, перестав храпеть, и многие разбуженные гости. Но Потонча вскочил, дунул на огонёк жирника – и всё погрузилось в сплошную предутреннюю темноту.

Молодые замерли, привстав и прижавшись плечом к плечу. Какие-то шаманы кого-то резали. Где всё это случилось? В стойбище? Но таких жестоких шаманов в стойбище не было, не было и сироты по имени Пайпэткэ. Разве что кто-то приехал и привёз тревожную весть? Но почему же тогда всё вдруг стихло?

Наконец Тиненеут толкнула мужа:

– Что? А?

– Не пойму... Подожди... Я вроде слышал такое имя... Ниникай схватил кукашку, лежавшую в изголовье, с шумом оделся, обулся и скрылся за пологом.

Вернулся он очень быстро, обежав и оглядев все яранги.

– Нет, никто... не приехал, – тяжело дыша, сообщил он.

Ниникай не стал раздеваться. Он уселся на одеяло, сложив на коленях руки. Тиненеут тоже сидела, накинув керкер.

– Пурама это кричал. Ты не знаешь его, – тихо сказал Ниникай. – Пьяный он. С Кымыргиним в карты играл... Тут дело старое. Но при чём здесь Потонча – не пойму...

– Какое старое дело?

– Какое? Да так – старое. Нас не касается... Сказав это, Ниникай вдруг уткнулся лбом в скрещённые на коленях руки и будто перестал дышать.

– Ты не будешь рассказывать мне. Я вижу. Но мне и не надо рассказывать, если нельзя. Только ты успокойся. Раздевайся, ложись. Нам надо немного поспать.

– Тиненеут! Подожди, не ложись, послушай меня, – тревожно заговорил Ниникай. – Ты знаешь... нет, ты не знаешь, как я сильно тебя люблю. Но ты совсем не знаешь, что я так же сильно жалею об этом.

– Я знаю, я всё знаю... Ложись.

– Я даже не хотел на тебе жениться...

– И это я знаю. А всё-таки почему согласился? Много выпил горькой воды?

– Много. Только не горькой, а сладкой... Я сейчас совсем трезвый – всё тебе расскажу. Ты слышала о шамане Мельгайваче? Чукча он...

– Слышала. Из Халарчи.

– ...А в Улуро была очень красивая девушка, сирота. Пайпэткэ имя её.

– Ну, ну...

– Это Куриль – юкагирский богач на ярмарке рассказал. Немного рассказал и он – который кричал, – Пурама... Пайпэткэ полюбила Мельгайвача. Так полюбила, что даже ум потеряла. А очень старый шаман Сайрэ взял её в жёны. Сказал, что хочет спасти её от злых чукотских келе, – вот она и потеряла ум. Я не знаю, – кажется, десять лет жили они. Но потом Сайрэ умер. И когда хоронили Сайрэ, Пайпэткэ осталась в тордохе с нашим Мельгайвачом. Ну, как мы с тобой... А сейчас она не то родила, не то только должна родить...

– Это сказка.

– Это хорошая сказка. Куриль Чайгуургину и Тинелькуту рассказывал.

– Им-то зачем?

– Сайрэ от шаманства отрёкся и перед смертью сознался в обмане... Доказывал нашим Куриль, что шаманы – обманщики.

– Ой, не повторяй эти слова!..

– О, Куриль ещё не такое говорил нынче – вот здесь...

– Не надо – молчи... Лучше бы он тебе рассказал эту сказку...

– Он как раз на меня больше всего и смотрел. Я даже хотел поехать и поглядеть на Пайпэткэ. Бывает, конечно, такая любовь... И в чукотских сказках о такой любви говорится...

Тиненеут вся встрепенулась. Она обхватила голову Ниникая, рывком прижала её к голой груди, придавила мягким, как грудь, подбородком.

– Один, ты один у меня, – не разбираясь, гладила она волосы и лицо Ниникая. – Если меня усыпят горькой водой или келе на меня напустят, чтоб обмануть, – я аркан на шею надену... Ты... ты делай, что хочешь, только вторую жену не приводи...

Дух неба всю ночь радовался женитьбе Ниникая – так сказала старая мать, не сумевшая выйти из яранги утром: ветер насыпал огромный сугроб перед входом. Нарадовался вволю дух неба, поиграл, пошутил, набросал всюду лёгкого чистого снега и успокоился: пусть теперь молодые, их родные и гости выходят на волю – тут всё бело, тут красиво, тепло, тут дышать – не надышишься...

– Ну что ж, брат Ниникай, – сказал Тинелькут, когда гости выбрались из яранги, чтобы увидеть последнее и самое главное в свадьбе богатого человека. – Дух неба радовался, и я должен тебя обрадовать. Разрежем табун. Пополам... А чтобы ты не обижался – попросим самого уважаемого человека: пусть сделает это он. Отец стар. Пусть разрежет табун Куриль.

Не совсем выспавшийся, но отрезвевший, Куриль сейчас стоял сзади всех со сжатыми, как дужки капкана, губами и ни на один взгляд не отвечал взглядом знакомого человека. Слова Тинелькута были неожиданными для него. Но он сумел ничем не выдать радости – и так, с окаменевшим суровым лицом, обошёл кучку людей, направляясь вниз, к озеру, где колыхался огромный табун. Следом за ним двинулись работники Тинелькута. Ночные пастухи пришли в стойбище очень уставшими, с почерневшими от сильного ветра лицами. Но Тинелькут каждому дал по кружке горькой воды – и лица их стали живыми, медными, а ноги подвижными, молодыми.

Табун издали походил на густой дрожащий кочкарник, поросший корявыми деревцами; рога оленей качались, вздрагивали – и казалось, что над одним и тем же местом мечется, крутится ураган... Куриль смело вошёл в эту беспокойную топь и, наверно, пропал бы в ней, если б не пастухи, которые сразу же раздвинули край этой топи. Куриль разрезал табун поперёк. Он знал, что впереди всегда идут неприрученные олени, и эта часть должна была отойти Ниникаю: пусть молодой хозяин начинает жить с трудного конца, а не с лёгкого.

Разделённый табун двинулся в разные стороны. Это уже были два табуна. Часть Ниникая пастухи осторожно погнали за озеро, а часть Тинелькута – за лес.

Табуны уже далеко разошлись в стороны, когда Куриль возвратился к людям.

Старый отец двух богачей молча глядел из-под руки вдаль, то вправо, то влево. Он совсем недолго глядел – наверно, устали глаза. Нет, не просто устали.

– Всё. Вот и всё. Больше не вижу, – сказал он, повернувшись к своим родичам и гостям. – Наверно, глаза уже в тот мир смотрят. Колет их здешний свет. И кости ломит – долго стоять не могу, отдохнуть кости хотят... Теперь сыновья семейные – мне можно собираться в тот мир. Скоро, наверно, и отпрошусь...

– Нет, нет, отец! – запротестовал Ниникай. – Глаза твои должны ещё внука увидеть. Я хочу, чтобы ты внука увидел!

– Хорошо. Хорошо, сынок! – обрадовался старик, всерьёз решивший умереть после свадьбы младшего сына. – Я подожду. Ждать мне теперь будет легко: и внука увижу, и конец аркана будет тянуть такая красивая, свеженькая невестка. Подойди сюда, моя хорошая дочка. Подойди, я понюхаю тебя. Хочу, чтобы ты тянула конец аркана. Лёгкие у тебя руки. Какая ты прекрасная, совсем как двухлетняя важенка.

Затянувшая материей и ремнём живот, Тиненеут смело подошла к старику и прижалась своей тёплой мягкой щекой к его морщинистой холодной щеке.

– Апаи!⁷⁸ А почему же меня ты забыл? – зашумела обиженная при людях жена Тинелькута. – Ты обещал, что конец аркана я буду тянуть!

– Да, да, ты, отец, обещал, – подтвердил сам Тинелькут. – Что ж, старик есть старик, – вздохнул он, обращаясь к гостям. – Уже не всё помнит.

Растроганный обидой старшей невестки, старик расчувствовался и сам шагнул к ней.

– Обе тянуть будете, обе, – обнял он её. – Хочу умереть от ваших рук. У тебя руки добрые – сколько ты мне хорошего сделала ими!.. Я счастливо живу в этом мире: беды не испытывал, сыновей бог послал умных и верных обычаям рода, снохи – всем на зависть, жена строгая, не болезненная... Как ты, жена: будешь меня ждать или в тот мир отпросишься раньше?

– Как захотят духи, – мудро ответила та. – Поторопят – что делать, раньше придётся... – Старуха ещё что-то добавила, но высохшие губы её сжевали слова.

Весь этот разговор Куриль выслушал с большим любопытством и содроганием. Он знал о таком жестоком обычае чукчей, но никогда не был свидетелем уговора. Зябко стало от слов старика, от обиды старшей снохи, от общего спокойствия, от того, что уговор состоялся в такой радостный день. И лишь возражение Ниникая, оттянувшего срок добровольной и благочестивой расправы, оставляло какой-то просвет...

Ярангу Тинелькута между тем люди разобрали до самого основания. Женщины, расстелив на снегу ровдугу, разрезали её на две части, а мужики тесали жерди для новой яранги Ниникая. Таков был обычай – разделить ярангу пополам: потом братья каждый себе выстроит какое захочет жильё.

Потонча знал, что ночная пьяная выходка Пурамы известна не ему одному. Выбегал Ниникай, не спали молодая жена и, наверно, жена Тинелькута. Слова Пурама сказал страшные, и, боясь, что они расползут-

⁷⁸ Апай – дедушка (чукот.).

ся по стойбищу, он сейчас делал всё, чтобы о нём плохо не думали. Он побежал к мужикам и взялся тесать жерди. Потом он помогал ставить каркас, натягивать ровдугу.

А Пурама сильно напился с утра. Куриль уже знал, что он проиграл последних оленей Кымыыргину.

В полдень родные, гости и жители стойбища провожали вдаль караван нового богача, молодого хозяина огромного табуна – Ниникая. Обычай повелевал молодым уехать из стойбища и не появляться в нём несколько дней.

К вечеру яранга Тинелькута стояла на прежнем месте. Но это уже была маленькая яранга, в которой не смогли уместиться все гости. Воспользовавшись этим, Потонча и уехал в Нижний на пустой нарте. Он распрощался с каждым из богачей без слов, лишь одаряя их обычной бодрой и невинной улыбкой.

В честь свершившегося Тинелькут заколол двух жирных оленей и выставил последние, как он сказал, бутылки горькой воды. Гости тоже нашли кое-что, и пир продолжался.

Куриль, однако, не собирался проводить здесь вторую ночь. Он уже давно заставил Пураму лечь спать и уехал бы затемно, но уступил старику Петрдэ, который не захотел отправляться в путь с голодным желудком.

И всё-таки настало время ехать.

Ещё не попрощавшись с хозяевами и гостями, Куриль вышел из тесной и шумной яранги, чтобы поднять Пураму, и вдруг увидел нарту, на которой сидели Ниникай с молодой женой.

– Га! Ниникай! – удивился он. – Что такое случилось?

Брат Тинелькута передал вожжи жене, сошёл с нарты и в нерешительности остановился.

Куриль подошёл к нему.

– Вот... вернулся... – сказал Ниникай. – Скучно вдвоём...

– Горькой воды надо было бы взять, – улыбнулся Куриль.

– Правду сказать, за ней и приехал... А её, жену, оставлять одну было нельзя... Нет, я говорю не то! – вдруг махнул рукой Ниникай. – Всё равно. К чему эти законы! Погляди, мэй, на мою жену. Живот у неё – выпуклый. Раньше свадьбы мы поженились. Ну, тем, кто не так... тем, конечно, нужно остаться вдвоём далеко от стойбища. А нам-то зачем?

– Что скажут отец, мать? Тинелькут что скажет?

– Э, одно простили – другое простят! Да мы завтра с утра уедем. Только переночуем.

– Ниникай. Приезжай в Улуро! – сказал Куриль и положил ему на плечо руку. – Совсем приезжай. Пастбище там найдётся...

Ниникай тяжело вздохнул:

– Всю дорогу сюда я жене об этом и говорил... Не получится здесь у меня жизни... Такой уродился я... Хотел к ламутам податься: там и женщины скромные, и мужчины другие, наши чукчи реже бывают...

– У нас чукчи бывают часто. Но у нас... там у нас... – Куриль замялся: ему хотелось сказать: «Там я, и ты можешь надеяться», но эти слова почему-то застряли во рту. – Там, у нас, строгости больше, – выпутался он. – Перекочёвывай к нам!

– Наверно, перекочую.

– Только скажу тебе так: не шамань.

– Я? Шаманить? – удивился и едва сдержал смех Ниникай. – Это ты, мэй, потому, наверно, подумал, что я на людей подолгу смотрю?

– Нет, не поэтому. Просто так. Не шамань – и всё. Как договоримся – когда тебя ждать?

– Не знаю, – вздохнул Ниникай. – Отцу обещал... Но Тиненеут родит скоро... Отца отправлю в тот мир. Да долго ли стариков провожать? Аркан накинул на шею и затянул. А потом жги. Всё... После лета, по первому снегу и прикочую.

Куриль опустил голову, и Ниникай опустил голову.

– ...Нет, не знаю, – тихим, другим голосом сказал чукча. – Может, и совсем не вернусь в своё стойбище...

ГЛАВА 14

После рождения сына Пайпэткэ должна была бы возненавидеть или постараться забыть имя Сайрэ. А она взяла да и назвала этим именем своего мальчика. Нет, Пайпэткэ не была в эти дни сумасшедшей – напротив, став матерью, она познала удивительное просветление и ещё никогда в жизни с такой ясностью не понимала своей судьбы и роли в этой судьбе старика шамана. И всё-таки она дала имя Сайрэ своему ребёнку, своей единственной радости. Словно опомнившись от тяжкого сна, Пайпэткэ начала думать о будущем. И это будущее теперь уже не казалось ей таким страшным, каким было прошлое. Через три зимы мальчик уже растопырит ручонки, защищая её, через пять сможет кушаться, потом он сядет на нарту и полетит птицей за Курилем, за Пурамой, за Мельгайвачом, за Токио, которые защитят её...

Защитят... А почему ей всю жизнь надо защищаться и ожидать защиты? Разве она родила девочку?

Пайпэткэ начала прикидывать, кем может быть её сын, какой у него будет нрав. Сначала ей захотелось, чтобы он стал точно таким, как Пурама. Но этого ей показалось мало. И тут пришла радостная, обжигающая мысль: шаманом будет её сын. Шаманом – но не таким, как старый Сайрэ, а совсем противоположным ему. Он будет могучим шаманом и отомстит всем, кто обижал его мать, а потом начнёт преследовать злых ненавистников. Он станет другом Токио, и вдвоём они избавят людей от бед... А чтобы люди не забывали зло – пусть о злых людях и злых шаманах им напоминает имя Сайрэ...

Пайпэткэ казалось, что она замыслила очень мудрое, а главное – тайное дело, о котором её враги и мучители догадаются слишком поздно. Но каким же горьким и ужасным было её удивление, когда в этот же день в тордох ворвалась взбешённая Тачана и моментально разрушила и её тайну, и её надежды!

– Ты, потаскушка, рыбу с мясом смешиваешь? – заорала она, брызжа слюной. – Такое большое имя присваиваешь этой чукотской твари? Мстить хочешь мне этим именем? Хочешь доброй памятью мужа прикрыть врага моего и врага всех улурочи? Да с кем же ты тягаться взялась, полоумная! Со мной тягаться взялась?

Стоя на коленях и прижав к груди проснувшегося от этого крика ре-

бёнка, Пайпэткэ будто одеревенела. Мысли её были разгаданы сразу, на расстоянии, и сейчас крик шаманки звучал для неё, как гром, как кара духов земли и неба.

К счастью, Пайпэткэ была не одна. В тордохе сидели Лэмбукиэ с мужем, принёсшие молодой матери немного варёного мяса. Тачана мясо увидела в первый же миг и в этот же миг поняла, что Лэмбукиэ, как всегда, будет на стороне Пайпэткэ – однако такая защита для неё ничего не значила: собралось бы здесь хоть всё стойбище – она кричала бы так же.

Но старая Лэмбукиэ знала, чем можно взять Тачану, и крик совсем её не напугал.

– Э, Тачана, – спокойно сказала она. – У меня скоро сучка ощенится. Так я щенка-сучку назову твоим именем. До-олго проживёт эта собака, а я буду кликать её как можно громче...

– Ы-ы, ды, мы... – замычала шаманка. – Подавись своим языком.

– Ты уже подавилась!

– Замолчи! – крикнул на Лэмбукиэ муж, хватая её за руки, чтобы поднять. – Когда же ты умрёшь, безумная! Когда тебя духи проглотят! Когда я от тебя отдохну!.. Уходи из тордохы...

– А почему же нельзя имя Сайрэ детям давать? С каких пор слово «птица»⁷⁹ стало позорным? Вон сколько сайрэ летает на всех едомах! Может, имя кто опозорил? Так пусть мальчик тогда вернёт людям красивое имя...

– Будет он носить это имя. Будет! Только сперва его мать при всём стойбище тальником высечем. Да, пороть её будут! Всех духов чукотских из неё выгонят, даже запаха не останется!

– Власть над всеми взяла, уродина! Смотри: черти тебе позавидуют и сожрут...

Старик наконец вытолкнул рассвирепевшую Лэмбукиэ из тордохы. Но она вырвалась, откинула дверь и крикнула:

– Куриль скоро приедет – я встречать его побегу.

Громко шумела в этот раз Тачана. А через несколько дней ещё громче шумел в яранге Тинелькута Куриль. В тундре никто и ничто не передвигается так быстро, как слухи. И вести о том, что голова юкагиров возвращается с ярмарки злым на шаманов, что он собрался будто бы сразу же строить церковь и пороть неугодных шаманов, вести эти долетели до стойбищ Улуру гораздо раньше, чем он сам появился здесь.

Проводив Каку, Тачана приуныла. Ошиблась она, злость её подвела. Ей бы не говорить о задуманной порке вдовы Сайрэ – и тогда потихоньку можно было бы настропалить всех людей, а если Куриль и на самом деле решил схватиться с шаманами, то уж шаманку-женщину, ничего дурного не сделавшую, он, наверно, не тронул бы... Тачана и верила, и не верила слухам. Кака ей сказал о предупреждении Куриля – не трогать без него Пайпэткэ. Стало быть, он и на ярмарку уезжал злым. Там, на Колыме, в остроге, он мог договориться с начальниками о строительстве божьего дома. Может, потому и с шаманами он решил повести себя круче. Но с другой стороны Тачана и Кака рассудили, что божий дом строить Курилю просто не на что – оленей на шкуры он не менял, а поднимать шерсть сразу на всех шаманов – это детская игра в охотников и медведя.

⁷⁹ Птица по-юкагирски – сайрэ.

Как бы то ни было, а слухи пришли. И одно дело верить им или не верить, и совсем другое – знать, что такие слухи опередили хозяина. Надо же! Ехать с ярмарки и не быть пьяным, думать не о выручке, не о скором отёле оленей и перекочёвке, а о шаманах! Ярмарка, говорят, была очень богатой. Значит, Куриль сидит на полных возах, а мысли его здесь, в тордохе у Тачаны? Это уже опасно. Возвращается и Пурама. Но если Куриль злой, то Пурама злее самого себя в сто раз...

А не потому ли старая Лэмбукиэ так отчаянно бросилась на неё, что почуяла поддержку и близкие перемены? Именем шаманки сучку называть, а шаманку – сучкой! Да за это шаманы-чукчи вместо духов сами бы съели её!..

И Тачана юркнула в нору. Юркнула – но не скрылась совсем в глубоких ходах. Она прятала все части тела, кроме носа, глаз и ушей.

Потом в стойбище появился родственник Куриля – Пурама. Тачана стала усиленно нюхать воздух и наострила уши. Приехал Пурама после полудня – и уже к вечеру шаманка поджала хвост. Ни к кому не зашёл охотник, никто никаких рассказов о ярмарке от него не услышал. Был он хмур, молчалив и ни о чём людей не расспрашивал. Это показало Тачане странным и даже зловещим.

Наутро второго дня Пурама зашёл в тордох Пайпэткэ и что-то принёс ей под мышкой. Он пробыл у неё очень долго, но, когда в тот же тордох сунулся Ланга со своей женой, от которых можно было узнать кое-что, Пурама сразу же вышел.

Получалось совсем плохо. Пурама явно хранил какую-то тайну.

Так и потекли дни.

Однажды Тачане стало известно, что Пурама в разговоре с соседом в сердцах сказал: «Не хочу знать никаких шаманов! Не хочу ничего о них слышать! Мужик должен заниматься хозяйством и богу молиться». Время было весеннее, хлопотливое и тяжёлое – в стойбище всего не хватало, и труда не составляло понять, что после богатой ярмарки Пураме, конечно, захочется жить по-иному, навести в хозяйстве порядок. Могла бы Тачана и обрадоваться: какая бы причина ни заставила его говорить такие слова, однако он их сказал – и теперь, может быть, не станет ходить на камлания, не станет переворачивать шаманские разговоры на свой лад. Но запуганный человек боится и звука собственных шагов. В словах родственника Куриля Тачана увидела именно тот смысл, который и сделал её пугливой.

А несколько дней спустя в стойбище снова пришли те же самые слухи, только с другой стороны – от чукчей. При этом оказалось, что человек прибыл из Халарчи затем, чтобы узнать новости – не появились ли в Улуро русские люди с железными топорами, не привезли ли брёвен, не приезжал ли поп. И шаманскими делами человек интересовался.

Чукча уехал быстро. Но лучше бы он совсем не показывался. Тачане пришлось с головой спрятаться в нору. Теперь она стала ждать, когда и как сильно Куриль топнет ногой, чтобы она выскочила и поползла перед ним на брюхе. Все надежды свои она обратила к шаману Каке. Правда, Кака сам побаивается Куриля, к тому же он обещал приехать лишь после того, как подсохнет тундра, а Пайпэткэ наберётся силы. Но, может, теперь он решит по-иному?

Шли дни, тундра начала просыхать, а вода в Малом Улуро светлеть,

но Кака не показывался. Вместо этого Тачана слышала стук ноги Куриля. Слабенький стук, но зато над самой своей норой. На берегу Большого Улуро, в стойбище Куриля, появился купец Мамахан Тарабукин. Это было настоящим событием, потому что друзья-богачи, как о том знали многие, давно договорились построить божий дом в тундре. Конечно, у них были и другие дела, но они сейчас Тачану меньше всего интересовали.

Сколько шаманка потратила сил, чтобы узнать, о чём разговаривали богачи! Нет, ничего она не узнала.

Тяжёлой для Тачаны была эта весна. Люди ходили с подтянутыми животами, многие болели по всякому пустяковому случаю, но её призывали редко: одним нечего было дать за камлание или совет, другие могли бы немного дать, но не надеялись на неё. Тачана утешалась тем, что не голодает. Но есть ей приходилось плохое мясо, высохшую юколу. И как тут было не вспомнить шамана Сайрэ, которому люди могли отдать последнее, отдать самое лучшее!.. И надо же было Курилю именно в эту весну оскалиться на шаманство и пустить слухи о лучшей жизни под божьим крестом, но без шаманов!

Так, в страхе, в людской неприязни, в ожидании ещё худших времён, Тачана и провела всю весну. Потом началось лето. Жизнь повеселела; уставшие от долгих зимних и совсем невыносимых весенних тягот люди отчаянно латали дырки в хозяйстве, жадно делали запасы на будущее. И как-то в середине лета на Соколиной едоме появился разъездной купец Мамахан, привезший в перемётных мешках чай и табак. Стойбище перестало набивать трубки сухой травой – закурило уже смесь, а то и чистый табак. В тордочах запахло зелёным чаем.

Шаманка тоже принесла в свой тордох табачных листьев и полторы плитки чаю. Вечером она и её муж Амунтэгэ хорошо согрели животы, распарились, закурили и вспомнили времена, когда шаман Сайрэ был в почёте.

– Хайче Сайрэ сам по себе не был злой, – проговорил Амунтэгэ, которому надоело жить сперва одними надеждами, а потом и без всяких надежд. – Может, и тебе какое заметное доброе дело сделать? Говорят, Куриль не хочет трогать Токио...

– Молчал бы ты, – спокойно ответила Тачана. – Уж не вышел умом, так хоть язык не распускай. Что ж я, по-твоему, племянницу твою, дурочку, из-за злости хочу лупить? Ты возьми бубен да распались, да сунь в наш мир хоть один нос. Тогда и поймёшь, что нрав у шаманов не сам по себе. Сайрэ – один нрав, а мне – другой... Не то что старики – уже и малые дети знают, что в крови твоей дурочки дух отца Мельгайвача сидит.

– А жить-то надо! – возразил старик. – Пошла бы да вылечила кого без подарка. А в другой раз подарок сам бы пришёл... А то шаманка – и кипрей вместо чая пьёшь. Где такое бывало?.. И пусть себе Куриль божий дом строит...

– Ладно, без твоего ума обойдусь. Я вот гляжу, Куриль не очень-то разворачивается. А ещё погляжу – так, может, и по-своему заговорю! Каку вызывать надо. Пора вызывать...

Но прежде чем Амунтэгэ уехал с посланием к шаману Каке, в стойбище произошло событие, удивительное и неожиданное. К Пайпэткэ приехал сам Мельгайвач.

Мельгайвач подгадал так, чтобы появиться в стойбище как раз посреди ночи. Его выдал лай собак, бросившихся навстречу. Несколько мужиков высунулись из тордохов и опознали чукчу: полночь была круглолунной, совсем белой.

Пайпэткэ в это время сидела возле маленького костерка со спящим на коленях ребёнком. Сырым прутиком она ковыряла горящие хворостинки, стараясь сбить пламя. Ночь была комариной, а кучка тальника уменьшалась быстро; не будет дыма – комары не дадут спать ребёнку. Сама Пайпэткэ еле сдерживалась, чтобы не упасть на бок и не заснуть. Но она нашла очень хороший способ взбадривать самоё себя: временами она откладывала хворостинку, ладонью загребала дым и бросала его себе в глаза, как песок.

Уже больше трёх лун Пайпэткэ жила почти счастливо. Только во сне да в сказках случается то, что случилось с ней перед этим. Угроза Тачаны не была пустой – если старуха приказывала Амунтэгэ свить плётку, то плётка уже не могла затеряться. Так было в детстве. Но теперь Тачана и вовсе не могла отступить, потому что всё получилось не по её, получилось даже назло ей. И тёплое долгожданное солнце в глазах Пайпэткэ чуть не покрылось туманом – тем страшным подвижным туманом, который обозначал болезнь, на этот раз наверняка неизлечимую, а может, и гибельную. Пайпэткэ всегда боялась побоев, но после родов ей показалось, что от боли у неё обязательно что-то лопнет внутри и она умрёт. А смерть будет жуткой. Любая юкагирка ни за что не покажет босую ногу, сгорит от стыда. Но ведь для порки её совсем разденут, а это всё равно что содрать шкуру с живого оленя, освежевать... Собрётся всё стойбище, загремят бубны...

И всё-таки не страх перед позором, болью и смертью разрывал Пайпэткэ на части. Ребёнок же у неё! Как посмеют шаманы оторвать его от груди? Посмеют. Они посмеют. Они сделают так, что она сама отдаст его в чьи-то руки. Способен же шаман Токио посмотреть в глаза и лишить человека рассудка...

Какие бы обнадёживающие слова ни произнесла в тот день старая Лэмбукиэ, для Пайпэткэ они почти ничего не значили. Потому что она слишком хорошо знала шаманов: затравят они и старушку.

От быстрого помешательства её спасла одна счастливая мысль. А не затем ли шаманка сказала ей о расправе, чтобы лишить ума и уже вечером отобрать ребёнка? Подумав так, Пайпэткэ встала поперёк первой, ближней беды, после которой ничего нельзя будет исправить, уперлась изо всей мочи и решила не поддаваться ни страху, ни шаманским хитростям.

Через три дня, однако, почувствовала, что сил не хватает, что глаза вот-вот застелет не туман, а чернота.

В сказках богатырь появляется в самый нужный момент. В жизни случилось так же. Когда Пайпэткэ показалось, что её душат, когда ребёнок, обрызганный молоком, корчился на коленях, а она ломала руки, то прижимая его к голой груди, то отрывая, – в тордохе как раз и раздался кашель. Это вошёл Пурама...

Целый мах пёстрой материи мелькнул перед глазами, как молния среди ночи.

– Это от Куриля. И вот – иголка от Куриля... Ну, а это уж я... Калачики

американские... сладкие. Дай пососать мальчишке – может, понравятся...

Всё в жизни видел, слышал и знал Пурама. Но он никогда не предполагал, что женщины могут так страшно плакать...

С тех пор прошло много дней. Пайпэткэ стала ходить за тальником, за водой, много раз она помогала людям в хозяйских делах и получала за это и долю пойманной рыбы, и кусок мяса, и горсть чаю. Всю ровдугу своего тордоха она облатала, каркас выпрямила, каждую вещицу осмотрела и привела в порядок.

Что же ей нужно было ещё? Да ничего, совсем ничего. Хорошо бы, конечно, восстановить дружбу с подругами детства, хорошо, если бы хоть один раз к ней заглянул Мельгайвач. Нет, нет – Мельгайвач ей вовсе не нужен, ей вообще больше никто из мужчин не нужен... В её перегруженной памяти Мельгайвач остался человеком случайным, чужим, на месте которого могли оказаться и Токио, и Кака, и любой другой из плохо знакомых мужчин, пообещавших ей, глупой девчонке, жизнь, не похожую на жизнь в слишком уж бедном и мрачном стойбище. Странно: до родов она часто вспоминала его, а родила, родила очень похожего человечка – и сам Мельгайвач куда-то исчез. Любовь? Да, конечно, бывает любовь. И у неё она была. Но ведь любовь, наверное, нужна лишь затем, чтобы почувствовать в животе тяжесть...

Не Мельгайвача она ждала, а тех дней, когда он уедет, побывав у неё. Пусть люди поверят, что всё у неё было по-человечески. И пусть в бессилии злобствует Тачана: сам Куриль сказал, что её никто не посмеет тронуть...

...Она не ожидала, что сердце так сильно шарахнется, когда Мельгайвач окажется возле неё. А оно всколыхнулось сильно – Пайпэткэ даже оттолкнулась ногами, испуганно отодвинулась от костерка, угадав в полутьме человека, который был отцом её сына.

Войдя, Мельгайвач ничего не сказал. Он постоял, помялся, снял шапку, осторожно положил её и какой-то свёрток в ближний к двери угол и сильно вздохнул. Потом он опустил на колени возле дымящего хвороста, нагнулся и стал раздувать огонь. По ровдуге забегали яркие отсветы.

Его рука потянулась к лицу ребёнка – и Пайпэткэ не отстранила её, не отодвинулась дальше.

– Сын? – спросил Мельгайвач.

– Сын...

– Да... сын... Пастуха сын... Пастух я теперь. Воды нет немного попить?

– Там, на ящике...

Но Мельгайвач тут же и забыл о воде. Он закрыл руками лицо и замер, опустив голову.

– Зачем приехал?

– Так. Не знаю. Уехал и Каке не сказал. Сейчас уеду... обратно.

– Случилось что-то?

– Ну, раз ты здорова и сын здоров, значит, ничего не случилось.

– Подожди – что ты знаешь?

– Слухи там, в Халарче, ходят...

– Какие слухи?

– Да не хочет Кака, чтобы Потонча торговал в Улуро. Хочет, чтоб он в Халарче торговал...

– А я тут при чём?

– Не знаешь шаманов?.. Ты, Потонча, дух моего отца... Запугать Потончу хотят, а страдать будешь ты – я думаю так. Может, и всех улурочи хотят запугать Потончей.

– Господи! Да что ж я им далась-то!..

Пайпэткэ встала, поскорей отнесла ребёнка за полог и, подойдя к Мельгайвачу, нагнулась, благодарно понюхала его за ухом.

– Поезжай. Нет, посиди – я к Пураме схожу. Нет, поезжай: завтра схожу. Где твой олень?

– Там, на лугу. Ночным пастухам оставил.

– Больше ничего мне не делай хорошего. Уже сделал теперь. И не приезжай больше.

– Остался я со старухой... Вдвоём... Пайпэткэ перебила его:

– Не рассказывай – это мне знать не нужно. Поезжай.

– Там... мясо сухое. И пыжики. Больше нет ничего. Хотел к исправнику ехать – сказать, что Кака обманом меня разорил...

– Не хочу ничего знать! Не хочу, поезжай!

Уже утром Тачана заколотила в бубен. И каждый удар её страхом и болью отзывался у Пайпэткэ в сердце. Но не только страхом и болью. Пурама сразу же сел на оленя и потрусил к Большому Улуро. Что будет? Что теперь будет?..

По стойбищу поползли самые чёрные слухи. Мельгайвача видели – когда приходил и когда уходил. Всё, что случилось ночью, а ночь была белой, значит, обманчивой. Духи любят такие ночи – они могут и показать себя, чтобы в тёмную пору люди не сомневались, что они существуют.

Один день, два дня, три, четыре ждала Пайпэткэ старую Лэмбукиэ, Пураму или одноглазую Абучедэ. Нет, никто не появился в её тордохе.

Зато на пятый день в стойбище приехал шаман Кака.

Голодная, запуганная Пайпэткэ забилась в угол за пологом и ждала своей участи.

У Тачаны с Какой между тем произошёл очень прямой разговор, после которого шаманка воспрянула духом и уже увидела те времена, когда люди иначе будут смотреть на неё.

– Бить шаманов? – удивился Кака. – Глупая ты старуха. Да ведь для этого нужно разрешение исправника Друскина! А он хоть и отнял у меня печать головы, но шаманить-то не запретил! Да как же он запретить может?.. А Куриль? Куриль даже не виделся с ним. Тут дело совсем другое...

И Кака объяснил Тачане, что дальше всё будет идти, как в драке: кто наглей, тот и сильнее.

В стойбище, облепившее тордохами высокую и потому названную Соколиной едому, голова юкагиров ехал медленно, важно, по-хозяйски оглядывая знакомые с детства места. Куриль был очень спокоен. Ему явно везло в этой полной превратностей, а в общем-то не такой уж и сложной жизни. Был он простым пастухом, потом неожиданно разбогател, не приложив никаких особых усилий, и головой, начальником рода стал по воле судьбы. Так уж, видно, ему предсказано богом. Вот и сейчас

наступило время сделать ещё один шаг по крутой тропе. Правда, ему уж за сорок, на руках, которыми он держит поводья, ногти чуть почернели, а голова стала лысой. Но ведь по годам и задачи. Разве мог бы он в свои двадцать или тридцать лет сцепиться с шаманами, погрозить им берёзовой палкой?

Нет, Куриль не собирается с одного размаха убить шаманство. Он не мальчишка. Но начинать надо. Пусть сегодня люди почувствуют, что не всяким шаманам следует доверяться, пусть те, кто потихоньку колотит в бубен, готовясь морочить головы, сто раз подумают о власти, которая не всё может позволить...

То, о чём рассказала Пураме Пайпэ́ткэ, не только не возмутило Куриля, но даже обрадовало. Он ожидал, что эти самозванцы шаман и шаманка нагло выползут на дорогу. Что ж им остаётся делать? Перепугаться в самом начале борьбы? Но если они лезут – он-то не может сидеть, скрестив руки и ноги! Он предупреждал их обоих. Однако мало того, что Кака всё-таки хочет высечь женщину-юагирку, которую защищает сам голова, он уже пытается распоряжаться в Улуро, как в своей яранге, а во всей тундре, как в своей Халарче, – купцов уже распределяет!..

Куриль сильно бы волновался, если б на камлание прилетели крупные птицы – такие, как Токио или безыманный старец якут. Но это же самозванцы!..

Остановиться Куриль решил в тордохе Нявала. Тут живут люди тёмные, верящие каждому слову шаманов. Он спугнул бы Тачану и Каку, если бы остановился у Пурамы или у Лэмбукиэ. Но ещё Курилю хотелось поглядеть на сынишку Нявала – говорят, парень растёт смышлёный, понятливый, бойкий. Такой пригодиться может. Американец Томпсон знает цену смышлёным людям, и Куриль должен знать...

Подъехав к тордоху, Куриль увидел девочку лет десяти, сидевшую на пустой нарте и певшую тоненьким голоском песню. У девочки было красивое личико – кругленькое, с остреньким подбородком, чёрные глазки так и перекатывались в лукавых щёлках.

– О чем же поёшь ты, птичка? – спросил Куриль, не слезая с оленя.

– Я не птичка, я Чайка, – бойко ответила девочка.

– Ага, Халерха, значит? Ну и выросла ты... Прямо и не узнать! Вверх растёшь – потому и худая?

– Нет, бегаю много. А кто бегаёт, тот не бывает толстым.

– Это правильно. А о чем ты поёшь и почему здесь сидишь?

– Пою об отце. Хочу, чтоб он много рыбы жирной поймал. А здесь я жениха своего жду.

– Жениха? Ну и храбрая ты!

Но разговорчивая «невеста» вдруг встрепенулась, как чайка на воде, – и бросилась со всех ног наутёк – только косички, завязанные ремешками, еле поспевали за ней.

А «жениху» в это время мать с великим трудом натягивала плеки.

– Ну толкай ногу! Толкай! Что за нога! За ночь она у тебя выросла, что ль? – Увидев вошедшего гостя, женщина сдёрнула плеку, швырнула её. – Не могу – сил моих нет. Ничего шить не успеваю. И куда растёт?.. Садись, Апанаа. Сейчас чаю согрею. Надолго к нам?

– Да, может, переночую. Сколько же лет богатырю?

– Лет? А не знаю... Старая стала, запоматовала.

– Подожди. Это было в каком году? Кажется, в ту зиму приезжал человек от исправника – за оленями для жены Чери? Если так, тогда был одна тысяча восемьсот девяносто второй год... Это я помню. А теперь – одна тысяча девятьсот второй. Сколько же получается. Девяносто второй, девяносто третий, четвертый, пятый... Э, да десять лет получается!

– Ничего не пойму, что ты по-учёному причитаешь...

– О, я тоже могу так! – вскочил на ноги парнишка. – Одна тысяча восемьсот девяносто два, девяносто три, четыре, пять, шесть...

– Ты что – года понимаешь по-русски? – вытаращил Куриль глаза. – Счёт знаешь?

– Нет. Я сразу за человеком любые слова повторить могу.

– Ну-ну, молодец!.. Экий ты молодец. Наверно, не зря шаман Сайрэ говорил...

– А что шаман Сайрэ говорил?

– А вот это тебе знать и не нужно.

– Почему мне не нужно? Я буду великим шаманом. Правда, энэ?

– Нет, не шаманом ты будешь, – твёрдо сказал Куриль. – Я в ученье тебя отдам,

– Ой, что говоришь, Апанаа! – испугалась мать Ханидо. – Какое ученье? Я сейчас побегу за Нявалом...

– Постой. О том разговор будет особый. Отдам в ученье. В острог пошлю.

– А кто же кормить-обувать его будет?

– Время придёт, всё сообщу.

– Значит, он будет такой, как этот... шаман Чери?

– Да, такой... – отвязался от расспросов Куриль. Он и сам не знал, куда и кому на обучение можно отдать мальчика-юкагира: такого ещё не было никогда в Улуро. И вообще всё это пришло ему в голову только сейчас.

Сообразив, что весть об отправке на обучение Ханидо может разлететься по стойбищу, как дробь из ружья, и что это будет пока некстати, Куриль решил тут же идти к Тачане.

И он пошёл, оставив старушку охать и ахать.

Тачана была не одна. В тордохе сидели взъерошенный, лохматый, как чёрт, Кака и худой, скуластый Амунтэгэ. Оба курили трубки, курила и Тачана, стоявшая к пуору спиной. По общему спокойствию Куриль догадался, что его здесь ждут.

– Мэй, еттык? – сухо поприветствовала Тачана. Пробормотали приветствие и мужчины.

– И-и, – ответил Куриль.

– Долго тебя, Апанаа, ждали, – заговорила хозяйка, весна прошла, лето на середине, а ты как приехал с ярмарки, так и не показался у нас...

– Не было надобности – вот и не приезжал, – отрезал Куриль и уселся напротив Каки. – А что мне беспокоиться, – добавил он, обращаясь сразу ко всем, – в стойбище мир, рыба ловится хорошо, никто не умирает, шаман есть, даже шаман из Халарчи навевывается... Тачана, ты хоть юколы да чай подай – я всё-таки не частый гость у тебя, и голова к тому же.

– А откуда у меня юкола? Я бубен в руках держу, а не нож. А вместо чая кипрей завариваю.

– Но за камлание-то получаешь?

– Тэ-э, получаю! И сама стараюсь не брать, а если дают, так будто нарочно – самую сухую юколу. Это мне, беззубой старухе!

– Ладно, поговорим без угощения... Вижу, что дела у тебя плохие. Веры, что ль, к тебе нет, или мало добра людям делаешь...

– Да как же добро сделаешь, если веру со всех сторон подрывают!

– Га! Получается круг: добро не делаешь потому, что веры к тебе нет, а веры нет потому, что добра не делаешь! Первый раз такие рассуждения от шамана слышу!

Кака поморщился: старуха уже запуталась. А Куриль отвернулся от неё – когда, мол, ты отличалась умом!

– Ну теперь ты расскажи, Кака, о своей жизни. Давно ведь не виделись...

– Хорошо живу. Меченкин.

– А как Чайгуургин летует?

– Меченкин.

– Как жёны?

– Меченкин.

Он или не хотел разговаривать, боясь попасться в такой же круг, в каком так быстро очутилась старуха, или выражал этим полуразговором ненависть, Куриль не стал разбираться: нападать всё равно надо.

– А как Мельгайвач живёт? Правда ли, что он у тебя пастухом работает?

– Правда.

– И ты спокоен.

– Чего ж беспокоиться мне? Жить ему надо. Шаманского вдохновения не получил...

– А я слышал, что он собирается ехать к исправнику...

– Он был у тебя? – мелькнул белками глаз чукча.

– Нет. Меня все стороной объезжают. Я вот, помню, весной тебе говорил, чтобы вы Пайпэткэ без меня не трогали, а ты появился здесь, но ко мне не заехал... Да, Мельгайвач-то вроде бы хочет пожаловаться Друскину. Он считает, что ты его разорил обманом...

Чукча сразу изменился в лице – оно как будто кровью налилось. Но он почувствовал и другое: разговор начинается очень серьёзный. Не этот ли в колоде Куриля старший козырь?

– Так, – зло прищурился он. – Что скажешь ещё?

– Тебе – ничего. Об остальном догадаешься сам.

– На камлании людям расскажешь? А кто поверит тебе?

– Никто тебе не поверит! – выставила вперёд свою длинную голову Тачана. – Не поверит! Потому что ты хочешь защитить Пайпэткэ. А её нельзя, нельзя защитить! Потому что в её крови дух отца Мельгайвача, потому что этот дух по ночам вызывает к себе Мельгайвача-сына! Кого защищать хочешь? Врага юкагиров? Даже твой родственник Пурама не придёт на камлание, и Лэмбукиэ, которая собакой меня называла, прикусила теперь язык. А его, Каку, ты не пугай: я, я приказала пороть Пайпэткэ, и теперь никто её не спасёт от этого!

От такой длинной и отчаянной речи у шаманки в углах губ появилась белая пена.

Куриль озадаченно провёл ладонью по лбу и лысине. Но сказал:

– Страшно ты говоришь. Но спасти Пайпэткэ всё же придётся. И Каку проводить придётся с богом – чтоб он объезжал Улуро по Колыме... Стало быть, так, Тачана, всю твою жизнь люди тебе не верили, ну, считали слабой шаманкой. А теперь ты решила жестокостью запугать людей? И Пайпэткэ отомстить за непослушание? Так? И тогда свой век ты доживёшь богато и спокойно? А шаман Кака будет через тебя делать в Улуро всё, что захочет? Так? Видишь – я не шаман, а всё разгадал...

– Ты мне не веришь? Не веришь? Я завтра... обязательно завтра пойду и обожгу свои волосы и лицо!

– Не пугай, – спокойно сказал Куриль. – Ты сама не веришь себе. Ты хоть раз видела духа отца Мельгайвача?

– Видела!

– Ну, если видела, то самое верное дело – рассказать людям подробно, какой он, по чём ходит – или летает? – какой вообще вид нижнего мира. А то как до главного доходит шаман, так начинает путать... А ещё лучше – показать этот мир человеку простому... Ну, хоть мне. Я всё-таки голова – мне поверили бы. Вы же, шаманы, всё можете...

Эти слова так обрадовали и Тачану, и Каку, что и она, и он еле сдержали вздох облегчения.

И Куриль понял, какой их главный козырь. Стоит ему взять в руки бубен – и его назовут шаманом. И случится с ним то же, что случилось с бывшим головой халарчинских чукчей, с Какой. Этого они ждут, об этом договорились. Им не важно, увидит Куриль что-нибудь или не увидит... Но у самого Куриля главным был как раз этот же козырь. Если бы ему в руки бубен дал Токио, он не взял бы его ни за что. Токио внушил бы ему всё, что захотел. Но ни Тачана, ни Кака внушать не умели. Он это знал наверняка.

Однако надо было поторговаться.

– Я вот не пойму, – мерно продолжал он. – Почему духа надо изгонять болью? В Нижнем сейчас живёт человек – русский дохтур Мускевич. Учёный, не шаман. А вот он разрезает человека без боли и изнутри вынимает боль. Но вы же сверхлюди! Почему так не можете?

– А голову он не отрезает без боли? – усмехнулся Кака.

– Подожди – я объясню, коль пошёл другой разговор, – сильно задымила трубкой Тачана. – Дух – это не боль. Это совсем другое. Дух может причинять боль, но может и жить спокойно – как сейчас в крови Пайпэткэ... Тебе вот жалко её. А мне думаешь нет? Это ведь страшно – раздевать женщину при народе и бить. Страшно. А надо. Когда в руке заноза и гниёт мясо, что делаем мы? Острым концом рога ковыряем руку и вынимаем гниль. Так же в шаманстве. Больно, а терпеть надо, жалко, а делать надо!..

– Но ведь дух-то никакой беды не приносит? – спросил простодушно Куриль. – Может, призовём Токио? Он выгонит духа без боли... Да, ты разве забыла, что Токио два или три раза гонялся за ним, а один раз душил. А ведь он не бил Пайпэткэ... Знаете что! – быстро поднялся на ноги Куриль. – Вы друг друга обманываете. Меня обманываете. А разве простых людей не обманываете?

– Бери мой бубен! – тоже поднялась Тачана. – Бери! Камлань за меня. Бери, Апанаа, мой бубен. Бери, бей в него. Сам всё увидишь!

– Возьму. Завтра возьму, – сказал Куриль. – Нагреешь хорошо – и дашь мне.

Весть о том, что сам голова хочет камланить, облетела все стойбища раньше, чем Куриль возвратился в тордох Нявала. Слухи тундру пересекают быстрее любого лучшего ездока, а тут кругом был народ, и, кроме того, распространяла и подстёгивала их шаманка.

Куриль не удивился, застав в тордохе Нявала людей, обративших на него боязливые, любопытствующие, радостные, словом, ожидающие чего-то сверхъестественного взгляды. Заметив Ханидо и Халерху, он вспомнил о том, что дал обещание послать первого юкагирского мальчика на обучение. Одно к одному...

Тяжёлую ношу взвалил голова юкагиров на свои плечи. Но что поде-лаешь: взялся – тащи. Власть легка одним дуракам.

Жена Нявала вытирала травой единственную посудину для еды – деревянную кособокую миску. И Куриль заметил, что руки у хозяйки дрожат.

– Еттык?

– Мэй, еттык? – посыпались приветствия.

– И-и, – ответил как ни в чём не бывало Куриль. – Я вот говорю, люди: как мы живём! Поглядите на паренька и девочку. Дети ведь! А будет у них счастье? Они только родились – а их именами уже совершилось зло. Они бегают, играют в оленя и волка – а их именами каждый год совершается зло. И конца этому нет. Сейчас их нельзя тронуть, о них и рассказать-то нечего. А что будет потом? Может, в них самих увидят злодеев? Да как же так жить?!

Сняв шапку, Куриль вытер ею вспотевшую лысину, нахмурился, опустил голову и тихо договорил:

– Против этого я пошёл. Не судите меня... А теперь я поем и отдохну. Вы занимайтесь своими делами.

Легко чувствовать правоту, глядя в лицо злобной, жаждущей власти шаманки, легко испытывать веру в свою правоту, глядя на высохшего, пополам согнувшегося Хуларху, у которого в жизни не было решительно никакой радости. Но остаться наедине со своими мыслями – это совсем другое.

Вечер был долгим, полусумрачным, каким-то тяжёлым. Над тундрой на востоке и западе повисли две одинаково плотные чёрно-синие тучи. Обе они походили на огромные неупавшие глыбы – в одном просвете глыба давила на греющее блёклое солнце, в другом ненадолго показалась ущербная, будто откушенная луна, оставившая после исчезновения реденькую зарю. Было тихо, однако свежо, и казалось, что ветер вот-вот налетит на едому и стойбище, а потом хлынет дождь... Из тордоха Куриль не выходил, но сердце его чувствовало близкую непогоду, да и комары выдавали её – в такие вечера они становятся ошале-лыми, особенно жадными. А Тачане и Каке не сиделось на месте – они то и дело выходили и выглядывали из тордоха, будто ожидая каких-то новостей, перемен или даже событий. Но ничего не случалось, и Тача-на наконец лишь почувствовала ломоту в костях, а Кака убедился, что возвращаться домой наверняка придётся по мокрой тундре. И Тачана зажгла вечно коптящий жирник.

После словесной схватки настало время раздумий.

Конечно, шаманы раздуют слухи о том, что голова юкагиров не вытерпел и всё-таки взялся за бубен. Но разве поверят им? После шума у Тинелькута – разве поверят? Нет, Куриль тут ошибся, видя перед собой бывшего голову чукчей. Никто даже не усомнится, что Куриль взялся за бубен совсем с другой целью. И должны понимать сами шаманы, что к нему не придёт вдохновение, что он ничего не увидит. Должны же предвидеть они, что после этого им придётся испытать весь его гнев... И всё-таки шаманы настаивали на том, чтобы Куриль взял в руки бубен. В чём же тут дело? Наверно, одни черти знают, что за всем этим скрывается... И он вспомнил, как загадочно молчалив во время разговора был чукча, как до иступления уверена была Тачана. Может, Кака всё-таки не обманул Мельгайвача, отобрав у него полтабуна, может, внушение сделал? Мельгайвач ведь сам его когда-то обманывал... И с Тачаной не всё ясно. Безобразная отроду и свирепая ненавистница, она, может быть, лишь из-за этого не получила признания – а силой внушения всё-таки обладает?

Уверенность Куриля зашаталась, как на сильном ветру жердь, воткнутая в мягкий сугроб. Сколько лет существуют шаманы? Наверное, столько же, сколько сами люди. Неужели никто не задумывался над тем, что шаманы бывают настоящие и самозванные? Но о таких людях не осталось и воспоминаний, а и те, и другие шаманы живут и грохочут бубнами по всем тундрам... В какой-то момент Куриль со страхом почувствовал, что идёт на очень опасный риск, – и даже взялся придумывать, под каким бы предлогом переменить решение и чем бы увесистым погрозить шаманам, чтобы они хотя бы забыли о Пайпэткэ. Может, просто разобрать этот жалкий тордох, погрузить на нарты его, уволочь вместе с несчастной хозяйкой в своё стойбище, а потом податься к исправнику с жалобой? Но какая же это будет победа? Не его и не той будет такая победа. И загадки опять станут мучить. Нет, надо рискнуть, наверное, надо рискнуть...

Не легче было Тачане и Каке. Скрывшись за пологом вместе с Амунтэгэ, Тачана повесила в пяти углах пять песцовых шкурок – чтобы веселей разговаривать, глядя на них. Но это не помогало. Кака и Тачана в присутствии Амунтэгэ уже толковали о делах очень важных, о делах куда более важных, чем эти. Тогда толковали – весной. Но тот разговор был проще, потому что предполагался успех Тачаны. Теперь всё усложнилось: Куриль не оставил в покое их, и сейчас он хочет перегородить дорогу в самом начале, даже хуже того – вообще разделаться с ними.

Шаманы думали так. Если Куриль откажется взять в руки бубен, то они скажут людям, что ему дороже печать головы, чем правда, а красавица Пайпэткэ дороже благополучия всех юкагиров. Однако Куриль решился взять в руки бубен. Но и тут они знали, что делать. Довести Куриля до истерики можно, можно заставить его бормотать, наконец, Тачана незаметно для всех прокричит зловещим голосом, хагимэ⁸⁰, а огромный чукча Кака упадёт на землю – его никто не удержит, и камлание превратится в сплошной тарарам.

⁸⁰ Хагимэ – ворон, зимующий на Севере. Юкагиры, однако, считали, что это мифическая птица, обернувшаяся вороном. По поверью, крик хагимэ предвещает беду.

Вот тут-то и утонет Куриль. А тогда, после этого, можно и раздувать слухи, которые неизбежно дойдут до начальства...

Но обо всём этом они договаривались вгорячах, опьянённые жаждой выпороть Пайпэткэ и предвкушением крутых перемен в свою пользу. Однако и Тачана, и Кака сразу же после ухода Куриля почувствовали что-то неладное. Вышло так, что они друг перед другом признали бессилие. Это и начало их мучить. Как бы прямо они ни говорили о своих замыслах, но каждый считал, что на хитрости и уловки вынуждают идти лишь особые трудности и что шаманская честь тут не задета. Тачана остаётся сильной шаманкой, а Кака великим шаманом. Но в чём же проявится их принадлежность к числу настоящих, сильных шаманов?.. Вот и понадобились шкурки песцов, всегда радующие взгляд...

Ветер так и не поднимался, дождя всё не было. Амунтэгэ начал дремать – он уронил трубку, но быстро поднял её, однако тишина успокоила его – опустив на грудь голову, он громко всхрапнул. Надо было ложиться спать.

Давно разгадав гнетущие мысли старухи, Кака не стерпел и сказал:

– Думаю, надо бы попытаться без шума... Если бы взглядом его одолеть? Как считаешь? Может, на сон его вдохновить?

Тачана вырвала изо рта погасшую трубку, но ответила очень спокойно:

– Дело-то, видишь, такое... На меня никто долго смотреть не может... не хочет. Потому и отворачиваются. А если бы притянуть его взгляд... Тут бы уж я смогла... Может, не хуже Токио.

– Принудить его надо условием...

– А как ты? – спросила в свою очередь Тачана, холодно уставившись на Каку.

– Я? Я – чукча. Зачем спрашиваешь? Даже русские знают, что шаманы-чукчи – самые сильные... Думаешь, почему я исправнику не понравился? Ясак... внушение... Это царю не подходит. Так сам исправник сказал...

– Бойтся, что будешь богаче царя?.. Послушай, Кака: Апанаа злой, твёрдый – не шибко-то его глазом зацепишь!

– А мы вместе. Не выйдет – будем камланиТЬ.

Ночь так и не была ветреной. Но дождь пошёл; он начался тихо и незаметно, когда всё стойбище спало, прикрытое обложными тучами. Перед ненастьем люди перетаскали с жердей в тордохи юколу и, принуждённые отдыхать, спали непомерно долго для середины лета. Дождь связал руки. Поэтому наступивший хмурый, слякотный день им казался особенно невесёлым, досадным.

Раньше всех проснулась в этот день Тачана. Во всяком случае, раньше Куриля, который не хотел продолжать разговор с Нявалом и его женой об их сыне и долго не выходил из-за полога. Почти не разговаривая, Тачана, Амунтэгэ и Кака поели, попили доброго крепкого чая, молча закурили все сразу – и хозяйка, убрав посуду, стол-доску и всё, что лежало посередине, без слов, без вопросов достала из мешка свой семизвонный бубен.

– Раздуй очажок, – приказала она мужу. – Велено хорошо подсушить... Займись бубном, Кака. А я достану всё остальное. А потом иди, Амунтэгэ, – созывай людей...

Наряженная шаманка взяла горяченький бубен, села и, потихоньку постукивая сухим кулаком по натянутой коже, запела себе под нос. Она пела о духе земли, который не наградил её красотой и на которого она обижалась, глупая малолетка, не понимая, что дух неба договорился с ним о её особом предназначении; обоих духов она теперь благодарила за то, что они сделали её сверхчеловеком...

А потом Тачана вдруг подхватила колотушку и ловко, привычно ударила в бубен. Оскользываясь на раскисшей земле, к тордоху шаманки потянулся народ.

– Правда, что Куриль будет шаманить? – спрашивали Тачану и Каку люди. И те отвечали одно и то же:

– Нет. Он любопытство своё удовлетворить хочет.

А Куриль в это время пришёл к Пураме. Он хотел появиться перед шаманами вместе с ним: Пурама – для большего устрашения... Однако родственника в тордохе не оказалось – он, несмотря на дурную погоду, отправился ловить рыбу. Куриль чуть не плюнул с досады. Но когда подумал – нахмурился: Пурама нарочно оставил его в одиночестве. Почему, зачем? Разве ему не интересно? Или хочет, чтобы голова наконец понял всю серьёзность опасности, которую представляют шаманы? А как же Пайпэткэ, которую сам он защищает давно и всеми своими силами. Может, всё-таки он появится в нужный момент? А не даёт ли понять, что жизнь безвыходна не только из-за шаманов, но также из-за богатых людей, которые могут, но не хотят помочь простым людям? Пусть, мол, один из них столкнётся с шаманами – а мы посмотрим, что из этого выйдет... После ярмарки Пурама способен на всё – злым он стал, гордость выхода не находит...

Куриль вспомнил о других людях, которые на камланиях подшучивают над шаманами, хотел зайти к ним, но раздумал, поплёлся один. Редкие удары в бубен он услышал издалека – и ускорил шаги.

У Тачаны так и оборвалось сердце, когда она увидела решительного и нахмуренного Куриля. В душе у неё тлела надежда, что он не придёт. Нет, пришёл.

– Он не пьян? – спросил на ухо Амунтэгэ Каку. Сейчас, когда собралось столько народу, он подумал о страшной непредусмотрительности жены и чукчи: а вдруг Куриль вдохновится, но поведёт такой рассказ, от которого не будет спасения.

– Все собрались? – обвёл Куриль взглядом людей.

– Да вот – Пурамы нету, Лэмбукиэ не пришла, – заметила Тачана. – Может, их подождём?

«Уже бьешь колотушкой по голове?» – подумал Куриль, но вслух произнёс другое, обращаясь к людям:

– Вчера старая Тачана посоветовала мне постучать в бубен и прислушаться к его зову. Говорит, что я услышу что-то необыкновенное. А я говорю, что она ничего другого не слышит кроме того, что слышим мы все, и что я такой же. Вот у нас и зашёл спор. Так было, Кака?

– Так.

– Тогда, может, начну? Давай бубен...

– Ой, Апанаа, неужели будешь камлать? – испуганно спросил сказитель Ланга, знавший много удивительных случаев, но о подобном споре не слышавший.

– А что – разве я хуже Каки?.. Ладно... – Куриль взял в левую руку бубен, в правую колотушку. – Вот что скажу, старуха. Если я услышу что-нибудь необыкновенное и увижу под этот звон – покорюсь тебе навсегда. Но если этого не случится – тогда смотри: я сделаю так, что никогда не будет твоего шаманского имени... Выслушала? А вы, люди, слышали?

– И ты выслушай мою речь! – тряхнула побрякушками Тачана. – Только я никаких угроз не пошлю тебе, мы прощаем тем, кто не верит нам... Будешь глядеть на меня! В глаза мне будешь глядеть. Не нравлюсь – отдавай бубен: мы без тебя камланить начнём...

Куриль был лысый, но тут вдруг почувствовал, что на голове будто бы зашевелились волосы. Однако деваться некуда было.

– На всё согласен...

– Хорошо, вот хорошо. Ну и садись... Ты сейчас находишься между человеческим миром и нашим, шаманским. Апанаа, я не считаю тебя маленьким человеком – раз ты сдержал обещание, пришёл. С большой радостью я вручила тебе свой семизвонный, одухотворённый бубен: пусть твоя дружба с ним принесёт всем нам, всем юкагирам счастье и радость, и пусть эта радость смоем все подозрения, какие мы питали друг к другу... Бей, Апанаа, в бубен! Бей!.. Только послушай, как надо бить. Колотушкой надо махать почаще – и следить, чтобы звон не ослабевал, был на одном уровне. Не глухой – всё услышишь. И смотри мне в глаза. Умом старайся отойти от этого мира. Бубен мой не переносит молчания – ты должен петь. Иначе упадёшь в обморок. Если чёрные струйки неверия в духов просочатся сквозь звон, ты мыслей своих не скрывай – а то после будешь умом страдать... Увидишь хвостатые существа – знай, что это мои духи. Но в глаза не смотри им, отворачивайся. Иначе духи в тебя вселятся... Удовлетвори, Апанаа, своё любопытство – и ты поймёшь нас, шаманов, будешь преследовать тех, кто ругает нас и высмеивает... Теперь дай бубен... Вот так надо бить...

Бубен загрохотал в руках Тачаны. Но она быстро передала его Курилю, продолжая стучать, потом передала колотушку и сказала:

– Бей, бей – не переставай!

Она уселась напротив, выпятила вперёд свою длинную лошадиную голову и вытаращила глаза.

Куриль сроду не пел. Но что делать – пришлось подчиниться. Только голос его сразу подпрыгнул, будто на кочке, сорвался и уткнулся в другую кочку. Тогда Куриль «заехал» с иной стороны. Однако голос прогудел, как ветер в онидигиле, и совсем пропал. Стыд огнём ударил в лицо. Но Тачана закрутила головой и сказала, обращаясь к людям:

– Не получается у него. Поможем?

Она громко запела – и несколько женщин с отчаянной готовностью поддержали её, заорали на разные голоса. «Оглушить хочет, ум отбить хочет», – мелькнула мысль. А чувство стыда всё равно усиливалось. Оно уже обжигало спину, пятки, лысину. Курилю показалось, что своим горячим телом он быстро протапливает толстый лёд – и сейчас провалится в чёрную болотную жижу. Но его спасла ворвавшаяся в тордох Лэмбукиэ.

– Тэ-э! – удивилась она. – Что это тут делается? Куриля, голову нашу, ошаманивают? Да это как же так? Апанаа?

– Сядь, безумная, – зашипели люди. – Куриль любопытство удовлетворят...

– Любопытство? Ошаманивают же! А мне почему не сказали? – не унялась старуха. – Где мой старик? Тут? Почему меня не позвал? Я, может, тоже хочу любопытство удовлетворить?

– После Куриля возьмёшь бубен, – сказала Тачана и, отвернувшись, зловеще добавила: – Так и лезет, безумная, в пекло...

А в ушах Куриля застряло слово, сказанное с перепугу старушкой: «Ошаманивают». Это его ошаманивают... «Чепуха, – подумал он, – видел я эти страсти, – сорок пять лет глядел и слушал...»

– Ты бей, бей, Апаная, – спокойно проговорила шаманка. – Она всегда кричит на камланиях. К её голосу духи привыкли.

Лэмбукиэ выявила обман и сама пришла – это было хорошей поддержкой. И Куриль, забыв о пережитом стыде, уже уверенно заколотил в бубен.

– Духи, духи, я плохо подумал о вашей хозяйке, – прошептал он довольно громко – чтоб услышала Тачана. – Я жалею об этом, я сильно жалею...

Ничего не забыл Куриль – снова запев, он уставился глазами в глаза шаманки, он напряг слух и представил себя летящим в сплошной черноте. Неземной, нижний шаманский мир в его понятии был точно такой же, как и земной, только в нём всё пространство между предметами заполнял мрак, а во мраке хозяйничали косматые и хвостатые духи, люди же там были ходячими мертвецами; шаманы, пробившись в тот мир, обретали способность видеть во мраке всё, или не все видеть – этого Куриль так и не понимал... Ночью, закрыв глаза, в тишине ещё можно было это всё представить себе. Но сейчас, на виду у людей, под грохот бубна и пение, вообразить такую картину было трудно.

Куриль всё делал честно. Он проявлял железную выдержку и терпение, он старался, напрягал, как только мог, слух и зрение – и всё-таки понимал, что очень далёк от той грани, за которой сознание обретает какие-то новые свойства.

А рука, махавшая колотушкой, между тем начала уставать, плечевой сустав разогрелся и требовал отдыха. Сердце Куриля колотилось, дыхание всё учащалось и учащалось. И он уже подумал о том, что так можно потерять силы, а вместе с силами и рассудок, и что надо кончать эти глупости. Но тут с людьми, заполнившими до отказа тордох, и с самим тордохом что-то случилось. Лица начали вздрагивать и подпрыгивать, ровдуга стала растягиваться, удаляться, а вот уже и вся масса людей поплыла, поплыла в разные стороны... Куриль испугался. Удары колотушки теперь доносились как будто издали – вроде кто-то в стороне тесал топором жердь. В глазах Куриля потемнело – и ему уже почудилось, что перед самым лицом промелькнуло какое-то мохнатое, растрёпанное существо, – однако испуг, удивление, чувство беспомощности из-за потери сил – всё это вдруг исчезло, подавленное безумным желанием захохотать. Курилю неожиданно показалось, что Тачана сидит без головы и что эту её длинную голову кто-то сзади держит на палочке, выставив чересчур далеко вперёд, и поворачивает её туда и сюда... Темнота разрядилась, тордох опять сузился, люди придвинулись на прежнее место. Куриль бросил взгляд на Каку. Чёрное лицо чукчи блестело от пота,

от напряжения, выпученные глаза страшно светились белками...

Куриль положил колотушку на землю – и вдруг услышал крик хакимэ. Однако он успел заметить, как перед этим Тачана поднесла к своему горлу ладонь.

Почувяв неладное, Куриль из последних сил поднялся на колени и поспешно сказал:

– Все замолкните – я говорить буду... – Дрожащей рукой он потёр лоб, передохнул, потом зло прищурился и повернул лицо к Тачане: – Никакой в тебе силы, старуха, нет! Совсем никакой... И ничего я не видел... Старалась ты, я старался, твой гость до пота старался... и попусту всё... Найди подурее меня мужика... и морочь ему голову! А эту игрушку... детям отдай...

Рука его рывком выпрямилась – и бубен скользнул в темноту над головами людей. Раздался грохот посуды и глухой, будто недоуменный звук лопнувшей кожи.

В тордохе повисла могильная тишина. Люди будто умерли все сразу, будто навечно окаменели. Куриль тоже замер: он сам не ожидал, что выбросит бубен, он считал, что главное – это его слова, после которых поднимется гвалт и шум. Всё случилось не так – грубее и резче, и неизвестно, кто и как нарушил бы эту безвыходную тишину, если бы не раздался жуткий, словно предсмертный, стон.

Голова Тачаны вздрогнула, а потом стала клониться вниз, к ногам, клониться сильнее и сильнее – и тем, кто видел старуху, показалось, что она с ужасом обнаружила что-то страшное на полу. Однако Тачана вдруг резко выпрямилась, вскрикнула и тяжело рухнула на спину, заколотившись в судорогах. Люди отпрянули в стороны, а Амунтэгэ вскочил и заорал:

– Убил! Он убил её!.. Люди!..

Кто-то вытолкнул палкой затычку из онидигила – и в тордох ворвался рассеянный и всё-таки резкий свет.

Зрачки старухи закатились под лоб, губы покрыла кипень слюны, руки, брошенные вдоль тела, тряслись вместе с плечами.

– Помогите, скорей! – продолжал кричать Амунтэгэ. – Человек умирает! Костёр разжигайте!..

Кто действительно бросился помогать старику, а кто рванулся вон из тордоха. Поднялась страшная неразбериха. И только Куриль и Кака продолжали сидеть, будто ничего особенного не случилось.

Голова юкагиров и бывший голова чукчей не смотрели друг другу в глаза. Но они знали, что заговорят, и Куриль заговорил первым:

– В мои дела, мэй, больше не суйся. Могу задавить...

– Да не узнаешь, кто кого может, – ответил Кака. – А то ещё всё повернётся так, что опять будем друзьями...

Куриль встал и, ничего не сказав больше, ушёл из тордоха.

Он направился прямо к залатанному, поставленному на отшибе жилищу, к которому со вчерашнего дня не подходил ни один человек.

Нет, подходил кто-то! Куриль различил на мокрой земле следы и обрадовался – следы вели только туда.

Откинув дверь, он онемел от удивления: прямо перед ним во весь рост стоял Пурама. Лицо у зятя было бледное, напряжённое.

– Га! Здесь? – со злорадной дрожью в голосе спросил Куриль. – За-

щитник!.. Кулаками решил отбиваться? А я-то думал, что ты и смелей, и умней... Где Пайпэ?

– Что там? – вместо ответа спросил Пурама.

– Что! Пойди – посмотри. Тачана плеки откинула и пену изо рта пускает... Гляди, сам не свались в обморок!

– Что со старухой, а? – выскочила из-за полога Пайпэткэ. Она была не бледной, а почерневшей; красивые маленькие глаза её провалились, редкие старушечьи патлы волос прикрывали грязные щёки.

– Ничего особенного, – ответил Куриль. – Опомнится. Но и тебя больше трогать не будет. Покажи сына.

– Спит он, – сказал Пурама.

– Тогда постой – пусть спит. Потом погляжу. – Куриль повернулся, чтобы уйти, но Пурама почему-то вспыхнул:

– Никто не увидит меня ни на камланиях, ни на всяких других ваших спорах! Ничего всё равно не переменится – как было, так будет. И нечего лезть... А я не трус: ножик при мне...

Размякшая от дождя дверь разделила зятя и шурина.

Пурама будто в воду глядел, а Куриль чересчур поспешил радоваться.

Тачана лишь ночью пришла в себя. Её уложили за пологом, разбитый бубен завернули в доху – и свёрток этот стал для неё подушкой.

Вечером тревожно застучал другой бубен – бубен Каки. Поднявшийся ветер понёс по стойбищу этот чужой и потому ещё более тревожный грохот. А соседи, прохожие слышали и бесконечную чукотскую песню, в которой Кака на все лады выражал отчаяние и боль за беду шаманки.

Ветер принёс тяжёлые низкие тучи. Не просыпая дождя, тучи эти совсем закрыли тундру от небесного света: вечер наступил рано, а утро пришло поздно, как осенью. Люди стойбища попрятались по тордохам, и никто не рисковал выходить наружу поодиночке.

А с утра от ушей к ушам покатались слухи, один страшнее и причудливее другого. кто-то сумел увидеть посреди ночи возле тордоха шаманки какие-то существа, похожие на собак, но с высокими передними лапами и с человеческими головами; кто-то, напротив, увидел чудовище величиною с тордох. А неизвестно чей мальчик будто бы заметил огромную вспышку огня, вырвавшегося из онидигила шаманки...

Слухи, может, были бы и не такими страшными, если бы каждого не облетел другой, главный слух: Тачане плохо, совсем плохо – руки она не поднимает, дышит тяжело, голова горит, грудь горит, желудок не принимает ни воды, ни пищи.

И начались разговоры, догадки и пересуды. Одни утверждали, что Курилю долго не жить на свете – если шаманка умрёт, обидчика своего она обязательно увезёт с собой. Другие судили иначе: Куриль, видно, обрёл духов шамана Сайрэ и, чувствуя силу, напал на шаманку, которая хотела убить его молодую жену...

Сам Куриль крепко задумался. Перейдя жить к сестре, он не выходил из тордоха, но требовал от Пурамы, чтобы тот как можно чаще сообщал ему новости. Он только теперь понял, как дорога была для Тачаны эта священная вещь. Но дело тут было куда серьёзнее. Не просто лопнула сухая лошадиная кожа, натянутая на обруч, – поруганной оказалась вера. Но какой же сильной должна быть вера этой старухи, раз из-за неё

жизнь повисает на тонкой нитке!.. Если бы Куриль остановился лишь на такой мысли, он просто начал бы размышлять о последствиях своего необдуманного поступка. Однако он рассуждал и по-другому. Может, всё-таки существует какая-то сила, которую он не хотел признать, но которая теперь жестоко отомстит ему за непризнание и попытку бороться с ней?..

И он позвал старика Нявала и велел ему к вечеру сделать новый бубен.

А вечером пришёл Пурама и сказал, что Тачана вызывает его к себе. С новым, немного недоделанным бубном Куриль и отправился в знакомый тордох.

Его встретили Амуртэгэ и старая прислужница всех страдающих одноголазая Абучедэ.

– Пришёл... – кисло скривил губы муж Тачаны. – Наверно, уедет в тот мир. Что будешь делать?

– Не хорони раньше времени...

– Плохо ей, Апанаа, плохо, – добавила одноголазая. – Ни с кем разговаривать не хочет. Молчит. Прямо удивительно, какая молчаливая стала. Уж Кака говорил, говорил ей, спрашивал, спрашивал, упрасивал – а она ни слова...

Куриль не узнал Тачану. Она лежала на спине, как покойница, высоко задрав подбородок.

– Ты... Апанаа? – чуть повернула голову Тачана. – Ко мне пришёл? Да?

– К тебе, к тебе. Ну что ты уж, старая, так расхворалась! Ну погорячился я... Да ведь и был не в своём уме... А вот мы... бубен тебе изготовили новый...

– Бубен? Нет... Мой раскололся бубен. Шаману в этом мире полагается иметь только один... Лопнул – значит, и смерть пришла... Исполни, Апанаа, мою последнюю просьбу. Собери ко мне завтра людей, старых людей, веривших мне. И Пайпэткэ призови... Я сама убила себя... Сама... На тебя нет обиды... Иди – я отдохну.

На другой день Тачане стало ещё хуже. Абучеде сказала, что она опять отказалась от пищи и ни разу не попросила воды.

– Говорить хочет, а губы совсем высохли, – сказала она Курилю. – Я уж буду сырым мясом губы ей смачивать...

Полог убрали, и толпа стариков и старух тихо и боязливо начала подступать к ней.

– Умираю... – Это было первое слово шаманки. – Так вот и созвала вас... чтобы сказать... Скажу вам, чего не ждёте... Вы запомните – и пусть ваше сознание никогда не отталкивает моих слов... Там, вверху, – огонь далёких людей⁸¹... Светит он, а не греет... Я никого не согрела... Хочу теперь сказать всё... может, бог и простит мне... Пайпэткэ тут? Где она?

– Больная лежит, – солгал Пурама.

– Больная?.. Да она и здоровая, наверное, не пришла бы ко мне... Но вы ей всё расскажите...

Тачана замолчала. Ей бы отдышаться после такой длинной речи, но она как будто совсем перестала дышать. Может, думала, как короче бы говорить дальше, может, сил набиралась.

⁸¹ Огонь далёких людей – северное сияние.

– ...Я всегда камланила плохо... – заговорила она опять. – И когда была в силе... и в эти тяжёлые годы... Я была неплохой шаманкой... а вообще... никогда не была шаманкой...

– Бредит, – сказала Абучеде.

– Что? – повернула голову Тачана. – Нет... я в своём уме... Это будет совсем плохо, если вы... так посчитаете... Могут наговорить, что у меня... перед смертью... духи отняли ум... Так было с Сайрэ... Я тогда так сказала... чтоб шаманскую веру сберечь... Не верьте...

Старики и старухи втянули головы в плечи. Каждый и каждая из них много лет отстаивали то, что сейчас опровергала сама Тачана.

– ...Я ослабела... говорить лишнего не могу... Боюсь, не скажу самого главного... Пайпткэ пусть... простит меня... если сможет... Я завидовала ей... мстила... а зачем?.. Теперь я каюсь в жестокости... Я прикрывала шаманством жестокость... обманывала... Сестра моего мужа... пусть затопчет землю на моей могиле... пусть срубит мой крест...

Старики и старухи дружно перекрестились, зашевелив губами.

– ...Помните... был великий якутский шаман... Муостаах Уйбаан?.. У него заяц за пазухой появлялся... из пустого мешка вытаскивал куропаток... Глаза он завязывал людям... Умел... всё умел... дар был у него... А мою сестру он не вылечил – умерла... Тогда я первый раз поняла... что шаманы бессильны... обманщики... Поняла... а сама обманывать стала... Апанаа! Ты не верил шаманам... И не верь никогда... Бубен разбил... Смелость какая!.. А что я?.. Рычала на всех... а сил не было. Притворялась... И вот... в последний раз...

Куриль невольно нагнулся к старухе: ему было до крайности интересно узнать, на что же она надеялась в этот последний раз. Но Тачана свела губы и надолго притихла. Однако по неподвижному, спокойному лицу её он понял, что она не ищет ответа, а знает его.

– ...Не думала, Апанаа... что ты против всей веры шаманской пойдёшь... Думала... обидишь меня... На всё надеялась... на твой страх, на самовнушение... на веру людей... на темноту в голове от звона бубна... на Каку... на чудо... на себя... И на себя тоже. Думала... хоть раз сумею внушить... как Токио... И запугать хотела... Обман!.. Нет шаманского нижнего мира...

А за спинами стариков, старух и близких к Тачане людей шёл отрывистый разговор.

– И почему отрекаются наши шаманы? А ламутские и чукотские – нет? – спрашивал Пурама.

– А Мельгайвач? Тоже отрёкся, – отвечала ему Лэмбукиэ.

– Никто не отрекается: это всегда перед смертью духи велют говорить так, – опровергала их старуха, повернувшись к ним голову. – Потом сами увидите, зачем это надо...

– ...Тяжко мне говорить, – продолжала, отдохнув, Тачана. – Сейчас кончу... Ты завтра приходи ко мне, Апанаа... Тайну тебе расскажу... большую тайну... А я вчера... хотела... укочевать от людей... Потом хотела... умереть как шаманка... из-за разбитого бубна... Трудно мне было голый перед людьми показаться... Мучилась... А вот – решилась... Хочется перед богом очиститься... Может, и примет... Хочу обновиться и душой, и телом...⁸² Я могу сейчас и не умереть... Но я умру. Не буду ни пить, ни

⁸² По поверью, люди после смерти рождаются снова.

есть... Умру. Хочу так... Идите, люди, к своим очагам... У Пайпэткэ прощение мне испросите... А я умру...

Из тордоха Тачаны все вышли медленно, по одному, как чужие. Тяжко согнувшись, побрели в разные стороны.

И только Пурама не отошёл от Куриля.

– И что же теперь будет? – не вытерпев, спросил он, когда шурин в нерешительности остановился вдали от тордоха.

– Ничего. То же, что было, – ответил Куриль. – Мелкий плавник⁸³ уплывёт – покажутся брёвна... А где брёвна, там и кора, и ветки, и щепки... Думаю так. Чую – дорого мне обойдётся её смерть. А-а, – схватился он за голову. – И зачем я бубен этот взял в руки! Говорил же мне божий человек: не трогай шаманов... Не так надо бы... Да и что одному можно сделать?..

– А не хочет ли Тачана отомстить Курилю своей смертью? – спросил Пурама. – Нет в ней ни одной доброй жилки...

– Отомстить? Нет. На это у неё ума не хватит. К тому же всю жизнь она о себе одной думала – теперь очиститься хочет... Но получиться всё равно может так, как ты говоришь...

– А если попытаться спасти её? Уговорить... пообещать что-нибудь?..

– Ладно. Тут я сам разберусь.

Голове юкагиров, однако, не удалось поговорить с шаманкой ещё раз. На другой день Амунтэгэ передал с Пурамой, что Тачане стало плохо и что приходить к ней нельзя. Он не хотел видеть Куриля в своём тордохе. Потом стало известно, что Кака не уехал и останется в стойбище до конца. И тогда родилось подозрение: не встал ли на пути чукотский шаман? Пришлось подослать Лангу, как самого подходящего человека, – не может ведь муж не исполнить волю умирающей ради воли живущего? Поздно было: Тачана не разговаривала уже. Оставалась надежда услышать от неё хоть слово в последний момент. И Куриля спокойно пустили прощаться. Но болезнь и истощение превратили уродливую при жизни старушку в такое жалкое и жуткое, едва дышащее существо, что мысль о каком-либо разговоре с ней отлетела в первый же миг.

Умерла Тачана поздно вечером на седьмой день.

Куриль не мог остаться на похороны. Но он знал, что отправить её в дальний путь люди всё же решили с шаманскими почестями.

ГЛАВА 15

Смерть Тачаны взбудоражила всё Улуру, и слухи о ней разлетелись во все стороны, словно брызги от удара камнем по воде. Но если сами юкагиры ничего толком не понимали в существовании происшедшего, то издали всё это казалось более простым и более чётким. О готовности юкагирского головы сцепиться с шаманами и западные чукчи, и восточные, и ламуты знали определённо, и труда не составляло посчитать скандальную смерть шаманки первым шагом смелого Куриля. Конечно, о последствиях и возможных дальнейших событиях толковали по-разному. Но одно было ясно: юкагирский богач не болтун...

⁸³ Плавник – всё деревянное, что плывёт по воде.

Дошёл этот слух и до стойбища Тинелькута.

Ниникай, продолжавший жить рядом с отцом и братом, услышав новость, оторопел. Все его мысли в последние луны вертелись вокруг жены Тиненеут и будущего ребёнка. Ребёнок должен был появиться на свет чуть позже середины лета, но он мог появиться и раньше. Во всяком случае, живот Тиненеут давно стал большим. Близость отцовства отогнала в далёкое прошлое все прежние тревоги и размышления о долгой супружеской жизни. Осталась одна, близкая, как любой застрашанный день, тревога: жена и ребёнок. Тут уж думалось не о чьих-то сложных многолетних делах, не о том, чем хорош и чем плох этот мир, а думалось о самом простом и неотступном – о помощи молодой матери, о возможных бедах, о дне прощания со старым отцом, которого скоро придётся провожать в дальний путь.

А тут вдруг новость: лысый юкагирский богач сломал бубен шаманки, а та умерла с испугу и призналась, что обманывала людей. Вот это человек – Куриль! Не зря он так нравился Ниникаю. Говорит – и делает. И он звал его, Ниникая, жить рядом. Не просто, выходит, жить, но и быть заодно.

Жить рядом, быть заодно. А роды, а ребёнок, а отец?

И решил Ниникай так, как решают все люди: впереди много лет, те, большие, дела никуда не уйдут, о них лучше будет судить потом – сначала свои дела, которые тоже могут вывернуть человека наизнанку, вrobe дохи.

Между тем лицо у красавицы Тиненеут совсем исхудало – глаза углубились, нос заострился, а пухлые прежде губы высохли и потрескались.

В один из жарких и комариных дней Ниникай вернулся с сырого пастбища и, не осмотревшись, принялся выжимать промокшие ровдужные обутики. Возле дымящего очага храпел пастух Ниникая Вельвун. Всё было мирно и хорошо. Тиненеут сидела возле очага, спасаясь от комаров, и что-то шила. Солнечные лучи синими нитями врывались в ярангу, и дым в них спокойно клубился, не шарахаясь внутрь.

Но вот Ниникай вздрогнул: лицо Тиненеут попало в солнечный луч – и он увидел на её щеках блестящие, как бисеринки, слёзы.

– Ты что? Плачешь?

– Боюсь... Ой, боюсь!

– Чего же бояться?

– Смотри: живот провис книзу, упал...

– Да? Значит... скоро... Да... Как бы не пришлось кочевать нынче же...

– Ниникай! Не бросай меня! Не бросай одну! Умру я, наверно... Скажи: почему русские женщины дома и при людях рожают, а мы должны наедине с духами оставаться в тундре? Кто это придумал? Нам ведь и так страшно, нам ведь помощь нужна...

– Вельвун будет приносить пищу, если роды долго продлятся, – по-мужски сухо сказал Ниникай, стараясь изо всех сил скрыть от жены страх. – А о том, возьмут ли тебя к себе духи или не возьмут, об этом не говорят... Помнишь, в Нижнем женщина так сказала – духи её забрали вместе с ребёнком... И о русских нечего думать: у них, может, и духов нет – один бог... ещё возьми с собой шайтана деревянного⁸⁴ – спокойнее

⁸⁴ Деревянный чёртик, по поверью, спасает жилище от злых духов.

будет...

– Шайтан... Я хочу, чтоб человек рядом был! Я боюсь! Я хочу, чтоб ты рядом был. Ты ведь любишь меня. Ты сильный, смелый – зачем же вместо себя подставляешь деревянного человечка?

– А родители? А обычай?

– Кто же узнает?

– Это узнают. Мы и так с тобой много грехов сотворили. Теперь грешить-рисковать нельзя...

Разговор кончился. Съев приготовленное мясо и выпив чаю, Ниникай лёг рядом с Вельвуном и попытался заснуть. Он долго мучился, старался не поворачиваться с боку на бок, он не отгонял комаров, которые лезли даже сквозь дым, – и всё-таки не мог заснуть. Но и мукам бывает предел: к вечеру Ниникай задремал.

Он проснулся без всякой причины, проснулся сразу, вскочив на колени. И одного взгляда на жену было достаточно, чтобы решиться: Тиненеут стояла и, обнимая руками живот, тихонько раскачивалась.

– Мэй, мэй – проснись! – начал тормошить Ниникай пастуха. Но Вельвун так устал, что его можно было за ноги вытащить из яранги и не разбудить. Тогда Ниникай зажал ему нос и рот.

Маленький, крепкий и немногословный пастух сразу вскочил.

– А? Оставлять будем? Укочуем, да? – спросил он.

– Пора. Сейчас закричит.

– Нет, нет, Ниникай, – не оставляй меня! Не оставляй... – Тиненеут упала на колени и на четвереньках поползла за мужем.

А Ниникай взялся делать то, что не мог не делать: он стал разбирать ярангу.

Она выползла наружу и, плача навзрыд то как девочка, то как старушка, взялась умолять мужа.

– Ты же мешаешь, – не хватай за ноги меня! – Ниникай отталкивал её и трясущимися руками продолжал развязывать жерди.

– Ты говорил, что никогда не оставишь меня! Я верила, я думала, что и в такой беде не оставишь...

– Родишь – никогда не оставлю. А сейчас нарушать закон стариков нельзя. Это шутки плохие. Ты же не насовсем остаёшься. Родишь – и я тут. Будет ребёнок, будет семья. И нас так рожали...

Да, таков этот страшный завет: караван нарт двинулся в путь, а молодой женщине-рогенице оставлен посреди тундры шалашик – три палки, прикрытые обрывком шкуры...

Тряся животом, Тиненеут догнала последнюю нарту, которую медленно волочили по земле напрягшиеся олени, села и спряталась за поклажей. Но Ниникай оглядывался. Он остановился.

– Эй, Вельвун! Уезжай как можно дальше вперёд. Я догоню. Завтра в полдень остановись. Ярангу не ставь. Отдохни – и дальше. К вечеру я догоню.

– Куда ехать?

– На восток.

Он поднял жену и понёс её к шалашу.

И поползли дальше тяжело гружённые нарты, скрипя полозьями по чёрной земле, и стал отдаляться гул урчащих оленей огромного табуна.

Потом караван и табун скрылись за низенькими холмами.

Утреннюю зарю Ниникай встретил, так и не заснув ни на один миг. Он сидел рядом с женой и гладил её густые чёрные волосы.

– Комары надоели. Немножко бы дыму. – Тиненеут устала плакать.

– А можно?

– А ты хочешь меня комарам на съедение оставить?

– Если можно – сейчас.

Она, кажется, смирилась с мыслью, что её всё же оставят одну. Обрадовавшись, Ниникай набрал сухого тальника, взялся за кремень. Но вдруг испугался: а если всё-таки нельзя зажигать костёр?

«А! – махнул он рукой. – Утро, туман – кто заметит?..»

После ночной росы комары гудящей тучей набросились на шалашик.

– Жена, может, я пойду? А ты спрячься. Двоим же там тесно...

– Нет! Не пушу... Я не рожаю. Не оставляй меня, хороший мой, любимый мой, не оставляй! – Тиненеут из последних сил обхватила Ниникая за шею.

– Ладно. Останусь. Но ты сразу скажи, если начнётся, – я убегу...

И она заснула.

Не слышала Тиненеут, как муж тихо выбрался из шалашика и ушёл.

Не долго она спала. Костерок погас, и комары набросились на неё – разбудили. Она поняла сразу, что Ниникай оставил её, и вдруг обессилела. Легла и опять заснула, уже не обращая внимания на укусы и гудение комаров.

Совсем проснулась она в полдень. Ощупала потвердевшее от сплошных укусов лицо и вдруг подумала о ребенке, которого сразу же облепит комариная туча.

Ни о чём большем не думая, она выбралась из шалашика и пошла по следам полозьев.

Отдохнув и видя всё в ярком солнечном свете, она лучше, чем вчера, понимала, что не только надеется на любовь смелого парня, способного ради неё на всё, но и переступает законы обычаев. Гагары и утки, сидевшие на земле, разлетались перед ней в разные стороны – и ей казалось, что они шарахаются не просто от человека, а от человека, вокруг которого вьются рассвирепевшие злые духи. С ближних холмов на неё зло тявкали злые перепуганные песцы...

Проваливаясь в лужах, вымокшая выше колен, разгоняя руками комариные тучи, Тиненеут шла и шла вперёд, надеясь настигнуть людей, Ниникая, который не даст ей умереть в болотистой тундре, который спасёт своего ребёнка...

Лишь к вечеру она неожиданно вспомнила рассказ Чайгуургина о том, что западные чукчанки рожают в ярангах. Почему восточные должны мучиться больше их? Разве есть между ними какая-нибудь разница?.. И эти рассуждения прибавили ей уверенности, что она совершает не слишком страшное преступление.

Уже в сумерках Тиненеут заметила белеющую на едоме ярангу, а внизу – свой табун.

Пастух Вельвун бежал ей навстречу.

– Коккай! – закричал он издали. – Зачем ты идёшь? Потом, подбежав ближе, сказал:

– Тебя придётся связать. Что делаешь ты? Зазываешь злых духов? Знай – мы всё равно от тебя укочем.

Ничего не говоря, уставшая до темноты в глазах Тиненеут медленно поднималась вверх по крутому склону едомы. Ей навстречу с радостным лаем выскочила чёрная ласковая собачка. Она виляла хвостом, лизала ей руки, и Тиненеут погладила, но нахмурилась: скоро Ниникай усыпит собачку, шкурку высушит, и этот чёрный красивый мех пойдёт на украшение кукашки и керкера. Жалко собачку. Но, может, собачка останется бегать и лаять, а она никогда не возьмёт в руки иглы?

Ниникай спал у очага. Тиненеут завернулась в тряпки и шкуры и тихо легла рядом.

Но в ярангу ворвался Вельвун.

– Мэй, проснись. Хозяин... Тиненеут нас догнала... Ниникай приподнялся. Но он не сказал ни слова – встал и ушёл.

Она знала, что мужчины оставят её. Но у неё не было никаких сил упрашивать мужа: глаза закрывались сами. Она и заснула с сознанием, что яранги над ней не будет, но что Ниникай всё же оставит ей какую-то защиту от комаров.

Проснулась посреди ночи. В небе тускло светилась половинка луны.

Покрывало... Тиненеут лежит под ровдужной шкурой! «Хороший ты мой, любимый ты мой, Ниникай! Накрыл... Бережёшь...» – Она приподнялась и увидела оставленную на ровном местечке треногу. А возле головы на траве что-то лежало. Куски варёного мяса.

Сердце Тиненеут размякло от нестерпимого чувства благодарности к мужу. Она принялась есть, обливая мясо слезами.

– Что я делаю, – заговорила она сама с собой. – Трусостью и упрямством злю такого хорошего человека, табун из-за меня гоняют туда-сюда...

И она вдруг решила: надо догнать Ниникая, сказать ему, что она согласна остаться одна, пусть он успокоится, но только не укочёвывает чересчур далеко.

С мыслью обрадовать мужа Тиненеут поднялась и стала спускаться к тундре, чтобы опять отыскать следы. Живот сильно тянул её вниз, и она старалась выпрямиться, отчего разбухшие груди чудно задирались вверх.

Какой стала она, совсем недавно гибкая, ловкая Тиненеут! Ещё весной она могла бегать. Весна... Хорошее было время. Вдвоём с Ниникаем они уходили пасти оленей, играли, как дети, устраивались под важенькой и вдоволь насасывались тёплого молока. Ловили оленей, обрезали мягкие передние рожки и ели их. А то собирали гусиные и утиные яйца и пекли, обмазав глиной. Сколько было яиц!.. А вот теперь не побежишь, не поиграешь... Но скоро настанет совсем новая, незнакомая жизнь. Она будет даже лучше той, что прошла. Весной ребёнку исполнится год – и они вдвоём станут играть ещё радостней, ещё интересней. Ниникай... Он теперь навсегда её...

С хорошими мыслями Тиненеут спустилась вниз, долго искала следы полозьев, затоптанные табуном, нашла – и быстро зашагала вперёд. Она знала, что по земле караван далеко не уедет. И времени прошло не так много. Скоро, скоро всё кончится...

По сухим местам шагать было легче, но зато часто терялись следы, остававшиеся в стороне. И она решила идти напрямиком, несмотря ни на

что. Так и пошла, проваливаясь в болота по колени, а то и до самого живота.

Тиненеут была очень сильной, выносливой и потому надеялась, что теперь-то не пропадёт: главное, она поборола страх.

Так она шла долго, пока не услышала громкие крики чаек. Впереди что-то лежало. Чайки кружили над каким-то предметом, то садясь на него десятками, а может, сотнями, то взлетая вверх. Тиненеут хотела ускорить шаги, но почему-то почувствовала усталость. А когда подошла – ужаснулась. Птицы расклёвывали труп молодого оленя. Вид падали был омерзительен. Изуродованного оленя кишащей пеленой покрывали комары. Чайки, наверно, садились прямо на них, и стоило птицам подняться, как свободное место сразу захватывали эти бесчисленные кровопийцы... Тиненеут глянула вдаль, надеясь сейчас же заметить какие-нибудь признаки близости человека, – и похолодела от страха. Она поняла, что вокруг совсем никого нет. Ещё не успеет снизиться солнце, а с ней и с её ребёнком может случиться то же самое, что случилось с оленем... Живот у Тиненеут как-то рывком опустился, перед глазами поплыли пятна, а грудь задрожала так, будто не из неё вырвались, а в неё ворвались рыдания. Она женщина, человек, не олень, не животное! Но разве может человек умереть, как животное? Кто всё это придумал? А вспомнил ли он о ребёнке?

Чтобы не закричать, Тиненеут скорей-скорей пошла прочь от этого места. Она закрыла ладонями уши, чтобы не слышать жадного крика чаек. Со страха она поспешно начала вспоминать всё то, чему учили её старушки. Первое – надо обтереть ребёнка, потом перевязать пуповину, потом перегрызть её, потом завернуть ребёнка, потом... А чем обтереть? А во что его завернуть? Она вспомнила, что оставила свёртки пыжиков на стоянках...

А чуть холмистая тундра, высокое небо и солнце немо и безучастно глядели на эту женщину, на человека, объятого диким страхом. Они, наверно, много и много раз видели это всё и привыкли, уснули. Даже далёкий мудрый хребет спал на седых облаках дымки, отказываясь загреметь скалами, встряхнуть тундру, стойбища, расшевелить небо...

...Она шла быстро, ходко, разрывая ногами болотистую траву. Но потом упала раз, упала второй, упала третий. В четвёртый раз долго лежала на боку, тяжело дыша открытым высохшим ртом. Комары, набросившись на неё, стали грызть лицо, шею и руки. Но не боль укусов, а воспоминание о трупe оленя поднимали её на ноги.

Тиненеут бежала и уже чувствовала, что дальше бежать нет смысла. Начались схватки.

И она остановилась бы и легла, но вдруг посередине равнины заметила что-то белое, островерхое. «Яранга!» – сверкнула мысль. Не веря своим глазам, она закрыла их изо всех сил, надавила на них кулаками, а когда снова открыла – равнина с белой ярангой вдруг зашаталась, перекосилась, а холмы запрыгали, перевернулись и полетели куда-то вдаль. Страшная боль охватила всё тело, кости напряглись так, будто неведомая сила решила вырвать их из суставов. В полной темноте мелькнул косячок света, и всё пропало – и боль, и мир, и сознание.

Тиненеут вернул к жизни тоненький писк. Она услышала его, стиснула зубы и удивлённо открыла глаза. Но вокруг всё продолжало мель-

кать и прыгать, а живот как будто остался таким же большим. Виски ломило, щёки горели огнём.

Придя немного в себя, она поняла, что ребёнка нет и что никто не пищал – просто у яранги заливисто выла собака.

Потом она приподнялась и заметила, что лежит в огромной болотистой луже. Надо было выбираться на сушу. Она поползла. Впереди виднелось несколько кочек. Она добралась до них, ухватилась за ближнюю и поняла, что кочки её не спасут. Поползла дальше, а когда почувствовала под собой твёрдую землю, встала на ноги. Яранга была уже рядом, но она шаталась, сморщивалась, потом вырастала величиной с огромное облако и опять удалялась.

Зацепив ногой нарту, Тиненеут упала, но боли уже не почувствовала. Потому что её охватила другая, более сильная боль, потому что небо вдруг свалилось на землю, а земля подкинула её, унесла в черноту.

Плакал ребёнок. И Тиненеут хорошо знала, что это уже не обман слуха – плачет её ребёнок. Но тут опять всё исчезло. Исчезло – и снова донёсся плач. Она решила: пусть плачет – и попыталась заснуть. И заснула.

Но вскоре услышала гудение комаров, человеческие слова и опять плач ребёнка. Только плач теперь был отрывистый – он приближался к ней и вдруг оборвался. Одновременно она почувствовала, что кто-то щекочет грудь.

Она увидела солнце над спокойной, настоящей ярангой, увидела расплывшееся в улыбке лицо Ниникая, его чёрную дрожащую чёлку волос, его белые-белые зубы.

– Ребёнок, да? – тихо спросила она.

– Сын, сын! У нас – сын!

Тиненеут закрыла глаза и сдвинула брови – будто радость Ниникая принесла ей боль.

– Поташим в ярангу, – сказал Ниникай Вельвуну. – А то их комары заедят.

– Может, над ней треногу поставим? Я принесу жерди... Духи не напали бы на всех нас...

Четыре дня Ниникай сидел возле жены и сына. Он без конца жёл костерок-дымокур, он выполнял всё, что требовала Тиненеут. Но уже с первого дня молодые мать и отец были угрюмыми. Огромную радость обоих задавило большое горе: жена родила возле яранги. Тиненеут осквернила жилище, мужа, родственников, самого ребёнка. И Ниникай, и Тиненеут хорошо знали, что мужчине в таких случаях полагается бросить жену и ребёнка и найти другую жену.

Все эти дни и ночи они почти не разговаривали. Тиненеут украдкой поглядывала на мужа, надеясь понять, о чём он думает. Ей очень хотелось заметить в глазах Ниникая тот знакомый огонь, который часто зажигался в них раньше: глядит, глядит Ниникай, бывало, в одну точку, потом вдруг встрепенётся и не удержишь его. Она хотела, чтобы Ниникай произнёс одно слово: «Бежим».

И это молчание стало в тягость обоим.

Однажды вечером Ниникай не вытерпел и спросил:

– Как будем жить?

– Разве мы будем жить? – тоже спросила она, ни на что не надеясь.

Он не ответил. Тогда Тиненеут добавила:

– Твои родственники этого не простят. Ты сам так говорил. Те грехи нам простили, потому что отец хотел видеть тебя женатым. А теперь я затоптала тебя...

– Ты не затоптала меня! Ты затоптала обычай. А это хуже – так считается. Но я все четыре дня только о том и думал, что хуже: затоптать обычай или затоптать человека...

– И ничего не придумал – я вижу, – сказала она.

– Да... Не придумал... – согласился он. – Может, потому ничего не решил, что думал и плакал! Да, ты не видела, а я смотрел на тебя – и плакал... Мне первый раз стало жаль тебя, когда я оставил тебя спящей в маленьком куреньке. Ещё больней было, когда ты догнала нас, а мы опять укочевали. А в последний раз я не пересилил себя: приказал не разбирать ярангу и сам пришёл на помощь тебе. Я так же, как и ты, виноват. Я тоже нарушил обычай...

По красиво разрисованным щекам Тиненеут вдруг покатались крупные чистые слёзы. Слёзы падали, а пополневшие после родов губы смеялись. Наверно, одни только женщины умеют сразу и смеяться, и плакать... Ниникай мог ничего больше не говорить. Тиненеут было хорошо, как никогда. Она останется навсегда счастливой – пусть Ниникай бросит её и ребёнка. Но ей всегда будет больно оттого, что её бросил такой муж.

– Может, шамана позвать? – спросила она, продолжая ронять слёзы.

– Шаман не придёт в нашу ярангу. Она для него, как волчья нора для оленя...

Тиненеут вытерла слёзы.

– И деревянного шайтана я потеряла... Может, ты, Ниникай, съездишь к родным? Отец твой меня очень любил. Помнишь, он даже сказал, что я буду тянуть аркан...

– Ну, об этом ты больше не вспоминай. Ты не знаешь отца, а мать не знаешь совсем...

И опять они промолчали всю ночь и весь день. На следующий вечер не вытерпела Тиненеут.

– Ниникай! Послушай меня. Я всё хорошо обдумала. Виноват ли ты – это не важно. А что я виновата – это я знаю сама, и люди говорить будут то же. Я не хочу видеть, как ты мучаешься. Девушек много. Ты брось меня. Брось меня, Ниникай!

Тиненеут оставила на коленях ребёнка, закрыла руками лицо и тихо заплакала.

Она выпрямилась, когда Ниникай уже откидывал дверь.

Он уехал. Вельвун сказал, что уехал к родителям.

Вернулся Ниникай через полтора дня.

Он был хмур, как туча перед грозой.

Тиненеут выглянула из-за полога, но быстро скрылась и сжалась в комочек, как заяц.

– Положи, Тиненеут, ребёнка! – услышала она голос мужа. – И выйди сюда.

Она вышла медленно, как обречённая.

– Мать мне сказала так: «Больше в нашу ярангу не заглядывай, пока не бросишь эту... гадкую женщину...» Я, говорит, не думала, что младшая сноха такая собака... И отец собакой тебя назвал...

Не будет прощения... У чукчей нет более грубого и более страшного оскорбления: если человека называли собакой, а значит, и превратили в собаку, то лучше не появляться среди людей. Потому что мужчина может показаться им кобелём, а женщина – сукой.

– Я это знала, – спокойно произнесла Тиненеут.

– Собирайся в дорогу, – сказал Ниникай.

– Сейчас.

– Не в ту дорогу, о которой ты думаешь! Далеко укочуем. Едем в Улу-ро! Так я решил.

– Это неправда! – подняла на него глаза удивлённая и ещё не верящая в своё счастье измученная Тиненеут. Но она первый раз за все годы не увидела в глазах Ниникая того мальчишеского огня, который так часто и радовал, и пугал её. Ниникай был хмур – и она поняла, что это серьёзно, серьёзно по-новому, по-мужски.

Эта хмурая серьёзность мужа и удержала Тиненеут от порыва, от горьких и сладких слёз, которыми она могла бы вымочить его с головы до ног. Нет, она не бросилась к Ниникаю, но зато от слёз и рыданий не смогла удержаться! Голова её свалилась на грудь, плечи обвисли и затряслись.

– Ну, хватит – не маленькая! – грубовато сказал он, тоже не сходя с места.

– Да ты, наверно, сам не понимаешь, на что решился! – шмыгая носом, проговорила она.

– Понимаю. Перестань реветь. Лучше обо всём потолкуем, как муж и жена...

– Что толковать! Не понравится тебе в Улу-ро или захочется вернуться к своим – тогда как? С отцом не попрощался, я – собака, ты... отступник, беглец...

– С отцом я уже попрощался...

– Ой! – вздрогнула Тиненеут.

– Что – «ой»? По-своему, говорю, попрощался. Обнял, поглядел в глаза – и ушёл. А матери только глянул в глаза...

– Вот на что я толкнула тебя! Ой, сколько бед может случиться в будущем!..

– Никаких бед не будет. Давай скажем так: ты и я – это две руки одного тела. Запомним – и всё хорошо будет.

А теперь я хочу есть. Слёз в тордохе чтоб не было. Мы в Улу-ро должны приехать бодрыми и свободными.

– А нас там ждут? Да, ты говорил...

– Если бы нас и не ждали, я всё равно бы поехал только туда... Собирай еду: я у родных плохо ел...

Тиненеут принялась хлопотать в хозяйском углу. Ниникай наконец вздохнул с таким облегчением, будто свалил с плеч тушу медведя. Он уселся, разулся, привалился спиной к вороху шкур.

– Как сына-то назовём? – спросил.

– Не знаю. Не думала я об этом...

– Давай так: ты придумашь пять имён, и я пять. Потом...

– Давай Хантой назовём.

– Гок! Хорошо. Ханта. Сын Ниникая и Тиненеут – Ханта... Ты не забыла, кто нас пригласил в Улу-ро? Сам голова юкагирский! А ты не слыша-

ла, что произошло там недавно? Куриль – помнишь, он был у нас после ярмарки, небольшой такой, лысый, губы сжимает вот так? – этот самый Куриль, которого, говорят, исправник уважает больше всех в тундре, который дружбу завёл с американским купцом...

– Ой, ой, ты сейчас запутаешься в словах, – перебила его Тиненеут.

– А о нём нельзя говорить мало. Вот послушай. Тебе легко было рожать? Трудно? А тебя ещё и плохим словом обидели. А если бы одна женщина родила в яранге, вторая, третья? Все собаками стали бы?..

– Ты же не о том говорить начал! – опять перебила его жена.

– О том, как раз и о том! Вот считается, что ты родила возле яранги и совершила великий грех. И я виноват, потому что не убежал от тебя и решился помочь. Так? А знаешь, что голова юкагиров делает? Видит, что шаман обманщик, берёт бубен – и раз об землю его!..

– Ты что говоришь, Ниникай! – испуганно выпрямилась Тиненеут. – И ты хочешь ехать туда?

– Так он же разгоняет не настоящих шаманов!

– А как он их узнает? И разве такие бывают?

– Он умный и смелый. Не то что мы... По первому снегу туда укочуем. Жить будем свободно. Подарки ему приготовить надо. Юкагиры, говорят, любят ремни из кожи морских зверей, верёвки ременные, сбрую...

Говорят, что лето – вроде упряжки: на гору поднимается медленно, а с горы летит пулей. Но ведь это для кого как. Иному даже покажется, что летит оно кувырком. Совсем, однако, иначе бывает, когда спуск весь покрыт ямами да застругами, а внизу неизвестно что – может, обрыв, может, и ровное место. Вот и потащится нарта хуже, чем по земле...

Как раз так тащилось время у богача Курилова с середины лета до осени. Впереди у него была неизвестность. Скандальную смерть Тачаны он оглядел и со всех сторон, и изнутри. И ничего определённого для себя не увидел. Куриль ждал вестей из острога: исправник может вызвать его для разговора, а может прислать казака с бумагой. Было бы лучше, если б его русский начальник вызвал. Тогда он сумел бы объяснить ему многое. В якутских, мол, сказаниях и сказках шаманы все одинаковые. У ламутов тоже. А у юкагиров не так – у них, мол, вы услышите и о мудрых шаманах, и о беспомощных, об удалых и слабых. О чём это всё говорит? О том, что улурочи, видно, шаманство от других переняли. А кто перенял? И люди мудрые, проницательные, и обыкновенные обманщики, лентяи, хитрецы. Так что, мол, Куриль не случайно всё делает... И если Друскин это поймёт, то скажет – ну и делай, что хочешь: тебе видней. Но он может сказать иначе: а зачем тебе трогать их – верят люди, и пусть. Вот тут голова и скажет, что хочет крестить свою тундру, хочет приучить к светлой вере... Эх, да не будет так. Юкагиры живут не на острове среди моря. Кругом якуты, чукчи всяких родов и названий, ламуты. И у всех шаманы. Вот и начнётся неразбериха с тяжёлой руки Куриля. А шаманы есть очень богатые, есть и бедные, да крепко связанные с купцами и богачами. В тундре поднимется такая людская пурга, что царю придётся прислать нового Друскина. Разве не понимает этого нынешний Друскин?.. И он непременно скажет: «Иди, господин Афанасий Курилов, паси свой табун. А печать я отдам другому богачу, который поумней да нравом поспокойнее». Или будет ещё проще. Уз-

нает, что голова юкагиров довёл шаманку до смерти, пришлёт казака и велит ему привезти печать...

Но всё это может случиться потом. А пока – ямы да болотины.

Пришла Курилю в голову мысль хоть немного выкрутиться из сложного положения. Люди-то с недоверием на него смотрят, слухи ползут нехорошие, знакомые богачи приветов не шлют. Мамахан правильно говорит – узнает Томпсон, что туз не козырной, и положит карты... А выкрутиться можно только одним способом – начать крутиться в обратную сторону.

Куриль послал в Сен-Келя Лангу. Пусть приедет в Улуро Токио. Пусть люди узнают, что голова юкагиров вовсе не собиравший разгонять всех шаманов. С Токио Куриль вообще хотел завязать дружбу. Это добрый шаман, к тому же настоящий, не самозванец. Сейчас якут особенно подходил: это ведь он на последнем камлании высмеял Тачану, и как ещё высмеял! И так же, как Куриль, он изо всех сил защищал Пайпэткэ...

Митрэй Токио приехал без промедления. Он приехал на лошади и привёз с собой все шаманские принадлежности. Куриль с Мамаханом в это время ещё крепко спали, перехватив вчера лишнего.

– По твоему зову прибыл! – весело, как всегда, сказал якут, увидав протирающего глаза хозяина.

– Митрэй, дорообо!

– Дорообо, дорообо! – ответил Токио. – Приехал служить сильному человеку...

– Сейчас обуюсь... Жена! Всё на стол!

Пить Токио отказался, сказав, что пьяный шаман не будет полезным. После еды и начался разговор.

– Помнишь, Митрэй, как ты здорово тогда отлупил Тачану? – спросил Куриль, высекая кремнем огонь и прикуривая. – Отреклась она от шаманства. Что ты на это скажешь?

– Ничего удивительного нет, – спокойно ответил якут. – Ничего особенного это не означает.

– Как же ничего особенного? – удивился Куриль.

– А так! Такие же слова говорил и Сайрэ перед смертью. Умиравший волк кусает себя, медведь разбивает свой череп, а человек не стесняется своей наготы. Безотчётен умирающий человек. Сознание у него затуманено...

– Но она была в полном сознании.

– Ты что, Куриль, умирал уже и хорошо это знаешь?

– А ты как можешь знать?

– Я? Знаю.

Наступило молчание. Токио сдвинул брови, внимательно разглядел свои пальцы, потом медленно встал и начал извлекать из кожаного мешка бубен.

– Не камланить ли ты задумал? – почему-то перепугался Куриль.

– Нет. Возьми, Охоноо, бубен.

– Ты что? Зачем бубен мне? Один раз взял его в руки – больше ни за что не возьму!

– Без колотушки! Возьми, возьми... – сказал Токио и уставился в глаза Куриля своими странно замершими глазами.

И случилось невероятное: голова юкагиров опять держал в руках бубен. Испугавшись этого, Мамахан потихоньку встал – и попятился из тордоха. Никто его не задерживал.

– Найди на обруче три зарубки, – приказал Токио.

– Вот. Нашёл... Одинаковые.

– Которую метку ты выбираешь? Покажи пальцем.

– Вот эту.

– Хорошо. Среднюю, значит? Это меня радует. Если бы ты указал на крайнюю, я бы считал, что ты не хочешь быть моим другом... Теперь возьми колотушку...

И Куриль взял колотушку.

– Ударь раз. Чуть потише... ещё раз...

Глаза Куриля бессмысленно уставились в глаза якута. Лицо сделалось неподвижным, будто и неживым. И вдруг голова его медленно начала опускаться. Словно сквозь сон он услышал слова:

– ...Ты будешь делать всё, что я захочу... Будешь делать. Будешь... А сейчас смотри повнимательней... Ты видишь этого зверя? Ты его видишь... Но это не зверь. Это не зверь...

Точно так же, как во сне ранним утром, Куриль ясно видел перед собой очень худого, а потому вёрткого медведя с понимающими человеческими глазами.

– Хватит, – спокойно сказал Токио. – Дай бубен мне. И колотушку.

Куриль почувствовал головокружение. Но он уже не видел худого медведя с человеческими глазами.

Токио отвернулся, пряча бубен в мешок. А Куриль встал и тихо, как Мамахан, ушёл из тордоха.

Побродив по мокрой после дождя траве, Куриль вернулся и сразу заговорил:

– Ты мне завязал глаза. Внушение сделал. Но я и без этого знал, что ты волшебством можешь убедить, в чём хочешь.

– Значит, ты не веришь, что есть мир духов? Не веришь? Хорошо...

И Токио опять начал спокойно развязывать свой мешок.

– Я ехал всю ночь. Устал. Сейчас я лягу спать. А ты возьми мой бубен. Я даже могу уехать в ближнее стойбище... На, возьми бубен...

– Нет, нет! Перестань! – взмолился Куриль, – Я не за этим тебя позвал. Я не говорю, что нет мира духов. Может, и есть он. Ты мне скажи: Кака шаман или нет?

– Кака годами не молодой, а шаман – молодой. Не всё он умеет ещё. Научится. Лучшего у чукчей пока нет. Будет очень сильным шаманом.

Под ногами у Куриля всё зашаталось.

– Послушай, Митрэй, – заговорил он с горячностью. – Я не хотел, чтобы Тачана умерла. Не хотел! Я ругаю себя за промах. Но ты можешь объяснить это людям?

– Камланить надо? Камланить можно. Только теперь дорога длинная. Много дней прошло. Сейчас очень трудно следы Татьяны⁸⁵ искать, потом придётся долго идти по этим следам, духов искать... Иначе как же узнаешь, почему она ушла из этого мира? Плата духам, наверно, будет большая... А если бы сразу после смерти её – так это стоило бы суций пустяк...

⁸⁵ Тачана – от русского имени Татьяна.

– Не сомневайся! – сказал Куриль, чувствуя, что начинается деловой разговор. – Что ты возьмёшь? Оленей? Юколу?

– Зачем мне олени? Может, песцовые шкурки найдутся... – скромно запросил шаман.

– Возьми. Десять хватит?

– Думаю, хватит. Может, ещё и люди подкинут...

И опять в стойбище на Соколиной едоме загредел бубен. Интерес к загадочной смерти шаманки был настолько велик, что, наверное, все юкагирские стойбища переместились на берег Малого Улуро.

Камланил Токио в этот раз хорошо, по-настоящему. Он бил в бубен, пел песни, кричал, подпрыгивал и даже перестарался: один раз так подпрыгнул, что ударился о толстую перекладину и набил себе на лбу огромную шишку.

С грустью смотрел на всё это Куриль. Он видел, чувствовал, что звон бубна облегчает души людей, радует и тревожит, вселяет надежды, уводит в далёкий, нездешний мир. Он был бессилен. Сейчас он понимал это как никогда раньше. На что он поднял руку!..

Но важнее всего для Куриля был результат камлания. Как оправдает его якутский шаман, которому верят все, от старика до мальчишки?

И Токио повёл свой рассказ...

Оказывается, в единоборстве с духом отца Мельгайвача Тачана чуть-чуть не победила. Но её надо было бы уговорить, чтобы она не была несчастную Пайпэткэ; дух не всегда сидит в её теле – выходит. А она, чтобы скорей обезопасить людей, поспешила. Куриль не шаман, и не знал этого. Но он захотел проникнуть в тайны, а когда не сумел – рассердился. И как только прорвался бубен – дух Мельгайвача набросился на Тачану, усыпил её и даже лишил перед смертью ума...

– Куриль не виноват, – закончил рассказ Токио. – Он только знал, что защитить Пайпэткэ надо. А разве может защитить не шаман?

– Митрэй, а почему Тачана всё-таки отреклась от шаманства? – спросила Лэмбукиэ.

– Га! Ты хочешь сказать, что дух отца Мельгайвача был не предусмотрителен? Очень даже он был предусмотрительным. Он думал, что слова Тачаны перед смертью пойдут в его пользу. Вот поверили бы вы Тачане – стали бы отрицать всех шаманов. А тогда-то он уж напакостил бы вам вволю...

Куриль дальше не стал слушать. Он сидел близко к двери – за спинами приезжих – и незаметно выполз наружу.

Был солнечный день. Чайки кружились над озером, дети бегали по траве, у тордохов лежали собаки. Всё осталось на месте, как пять зим назад, десять и двадцать зим...

...А в один из хмурых осенних дней Куриль совсем упал духом. Приезжий из Халарчи человек сообщил, что в стойбище на Соколиной едоме скоро придет шаман Кака. Едет он вроде бы с добрыми намерениями, побывав перед этим у шамана Токио, в Сен-Келя...

Куриль взял у Мамахана коня и отправился в стойбище.

Он не доехал до Соколиной едомы: услышал звон бубна и повернул обратно. Кто-то камланил. Не Кака – свой, юкагир, камланил...

А по первому снегу в Булгунях неожиданно прикатил на нарте начальник из города. Это был очень тепло одетый, грузный и рослый

мужчина с широченной окладистой бородой и с остренькими усами, зло торчащими в разные стороны.

Куриль ни разу в жизни не видел его. А он и не назвал своего имени, не сказал, кем состоит при исправнике.

Русский вошёл в тордох, снял шапку, чинно поклонился жене Куриля и сказал:

– Господин Курилов? Не ошибаюсь?

– Нет. Я Курилов. Зовут Афанасием...

– Скверная история у вас тут получилась. Хочу всё сам услышать. Нечего не буду: выслушаю, поговорю и уеду.

С трепетом, как перед самым богом, голова юкагиров стал рассказывать всё, что давно приготовился рассказать исправнику.

Русский начальник слушал не перебивая. А когда Куриль кончил, спросил:

– Но зачем тебе понадобилось бить в бубен? Зачем?

– Я же вам всё изложил! – удивился Куриль непонятливости такого большого начальника. – Раскол же произошёл в шаманстве! Настоящий раскол. Я могу ещё перечислить шаманов, которые перед смертью раскаивались: Сайрэ, Тачана, потом ещё Мельгайвач – очень богатый шаман...

– Ты всё это уверенно говоришь?

– Как же я могу говорить неуверенно! Я же не просто богач – я голова целого рода...

– Голова... А как другие богачи и крупные шаманы к этому отнесутся?

– Я очень богат. А богатство сильнее шаманства.

– Ну, это ещё неизвестно... Хорошо, господин Курилов: ты головой и останешься. Но предупреждаю тебя: над верой людей не смеяться! Спокойствие создавайте в стойбищах. Бог на нас смотрит. И не нам судить о провидении божьем. В небесных делах разбираться нам нечего. Нечего и вмешиваться в мир почтенных людей – шаманов.

– Я так буду делать...

– Вот и отлично! Да... господин Курилов... – спохватился русский начальник, поднимая крутую бровь над голубым глазом. – Вы тут с некоторыми купцами и богачами, кажется, испрашивали разрешение строить церковь?

– Да. Мы хотели бы... – обрадовался Куриль.

– Вот и стройте. Мы подсчитаем точно, сколько это вам будет стоить – в песцовых шкурках, конечно. И с этим делом надо бы поспешить.

– Мы тут... хотели бы своего попа... – нерешительно заикнулся Куриль.

– Ах, да! Это я слышал. Но ведь такого пока у вас нет. Нет его! Православная церковь пришлёт вам русского, настоящего, знающего все божьи законы священника...

– А нельзя ли в ученики отдать местного парня? – спросил Куриль. – Юкагира или якута...

Русский сдвинул чересчур подвижные брови, подумал.

– Это, я полагаю, можно. Потом ещё и в других местах церкви начнём строить. Местный поп будет как раз к делу...

Давайте, стройте.

И он, не отдохнув, даже не отпробовав юкагирской еды, уехал. А Куриль был слишком смятен, спутан, чтобы предложить ему угощение.

Много бутылок горькой воды после этого выпили голова юкагиров Куриль и якутский купец Мамахан. Но сколько бы ни пили они, сколько бы дней и ночей ни толковали о грядущих событиях и делах, а на один вопрос всё равно не смогли бы ответить: где взять песцовые шкурки? Штук шестьсот надо, может, и больше.

Книга вторая

НОВЫЕ ЛЮДИ

ГЛАВА 1

Над Среднеколымском бесилась зимняя непогода. В чёрной полярной тьме при жестоком морозе была пурга. Лютый ветер гнал тучи снега над оледеневшей рекой, пока не нарывался на берег и на постройки – здесь он становился кручёным и неистовым, как разъярённый шаман: со свистом и воем он вздымал снег в самое небо или с шипением, словно тяжёлый песок, бросал его наземь. Кутерьма: ничего не увидеть, ничего не понять. Где земля, а где небо? Где живут боги, а где злые духи? И где этот самый Среднеколымск?

Люди Крайнего Севера давно исчезли бы, не выжили, если природа не наделила бы их особым чутьём.

Ветер сейчас не донёс ни лая собак, ни запаха дыма, никто не увидел ни колокольни, ни огонька, а огромный караван всё-таки с облегчением остановился. Приехали: здесь должен быть острог, Средний острог!.. И только остановился завьюженный караван, как тут же звякнул церковный колокол. Звякнул – как зарыдал: ветер метнул туда-сюда его голос, будто пустил по неровному кругу. С большим перерывом, как-то тревожно колокол звякнул ещё. Голова юкагиров Куриль, ехавший первым, пошевелил вожжи и спокойно повадил оленей:

– О-ок... – Но к нему подскочила упряжка чукотского головы. Чайгуургин ещё больше, чем Куриль, умел сдерживать любопытство, не выдавать тревогу, но сейчас не грех было и спросить:

– Русская похорона, а?

– Нет, – спокойно, тоже по-русски ответил Куриль, – исправник с божьего дома голос нам подаёт. Дорогу показывает.

Чайгуургин почему-то разочарованно вздохнул. Но тут же зло усмехнулся:

– Русский бог, однако, сильно опаздывает. Чуть не помёрзли...

Это была далеко не простая насмешка, и Куриль огрызнулся с достоинством:

– Чукотские духи – келе – дорогу мне указали? Это хочешь сказать?

– Э, никто правду не знает, – хотел увильнуть Чайгуургин. Но Куриль знал, что друга-чукчу надо припирать до конца.

– Разгляди неправду – увидишь правду, – ответил он. – Я вёл караван. Почему духи мне помогали? Почему не запутали, не заморозили,

а привели точно? И куда привели? К божьему дому. А? Что скажешь на это?.. Русские, может, давно звонят – с перерывами, – переменял Куриль голос. – Мороз какой, буря какая – посиди наверху! Там и духи померзнут.

– Снизу, однако, звонят – верёвку дёргают, – возразил Чайгуургин, но возразил без особого торжества. – Ты, значит, думаешь, мы исправникушибко нужны?

Куриль не знал, зачем исправник Друскин вдруг позвал к себе сразу всех богачей тундры. Но если голову восточных чукчей беспокоил только этот вопрос, то юкагирский голова всю дорогу думал ещё и о своих собственных, очень и очень важных делах. Поэтому вопрос Чайгуургина вызвал у Куриля раздражение. Но восточные чукчи – соседи, и без Чайгуургина большого дела не сделаешь – и Куриль, скрывая неосведомлённость, посчитал за мудрость вообще не ответить... – Ок! – погнал он оленей. Под рождество русские люди гуляют – и никакая невзгода им нипочём: пьют, орут песни, молодые женщины визжат, будто спасаются от смертельной щекотки. Однако сегодня в Среднеколымске было совсем не так. Острог словно вымер. Правда, брехали собаки и звенел колокол. Но собаки лаяли из-за углов, будто карауля пустые дома, а колокол тревожно звякал вверх, в неземной черноте... Въезжая в острог, властители тундр – князья, головы родов, купцы, богачи, богачи шаманы – не сомневались, что будут встречены по достоинству, с почестями, несмотря ни на что. Но караван никто не встречал – ни у первого дома, ни на улочке, ни на церковной площади. Это было неслыханно. И если б не предчувствие беды, не суеверие тундровиков, не любопытство, они, наверное, решились бы завернуть оленей и податься в обратный путь. Что-то случилось у русских, а может, и на всех других землях. И вовсе не случайно так расшаманилась колымская непогода...

У бревенчатой длинной стены заезжего дома, в вихрях снега, летящего с неба, с земли и с крыши, приезжие остановились и сами начали распрягать оленей. И только теперь на крыльце появились чиновник с застеклённым негаснущим жирником и два казака. Юркие, ловкие, одетые в нагольные, ладные полушубки казаки бросились на помощь богачам и каюрам, а чиновник в шинели и в распахнутой длинной шубе так и не спустился к гостям. Будто сговорившись, богачи-северяне стали закуривать. После долгой тяжкой дороги, не входя в жильё, на ветру и морозе никто не закуривает, конечно. Однако властители тундр были хитрейшим народом: кто знает, что там в мире случилось и что в отношении их замыслил исправник – дым же от трубки закроет лицо, глаза можно будет щурить, как хочешь, и поди тогда угадай, что у тебя на душе – настороженность или доверчивость, усталое безразличие или затаённая неприязнь. Нещадно дымя, они стали подниматься толпой по резко, неприятно скрипящим порожкам. Прозорливыми оказались властители тундр: жирник в руке у чиновника метался, будто наглый пронырливый сплетник, – лица высвечивал. Сам же чиновник только здоровался и не выражал радости, что гости доехали благополучно. Всё это было так плохо, что хуже и не придумаешь. Проходя через тёмные сенцы, богачи досадовали на самих себя – не надоумили духи сказаться больным, сунуть посыльному казаку откупную шкурку. А теперь поздно – не скроешься...

Огромную комнату освещали две лампы, подвешенные к потолку. И это от них шёл чужой, непривычный запах – горел не жир, горела вонючая вода – керосин. Вдоль всей длинной комнаты стоял великих размеров стол, накрытый холстиной и заставленный рядами бутылок, прозрачных высоких рюмок, больших тарелок и маленьких, пустых и со всякой холодной снедью. Празднество, стало быть, состоится. Но никого из хозяев нет. Нет ни исправника, ни жены его, ни чиновников, ни казацких начальников. Если б русские переполошились в самый последний момент – это было бы сразу заметно. Случиться-то что-то случилось, но не такое уж страшное. А коль праздничный пир всё-таки состоится, значит, русские всё продумали. Что они затевают?

И вот тут-то властители тундр совсем приуныли. Не нажимает ли царь на исправника, не спросил ли его через бумагу: «А зачем в тундре столько оленей? А почему дорогие песцовые шкурки идут на вольный обмен?...».

Тяжело, напряжённо дышит знать Крайнего Севера. Но что делать? Хозяев нет. Чиновник не появляется. И каюров-осведомителей в заезжий дом не пускают – увели на ночлег куда-то... Гости начали раздеваться.

И полетели в угол кукашки, дохи, меховые, верхние.

Исправник Друскин вошёл неожиданно, когда его и ждать перестали. Гости к этому времени расселись на полу возле стола и тихо переговаривались. В табачном дыму от двадцати трубок не было видно не только блеска посуды, но и самих ламп. Сквозь табачище пробивалась нестерпимая вонь от одежды и от самих с рождения не мывшихся тундровиков. Весь добела выскобленный пол сплошь усыпан шерстинками от одежды – будто здесь черти дрались. И сама собой у благородия Друскина, зажмурившего на момент глаза, промелькнула мысль: «Это они только приехали. А что будет в доме потом?».

– С приездом вас, мои дорогие друзья! – громко и бодро произнёс Друскин. Он ловко скинул на руки казаку шубу, обшитую дорогим чёрным сукном и отороченную серой выпушкой. Рука его скользнула в карман темно-синих хорошо разглаженных брюк – за платком, но там и осталась.

Исправник не был ни печальным, ни уставшим. И это привело гостей в отчаяние – власть, значит, сильна...

Богачи-тунгусы начали медленно подниматься. Большинство из них были пожилыми людьми, но даже настоящие старики не казались дряхлыми. Однако комната наполнилась таким несусветным кряхтением, что Друскин оторопел: не в богадельню ли он попал и те ли приехали, кто был нужен ему. Нет, те приехали, те самые, силу власти которых он хорошо знал, как знал и то, что кряхтеть они могут лишь от жира и жадности... Притворство в немогущности сейчас развеселило исправника. Потому что он вовсе не собирался трясти их мешки с песцовыми шкурками или посягать на их неоглядные табуны. Шагая вдоль стола и ни с кем в отдельности не здороваясь, Друскин тем более развеселился, что вид у этих важных гостей был воистину уморительный. Белая, расшитая цветами рубаха – на косматом седом старике с огромным скуластым и почти чёрным лицом; другой – в шубейке, из-под которой торчат ноги в холщовых штанах, будто в подштанниках, – раздеться-то

надо, но в шубейке серебро, а может, и золотишко; третий – в японском кителе времён Порт-Артура, а китель заправлен под меховые штаны – генерал; четвёртый, видно, ламут – в красивой национальной одежде, отделанной аппликациями, – будто принц среди ряженных. Как же: собирались в гости к царскому помощнику...

О, не вспомнил в эту минуту Друскин о простых бедных людях, не представил себе, как бы они выглядели, если б разделись в гостях! А вспомнил бы, так не развеселился. Потому что таким людям и раздеться-ся-то нельзя: у многих под верхней одеждой совсем нет ничего...

Впрочем, исправнику сейчас было не до одежды. Развеселился он случайно. И бодрым был по необходимости.

Тундровики немо следили за каждым его движением. Вот он подошёл к иконе, освещённой в углу самодельной лампадкой, вот начал креститься... Но в это время в сенях послышался шум – и в комнату стали дружно входить среднеколымские богачи и чиновники. Сразу стало тесно, как на камлании. Русские начали раздеваться и вешать шинели и шубы на гвозди, вбитые в стенку.

– Прошу всех садиться, – сказал Друскин, подходя к дальнему концу стола, где возвышалась спинка особенного, резного стула.

Русские господа начали дружно усаживаться в один ряд на табуретки, собранные по разным домам. И приехавшие сообразили, что им тоже надо садиться в один ряд. Но это опять было хитростью русских: разве осмелишься не соглашаться, возражать, если вся царская власть упрётся в тебя глазами? Но, опять же, что делать – пришлось усаживаться на эти высокие табуретки. Они уселись – и вдруг почувствовали, что и их, властителей тундр, тоже много, что они тоже сила. Продолжая дымить трубками, они начали смело разглядывать лица хозяев, большинство из которых они или плохо знали, или сроду не видели. Только что могли бы разглядеть и разгадать далее сильные шаманы, если лица русских сплошь заросли шерстью, как осенние холмы тальником...

Из открывшейся боковой двери вышли стряпухи – они несли огромные железные противни с горячим мясом.

Исправник налил себе водки. Все остальные русские приподнялись и взялись за бутылки. Водка зажурчала, как вода в протоке. А когда рюмки были наполнены, исправник встал.

– Друзья, – сказал он, – я очень рад, что, несмотря на непогоду, вы все отправились в путь и приехали на Колыму. А пуще того я рад, что вы приехали не по одному, а все сразу: это значит, что вы крепко дружите и понимаете силу дружбы. Но вот вы тут, а на сердце у вас, кажись, обида. Мы вас не встретили на дороге и вроде бы почестей не оказали. Но погодите-ка обижаться. Мы тоже зря ничего не делаем. Это я не велел вас встречать. Не велел, царской властью распорядился. А почему? По той причине, что почести разделяют нас. Вы вовсе не гости. Вы – хозяева. Средний острог – такой же ваш острог, как и русский. Вы приехали к себе, как брат приезжает к брату... Мы, здешние чиновники, русские господа, порешили жить с вами по-новому, дружить с вами, как дружите вы между собой... Всё ли я говорю понятно? Не сподобил меня господь бог узнать и заучить хоть один ваш язык. Переведите друг другу, кто как понял меня.

Гости стали дружно переговариваться. Их лица ожили. Слова ис-

правника были совсем неожиданными, удивительными и как будто хорошими. Только очень скоро глаза северян опять сузились, и дым от трубок опять скрыл их лица. Исправник-то не по-людски, не по порядку говорит, и не по-шамански. По-царски он начал – с конца: они порешили... А на каких условиях?

Тем временем из сенец, обманув казака, выскочил маленький, вёрткий, косоплечий мужичок в обшарпанной дошке. Казак было метнулся за мужичком, но тот быстро шагал прямоком к исправнику, кланяясь направо и налево.

– Драссе, вашеглородие! Драссе, господа! – весело, по-русски говорил он.

Это был Потонча, или, по-иному, Васька Попов.

– А-а, старый лис появился! – сказал Друскин, косясь на этого человечка, известного каждому богачу тундры. – Зачем в рваньё-то пришёл? А ну раздевайся иди. Под дверью стоял, подслушивал.

– Ке-ке-ке, – прохохотал по-козлиному Потонча. – Переводить пришёл. Без меня, вашеглородие, ваши слова с изнанки поймут. А их надо понимать тощц-в-тощц.

– Молодых девок обманывай, а не нас. Барыши вынюхивать наводстрился – так и скажи...

Прозевавший казак громко обшаривал сенцы и двигал туда-сюда железный засов, чертыхаясь. Когда Потонча разделся, исправник Друскин смягчился.

– Иди-ка сюда, – сказал он, – и переводи господам... тощ-в-тощ. А своё будешь болтать – прогоню... Господа, с сего дня давайте заведём правило съезжаться по-дружески и по-свойски – или вы сюда, или мы в тундру. Посидим вот так, потолкуем о жизни, да и дела совместно решим. Чего это мы, право слово, всё врозь и врозь! Аль у нас земля не одна, аль понятия не одни? Живи не живи врозь, а друг без дружки-то мы не обходимся. Оно куда сподручнее – в дружбе-то... в семейственной простоте... А теперь я хочу познакомить всех вас. Да с того и начнём. Вот по правую руку сидят мои помощники и друзья – богатые люди острога...

Исправник принялся называть каждого русского по фамилии, имени, отчеству. Тот, которого он называл, поднимался с ленивой важностью, наклонял голову – кланялся. Церемония эта на северян произвела неожиданно острое впечатление. Одни с большим усилием сдерживали улыбку: это зачем же друг перед другом вытягиваться и сгибать шею – вроде гусыни-наседки перед вороной! Другие цокали языками или раскрывали рты: для чего же одному человеку иметь столько имён, да ещё таких длинных? Чукчи, впрочем, были восхищены и приговаривали:

– Какомэй!⁸⁶

Юкагиры не скрывали удивления:

– Тэт монтаёк!⁸⁷

– Сёп-сёп...⁸⁸ – задумчиво приговаривали якуты: для них звучание имени сложными путями объясняло нрав человека.

⁸⁶ Какомэй – возглас удивления.

⁸⁷ Тэт монтаёк – ну и скажешь!

⁸⁸ Сёп-сёп – возглас одобрения.

– О-он игил⁸⁹, – соглашались ламуты.

– А теперь я представляю друзей наших, живущих в тундре, – сказал исправник, перебрав весь правый ряд. – Рекомендую: известный чукотский богач, влиятельный шаман, бывший голова восточных чукчей Кака.

По примеру важных русских бородачей Кака лениво поднялся и поклонился. Но поклонился не прямо перед собой и не в разные стороны, а только исправнику, явно стремясь показать ему всё лицо, половина которого была изрисована татуировкой. Мол, печать головы ты мог у меня отнять, а вот эту, шаманскую печать отнять бессилие. Друскин понял его – и для уверения в своих добрых чувствах похлопал Каку по плечу. Однако это совсем не понравилось строптивому чукче – он передёрнул плечами: человек ведь не олень, чтобы его похлопывать.

Смелость шамана вдохновила богачей тундры. В самом деле – чего это они так напряглись, так оробели! Табуны-то у них, а не у русских, мясо, шкуры и шкурки у них, рыба, клыки водяной коровы, жир, моржовая кожа – у них, всё у них. И что бы там ни случилось у русских, а всё окончится этим – деловыми переговорами...

Исправник тем временем уже указывал на другого гостя:

– Владелец двух табунов, ламутский богач и ламутский голова Константин Татаев!

Пожилой ламут, которому как раз бы и надо поважничать, вдруг вскочил, кивнул головой и моментально сел. Как зверёк, вынырнувший из норы и тут же скрывшийся в ней: не поймёшь, выскакивал он или это лишь померещилось. Он открыто снасмешничал, и это поняли все. Однако исправник, будто ничего не заметив, бодро продолжил своё:

– Владелец трёх табунов, чукотский богач Тинальгин! Мой друг.

Чукча-старик закричал, медленно приподнялся и, не поклонившись, сел. Мол, недоставало ещё, чтобы старый человек кивал головой, как лошадь. Впрочем, он и другое имел в виду: никаким особым другом Тинальгин исправнику не был, и вообще ему никакие друзья не нужны, потому что он слишком богат...

– Владелец трёх табунов, юкагирский богач Пётр Курилов!

Старик Петрдэ лишь приподнял над скамейкой зад. Этот тоже давно решил, что почести не обходятся даром. А у него ведь три табуна, значит, и стребуют с него больше, чем с Каки или с Татаева. Лучше уж сразу дать понять Друскину, что разговор с ним будет тяжёлый...

– Владелец табуна чукотский богач Оммай! Мой будущий друг.

Оммай очень боялся, что его не назовут – у него ведь только один табун. Но исправник назвал. Но как только назвал – всё сразу в нём переменялось. Будто чёрт подтолкнул его: он вскочил с табуретки, отошёл назад, поклонился не один раз, а несколько – и замер на месте, как кол в сугробе. Русские господа стали кивать головами, одобряя такую почтительность. Но Оммай продолжал стоять, улыбаясь во всё лицо, – и русские начали прятать глаза. Дурачится он или задумал вывести из себя исправника?

– Молодой богач из Восточной тундры – Ниникай! – поспешил объявить Друскин, не обращая больше внимания на Оммая.

⁸⁹ О-он игил – ну и ну.

Ниникай не пошевелился. Как будто не слышал. Исправник подался вперёд, ожидая хоть какого-нибудь движения молодого чукчи. И дождался: Ниникай откинул рукой длинную чёлку с глаз и уставился прямо перед собой в обледеневшее, начавшее оттаивать окно.

Это уже было вызовом. Исправник переменился, быстро заморгал и начал крутить головой.

– Я, господа, вижу, что такое знакомство не очень нравится вам, – заговорил он другим, растерянным голосом. – Но у нас принято так... И я полагаю... Хорошо, прекратим.

И Друскин быстро перечислил всех остальных богачей тундры.

– Вот Афанасия Курилова я не найду, – наконец произнёс он. – Дым мешает. Или он не приехал? Господин Курилов!.. Огорчительно это.

В действительности Друскин давно заметил, что головы юкагиров нет. А он был очень нужен ему. Перед якутами и чукчами исправник, однако, не мог выявлять беспокойства: для них невозмутимость – высшее достоинство человека. И он терпел до последнего.

Потонча, одетый в русскую ярко-зелёную косоворотку, завертелся, засуетился возле него.

– Э! Э! Вашеггородие, зачем так волнуетесь сильно? Здесь Куриль, здесь. Олени его сено жуют. Наверно, с Петрдэ вместе приехал. К знакомым, однако, ушёл.

Конечно, Куриль был здесь. И никуда уходить он вовсе не собирался. Напротив, приехав, он сразу же юркнул на кухню и всё это время стоял за дверью, ожидая, когда исправник выдаст своё беспокойство. Общим стряпухам за молчание он обещал привезти по хорошей оленьей шкуре.

– Здесь я, вот он я! Конечно, приехал! – вышел Куриль из засады. – Дорова, исправник, дорова!

Друскин шагнул ему навстречу.

Они крепко обнялись – и так, обнявшись, долго похлопывали друг друга ладонями по спинам.

– Ну, слава богу. Где же ты запропастился?

– У головы дел не меньше, чем у исправника...

– Да, да, да, ты прав, мой дорогой, прав. Но я знал, что ты бросишь всё, а приедешь. – Друскин повёл юкагира к своему, главному за столом, месту. – Мы с тобой, Афанасий Ильич, вместе царю служим, и неплохо служим! И нам сам Христос велел божьи да царские праздники встречать вместе.

На лысом упитанном Куриле был ослепительно белый вязаный свитер – и на этом свитере, как раз против сердца, блестела на яркой ленте царская медаль из чистого серебра.

– Рекомендую вам, господа, – радостно произнёс исправник. – Юкагирский голова, самый богатый и всеми почитаемый человек тундры – Афанасий Ильич Курилов! Оленей у него не меньше, чем у господина Чайгуургина, у него и песцы, и лучшая рыба, и вся юкагирская земля! Будьте знакомы...

С лицом, сияющим, как медаль, до конца удовлетворённый почестями, голова юкагиров направился вдоль ряда чиновников и местных господ. Высокий лоб Куриля переходил в почтенную лысину, белый американский свитер, каких ни у кого не было, обтягивал полное, раздобревшее тело, да тут ещё медаль с изображением самого царя и

с надписью «За усердие». Перед таким человеком нельзя было важничать и по-гусиному вытягивать шею: чиновники и богачи вскакивали, кланялись неподдельно, а те, к которым он ещё не подошёл, поправляли бороды, прихорашивались.

Богачи тундры наблюдали за всем этим огорошенно, остолбенело. Друскин, хорошо знавший ледяную выдержку людей Крайнего Севера, замер и даже глаза выпучил от удивления, увидев их лица в эти минуты. У одних отвисли челюсти и оттого заострились скулы, у других чёрные глазки жалко, беспомощно бегали в щёлках, как испуганные мыши в глухих норках; эти властители тундр сейчас были истинными детьми природы, наяву попавшими в сказку. Куриль к царю приближен, а ведь царь – родной сын бога... Царскую награду Куриль получил недавно – меньше луны назад. Но один бог свидетель, сколько он пережил за эти дни – каких ему сил стоило промолчать, не похвастаться перед другом Мамаханом, чукотским головой Чайгуургином или дядей Петрдэ. Он, однако, прослышал об одной возможности показать себя – и терпел.

Чтобы голова юкагиров не показался особым избранником, чтоб восхищение не сменилось унынием, которого только и не хватало не встреченным и настороженным богачам, Друскин решил заговорить и поскорей подпоить тунгусов. Авось всё и наладится...

– Господа! – поднял он рюмку. – Народ говорит: «Царское око видит далёко». И это воистину так... Переводи хорошо, Потонча... Царь издаleка увидел усердие головы юкагирского. Но он наградил его не затем, чтобы отдалить от нас, а затем, чтобы приблизить нас к себе... Я, так же как и вы, награды ещё не имею. Давайте выпьем. За усердие в будущем. Усердие без внимания не останется. А у кого на груди царский подарок, того и бог по голове гладит. Переведи, Попов.

Он опрокинул в рот рюмку – и, к удивлению тундровиков, не потянулся скорее за мясом или другой закуской, а только приложил к усам белый платок. Значит, исправник пьёт не только как все, но даже похлеще всех? Удивительно. И царь ему разрешает? Значит, пьёт и сам царь?

Все пьют! Водка налита. Пока задаром налита. Горькая вода смело-сти придаёт – может, разговор дальше пойдёт прямой?.. И тундровики выпили.

Все русские мясо едят с железного трезубца. Это, наверно, затем, чтобы не засалить одежду – она у них вся матерчатая. А зачем северянам трезубец? Шерсть и кожа от жира не пострадают. Как быть? Кое-кто взял мясо в руки и стал есть по-своему, иные же насадили куски на вилки.

– Наливайте, господа, сами, – сказал исправник. – Пейте и ешьте досыта.

«Ну, вроде оно и на лад пошло, – с облегчением подумал он. – Вот уж кстати-то Куриль появился...»

И только Друскин подумал об этом, как раздался голос, мгновенно настороживший всех:

– Исправник, гостям можно сказать?

Табачный дым над столом успел приподняться – он висел теперь плоской тяжёлой тучей, и Друскин легко заметил, что у говорящего нервно раздуваются ноздри.

– Конечно, конечно, господин Ниникай! – как можно ласковее ответил он. – Ради бога...

– Исправник, скажи: как дружба большая пойдёт? Обычай-закон шибко разный, однако. Ты нас посадил высоко – табуретка называется, знаю. Ничего, можно сидеть. Ты приедешь в ярангу – на пол сядешь. Опять ничего. Однако юкагир на могиле пляшет, русский плачет. Скажи: с чукчами как будет дружба – по чукотским законам или по русским?

Исправник давно уж не хмелел от одной рюмки, а тут стол со всей снедью перед ним закачался, закачались и гости, которые на самом деле замерли в напряжении. Это новый в здешних местах человек понял бы слова чукчи с девственным простодушием, а то и посчитал бы, что задан прямой и справедливый вопрос. Друскин же много лет жил на Колыме, он знал немало страшных, диких тунгусских законов – и на могилах действительно пляшут, и родителей-стариков душат арканом. Только сейчас чукча имел другое в виду – и это всем было ясно. О жёнах сказал. Дружить по-чукотски – значит не сомневаться, что жена друга-хозяина будет спать с гостем. О, Друскин хорошо знал заколдованный круг пререканий по этому поводу! Порвать такой круг можно одним только способом – назвав чукотский обычай дикарским... Но помрачение Друскин испытал не потому, что богатый, независимый и решительный чукча поставил его в тупик. Куда хуже, что из облаков всё грохнулось в лужу. Царь, долг, дружба больших людей – и вдруг ни с того ни с сего женщины и постель! Как в гусарском анекдоте... «Вот это дикарь... А может, и не дикарь? Социалист? Провокатор? Да нет: богат, и в тундре нет социалистов... Но он же сорвёт всё дело? Явно хочет сорвать...» – вот что металось в голове исправника.

А сорваться могло важное, очень важное дело. И, кажется, со скандалом. А слух о скандале быстро дойдёт до Иркутска; в Иркутске же – прямой телеграф...

Война... Четыре уж месяца грохочет неслыханная война – мировая... Даже здесь, в ледяной глухоте, за двенадцать тысяч вёрст, казачкам кажется, что по утрам они видят на западе дым, а по вечерам – зарева от пожаров... Но дело не только в войне. Перед Покровом пришла депеша: «На окраинах Российской Империи должно быть спокойствие». Это – царский указ. И среднеколымским властям пришлось зашевелиться. Неладно внутри государства, мутно в народе. В тундре, правда, спокойно – здесь резня в сто лет раз бывает, а простой люд богатых не грабит – дикари смирные: бедный богатому в рот смотрит, подачки ждёт не дожждётся – так с голоду и помрёт. Однако имущественный порог здесь опасно крутой, а Колыма – ссыльное место, под надзором управы – важные марксистские агитаторы, учёные-бунтари и просто бунтари. И уж кто-кто, а исправник-то понимал, что если война бьёт по марксистам, то марксисты тоже могут показать зубы – и это куда опаснее пугачёвщины... Словом, решено было сблизиться с местными богачами. Расчёт же самый простой: даст богатч всего по одному оленю на мужика – два-три десятка из своих пяти-шести тысяч – и любое стойбище уgomонится, любому недовольству конец. Кроме того, богачи с шаманами дружат, а шаманы – сила огромная. Только вот с богачами сблизиться трудно: невероятно далеки они от правды-действитель-

ности, многое не понимают, многое понимают по-своему, а об очень многом им и сказать нельзя. О войне они знают, но она представляется им резней, которая будто бы происходит из года в год между рыжими русскими и какими-то белоголовыми. А растолкуй правду – неизвестно чем это кончится. С испугу, из опасения, что царю будет нужно много оленей, попрячутся так, что не найдёт никакой посыльный. А уж о делах внутренних и заикаться нельзя. Даже намёк на правду будет воспринят с безрассудной прямолинейностью. Они широко не раскроют свои узкие от вечной спячки глаза – не захотят понять, что им на всякий случай непременно надо спрятаться за более сильные спины. Наоборот, они так сузят глаза, что уж и разговаривать будет не о чем. «Царь ваш не всемогущ? – язвительно скажут они. – Бог не всемогущ? А сами вы под страхом живёте? Нас, выходит, обманывали?..»

Сейчас всё мутилось перед глазами исправника. Он понимал последствия. Провалится дело – его не высмеют, а отстранят. А с репутацией дундука, которого одурачили дикари, не в Петроград же направят – на фронт!..

Друскин видел перед собой только одно лицо – лицо Ниникая. Смуглый, лет сорока, совсем не скуластый, нос почти не расплюснут – отпрыск вековых богачей. Но главное – блеск глаз из-под чёлки волос. Блеск еле заметный, но Друскин чувствует нутром: крутая ненависть в этих глазах. Ниникай ждёт ответа. Он знает, куда бросил камень и что сделает дальше... «Кто он? Дикий смутьян? Или националист?.. Проверим, – мелькает в голове Друскина. – Вот тебе и спокойная тундра...»

А пока исправник пребывал в полной растерянности, ещё более страшное чувство испытывал голова юкагиров, сидевший рядом, за уголком стола. Куриль только что был возле бога, в облаках славы, а сейчас вся его лысина покрылась каплями пота – его будто сдавила и выжимала огромная пятерня. Как и другие приезжие, он не знал смысла вызова сразу всех больших богачей, и вообще он не знал очень много, но он острее других чувствовал, что у царских властей рушится какое-то особенно важное дело, а главное – рушится со скандалом. Вот близость скандала и привела его в отчаяние. После провала пира Друскин станет злее осенней медведицы – и тогда придётся стареющему Курилю ни с чем, сгорбившись, ехать обратно, в чёрную тундру. А дело, с которым он прибыл и которое после получения царской награды казалось благословенным, было делом всей его жизни...

Решение выручить Друскина, отвести беду и беды, родилось сразу, с первыми словами Ниникая, настроение ума которого он знал лучше всех. Самому выбросить бывшего друга, как рыбу – из воды на лёд, – он не мог: Ниникай чувствует поддержку, да и ещё неизвестно, какую плату русские предложат за дружбу. Подсказать бы Друскину! Нет, невозможно – сразу поймут... Но положение невыносимое.

– Потонча! – обернулся назад Куриль. – Утирку носи с кухни и кружку воды...

И когда взгляды гостей невольно перескочили на ярко-зелёную козоворотку Попова, метнувшегося к двери, исправник услышал несколько слов:

– Мастью крой – в глаз попадёшь.

Бежал от чукчей... Господи, твоя воля! Да как же Друскин забыл

историю с Ниникаем! А всё из-за уверенности, что в тундре спокойно... Это было спасением.

– Господа, – тихо и даже лениво заговорил исправник. – Я тут задумался: выдавать себя или не выдавать. Вы все меня плохо знаете. А я, между прочим, умею говорить не только благородным (Куриль перевёл – царским) языком. Умею и по-казацки, и по-мужицки, и по-тюремному. Служба такая... Господин Ниникай, у тебя должна быть ещё не старая и красивая жена. Я говорю точно? И она у тебя одна. Так вот: примешь вскорости по чукотским законам одного моего друга? А?

Ниникай выпрямился и убрал рукой чёлку с глаз.

– Царский слуга пойдёт на грех? – спросил он с ухмылкой. – А бог Христ?

– О, да ты, я вижу, православие знаешь! Похвально... Но ведь грешат люди! Грешат... А тут оправдание будет: бог на дружбу благословил, бог и простить должен. А?

И ещё оправдание: законы-обычаи уважать надо – куда денешься? Грех-то уж больно... сладкий...

Исправник неожиданно громко захохотал – даже голову откинул за высокую спинку стула. Смех этот был понят по-разному: русскими – как разрядка после тяжкой минуты и ещё как искреннее удовольствие от смачного разговора, чем он обычно грешил от великой скуки, а богачи-инородцы – как смех победителя, который считается лишь с самим собой. Северяне умеют уважать победителя, но не всякого. Исправник, наверно, должен многое знать о каждом из них. Но зачем хвастать этим, зачем на таком пиру говорить, у кого какая жена и кто как относится к женщинам! Выходит, сиди и молчи, а то из-под одеяла вытащит? А тем же ответить и нельзя, и невозможно, и никому не захочется. Хуже того – в кругу мужчин вообще говорить о женщинах не положено, презрительны разговоры такие на Севере, а он обрадовался! Баламут Ниникай нарочно же подтолкнул его – это понял бы даже мальчишка. Что, у русских иначе? Не может быть. Раз пригласил в гости – значит, и уважать надо гостей... А как будет с обычаями – он не ответил: Ниникай отрёкся от чукотских обычаев. А если б спросил кто другой?

Друскин между тем опрокинул в рот ещё одну рюмку, что-то снял с вилки зубами и, дожёвывая, сказал Ниникаю:

– Ладно, не поедет к тебе чиновник. Не бойся за свою жену-красавицу. Это я пошутил. Но позволь узнать: я, может, неверно понял тебя? Сам ты живёшь по-христиански. Зачем же спрашиваешь? Тебя все чукотские богачи просили об этом?

– Богатый человек – сильный человек, живёт один, спрашивает один, – ответил Ниникай.

– Ага, тогда выходит, что ты воюешь с обычаями и хочешь меня на помощь позвать?

– Есть большая дружба, нет большая дружба – обычай одинаково будет. Исправник не победит, – возразил чукча. – Скажи, как большая дружба пойдёт?

– Тьфу! Опять за рыбу деньги, за шкурку порох, – буркнул исправник, а про себя решил: «Или помешался на бабах, или срывает дело».

Чиновники выразительно глядели на Друскина: сдержись, мол, Пантелей, договаривались же, переведи на шутку, подумай о других обы-

чаях – не о чукотских... Богачи же туземцы сидели как истуканы, будто происходящее их и впрямь не касалось. Куриль сидел, опустив голову.

«Ладно, – сказал себе Друскин, – сдержимся ещё один раз. А там поглядим...»

– Господин Ниникай, ты видел мою жену? – спросил он. – Не видел. А попадью? Это же по три чукотских жены в каждой. В двери не пролезают. Я буду в гости звать богачей-стариков. Понял меня? А про молодых чукчей я расскажу тебе один случай...

И обозлённый исправник, упёршийся в один чукотский обычай, как дышлом в ворота, начал рассказывать, как в Нижнем остроге русская баба выгнала на мороз и гостя-чукчу, и мужа, который успел воспользоваться гостеприимством, оказавшись в стойбище. При этом Друскин не подбирал замену выражениям, чтобы все остальные осерчали на Ниникая. Но Куриль сперва всё переиначивал, а потом замолчал.

– Что, Афанасий, не переводишь?

– Я тут не все слова знаю, однако, – ответил Куриль и посоветовал: – Не надо говорить дальше.

– Но он вынуждает меня!

– Иносказательно надо. И очень мало. О женщинах – плохо нашим.

– Но ты сказал: крой тем же...

– Иносказательно надо, – упёрся потухший Куриль. – Ниникай так говорит – не прямо.

– Провокатор твой Ниникай! – сквозь зубы сказал исправник.

– Слово такое не знаю. Ругаешь – не надо. О делах говори – лучше пойдёт?

Но было поздно: двое богачей встали и молча направились к выходу, встал и третий, красноречиво ощупывая завязку штанов. Русские чиновники и богачи в замешательстве прятали глаза. И Друскин понял, что влип, что его одурачили. «...И никто не набросился на этого чукчу, даже старики не окоротили. Выходит, поддерживали. – Друскин оборвал рассказ и пытался собраться с мыслями. – Но ведь они не знают, зачем их созвали. А потому не верят в добро, что мысли у всех одинаковые и короткие, как козьи хвосты: не потребовал бы я оленей. Но злой-то я больше потребую, если бы нужно было! Не пойму... А может, хотят бой дать – мол, мы хозяева здесь, а не вы?..»

Размышления эти сменились другими, идущими уже от чувств и чести. Дикари оказались благородными, а он – пошляком. Но вот они сидят перед ним, эти благочестивые – косматые, желтозубые, живут у озёр и рек, а сроду не мылись, едят – чавкают, как медведи... Взгляд исправника остановился на ближнем из них – чукотском богаче-шамане. Кака заметил взгляд – и немедленно стал дёргать плечами и строить рожи. Половина лица его – в татуировке, глаз на этой же стороне с жёлтым бельмом, две грязные косы, как у старой спившейся бабы, а в волосах вши, конечно. Дышит это чучело – и из-под воротника вырывается вонь... Омерзение насквозь прострелило Друскина. Как он ненавидел всех их!..

Но надо было спасать положение. Он встал и направился к своим богачам. Ему тут же уступили место, и он сел напротив чукотского богача Тинальгина и юкагирского – Петрдэ. Сзади него уже стоял Потонча с полотенцем на шее. Потащил сюда же табуретку и очень грустный Куриль.

– Русские говорят: лиха беда – начало, – сказал старикам Друскин. – Но есть и ещё примета: если дружба началась с неприятности, то это будет крепкая дружба... Мы не понимаем друг друга. И тут Ниникай прав – обычаи, порядки, привычки много таят неприятностей. Но надо же как-то начать! Никаких плохих намерений у нас нет, ей-богу. Вместе живём – почему не дружить?..

Исправник знал, что Куриль переводит сейчас очень точно – он тоже переживает, но в ответ – ни слова, ни кивка, ни движения бровей или глаз, ничего, что свидетельствовало бы о том, что его понимают или совсем не понимают. И он озадаченно замолчал. А дело было в том, что оба старика, как и их соседи, совершенно обомлели от близости царского помощника. Начальник уездной полиции был при полном параде – в мундире, который ему приходилось надевать раз в год, а то и реже, в ремнях и с наганом. Они не знали, куда смотреть – в одни светлые, втягивающие глаза с тяжело обвисшей под ними кожей, или на всё красноватое, словно от натуги, лицо со стрелками усов и ровно обстриженной, подскобленной бородой, или на поразительно ладный пиджак с блестящими пуговками и украшениями на плечах, с твёрдым стоячим воротником, который, наверно, для того так сделан, чтобы все знали, что он никому не должен кланяться. А ещё притягивал взгляд кожаный коробок на левом боку – неужели и впрямь у исправника есть «маленькое ружьё», которое можно спрятать в кулак?.. Этот властный человек из нездешнего мира, конечно, понимает, что пир начался плохо, не весело, не по-дружески, и что бы сейчас ни говорил он, для одних, ошарашенных близостью к нему, это вообще не имело значения, а для остальных было пустыми обманчивыми словами: он укушен и зол, и правду скажет лишь завтра, когда всё обдумает со своими помощниками...

Никто с исправником в разговор не вступал – и уже ничего ему не оставалось, как спросить:

– ...Но, может быть, у кого есть ко мне личные дела – просьбы, жалобы, советы? Давайте, скажите, а то я скоро уйду.

Были у тундровиков и жалобы, и просьбы, но кто ж это станет высказывать их, когда хозяин главное утаил? И тогда раздался голос Потончи – Васьки Попова:

– Вашеглорodie, э-э... мне нынче далеко, шибко далеко ездить приходится – по тайге, Индигирке был, все тундра объехал.

– Ну и что?

– Обратно о русском шамане болтают. Чери, говорят, землю верёвкой мерил; духом стал – следы свои видит, что хочет делает, наших духов обои лопатки кладёт.

– Так... – повернулся к Потонче Друскин. – И от кого ж эти слухи идут?

– От Каки! Барыш Кака получает, он и пускает слухи. Его келе защищают людей от духа Чери, келе шибко трудно, шаману трудно – большую плату давай.

– Та-ак... – выпрямил спину исправник и обвёл всех гостей каким-то иным, кажется, свирепым взглядом. – Ты, Афанасий, всё перевёл точно?

– Совсем точно! – воскликнул вдруг оживший Куриль.

– Тогда так же, точно и внятно переводи меня... Господа гости! Что же это происходит такое? Мы к вам – с дружбой, чтоб и вам была польза, и нам, а среди вас есть люди, которые в народе вражду против нас

разжигают. Значит, царь воюет, русские люди кровь льют, а за спиной царя-защитника влиятельный духовник вредит ему? А ну, Кака, ответь: так это или нет?

Но шаман Кака и не собирался отвечать. Он быстро махал перед своим лицом руками, будто ловил рассвирепевших комаров, и подпрыгивал на табуретке – шаманил.

– Не отвечаешь. Потонча, стало быть, правду сказал?.. Не знаю, как у вас называется это и что вы с таким человеком делаете, но мы за это в военное время расстреливаем!.. Вот крест святой. – Исправник повернулся к иконе и перекрестился. – Я собирался говорить вам только хорошие слова. Но раз дело такое, то буду говорить другим языком. Я тебе, Кака, пулю влеплю в лоб! Пулю. Я не потерплю...

Друскин встал и зашагал к своему месту. Побежали за ним и Куриль с Потончей.

– Объясни господам, Афанасий: дух русского человека летит к богу. И потому он не может гоняться по тундре за шаманскими духами. Это глупая и злая брехня. И скажи ещё: не был Черский шаманом, не был злым человеком, а тундру мерил по приказу царя. Имя господина Черского неприкосновенно! И за всякую прочую брехню я буду привозить сюда, в острог, сечь шомполами и сажать в тюрьму. Я не потерплю...

Друскин сел, плеснул в рюмку водки, рывком опрокинул её в рот и, не поморщившись, решительно уставился вдоль стола.

Наступило молчание. Русские, как один, сидели потупившись, перекладывая вилки с места на место или поглаживая на столе холстину. Сорвался-таки исправник! Может, стоило кому-то другому поручить вести этот пир? А может, Друскин прав?

И северяне упёрлись глазами в стол, будто быки-олени в землю рогами. Ужасные вещи сказал исправник. В тундре бывает жестокая месть, наказывают при людях. Но чтобы стрелять в человека, как в зверя, да ещё в лоб – это неслыханно. И в то же время кому не известно, что нынче люди почему-то ожесточились. Помощника царя можно понять: он знает, что шаманы часто толкали людей к вражде, а иногда и к резне. А что Кака негодяй, об этом все знают, хотя говорить о нём так одни боятся, другие не считают нужным: какое их дело?.. Исправник же не шибко богачей прижимает, да и вообще русские люди не такие, чтоб резать их...

Но совсем по-иному переживали случившееся голова юкагиров и хитрейший купчик Попов-Потонча.

Куриль словно воскрес. То, что у русских сорвалось какое-то важное дело, его сейчас не расстраивало: он понимал, что исправник своего добьётся – силой, угрозой, принуждением. Но случилось другое, самое непредвиденное: все слышали – шаману Каке исправник хочет пулю пустить в лоб. «Не пустит, однако, – думал Куриль, – простит – и на том выпустит. Но пригрозил! А это значит, что чешутся у него руки прижать шаманов...» Для Куриля это было важнее всего на свете...

А у Потончи – своё дело.

– Исправник, – сказал он Друскину на ухо, – стрелять Каку сразу не надо, наверно. Приставь лучше меня к нему: всё буду знать, всё тощ-в-тощ.

– Как я тебя приставлю к нему? – огрызнулся Друскин.

– А пусть Кака откроет мне Халарчу. Буду по купецким делам часто ездить – вся-а его болтовня будет на твоём ухе. Халарчу откроет – в Олерскую сам. Он на юкагиров мимо Куриля сильно влияет. Улуро тоже закрыто, считай. Везде на дороге стоит. А я эту рубаху в карту выиграл, больше нету, холстине ходил. Дороги нету – и дела нету, и жисти нету...

– Постой! – окоротил его Друскин. – Балаболка. Чьи возишь товары? Американские? Томпсону служишь?

– Кто как приспособился. Я к Тому. А что?

– А то, что ты сукин сын. И осмелился появиться тут, чтоб я тебя коммерцией обеспечил? Ну, я тебя сейчас обеспечу... Господа, – громко сказал он, и Куриль тотчас начал переводить. – Вот вам ещё одно весёлое дело. Вы думаете, кто возле меня отирается? Вот этот хлюст – кто? Нехристь и негодай. Сейчас он пожаловался на Каку – дороги ему перекрыл Кака, не позволяет для американца скупать задарма пушнину. А мне он предложение сделал: за то, что он раскрыл вредную болтовню шамана, я должен разрешить ему грабить тундру. А? Вот как крупно играет! Ну, теперь мой ход, господин Попов... Сперва скажу так: меня сюда царь прислал не за чёрными барышами, грабить Россию я не позволю, а грабёж в военное время буду считать разбоем...

– В-ваше... глородие...

– Молчать!.. Если бы шаман Кака не провинился так крупно, то я бы ему крест у царя выхлопотал. За то, что разбой пресёк. А ты, Потонча, в солдаты пойдёшь! Ать-два, ать-два – будешь шагать. – Исправник показал пальцами на столе, как он будет маршировать.

– Вашеглородие, ваше... – Потонча бросился к Курилю и по-юкагирски взмолился: – Афоня, спаси.

– Откупайся, как можешь, дурак, – пробурчал Куриль.

И Потонча грохнулся на колени перед исправником. – Каке, врагу Христа, – крест от царя, а меня на пули, на смерть, умом слабого, дурака перед богом... Не отправляй меня на войну – старый я, ружьё ваше не подниму, а тут я тебе пригожусь, крути мной задаром....

– Встань, сей момент встань! – зарычал Друскин.

– Встану... Зачем ты меня, как собаку? Я с душой к тебе ехал... – И Потонча зашептал исправнику в ухо: – Подарок привёз – пятнадцать шкурок. Сам сушил, сам чистил. Когда занести?

Исправник не ответил ему. Он вдруг встал и пощёлкал пальцами в воздухе, давая знать казаку, что пора одеваться.

– Я обязан, господа, вернуться к служебным делам, – сказал он. – С вами я увижусь ещё завтра, с утра, и поэтому прошу никому не отлучаться. Советую также не посещать знакомых, ибо русские в этот раз Рождество проводят в молитвах. Тут, в заезжем доме, всё есть – еда, питьё, табак, огонь... Перед уходом вот что скажу. В день Рождества Христова я не могу быть жестоким и обязан проявить милость. Кака, тебе говорю: не балуй! Второго прощения не будет. Тебя, Ниникай, жду в гости... Американца Томпсона процентов на двадцать обложу пошлиной – поглядим, кто теперь к нему приспособится. А ты, Потонча, искупишь вину: хоть сытый, хоть голодный, но объездишь все стойбища, где есть шаманы и где пахнет болтовнёй о Черском, и скажешь, что вражду против царских людей я пресеку без пощады. Повторишь всё, что я тут говорил.

– А про пулю, вашеглорodie, можно сказать? – спросил Потонча, дрожа от радости, как мокрый щенок на морозе.

– Да, и обязательно. Зло надо под корень, а корень – Кака... Всё! Пейте и ешьте вволю. И обдумайте, что здесь нынче случилось. Я тоже обдумую...

Надеясь с помощью казака шубу, исправник тихо сказал Курилю:

– Ты здесь шибко не пей. Немного побудь и иди к отцу Леониду. Разговор будет.

– Гок! – с великой радостью воскликнул Куриль. Уже на крыльце Друскин сказал казакам:

– Чтoб никто из сыльных носа сюда не сунул! Приезжих напоить до беспамятства. И никто уехать не должен и шагу из этого дома не должен сделать.

ГЛАВА 2

Когда Куриль появился в доме отца Леонида, тут уже всё было готово к хорошему позднему ужину. Поп вернулся из церкви и сидел, привалившись спиной к горячей печи. Исправник, расстегнув ворот мундира, ходил туда и сюда по тряпичному половику, а попадьё, скрестив руки на животе, стояла в дверях – стол она уже заставила всем, чем нужно. Со священником Синявиным Афанасий Куриль был хорошо знаком. А вот попадьё увидел впервые. Увидел – и оторопел. Такой огромной и толстой женщины ему не приходилось встречать за всю свою жизнь.

Бухнувшись на колени прямо возле порога, юкагирский голова помолится на украшенный полотенцем и бумажными цветами образ матери с младенцем на руках, потом, встав, поклонился попадьё и быстро снял обе кулашки. Он прошёл в жаркую полутёмную горницу. Здесь в дальнем углу перед образами тихо горели свечи и жирник на тонких цепочках – лампада; свет торжественно отражался в позлащённых окладах икон, но огоньки колебались – колебались и золотые сияния – и потому казалось, что там, в углу, совершается великое, непостижимое таинство... В комнате благостно пахло горящим воском, ладаном и ещё сытным печёным тестом, замешанным на коровьем масле. От всего этого у Куриля захватило дыхание. Он моментально и в который уж раз за свою жизнь представил себе, что произойдёт в тундре, если там появится церковь и в жилищах засверкают иконы. К старости во сне и наяву он бредил теми светлыми днями, когда не будет слышно диких криков шаманов и люди поймут, что без бога Христа они жили не в «среднем мире», а в «нижнем» – чёрном и страшном. Сейчас в тундре всё так же, как было пятьдесят снегов назад, – мрак, грязь, холод и страх перед духами... И упал Куриль второй раз на колени, но уже не для порядка, как было в передней, – сама душа потребовала упасть, унизиться перед чем-то великим и чистым, чтобы приобщиться к нему...

– Голубушка, принеси керосиновый свет. А мы поздороваемся да сразу и сядем попотчеваться, – ласково распорядился отец Леонид. – Здравствуй, сын божий, здравствуй, мой брат! Как дальний путь-то проехал, как жена, как дети, как родственники?

– С рождением бога Христа! – поздравил Куриль попа.

– С Рождеством Христовым, – ответил отец.

– Всё хорошо, всё хорошо...

Настроение у Куриля действительно было хорошим. Правда, плохо, что исправник душит Томпсона: теперь американец повысит цены. Но он с Потончей придумает что-нибудь. Большая война, большие трудности у царя, но не вымирать же юкагирскому роду!.. Ну, а в остальном всё повернулось как нельзя лучше. Друскин зол на шаманов, а тут ещё Потонча так кстати столкнул его с Какой. И даже выходка Ниникая пошла Курилю на пользу: не случись этого, исправник наверняка не пригласил бы его вот на такой тайный совет...

– ...В семье-то хорошо, а в тундре неладно, – ответил Куриль, надеясь вмастить исправнику и хозяину, который, конечно, всё уже знает.

– Ты что имеешь в виду, Афанасий? – остановился Друскин.

– А лицо шамана Каки? Думаю, о многом оно говорит.

– А-а... – разочарованно протянул Друскин. – Шаманы, шаманство... Ладно, об этом потом...

Куриль настороженно сник: русских, видно, больше волнуют свои дела...

Тем временем попадья принесла лампу, и отец Леонид указал рукою на стол:

– Отведаем, что бог послал...

Сели. И попадья села. Без промедления она разлила водку, потом стала раскладывать кушанья по тарелкам.

Куриль смотрел на неё незаметно, как умеют смотреть одни северяне, и хотя мысли его вертелись вокруг больших дел, на ум само собой пришло размышление: «Мукой питается и молоком. Потому растолстела – руки-то пухлые, как у ребёнка маленького. Однако грузная очень – это, наверное, потому, что часто ест колымскую нельму...».

– Ну, за что, отец Леонид, выпьем нынче первую чарку? – спросил хозяина Друскин.

– За что... – повторил поп и глубоко, как-то тревожно вздохнул. – За то, наверное, за что ныне пьёт вся Расея. За дела ратные царя нашего батюшки – пусть помогает ему Христос, за солдатушек наших, за кровушку ихнюю – пусть бог облегчит их тяготы и страдания, за правду нашу, за правду Христову...

Рука Куриля с полным гранёным стаканчиком опустилась на стол.

– Что? У вас правда шибко печально? – спросил он озабоченно.

Друскин сделал выдержку, глянул осуждающе на Куриля и сказал попу:

– Вот я ж и говорю, отче: у нас в тундре – спокойствие и благодать! У них свои дела, а у нас – свои...

– Ну, полноте, Пантелей Пантелеич. Может, они слышали, да не взяли в толк, – возразил священник.

– Не хочешь, так не возмьёшь. – Исправник, однако, поставил стакан, решив тут же проверить, кто прав. – Ты о войне, Афанасий, слышал?

– Зачем спрашиваешь? Конечно, слышал. С начала зимы, однако, больше говорили, а теперь чтой-то не говорят...

– А чего ж не забеспокоился, не спросил – что на войне?

– Э-э... Жизнь разная. Как спрошу, что пойму?

– Значит, о самой войне ты понятия не имеешь? – рассердился Дру-

скин. – Что понимать? Люди в людей стреляют! Тысячи, много тысяч людей стреляют друг в друга.

– Из ружей? Однако, для страха больше? Но видно, что попадают?

– Из ружей! Для страха... – передразнил Друскин. – Да, я чую, отец Леонид прав: темнота... Что, Афанасий, из ружей? В ружьё и палец не засунешь. А есть ружьё на колесах, пушкой называется, голову можно засунуть в ствол. Бахнут в дом – и нет дома.

– Ай-ай-ай! А как в людей попадут?

Друскин так и отпрянул назад. А у попадьи вздрогнули и мелко затряслись огромные груди; она чуть не прыснула, но подавила смех.

Но смеяться было не над чем. Исправник серьёзно сказал:

– Афоня, завтра батюшка тебе расскажет, что бывает с телом, а что – с душой, когда в человека попадает разрывная пуля величиной с мой сапог...

– Христос с тобой, Христос с тобой, Пантелей Пантелеич! – взмолил-ся поп, замахав рукой. – Моё дело – душа, только душа...

– Да я к тому говорю, что настало крутое время, а значит, и втолковывать надо круто. Тогда и понятие быстрее придёт.

– Не знаю, не знаю. Приобщение к истине терпения и усердия требует – я уже говорил. Крутость не по моей части.

– Вот побывал бы ты, Леонид, на вечеринке, так уж и не сомневался бы, что они только угрозу и понимают. Я их по-своему разбуджу.

– Но ты, помнится, сам говорил, что будить можно по-разному. Спящий шарахнуться может.

– А нынче я другое знаю. Раз шарахнутся, два шарахнутся, а на третий поймут, что они слишком долго спали.

– Ну вот если поймут, то и приспееет время писать царю от их имени. А так смысл письма будет ложный – это я прямо тебе говорю.

– Но от нас требуют дело сделать немедленно, а не за пять лет! А почему – ты не хуже меня знаешь...

Всё это было продолжением разговора исправника и попа, начало которого Куриль не застал. И в этих препирательствах они чуть не забыли о госте. И спохватились.

– Да, Афанасий: мы говорим о других – тебя это не касается. Ты умный человек, с понятием, ты наш друг. Конечно, сам видишь – многого ты не знаешь. Но ты, слава богу, не об одних драных олешках думаешь. Давайте выпьем, да я кое-что тебе расскажу.

Исправник и поп Синявин до дна опорожнили стаканчики и основательно принялись за еду, а Куриль отпил меньше половины: не за тем он пришёл.

– Так вот, Афанасий Ильич Курилов, какая она есть, правда о войне, о которой у вас в тундрах детские сказки рассказывают...

Голова юкагиров был среди богачей северян, наверное, самым подготовленным к восприятию этой правды человеком. Он чаще всех встречался с исправником, с попами и дьячками, с казаками и вольными русскими людьми – словом, считался очень наслышанным. Но то, что сейчас говорил сам исправник, причём тайно, да ещё в доме священника, было невероятным... Какая-то неизвестная земля Пруссия. Десятки тысяч мужчин, одетых совершенно одинаково, бегут все разом на германцев, сидящих в ямах. А сзади, через их головы, по германцам

стреляют пушки, перемешивая землю и людей и в клочья разрывая всё, что попадётся. А солдаты тем временем бегут, стреляют из ружей, прыгают в ямы – и там начинается взаимное убивание – пулями, ножами, приделанными к ружьям, чем придётся... Германцы, первыми решившие победить русских, были выкупаны в крови, побежали, но почему-то всё это обернулось большой бедой для русских солдат и царя... Мудрый Куриль напрягал всё своё воображение, чтобы поверить рассказу исправника. Но желание поверить перебивали невольные сомнения и подозрения: может, исправник дурачит его, дикаря, а может, Друскин умом тронулся – царь-то, конечно, прислал умного, но за долгие годы всякое могло произойти... Подозрения эти, однако, тут же и гасли: отец Синявин, перехватывая его вопросительные взгляды, кивал головой и поддерживал Друскина: «Да, да...», «Так, всё это так...» Раненые ползут к своим и стонут, не всех убитых успевают закапывать, много солдат уже осталось без рук или без ног...

– ...Вот как дерутся русские люди за светлую веру и за царя.

– Выходит, на войне плохо царю? Неудача большая? – спросил Куриль.

– На войне бывает по-всякому. А вот в других землях – в Галиции и Польше наши так дали врагам, что те до сих пор не опомнятся. Но опомнятся – опять полезут. Война только что началась.

– Да... Однако, царь без мужчин не останется?

– Не останется. Россия большая и сильная. А вот тяжело, трудно – это уж правда. – Исправник вдруг повысил голос: – Солдатам, Куриль, трудно, бабам трудно, детишкам! Потому что война, потому что кровища льётся! А кто виноват? Германцы!.. А здешние царьки только о том и думают, как бы у них оленей не попросили. И страшно обиделись, отец Леонид, что их не встретили перед острогом, что не кричали «ура» и шапки не подкидывали...

Друскин в сердцах налил себе одному водки, выпил с маху и, не закусывая, встал из-за стола, подошёл к окну, за которым гудел заполярный буран. Он постоял у непроглядного ото льда окна – и не успокоился (да и водка, наверное, начала действовать).

Он быстро подошёл к Курилю, сел и, как-то нехорошо прищутив серые глаза, снова заговорил:

– И это, Куриль, только одна половина правды. А есть и другая. Ты помнишь, как царя Александра хотели убить?

– Да вроде был слух... давно. Ай-ай-ай...

– Бомбу швырнули... ну, пороху много... Был такой безбожник Ульянов. З-заговорщик! Петлю з-за это на шею ему надели. Повесили. Ну, стал быть, вот: нынче его родной брат... Только вот что, Афоня: узнаю, передал кому разговор – дружбе конец.

– Что? Брат?... – не отозвался на предупреждение Куриль. – Ой, Пантелей Пантелеич, ты у меня ум из головы вынешь... И этот тоже хочет убить... Николая Романова?

– Не-ет, – протянул Друскин. – Это что – убить! Ты, Афанасий, только смотри: языком ни-ни... Потому что я тебе говорю одному... Этот другой Ульянов... Ну вот ты, скажем, богач. Захочешь оленей своих раздать?.. Голытьбе, безоленным, лодырям... неудачникам разным? Совсем раздать – до единого? И skóry раздать, и деньги, и – всё? Нет? То-то и

есть... А Ульянов к тому и разводит смуту. Понял меня? На всех замахнулся – на царский дом, на богачей, на власть, на бога...

– Да-да, и на бога, – подтвердил со вздохом Синявин.

– Как он так может?

– Как!.. Рассказывать долго. Э-э, Афоня, ты из другого мира... Книжки смутьянские пишет. Всякую голытьбу к бунту зовёт. Голытьбы-то много – вот он и надеется... А ты говоришь – шаманы... К дележу чужого добра призывает. И друзей у него – чёрт-те сколько, прости меня, бог. – Друскин переставил ближе к Курилю свою мягкую табуретку. – По секрету тебе скажу: этих самых... дружков-то его... сюда, ко мне присылают. Ко мне! Понимаешь, кто такой среднеколымский исправник? У-у... У меня особая власть. И у меня везде должен порядок быть... А ты там, Афанасий, гляди, чтобы ссыльные в стойбищах не появлялись. Если что – сразу мне сообщай. И чтоб книг никто никаких не читал. Не нужны книги тундре. Сказители есть – и хватит. Они у вас о добре и зле хорошо придумывают...

Качая головой, выказывая удивление или поддакивая Друскину, Куриль в действительности воспринимал эту вторую половину правды без потрясения. Он кое-что знал и сам, кое о чём догадывался, кое-что давно обдумал. Его лишь поражало, что всё это куда серьёзнее, чем он считал.

– Однако я вижу, что у Николая Романова много врагов, – тихо проговорил он.

– То-то оно и есть, – согласился исправник. – Это тебе не с шаманкой воевать: разбил бубен – она и копыта врозь.

Разбил бубен... Друскин не заметил, что сказал очень обидные для Куриля слова. Куриль же ничем не выдал стегнувшей его обиды, но в горячах ответил тем же:

– Выходит, земля под ногами горит?

– Почему горит? – вспыхнул Друскин, однако опомнился: – Задымилась чуть-чуть... Между прочим, огонь тушат огнём... Да вот – слышь, отец Леонид, у нас-то на днях... библиотеку Гуковского кто-то поджёг. Дочиста книжечки все сгорели. Люди-то не дают потачки смутьянам! Напряжённый разговор неожиданно оборвался для Куриля: на стене что-то щёлкнуло и захрипело. Глянув в ту сторону, Куриль, как ребёнок, чуть не вскрикнул от изумления. Он давно заметил на стене домик из брёвен, под которым с дробным стуком и почему-то без остановки моталась медная бляха. Сейчас под кровлей домика откинулась дверца и из неё выскочила, но не улетела птичка. «Кху-кху, кху-кху...» – кланяясь, на всю комнату кричала она. «Живая? Нет?» – оторопело думал Куриль. Птичка прокричала двенадцать раз, юркнула в дом и ловко захлопнула за собой дверцу. Боясь быть осмеянным или попасть впросак, Куриль хитроумно спросил:

– К счастью кричит? Не к беде?

Хозяин-поп, сидевший в глубокой задумчивости, оживился и, улыбаясь, ответил:

– Да нет. По этой птице гадают в наших лесах: сколько раз прокричит, столько, стал быть, годов и жить человеку.

– А сколько мне жить? – серьёзно спросил Куриль.

– Но ты ж не загадывал, – сдерживая насмешку, ответил Синявин. – Двенадцать – мало тебе? Шучу: она деревянная.

– Знаю. Я шутю тоже... Пантелей, ты сказал – библиотека. Чтой-то такое?

– Книги, склад книг. От которых смута идёт... А сильнее книг, сильнее огня знаешь что? Дружба. Дружба тех, у кого власть и деньги... и олени. – Исправник вдруг ожесточился: – Ваши богачи беды не чуют. А вдруг военная неудача? Они не понимают, что если бунтари из Питера или с приисков разграбят богачей русских и придут сюда, то им они просто пинков под зад надают. Что, у вас есть солдаты? Казаки? Пушки у вас есть? Да у вас даже тайных наёмников нет...

Друскин быстро постучал пальцами по краю тарелки и спросил Куриля:

– Что делать нам, Афанасий?

– Что? Не знаю. – Куриль оттянул пальцами ворот тёплого свитера. – От всех твоих слов жарко шибко. Голове холодно. Думаю, олени просить не надо.

– И не собирался просить. Ещё...

– Если так – о войне сказать можно. Мол, германцы за добычей идут, а добыча не у бедных людей – богатых.

– Неплохо, Куриль! – воскликнул Друскин.

– Пожалуй, мудро, – согласился Синявин.

– Только об этом... как зовут его, ты сказал? Который книжки пишет. О нём не надо. О бунтарях тоже. И про царя Николая всякие слухи не надо.

– Какие слухи?

– Что новый царь скоро будет. Э, ты лучше знаешь! Спросят – «нет» говори.

– Какой царь? – сурово удивился исправник. – О чём ты говоришь, не пойму.

– Э, зачем? Ленин – зовут.

– Что-о? – выкатил серые глаза и поднял тёмные брови исправник. – Ты где имя такое слышал?

– В Нижнеколымске. А что?

– Слышал когда?

– Когда – разве помню? Вроде этой водой, может, прошлым снегом ещё... – Голова юкагиров почуял, что влипает в какое-то неприятное дело. – И, кажись, не один раз слышал, – стал выкручиваться он. – Может, не в Нижнем, а тут – не помню...

– От ссыльных?

– Зачем! Ссылных не знаю. Казаки говорили.

– Кто именно?

– Исправник, я – женщина? Помню сплетни? Да? Может, Мишка Носов сказал, может, другой...

– Ладно. Я тебе – правду, ты крутишь... А не говорили они, что при новом царе будут жить лучше и что богатых Ленин прижмёт?

– Почему царь богатых прижмёт? – удивился Куриль.

– А потому, что Ульянов – который против царя и бога идёт – и Ленин – это одно и то же лицо! Две фамилии у него. Даже не две, а больше.

– Э-э-э, – улынулся Куриль, – шутишь, однако.

– Хороши, мать их к сатанам, шутки! И ты тоже чуешь, что я всерьёз спрашиваю. Мишка, говоришь, Носов? Он же придурковатый.

– Ну, потому, видно, так и сказал...

– Но ты не от одного слышал – сам говоришь. А имени умного не помнишь? Может, Ниникай тебе говорил? А? Вы же друзья с ним...

– Ниникай? – скривил губы Куриль. – Он же богат! Брат Тинелькута. Богатство их идёт по наследству. Зачем он будет хвалить человека, который табун у него отберёт? И мы давно не друзья с ним. Потом, он редко ездит в остроги. Семья у него, дети. А скандалы делает по привычке – пил сильно, когда был парнем, дрался...

– Ха! – усмехнулся исправник. – Не друзья, а так защищает. Он же сорвал важное дело. Теперь ты понимаешь, какое он дело сорвал? Я книжки читаю разные и хорошо вижу, что он не дурак и не бузотёр.

– Э, зачем так? – не согласился Куриль. – Все богачи сильно обиделись, что не встретил, плохое от тебя ждали – он, может, за всех был? Однако уедет – три снега в Среднем остроге его не увидишь: такой...

– Ей-богу, Пантелей Пантелеич, ты слишком усердствуешь, – подержал гостя хозяин. – У тебя уже и чукчи социалистами стали...

– Да, но дружбу теперь не знаю как и наладить, – остепенился исправник.

Несколько раз ухोдившая и приходившая попадая принесла строганину. Умная женщина: строганину надо есть, пока не растаяла – значит, слишком уж тяжкий разговор оборвётся.

Куриль обрадовался строганине. Потому что за едой он мог собраться с мыслями.

Он врал исправнику и попу: о Ленине ему действительно рассказал Ниникай. И рассказал о нём как о хорошем русском царе, который облегчит жизнь всех людей тундры. Как облегчит – он не сказал: может, не знал, может, не хотел сказать, поскольку дружба их давно кончилась. Встретились они в Нижнем остроге, летом, поделились важными слухами, но неспроста: Ниникай хотел уколоть Куриля – мол, оглядывайся, друг, исправника Друскина могут заменить при новом царе... Сейчас на всегда неуравновешенного Ниникая – злобного и одновременно доброго, мягкого – хлынул новый, опасный свет. Ниникай ещё сильнее отдалился от Куриля, и всё-таки Куриль прикрыл его, отвёл от него беду. Причём сделал он это без размышлений и, пожалуй, с излишней горячностью. Почему случилось так, а не иначе? Нет, дело не в простой порядочности и не в мгновенном мудром расчёте – мол, всякое может случиться, может, и Ниникай когда-то его спасёт. Но озарение было – что-то вроде испуга-протеста. Лишь теперь, пережёвывая строганину, Куриль осознал это озарение. Одно слово – и чукча сегодня или не сегодня, но оказался бы в тёмном каменном доме – в тюрьме. Сам же Куриль стареет, и как пойдёт его дело и пойдёт ли оно вообще – это пока неизвестно. А много ли в тундре таких людей, как он и Ниникай? Да их почти нет. На что решится Ниникай в своей жизни, каких наломает дров – кто знает! Может, как раз наломает таких, что Курилю в том мире или после возвращения из него будет больно и тошно. Но ведь за целых полсотни лет в тундре решительно ничто не переменилось, а если и переменилось, то к худшему. Нет, пусть будет что будет, только из горькой черноты тундры нельзя убрать Ниникая...

Впрочем, надо было уже о другом думать.

С чего начать, как начать?

Но оказалось, что не случайно и не зря молчал хозяин – отец Леонид.
– С чем приехал, дорогой Афанасий Ильич? – спросил он, смело от-
тесняя исправника.

– Э, что мои дела? – тяжело вздохнул Куриль. – Старый уже. Наверно,
оленьей запрягать скоро⁹⁰...

– Да, конечно, все перед богом равны, все смертны, – согласился
поп. – Одни деяния наши бессмертны, если они богу были угодны.

– Я старался, ум не жалел... Однако, отец Леонид, поглядел под ста-
рость назад...

– И что же увидел ты там?

– Черноту, одну черноту.

– Ну нет, я бы так не сказал. Юкагиров твоих крещу понемногу. И,
говорят, шаманы у тебя поутихли. У тебя сейчас нет, кажется, сильных
шаманов?

– Сильных-то нет. А шаманство есть. В каждом стойбище бубны сту-
чат. Я по-всякому с ними – и лбами столкну, чтобы люди выдумки виде-
ли, и словами хорошими, и пугаю...

– А то в-возьмёшь – и надругаешься над верой людей, – тем же голо-
сом добавил исправник.

– Это как? – не поверил своим ушам Куриль. Он было подумал, что
Друскин грубо шутит спяна.

– А так. Взял да и разбил бубен. А шаманка взяла д-да и померла.
Тебе показалось, что ты ч-черноту осветил, а людям показалось, что
у тебя н-ни-ничего святого. Не будь того случая, сейчас бы половина
юкагиров крещёной была.

Куриль чуть не захлебнулся воздухом от коварства исправника, от
своего бессилия. Но всё-таки бросился защищаться:

– Они же... шаманы... хотели оголить бедную женщину, вдову с мо-
лочным ребёнком, и при людях голую бить тальником!

– Господи! – перекрестилась попадья, стоявшая у двери,

– А ты бы, ты, Пантелей, ничего бы не сделал?

– Я бы ей в-в-в морду дал, – ответил Друскин. – А бубен бы не разбил:
в-веру уважать надо.

– Уважать? А Каке, самому большому у нас шаману, ты при всех пулю
хотел в лоб пустить! А? – зарвался Куриль, понимая, что терять уже не-
чего.

– А б-бубен бы не разбил, – повторил исправник.

– Тогда за что ты медаль у царя мне выпросил? – отчаянно бросил
ещё один козырь Куриль.

– З-за усердие, – спокойно ответил Друскин. Он опьянел как-то
вдруг, неожиданно.

Он опьянел в самое неподходящее для Куриля время. Ведь только
что подошли к самому главному разговору. Какая беда! Правда, почти
совсем трезвым был отец Леонид, и Куриль, надеясь на его благополу-
чие, решил ещё побороться. Однако поп покачал большой волосатой
головой и сказал:

– Нет, не мудро ты поступил, не мудро. Епархия не одобряет этих де-
яний твоих.

⁹⁰ Юкагиры покойника везут на оленьей упряжке, оленя закалывают –
считается, что это путь покойного к богу.

– Но они вызов мне бросили: они власть, не я. Как буду теперь – не знаю. Зачем мне печать? Зачем я нужен? Я нужен ясак собирать? Пусть собирают шаманы. Они запугают людей и быстрее соберут...

Пьяно смотревший в одну точку – под стол – исправник поднял руку и поводил в воздухе указательным пальцем.

– Н-нет, – сказал он и выставил второй палец. – Две власти: светская – ты, я, духовная – он, ш-шаманы. Везде так.

– Но у вас светлая вера, божья, у нас – тёмная, дьявольская...

– Он уважает меня, – указал на попа Друскин. – Я уважаю его. А вместе что – сила! Кто виноват, что у вас духам верят? Мы?.. Шаманов не трожь! Пусть стучат в бубны. Через уважение к себе поворачивай...

Это было концом. «Что он сказал? Не тронь шаманов? Да этого не может быть: двадцать снегов не запрещал. Укреплял нешаманскую власть, а теперь хватит? Или я далеко заехал? Может, спьяна самодурствует? Или зло вымещает, обиделся – дело не сумел сделать? – такие мысли пронеслись в голове Куриля. – Значит, всё будет по-прежнему? Но будет не по-прежнему, а хуже! Шаманы отряхнут мокрые перья и мстить начнут...» Случилось худшее: глыба надежды обвалилась, сползла.

И тут Куриль потерял над собой власть. Поджав губы, он заговорил:

– Вы хотите дружить с нами? Не будет дружбы. Вы к богу ближе, мы дикари. Вы книжки знаете, мы следы на снегу. Вы из железа умные вещи делаете, мы кость режем. Вы белые, чистые, мы жёлтые, грязные. Какая дружба?..

Голос Куриля был негромким. Но ведь в исступлении кричат только женщины. Исправник будто отрезвел – он схватился за подлокотники мягкого стула, готовый вскочить и заорать трезвым голосом. Подался вперёд и поп – только он словно от боли сдвинул чёрные брови и положил ладонь на изгиб локтя исправника, как бы придерживая его.

– ...Не пойдут богачи на дружбу, – продолжал Куриль. – Бунтари им дьяволы будут, от дьяволов и помрут. Что, скажи, одинаково? Ничего. Послушай дикаря, если царю нужна дружба. А потом можешь прогнать. Бог нужен один, вера одна! Одинакова вера – одинаковы мысли, добро, зло, грехи, страх – всё тогда одинаково. Песни богу одни. Крестить нужно тундру. Почему не поймёте, почему не хотите?

– Так-так-так... – быстро заморгал поп Синявин. – Хорошо говоришь, хорошо! А, Пантелей Пантелеич?

– Что? – вроде бы зло сказал Друскин. – Лысый... Крест ему выхлопывать надо – вот что!

Он откинулся к спинке и стал живо водить туда и сюда пьяными глазами, словно собираясь сейчас же поднять на ноги всю управу, чтобы писать царю доклад о мудром голове юкагиров...

– Фу, опьянел я, однако, – признался он.

– Не мне будет крест – вам будет крест от царя, – воскликнул Куриль. – Кто, скажет, светлую веру на Север продвинул? Господин Друскин, священник Синявин. Также люди скажут... А если бы церковь строить начать? Во всех тундрах о том говорили бы. Э-э, как дело пошло бы лучше! Всем радость. Купцы, богачи зашевелиятся, сами придут к вам: дело большое, выгода может быть...

– К К-кешке Попову, отец Леонид, посылай человека, – как будто сквозь дремоту сказал Друскин, прикрывший глаза. – Пусть едет сюда.

Кешка Попов – это поп из Нижнеколымска. Значит, дело уже завертелось...

У отца Леонида красными шишками загорелись щёки.

– Должен сказать тебе, Афанасий Ильич, – выпрямился он, – что якутская епархия ещё летом дала согласие на крещение. Того более, церковь можно видеть изображённой на бумаге со всех сторон и изнутри...

– Как так? – спросил Куриль, задыхаясь от радости, но не всё понимая. – Почему, однако, не стали?

– Война, милый мой, война... До какого крещения было в то время!

– А поп? Отец Леонид... – В лице Куриля было столько мольбы, униженности и надежды, что Синявин, отвыкший от каких-либо выражений на лицах здешних людей, улыбнулся.

– Иди – целуй крест! – сказал он. – Берём в обучение отрока.

– Священники не шутят, однако, – сам не свой, чуть не плача от радости, поднялся со стула Куриль и грохнулся на колени перед попом.

– Как отрока-то зовут? Запомню я.

– Два имени у него, – пролепетал Куриль, оторвав от креста губы. – Родительское – Ханидо, значит Орлёнок, другое Косчэ, шаманское. Константин.

– Константином будет, – буркнул исправник и не пошевелился.

– Так и решим. Но имей в виду: попадёт ли он в семинарию – я сказать не могу. Сперва поглядим. У меня поживёт.

– Попадёт! Как не попадёт! Очень крепкая память. Душа чистая – бог сам увидит, какая душа чистая у него. И ты увидишь.

– Ну, не подойдёт – другого пришлётся. В Якутской губернии это будет первая наша попытка. Надо, чтобы на родном языке церковную службу служил.

– Ох, хорошо! Ох, хорошо! – чмокал крест и отрывался от него счастливый Куриль.

– Привезёшь Константина без промедления, – приказал он.

– Могу щас уехать. Спать в дороге могу. Семь дней – хорошо?

– Что ты! Остепенись, господь с тобой.

– Большой у меня праздник, отец Леонид.

ГЛАВА 3

В эту ночь Куриль ещё трижды слышал крик птички из немудрёных поповских часов. Но птичка почему-то кричала всего по одному разу. Это настораживало его, хотя он и понимал, что она неживая.

Настоящий душевный праздник начался с того, что исправник запел – негромко, правда, со срывами, но запел. Подсела толстая попадьё. И потёк разговор о житье-бытье. Пьянел Куриль в охотку и в радость. А потом вдруг провалился куда-то. Нет, он видел появившегося за столом Потончу, потом казака, говорившего что-то исправнику, он даже провожал вместе с попом исправника и на крыльце просил его уладить дело с табуном оленей, который много снегов назад выиграл именем бога, но ничего из этого, решительно ничего он не запомнил.

Заснул Куриль на деревянной кровати в маленькой комнатушке –

босым, но в свитере и поверх одеяла. Разбудил его неприятный звук: спиной к нему у окна стояла толстая попадьё – она отковыривала ножом наледь со стёкол. На табуретке возле кровати стояла огромная кружка с квасом, а рядом лежала бумага, заклеенная крест-накрест. Куриль приподнялся и начал суматошно, поспешно обуваться – голые ноги женщина не должна видеть.

– Бумага мне? – спросил он, не зная, следует ли здороваться с женщиной, да ещё если спал в доме.

– Да, да, вам. От исправника... Я разбудила вас. Лёд начал таять, потёк... Испейте кваску.

Надкусив край конверта, Куриль разорвал его и увидел красиво испанную бумажку с круглой печатью.

– Из управы был человек. Сказал, что читать можно при ком угодно, – пояснила толстуха.

– Глаза... старею... Да... не вижу, – замылся Куриль. Попадья повернулась и, прогибая половицы, подошла к гостю, взяла бумагу и вернулась к окну.

«Женщина, да ещё попадьё – и читает?» – обомлел Куриль.

Управа Среднеколымска свидетельствовала: господин Куриль Афанасий, по отцу – Ильич, голова рода юкагиров, награждён императором российским медалью «За усердие» и имеет большие заслуги перед отечеством. Далее говорилось, что табун оленей, выигранный им с божьей помощью ради строительства церкви, является его собственностью, которой он может распоряжаться по своему усмотрению.

Весь путь от дома отца Леонида до заезжего дома торжествующий Куриль мучительно припоминал, сколько же он обещал пригнать оленьей исправнику и попу за эту бумагу. А ведь он наверняка обещал – иначе как же могла появиться бумага! Двести – много, наверное, сто. И лишь на самых порогах решил: надо пригнать сто пятьдесят.

Куриль пришёл рановато. Богатая братия, вповалку спавшая на полу, подстелив свои шубы, а то и не подстелив, только что поднялась. Одни дымили трубками там же, где спали, другие уселись на табуретки. И лишь возле двери на кухню происходило что-то чудное. Там толпилось человек пять, а в самой двери стояла кухарка в шубе, похожей на колокол, и в заячьей шапке, прикрученной к голове платками. Куриль пробрался поближе. Умыться, да-да, умыться предложила тундровикам усердная баба: люди не простые, а знатные... На двух табуретках стояло корыто с водой, а на третьей лежали мыло и полотенца. Ни один из чукчей, конечно, не откликнулся на приглашение: мочить водою лицо – это почти измена духам, келе. К корыту подошли только старик Петрдрэ, привыкший уважать обычаи щедрых хозяев, трое ламутов да ещё якут Мамахан. Как раз один из ламутов взял в руки мыло, намочил его, но оно тут же выпрыгнуло вверх, как белка, и шлёпнулось на пол. Никто его не стал поднимать: марать лицо пеной – это смешно, после неё от мужчины пахнет, как от русской женщины. Остальные ополоснули лица, вытерлись и поспешно ушли, оставив на табуретке неузнаваемо чёрные полотенца.

– Апанаа, ты где ночевал? – по-чукотски спросил Куриля Чайгуургин.

– У знакомых, за Анкудинкой, – соврал Куриль.

– Ничего не слышал? Казаки ничего такого не говорят? А то я сон видел, ну прямо невозможно страшный. Только сейчас. Волки как будто напали на мой табун, много волков. Страх! Несутся волки, валят оленей, а олени бегут, бегут... Топот копыт и разбудил меня... Я даже вскрикнул и криком Каку разбудил. Проснулся уже, а топот всё слышу... Думаю, может, скорей уехать отсюда? Первый раз такой сон увидел...

– Война, друг ты мой, большая война, и невозможно страшная. В царских солдат стреляют германцы белоголовые, а те – в них. Кровь течёт, прямо как вода в Колыме.

– Коккай! Да ты что говоришь!.. – Чайгуургин так и плюхнулся на табуретку. – Стреляют?.. Кака! Слышишь – духи мне подсказали, келе мои подсказали... Война идёт, большая война. Германцы белоголовые...

И пошло... На Куриля и Чайгуургина напёрли так, что они вскочили на ноги, боясь упасть с табуреток; стол поехал к окнам, зарывав ножками по деревянному полу, как два или три медведя.

– ...А в животных, в зверей стреляют?

– Какой зверь уцелеет? Они молнией дома разбивают!

– Солдатам, значит, олени будут нужны – на мясо?

– Да там все мукой и молоком питаются. Куриль, правильно?

– Не знаю, не знаю. Может, и мясо едят. Казаки же едят?

– А зачем мясо портить, если солдаты на смерть идут?!

– А наших будут в солдаты брать?..

– Исправник скажет. Потончу-то вчера чуть не отправил...

Напоминание о вчерашней угрозе исправника как острым ножом срезало шум и гвалт. Начисто отрезвели головы.

К этой понурой мужской тишине и подоспели исправник Друскин и отец Леонид.

– Добрый вам день, господа, – негромко сказал исправник, проходя к тому месту, где вчера сидел во главе стола.

– Господи, помилуй, господа, помилуй, – бормотал на ходу поп, крестя комнату и всех, кто собрался в ней.

– Господин Курилов, подойди сюда ближе, – распорядился исправник. – А где Потонча?

– Я тут, вашеглорodie. Тут.

– Иди тоже сюда. Поможешь Курилю, если он слово какое затруднит-ся перевести.

Все стояли, вытянув шеи, как табун домашних гусей, увидевший человека с растопыренными пока неизвестно зачем руками.

– Вчера утром, господа, почтенные люди острога уговорили меня не омрачать тревожными новостями праздника, не омрачать первой встречи с вами, – начал исправник без тени смущения. Конечно, он и не собирался объяснять, что эти почтенные люди сегодня утром уже не перечили ему; они потому и не пришли сюда, что во всём согласились с ним. Пока не пришли... – Долг службы, однако, повелевает мне сказать обо всём, – продолжал Друскин. – Да вы, я вижу, и так знаете. Да, да, да: государю императору пришлось посылать много тысяч солдат с ружьями, чтобы защитить нашу святую землю и нашу светлую веру. Идёт война, большая, очень большая война...

Куриль едва успел перевести эти слова, как в тишине раздался знакомый голос богача Ниникая:

– Война ближе к нам стала?

– Дальше. И сюда война совсем не придёт, – зло ответил исправник. – Кому нужен наш холодный пуржистый край!.. («Это он спрашивает: мы побеждаем или нас побеждают, – подумал Друскин. – Ничего себе – тёмный!») Но, господа, – продолжал он, – война очень страшная и кровавая. Посему, хотите вы или не хотите, а каждому придётся делать всё, что прикажет царь. Чтобы победить злых людей злого и жадного мира, царю нужна ваша помощь.

– Много оленей нужно? – по-деловому спросил старик Петрдэ, дядя Куриля, догадавшийся, что дело пахнет бедой – отправкой мужчин, которых, конечно, перебьют на войне.

– Оленей? – насмешливо переспросил исправник. – Солдаты нужны царю! Надо ехать туда, где люди кровь проливают, и воевать!

Наступила отчаянная тишина. Даже Куриль, знавший обо всём больше других, побледнел, когда перевёл эти неожиданные слова. «Может, ночью бумагу привезли из Якутска?» – подумал он. А холодные прозрачные глаза исправника бегали туда-сюда, бегали, будто пересчитывая людей. Слова его тундровики поняли буквально – ехать надо сейчас, иначе зачем же всех сразу вызвал! – каждому надо ехать: ведь на Севере нет мужчин непригодных, исключая калек. И лица богачей омертвели. Даже Кака забыл о шаманской привычке бормотать, вызывая своих келе: он стоял с раскрытым ртом, но не дышал.

Когда Друскину показалось, что до ума туземцев дошла вся серьёзность событий, он сказал:

– Переведи, Куриль: я написал царю бумагу и просил его пока не трогать людей тундры и оленей пока не брать. И скажи, что царь согласился со мной. Скажи ещё, пусть все сядут, разговор будет серьёзный.

Оживил, осчастливил исправник вконец перепугавшихся богачей. Всегда медлительные и важные, они сейчас с быстротой послушных детишек расхватали табуретки и плотно уселись поближе к исправнику и попу. Многие даже вынули трубки, кресала, кисеты.

Этих до ужаса далёких от действительности людей надо было до конца «просветить». Иначе ни сейчас, ни в будущем с ними каши не сварить...

Рассказ Друскина о разных странах на западном краю российской земли, о государственных спорах, о злых и добрых царях, о том, из-за чего и как началась война, тундровики слушали бы как сказку, если б не знали, что конец этой сказки так неожиданно коснулся их самих. А Друскин как раз и подводил к тому, чтобы они увидели, от чего он их спас и куда всё-таки может упечь, если они будут и дальше задирать хвосты. Сам Друскин не был ни на какой войне, но из вчерашнего разговора с Курилем он сделал выводы и знал, что сильнее всего сбивает с ног этих заспавшихся, но строптивых властителей.

Уже после первых слов о том, что на войне одни солдаты убивали других, некоторые богачи стали креститься, кое-кто зашептал шаманские заклинания, а многие качали головами, хмурили в ужасе брови, забыв о достоинстве. Потом пошёл рассказ о пушке, в которую будто бы «засыпают» ведро порошу, о том, что таких пушек – тысячи, о сотрясении земли, когда эти пушки бьют, и о прочем, прочем и прочем.

– Что? Им страшно? – спросил он Куриля, спохватившись: лица бо-

гачей ему показались странными, искажёнными. «Ещё закатят истерику», – подумал он, вспомнив, что люди здесь привыкли к внушениям и самовнушениям. – Спроси: найдётся ли среди них человек, который поехал бы не воевать, а посмотреть на войну? Я дам бумагу и денег.

Этот вопрос вернул богачей к действительности. Но он создал такую тишину, что стало слышно, как шуршит снег, ударяясь в стёкла двойных окон.

– Может, Ниникай согласится? – послышался голос.

– Он будет думать, – перевёл Куриль. – Если надумает, то поедет.

Раздался голос Оммая:

– Чего от нас хочет великий царь?

Это был переход к делу.

– Царь больше всего хочет, – решительно ответил Друскин, – чтобы слухи о войне не замутили тундру. А у нас и без этого плохо: шаманы грызутся с шаманами, богачи – с богачами и с шаманами, злые сплетни ползут по тундре... Значит, царь, который нас защищает, должен оглядываться назад: не подерётся ли свой народ, не начнётся ли где резня? Усмирять же придётся, а солдаты нужны на войне.

И Друскин начал называть имена гостей, враждующих между собой, и перечислять, в чем они провинились. К удивлению Куриля, первым он назвал его, потом Каку, Ниникая, Тинальгина, несчастного Мельгайвача и других. Куриль, однако, при переводе, на ходу, многое переименовал.

Себя он представил помощником исправника, который не раз усмирять шаманов и тушил вражду между родами, шамана Каку Куриль жестоко предупредил, чтобы он не вмешивался в дела юкагиров и не сталкивался с ними чукчей. Потончу исправник поругал лишь для порядка, потому что вчера жена исправника спрятала в сундук пятнадцать отличных шкурок. Куриль же сказал, что Попов будет торговать русскими товарами, его надо хорошо встречать.

– В долгу не останусь, – шепнул ему Потонча. – У меня там загнивший американский ситец лежит. Пьяному Каке и сплавлю.

– Молчи... Это мы поправляем друг друга и удивляемся, как хорошо исправник всё знает, – объяснился Куриль с Друскиным.

– А ещё царь вот что решил, – продолжал исправник. – Германцы хотят уничтожить нашу светлую веру. А мы посему должны наоборот – укреплять эту веру. Царь так и написал мне: если нельзя послать людей на войну и взять оленей – солдатам на пищу, то пусть иноязыкие народы Севера строят божьи дома.

– Надо, надо строить! – закричал Петрдэ, выхватив изо рта потухшую трубку. – Я всегда говорил Курилю. Сколько нас, богачей – разве один божий дом не построим?

Жадюгу дядю Куриль знал хорошо. Это он рассчитывает на его табун, выигранный для постройки церкви. Пусть кричит: у Куриля бумага за пазухой...

Загладели властители тундр. Куриль уже вдвоём с Потончей переводил их одобрительные выкрики и советы. И лишь Кака, понявший, что опасность пронеслась мимо, повернулся к исправнику изрисованной устрашающей стороной лица и сказал:

– А я как могу строить? Я топор в руках держать не умею, ни дом, ни изгородь не рубил...

– Тогда пойдёшь воевать, – твёрдо ответил Куриль, хотя хорошо знал, что сами богачи ничего строить не будут и что возразить Каке надо было иначе.

– Коккай! Воевать?

– Слышал же – кто не может строить, тот пойдёт воевать! – ответил Куриль и тут же перевёл этот разговор Друскину.

Исправник усмехнулся и, чтобы покончить с шумом, сказал:

– Кто не хочет или не может строить церковь, пусть поднимет руку.

Кака, понявший усмешку Друскина, немедленно поднял сразу обе руки.

Но больше никто не поднял: перечить опасно, и хоть новая вера ещё неизвестно что принесёт, само же строительство церкви может сулить выгоду. И всё-таки каждый хитрил.

– Олени, наверно, будут нужны? – спросил Петрдэ. Голова восточных чукчей на это ответил своей хитростью:

– Олени? Зачем они! Это же не яранга. Для церкви нужны дерево и золото... – А у меня, мол, нет ни того, ни другого.

– Песцы нужны! – громко сказал Куриль. – Только песцы. Шестьсот шкурок за один снег нужно сдать!

В ответ на это раздался дружный мучительный стон. Куриль для вида посоветовался с Друскиным, хотя давно знал, что именно надо говорить дальше.

– Ясак с этого снега собирать только песцовой шкуркой. Камусы, пыжики приниматься не будут. И рога мамонта не нужны.

– Чьи рога? – переспросил Петрдэ.

– Водяной коровы.

И тут поднялся священник Синявин. Он воздел кверху руку и туда же, в потолок, обратил свой взгляд. Все разом стихли.

– Святая православная церковь благословляет вас, братья во Христе, на сие доброе богоугодное дело. – Певучий бас попа и резкий отрывистый голос Куриля сразу и как будто в два слоя заполнили всю до последней щёлочки комнату. – Для свершения дела сего да принесём мы всем миром дары господу богу. Пусть пастух и шаман, знатный владелец и безоленный – все внесут свою лепту. И пусть поднимется в Булгуняхе, посреди тундры, светлый храм божий! – Он опустил руку и сказал спокойнее, по-деловому: – Юкагирский голова Куриль, ламутский Татаев и чукотский Чайгуургин, вы соберёте дары. Поможет вам в этом купец Василий Попов. А теперь... Сын божий Афанасий Курилов, иди, поклонись кресту, засвидетельствуй перед нами бескорыстие своё и преданность богу всевышнему.

Поп отступил от стола и приподнял крест, висевший на животе.

Растолстевший Куриль низко поклониться не смог, но зато потянул-ся губами к кресту и поцеловал его.

– Сын божий Константин Татаев!

Ламутского голову подтолкнули:

– Иди. Тебя, кажется, вызывает.

Татаев вскочил и, ни жив ни мёртв, побежал к попу.

– Сын божий Чайгуургин...

– Сын божий Василий Попов...

– Сын божий Кака...

Но Кака растерялся: он ведь безбожник, да ещё и шаман. Священник, однако, знал, что делал, – он спокойно и уверенно ждал. И какая-то сила потянула Каку к попу. Кособочась, пряча от людей свирепую половину лица, он поклонился, потом поклонился ещё раз и приложился к кресту.

– Божий сын Ниникай...

Чукча лихо тряхнул головой, откинув в сторону чёлку волос, и уверенно зашагал к попу. Он не поклонился, а сразу припал губами к кресту и, кажется, дольше других не отрывался от него.

Вообще-то тундровики ожидали, что священник вмешается. Иначе зачем же ему было появляться здесь? Но то, что сейчас происходило, оказалось слишком серьёзным, чтобы размышлять о чём бы то ни было, удивляться или заботиться о своей выдержке. Многие попа видели раз или два за всю свою жизнь, некоторые и вовсе не видели, а тут они слышали его могучий голос, видели его сверкающую одежду, своими глазами смотрели на руку, протянутую прямо к богу, да ещё целовали крест. Даже Кака наконец забыл о своём раздвоенном лице – как будто оставшись наедине с собой, он то оглядывал потолок, над которым наверняка распластался в воздухе бог, то впивался глазами в блестящий крест, свисавший с белой руки попа, – край креста ему показался острым, а это могло для него быть плохой приметой.

Целование ещё не кончилось, а уже раздался голос исправника. Голос его теперь был каким-то иным, чем-то похожим на голос попа.

– Имена всех верных царю и богу Христу здесь присутствующих знатных людей мне велено было занести на бумагу...

Пока Куриль переводил, добавив от себя, что велено было царём, Друскин вынул из бокового кармана шубы белую трубочку и развернул её на столе.

– ...В бумаге написано, что вы вместе с русскими знатными людьми Колымского округа готовы всеми своими силами и силами своих племён помочь царю в его любых делах и заботах о государстве. Вы обещаете покончить с враждой между вами, между шаманами, между шаманами и вами, между вашими племенами, между вашими людьми и людьми царя, между бедными и богатыми. Вы обещаете везде и всюду пресекать смуту, от кого бы она ни исходила... Об этих ваших обещаниях я сообщу царю. А теперь подходите к столу и приложите руки.

Куриль, Чайгуургин и Татаев сразу достали мешочки, в которых хранили печати. Первым, не долго думая, шлёпнул по бумаге Чайгуургин, придавив свою фамилию двуглавым орлом. За ним – Татаев. А Куриль помедлил. «Шаманы грабят простых людей – из-за этого тоже могут быть смуты, – подумал он. – Я, наверно, и шаманов ясаком накрою, а то и двойным...» И он, зло перекосив лицо, с силой придавил печатью бумагу.

Остальные богачи не имели печатей, а расписываться даже крестиком не могли. Пришлось им прокусывать пальцы, чтоб появилась кровь. Издавна принято было мизинцы прокусывать.

И вскоре бумага густо покрылась алыми пятнами – на ней будто раздавили горсть спелой морошки.

Исправник быстро скрутил её в трубку и спрятал.

– Дети мои, – сказал священник, приподнимая крест и загораживая

им лицо, – вы собственной кровью удостоверили преданность государю нашему батюшке. Бог видел это, он будет следить за исполнением клятвы... Дети мои, бог вразумил нас на большое и насущное дело. Свершим же его и помолимся... во славу отца и сына, и святого духа...

Исправник повернулся к священнику и вдруг опустился перед ним на колени. Он начал кланяться и креститься. Все быстро и удивлённо переглянулись: кто же здесь главный?.. Но тут и Потонча упал на колени, а за ним Татаев, Куриль, Чайгуургин. Значит, так надо... И сразу по комнате прокатился грохот – богачи туземцы дружно простучали коленями о деревянный пол, замахали руками. Не все крестились правой рукой: иные прокусили не те мизинцы и, пряча окровавленные кулаки, крестились левой. И только шаман Кака совсем растерялся, запутался – прокусил он мизинец на правой руке, ею и старался креститься, подражая исправнику, но красные брызги летели в стороны, попадали и на лицо, он то пытался разом высосать кровь из пальца, будто мозг из оленьей кости, то вытирал рукавом лоб. К тому же он с ужасом думал о том, что это – очень и очень плохая примета.

А священник тем временем начал крестить воздух своим большим блестящим крестом и потихоньку переступать ногами, явно продвигаясь к двери.

Так и ушёл отец из заезжего дома, не оглянувшись и ни с кем не попрощавшись.

И только ушёл он, как в дверях появилась толпа чиновников и среднеколымской знати. Тут же из другой двери, с кухни вышли стряпухи, вдвоём неся на огромном подносе дюжины три бутылок.

Друскин же, застегнув шубу, начал прощаться за руки с гостями.

Курилю он сказал:

– Поедешь вместе с Потончей в Нижнеколымск. Отвезёшь письмо попу Кеше Слепцову – он должен побывать у нас в тундре...

Это было очень важное и радостное поручение: к переменам дело пошло, к большим переменам.

На радостях, как только исправник ушёл, Куриль отыскал Чайгуургина и выпалил:

– Олени наши у нас остаются! Это я, я уговорил Друскина не забирать их...

Чайгуургина надо было задабривать: соседи чукчи не очень-то обрадуются новой вере.

– Я так и думал, мэй. Ты же, говорят, ночевал у исправника... С тобой мы, Куриль, никогда не пропадём. Ты наш друг и вожак. Тебя даже чукчи любят больше, чем меня.

Прощальная попойка кончилась поздно. Однако переночевать в Среднеколымске гостям на этот раз не удалось: богачам сообщили, что на их нарты грузят подарки – по мешку еды, ситец и водку. А подарки грузят перед дорогой... Да тут, кстати, у заезжего дома появились исправник с попом. Пришлось одеваться.

Крепко подвыпившие богачи размякли, расчувствовались, узнав о подарках. Столпившись у нарт вместе с хозяевами, они горячо, слёзно благодарили их за великую доброту, за незаслуженное гостеприимство.

– Ничего, мы свои люди, – хлопали их по плечам купцы.

Другие откровеннее были и намекали:

– Да если ты песчишку пришлешь – я ведь тоже не откажусь...

А вот исправнику намекать нужды не было: прощаясь, он не успевал напоминать, кто, сколько и что именно обещал ему привезти в подарок.

Лунной морозной и ветреной ночью по улочкам Среднеколымска понесли упряжки. Подпоенные каюры во всю мочь гнали оленей, оглашая спящий острог криками и свистом вожжей.

Не хотел исправник Друскин оставлять гостей – богатых и бедных – ещё на один день. Ссылные. Много их. Слишком уж большие они любители поговорить, а в особенности с приезжими.

ГЛАВА 4

Встречнева, или шестая, сретенская, луна нарождается бодрой и яркой. Она круглые сутки гуляет по зимнему небу и сияет, будто золотое ребро. А такой красивой и молодой она потому бывает, что готовится к встрече – к встрече с молодым солнцем. И вот однажды на край сумрачно-белой тундры выплывает ненадолго круглое, аккуратное, с узкими, чуть раскосыми глазами солнце-лицо. Поведёт оно глазами по небу – и месяц смутится и поблёкнет... Потом день за днём луна будет стараться понравиться солнцу – она станет полнеть, набирать силу и светить всё ярче. Но за это время у солнца отрастут крылья и золотые волосы, а взгляд станет куда смелее. Оно будет подниматься всё выше и выше, будет очаровывать землю и затмевать звёзды – и луна с каждым днём начнёт блёкнуть всё больше, потом будет худеть и худеть от тоски...

Для людей Севера появление солнца могло бы быть радостным праздником: ведь кончилась долгая, непрерывная ночь, ведь скоро тепло развеет ледяное дыхание злых духов – пургу и морозный ветер. Восходу можно радоваться каждый день. А тут не просто восход, тут первое появление солнца!.. Да, людям бы радоваться, если б жизнь северян не таила в себе столько коварства. В году же самый коварный месяц – шестой. Солнце-то появилось, но что принесёт шестая луна? О, люди настороже, люди боятся радоваться. Потому что слишком часто именно в это время приходит беда, страшней которой в «среднем мире» и не бывает.

Жизнь впроголодь начинается ещё при пятой луне. В эту пору искиают запасы еды. И все надежды людей тянутся к новой луне, когда появится солнце, когда начнётся время рыбацких и охотничьих хлопот. И вот такая пора наступила. Потемну, спозаранок, уйдут рыбаки на озеро. Целый день они пробивают самодельными пешнями лёд и кое-как доберутся до парящей на морозе воды. Кинут в проруби снасти, а рыбы нет. Отогрев в ледяной воде посиневшие и опухшие руки, снова забросят снасти, но рыбы всё-таки нет. Помолившись или позвав на помощь духов, ещё раз опустят снасти. Нет, не идёт рыба! Спит подо льдом. А уже ночь. Надо возвращаться в тордохи. Легко сказать – возвращаться! К утру проруби замёрзнут намертво, и тогда опять чуть не целый день придётся долбить новые лунки. Но и на другой день то же самое: поднимай пустую мокрую снасть, зятяни на животе ремешок и тащись к семье, которая ждёт тебя, глотая слюну, и до последнего твоего шага надеется... Так же будет и на третий день, и на четвёртый. И дней через

пять – через десять ночью тебя вдруг разбудит ужасный грохот, который прежде не мешал тебе спать, – это лопнет, ухнет от свирепого мороза лёд. Теперь, однако, тебе почудится, что озеро раскололось надвое и до самого дна. И оборвётся сердце: надо спасти семью – дальше терпеть нельзя. Тогда прячь, рыбак, ножик в рукав и иди к оленям. Иди? А если у тебя всего два оленя? А если один или вовсе – ни одного? И в тордохе ни камусов, ни единой песцовой шкурки – всё променяно дочиста... ещё дня два-три ты и твоя семья будут жить надеждой на помощь соседей и родственников. И хорошо, если эта надежда оправдается хотя бы половиною. А вдруг окажется, что и ближние, и дальние родственники сами ждут от тебя помощи?.. И тебе ничего не останется, как поплестись по очень знакомой, но самой тяжкой дороге – ты с пустыми руками отправишься к богачу. Богач знает, что ты не один такой, но старайся не думать об этом. А то ещё войдёшь в положение богача, у которого всего-то тысячи две или три оленей...

Встречнева луна бывает, однако, и более страшной. Вдруг ни с того ни с сего начнётся падёж оленей. И в это же время не ловится рыба. Одно к одному: песцы тоже не попадают в пасти, как ни умоляй духов озёр и холмов. Вот тут-то и нагрянет беда, полная и беспощадная. К богачу за помощью и не думай идти: он не только наверняка откажет – он просто не будет с тобой разговаривать. И тогда спасай себя и семью как можешь. Люди жуют и грызут всё, что проходит в желудок. Вечерами, когда мужики возвратятся в тордохы, так и не сумев ничего раздобыть, хозяйки соберут семьи к еле горящим жирникам и подадут еду, которую не догадался отобрать сам виновник голода – дьявол. А не догадался он по той лишь причине, что это еда не людская и даже не звериная, это воистину дьявольская пища – разваренные куски старых ремней или клочья мешка, сшитого из сохатинной шкуры... Мерзкие ошмётки с отвращением глотают взрослые, а ведь детям надо их ещё разжевать, но разжевать их нельзя!

Едят и более непотребное – внутренности оленей, кишки, закопанные в землю осенью или летом... Всё это, однако, пища. И она спасла от верной смерти многих и многих бедняков Крайнего Севера.

Особенно тяжело переносить голодуху кормящим матерям и детишкам. Юкагирские дети часто сосут грудь несколько лет, до тех пор, пока не начнут подражать взрослым – засовывать в рот курительную трубку. Так что любая мать, имея даже одного ребёнка, всё равно, перенесёт за свою жизнь двойной голод. О детях же и говорить страшно. Они сперва плачут и пристают, а потом становятся задумчивыми и молчаливыми, как старики; скулы их заостряются, в глазах – смирение, а улыбки резкие, жуткие. Дети, подпорченные болезнью, в голодное время или чуть позже непременно уходят по своей короткой тропинке в тот мир. И родители не очень оплакивают их, иные даже благодарят то бога, то добрых духов, избавивших несчастных от долгих мук...

Конечно, не каждая зима кончается голодом. Иногда Встречнева луна удивит людей неожиданной радостью. То вдруг рано проснётся и начнёт ходить подо льдом налим – и мужики с трудом вынимают из прорубей битком набитые рыбой морды. То на берегах озёр появятся чуть ли не табуны песцов – их привлечёт запах рыбы, в великом множестве выброшенной из воды ещё осенью. Роют зверьки лапами снег и

жадно грызут ледяную тухлятину. И тут-то охотники уж постараются переловить их всех до единого; а есть песец – еда будет наверняка. Случается и так, что голода бы не миновать, но неожиданно-негаданно к прирученным оленям вдруг прибьётся целый табун диких. Тогда начнётся дележ – и стойбище спасено.

Надо сказать, что и среди богачей, не знавших обычно счёта своим оленям, бывали добрые. Редко, но всё же бывали. Иной раз найдёт блажь на такого – и начнёт он в самые трудные дни дарить голодающим мясо, а то и живых оленей! Кто знает – может, богач этот вдруг не захотел, чтобы тундра обеднела людьми, может, у него человеческая совесть проснулась, а может, он ожидал от бога вознаграждения за доброту...

Что, однако, ни говори, а простой народ Встречневу луну ожидает с тревогой – каждый снег, всю жизнь ожидает её с тревогой. Даже удачный конец зимы пугает людей: не пришлось бы через год очень многим побывать между средним миром и нижним, а иным и вовсе уйти в тот мир.

С этим тревожным и хлопотным временем много связано в жизни юкагирского стойбища, что кочует по берегам Малого Улуру. Тут с давних пор было примечено, что добрые и печальные, а чаще всего печальные события происходят именно в эту переломную пору.

Смерть жены старика Хулархи в лёгкую голодовку, восемь снегов назад, не удивила людей: старуха слишком долго и тяжело болела. Но вслед за женой, в том же месяце, свалился и сам Хуларха. Больше года он мучился и стонал, путал мир действительный и мир нижний. Потом ему стало немного лучше, но на ноги он так и не встал. У Хулархи не было сына, и, значит, на этом свете догорал его последний костёр. Таких людей юкагиры жалеют, как только могут. Но жалеть пришлось не его одного. У старика росла дочь – работающая, тихая, добрая и, на удивление всему стойбищу, очень и очень красивая. И тут было над чем задуматься. С одной стороны, Халерхе все прочили счастливую жизнь. И не только потому, что счастье ей предсказал известный шаман Сайрэ. В стойбище жил её названный жених Косчэ-Ханидо. А людям рано стало известно, что этого очень смышлёного, умного, ловкого парня голова всех юкагирских родов Куриль избрал своим преемником – у Куриля тоже не было сыновей. Люди даже знали, что половина огромного стада головы перейдёт в собственность Ханидо. Впрочем, Куриль и на самом деле обо всём этом договорился с Нявалом. Парня отдали на особое воспитание Пураме. Однако названный жених – это ещё не жених. Не все зависит от верности невесты. И люди нет-нет да и вспоминали судьбу красавицы Пайпэткэ. Как ни осуждали они Пайпэткэ в своё время, как ни соглашались с шаманами, а повторения её жизни никому не желали. И с людской помощью больной старик и его дочь не страшнее других переносили трудные дни. Даже когда в следующую голодовку умерла самая бодрая из старух – Лэмбукиэ, Хулархе не стало хуже, а дочери его не пришлось глотать разваренные ремни.

От третьей за последние десять лет голодовки стойбище избавил богач Ниникай, чукча, бежавший из Восточной тундры. Прослышав о добром характере Ниникая, сказитель Ланга рискнул поехать к нему. И не ошибся. Ниникай, правда, нехорошо, с непонятной злостью слушал

рассказ юкагира о нагрянувшем бедствии. Но Ланга не упал духом, и, когда закончил горький рассказ, Ниникай решительно выдернул из-под мешков аркан. «Иди, выбери самого жирного быка, – сказал он. – Только не лови белого или пёстрого... И ещё поймай оленя отцу этой красивой девчонки...»

А потом у Ниникая побывало больше половины мужиков стойбища. И никто пустым от него не вернулся. Люди подозревали, конечно, что чукча таким образом пытается закрепиться на новых, чужих местах. Но это уж было его делом, а из стойбищенских людей никто на этот раз не ушёл в тот мир.

Но вот три снега назад случилось самое страшное. На оленей напала чёрная гибель. Зима, как на грех, затянулась, и рыба решила поспать до лучших времён – не пошла ни на какую приманку. Бесполезно было идти к богачам, а к Ниникаю – стыдно. Люди начали пухнуть и болеть. Только Нявал со своим сыном отправились к Тинальгину, жаднейшему богачу, и получили от него помощь. Но ведь Ханидо – будущий богач, равняться на него не было смысла...

В эту голодовку и после неё случилось много необъяснимого. Семья Нявала, кочевавшая в одиночестве, вдруг покинула родные места и отправилась далеко к побережью моря. По слухам, Нявал решил пожить более добычливой жизнью: там, говорят, много зверья, а людей – мало. Но как только они укочевали, в стойбище появились первые сваты: Халерха к этому времени из красивой девчонки превратилась в невесту-красавицу. Понятно, первым сватам Халерха отказала решительно. Но это ничуть не смутило других – сватовство только усилилось. Время, однако, шло, а ни Ханидо, ни отец его не возвращались...

Все эти события прошлых Встречневых лун, как и другие, не примененные простыми людьми, вконец перепутались к молодой Встречневой луне 1915 года. Да так перепутались, что люди уже не знали, о чём следует больше думать – об этих событиях или о судьбе своих желудков.

Из Среднеколымска прямо в стойбище примчался Куриль. Его долго не было здесь – больше луны. Примчался он на себя не похожим – всклокоченным, будто важную и степенную сову до смерти напугали среди белого дня, когда она ничего не видит. Куриль едва заскочил к Пураме и тут же улетел в тундру. Стало известно немного. Русский царь наградил голову серебряной деньгой – амулетом – за хорошую службу; исправник приказал всем шаманам не мутить народ и угрожал им; сам Куриль уехал искать Нявала, а зачем он нужен ему – не сказал.

Халерха была девушкой потомственно белокожей, её предками были ламуты. В роду хододил ламутская кровь, однако, настолько обюкагирилась, что люди этого рода, жившие среди индигирских ламутов, лишь понимали местную речь, но разговаривать не умели – языки не поворачивались как надо. Самая чистая белизна кожи да маленький рост – вот и всё, что сохранили от ламутов потомки. Халерха не была слишком уж маленькой, но зато кожа её оказалась такой белой и такой нежной, что юкагирке позавидовали бы и русские женщины. Белизна аккуратного, кругленького лица Халерхи оживлялась и лёгким румянцем щёк, и угольной чернотой волос, и блеском таких же чёрных, как и волосы, глаз. А глаза у неё были особенные. В них как будто навсегда замерло детское удивление. На кого Халерха ни смотрела бы – на зна-

когого с самых пелёнок сородича, на сварливую старушонку или на незнакомого парня, – глаза её словно вмиг замечали что-то особенное, неотразимое в человеке. Она никогда не прятала взгляда, не любопытствовала исподтишка – и потому многим казалась слишком смелой, самоуверенной. Только позже, когда она стала настоящей невестой, её волнение начало выдавать биение сердца – груди вздрагивали под тугим передником. И как же обидно, как тяжело было выслушивать женихам слова отказа, испытывая на себе этот открытый, полный удивления взгляд, за которым, конечно, таилось смятение чувств белокожей красавицы.

А переживать смятение чувств Халерхе действительно приходилось. И ещё как! Дело в том, что первые сваты были последними: сразу после них прикатила разукрашенная упряжка с самим женихом, а затем сватам уж никто не доверял – один за другим появлялись в стойбище только женихи, часто со своими отцами. И какой был это народ! Жители стойбища с приходом каждого нового молодца всё сильнее удивлялись и опечаливались. Упряжки будто выскакивали из какого-то иного, нездешнего мира, где живут молодые богатыри-красавцы и спокойно здравствуют пожилые, зная не знавшие ни о голоде, ни о холодных полах, ни о болезнях. И люди эти вот-вот увезут Халерху в тот красивый и беспечальный мир. Вторыми приехали индигирский богач Идукин и его сын. Парень был рослым, статным и таким красивым, что в него могли бы влюбиться даже мужчины. Правда, по слухам, парень не отличался умом. А пока они возвращались ни с чем на свою Индигирку, средний сын Тинальгина взял да и разделил стадо отца надвое и погнал половину его к стойбищу: уж с таким-то калымом свататься можно... Старик Тинальгин чуть не разорвал на себе кукашку, узнав об этом, – разве есть на свете женщина, стоящая такого калыма!.. Он бросился вслед за сыном, но тот уже гнал стадо обратно. Позже, однако, скупой богач всё же заглянул в тордох Хулархи и пробыл в нём очень и очень долго...

Хедя Востриков примчался с нижней Колымы на собаках. В упряжке – двенадцать одномастных кобелей, и каждый кобель – ростом с телёнка. Но куда ему, русскому колымчанину, состязаться с более родственными Халерхе женихами, хотя парень-то он был что надо!.. За ним начали появляться ламуты – высокие, сильные, ловкие, с острыми, тонкими чертами лиц и разодетые так богато и так красиво, что многие жители стойбища лишь головы высовывали из тордохов, боясь показаться в своих облезлых шубах.

Да что ламуты! Перед прошлой весной на огромной упряжке пятнистых оленей приехал могучий богатырь – сын известного чукотского короля Армаургина.

Слух о красавице Халерхе распространялся всё дальше и дальше. Но и ближние не успокоились. Бывали дни, когда в стойбище с разных сторон приезжали самые разные люди: на одной нарте степенно сидит юкагир-вдовец – может быть, невеста хочет такого мужа; на другой рядом с каюром женщина-чуканка – это мать отвергнутого жениха, она своими глазами хочет увидеть диковинную невесту, а может, и уговорить её; на третьей – разукрашенной еловыми ветками, бляхами, ремennыми кистями, цветными шнурами – молодой ламут – жених.

Извечно строгие к одежде и украшениям, юкагиры не успевали поражаться разнообразию, пестроте и богатству жениховских нарядов. Меха самых разных зверей, бисер, шитьё, резные украшения из мамонтовых клыков, кованные из меди, серебра, а то и из золота – всё это мелькало на молодых красавцах, как в сказке.

Люди уже и не знали, какие чудеса им ещё придётся увидеть. Но они начали понимать, что всё это бесконечно не может тянуться. Проснётся однажды стойбище, а Халерхи нет. Правда, отец Халерхи хоть и болен, но твёрд, как старый олений рог, – не хочет он, чтобы дочь его вышла замуж. Однако кто ж его знает – возьмёт да и скажет: «Ну, дочь, многих ты видела женихов. А теперь призови, который пришёлся по сердцу...». Дремуч и тёмен больной старик, но ведь за время болезни бог, может быть, умудрил его?..

В любовь, в привязанность Халерхи к Ханидо перестали верить. Нет Ханидо! Такое громкое сватовство, конечно, давно дошло до его ушей. Но его нет. И тут уж всякий оправдал бы невесту, если б она плюнула на такого беззаботного жениха, кто бы за ним ни стоял – Куриль или сам исправник.

И всё-таки людям не хотелось, чтобы Халерху увезли даже в самый счастливый мир. Надежда на Ханидо вначале была сродни туманной наивной мечте всех бедняков: должен же когда-то появиться избавитель ото всех бед – могучий и решительный богатырь, умный, добрый, чуткий к слезам и людскому долготерпению. Ханидо, кстати, таким и воспитывался с малых лет – по-старинному, чтобы стать богатырём, и воспитывал его не кто-нибудь, а Пурама... В жизни, однако, люди соглашались и на меньшее. Когда будущее парня начало определяться, и вроде было бы очень счастливо, стали думать о том, какими будут новые богачи. Детская дружба протаптывает в сугробах жизни глубокий, незаметаемый след. Ханидо дружил с Халерхой, а она – дочь бедняков, она чуткая, жалостливая, как и всякая женщина, которой долго пришлось ухаживать за родными, испорченными болезнью. А это значит, что Халерха будет влиять на мужа. Богатство не вскружит ей голову. Ханидо готовят к большим делам. Какие это дела – не знает никто. Но если ему попадётся другая жена – ещё неизвестно, какими будут новые богачи. Нет, Халерха должна оставаться в Улуро и быть женой Ханидо.

Люди думали так: пусть молодые, новые богачи будут добрее других – совсем немного добрей Ниникая. И то хорошо. Много ли нужно людям! Просто каждому бедняку хочется жить уверенней – не бояться смерти от голода и не носить доху, на которой нет шерсти... Ну а если Ханидо станет со временем головой – это уж будет совсем, наверное, хорошо...

Надежда увидеть детей Хулархи и Нявала женатыми должна была сбываться ещё по одной очень важной причине. Все одиннадцать юкагирских родов неимоверно переплелись сложными линиями родственных связей. А закон был строг и суров: запрещалась не только повторная связь, запрещалось соединение родственных линий даже через пятое и шестое поколения. Найти жениху свободную линию было делом трудным и страшно запутанным. Юкагиры в разное время и в разных местах породнились с ламутами, чукчами, якутами, и даже с русскими. Попробуй-ка отыщи в этой неразберихе свободный конец! Нужны были

годы и годы, чтобы разгадать тайны прошлого, нужны были возможности, не работая, ездить по тундрам. Впрочем, впоследствии и среди соседних народов узлов становилось всё больше и больше. Богачи, однако, ещё могли найти выход – на поиски невест они отправлялись к далёким берегам Гижиги, по Яне-реке, по Анадырю. Бедняки же о таких поездках и думать не смели – одни надеялись на счастливый случай, да так и старели с этой надеждой, другие же вообще ни на что не надеялись – бобылями рождались. Не легче было и женщинам. На глазах у беспомощных женихов старели хорошенькие невесты, на глазах свободных мужчин мучились в жажде испытать материнство зрелые женщины.

Случалось всякое. Рискнул брат Нявала, отца Ханидо, отправился на Гижигу, нашёл жену, привёз, обласкал. А потом задушился. Далёкими, но встречаемыми оказались их линии. Опозоренной и несчастной, с ребёнком от мужа-родственника покинула женщина стойбище.

Очень всё это сложно. Никто не назвал бы Ханидо и Халерху женихом и невестой, если бы Эргэйу женился на Пайпэткэ. Тут навсегда бы сомкнулись два рода – эрбэчканов и хододил. А если б от ножевой раны умерла Халерха – Ханидо или остался на всю жизнь одиноким, или ему пришлось бы искать жену на берегах Яны, Гижиги и Талого моря⁹¹.

Только случайностью, только самой счастливой случайностью была чистота и свобода родственных линий Халерхи и Косчэ-Ханидо. И концы этих линий сами собой тянулись друг к другу.

...Стойбище облегчённо вздохнуло, когда появился Куриль. Быть свадьбе, быть скорой свадьбе! Не в отце же Халерхи дело и не в женихе. Тут могучая рука самого головы! Это он связал всех твёрдым и неизменным словом. И, наверно, он сам упрятал жениха, Косчэ-Ханидо, сам позволил разгуляться шумному сватовству: без этого не так далеко, не так быстро и не так громко разлетелась бы слава о юкагирской свадьбе, о молодых богачах и о самом Куриле. Люди стойбища будто все разом открыли глаза: да как же никто из них раньше не догадался об этом?.. Радостно досадуя на самих себя, они удовлетворённо посмеивались при встрече друг с другом и оживлённо пускались в многозначительные рассуждения. Зачем Курилю надо было всё это? Может, настало для него время удивить всех на свете какими-то важными новостями? Может, он решил открыть тайну всей своей жизни? Ведь есть у него эта тайна, и, теперь ясно, – не пустяковая, раз уж сам царь награждает его, а значит, приближает к себе.

Но большие дела – это для разговоров, для ожиданий, для дальнего будущего. А вот Встречнева луна-то нынче наверняка не будет голодной. Куриль добрее от простых похвал, а тут награда от самого царя. Да он на радостях браниться будет, если голодающий не придёт к нему. Ну а прикажет немедленно свадьбу справлять – так всю эту луну делает пьяной...

Между тем человек, от которого зависело многое в жизни всех одиннадцати юкагирских родов, тот, который и в самом деле решал судьбу знаменитой невесты и пока ничем не знаменитого жениха, тот человек уж не ломал себе голову и людям не загадывал никаких загадок. Даже напротив, он готов был рассказать обо всём любому – вот только вре-

⁹¹ Талое море – Охотское море.

мени у него для этого не было. Но время будет – завтра, послезавтра, ну даже через три...

В дороге из Среднеколымска в Нижний Куриль ещё не испытывал ни полного чувства ликования, ни душевного равновесия. Тогда он не знал, какие «слова на бумаге» везёт от Друскина и Синявина Кешке. Потом он узнал: людей тундры будут крестить, и очень скоро, не дожидаясь даже начала строительства церкви и не дожидаясь, пока пройдёт обучение юкагир Ханидо. Из этой важнейшей новости он и сделал полный ликования вывод: старой жизни пришёл конец – знайте лысого, с царской медалью на груди Куриля!.. На радостях голова юкагиrow решил немедленно закатить такую свадьбу, чтобы о ней услышали и в Якутске, и в самом Петербурге, чтобы из множества гостей каждый даже при солнце видел на небе северное сияние. Вот и ворвался Куриль в стойбище всклокоченным, как растревоженная, ничего не видящая сова. Он не преподнёс Халерхе никаких подарков и вообще не зашёл в тордох к Хулархе – люди заметили это, однако нашли оправдания: подарки – очень дорогие, конечно, – преподнесут на самой свадьбе, Халерху подготовят Пурама с женой, и вообще Куриль знает, что делает...

Многое правильно угадали жители стойбища. Но они не знали сущего пустяка. А пустяк этот был такой: Куриль растерялся и сильно раздосадовался, когда Пурама сказал ему, что семья Нявала до сих пор не прибилась к стойбищу. О, если б они знали об этой растерянности своего головы! Какой бы тогда начался переполох, сколько бы жестоких, обидных догадок переточили развязавшиеся языки!..

Между тем очень важная правда как раз в том и состояла, что голова юкагиrow вовсе никуда не отсылал семью Нявала. Больше того, он не знал, почему и куда уехала эта семья. И уж совсем плохо, что за три снега он ни разу не только не навестил её, но даже не поинтересовался всерьёз, как они там живут на богатых местах: очень туманные слухи о том, что живут они ничего, не плохо, вполне удовлетворяли его. Дело со строительством церкви, а значит, и с обучением Ханидо безнадёжно затягивалось – и Куриль опустил руки. Но вот на груди его появилась медаль, а вместе с ней и надежда. Надежда сбылась – и он спохватился...

Вообще-то спохватиться Курилю следовало бы сразу после получения царской награды. Но он не мог, и на то были причины. Ведь надо было разговаривать с приёмным сыном и с его отцом. А как разговаривать? Они вправе были сказать, что договорённостью о двойном отцовстве не предусматривалось насилие над судьбой Ханидо: парню уже за двадцать, ему надо устраивать личную жизнь – не может же он без конца ожидать, когда в делах головы наступит хорошее время, к тому же невесту вот-вот увезут. Ответить им, что время Куриля уже почти наступило, обнадежить, показать награду царя? А где уверенность? Скажет исправник «нет» – и что тогда? Болтуном предстать перед этим тёмным, несчастным Нявалом? Неудачником, обманщиком – перед Ханидо, приёмным сыном-наследником?.. Не мог Куриль с ними встречаться ещё и по той причине, что само время припёрло его: ведь и впрямь надо было решать судьбу Ханидо, а значит, и свою собственную. А решать ох как не хотелось. Да и кому хочется признаваться в том, что жизнь прожита? И к тому же надо делить состояние – табуны, хозяйство, пастбища. А каково беднеть на старости лет?..

Но то, что было, – прошло. Сейчас дело другое. Сейчас Куриль едет на самых сильных, самых быстрых и самых красивых оленях. Своего он добился. Вот бы теперь и увидеть их. И надо же – нет в стойбище, потерялись.

Когда за горизонтом скрылись берега Малого Улуро, а вместе с ними и стойбище, Куриль решил остепениться и трезво оценить неприятную новость. «Их трое, – рассудил он. – Если с кем-то одним случилась беда, то другие давно бы приехали в стойбище. Ну если даже замёрзли все трое или едой отравились, то их давно бы нашли. А не нашли – так слух о такой беде тундра сама разносит. Да и как отравиться можно пищей зимой? А Ханидо никак не может замёрзнуть – он богатырь, он без еды и огня в самый сильный мороз выживает... Нет, Пурама сказал, что был слух – там, у них, всё по-прежнему...»

Подозрение Куриля перекинулось на другое, более правдоподобное объяснение. Очень возможно, что семья Нявала решила уйти от зависимости, жить по-своему. Может, они пригляделись к жизни головы юкагиров и подумали: а зачем по такой же дороге идти ему, Ханидо? Влезать в большие скандалы, кого-то травить, кого-то брать под защиту, мотаться по стойбищам и русским острогам – это ведь не сахар сосать, да и по чужому желанию всё это делать не будешь – тут своя охота нужна. А охоты, может, и нет, может, её отбил Ниникай. Ниникай не часто встречался с Косчэ-Ханидо, но ведь есть люди, которые влияют одним своим поведением, а не то что словами. Скрытный молчун Косчэ-Ханидо никогда не рассказывал, о чём он говорил с этим то тихим, то бешеным чукчей. Но Куриль знал: не может Ниникай восхвалять его, Куриля, – считает тщеславным, жадным и слишком уж отдалившимся от простых людей... Могла ещё повлиять и ранняя помолвка Косчэ-Ханидо с Халерхой. Когда упрямо и дружно навязывают в жёны хоть какую красавицу – самостоятельные парни, как правило, женятся на других. К тому же красавица часто беду, а не счастье приносит. Нявал помнит судьбу Эргэйу, Сайрэ и ещё много подобных судеб. А Ниникай из-за жены-красавицы мать, отца, брата и родные места бросил... Три снега к Халерхе сватаются женихи с тундр, с гор, и тайги, да ещё какие! А наречённому жениху хоть бы что. Может, он потому и не показывается в Улуро, что хочет отвязаться от Халерхи: мать у неё умерла, отец больной, живут они бедно – чего ждать-то ей...

В подкрепление всех этих догадок Куриль ещё подумал о том, что два охотника – Нявал с сыном – за три года могут в безлюдных местах здорово обогатиться. Сто шкурок в год – это триста. Даже если половина пошла на обмен, то всё равно сто пятьдесят. Ум потерять можно...

Вот с такими мыслями и ехал Куриль на север, к берегам Новой реки, где, по слухам, много песцов и где, по предположению Пурамы, кочет семья Нявала. Неожиданные хлопоты. А главное – не ко времени. В успехе поездки Куриль не сомневался – он появится с очень крупными козырями и побьёт любую карту. Это ведь только дурак отвернётся от счастья, нет, не от счастья, – от невиданной и неслыханной удачи. Тем более что Куриль готов на любые уступки. Не хочет парень жениться – не надо. Трезво рассудить – свадьба, она сейчас ни к чему: он в остроге, она здесь – какая жизнь! Народ хочет свадьбы? Народ пождёт. Если смущает зависимость от него, Куриля, от его богатства –

можно освободить от зависимости. Курилю же и выгода – не придётся табун делить. Если хотят поскорее обогатиться – пожалуйста: теперь Куриль разделит табун – в конце концов он и жил ради этого. Ханидо не хочет быть головой – а он им и не будет, он священником будет. Не хочет духовной зависимости – он объяснит, что поп зависим только от бога... Если уж очень сильно будут Нявал и сын перья таращить, Куриль на помощь призовет и Пураму, и Ниникая – вон как Ниникай жадно целовал крест!..

Все эти рассуждения головы юкагиров не были тяжкими и ещё по одной, немаловажной причине: любую тревогу под корень срезало то, что всякая тревога была нелепой – бог выбрал себе служителя, служителя из новых своих племён, и сам же перекрыл дорогу служителю! Нет, так не бывает...

Но козыри козырями, бог богом, а душу Куриля точила не сильная, но щемящая боль. У него ведь, как и у отца Халерхи, потухал в этом мире костёр – не послал ему бог сына, продолжателя его самого. Он бы смирился с судьбой, если бы был простым человеком. Но у него дело, огромное дело, без продолжателя ему никак невозможно. Усыновил он хорошего, умного парня, воспитал, пробил дорогу ему, пробил великим упорством, терпением и трудом, а вот что-то не сцепилось, не завязалось. Ведь не случайно он и сейчас вынужден думать об освобождении Ханидо от опеки, зависимости. А какой это приёмный сын, какой наследник, если скрылся от него на целых три года, не посоветовавшись! Плохо будет, если придётся давать ему полную волю, освобождать от зависимости – какое это отцовство! Конечно, Куриль пойдёт на всё, но ему будет горько...

Когда-то и что-то не так сделал Куриль...

Мысли в дороге зависят не только от человека и обстоятельств – от самой дороги сильно зависят. Сейчас бы чёрную тучу над тундрой... Но и дорога, и погода были такими, что лучше и придумать нельзя. Морозно, но тихо. В синем небе – уже потолстевший, прозрачный, как ледышка, месяц. А за спиной – солнце. По сторонам от него – два огненных столба. Это назло зиме и морозу солнце отрастило крылья. Оно уже на целую четверть оторвалось от земли. Красиво, если бы ехать на юг. Но и на север ехать приятно: волнистая тундра подсвечена красным солнцем. Горизонта не видно – его размыла сизая дымка... Нарту подбрасывает, как будто плывёшь на ветке по игривому озеру.

Постепенно мысли Куриля улеглись и выбрались из кочкарника на большую дорогу. Досада сожрёт человека, если он руки опустит. А Куриль действовал. Конечно, всё кончится хорошо. Впервой ему, что ли? Чужие дела утрясал, хитрейшие шаманские петли распутывал, а уж в своих личных делах он как-нибудь разберётся...

А вообще-то в жизни всего здешнего Севера уже произошло – можно считать – такое событие, которое одним умом не охватишь и не оценишь. Будут когда-то жить в тундре новые люди, и они ужаснутся, услышав рассказ о своих предках. Духи, везде духи и всякие бестелесные силы. Духи внутри человека, вокруг него, в среднем и нижнем мире. Общие духи для всех, шаманские духи, духи живых и умерших, духи других народов, кроме того – черти и дьяволы. И в большинстве духи все злые. Да и добрые могут сделать добро, а могут не сделать,

что опять обернётся злом. Табуны духов и тучи зла... При этом никто никогда не видел ни духа, ни чёрта. Их попросту нет. Это Куриль знает определённо. Потому что как раз на него, на голову юкагиров, им и надо бы нападать первым делом, и нападать особенно жестоко. А они даже перед его глазами не появляются... А тем временем бог – настоящий бог – наверно, смотрел, смотрел на все эти страсти диких людей и решил наконец: хватит им мучиться, жить в ложном страхе и в тесноте ото зла. И начал бог искать человека, который исполнил бы его волю... Куриля он приметил давно... Нет, в самом деле, может быть, он – божий избранник? Кем был Куриль? Пастухом. Но бедный пастух не сможет исполнить волю его. И тогда бог дарит ему табун, потом дарит второй. Это затем, чтобы с избранником все считались и чтобы он мог разговаривать с высокопоставленными людьми. Сорок снегов и сорок вод испытывал его бог, испытывал ум, преданность, волю. Наконец он сказал: «Явись, Куриль, к моим людям – я посмотрю, сможешь ли ты забыть самого себя и без оглядки броситься в схватку за моё дело...»

Да, многие, многие люди будут думать о нём именно так. Иначе всё происшедшее нельзя объяснить. Пусть что хотят они, то и думают. Только истина состоит в том, что уже больше луны по тундрам катятся слухи о невысоком лобастом человеке, который замахнулся на всех злых духов, который несёт новую, светлую веру и гонит старую, чёрную, дьявольскую...

Что ж, уже начались дни его славы, какая ни снилась ни одному человеку Крайнего Севера, он собрал в себе силу, о которой не мог мечтать ни один шаман, ни один богач. Теперь у него и старость будет особая – счастливая старость мудреца повелителя. Шаманов уже не спасёт никто и ничто, и сами себя они не спасут. Настоящим шаманам, которых так мало, он прикажет лечить людей, остальные на праздниках бога, на его праздниках, будут народ веселить – плясать и стучать в бубны...

Увлёкся Куриль. Солнце уже сложило крылья и село на край тундры, луна уже начала золотеть, чтобы не потеряться в откуда-то выплывшей тучке, и потянул уже с Мёрзлого моря свежачок-ветер, предвещаая перемену погоды, а он всё не менял настроения. Обо всём думал Куриль, но вот почему-то Христос, верховный его покровитель, не толкнул его в спину и не сказал: «О чертях, Афанасий, думай, они останутся и при мне. И ещё подумай о том, что перед концом своим шаманы и черти объединятся...». Впрочем, удивительнее другое: толкнуть своего избранника в спину и сказать ему эти слова бог должен был очень давно, а ничего этого он не сделал. Сейчас было уже поздно...

На то она и существует в году – Встречнева луна, чтобы в жизни происходило невероятное, по большей части – плохое.

А ведь уже случилось вот что. Куриль из стойбища, а чёрт – в стойбище. Нет, не просто чёрт – помесь шамана с чёртом.

Покуда Куриль ездил в Нижний острог, а потом опять в Средний, Кака успел несколько раз побывать в стойбище у юкагиров. Донельзя разбогатевший, изнывающий от безделья, всегда подвыпивший, он появлялся здесь как сильный шаман: после Тачаны в стойбище своего настоящего не было.

О том, что происходило в Среднеколымске, Кака рассказал в первый день. Рассказ этот был сплошь хвастливым и до ужаса неправдоподоб-

ным. Никакой тревоги у людей он не вызвал. За хребтом Арга-Таса⁹² будто бы началась большая резня русских с белоголовыми. Правда, Кака сказал, что там идёт и кровопускание пулями, но этому никто не поверил. Дело в том, что три снега назад на якутской реке Лене злые люди стреляли в добытчиков золота, и тогда весть об этом потрясла все тундры, – так люди решили, что Кака всё перепутал и войну со стрельбой выдумал для пущего страха. А хитрый богатый чукча и не разубеждал: резня так резня, и какое до войны дело юкагирам, ламутам, чукчам!.. Впрочем, шаман не собирался кого-либо удивлять действительно важными новостями. Главное, что было в Среднеколымске, так это званый пир у исправника. А больше вроде бы и ничего не было. Пир же исправник устроил не просто так, а затем, чтобы приблизить к себе шаманов и отругать тех, кто вмешивается в их дела. Куриль может подтвердить, что он, Кака, был посажен рядом с исправником, что исправник даже хотел наградить его царской наградой – крестом, только вот крест шаманы носить не могут. Правда, Каке пришлось вместе со всеми признавать нового бога – это он тоже сказал.

Сегодня чукотский шаман появился сразу, как только уехал Куриль. Он как будто прятался в тальниках и следил за всем, что происходит в стойбище: упряжка его остановилась у тордоха Ланги, а там уже собрался народ – знал шаман, когда и куда подъезжать. У Ланги же народ собрался по той причине, что жил он ближе всех к Халерхе, а каждому сейчас хотелось видеть и слышать как можно больше. К тому же Ланга – сказитель, с ним и толковать интересно.

Чукча не стал распрягать оленей и сразу вошёл в тордох.

– Га! Опять к нам шаман! – весело воскликнул Хурул, заметив на лицах сородичей мелькнувшую и тотчас же скрытую настороженность. – Видно, мы сильно понравились...

– Нет, это ему наша красавица не даёт спать, – поддержал шутиливое начало хозяин.

Все знали, что Кака давно поглядывает на Халерху. Никого это не беспокоило: Халерха – не забитая, не беспомощная Пайпэткэ. И люди лишь подтрунивали над шаманом: хорош кусок – только не по зубам. И Кака соглашался, гримасничал и притворно вздыхал...

– Садись к огню. Сейчас и вода закипит. Правда, чай кончился. Да ничего – бруснику найдём. Не в еде-питье – счастье – в разговоре хорошем.

С некоторых пор у Каки появилась привычка хохотать во всё горло, а верней – гоготать, подражая лошади. Преуспевал в жизни этот рослый, как жеребец, богач шаман, и чего ему было не гоготать при его крепком здоровье и всегда полном желудке!.. Сейчас, однако, он пропустил шутки мимо ушей. Кака был холоден и серьёзен, а значит, и непонятен.

– Что собрались всем стойбищем, отчего веселы? – спросил он, усаживаясь у очага и переплетая пальцы вместо того, чтобы достать кисет и трубку, – это означало, что долго засиживаться он не собирается.

– Встречнева луна пришла – вот мы и радуемся... – опять шутиливо, но с хитростью ответил Ланга. Он рассчитал так, чтобы гость прицепился к словам и скорей выдал себя.

Но Кака этого только и ждал.

⁹² Арга-Тас – горный кряж в верховье Колымы.

– Так... Хорошо ты сказал, хорошо. Чукчи тоже смеются над новым богом. Только надо не смеяться, а плакать. Какого бога русские хотят нам подsunуть?..

– Ты отвращать от бога Христа приехал? – предупредительно спросил Пурама.

– Мы грешные слова не хотим слушать, – сказал старый седой хозяин. – Хочешь с нами чай пить – говори о делах и о жизни.

– Ты на царской бумаге кровью поклялся признавать бога, – напомнил Хурул. – Мы все знаем. И поклялся жить смиренно.

– Га, поклялся! Я обманом обман покрыв. Келе видел – знаю, бога не видел – не знаю. А вам скажу: увижу бога – молиться не буду. Можно хорошему богу молиться. А Христ хороший? Они, русские, говорят: всё в его воле. Почему он, однако, Встречневу луну даёт каждый год, а пищу – не каждый? А люди без пищи пухнут и мрут. Может, сатана всем управляет? А если Христ управляет, то он хищный бог!

– Слова твои в онидигил полетели! – сказал хозяин, показав на дымоход. – Уходи из моего жилья.

– А! Гостя гонишь. Этому тоже новая вера учит?

– Не скалься – лица твоего не боюсь. Уходи.

– Постой, ке, – удержал хозяина Пурама. – Я хочу ответить ему – он уже замутил воду. Бог не даёт пищу – сказал? Даёт. Пищи всем хватит. Это вот ты, Кака, захватил её и не даёшь. Он, мужики, на бога всё сваливает! Не к богу в прошлый голод ходили – к тебе. Ты кому-нибудь дал мяса? Не дал. И люди умерли. А ведь олени-то почти все не твои. Смо-три, Кака, бог покарал шамана Сайрэ за кровь Мельгайвача, заморозил его – и тебе припомнит разбой и жадность.

– Я Мельгайвача от смерти спас, табун мой, – вытаращил жёлтый, порченный глаз Кака. – Обманщик этот ваш Куриль! Он именем бога и для божьего дела табун выиграл, а забрал себе. И бог ему нужен затем, чтобы толстеть. Он и в попы хотел приёмного сына вытащить. Что скажешь на это, хвост Куриля? Тоже, видать, захотел на старости жирно пожить? Всю власть задумали в свои руки взять, родственнички? – Кака харкнул и плюнул в костёр, над которым давно кипела вода. Из костра сразу вырвалась тучка дыма и пепла.

Все в растерянности притихли. Один Пурама не растерялся.

– Ланга, – сказал он, угрожающе бросив на пол рукавицы, – я что-то не помню, чтобы в моём тордохе гость в очаг плевал... А ну, собачий помёт, вынь плевков из огня! Рукой вынь.

– А это не я плюнул. Это вожак моих келе плюнул, – спокойно ответил Кака. – Он давно-о-о плюнул, а вот только сейчас плевков через меня долетел до места. Хочешь знать, куда мой келе попал? В лоб Курилю. – Шаман ослабил рот, обнажив дёсны, и победно оглядел собравшихся у очага. – Лоб-то Куриля ни на что не годится больше – только плевать в него. Га-га-га, га! – вдруг ни с того ни с сего заржал он, откинувшись назад, но быстро выпрямился и заговорил: – А вот теперь я скажу, зачем приехал и почему плюнул на вашего Куриля. Он на меня нож точил. Много, много лет точил. А разве шаман не видит? Видит. Он нож точит, а я ему потихоньку ноги арканом связываю. А? Во новость какую привёз! И связал. Кре-епко связал ему ноги! Вон, оплётанный, полетел к Мёрзлому морю... Теперь бросится на меня, а ноги-то спутаны...

– Что сделал? – вскочил Пурама. – Свадьбу расстроил?..

– Свадьбу? Ах-ха-ха! Га-га-га, ги-ги-ги... Свадьба? Какая? А Халерха за шамана пойдёт?

– За какого шамана? – побледнел Пурама, осторожно нагибаясь и дрожащими руками поднимая рукавицы.

– За шамана Косчэ, – ответил Кака. – Не знал? Ах-ха-ха-ха, га-га-га... Камланит Косчэ, давно камланит...

– Ты не шути! А если пьяный – заткни рот рукавицей!

– Я у исправника был пьяный. А нынче я трезвый. Ох-хо-хо, га-га-га, ги-ги-ги... Поп – шаман! Гусь – медведь, бог – шайтан. Так бывает? Га-га-га!.. Я ошаманил его. Потому он в стойбище и не едет, дураки! А божий дом как теперь строить? Главный строитель – пень, чурбан. Кто доверит ему и где другого найдут?.. Я до самой смерти буду переезжать Курилю дорогу. Залью всю тундру оленьей кровью, чтоб негде было божий дом ставить.

Пурама замер в нерешительности. В глазах у него было темно. Сам собой промелькнул в памяти случай, когда молодой Ниникай хотел пырнуть ножом подлеца Алитета. Пурама был точно в таком состоянии, как тогда Ниникай. Он даже украдкой взглянул на правый камус, хотя и знал, что за голенищем ножа нет. Что-то ещё говорил Кака, но Пурама услышал лишь его гоготанье. И он чуть-чуть не отвёл назад ногу, чтобы ударить в подбородок шамана, сидевшего очень удобно для этого... Нет, не ударил. Сдержался. И не с облегчением, а с новой болью понял, почему не ударил. В словах Каки кое-что было правдой. И правда эта касалась зятя Пурамы – Куриля, с которым у него так и не вышло родственной дружбы.

А шаман тем временем распял себя хохотом. Он уже лежал на спине, сучил ногами, мотал головой и оглушительно, с подвизгиванием гоготал.

Пурама шагнул через него и выскочил из тордоха.

ГЛАВА 5

Дорога была дальняя, и Пурама через силу не горячился: с зимней тундрой шутики плохи – поспешишь со сборами, пропадёшь из-за пустякового недогляда. Ниникай потому и застал его в стойбище, что ехать по следу Куриля Пурама решил ночью. Ниникай появился в стойбище не просто так. Большие события из Среднеколымска переметнулись в Улуро, в стойбище у Соколиной горы. Ему стало известно, что Куриль тайно встречался с исправником и попом и сильно повлиял на эти события. В своём кочевье он оставаться не мог. Тем более что надо было поговорить с Ханидо, которого неожиданно быстро могли увезти в Среднеколымск. По случайности он опоздал: события уже закрутились...

Пурама сразу предупредил Ниникая:

– Как гостя принять не могу. Уезжаю. И далеко.

– Я думаю, надо Куриля догонять. Если ты собрался туда, я хотел бы поехать с тобой.

– Ты уже слышал? Сирайкан этот Кака... А тебе ехать зачем? Я один.

Я один поворотливей. По-родственному говорить буду.

– Пурама, ты поверил Каке?

– Поверил. Почему Ханидо поддался – понять не могу. Одно знаю: Куриль виноват не меньше Каки. Назвался отцом, а за три года ни разу не приехал к приёмному сыну. Шибко важным медведем стал, забыл, что простым пастухом был. Видишь, унижение для него. А парень, может, болел. Тут и Кака... Он и меня оттолкнул от себя этой важностью.

– Ну и я отошёл от него почти по той же причине, – сказал Ниникай. – Только, думаю, делать сейчас надо не это. Курилю лоб почесать можно потом. Дело-то пропадает какое. Поправить нельзя? Раз идёт такая игра... Наглость чем победить можно? Не попытаться ли одурачить Каку? Если б нить?..

– Если бы... Ты плохо знаешь эту заразу. Вот – попробую расшаманить. – Пурама кивнул на ремни.

– Бить? Э-э, толку не будет. И ты с ним не справишься. И не тебе бить его. Ты учил его тягости переносить, из-за жестокости он не очень тебя любил...

– Было такое. А ты что хочешь сказать?

– Будешь бить – совсем обозлится. Он не мальчишка, а парень. Слова сильнее ремня.

– Слов у меня хватит.

– Мои слова посильней твоих будут, – сказал Ниникай. – Хочешь знать, я больше тебя на него влиял. Я моложе тебя, и он доверялся мне.

– Влиял! Если б сильно влиял, он бы к себе шамана не подпустил.

– Хорошо. Я без тебя поеду. У меня с Какой свои счёты. – Ниникай начал натягивать рукавицы.

– Ладно, вместе поедem, – отступил Пурама. – Ке! – позвал он жену. – Чаю гостю налей. И еду готовь на двоих. Нет, еды положи побольше. Вижу, дело затянется.

– Ну, хорошо, – обрадовался Ниникай. – На, крепкого табачку покури. Русский. У меня полон кисет – хватит на всю дорогу. Плохо у вас с табаком?

– Плохо. И чаю ни у кого нет.

– Э, знаю. В стойбище хоть не показывайся: и мужики, и бабы, и дети – все на карман смотрят – беда с табаком.

– А скажи: что-то не было слухов о твоей ссоре с Какой? К жене небось пристававал?

– Если бы пристававал просто – четвёртый снег без зубов бы ходил.

– А что было четыре снега назад? Расскажи, пока я сбрую чиню.

Жена Пурамы налила Ниникаю брусничного чая.

– И ты брусникой завариваешь? – удивился чукча-богач.

– Да уж просить не пойду... Что было с Какой?

– Не поверишь, но я перестал шаманов бояться всего четыре снега назад. Отца-то я так и не провожал в тот мир. И жена моя не душила его. Слыхал, брат Тинелькут с женой держали аркан. А вот как убежал от этих обычаев – стал сильно бояться шаманов. Духов боялся. А ещё сильнее боялась жена: родила-то она при мне, при мужчине...

– И ты попросил Каку спасти от мести келе? – поторопил Пурама Ниникай – он хорошо знал шаманские хитрости.

– Сам бы не попросил. Жена... И пошёл я к нему. Дурак... Нет, пра-

вильно сделал тогда, а то бы до сих пор боялся шаманов... Попотешиться решил надо мной, сволочь. Восточных духов, говорит, можно легко обмануть – как волков. Сперва бросить тушу оленя, а на другой день подкинуть кусок мяса с отравой. Печень, говорит, моя – это его, значит, печень – будет отравой для духов. Запутал словами... Ну, я согласился, чтоб он пожил у меня, а я – в яранге его старшей жены. Переселились на десять дней. Надел я его малахай, надел кукашку его. Как ночь, места себе не найду: лежит рядом старуха, вся сморщенная и усатая... Правда, две ночи всего так мучился. А на третий день прибегает моя Тиненеут. Бежала, как от медведя. Я скорей переоделся – и изо всех сил в своё кочевье. Голого захватил Каку – лежит под одеялом. Думал, что я Тиненеут отошлю обратно. Ну, я его за косу – и пинка под зад...

– Зимой это было? – спросил Пурама, не засмеявшись и даже не удивившись.

– Перед самым Покровом. Снег был по пояс... Он долго просил штаны. Сильно стучал зубами. Потом проклял меня и всех моих родичей, зарычал и побежал, как олень...

– А я бы ещё и собак натравил на него... Но ты промолчал! Промолчал! Почему промолчал? – отбросил Пурама сбрую.

– Испугался я.

– Испугался... – метнул Пурама уничтожающий взгляд на гостя. – Ты промолчал – испугался, я промолчал – испугался, а им этого только и надо. Меня не один шаман проклинал, а вот я уже старею – и ни разу ни дух, ни чёрт не гнался за мною... Ладно. А моя тихая жизнь кончилась. Много лет я был в стороне. Теперь – хватит... Собирайся – едем. Ке, я одеваюсь. Куда мы поехали – не говори никому.

Пока Пурама с Ниникаем добирались до устья Новой реки, голова юкагиров успел объехать всё побережье моря на запад от этих мест. Оглядел он и дальние берега Малой Куропаточьей речки. Но ни тордоха, ни следов человеческого жилья он не нашёл. Здесь кругом было дико и глухо, всё живое будто вымерло, вымерзло. Лишь на третий день, в сумерках, Куриль наскочил на огромного беляка медведя. Они мирно разошлись в разные стороны. С испугу Куриль прыгнул на нарту и помчался обратно, на восток, решив искать Нявала где только придётся.

Но дальше ему вовсе не повезло. Неожиданно разыгралась такая пурга, что не стало видно даже оленей. Остановился Куриль. Кое-как набрал плавника у самого берега моря, расковыряв руками длинную полосу жёсткого снега, перетаскал плавник за бугор, в затишье, с трудом разжёл костерок. Ножом настругал мёрзлого мяса, вынул флягу, налил в крышку водки, плеснул на огонь, добавил, выпил.

И приободрился. Конечно, было досадно, что разыгралась пурга. Но одет он был хорошо, олени добрые, еды много. Трое суток он только дремал, но не спал – почему бы по-настоящему не заночевать? Пурга кончится – тогда можно искать. Выпил ещё – и с усталости, с голода захмелел.

Сидя на нарте, протянув ноги к огню и спокойно пережёвывая строганину, Куриль быстро забылся и начал мечтать. В ушах раздался приятный перестук железных топоров – это казаки дружно тесали брёвна для божьего дома... Под этот перестук мысли его потекли хоть отрывисто, нетерпеливо, но складно. Он видел себя с непокрытой и задранной вверх головой, среди богачей всех званий и всех кровей, среди огром-

ной массы простого люда – это казаки на ремнях тянули под крышу божьего дома огромный колокол, а он, голова всех юкагиров, ламутов и чукчей, окружён почестями, рядом с медалью на груди у него крест – наверно, большой крест, чуть поменьше, чем у попа... А вот огромная упряжка лучших оленей несёт его через все тундры, через тайгу и горы напрямик к дому царя Николая – это царь захотел увидеть его... Или не так. Через много-много снегов он вернулся в средний мир из божьего мира – и видит совсем незнакомых людей, иную жизнь, иную землю. Юкагиры, якуты, ламуты, чукчи читают божьи книги, мудрый шаман разъезжает по стойбищам и спрашивает, не захворал ли кто, пастухи у богачей не постоянные – они часто меняются, чтобы никто не уставал, а рыбаки и охотники сами ездят на ярмарку, которая есть в каждом большом стойбище: вожаки родов вместе с русскими начальниками, священниками и учёными людьми живут как друзья, все дела решают по добровольному сговору.

Прерывая мечты, Куриль начал рассуждать, возвращаясь ко всему тому, что произошло у исправника и отца Леонида. «Ничего, война не сто снегов будет идти, и пули не всех людей перебьют. А за это время Косчэ попом станет... – Нагнувшись, чтобы подбросить в огонь плавника, он вдруг замер. – Неужели могут убить царя? – подумал без всякой связи, не успев распрямиться. – А может, уже и случилось что, да сюда слух не дошёл? Чего это я так спешу, без удержу мечусь по дальним тундрам – не от дурного предчувствия ли?.. А если с царём что случится, то у исправника, наверно, отнимут печать. Или убьют? А за исправником я иду... Но меня-то народ в обиду не даст! Кроме меня, кто боролся с шаманами? Да никто. Бубен Тачаны всё-таки я разбил... А мало ли я людей накормил, одел, защитил, спас от смерти!.. А разве не помнят люди, как я ругался с исправником, как тушил вражду между чукчами и юкагирами?.. Нет, табуны отобрать бунтари могут у тех, кто добро нечестно нашёл. А я выигранный табун людям раздам... А как без купцов жить? Без них тундра начнёт дичать, но прежде чем одичает – перемерёт вся, даже с добром богачей!.. Да, исправник ещё и о боге сказал. Что он сказал? А-а... Учёный вожак бунтарей и на бога замахивается? Ну это уж Друскин для страха. Или спьяна... Хотя я-то замахнулся на всех шаманов...»

Запутавшись и ничего не понимая, Куриль долго сидел, согнувшись, бессмысленно глядя в огонь, который всё жалобнее просил еды, умирая под напором густого, как ливень, снега.

И вдруг сквозь путаницу его мыслей будто мелькнула стрела. Здравая мысль напрямик чиркнула через огромную тундру, через Колыму, и вместе с ним ворвалась в дом отца Леонида. «У меня там свой человек будет! – обрадовался он. – Среди важных царских людей, среди русских богачей, у самого священника. Всё буду знать. Оттого мечусь, что мало знаю. И обманывать меня тогда будет трудно. – Он поспешно бросил в костёр охапку топлива – плавник, облегчённо плюхнулся снова на нарту и почувствовал себя хоть не божьим избранником, но всё же самым удачливым. – Кому ещё из всех богачей от Мёрзлого моря до Якутска так повезло? Никому».

Он снова открутил крышку фляги и налил в неё водки. Огонь в это время взметнулся вверх и проглотил дым, осветив густо летящий снег. Куриль бодро спросил у огня:

– Хороший парень мой Ханидо? Сумеет он послужить мне и всем юкагирам? Ну-ка, скажи, огонь...

Он плеснул немного водки в костёр. Но водка не вспыхнула. Даже напротив: огонь жалобно пискнул, будто щенок, которого стукнули по носу.

– Га! – удивился Куриль. – Какой ответ слышу! Ты говоришь «нет»? Или не согласен, что Ханидо парень хороший? Хороший, хороший – я знаю. За его большую дорогу...

Он выпил, обтёр ладонью губы и вдруг прислушался: кажется, олени насторожились. Точно, насторожились – повернули головы в сторону своего следа. «Волки, сирайканы, бродят, наверное», – подумал он и принялся собирать с тряпки остатки еды. Однако олени громко фыркнули, напряглись.

– Чего вы, пустоголовые? Песцов испугались? – вслух поругался на них Куриль и начал жевать стружки мёрзлого мяса.

Назло тревоге он хотел было запеть, но тут отчётливо услышал свист.

«Э-гей, кто-то едет по моему следу... Косчэ, наверно. Или Нявал. Кому же ещё тут быть?..» Как и все люди Севера, Куриль хорошо видел впотьмах. Сейчас, однако, валил густой снег, и видеть можно было не дальше оленьей упряжки. Мимо огня никто не проедет, но для верности он сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул. Издали донёсся ответный свист. Куриль положил флягу на видное место, поближе к костру, чтобы радостнее была встреча, и поднялся на ноги.

Потом он различил два движущихся, более тёмных пятна. «И отец, и сын – оба едут. Всё хорошо...»

– Э-гей, сюда! – крикнул он. – Я давно вас ищу. Чуть не разъехались...

На яэттэке, однако, сидел Ниникай – и сердце Куриля мигом стихло и напряглось в тревожном предчувствии.

– Гоччмей! Как ты здесь оказался?

– Гык, мэй, наконец-то догнали тебя... – Ниникай встал с яэттэка, но Куриль уже видел шурина Пураму, слезавшего с нарты, и язык его отказался перекидываться пустыми словами.

«Неприятные новости, – подумал он. В голове пронеслись мысли: – Не умер ли кто из моих, раз Пурама ехать решил? Но жена здоровой была, и племянник Мэникан тоже. А не из острога ли какая важная весть?..» И всё-таки он постарался не выдать волнения.

– А я тут как раз флягу достал, – по-хозяйски приветливо сказал он. – В пургу хорошо у костра водочки выпить. Вот только плавника мало осталось. Придется идти ещё раз.

– Думаю, не придётся, – хмуро и напрямик возразил Пурама.

Но Куриль снова сдержался, хотя тревога так и ударила в оба виска: перед шурином было совсем неприлично вздрагивать, как олень.

– У Пурамы спешные дела в этих местах? – спросил он.

– Нет, мы же по твоему следу, Афанасий Ильич, ехали, – ответил за Пураму Ниникай. – Тебя догоняли.

– А я никого не звал с собой, – продолжал упрямствовать Куриль. – И откуда мне знать, что вы по моему следу едете?

Пурама, однако, хорошо знал эту манеру зятя: тревожную весть он ни за что не захочет услышать сразу – важность на себя напускает. Но

сейчас тревога касалась лично его, дела всей его жизни, и Пурама, причастный к этому делу больше других, оборвал пустопорожнюю игру в выдержку. Не протянув руки к фляге, которую подавал Куриль, он сказал:

– Плохую весть мы привезли. Совсем плохую. Кака натворил что-то. Кажется, испортил нашего Ханидо – научил шаманить.

Рука Куриля опустилась, из фляги полилась водка, и он не заметил бы этого, если бы Ниникай не выхватил у него флягу.

– Где... остановился Нявал? – не своим голосом, задыхаясь, спросил он.

– Целую ночь надо ехать. На восток.

– Едем. Сейчас же... Разорву, растопчу – не знаю что сделаю с этим Какой, если тут хоть половина правды! – Сжатый кулак Куриля закрипел так, как скрипят зубы. – Хочу услышать всё, что вы знаете.

Присев на нарту зятя, Пурама сильно, наверно, до боли, сдавлив ладонями узкое, худое и мокрое лицо, собираясь с мыслями.

– Стойбище свадьбу ждёт, – сказал Ниникай. Он надеялся, что Пурама зацепится за эти слова и начнёт с того, о чём они говорили в дороге. Но Куриль резко повернул к нему голову:

– Что? При чём тут свадьба? Я уехал – Кака приехал. Что было дальше?

В мокрое лицо Ниникая будто ударило жарким ветром. Но он словами не выдал обиды, а лишь замолчал, шагнул к костру и к нарте уже не вернулся.

Зато вспылил Пурама. Он отнял от лица ладони и, вставая, заговорил:

– Свадьба при том, что люди ждут её. А не один наш голова! Я уже старый и вижу, что жизнь какой была, такой и осталась: средний мир и есть нижний мир. Люди ждали хоть раз увидеть юкагирское счастье, чтобы надежду напрочь не потерять! И я потому же столько снегов учил Ханидо и возился с ним. А теперь что? Халерху отдавать за шамана? Толкать в чёрный мир, как Пайпэткэ? Этого люди ждали? Вот что Кака наделал.

– Н-нет!.. Не верю, – выдавил сквозь зубы Куриль. Он отскочил от шурина, бессмысленно шагнул к костру, резко повернулся кругом. – Зачем кричать, как хагимэ? Они сами ещё не видели, а уже шум на всю тундру. Пьяный был, наверно, Кака! Он всегда пьяный. Может, и взял парень бубен для баловства. Я тоже брал...

– Нет! Трезвый он был. И ему незачем наговаривать на себя. В таких делах он не шутит! Он так и сказал: «Шаман Косчэ, шаман!». Всё стойбище эти слова повторяет... И сказал, что он ошаманил его, он!

Руки Куриля метнулись к груди и пальцы стали искать что-то на шее – одежда будто вдруг стала душить его.

– Конечно, может, и не совсем ошаманил он парня, – продолжал Пурама. – Только и это не радость. Никакой поп теперь в обучение его не возьмёт! Кака знал, что делал! Ну, молодой, ну, можно назад повернуть. А дело-то было! А слухи! Да и как без скандала раскаться-то заставишь? Э-э, тут всё пропало. – Пурама закричал и сел обратно на нарту.

Куриль молчал. Но внутри у него всё не то что бы кипело, а металось: он то держал голову беспомощно уроненной на грудь, то резко

поднимал её и глядел в темноту, будто собираясь прыгнуть на нарту и стегнуть оленей. Ниникай, однако, уже не боялся, что Куриль, поняв всё по-своему, не узнав мыслей ни Пурамы, ни его, Ниникая, сорвётся с места и разъярённым помчится к Нявалу. Пурама взял верх в разговоре. Кроме того, он просто не давал опомниться зятю – слишком долго он ни во что не вмешивался, и теперь его как прорвало.

– А что делать с отцовством, с обещанным богатым наследством? – спросил он, не щадя старика. Теперь Пурама глядел снизу вверх – и в глазах его страшновато мелькало пламя костра. – Слово своё назад? Перед народом? Пускай шаманит? Значит, победа Каки? Или оставить наследником сына-шаманчика? Ржать Кака будет не лошадию, а целым табуном лошадей... Э, да это уж не моё дело. А вот как мне в стойбище возвращаться, как дальше жить? Хорошего богатыря воспитал... для шаманства! До самой смерти моей люди будут смеяться. И уеду в тот мир одураченным...

– Что было в стойбище? Какие слова говорил Кака? – сдавленным голосом прошипел Куриль.

Но Пурама знал своё:

– Плохие слова. Хуже этих слов я не слышал. Но я думаю, тут при- мешалось ещё одно дело. Народ свадьбу ждёт. А Кака давно слюни глотает – на Халерху поглядывает. Может, как раз потому и посчитал он, что пора карты раскрыть. Жениха-то он с дороги уже убрал: больной Хуларха если не умрёт от дурной вести, то о Ханидо больше и слышать ничего не захочет.

И сама Халерха скорей за якута или за русского выйдет, чем согласится жить с кривлякой из чёрного мира. Вон сватовство-то было какое! Судьба Пайпэткэ у них на глазах – каждый день Пайпэткэ в тордохе у них сидит. Но Халерха может одно думать, а у Каки расчёты свои! Хуларха плох, со дня на день может уехать в тот мир. И останется Халерха без отца и без матери. А разве не принудил к сожительству старый шаман Сайрэ бедную сироту – красавицу Пайпэткэ? Вон Ниникай расскажет, как этот чёрт обкручивает даже замужних женщин...

Куриль уже не метался. Он стал рядом с нартой, боком к шуруну и, слушая его одним ухом, глядел и глядел в темноту, наглухо забитую летящим снегом. Но он успокоился только внешне, устыдившись своей несдержанности. А мысли и страсти его метались куда сильнее прежнего. Слова Пурамы стегали его по чём попало, и он – будто совсем раздетый – едва успевал поворачиваться. Каждый новый удар обострял болезненность прежнего. Но резче всего была боль неожиданная: Куриль не знал, что Кака поглядывает на Халерху, не знал, что у Халерхи могут быть свои, особые мысли, не знал, что Хуларха при смерти, что дела двадцати-тридцатилетней давности очень просто могут повториться теперь. Незнание всех этих мелких, чисто стойбищенских новостей Пурама и не ставил ему в упрёк, но сам-то Куриль сейчас видел, что как раз из-за этого – из-за своей важности, отдалённости от простых людей – он и попал в беду. Далеко не все последствия такого промаха Куриля смогли предвидеть и обговорить в дороге Пурама с Ниникаем, но и сказанного было довольно, чтобы Куриль хорошо понял: положение его не просто жалкое, а скандально-жалкое и нетерпимое. Вот и уставился он в темноту, пытаясь одновременно и слушать, и искать выходы

из своего ужасного положения. Но до момента, когда настала возможность окоротить Пураму, заговорившего уже совсем невпопад, Куриль успел только решить, что ему, наверно, никак нельзя возвращаться к людям вот таким – униженным и осмеянными...

– Так, хорошо, ладно, – сказал он наконец. – Хорошо, что догнали меня и что всю дорогу ехали злыми. Но костёр гаснет, огонь кормить нечем, а я ещё не слышал, что было в стойбище. Выходит, Кака нарочно приехал, чтобы топтать меня, смеяться надо мной и хвалиться своей победой?

– Да, это было так, – сказал Пурама. – Я думаю, он весь день вокруг стойбища ездил – следил и ждал... Мы собрались в тордохе... Ланги – поближе к невесте: много людей собралось...

И он начал рассказывать.

Ниникай, до сих пор то разминавший ноги, то пытавшийся продлить костру жизнь, почуял, что разговор сейчас может перекинуться и к нему. Он обиделся на Куриля: он ведь тоже богач, и Куриль должен был оценить то, что он оказался рядом в тяжёлое для него время. Тем более должен был оценить, что беда от Каки – от чукчи пришла, а Ниникай тоже чукча, но вот бросил всё и помчался в дорогу. А Куриль оборвал его на первом же слове. Сейчас, однако, наступит перелом в разговоре. Куриль перестанет важничать и по-человечески спросит: «Что же делать, друзья?» – и тогда Ниникай поймёт, что не всё потеряно, что взаимная неприязнь забыта, что он почуял свою вину.

Пурама продолжал говорить, и Ниникай подошёл ближе. Он сел на снег возле нарты, у его ног. Костёр умирал – ветер пытался раздуть угольки, а снег засыпал их, тушил. Стало темно... Ниникай внимательно слушал и ждал. Он знал, что Куриль сейчас вконец разозлится. Дело в том, что родственники Пурама и Куриль всю жизнь были обязаны разговаривать уважительно – отвлечённо, не называя друг друга ни на «ты», ни по фамилии, ни по имени: Куриль – это «они», и Пурама – тоже «они». Но сейчас, взбаламученный, всерьёз обиженный и злой на Каку, на Куриля, на самого себя, Пурама повторит грубые, оскорбительные слова шамана: конечно, он может переиначить, вместо «Плевал я на Куриля» сказать «Плевал я на них», однако он не сделает этого – скажет так, как говорил Кака. И Куриль поймёт, что дела его слишком плохи, чтобы одному искать выход...

– ...Плевал я на вашего Куриля! – смело произнёс в темноте Пурама.

И решительный, ничего не теряющий шурин посыпал на лысую голову знатного зятя такие слова, каких тот не слышал даже в те годы, когда был пастухом.

Не зная, так оно всё было или не так, Ниникай настороженно дождался конца рассказа.

– ...Я перешагнул через него, ушёл и не знаю, что говорил он ещё, как уехал... А что потом говорили в стойбище – вон Ниникай скажет, – заключил Пурама.

Шумно, порывами шелестел снег. Олени скребли копытами, разгребая наст, но только фыркали – жевать было нечего на сухом берегу моря... Все трое молчали. Но главное – молчал Куриль. Пурама ждал-ждал от него хоть двух-трёх слов – не дождался, встал и подошёл к чёрному пятну – ещё теплым остаткам костра. Он начал рукой искать в

пепле живой огонёк, чтобы положить тлеющий уголь в трубку. Куриль продолжал молча стоять на полозе нарты. Не согревшийся у костра, весь облепленный снегом, с сосульками вместо чуба, Ниникай хотел было предложить ему задержаться ещё ненадолго – набрать плавника, запалить снова костёр, перекусить, но Куриль опередил его.

– Что в стойбище, Ниникай? – Голос его был слабым, упавшим. – Плохо, однако? Меня ждут как всемогущего бога или как старого быка, изодранного волками?

– Пурама уже сказал, что в стойбище, – сурово ответил Ниникай. – А сейчас Встречнева луна – люди полуголодные, потому злые.

– На кого злые?

– Пока на шамана-чукчу. Но могут возненавидеть и всех чукчей.

– А Пурама сказал так, будто на меня злые...

– Пурама вперёд смотрит – я так понимаю. Могут и от тебя, Афанасий Ильич, отвернуться. Могут! Ты же всё с исправником да с исправником, ну ещё с богачами и купцами. И люди решат, что тебе не до них...

– Вы зачем меня догоняли? – вдруг повернулся к нему Куриль.

– Люди веру в добрые перемены не должны потерять! – встал на ноги Ниникай. – Они считают тебя заступником. А заступник злым должен быть. И помощь тебе нужна, потому что скандал очень большой.

Ничего не ответил на это Куриль, он медленно побрёл вдоль кромки сугроба, кажется, сменив из-за большой похвалы гнев на милость. Когда он вернулся назад, Ниникай встретил его словами:

– Надо всё это повернуть против Каки...

– Ладно, – ответил Куриль, – сам разберусь, куда что поворачивать надо.

Он сел на свою нарту, надел варежки, положил на колени руки.

Так он сидел долго, глядя на часто пыхавший в кулаке Пурамы огонёк трубки. Наконец он разобрал вожжи и тихо проговорил:

– Хоть аркан надевай на шею. Поехали...

Он моментально скрылся из глаз, как будто его и не было.

– За все три снега хоть бы пачку чаю послал мне, – сказал Пурама Ниникаю. – И не от жадности. Душа вроде добрая. Но вот независимость признаёт только свою. Иди жалуйся ему, унижайся перед ним или хвали его. А без этого шею не повернёт к тебе. А теперь об аркане заговорил. Если б не такая беда, я бы ему сказал...

Они разошлись, и две упряжки ринулись в темноту вслед за первой.

Потерять друг друга ездоки не боялись: была середина ночи – до рассвета далеко не разъедешь, да и олени хорошо чуют след. Вырваться сильно вперёд Куриль тоже не мог: нарты всех трёх ездоков то и дело проваливались в сугробы, ну, а Куриль был погрузнее попутчиков и к тому же менее ловкий; могло даже случиться наоборот – они могли обогнать его. И поэтому Пурама с Ниникаем не очень спешили.

А из-за густого снега, из-за темноты олени влетали в сугробы часто. И ездоки барахтались, не выпуская из рук вожжей, сами месили снег, тянули нарты, помогая оленям и стегая их.

Говорят, какая дорога – такие и мысли. Сейчас получалось хуже: мысли каждого из троих сами по себе были под стать дороге, и поэтому путь к безрадостной цели сразу же оказался вдвойне тяжким и вдвойне суматошным.

Труднее всего было барахтаться Курилю. Уже в четвёртом или пятом сугробе он начал пыхтеть, а потом его новые ситцевые штаны и рубаха, надетые перед поездкой в Среднеколымск, прилипли к телу – он потел, сморкался, падал, ругаясь, вставал и, не отряхнувшись, бежал за упряжкой. Но препятствия он всё же одолевал и продвигался вперёд, а вот мысли заносили его в такие завалы, из которых не было выхода. Ехать снова в Среднеколымск и закричать в лицо Друскину: «Какое спокойствие может быть в тундре, если богатейший шаман замахивается на бога, а значит, и на царя?..». Друскин не захочет, узнав, что случилось. Даже рассвирепеет. И Каку может схватить. А толку-то что? «Э, а Куриль-то вовсе не умный, – рассудят в Среднеколымске. – Раз его можно так одурачить, раз он ничего у себя под ногами не видит, то нельзя ему доверять. Церковь построим у чукчей или ламутов, тундру начнём крестить с другого конца, а в обучение от Куриля никого не брать». И тут не поможет даже отказ от отцовства... Тогда полный позор.

Нет, допустить это нельзя. Надо придумать что-то и сделать что-то – может быть, резкое, но достойное прежней чести. Что можно сделать? Отказаться от Ханидо. Договорённость Нявал нарушил. Куриль, значит, не виноват. А оставлять шамана наследником он не собирался. Пусть шаманит. Тем более что никакая власть не захочет, да и не может распорядиться: принудить парня раскаяться в дьявольской вере и приставить его к святой церкви. Совсем надо отречься от этого Ханидо. И тогда в обучение можно будет отдать другого, юкагира, конечно; и тогда можно будет сказать попу и исправнику: «Парень в одиночестве бубном баловался, а я не захотел, чтобы человек с таким грехом вошёл в святой дом. Другого – надёжного – отдаю». И Кака после этого запищит, как мышь под лапой песка...

Народ? Что – народ? А, он хочет в жизни, как в сказке, увидеть юкагирское счастье – «поженились молодой богатырь и красавица»... Иначе народ потеряет надежду, от заступника отвернётся? Но ведь народ, как и Пурама с Ниникаем, тундру оглядывают со старых маленьких кочек! Куриль не сказку выдумывает, а жизнь переделывает, и не о двоих он думает, а обо всех. Люди ещё будут молиться на тордох Куриля... А если уж всем непременно хочется увидеть счастливыми Ханидо с Халерхой, то будет и это. Не пройдёт трёх-четырёх снегов – и раскается Ханидо. Халерха терпеливая – подождёт. Ну, а он уж в полной бедности их не оставит...

...Отказаться от Ханидо... Да ведь нельзя отказаться-то! Нет у Куриля сына, нет наследника. Для кого пасётся столько оленей? Кому их оставить? От одного отказаться, а другого взять? Кого попало усыновить? Но приёмный сын – это не шапка: одну скинул, другую надел... Да и в этом ещё не вся беда. Курилю нужен не просто сын – наследник, а сын – преемник, преемник его дел и забот. Это должен быть или поп, или будущий голова, умеющий объясняться словами на бумаге и вести себя независимо среди русских начальников и якутских тойонов⁹³... На одного Ханидо Куриль мог положиться. Некем его заменить. Некого даже вместо него отдать в обучение. К парнишке Сайрэ приглядеться? А когда приглядываться? Он к тому же сын шамана Мельгайвача, полчучка. Но пусть даже и он. А какой ум у него? Сметливый, говорят.

⁹³ Тойоны – якутские господа.

Но так, может, для утешения Пайпэткэ говорят. Куриль не знает Сайрэ. Племянника Мэникана бы. Но ведь глупый же он! А жадный, как Пётрдэ... Идти на риск? Но Куриль слишком стар. Попадётся тупой парень – и станет голова юкагиров посмешищем для якутов, для русских, чукчей, ламутов, а юкагиры-потомки скажут: глупым, видно, был тот вожак, раз дурака принял за умного... И как бы Мамахан не вмешался. «Выхода, – скажет, – нет. Давай отправим якута». А уж якуты не подведут...

Что делать?..

Это была у Куриля самая тяжкая в жизни дорога. Он пообещал Ниникаю и шурина самостоятельно найти выход из положения, но к середине ночи уже понимал, что подходящего выхода нет, а есть только неподходящие. Вот существование этих неподходящих выходов и мучило его до рассвета, до очень позднего рассвета шестой луны.

Особенно тревожило появление Ниникая. Конечно, оно вроде бы и хорошо было, что рядом, под рукой, оказался сильный и решительный человек, да и в тяжкое время на выручку не может спешить безнадёжный враг. Однако голова юкагиров, когда-то пригревший Ниникая – беглеца из Восточной тундры, но разошедшийся с ним, понимал, что на выручку бросился хоть не враг, но и не друг. Уже вырвавшись из сплошной снежной осыпи, из сугробов и редко вскакивая с нарты, Куриль так думал о Ниникае: «Палка без руки. Понимает, что рука – это я. Сгорю я – он пить начнёт или попадёт в тёмный дом из-за опасной игры и опасных выходов... Заблудиться бы ему сейчас, а найти проклятый тордох через сутки... Э-э, не заблудится...» Ещё больше не нравилось Курилю, что Ниникай прилетел вместе с шурином, который не только переживает и хочет помочь, но ещё и злорадствует, злорадствует по-родственному, куда острее, чем Ниникай, – в этом он не сомневался. «В дороге-то они сорок раз останавливались – сговорились... Теперь будут давить...»

Всё впереди было плохо, даже при самом счастливом конце.

Постарел Куриль – обессилел. Сугробов попадалось всё меньше, олени часто переходили на шаг, а он не спешил теревить вожжи. Лицо его было мокрым всё время, но глаза казались сухими, безжизненными, будто их забивало песком, а не снегом.

К рассвету лицо Куриля почернело, щёки ввалились, а скулы выпятились, как коленки оленей.

Случилось так, что с приходом рассвета ужасная ночь, полная неопределённостей и тупиков, будто канула в вечность. Олени вдруг сделали заворот, остановились и понюхали снег. Дорога! Следы от нарт. На скользкой корке старого снега, облизанного ветром, были хорошо видны полосы-вмятины, и не две, а много.

Куриль встал ногами на нарту, выпрямился и начал оглядываться. Снег в этих местах, видно, лишь перепархивал, а сейчас только ветер дул. Куриль без особого напряжения различал вдалеке, на подъёмчике, два пятна. Кто это – Нявал с сыном или Ниникай с Пурамой? Сердце забило: а вдруг?.. Но кто бы там ни появился, Куриль не сдвинется с места – пусть к нему едут. Это неважно, что самого Куриля и его упряжку различить трудно, потому что всё сплошь облеплено снегом. Должны заметить, если он их заметил. Он уселся на нарту, стал ждать.

И точно: пятна разделились, и одно из них начало двигаться вниз.

И только теперь Куриль тронул упряжку. А пятно остановилось, потом повернуло назад. Правильно, в ту сторону надо ехать.

Нет, счастье не улыбнулось в чёрное лицо уставшего, наказанного судьбой человека. Это были Пурама и Ниникай.

Сильно позавидовал Куриль Ниникаю – чукча был бодр, ветер подрумянил его лицо. Что ж, человек ещё молодой и самонадеянный. А в глазах у Пурамы и во всём его узком лице – возбуждение и решимость.

– Чёрт не сумел нас запутать, и никакие духи не завязали глаза, – сказал Ниникай, когда все поднялись на ноги, чтобы поговорить.

Это можно было воспринять как намёк: уверенность не покинула за ночь попутчиков.

– Ниникай, – сказал Куриль. – Тогда, в Среднеколымске, исправник хотел посадить тебя в тёмный дом. Может, не сразу, а потом, но хотел. Спас тебя я. Даже подозрение от тебя отвёл. Скажи: зачем ты сорвал пир у исправника?

Чукча задумался – начал закуривать.

– Один человек сказал мне, – стал отвечать он, глядя в чубук: – «Если русские купцы и царские люди обнимутся с нашими богачами, то вместе они разорвут тундру, как волки оленя», из-за пушнины, шкур, мяса, рыбы, клыков, жира... Наши богачи знают это, хоть и боятся только за своё добро. Исправник хорошо понял меня.

Куриль отвёл взгляд в сторону от трубки и рук Ниникая.

– А что ж ты теперь задумал? – спросил он. – Громкое дело?.. Против шаманства?.. Народ обозлить хочешь?

– Да ты что! – выхватил изо рта трубку Ниникай. – Ты меня всё парнем считаешь. А я давно повзрослел... И ты всю ночь думал об этом?.. Конечно, мой ум нельзя сравнить с твоим. Но я тоже стал многое понимать. Они на реке Лене в своих стреляли – помнишь? А теперь война. Исправник пришлёт казаков – и от стойбища останутся одни котлы, ножи и ножницы.

– Но ты сказал, что всё можно повернуть против Каки...

– А-а, – облегчённо улыбнулся Ниникай. – Тут твои мысли шли по слишком большой дороге. Мы мельче думали... Просто... – Он поглядел на Пураму в знак согласованности с ним. – Обрежем ему косы – и всё!

– Что? – испугался Куриль. – Косы обрежете? Это верно: мелко думали. Я разбил Тачане бубен – она умерла. Ну ты – ладно. А они? – Он кивнул на шурина. – Они-то должны понимать! Шаманство же! Он – самое лучшее – ум потеряет...

– Мы об этом подумали, – сказал Ниникай. – Поглядим. Что решать, если дела не знаем. Почему Ханидо прыгнул с горы в болото? Может, ты скажешь? Кто виноват? Почему вышло так?.. Вот узнаем – и бить по слабому месту будем. Может, слова подействуют. Я на это рассчитываю. А не подействуют – перехватим Каку, привезём сюда и скажем: вынесешь отрезанные косы или завезём к белым медведям, а упряжку угоним.

– И ты сделаешь так?

– Подлый человек всегда трус. Послушается. А нет – увезу. Хватит ему чукчей позорить.

– Насилие в тундру приходит, – вздохнул Куриль. Ниникай обозлился:

– Исправник не принуждает? Царь не принуждает? Царь своих вра-

гов из тёплых стран сюда, в ледяную тундру, шлёт! Хватит говорить – поехали.

– Постой. А бог? После шаманства как парня посылать в святой дом?

– Открывай карты, Афанасий Ильич, – сказал Ниникай. – Был бы бог, он своему избраннику – тебе – дорогу бы не перекрыл. И не позволил бы, чтоб будущий служитель его, да ещё первый от нас, в шаманство подался. Ты веришь в бога?

– Ты, однако, далеко заехал, – заметил Куриль. – Опасно это. Крест-то у попа как целовал?

Ниникай было повернулся, чтобы идти к упряжке, но не стерпел – ответил:

– Знаю: некоторые попы сомневаются в боге. – И он прыгнул на свой яэттэк.

ГЛАВА 6

Сиротливый, наполовину заваленный снегом тордох путники увидели, однако, лишь к вечеру. С полудня сомнений не оставалось, что Нявал прячется где-то неподалёку: на зализанной ветром тундре стали попадаться то там, то здесь настороженные пасти и пасти с песцами. Теперь было ясно, что Нявал пустил ложный слух, будто уехал к устью Новой реки. Если бы не догадливый Пурама, изучивший следы северной стойбища чукчи-шамана, никому бы и в голову не пришло искать этот тордох возле устья Большой Куропаточьей речки. С полудня знали точно: дорогу наездил Кака, и побывал он здесь множество раз.

Путники всё приближались и приближались к тордоху, а собачьего лая не слышали, и из хозяев никто не показывался. Собак у Нявала могло и не быть, а высокий сугроб возле тордох, наверно, скрадывал звуки. Решив, что отшельников можно застать врасплох, Куриль наконец сильно стегнул оленей. Пурама с Ниникаем тоже.

Голова хозяйки высунулась из сэспэ лишь тогда, когда все упряжки уже стояли наверху замети. Голова скрылась – и тут же перед тордохом появился Нявал. Старый, сгорбленный, бледный, он замер в полнейшей растерянности, вытянув шею, задрал вверх голову и растопылив локти полусогнутых рук. Он походил на идола, сделанного из коряги и зачем-то наряженного в старьё. Во впалом беззубом рту шевельнулся язык.

– Приехали? – прошептал приветствие он.

– Да, – сухо ответил Куриль. В груди у него что-то лопнуло, будто рыбий пузырь под острым ножом. «Всё. Ошаманил, сволочь...»

Пурама грозно откашлялся.

Ниникай, сдвинув брови, смотрел на скрюченного старичка, всерьёз сомневаясь, Нявал ли это, не произошло ли ошибки. Ведь не двадцать снегов назад он в последний раз видел его!

А старичок вдруг стал зачем-то топтаться на месте и чесать рогулькой-пальцами косматую, пегую от седины голову. «Неужели голова у него может чесаться?» – мелькнула у Ниникая страшная мысль.

Нявалу же надо было вернуться в тордох – сказать, может, важнейшие в жизни слова, но обычай требовал бросить всё и бежать на помощь гостям. Потому и топтался он.

– Может, Нявал тут не хозяин? – буркнул с грубым налётом Куриль. От хозяина проку было немного – он это видел, однако последний разговор с Ниникаем придал ему уверенности, да он и почувствовал, что надо как бы подавить всё прошлое, взять верх над случившимся. – И снеговыбивалка нужна. А голову скрести будешь потом...

– Ке, эту самую – выбивалку... скорей! – немедленно постучал старик кулачком по ровдуге, а сам начал карабкаться вверх, обваливая сугроб.

– Вон добычу вашу собрали, – сказал Ниникай, показывая на кучу замёрзших песцов. – Что не следите за пастями-то?

Но Нявал ничего не ответил и проковылял мимо богатства, даже не повернув головы.

Долго возились с упряжками – не владели окоченевшие руки, и от хозяина не было толку: он и отвык от оленей, и пальцы его были уже непослушными. Потом кое-как, с трудом сбили с одежды сосульки и корки примёрзшего снега.

Косчэ-Ханидо не появлялся.

Куриль на ногах съехал вниз и сразу же рывком откинул сэспэ.

Он увидел тлеющие угольки под чёрным, будто смолой облепленным чайником, увидел серую дырку онидигила, белые дырки в ровдуге, прикрытые снегом, облезлый полог, старуху возле пуора. Ну а больше и разглядывать было нечего. Да, у самого очага ещё лежала доска с обгоревшим углом, а на ней возле кусочков юколы и мяса стояли кружки – две помятые, медные, третья из синей глины, щербатая. Видно, семья собиралась поест перед сном. «Тут он, за пологом», – понял Куриль, определив число кружек. Вошёл Ниникай с тяжёлой связкой песцов, за ним – Пурама и Нявал.

– Как живёте? – спросил Куриль, с кряхтением подсаживаясь к очагу. – Места тут вроде песцовые, а вы что-то не разбогатели... Вижу, плохо живёте!

– Дык, это оно... Нет, почему? – возразил старик, но тут же сбился совсем: – Дык, оно... это... плохо, конечно.

– Чаем не пахнет. При таких-то песцах на корнях брусники сидишь? Кипрей куришь?

Старик вместо ответа стал шептаться с женой, делая вид, что хозяйские заботы о гостях важнее начала беседы.

– Далеко ли едете? – спросил он, схитрив и одновременно надеясь, что страхи его напрасны, что Куриль, может быть, ищет других людей – мало ли! – и что Ханидо больше не нужен ему.

Нявала смутил приезд Ниникая – чукче-то совсем вроде делать тут нечего. Ещё там, за тордохом, распрягая оленей, он успел понадеяться: конечно, Куриль со своим шурином набросятся на него и на сына, выскажут большую обиду, обзовут плохими словами, но с тем и уедут. Обратного-то всё не повернёшь! А что они обо всём случившемся знают – в этом он не сомневался: злыми приехали. Правда, он понимал, что ехать только за этим не было смысла, и тут у него шевельнулась надежда: а может, могучий Куриль вызволение какое придумал? Но эта мысль причинила лишь боль: нельзя вызволить ни Ханидо, ни их – отца с матерью. Так что лучше бы отругали да и уехали...

Куриль, однако, разом смял надежду хозяина и вместе с тем озадачил его:

– К тебе мы приехали! В гости. И надолго. Пока еда и наша, и ваша не кончится. А мы запасливые...

Он говорил не только для стариков – больше для Ханидо, держись, мол, мы напористые, всё выведаем, и за нами сила.

А у Нявала задрожали старые ноги, и он как стоял возле пуора, так и опустился здесь на колени. Что хотят эти большие знатные люди? Мучить? Старых, бедных и жалких людей? Зачем это им?

Ниникай достал из кармана огромную плитку чаю, шагнул к хозяйке:

– Завари, эпэхэй⁹⁴. Покрепче. Сильно промёрзли. Старушка, резавшая осколком ножа холодное мясо, ещё больше согнулась, и Ниникай, положив чай на ящик, ушёл. А она тут же радостно бросилась к очагу, начала шевелить угли.

Наступило молчание. Костёр разгорелся, и при свете стало ещё приметней убожество и жилища, и его жалкой утвари. Ниникай шагал туда-сюда возле драного полога и прислушивался. Глаза же его и даже его затылок видели старика, одного старика. И Куриль смотрел на Нявала, хотя делал вид, что смотрит в огонь.

На свете не бывает жалче людей, чем старики и старухи, принуждённые трепетать, как дети, от страха, бессилия и беспомощности. Стоя на коленях, Нявал сгибался всё круче и круче, пока не коснулся руками пола. Голова его свесилась – он совсем перестал походить на человека.

– Водки, думаю, принести надо, – сказал Ниникай.

– Да уж если у хозяина нет – придётся нести. А Пурама пусть сходит за моей сумкой... – Куриль видел, что Нявал окончательно сломлен и что труда не будет узнать всё до конца. – Ты, я вижу, Нявал, и людей стал бояться. Совсем одичал. А мы с добрым к тебе ехали. Сердитые от того, что долго искали тебя, чуть не замёрзли. А в сердце добро везли: в Улуро всех вас заберём. Садись к очагу – что стоишь на четырёх костях?

– Э-э, Апанаа, мы больше не можем к людям вернуться, – поднял старик голову.

– Почему? Не проказой же вы заболели?

– Хуже чем проказой... Как сказать-то тебе? А как мне сказать?.. Плохо живём. Обкрутила жизнь, как сотней арканов, – руки, ноги, глотку, живот... – Нявал потихоньку сел на пол, свесив руки с коленей.

– Вот и послушаем. Поговорим. Бери табак. Совсем своего нету?

– Табак водился. Сейчас, правда, нет. Мы привыкшие – луна нынче Встречнева: терпим... Оно... обменять бы... поехать... оленя съели.

Нявал не от рождения был бестолковым, косноязычным. Среди людей, таких же, как он, речь его не была слишком сбивчивой. А вот в разговоре со знатными, с богачами он терялся, лепетал невпопад, пытался при этом поправиться, путался, и лишь последние слова у него содержали смысл. Старость должна была сделать его совсем забубённым, однако случилось чудо: он стал говорить лучше. То ли на всё на свете махнул рукой – всё равно помирать, то ли к детству своему возвратился, когда не надо было следить за собой. Сейчас он хотел говорить просто и ясно, только разговор был страшно тяжёлый, и он путался.

– ...От терпимой-то жизни кто бы куда убежал!.. – услышали Нини-

⁹⁴ Эпэхэй – бабушка (чукот).

кай с Пурамой, когда вернулись в тордох. – Душила жизнь, хоть аркан за кочку привязывай, а петлю – на шею.

Пухлыми пальцами Куриль медленно скрёб мысок лысины на своём лбу. Развязывая мешки, Пурама с Ниникаем переглянулись: ага, Куриль-то уже хлебает грязную воду!..

– Ну, а здесь? Здесь-то море недалеко, зверь морской, песец хорошо идёт, – поспешил повернуть разговор Куриль. – Сын молодой, сильный. Почему плохо-то жить?..

– Дык, оно... как сказать?

– Где Косчэ?

– Тут, за пологом...

– Заболел?

– Нехорошо ему... нынче... С утра...

– Поправится? Или надолго слёт? А то я за ним и приехал. Как обещал: в обучение отдаю. Поп его ждёт...

– Э-э... Апанаа, Апанаа... Что говоришь! Куда он годится. Сказал бы, что силачом или бегуном хочешь выставить, и то бы это... ну, как сказать, – зря. А к божьим делам кто допустит его? Поп его ждёт... Что смеёшься, Апанаа? Знаешь ведь...

– Не всем слухам я верю, – сказал Куриль. – Говори. От отца услышать хочу.

– Скажу, а ты в глаза плюнешь. Дык... оно... и стоит плюнуть-то... Не сумели мы уберечь сына, порушились все большие надежды твои на него. Откажешься ты от нас, уедешь ни с чем. А мы уж тут... с медведями белыми... по соседству останемся... помирать... Такая судьба. Не сумели мы...

– Ты, Нявал, что-то слишком длинную нитку тянешь! – зло оборвал его Пурама, ставя на доску бутылку.

Нявал легонько вздрогнул, выпрямился. Уставившись прямо в глаза родственнику головы и цапнув себя рукой за грудки, он сурово, но чуть не плача заговорил:

– А ты, Пурама, в такой вот облезлой шкуре ходил? Ты кишки прошлогодние ел? Тебе-то помереть не дадут: сам просить из гордости не пойдёшь, дык жена попросит. Тебе пришлют мясо. А мне? Кто мне должен? Никто!

– Они помолчать должны, когда я слушаю, – сказал Куриль Пураме, сказал, однако, не очень сердито, понимая, что рычать ему просто нельзя. – Чего торопить, куда нам спешить? Только и ты, Нявал, не про то говоришь, о чём спрашиваю.

– Про то говорю я, про то! – не испугался старик. – Ладно сказать не умею, а как я скажу и ладно, и быстро, если кругом всё было неладно! С чего не знаю начать. Языку тяжело, силы нету и так говорить, как могу...

Из узеньких глаз старика выползли слёзы. Но он не всхлипнул, не вытер носа. Куриль сделался хмурым и начал скорей разливать водку.

– Хозяйка, – сказал он, – выпей иди.

Жену Нявала Ниникай тоже ни за что не узнал бы, повстречайся она в чужом стойбище. Лицо её стало тёмным, морщины углубились, и кожа теперь походила на кору старого дерева. Руки у старухи сильно дрожали: Пурама передал ей кружку, и водка стала выплёскиваться че-

рез края. Ниникаю было невмозготу глядеть, как она жадно, неряшливо пьёт.

Старик Нявал выпил бесстрастно и не поморщился, не обтёр губ, будто не заметил горечи водки.

Не ополоснув кружек, старуха начала разливать чай. Но руки у неё дрожали ещё сильнее, и струя куда надо не попадала.

– Эпэхэй, не принимай на сердце обиду – давай я тебя заменю, – сказал Ниникай. – Не здорова ты.

– Значит, вот, Апанаа, – тихо заговорил Нявал, опустив голову. – Приготовься услышать самое плохое, о чём ты даже не думаешь... Ну, шаман Косчэ, шаман! – поднял он в отчаянии глаза. – Давно шаман. Только это не всё... Это – ладно, это... так вышло. Язык отвалится, если дальше скажу.

Старуха неожиданно бойко вскочила, метнулась к пуору, упала, жась под самой ровдугой в комочек и тонко-тонко заголосила.

А за пологом что-то решительно зашуршало – и все три гостя вздрогнули, услышав громкий звон бубна. Протяжная, на чукотский манер, песня разлилась по тордоху. Но песню эту вдруг заглушил отчаянный стук колотушкой, стук со звоном и треском об обруч.

Куриль увидел побледневшие лица Пурамы и Ниникая, а те увидели побледневшее лицо Куриля.

Пурама вскочил на ноги. Никто не успел опомниться, как он с силой рванул полог и отшвырнул его в сторону. Ниникай тоже вскочил. Увидев босого, косматого, широкоплечего парня с бубном и колотушкой в руках, Куриль отвернулся и с горя закрыл ладонью глаза. Визгливо закричала старуха; бубен, кажется, полетел почему-то вверх и со звонким стоном ударился о каркас; тордох заскрипел; раздалось хрипение троих мужчин: Косчэ, Пурамы, Ниникая.

Схватка продолжалась недолго: Пурама хорошо знал слабости ученика, хотя уж и не был очень силен, а вот Ниникай хотя и не знал, на что способен молодой богатырь, зато был силен и горяч. И вдвоём они ловко справились с лихим дикарём.

Куриль оглянулся, когда Косчэ лежал на полу со связанными руками и ногами. Он успел догадаться, откуда появился ремень, – его спутники всё предусмотрели, ко всему приготовились, и эта решительность их очень обрадовала бы его, если бы не отвратительный вид Косчэ, заставивший ни о чём хорошем не думать. Ниникай приподнял связанного, чтобы он не лежал, а сидел, и Куриль получил возможность глянуть прямо в лицо своему счастью и своей беде. А лицо это мерзко кривлялось. Косчэ подражал Каке – он скалил белые зубы, стараясь обнажить дёсны, он разводил глаза врозь, морщился; и ещё он чем-то походил на уродливую Тачану – может быть, длинными растрёпанными косами, или нет – это Тачана походила на мужика, а теперь он на неё... Кровь ударила Курилю в голову: «Да зачем он мне нужен такой! Плюну, уеду. И погода хорошая. А попу привезу Сайрэ. Скажу, что у обещанного старики заболели. С Какой рассчитаюсь потом...». Он хотел отвернуться, но увидел, как связанный Косчэ повалился на бок и как в следующий момент Ниникай ударил ногой вроде бы в его руку или в бок. И только блеснувший на лету нож объяснил, что случилось. «Ого, нож припас. Кого ж он хотел ударить – себя, меня, Пураму?» Однако происшедшее

говорило слишком о многом, и мысли Куриля круто переменялись. Шаманство, выходит, только прикрыtie! Дело не в бубне. А в чём? На каком слове Косчэ оборвал отца?..

– Так, – увереннее заговорил голова, обращаясь к старику. – Кака, стало быть, принудил твоего сына взяться за бубен? Так это было?

– Что вам от нас нужно? – не ответил Нявал. – Сын нужен? Берите. Но ведь вы не возьмёте. Шаман он, шаман. Видите сами.

– Не хочешь сказать, что натворил Ханидо и чем воспользовался Кака? Но мы знаем. Сам Кака нам сказал. Пока что троим. Поезжай в стойбище и проверь. Может, он врёт?

Лицо старика вытянулось, челюсть у него отвисла и щёки провалились.

– Н-не мог он... сказать, – покрутил головой Нявал. – Не мог. Обманываешь, Апанаа.

– Я с ним сейчас дерусь насмерть – он все козыри выложил. Узнал, что я еду к тебе, за твоим сыном, примчался в стойбище. Так это было?

– Да, – сказал Пурама. – Перекрещусь. Трезвый приехал...

Нявал расширенными глазами следил за мелькающей рукой Пурамы.

– Но он же... это... Он же... Мы порешили молчать – и он, и мы... Я же платил ему за молчание!..

– Как платил? – за всех троих спросил Ниникай.

– Ну, дык... как? Песцами, чем же ещё.

– Ну, Куриль, ты как хочешь, а я за это освежую Каку! – Ниникай тяжело дышал, оглядывая тордох, будто отыскивая глазами выход, чтобы немедленно броситься исполнять угрозу. – Я его освежую при всём народе...

– И много отдал? – спросил Куриль.

– Всё... отдавал... – У старика обвисли плечи. – Договорились: вся добыча его, пока Косчэ не станет шаманом. Пока вдохновение не придёт.

– Да ты ум потерял! Ему куда нужней было твоё молчание. Потому что он мне, мне большую дорогу переходил, и ты мог бы требовать от него плату!

– Ох, ох, ох... – покачал головой Нявал. – Мне сильней нужно было молчание...

– Я хочу выпить ещё, – сказал Куриль, делая передышку. Он боялся настаивать на ответе, которого не только не знал, но о котором и не догадывался.

Но тут не выдержало сердце старухи. Понимала она, что если и врёт Куриль, то всё равно не устоять Нявалу против двух богачей и Пурамы.

– Ох, говорила я, говорила – давай укочуем на морской остров, – сказала она. – Не согласился. Я знала, что здесь люди отыщут нас всё равно. Уехали бы там спокойно в тот мир...

– «Уехали бы!», «Спокойно», – передразнил её муж. – А он? Ему двадцать три. Одному, посередь моря, всю жизнь мучиться?

– А, признался! – налегала старуха. – Надеялся, значит! На что надеялся? На людях мучиться легче?

– Если не по своей воле, то люди могут простить, – сказал Ниникай осторожно: он тоже не мог догадаться, что же такое сделал Косчэ-Ханидо.

– Ну, ты видишь – они всё знают, – поддалась на обман старуха. – Скажи. Так жить тоже нет мочи.

Но тут опять повторилось то самое, что уже было. Связанный Косчэ рванулся, заорал во всё горло, захрипел, стал биться, извиваться, будто ремни до костей врезались ему в тело. Мать есть мать. Старуха бросилась к сыну и, увидев налитые кровью глаза, вцепилась себе в волосы, заорала тоже, затряслась, стала метаться. Пурама опять схватил Косчэ. Но тот плевался, хрипел; косы у него совсем расплелись.

– Развяжи его! – кричала старуха. – У него кровь внутрь польётся.

– Н-не польётся! – сказал с беспощадной уверенностью Пурама.

– Влип в грязь – и прикидываешься, как женщина, – повернул голову Ниникай. – Встану сейчас и волосы обрежу. Не умеешь ответ держать, как мужчина. К тому же ты не во всём виноват – я же знаю...

Плечи старика вдруг начали дёргаться; быстро кивая головой и опуская её всё ниже и ниже, он тихо заплакал.

А на Косчэ-Ханидо ничто не подействовало. Он продолжал вырываться из пут, биться, хрипеть и строить безобразные рожи.

Помутнело на душе у Куриля. Вломился в чужой тордох, как медведь. По каким обычаям, по какому праву он делает это всё?..

Выпив остывший чай, как воду, он перевалился на бок, со вздохом спрятал в карман свою кружечку, а другой рукой дотянулся до шапки и стал натягивать её на лысую голову.

– Прошу вас богом, хозяева, – сказал он, – не держите на нас обиду. Не хотел я силой и грубостью. Так получилось. С добрыми мыслями ехали мы. О свадьбе вашего сына я думал, о богатых подарках, о том, как повезу молодых в острог. Большое счастье вам выпадало. Каке я дал бы хороший выкуп, заткнул бы ему рот, а мы сговорились любую тайну похоронить и не вспоминать о ней. Но видите – сын врагами считает нас, за нож схватился, вы каяться не хотите. Что я могу?

Нет, Куриль вовсе не собирался бросить всё и уехать. Просто так получилось – рискнул под настроение.

Старый Нявал в смятении затряс сжатыми кулаками.

– Дык это... Как жить? Вы, может, простите – другие нет. Под страхом жить, что Кака проболтается. А совесть куда? Как людям в глаза глядеть, как отбиваться? Не-ет! Уезжайте, добрые люди. Оставьте нас. – Он затрясся всем телом, спрятал голову между колен, зарыдал.

– Не пушу! – вдруг подскочила к двери старуха. – Силы нету так жить! Что, старый, не знаешь – сердце меня торопит. Болезнь, может, пройдёт, если покаемся. А с грехом ехать в тот мир?.. Кайся, кайся – я говорю! Сама я покаюсь – никаких сил больше нету. Вот, каюсь...

Договорить ей не дал Косчэ-Ханидо. Он хрипло зарычал, будто горло ему сдавили петлёй. И закричал громко, страшно, как и люди-то не кричат:

– Энэ! Молчи! Молчи, не говори этого слова. Не говори этого слова! В чём каяться? Почему не поймёшь? Энэ! Энэ-э-э!..

Страшно, когда «мама» кричит сильный, здоровый парень. А Косчэ-Ханидо кричал с такой болью, с таким отчаянием и так громко, что лопнуть могло любое сердце. Глаза у него вздулись от напряжения, он весь извивался и в бешенстве чуть не укусил Пураме руку. Куриль же молчал и не подавал никакого знака – он только жадно смотрел на ста-

руху. Утром он боялся, что парень может сойти с ума, но такую возможность он связывал с шаманским самовнушением. Теперь же ему было ясно, что этой опасности нет, а с другой опасностью он мог не считаться: парень бесился, а не девка, не женщина. И уж очень хотелось ему поскорее узнать, о какую кочку этот парень споткнулся впотьмах... Да тут ещё чуть не укушенный Пурама рассвирипел: как только оборвался крик, он набросился на Косчэ-Ханидо:

– Если не опомнишься, я переверну тебя, схвачу за уши и прижму носом к земле! Тогда кричи и кусайся.

И тут Ниникай не стерпел.

– Перестаньте вы все! – заорал он не своим голосом. – Опомнитесь. Люди мы или не люди?!

И словно разбросал всех от себя. Сознывая своё превосходство, он прошёл мимо Куриля до пуора, чуть не стукнулся там о каркас, а когда вернулся обратно, негромко сказал Курилю:

– Как разбойники с Колымской дороги...

Куриль опустил голову, зажмурился, а потом закричал и потихоньку сел там, где стоял.

Наступило молчание.

«Да, нехорошо выходит, – рассудил он. – Спешу, опять я спешу. А куда? Кто меня гонит? Всё ведь поворачивается к выигрышу... – Но он тут же, как всегда это делал, мудрствуя наедине с собой, зашёл к происшедшему с другой стороны: – А Ниникай даже кричит. Опять объехал меня. Верх взял. И теперь может долго быть наверху».

А пока он так размышлял, пока все молчали, вдруг что-то случилось со старухой, женой Нявала. Она повалилась на бок и негромко забормotala. Потом начала метаться, вертя головой и вскидывая руки. Приехавшие почуяли беду, когда заметили, что щёлки её глаз белые. Закатились глаза? Перед смертью?.. Пурама робко сделал к ней шаг, другой, Куриль начал вставать, а Ниникай, напротив, попятился назад. В этом тордохе, оказывается, говорят прямую и грубую правду – старуха ведь только что предупредила о близости смерти... И трое незваных гостей пережили бы всю глубину ужаса, причиной которого может быть игра в человечки, если бы не спокойствие мужа старухи. Нявал только скосил глаза, но не вскочил и вообще не сдвинулся с места.

– Не трожьте её, отойдите, – сказал старик. – Это с ней часто... Болезнь... – Он подумал и пояснил: – Во сне хохочет, наяву трясучка одолевает... с горя.

И приехавшие совсем остыли, каждый на свой лад прикидывая, что делать дальше. И никто из них не ожидал грохота из остановившейся и слишком уж низко опустившейся тучи. В иссохшем теле хозяина что-то сломилось – и терпение лопнуло.

– Да, всё так и есть! – сказал он, выглядывая из-за своего плеча. – Не надейся, Куриль: не скажу я другого. Всё так и есть: вор мой сын. Вор! Забирай вора, хорони от людей тайну, если поперёк совести, поперёк бога пошёл...

Эти слова перекрывали громкие крики за спиной Куриля: «Нет! Нет! Нет!.. Шаман я – не вор!..» – но крики эти Куриль не слышал, да они и не имели для него никакого значения.

Глаза головы юкагиров сами собой закрылись, к тому же их сильно

придавили ладони рук – и тем не менее в них хлынул свет, а не чёрная тьма. Только свет был чужим: Куриль будто из небытия глядел на тундру, залитую солнцем, на синее небо. И где-то там, в далеке-далеке, дальше, чем Среднеколымск, чем неведомый Петербург, виднелось стойбище на земле юкагиров. Курилю в это стойбище уже не попасть.

ГЛАВА 7

Вор – не человек. Вор – не юкагир. Вор – это вор. Это всеми презируемое существо.

Юкагиры отвергают и гонят от себя сородича, если сородич драчун, склочник, лентяй или обманщик! Но вор!.. В сказках сам чёрт перед вором – всего лишь проказник. Незаметно отнять чужое способен только злой дух...

Это в древние времена, когда все люди были равны, юкагир мог зайти к соседу и взять, что ему нужно, если даже соседа и нет в жилище. Но теперь всё не так. Теперь жизнь повисла на волоске. Пропала иголка – хоть заворачивайся в шкуру, пропала кружка – соси лёд, простуживайся и умирай, а украсть в голод еду – это всё равно что убить человека. Вору нет места среди людей...

Покачиваясь, будто оступевшая от горя женщина перед покойником, Куриль ничего уж не воспринимал и ни на что не обращал внимания. Ненужными, бессмысленными были слова Нявала о том, что они понимают вину своего сына, свою вину перед сородичами и что у них ничего не оставалось, как думать об аркане на шею или о смерти в мучительном одиночестве – вдали от людских глаз и людских следов. Как будто родителям вора можно было думать ещё о чём-то!.. Сам вор – Косчэ-Ханидо – перебивал отца, огрызался. Из его отрывочных возражений можно было понять, что он убил чьих-то оленей, что заведомо ворованное мясо пошло в котёл, но что воровством это считать нельзя, хотя хозяин до сих пор ничего о пропаже не знает. Куриля даже не возмутило всё это: мол, ничего себе – украл не одного, а нескольких оленей! Да если б он всего-навсего стащил вонючую юколу с чужого вешала, и то бы его следовало гнать из стойбища, да и вообще из Улуро... Потом негромко, но долго звенел бубен – Пурама, значит, освободил вора-шаманчика. Но Курилю до этого не было никакого дела. Затем Ниникай принёс тальника – и Курилю стало теплей. Чукча предложил выпить, поесть, но Куриль не ответил. Очнувшаяся старуха ушла за полог. Ниникай предложил хозяевам поесть, но те тоже ему не ответили. Молча поели двое из шестерых – Пурама с Ниникаем... Потом наступила полная тишина, лишь в костре потрескивали и шипели прутья. К костру изредка подходил кто-то и уходил.

Не раздеваясь, ничем не укрывшись, забыв о голодном желудке, Куриль прилёг – и так остался лежать, встретив самую чёрную, самую пустую ночь в своей жизни – ночь без надежд.

Бесстрастными и пустыми были все его мысли. Сначала он искал для себя выход из положения, в которое так глупо попал, пообещав простить любой грех. Он мог всё простить, только не это. Потому что покрыть воровство для него означало гораздо большее, чем нарушить

вековечный обычай. Слух о воровстве не скроешь, он выползет и через десять снегов. Не сомневался Куриль, что шаман Кака обо всём знает, хотя и промолчал в этот раз – приберегает козырь на будущее. Воровству нельзя потакать даже в мыслях, потому что это равносильно согласию на разбой. Только возьми под защиту одного человека – быстро найдутся другие, которые плюнут на очень тяжкий труд добывать одежду и пищу. И тогда жизнь станет невыносимой, а люди просто убьют покровителя воровства. В том, что произошло, была и другая опасность. Олени были украдены явно у богача: бедняк в тот же бы день поднял шум на всю тундру. Значит, у богача. У кого – это не важно. Важно, что у богача. И тут Куриль сразу вспомнил разговор с исправником под Рождество – о бунтарях, которые могут прийти в тундру. Так ведь бунтари эти просто на руках понесут Косчэ-Ханидо!..

Нет, с какой стороны Куриль ни подходил к происшедшему, а упирался в одно и то же: с этим приёмным сыном покончено, Косчэ-Ханидо уже не его сын, тем более никакой не наследник, не будущий поп или помощник, и вообще он никто, он – вор, способный схватиться за нож. Осталось лишь полежать, отдохнуть и уехать из этого обгаженного тордоха. Пусть о нём хозяева думают, что хотят. Мэникан, племянник, поедет учиться в Среднеколымск. Отец Синявин так и сказал: не подойдёт один – пришлётся другого. А Мэникан не такой уж дурак. Жадные лишь в старости дураками бывают, а жадность в молодости – это признак расчётливости. Ну, а царапать бумагу и заучивать песни – это для молодого не труд...

И Куриль было нашёл выход. Но не обрадовался. Это – как плохие штаны; если кожа сгнила, то латать её нечего – всё равно где-нибудь лопнут. Мэникана нельзя посылать: он из богачей – народ сразу смекнёт, что вожак предаёт их. А ведь впереди – крещение. Кому же, выходит, новая вера нужна – уж не одному ли Курилю и его родичам, как и предупреждал чукотский шаман?.. А Ниникай не зря говорил: народ надеется, народ злой. Ниникай знает, что говорит. Сайрэ надо послать. Э-э, нельзя и Сайрэ. После того, что случилось в Улуро, в Среднеколымске насторожатся. Кака, может, послал уже к исправнику человека; шепнут казаку: голова юкагиров покрывает воров. И Друскин спросит: а почему ты, Куриль, в обучение отдаёшь не из своего сословия? Ненадёжно это, шли другого. И опять – Мэникан?..

Ох, как устал Куриль от всего на свете... Тут хорошо – там плохо, там довольны – тут недовольны. А что, если бы ему уехать в тот мир? Может, всё само собой и уладилось бы? Везде бы жалели о нём, везде его почитали. Но главное – все бы возненавидели зло, которое он не сломил, но которое сломило его, даже его. Можно ли это зло дальше терпеть?..

Кажется, была середина ночи, когда к очагу подошёл Ниникай. Он оживил огонь, закурил. Ничего не сказал – посидел и ушёл. Но ушёл не на своё место – вроде бы оттянул край полога, за которым спал, а может, и не спал, Косчэ-Ханидо. Куриль насторожился. Но было тихо. Долго, очень долго не доносилось ни слов и ни звука. «Ждёт, пока я засну, – подумал Куриль. И разозлился на Ниникая: ты, мол, не считаешь его за человека, а я считаю – это в уме у него. Вора понять хочешь...»

Куриль приподнялся, вынул кисет с трубкой, закурил. Потом встал и ушёл вон из тордоха.

Вгорячах хотел было уехать. Но ехать некуда было. Остался – зашагал в тундру. Даже не из-за того не уехал, что некуда и незачем было ехать, – какая-то надежда теплилась в сердце, смутная, очень болезненная, но всё-таки теплилась.

А тем временем Ниникай сидел у самых ног Косчэ-Ханидо. Тесно было за пологом.

Молчал. И Косчэ-Ханидо молчал. Мучали друг друга молчанием – долго, упрямо. Красный свет от костра пробивался в щели – метался наверху, на ровдуге, пересекал трепещущей полосой лежащего на спине под одеялом богатыря, шамана и вора. Ниникай различал его бледное лицо, размётанную гриву волос и совершенно неподвижную огромную руку. Косчэ-Ханидо не моргал – глаза его то подолгу были открыты, то, напротив, закрыты.

Наконец Ниникай заговорил:

– Под Рождество все богачи тундры к русскому исправнику ездили...

– Не буду слушать, – прервал его хриплый, сорванный голос. – Уходи от меня.

– Послушаешь – не умрёшь, – сказал Ниникай.

– Я уже вволю тебя наслушался. Ненавижу всех вас... взрослых.

– Всех сразу – зря. Люди разные. Вон второй твой отец сейчас от тебя отрекается. А мне кажется, что ты хорошее дело сделал. Тинальгин – это старая сволочь. Тухлым мясом пастухов кормит, а они кровавую болезнь получают...

Ханидо испуганно приподнял голову:

– Значит, Кака сказал? Он всё знает?

– А ты разве ему не говорил? И родители не говорили?

– Он – шаман. Мы не сказали. Но он же шаман – знает.

– Га! – обрадовался Ниникай. – Это новость. Что ошаманил – сказал. А больше ничего. Куриль соврал... А Кака – не шаман. При мне, при всех богачах исправник приказал застрелить его – только простил на первый раз.

Ханидо уронил голову и другим, чужим голосом проговорил:

– Не хочу слушать. Уходи от меня, дядя Ниникай. Вы всё врёте, всё выдумываете. «Велел застрелить...» Навалитесь на человека со всех сторон, рвёте, как волки... У тёти Пайпэткэ вот так ум отняли... Уходи.

– Ты не богатырь, а женщина, – сказал Ниникай. – Один раз наскочил на беду – и скорей за бубен. Трус. Мне пятый десяток, а я в Средне-колымске с самим исправником схватился. Он грозил меня в тёмный дом посадить. Думаешь, я спрячусь? Я ему ещё испорчу кровь... Трус. Женщина.

Грудь Ханидо вдруг стала вздрагивать – он тихо, по-мужски зарыдал.

– Я не воровал оленей, – сквозь рыдания сказал он. – Я мстил ему, я за обман хотел его наказать... я не помню, как схватил лук и стрелы... я и его бы убил... Ни при чём тут олени... Это мать с отцом... вором называли меня... И бубен я взял не по своей воле...

– Перестань сопли растягивать! – оборвал раскаяния Ниникай. – Спи. Я уйду. Завтра всё это и расскажешь нам. Я буду на твоей стороне – знай. И Пурама за тебя будет. А живым гнить в одиночестве – это не занятие богатыря...

И Ниникай выбрался из-за полога.

Куриля разбудил треск горящего хвороста под котлом. Стало быть, ночь прошла. Спал он как мёртвый. Снег в дырах просвечивался, дым в онидигиле струился, переливался – на воле, значит, был солнечный день. У очага неподвижно, с трубкой во рту сидела старуха. Чутьё подсказывало Курилю, что все проснулись давно и, будто сговорившись, молчат, соблюдают полнейшую тишину, угодливо оберегая его запоздалый сон.

Чутьё не обманывало. Поднявшись, Куриль сразу надел шапку и направился к выходу, чтобы проверить, сильно ли надеются на него. У выхода он оглянулся. Ему в спину смотрела старуха. Ужасен, невыносим был её взгляд. Так смотрят малые дети, которых навсегда покидают родители, дети, которые обречены и ничего сделать не могут. Куриль бросил рукавицы в угол – в знак того, что вернётся.

А на воле светило солнце. Огромное, как колесо от русской телеги, и яркое, как натёртый о шкуру золотой рубль, оно висело невысоко в прозрачном небе, густо-синем над головой. Шагах в двадцати от тордоха, расставив ноги, стоял Ниникай. Он глядел на солнце, на ослепительно белую после пурги тундру. Куриль медленно шёл к нему. Ниникай слышал скрип снега, но не оглядывался, а Куриль всё-таки шёл, хотя понимал, что унижает себя. Ниникай был рослым, раздавшимся в плечах; стоял он как-то твёрдо, уверенно, будто приехал на новую, никем не обжитую землю и вот решает, что делать с этой землёй... Куриль остановился вдалеке от него, надеясь, что Ниникай подойдёт к нему сам.

Но Ниникай не подходил. Оба молчали.

А когда и тот, и другой удовлетворились своей настойчивостью, Ниникай негромко сказал:

– Оленей Тинальгина убил.

– Тинальгина? Я так и знал. И скольких убил?

– Трёх.

– Трёх? Так это ж он не украл, а ограбил его!

– Разорил... А сколько у Тинальгина – тысяч пять, наверное, будет?

– Ладно. Это не имеет значения. Пусть черти их судят. Только я прошу тебя, Ниникай, не выдай, что знаешь, Богом прошу.

– Га! Женщина я? – обиделся чукча.

– Нет, не так понял меня! – Куриль подошёл к Ниникаю. – Вор среди юкагиров...

Куриль имел в виду вражду между чукчами и юкагирами, вражду далёкого прошлого, которая, однако, и до сих пор даёт о себе знать: чукчи и юкагиры постоянно пытались найти друг у друга убийцу или же вора. Ниникай сказал:

– Тебя, Афанасий Ильич, всё путает имя моё. Давно я не парень...

– Знаю, – поспешил оправдаться Куриль. – Ты тоже думаешь, что я с тобой не считаюсь. А я считаюсь... Видишь, мог бы уехать сейчас, а вот подошёл к тебе... посоветоваться. Скажи, если б тебе пришлось выбирать, кого бы ты послал на обучение – моего Мэникана или Сайрэ, сына Пайпэткэ, у которой с умом что-то неладно?

– Я бы послал Ханидо, – ответил чукча.

– Так, – сказал Куриль. – Ночной разговор настроил тебя на защиту? А скажи, Ниникай: тебе богатство не в тягость? Тебе не надоел твой табун? Может, тебе хочется пастухом быть?

– Нет, Куриль, пастухом мне не хочется быть, – серьёзно ответил чукча. – Только я смотрю на тебя сейчас и думаю: ты своих оленей в тот мир заберёшь? А? Ты голоднее, что ль, будешь, если у тебя будет не три табуна, а один?.. Твои олени-то живы, ягель жуют, а люди умерли! Не сжимай губы – я говорю правду. Ты, я, Петрдэ, Чайгуургин – все мы Тинальгины.

– И ты своей добротой хочешь всех нас унижить? Мол, смотрите, какой я хороший и какие они хищные, жадные?

– Нет. Хочу, чтоб подумали. Умру – обо мне добрые слова говорить будут. А что скажут о Тинальгине?.. Ты потому и злой на меня, что я в этом мире выигрываю.

– Я тоже не зло делаю, а добро! – вскипел Куриль. – И хотел я не одному стойбищу, а всем людям сделать добро!

– Вот и делай! Но в крупных делах нрав не надо показывать, я так думаю.

– Вора прикрыть мне придётся. А простить ему – нет, не могу.

– А ты ещё и не знаешь, вор он или нет. Тёмные, запуганные шаманами старики назвали вором сына – ты и поверил. Не понимаю: ты. ничего знать не хочешь. Уже напоролся на это – и всё стоишь на своём.

– Он не признаёт себя вором? – спросил с надеждой Куриль.

– Он об этом кричал! Почему ты не слышал? Правда одна. А ты разделил её пополам. Одну половину защищаешь, а другую понять не хочешь. Кака разорил Мельгайвача – и ты не назвал его разбойником. Сын бедняка жизнь свою, может, спасал – и у тебя он вор... Афанасий Ильич! – громче заговорил Ниникай. – Шаман тут замешан, шаман. А шаман любую гадость придумать может – ты лучше меня знаешь. Как ты не подумал об этом? – Ниникай вдруг резко махнул рукой – мол, Куриль окончательно одряхлел и ни в чём разобраться не может. Он повернулся кругом и зашагал к тордоху.

Только и оставалось Курилю, что хлопать глазами.

– Господи, мне глаза кто-то завязывает, – пожаловался он тундре. – Что это я умом так ослаб? Вора испугался – забыл о шамане...

Когда он вернулся, в тордохе стояла гнетущая, напряжённая тишина, такая напряжённая, что казалось, каркас не выдержит, рухнет. Пурама лежал на подстилке, курил, отвернувшись от очага. Ниникай сидел у его ног – и часто чмокал губами, дым из прикушенной трубки вырывался вверх, как пар из ноздрей разгорячённого и готового снова бежать оленя. Косчэ примолк за пологом, снова повешенным на прежнее место. Старик со старухой выжидали за своим пологом. Над костром кипел чайник, и пар непрерывной струёй вырывался из носика. Все были голодны, но никто не знал, как приниматься за еду – всем вместе, по отдельности или ещё как...

А что было Курилю делать? Что сказать и кому сказать? За что взяться?.. Впрочем, он уже решил наладить – для начала – мир, только не знал, как это сделать. Постояв у сэспэ, решился.

– В этом тордохе женщина подаст мне чаю? – спросил он, подходя к очагу. – Или она нездорова?

Лопнул лёд! Нявал отвёл полог в сторону, и привставший Пурама круто наклонил голову, чтобы спрятать улыбку, а Ниникай по той же причине поскорей отвернулся. За пологом на четвереньках и с трубкой

в зубах стояла старуха – точь-в-точь как собака, готовая броситься вперёд по приказу хозяина.

Только Пураме и Ниникаю было сейчас вовсе не до улыбок. И пока что им было не до чая, не до еды.

Когда старуха налила Курилю чаю, а тот, перекрестившись на онигил, поднял кружку, Ниникай громко сказал:

– Пурама! Точи ножницу. Что тянуть? Парню за ночь надоели длинные волосы...

Куриль как ни в чём не бывало начал пить чай. А Пурама придавил пальцем огонь в своей трубке, деловито спрятал её и поднялся с подстилки.

– А есть обо что точить? – спросил он.

Старуха сперва задрожала, как от озноба, но потом быстро поползла к хозяйственному углу. Старик Нявал выбрался из-за полога и уселся возле него; где была душа его в это время – знал один бог, но она металась, потому что метались в щёлках глаза, верившие и не верившие происходящему.

Из дрожащих рук старухи Пурама взял плоский камень и, усевшись, начал точить железку. У него был нож, и очень острый, но входить к парню с ножом и без подготовки было рискованно.

Эта хитрость оказалась совсем не напрасной. Всего несколько раз Пурама шмыгнул железкой по камню, а в ответ сразу же раздались озлобленные, сильные удары в бубен. Обмануто было огромное напряжение: пятеро взрослых людей будто ждали встречи с волком, а услышали за спинами рёв медведя. Грохот не оборвался, он не был прощальным, и шаманская песня, которую хрипло запел Ханидо, подтвердила это. Старуха вдруг тихо заплакала.

– О-о-о... – вырвался стон у Нявала.

Куриль перестал пить чай, а Пурама – шмыгать железкой.

Ниникай сильно зажмурился, словно получал удары, а закричать не смел. Но вот он опомнился и громко, однако спокойно сказал:

– В семье молодой парень, а ножница, как пешня, тупая. Дай я, Пурама, поточу.

– Да я уж сам, – ответил охотник. – Лучше меня кто наточит?..

И началось состязание – шмыганья железки о камень и шаманской песни под бубен.

Но что может сделать даже богатырь, если против него самые близкие люди, если не на его стороне правда!

Сильный удар колотушки оборвал песню и воцарил тишину.

Куриль громко потянул губами чай из кружки.

Прохрустела плохо мятая шкура полога – это Пурама с Ниникаем скрылись в «нижнем», шаманском, мире, чтобы вытолкнуть оттуда оплошавшего богатыря.

Величайшее напряжение намертво заморозило очень старых родителей Ханидо. Да и Куриль всего лишь делал вид, что пьёт чай – какое уж тут было питьё!

Однако ни крика, ни шума, ни даже отдельных слов из-за полога не доносилось, да так и не донеслось. Только послышался слабенький треск, вовсе не похожий на тот резкий, ожесточённый, который до этого чудился Курилю. Пурама был охотником – он умел хорошо точить

всё, что режет, и умел очень ловко владеть и ножницами, и ножом. И пока Куриль поворачивал голову, не сдержав нетерпения, Пурама уже был возле него. На горящие под котлом прутья тут же шлёпнулись две косы – два толстых чёрных жгута. Белый пепел тучкой взметнулся вверх. Жгуты затрещали и заворочались на углях, как живые. Сразу запахло палёным.

Неожиданно появился Косчэ-Ханидо. Оголённая шея сделала его выше ростом, а плечи, не прикрытые волосами, оказались широкими, как у силача, и развёрнутыми, как у закалённого бегуна. Скуластое лицо было бледным и хмурым: упрямые, не загнутые брови, будто стрелы, крутым углом сходились у переносицы, а в щёлках припухших глаз затаилась упрямая отрешённость ото всех земных дел... Никого не видя перед собой, он подошёл к очагу и бросил в огонь пригоршню обрезков своих волос. Отряхнув огромные руки, он повернулся и молча скрылся за пологом.

Куда бы отныне ни повела судьба Косчэ-Ханидо, а шаманом ему больше не быть, и не быть его дружбе с шаманами.

ГЛАВА 8

Горячее мясо ели дружно, деловито и молча. А перед этим выпили водки – тоже молча, будто после тяжёлого, но до конца не доведённого дела. Косчэ не позвали, и сам он не вышел. Кружку воды и мясо ему подали за полог: не сговариваясь, решили не трогать его – пусть один щупает гриву без кос.

В ожидании чая все закурили. Дым от трубок сверху смешивался в одно облако. И опять не было слов.

Выпив чаю, Куриль сказал всем:

– Спать пойду.

И отправился за полог хозяев тордох. А вскоре и весь тордох спал, будто лишь сейчас наступила ночь.

Когда проснулась старуха, а за ней сразу все остальные, был уже поздний вечер.

Костёр очага дымил еле-еле, холод в тордохе был жуткий – совсем как на воле. Старик Нявал собрался за тальником, но Пурама громко сказал:

– Пусть молодой бык сходит, хватит ему в норе прятаться!

А Куриль обратился к Нявалу с такими словами:

– Хочу узнать всё, как было. Всю правду хочу знать. Они, – кивнул он на Пураму, – сейчас поставят все мои фляги горькой воды. И мы уедем отсюда только тогда, когда всё будет сказано и всё будет выпито... Пусть сам Косчэ расскажет. Я имею право спросить с него: почти двадцать снегов считал его сыном...

Это условие Куриля не очень обрадовало родного отца и родную мать Косчэ-Ханидо. Они уже понимали, что голова надул их, сказав, что всё знает и всё простит, надул – и сам попал в сложное положение. И чем теперь всё обернётся? Шаманство сына было не только прикрытием, но и какой-то надеждой. Теперь сын расстрижен, теперь он голый вор. Украл он у богача, и судить его будут богачи – разве они простят, когда узнают всю правду?

Когда разгорелся костёр и когда Пурама принёс двух чиров, замёрзших, как брёвна, мясо и ещё плитку чаю, старуха засуетилась как молодая: надо было угождать из всех сил...

Отец и сын вышли на волю и долго не появлялись в тордохе. Советовались.

Очевидно, Нявал сказал сыну что-то важное, что-то решительное, переломившее волю парня. Потому что, когда вернулись они, Косчэ-Ханидо тут же подошёл к очагу и сказал:

– Где мне сесть? Я расскажу. Только горькую воду не буду пить...

Куриль, скривив губы, поглядел на него.

– Сядешь против меня, только не за котлом.

– Мне всё равно, – ответил Косчэ-Ханидо. – Сильно пьяным рассказывать тоже не буду.

– А мы не за тем приехали, чтоб напиться! Сел Косчэ, подвернул ноги. Колени он обхватил пальцами – и гости так и усталились на его руки: ладони и пальцы были слишком большими для его среднего роста. Раньше этого никто как-то не замечал.

Старуха принесла строганину и холодное мясо. Все взрослые выпили, стали закусывать. Ниникай, Пурама и Нявал взяли за трубки, а Куриль опустил голову и закрыл глаза – приготовился слушать.

– Если помните, мы тогда жили у озера Силгагаймол, – начал рассказ Ханидо, холодно глядя в огонь. – В тот год слухи ещё ходили, что на якутской реке солдаты царя стреляли в добытчиков золота, как в стадо диких оленей. И в тундру тоже пришла беда – речки до осени были полные, как весной, рыба в озёрах перестала ловиться, олени начали подыхать от хромоты. Ну, и люди голодать стали. Болезни, покойники, кладбище... Старики ещё говорили тогда, что это природа вздрогнула от страшного зверства солдат... У нас тогда было девять оленей. Сначала подоход один, потом второй, потом третий. А впереди – зима. У отца – вот он, пусть скажет, что я говорю неправду, – всё износилось. Доха совсем истрепалась – шерсть осталась лишь на спине... И у матери тоже надеть было нечего...

– Так я же дал вам быка и ещё двух оленей! – сказал Ниникай.

– Это... В тот раз опять... два и подохло, – заметил Нявал. – А бык... Ездить-то не на чем было...

– Постой, Нявал, – восторженно воскликнул Куриль. – Я же прислал две или три – не помню – телячьих шкуры!

– Э-э, Апанаа! Сын-то вернулся от Пурамы ободранным, волки как будто рвали его. Доха спереди вся истерлась. Сам знаешь – учил Пурама его по болотам и по кустам ползать. Сшили ему, сшили, спасибо...

– Ну, и пришёл бы во второй раз – переломился бы, что ль!

– Дык... это... Кто же должен-то мне? Сколько вод кормил сына, сколько снегов одевал, а я не больной, я здоровый был... Нет, это я твой должник, Апанаа. Однако, пошёл я к тебе. Пошёл. А что делать-то было, куда деваться! В голых шубах зиму встречать – это же смерть встречать. Подпоясался этим... ремнём из коровьей кожи – пошёл. А его, сына, послал к Тинальгину. Тинальгин ближе всех был от нас.

К дальним-то богачам как пошлешь с пустым животом? Ну, вышли мы утром – и в разные стороны: я к тебе, он к нему. А к середине дня обратно вернулись...

– Зачем... вернулись?

– Дык это... чаек увидели! И он, и я. Над головой чайки, по всей земле чайки. О, господи, сколько чаек было тогда! Падаль кругом: тут олень дохлый, там олень дохлый... Нет, не дошёл до тебя. Думаю: как буду просить? Только телячьи шкуры прислал, олени гибнут твои – не пошёл. Помирать – значит, помирать...

– Да дал бы я тебе, дал! – почти крикнул Куриль. – Кто скажет, что я скупой? Четыре, пять, шесть шкур дал бы тебе!

– Дык... это... Апанаа... Ты же не знаешь, ну, может, забыл... Что тяжелей-то – давать или просить? Просить куда тяжелей...

– Ага, понимаю: гордость... Гордость, она многих сгубила. Переломился бы, а?

– Нет... Какая гордость у нас! Семь оленей тогда оставалось на троих взрослых – на целый год. Быка не зарежешь – на чём кочевать? Всех важенков тоже не будешь резать: через год кумаланом – нищим станешь. Выходит, по оленю на четыре луны. На троих. Вот такой шматок мяса на день, с костью, – старик показал маленький палец. – Или кусок кишки. А? Дык боялись: подохнет ещё один – и чего делать тогда? И рыбы нету, и одёжи нету, и ничего нету... Э, какая у кумаланов гордость, Апанаа! – Старик передохнул и потыкал себя пальцем в грудь: – Тут, вот тут чегой-то такое есть, чего и переломить нельзя. Спину-то можно... Потому не пошёл.

Куриль тихо скрёб мягкую щёку ногтями. Губы его опустились углами вниз, а глаза сонно перекатывались в щёлках, выдавая растерянность и смущение.

– Ну а Косчэ как увидел падаль – тоже назад. Тинальгин и в жирный год никому не давал... После Косчэ хотел на север пойти – может, говорит, дикого оленя подстерегу. А патронов-то нету. Лук, говорит, возьму. А я говорю – олени к ружью привыкли, с луком не подойдёшь. И так думали, и по-разному. А потом опять же о Тинальгине вспомнили. Табуны Тинальгина-то по сухим низинам паслись, у Чукочьей реки. Значит, я говорю сыну, олени его хромотой меньше болеют, меньше, стало быть, дохнут. Иди, говорю, Расскажи, как живём: может, дрогнет у него сердце. К тому же жена Тинальгина тебе, говорю, далёкой тёткой доводится.

– Ну, и ни с чем, конечно, вернулся? – мрачно поторопил Куриль.

– Нет, дал Тинальгин.

– Как – дал? – вздрогнул Куриль.

Ожил и Пурама: было что-то нескладное во всём этом деле.

– Так если дал, то чего же путать сатану с богом! – воскликнул он. – Может, сам Кака вас и запутал?

– Нет, Кака ни при чём, – махнул рукой и безнадёжно вздохнул Нявал. – Тинальгин дал. Сам. Двух молодых быков. ещё десять телячьих шкур и мяса... Только ничего этого нам уже было не нужно. Потому как и здесь сын мой – эх, сын мой, сын! – здесь он нечестно сыграл... А потому, главное, было не нужно, что перед этим он... это... как, если сказать... Ну, украл трёх оленей у него же, у Тинальгина.

– Нет! – резко выпрямился Косчэ-Ханидо. – Я не украл. Я забрал! Я не вор – пусть все кругом говорят, что вор, а я не украл. Я взял, отобрал у него трёх оленей.

– Забрал!.. Отобрал трёх оленей... – бледнея, выдавил из себя Куриль. – Это как же так – отобрал?

– Постой. Постой, Афанасий Ильич. – Ниникай вытянул руку и завертел ладонью перед лицом Куриля. – Постой, не закипай. А на чьей земле пасёт свои табуны Тинальгин? На улурской? А кто ему разрешил? Ты. Ты разрешил. А зачем разрешил? Сказать? Я скажу. Чтобы он хоть немного помогал людям Улуру. Чтобы ты сам меньше страдал. Не отпирайся – ты правильно сделал. Тут всё по чести и по закону. А он – по чести? Травит улурский ягель и улурскую траву, а хоть одному юкагиру хоть одного оленя он дал? Нет! Он наживается, он грабит тундру твою!

Взгляд очень скупого на выдачу своих мыслей и чувств Куриля сейчас с откровенным удивлением бегал по лицу Ниникая; голова юкагиров как будто впервые видел этого лихого и непонятного чукчу.

– А знаешь, – сказал Куриль, – ты дельные слова говоришь. В них всё – правда. Но сзади слов – неправда! Что же выходит, по-твоему?..

– Афанасий Ильич! – перебил его Ниникай. – Я вижу, с самим с тобой что-то непонятное делается. Я вот тоже пасу свой табун на улурской земле. И никто не скажет, что я у юкагиров в долгу. Я даю даже больше, чем с меня причитается, но это уж дело моё. Однако ты от меня отвернулся, не одобряешь. А вот жадюну Тинальгина хоть и ругаешь, но совсем выгнать не хочешь! Прогонишь на другой берег, а потом опять соглашаешься. Почему? Помню, снегов пятнадцать назад у нас с тобой разговоры были совсем другие...

– Этот твой разговор не относится к делу! – рассердился Куриль. – Приглашай в ярангу к себе, там и отвечу. Не Тинальгина я защищаю, а порядок, честь юкагирского рода.

– Пор-ря-док! – скривил лицо Ниникай.

– Хорошо. Пусть Тинальгина стоило наказать, взять с него хоть немного долгов. Но ведь он, Косчэ, не думал об этом, когда... воровал! Не мог он так думать!

– Почему же не мог? – возразил Пурама. – Вполне мог. Я ему говорил о Каке, о Петрде, о Тинальгине. Когда Косчэ-Ханидо отдавали на воспитание, мне было сказано: «Он должен стать богатырём. А несправедливых богатырей не бывает. Он должен ненавидеть зло, быть добрым и справедливым». Может, я не расслышал, может, они мне сказали другое? Но другой богатырь – это злобный и жадный дьявол! Вот я и говорил, что и у нашего Петрде, и у чукчи Тинальгина совести нет. У Тинальгина совсем её нет. Оленей у него – как мошкары над болотом. Юкагирские пастбища вытоптал до земли и дальше рвётся. А попроси у него рога от оленя – не даст!

– Меня послушайте, – подал голос Косчэ-Ханидо. – Или я вам не нужен?.. Я в тот день – правильно – сначала не думал о том, что по справедливости у Тинальгина можно забрать и триста оленей. Я бежал к нему и старался не думать, что он самый жадный. Я только думал о том, что он самый богатый. Я знал, что у него горе –дохнут его олени. Но ведь олени дохли у всех, беда у всех – и кто может, тот и выручать должен. Как же, думал я, не поймёт он, что для нас потерять три оленя – это страшней, чем для него потерять три тысячи? И ещё я знал, что к нему почти никто не приходил с просьбой. Но мы ведь – какие ни дальние, а всё-таки родственники ему, и раз я пришёл, значит, нам плохо, зна-

чит, спасенья ищем... Он выгнал меня. Так и сказал: «Зачем пришёл? Уходи!». Умирайте, мол, – надоедать не будете больше. И тогда я понял, что, правда, есть люди, которые других людей даже на скот променять не хотят. От ненависти к нему мне даже солнце в тот день чёрным казалось. Я хотел голодным идти к Ниникаю, к Оммаю, к Курилю – к любому доброму богачу, сколько бы дней ни пришлось идти и бежать. Я боялся вернуться ни с чем – мне казалось, что Тинальгин уже чувствует конец нашей семьи. Однако сами ноги стали кружить меня по низинам, где паслись табуны этого страшного старика и трёх его сыновей. Сколько было оленей там – живых, здоровых, жирных, как лошади. Сколько оленей!.. И тут я вспомнил всё, что слышал о Тинальгине – от энэ, от ама, от дяди Пурамы, от пастухов. Тинальгин же почти не ест свежее мясо – тухлое ест! Он и сыновей к этому приучил. Всех пастухов своих кормит тухлятиной. Он одурел от жадности, одурел! Он уже и не человек, его нет в жизни – есть только какая-то злая и глупая сила... из сказки... Ну скажите: вор я? Как можно у такого человека украсть?

– Ну, и как же ты их «отобрал» у этой «злой силы»? – спросил Куриль, разливая по кружкам водку.

– К вечеру я понял, однако, что даже страх перед смертью не заставит меня дотронуться до чужого. И уже потемну я спокойно шагал к своему кочевью. Далеко от Тинальгина ушёл. И вдруг впереди – шум какой-то, потом плеск по болоту. Схватился за нож – думал, на «ходячих людей»⁹⁵ наскочил... Разглядел: олени. Много, штук сто.

– И ты отделил немного и погнал их к себе?

– Нет, я стал от них убегать, в сторону. А они, наверно, думали, что я хочу их к табуну гнать, и, когда я поднялся на холм, они опять впереди оказались. Я опять в сторону, а они туда же. У самого тордоха я прогнал их далеко к речке – и скорее назад. Отца не было, а мать от обиды на Тинальгина вся задрожала. «За такую жестокость, – сказала, – Тинальгин умрёт голодной смертью. Бог накажет его. Мы же умрём!» А было утро. Я не заснул – я собирался сделать зло Тинальгину. Как рассвело, я взял лук и стрелы и вышел. Олени как раз подошли близко к тордоху. Я натянул лук. Упал один. Я за вторую стрелу – упал второй, потом за третью. И если бы мать не натравила собаку, оленей бы я положил столько, сколько стрел у меня было... Дядя Пурама, дядя Ниникай, ей-богу, о желудке не думал!..

Швырнув в сторону опустевшую флягу, Куриль вспыхнул:

– Хорошо сделал. Ну настоящий богатырь из сказки! – Он встал и начал нервно шагать вокруг очага.

– Хорошо или плохо – это с какой стороны глядеть, – сказал Ниникай. – А вот воровства я не вижу.

– Какое же воровство! – поддержал его Пурама, – Он зло выместил. И ничего больше не сделал. О, господа: теперь мне и помирить не страшно... И всё из-за этого началось?..

– Ничего плохого... конечно, – сказал раздражённо Куриль. – Ты на меня разозлился, схватил ружьё – и к моему табуну. Бах, бах – и выместил зло! И мясо забрал... Мясо-то куда дели?

⁹⁵ «Ходячие люди». По поверью, летом в тундре изредка появляются человекообразные существа, которые воруют ночью юколу, а вечерами дразнят женщин.

– Грех его оставлять было... – пробурчала старуха.

– Ну вот – я и говорю! Но это, я думаю, не из сказки уже? А шкуры тоже в дело пошли? На шубу?

Косчэ-Ханидо, всё время прятавший глаза, вдруг вытаращился на своего отца-покровителя. Лицо его было бледным, удивлённо-испуганным. И под этим отчаянным взглядом Куриль быстро погас.

– Как же так? – спросил Косчэ-Ханидо. – Всё пустое? Выходит, мы зря говорим? Вы бросаете нас? Мне косы обрезали и бросаете? Нас же духи сожрут! Или хотите, чтобы я один с Какой рассчитался?..

Сидевшая за спиной Нявала старая мать тихо, по-детски захныкала. С ней опять могло произойти то же самое, что было вчера.

И тогда поднялся на ноги Ниникай. У него раздувались ноздри.

– Афанасий Ильич, – сказал он вроде бы очень спокойно. – Я в жизни, кажется, сильно ошибся. Ты слышал его рассказ и всё-таки вором считаешь? Считай. Не можешь простить – не прощай. А я уезжаю. Я очень скоро покину Улуру. К чукчам, на пастбище своего отца вернусь. В долгу у тебя не хочу остаться: эту семью, Косчэ-Ханидо я к себе заберу. А ты вези в Среднеколымск честного Мэникана, учи...

– Я тоже, однако, уеду, – сказал Пурама. – Зятю хочу сказать: будет крещение – пусть они на меня не рассчитывают! Из тордоха не выйду. Я теперь вижу, куда будет повёрнута светлая вера...

На голову человека в тундре ничего не может упасть, кроме капель дождя и снега. Но на Куриля сейчас посыпались камни. От растерянности, боли и злости глаза его стали раскосыми.

– Замолчите! Замолчите все, – сказал он. – Кто слышал, что я назвал его вором?.. Захлопали крыльями, загототали, как гуси... Сядь, Ниникай. Я понять хочу – можно соединить твою правду с моей?.. А веру я никуда не могу поворачивать...

Куриль говорил и правду, и неправду. Но главное – он шёл на попятную и выкручивался.

Было отчего раскоситься его глазам. В самом деле: предстояло крещение, а тут ссора, скандал – Ниникай покидает Улуру. Ниникай же сильно влияет на чукчей, а чукчи и без того не очень-то ждут «светлую» веру. Знал Куриль нрав Ниникая – именно так, сгоряча, с налёта он и может сделать решительный шаг. И терять Пураму перед крещением тоже нельзя. Мало, почти нет у него верных людей. И ещё ошпарили его слова Ниникая: «Посылай на учёбу честного Мэникана». Мэникана чукча не раз называл дураком. Сейчас Куриль видел, насколько Косчэ-Ханидо умнее племянника, а уж об огне в сердце того и другого и размышлять было нечего.

Но разговор поломался, продолжать его было сейчас невозможно.

И все разбрелись – кто скрылся за пологом, кто вышел на волю.

Однако водка и хорошая еда звали к себе.

Успокоившись и обдумав всё происшедшее, стали опять усаживать-ся к очагу.

На этот раз Косчэ-Ханидо упрашивать не пришлось. Он знал, что прощён, и сам вернулся на своё место. – Ну, говори, дальше что было, – сказал Куриль.

– Расскажу. Только вам ещё сильнее не понравится это...

– Ничего, и к горькому привыкают. А мы привыкли.

– Вором меня назвал первым отец. Потом мать. Потом я был собакой, которую надо без конца бить, был чёртом, двуногим волком – кем только не был. Страшно мне было. Тордох тогда был по-летнему широко расставлен – и низкая ровдуга давила меня. Опозоренным ама и энэ я боялся в глаза смотреть. Вторую ночь я спал, как собака, на нарте... Но я об аркане не думал: трёх оленей у Тинальгина нет – я расплатился с ним. Но надо было вылезать из грязной топи. И я придумал: надо найти оленей, отбившихся от табуна, и скорее гнать к Тинальгину. Жадный старик обрадуется и что-то подарит. Двух-трех оленей, думал, подарит. Подарок мы не возмём, но будем считать, что взяли. Ама согласился. И я пригнал к нему этих оленей. Гнал бегом, запалил их так, что они чуть не на брюхах ползли. Тинальгину сказал, что пришлось от волков отбиваться, затем сказал, чтобы побольше подарок был. Что было со стариком! Изругал пастухов последними словами, меня накормил, велел высушить мои кулубэ⁹⁶, которые я намочил в болоте, а мне предложил лечь в его спальный мешок, сшитый из волчьих шкур. Но я только поел у него. А оленей он мне не дал. Только велел отвезти меня. Я, однако, сказал, что приучен ходить и бегать. Но тут Тинальгин что-то засуетился и вдруг изменил решение. «Послезавтра, – сказал, – приезжай с отцом на двух пустых нартах. Дам шкур на одежду, много мяса дам и оленя прирученного».

– Мы взяли, – вздохнув, сказал за сына Нявал. – Побоялись, что старик сам привезёт подарок, увидит у нас лишнее мясо и разгадает правду. Привезли... Много он что-то дал: обещал одного, а дал двух быков, молодых...

– Неужели взяли? – переспросил испуганно Пурама. Косчэ-Ханидо прищурился, улыбнулся:

– Мне ведь Тинальгин ещё и ружьё подарил, сын его Оппар подарил новенькое копье...

– Что Ниникай скажет на это? – спросил Куриль.

– Нет, – ответил за него Косчэ-Ханидо, – правильно никто не может сказать – ни ама Куриль, ни родной ама. За что он нас так одарил? За сотню оленей?.. Нет. За это Тинальгин только накормил меня и предложил полежать в его спальном мешке, пока штаны мои высохнут.

Все взрослые насторожились: у Косчэ-Ханидо была своя тайна, о которой не знали ни мать, ни отец. А чуть захмелевший Куриль насторожился по-своему – с чуть заметной улыбкой: всё это становилось забавным, как сложный, хитро придуманный рассказ сказителя-ловкача.

– За все эти подарки я должен был заплатить Тинальгину, – сказал Косчэ-Ханидо. – А чем заплатить? Ого, что запросил он? Я должен был отправиться к голове юкагиров и упросить его отменить распоряжение, которое передал ему Пурама, дядя Пурама.

– Гок! Было такое дело! – ожил охотник. – Они велели тогда Тинальгину укочевать и перегнать табуны на восточный берег. Такое распоряжение я передал.

– Да, на восточный берег. А Тинальгин сказал, что он не может укочевать. Кака занял его пастбище, а он шамана тронуть боится, да и пасти там негде: всё вытоптано, и передвинуться ему некуда – Чайгуургин и

⁹⁶ Кулубэ – меховые штаны.

Лелехай мешают. Жаловался он, что оленей его черти съедают, что он скоро совсем обеднеет.

– Всё верно, – сказал Куриль, чувствуя, что разговор пошёл очень серьёзный. – Но ведь я всё-таки выгнал его! И ты, Косчэ, меня не просил.

– Я не собирался, просить, – спокойно ответил Косчэ-Ханидо.

– Подарки взял, а слово своё не сдержал?

– А я не давал ему слово. Он нечестно живёт.

Никто никогда не видел такой перемены в лице и в душе головы юкагиров, какая произошла сейчас. Куриль захохотал. Захохотал во весь рот – неумело, чудно тряся животом, гыкая и подвизгивая, как подросток, у которого ломается голос.

– А что я... говорил? – вытирая пухлой рукой слёзы, радостно оповещал он всех. Я говорил, что растёт новый голова юкагиров!.. Вот он – голова! Во какие брови у него – как у орла!.. Не-ет, попом он не будет. Головой будет!

...Если бы в эту морозную тихую ночь каюр или путник, заблудившийся в безлюдной холодной пустыне, вдруг налетел на тордох, наполовину заваленный снегом, он бы, наверное, подумал, что здесь под ветхим дымящимся колпачком справляют какой-то праздник сами духи радости и веселья. Насторожился бы человек: духи уже победили зло или они только собираются это сделать, заранее зная, что сделают?.. Нет, каюр или путник не налетел бы неожиданно на этот тордох, потому что песни, громкий сбивчивый говор, крики и радостный плач чересчур далеко разносились по тундре... Голова юкагиров никогда на пустых нартах не отправлялся в путь. Шесть полных фляжек водки выставлял он да по бутылке Пурама с Ниникаем. Было отчего превратить-ся в духов радости и веселья...

ГЛАВА 9

Косчэ-Ханидо было шесть лет, когда полную власть над ним получил Пурама. Куриль недолюбливал своего шурина. Он видел в нём и рьяного помощника, и такого же рьяного недоброжелателя. Но уж в чём он был абсолютно уверен, так это в том, что Пурама вырастит из Косчэ настоящего богатыря, какие остались в памяти лишь у самых старых людей, и что от Пурамы Косчэ-Ханидо передастся ненависть к шаманам, ко всей чёрной вере. И во всём этом он не ошибся.

В первое время Пурама сам приезжал к Нявалу и подолгу гостил у него. Мальчика он стал поднимать до рассвета – заставлял его натошак ходить пешком по бездорожью, через болота, а потом и бегать вокруг небольшого озера. В десять лет Пурама забрал Косчэ-Ханидо от родителей. И тут начались занятия куда более сложные. Много пота и слёз пролил мальчик, прежде чем научился заарканивать в бегущем табуне примеченного оленя. Потом Пурама стал открывать ему тайны смекалки охотника, одновременно подвергая воспитанника не детским испытаниям. Косчэ-Ханидо должен был научиться ползать – и он ползал через болотистую равнину, через заросли тальника, по склонам холмов и обрывистым берегам. В двенадцать лет паренёк уже умел перекинуть через речку аркан и, набросив петлю на крепкий куст тальника, быстро

перебраться на другой берег. А однажды Пурама дал ему лук со стрелами, привязал к поясу мешочек с варёным мясом и отправил в тундру. «Убьёшь дикого оленя – иначе не возвращайся», – сказал. И Косчэ-Ханидо убил оленя, принёс мясо и рога. А на другое лето Пурама отправил его до осени на берег озера, снабдив лишь самым необходимым, – паренёк должен был научиться жить в одиночестве, самостоятельно добывая пищу – рыбу и мясо. Не было ему и зимой легче. Он продолбил около сотни лунок в толстом льду на Малом Улуро. В пятнадцать лет, когда Косчэ-Ханидо подросток, а жилы его окрепли, Пурама навьючил ему на спину толстое дугообразное бревно – и с этой тяжёлой ношей он ходил, бежал и ползал...

Все эти жестокие испытания далеко не безропотно переносил паренёк. И плакал он, и просил отдыха, пытался вовсе отказываться от учения. Но Пурама был неумолим: когда увещевания не помогали, он бил воспитанника, не давал ему пить, принуждал, как только мог. Он имел право на это, хотя сам, конечно, сильно страдал, понимая, что лишает мальчика детства. Отец Косчэ-Ханидо и переживал, и радовался. Радовался потому, что ему завидовали очень многие – ведь какой бедняк мог рассчитывать на такое старинное и нужное для жизни воспитание сына! У бедняков не было для этого ни времени, ни возможностей. Ведь Косчэ-Ханидо истрёпывал в пять-шесть раз больше одежды и обуви, чем их дети, – а где её взять, эту лишнюю-то одежду, если её и без того не хватало! Считалось, что сын Нявала учится играя. Дети же бедняков привыкали к тяготам и учились сноровке по нужде, помогая родителям: они долбили лунки, чтобы взрослые рыбу ловили, сами её и таскали, они прятались по кустам и болотам, чтобы отцы добыли дичь или зверя, а они помогали бы нести добычу, ну а носить каждый день за спиной тяжесть бедняцким детям было бы совсем не под силу, потому что им и без этого доставалось – чего стоили одни кочёвки, когда скарб не тащили только младенцы...

Ни в одной северной сказке нет такой выдумки, чтобы олень гнался за волком. В жизни же человек это делает – силой руки, волей он заставляет оленя бежать за своим страшнейшим врагом. Невозможное бывает возможным: олень копытом наступает на волка, а иногда ногою попадает в самую пасть. На такое дело Косчэ-Ханидо первый раз был послан в восемнадцать лет, а потом побеждал волков и с арканом, и с одним ножом, гоняясь на нарте за целой стаей.

На этом обучение и закончилось. Однажды к Пураме приехал Куриль. Он увидел несколько волчьих шкур и, узнав, что их добыл Косчэ-Ханидо, сказал:

– Хватит, пожалуй. Теперь, сын, иди и помогай родному отцу.

Сколько было родителям радости! В семье взрослый сын, да ещё такой сын...

Богатырь в роду – это всегда хорошо. От этого радостно всем – и детям, и молодым людям, и взрослым, и старикам. Богатырь не в сказке, а в жизни, среди простых людей! Тут есть отчего родиться какой-то надежде: люди ведь без героев не могут жить. И улурочи поначалу считали, что Косчэ-Ханидо будет спасать кого-то в беде – в зимнюю жуткую бурю или в весеннее половодье, а иным даже казалось, что он, как в сказке, станет сражаться с чертями и злыми духами. Но потом, когда

заговорили о намерении Куриля послать парня на обучение грамоте, стало непонятным, зачем для этого нужен был богатырь. И люди пытались подсыпаться к Курилю: мол, что у тебя за тайна? Куриль отвечал: «Так нужно». Хитрил, мудрствовал. А сам и не знал, зачем вырастил богатыря. Просто видел, что жизнь тяжела и сурова, и хотел, чтоб люди не унывали...

На другой день после шумной и пьяной ночи, только продрвав глаза, Куриль сразу вспомнил, что теперь надо ехать к шаману Каке. Вспомнил и тревожно задумался. «А как же так получилось, что такой сильный, здравомыслящий и обозлённый парень сдался Каке? Тайну они не выдали, но он всё-таки ошаманил парня!..»

Куриль тихо привстал и навострил ум. Он лучше любого знал, на что способны шаманы и на что способен Кака. Видно, Кака смекнул: раз семья перенесла голод, но убегает из стойбища, значит, что-то неладно. Но почему Косчэ не ударил его своим кулачищем, когда тот появился в тордохе? Это же был самый простой и самый выгодный шаг: сразу отлетели бы в сторону подозрения! Что же удержало его? И никак не могло быть, чтобы Косчэ со своими понятиями о добре и зле не догадался, кому и какую дорогу проезжает шаман... «Нет, здесь что-то не так, – подумал Куриль. – А не чистое ли здесь шаманство? Уж не пришло ли к Каке настоящее вдохновение? Чукча ведь он – всё может быть. Может, как Токио, усыпил?»

Нельзя было ехать к шаману, чтоб засмеяться ему в лицо, не узнав правды.

Пошевелив предупредительно полог, за которым спал Косчэ-Ханидо, Куриль юркнул в этот тёмный многострадальный угол. Парень лежал на спине, заложив руки за голову. В полумраке чуть поблёскивали железные звоночки бубна, поблёскивали и глаза: Косчэ-Ханидо, видно, давно проснулся.

– А ты что же, одиночества не перенёс? – мирно спросил он, вынимая кисет. – Выхода никакого не видел и хотел вернуться к людям через шаманство?

Спрятав руки под шкуру, Косчэ-Ханидо ответил:

– Это было бы хуже, чем воровство.

– Тогда какой же был смысл братья за бубен?

– Был смысл. Возненавидел я всех: было обидно... «И меня, конечно, возненавидел», – подумал Куриль.

– Значит, по своей воле взялся за бубен?

– Нет, не по своей.

– Не понимаю. Я должен знать: сейчас мы поедem к Каке:

– К Каке? От нас прямо к Каке? Может, мне одному встретиться с ним?.. А? Так ведь было бы лучше. На обучение ехать-то мне всё равно не придётся... – Косчэ-Ханидо приподнялся, подумал и начал быстро оправдываться: – Энэ и ама совсем старые стали. Помрут они без меня. Энэ даже снег возле тальника разгрести не может. Сейчас мне за топливом надо идти: энэ ушла и до ночи провозится. Как я уеду? Как буду прощаться?

«Ого! – подумал Куриль. – Тебя из трясины вытащил я, а ты уже условия ставишь. Или собрался мстить? Нет, с моего аркана ты не сорвёшься».

Но надо было задабривать хитреца.

– Ке, я, наверное, перед вашей семьёй виноват, – заговорил немного громче Куриль, зная, что их подслушивают Ниникай с Пурамой. – Но я повторю, что говорил. Мы исправим и забудем всё прошлое. Твои энэ и ама без помощи не останутся, у них будет всё, что нужно. Этот старый тордох мы бросим. Новый, хороший для них поставим. Человека приставлю к ним, еду и одежду – всё дам... Но ты послушай меня. Ты совсем взрослый – послушай. Хорошо: ты не пойдёшь за мной, выместишь обиду. Ладно. Ещё ты сведёшь счёты с Какой – плюнешь ему в глаза, избобьёшь, искалечишь – не знаю, что сделаешь. Потом переедешь в стойбище. Женишься. И конец дороге твоей? Да?.. Моему делу ты причинишь вред. Но дело это уже не остановится. А ты останешься в стороне, люди от тебя отвернутся и всю жизнь будут подозревать... Ты так решил, а?

Косчэ-Ханидо молчал.

– Если так – оставайся, – вздохнул Куриль. – Но люди будут знать, от какого дела ты отказался. Моё дело большое и светлое. Я хочу изменить жизнь в Улуро, чтоб улурочи не вымерли, не пропали, как сахар в чае, чтобы в тундре было много товара и чтоб от чёрной веры следов не осталось. Буду делать и так, чтоб ни один богач не отказывал в помощи бедным. Скажи: плохое дело моё? Маленькое? Большое дело. Не знаю, кем бы ты стал – божьим человеком, первым попом во всей тундре или первым учёным головой, но ради этого ты должен забыть обиду.

Бодрый, молодой голос Ниникая прервал эту жаркую речь Куриля:

– Афанасий Ильич! Да поедет он, конечно, поедет. Он же орлёнок. Не будет же он трепыхаться в тордохе с заткнутым онидигилом. Ему летать надо! С высоты же легче на хищников нападать...

Наступило молчание. Куриль покосился на полог: эти слова Ниникая ему не очень понравились. Но он сказал совсем не то, что хотел бы сказать:

– Ну, с такими хищниками, как этот наглец и клятвопреступник, мы раньше покончим, думаю. Сегодня покончим с Какой!

Резко повернувшись и привстав, Косчэ-Ханидо почти закричал:

– Да как же вы, честные люди... такое мне... говорите?! Брошу бубен – за крест возьмусь? Руки жечь будет... крест!

– А ты ведь шаманом и не был, – спокойно осадил его мудрый Куриль. – Баловался бубном. Я тоже стучал!.. Да нам и врать не придётся богу: сам сказал, что взял его не по своей воле. Или не говорил?

– Он меня силой заставил, – сказал Косчэ-Ханидо. – Силой!

– Как... силой? – заикнулся Куриль. Он заморгал быстро-быстро, будто проснувшись только сейчас. – Что говоришь?

Полог взметнулся вверх, его руками поднял Пурама, сорвавшийся с места, словно с горячих углей.

– Тебя кто, волчонок, врать научил? Кака? – прошипел он.

– Нет! Я не вру. Так было. Он сперва обессилил меня.

– Как обессилил? Внушил? Ты говоришь правду? Ты почувствовал это? – сбился с ровного голоса и Куриль.

У Косчэ-Ханидо вытянулось лицо – опустились углы крупных, бледных губ, разлётистые брови искривились: он как будто удивился – кто, мол, задаёт такие вопросы – ничего не понимающий русский или сам

голова юкагиров, от которого и пошли все сомнения в силе шаманов?

– Я... я, дядя Пурама, встану сейчас, – засуетился он, чувствуя неладное. – Я расскажу там... у очага... как было...

Шурин и зять тревожно переглянулись, а Куриль, выбираясь из-за полога и глянув в лицо Ниникаю, ещё и пробубнил с тяжёлым вздохом:

– О господи! Эти шаманы доведут меня... Не захочешь, а драться начнёшь... на старости лет.

Вчерашнее веселье обошлось дорого для хозяев: весь запас тальника был сожжён – остались только обгорелые кончики. Кончики эти собрали в кучку и увидели, что они годятся лишь на растопку.

– Неси, Ханидо, бубен! – весело сказал Ниникай. – Спалим. Хоть маленькая польза от него будет.

– Перестань, Ниникай, – тихо одёрнул его Куриль. – Сжечь бубен – это не баловство.

Ниникай вдруг повернул голову к Пураме:

– Мэй, а не пойти ли и нам за тальником? Старуха в снегу возится, а мы сидим – ждём огонь... Ханидо! – обернулся он к пологу. – А где твой ама?

– Поехал пасти проверить. – За пологом раздалось тихое звяканье бубна, но не успели все насторожиться, как Косчэ-Ханидо вышел и бросил бубен к самому очагу. Ама хочет побольше шкурок начистить. Сказал, что отдаст их на строительство божьего дома.

– За вас Кака рассчитается, – резко сказал Куриль, оттолкнув ногой бубен. – И тут уж он меня не обессилит.

– Это – по справедливости, – встал Ниникай. – А сейчас пошли, Ханидо, поможем старушке тальника заготовить. Пурама, не пойдёшь?

– Можно бы и помочь.

– Мы разве хозяева здесь? – возразил Куриль.

– А мы не для хозяев, мы для себя...

Куриль рассердился. Он нахлобучил шапку, встал и направился к выходу. Ниникай поспешил за ним.

– Афанасий Ильич, не сердчай, что я весёлый, – заговорил он сразу за выходом. – Надо же парню дать передышку. Доведем мы его... У меня самого голова, как бубен, гудит...

Был уже полдень, когда наконец в тордохе Нявала опять задымил очаг. Куриль всё-таки не пошёл вместе со всеми дёргать и резать тальник. Но он вернулся в тордох не с пустыми руками – небольшую охапку топлива всё же принёс. Дымок из онидигила он пустил задолго до возвращения всех остальных. Сначала вернулся Нявал. Старик привёз целый ворох песцов. Увидев такую добычу и вспомнив, что два дня назад они тоже вынули из ловушек много белых лисиц, Куриль ясно, зримо представил себе, сколько добра за так, ни за что получил от Нявала Кака. В голове стало темно, сердцу жарко, и он даже не нашёл о чём бы заговорить с Нявалом. От злости на Каку, от досады на глупого старика он чуть было не швырнул бубен в огонь.

Мужчины вернулись свежими, бодрыми, а старушка, хлебнув тёплого дыма, стала вдруг кашлять, да так сильно, что Куриля затошнило.

Косчэ-Ханидо начал рассказ без напоминаний, как только в котёл положили снега и все дружно и всласть закурили.

– ...В тот вечер ама неожиданно вспомнил, как я родился. Шаман

Сайрэ тогда сказал людям, что я будто бы появился на свет по божьей воле. Так это было? Спасителем вымирающих юкагиров я должен был стать – богатырём. Чукотские духи будто узнали об этом и хотели меня убить. А узнали они будто бы через тётю Пайпэ. Вселились келе в какого-то Эргэйу – не то полоумного, не то слишком горячего. А он ударил ножом девочку, чтобы моя энэ испугалась и родила меня мёртвым. Сам шаман Сайрэ и спас меня... Я и раньше кое-что знал об этом, но всё сразу, от начала и до конца, услышал впервые. И я сказал отцу: «Какую интересную сказку придумал шаман!...». А отец ответил: «Это не сказка, а жизнь. Чукотские духи тебя не оставили. Они не хотят, чтобы исполнилось предсказание, чтобы ты стал спасителем юкагиров. Это они подняли твой лук и сделали тебя вором!». Отец ещё говорил, что юкагиры в голодное время всегда оставались честными: они тихо умирали, глядя на жирных чукотских оленей, и никто ни лука и ни ружья не поднимал. А я ответил, что лук я поднимал вовсе не из-за страха перед голодной смертью и что надо было убить не трёх, а десятерых оленей этого жадина. Тогда отец сказал: «Да, теперь я хорошо вижу, что чукотские духи могут и ум отнять, если ты так говоришь». Ну, я смеялся над этим. Ведь сильным меня сделал не бог, а дядя Пурама, в оленей же я сам стрелял, потому что знал одну мудрость: отчаянная месть не должна бояться позора. Но мои слова, мой смех и насмешки только вредили мне. Отец стал тревожно глядеть в онидигил и молиться большому богу. А с матерью плохо стало... Она ведь и до этого... часто металась... По правде сказать, я не думал, что разговор в тот вечер принесёт что-нибудь новое. Думал, опять они добиваются раскаяния перед ними, ну, перед богом. Но когда отец сказал, что надо вызвать шамана, я понял, что повёл себя глупо, не так. Всё было всерьёз, только я не понимал их, а они не понимали меня. Я стал говорить ласково, перестал смеяться над ними. Но было поздно. Не помогло. Глупо я вёл себя... Отец начал настаивать, мать опомнилась и стала просить. И я подумал: «Да пусть приедет шаман. Покамлает, что-то скажет, уедет. Родители хоть терзать себя и меня перестанут, а может, и совсем успокоятся. Ведь виноватыми будут духи, и я окажусь только их жертвой...». К тому же не обязательно было раскрывать нашу тайну – мы бы придумали что-нибудь насчёт духов Мельгайвача... Но отец вдруг решил, что лучше всего вызвать Каку. Он – чукча, меня мучают чукотские духи, и он считал, что шаман-чукча тут самый надёжный...

– И ты опять согласился? – спросил Ниникай. – Ты наверно, подумал, что Кака признает вину духов Мельгайвача и что если обо всём узнают чукчи, то винить им придётся только своих келе?

– Нет! – отрезал Косчэ-Ханидо. – Я сам скажу, о чём я подумал. Тут я подумал, что надо спасти отца от отца, мать от матери, а себя от шамана. Я закричал: «Кака – осенний бык! Кака – не шаман, а хищник с бубном! Кака – тухлятина, падаль, его и чайки не будут клевать!...». Я уж и не помню, что я кричал... Отец испугался. Когда я замолчал, он тихо сказал: «Ну вот – теперь всё пропало. Слова твои слышал шаман...». Я говорю: «Ничего он не слышал. Не может он слышать». – «Нет, – говорит отец, – слышал». Мать говорит: «Адо97, разве ты старше нас? К тебе шаман даже ни разу не подходил. А мы знаем: шаманы всё слышат». –

⁹⁷ Адо – сын.

«Тогда, если у них уши, как озёра, большие, пусть Кака услышит меня, – сказал я. И начал дурачиться. – Кака, – громко позвал я, – приезжай к нам: ты нужен нам, приезжай! Я зову тебя! Я зову – приезжай...»

Заснул я в тот вечер, однако, спокойно. Думал: отец к Каке теперь не поедет, и всё будет по-старому.

Когда я проснулся, то подумал, что проспал несколько дней. Мне казалось, что я проспал все дела, которые сделал отец. У нас в тордохе, вот у этого очага, сидел Кака...

Тогда было начало зимы, и ни отец, ни я не ездили далеко, а в сторону Халарчи мы не ходили даже за тальником: примет своих оставлять не хотели.

Я подошёл к очагу, поприветствовал чукчу и спокойно спросил энэ: «Вчерашнее мясо осталось?». Она ответила: «Да, сейчас будем есть». Значит, я спал только ночь...

– Но ведь я же тебя учил: ничему не верь! – зло прервал его Пурама.

– А я и не поверил, что он услышал меня, – ответил Косчэ-Ханидо. – Я знал, сколько якутских шаганий он мог проехать за одну ночь, и легко представил, где был бы он, если бы даже ехал вдоль натянутого аркана и насмерть загнал оленей. Он сказал: «Вот я и приехал. Ты меня звал – я и приехал». Но я ему сразу дал знать, что меня даже волк укусить не может. Я спокойно ответил: «Надо пойти поглядеть, не с крыльями ли у тебя олени». Он тоже спокойно сказал: «А я твой голос услышал в дороге. Я ехал не к вам – к морю ехал: мне нерпичий жир нужен. Погляди – сети на нартах. Вечером ты меня звал. Следов не было – пришлось напрямик ехать... Рассветёт – поезжай по моим следам».

– Волк тебя, может, и не укусит, а шаману в пасть ты сам голову sunul! Я же тебе говорил: с шаманами больше молчи, – вмешался опять Пурама. – Ты думаешь, насчёт оленей с крыльями мудро сказал? Ты глупо сказал. Ты же признался, что вы ждали его и что о нём говорили недавно. А когда больше всего говорят? Вечером, когда все дела сделаны. Твою шестёрку он в масть семёркой покрыл... Ты туза козырного ему подарил! Он в момент понял почти всё. Его звал отец твой, а ты сопротивлялся; вы поссорились сильно, а поссорились из-за того, из-за чего от людей убежали; значит, на тебе есть большая вина, значит, есть тайна и на вас надо давить... Волк его не укусит!..

– Га! До чего ты умно, мэй, говоришь! – сказал Ниникай. – Только кого упрекаешь ты? Меня? Куриля? А сам ты в двадцать лет сомневался в словах шаманов? Шаман бросал варежку в темноте, а ты вместе со всеми верил, что это птица.

– А ты, Ниникай, в заступники не очень-то лезь, – сурово поглядел на него Пурама. – У юкагиров заступников нету и не было. А ему твоя доброта и вовсе во вред: нечего привыкать ему к этому. И меня, старика, с ним не равняй. Мало ли что было сорок снегов назад!

Косчэ-Ханидо тихо заговорил:

– Я и сам собирался сказать, что на человека-волка ловкости моей не хватило. Я и теперь не пойму, как он нашёл наш тордох.

– Да он и не ехал прямо! Блудил небось вокруг вас, пока олени снег не понюхали. А потом смекнул, кто может здесь жить, и для обмана крюк сделал. Мог наскочить и случайно: ты же не знаешь, откуда был ветер в ту ночь – его олени на запах и понеслись.

– А нерп он в тот раз ловил? Или от вас в Халарчу вернулся? – спросил Куриль. Спросил не случайно: объяснение Пурамы его не совсем убедило – он знал, что есть чукчи-охотники, которые на расстоянии чувят, в какую ловушку попала добыча. Куриль всё сомневался – не появилось ли у Каки такое чутьё?

– Ловил он нерп, ловил, – подтвердил Нявал. – И удача ему была.

– Он тогда оленей Тинальгина спасал, – пояснил Косчэ-Ханидо. – Надо было разбросать по пастбищу, позади табунов, нерпичий жир, и Тинальгин обещал за нерп столько оленей, сколько пальцев на руках и ногах у всех: его пастухов, у всех жён и детей пастухов. Кака сказал ему, что на оленей напали морские одноглазые духи...

Понимающий взгляд Куриля наскочил на такой же взгляд Ниникая.

– Ого! – заметил Куриль. – Это он, стало быть, к табунам Тинальгина приглядывался. Старик-то вот-вот уедет в тот мир, а старший сын его... не очень умён...

– Умён, как мёрзлая нерпа, – уточнил Ниникай.

– Да! – вспомнил Косчэ-Ханидо. – Кака в тот день опьянел и стал хвалиться, что скоро он будет царём всех тундр. Он тогда растарачил пальцы, вытянул руки и сказал: «Вот сколько у меня табунов будет. Кого захочу, того раздавлю, – сказал, – и самые лучшие пастбища захвачу».

Куриль с Ниникаем опять встретились взглядами. Для обоих это была новость из новостей. И от неё у каждого даже дух захватило. Они-то думали, что шаманская власть на издыхании! А она вопреки всему вон какие замахи делает... Это смешно или страшно, глупо или серьёзно?

– Ке, расскажи нам побыстрее и покороче, чем же тебя Кака ещё обессилил? – поторопил парня Куриль. – Он сказал, что во сне видел красное мясо?

– Да! Он это сказал... – Парень удивлённо глянул на Куриля, но быстро понял: Куриль хорошо знает придумки шаманов и может, наверное, сам рассказать, что было дальше. Но Куриль, конечно, не знает всего, не знает и самого главного. – Он сначала передал мне привет от Тинальгина, завёл разговор о тех самых оленях, которых я спас. Он даже так сказал: «Дурак ты, нинхай, дурак. Юагиры все дураки – от голода плесенью покрываетесь, от холода костями гремите, а добычу из рук выпускаете...». Дядя Пурама учил меня понимать шаманскую речь в обратном смысле. И получалось, что Кака что-то знает, а может, и всё знает. Однако я не хотел верить, что тайну он узнал через келе. Думал: у Тинальгина на трёх оленей счёт не сошёлся – и Кака сразу обо мне вспомнил, о нашем бегстве. Только это ведь не имело значения, что я подумал. Мы были на самом краю. Он придавил нас словами-намёками... В тот, первый день он не пытался ошаманить меня, он только хотел, чтобы мы подтвердили его догадку – так мне казалось тогда. Он топил нас в страшном чёрном болоте. И совсем оставалось немного... Ну, не выдержал бы из нас кто-нибудь... – Косчэ-Ханидо прервал рассказ и вздохнул: он намекал, что не выдержала бы, конечно, мать. – Только в этот момент Кака сам себе хуже сделал. Когда я заорал: «Молчите!» – он оказался сзади и накинул на меня аркан. Петля перехватила мне руки, он ногой ударил мне по ногам, я упал. Петлю он коленкой затягивал, а самой верёвкой начал душить...

– Сириккан! – вскочил на ноги Пурама. – И ты не вывернулся?

– В глазах у меня красное сияние замелькало, потом жёлтое, потом чёрное... Он душил меня, но не совсем – то отпускал, то опять душил. «Кайся, – кричал. – Открывай грех!» Думал, что его поддержат ама и энэ. Или за меня скажут. Но я сумел выпростать руку. Я ударил его по шее, вскочил, он – тоже. Я ещё ударил его – и он упал под жердь нимэдайла⁹⁸. Половина тордоха упала. И пока он путался в мёрзлой ровдуге, я совсем опомнился и так ударил его ногой, что он полетел наружу и покатился вниз – тогда сугроба не было за тордохом...

Пурама удовлетворённо покашлял и сел, сильно выпуская из ноздрей дым и жмурыся: мол, иначе и быть не могло, раз парня воспитал он, Пурама. Но он рано торжествовал.

– Ну, думал, на этом всё кончится, – продолжал Косчэ-Ханидо. – Любой на его месте уехал бы – с проклятиями и угрозами, но уехал бы. Я, однако, ошибся, сильно ошибся. На другой день Кака был тихий, неразговорчивый. Не знал я, что ночью он надумал меня ошаманить, не знал, что сильнее этого желания у него ничего в жизни, наверно, не было. И на мне второй раз оказалась петля. Помню, он успокаивал отца и мать: мол, теперь только бубен в моих руках спасёт меня, мол, нужно мне поубавить пылу, иначе с бродячими духами справиться невозможно... Когда он связал мне руки – не знаю. День прошёл, как в нижнем мире. До сих пор не знаю, почему я потом лежал на снегу и видел звёзды, которые прыгали и метались, как комары над высоким кустом. Мне казалось, что к нам вовсе и не Кака приехал, а что двойник его, привидение у нас появилось. И когда я чувствовал, что не умер ещё, живу – совсем не сомневался в шаманской силе. Может, из-за этого я и слабо сопротивлялся? Не знаю. Шея верёвкой была прижата к земле, Кака то дышал мне в лицо, то совсем пропадал, и верёвки я не чувствовал. По порядку я ничего не помню. Ещё помню, что мне показалось, будто я не человек, будто во мне какое-то озарение появилось... И потом было очень приятно сидеть, стучать в бубен и тянуть песню – без слов, нет, со словами, но так – без смысла... Плач старой хозяйки, ставшей для приезжих уже привычным, продолжил этот страшный рассказ, продолжил и закончил его. Но этот плач ни на кого не подействовал – он был всего лишь вторым, новым голосом, подтверждавшим, что так точно всё и было тогда вот в этом самом тордохе.

– Значит, ты не можешь сказать, называл ты себя вором или не называл? – спросил Куриль – это для него было главным.

– Не называл... – Косчэ-Ханидо очнулся от воспоминаний и встрепенулся: – Я не считал себя вором – не мог себя так назвать! И мне бы этого никто не внушил!

Он встал, обошёл Куриля сзади, поднял с земли бубен и ловко швырнул его под кипящий котёл. Швырнул и быстро ушёл за полог. Подарок Каки сразу сделался красным, похожим на огромную миску, полную свежей, горячей крови. И кровь эта будто вдруг загорелась огнём: жаркий костёр выбросил пламя изнутри чёрного обода.

– Ну, что ты теперь скажешь, старый олень?! – грозно спросил Пурама Нявала, – Что скажешь?

– Дык... это... Чего ж тут сказать?.. Ты бы, это, как рассудил – сам-то при этом? Он же кричал: «Или шаманом будет, или грех ваш чукчи узнают...».

⁹⁸ Нимэдайл – центральная тренога основы тордоха.

ГЛАВА 10

Далёк был обратный путь. Но дорогу до Халарчи наездил шаман, а к его зимовке как раз и спешили три путника. Искать следы, оглядываться не приходилось: путников подгонял и морской ветер, дувший прямо им в спины. Тянуло и дело, и ожидания многих людей. К тому же у путников были крылья – они мчались с победой, а ведь удача всегда сокращает путь. И олени – не лошади: могут нестись без передышки, пока не подохнут. И всё-таки расстояние было огромным – приходилось множество раз останавливаться.

Сначала ехали совсем хорошо – нарта к нарте, вроде друзей на состязании, ни один из которых не хочет вырваться вперёд. Но, доказав таким образом добрые отношения, поехали друг за другом, по-деловому: впереди Пурама, за ним Куриль, потом Ниникай. На первой остановке перекурили, на второй тоже, на третьей разожгли костёр, закусили. Ночёвку решили не делать. И вот когда решили не делать ночёвку, вдруг поняли, что каждый спешит по-своему, что у каждого свои дела и свои заботы. А потом всё пошло как-то не в лад. Куриль, наблюдая за шурином, чувствовал, что тот слишком уж расторопен и быстр, и это ему всё больше и больше не нравилось. Под старость Пурамы вышло так, что он спас его, не один, правда, а с Ниникаем, но всё-таки. И получалось, что Куриль попал в какую-то зависимость от него, а ведь всю жизнь было наоборот, хотя Пурама и кичился своей независимостью. Всякое теперь может быть – у шурина появились крупные, очень крупные козыри, он нажимать может, и даже угрожать или, по меньшей мере, не считаться с ним, делать по-своему, ничего не боясь. Всё это теперь будет коробить Куриля до конца жизни. Не радость это... То же самое, но ещё в большей мере относилось и к Ниникаю. Только опасности здесь были серьёзней. Куриль не оглядывался, но затылком, спиной чувствовал, что Ниникай вроде бы приуныл. Это было плохо на ближайшее время, потому что предстояла встреча с Какой. Но это плохо было и на будущее – трезвый ум, решительность Ниникая очень нужны. Во всех этих переживаниях Куриль был совершенно прав. Больше того, он многое преуменьшал. Хотя бы в отношении Пурамы. Пурама всё случившееся оценивал куда резче. Шутка ли сказать, что между ними кончился спор всей их жизни, да ещё как кончился! Все взрослые годы простой охотник Пурама, муж сестры Куриля, богача и вожака одиннадцати родов, испытывал унижения, переживал понукания. А кто такой Куриль? Бывший бедняк, пастух! Разбогател – и надулся, как бычий пузырь. Все богачи требуют унижения. Но переносить унижения от родственников особенно трудно. И что же теперь? Влип Куриль, как жирный медведь в трясину! А трясину-то сам себе и наместил... Пурама так же, как и его зять, чувствовал перемену, неизвестно почему происшедшую с Ниникаем. Это ему тоже не нравилось. Им бы вместе-то сейчас быть! А Ниникай всё чаще отстаёт, хотя каргины его могут бежать в два раза быстрее, на передыхах у Ниникая какая-то вялость в движениях, усталость в лице.

Весь этот скрытый разлад выявился на третий день.

Всю вторую ночь путники ехали без остановок. Давно уже была Халарча – земля чукчей, и на рассвете остановились, чтоб оглядеться.

Пурама подошёл к Ниникаю и тихо спросил:

– Ке, ты не заболел?

– Я? – переспросил Ниникай, и со значением ответил: – Старая болезнь с новой силой взяла...

Он не стал ничего объяснять, зашагал на бугор, чтобы взглянуть подалее: нет ли примет стойбища или кочевья?

В этот раз Ниникай поехал первым. А Пурама схитрил – пропустил вслед за ним Куриля: так им будет легче съехаться – поговорить напоследок.

Рассчитал Пурама верно, но лучше бы рассчитал иначе.

Как только упряжки нырнули в неглубокую падь, сплошь истоптанную табунами, Ниникай остановился. Куриль хотел было проскочить мимо, но что-то заставило его натянуть вожжи. Пурама стегнул оленей и оказался рядом.

– Афанасий Ильич, – сказал Ниникай. – Я, видно, своих поеду искать. Меня жена совсем потеряла, наверно...

– Так... – понимающе ответил Куриль. – Но ты пожил у своих, а я только оленей сменил.

– Ты для этого голова. А у меня семья.

– Понимаю. Вот как бывает: за столько снегов сошлись на одном деле, а дружба не получается. Хоть бы сказал, что за дорогу надумал.

– Э, ничего хорошего не надумал! – вздохнул Ниникай.

– Ну и о плохом бы сказал – всё к делу бы.

– Да, пожалуй, скажу, – согласился чукча. – Характеру твоему удивляюсь. Сбил с ног большого врага, победил – и весёлый, и хоть бы что.

– А чего падать духом! – бодро сказал Куриль, но в душе насторожился. – И тебе, думаю, нечего голову опускать. Плохо, когда жизнь – как туман над болотом. А сейчас то жарко, то холодно, то темно, то светло.

– Я не о том, – окоротил его чукча. – Хотя тебе, Афанасий Ильич, и приунуть бы надо. Ну, там, у Нявала, некогда было. Но в дороге я ждал, что ты вспомнишь чёрта, который тебя спутал, топнешь с досады ногой или кукашку верхнюю разорвёшь. Нет. Всё так же... А из-за чего всё это случилось? – врасяжку, зло спросил Ниникай, глядя прямо в глаза Курилю. – Вся такая беда из-за чего? из-за трёх шкурок! из-за трёх телячьих шкурок, которые ты не догадался послать самым нужным тебе людям! И твои беды на этом не кончились, не кончились – вспомнишь мои слова... Э, что говорить!.. Уехал я. Теперь без меня справишься.

Он сел на яэтэк и огрел каргинов вожжами.

Куриль не проводил его взглядом. Он опустил голову, зачем-то обошёл свою нарту и вдруг недоуменно пожал плечами.

– Никак нельзя с ним дружить, – сказал он, решив оправдаться перед Пурамой. – То и знает, что набрасываться из-за спины. А ведь не прав! Какой же я жадный, а?

Пурама вынул изо рта трубку:

– Я тоже так думаю: неверные он слова говорит. Три шкурки не могут такое наделать. Когда Нявал в грудь стучал, тут была правда...

Это был какой-то нехороший намёк, хотя Куриль не запомнил, в какой момент и почему отец Косчэ-Ханидо стучал себе в грудь, но намёк был нехороший, он чувствовал это.

– Что? Какая там правда ещё? – грубо одёрнул он шурина, забыв, что теперь с ним разговаривать надо иначе.

– Такая, – спокойно сказал Пурама. – У дикого оленя есть гордость, у мыши. У комара, у мошки только нету её. А человек – не мошка...

– Ладно меня учить, – оборвал его зять, всё поняв, как есть.

Он сел на нарту, зло скрутил вожжи петлём и стегнул оленей.

И рассыпалась дружба троих победителей.

Донельзя злым ехал теперь голова юкагиров. А когда увидел впереди яранги и дым над одной из них, совсем рассвирепел. Это было зимовье шамана Каки.

В зимовье у чукотского богач-шамана своих было четыре яранги: три принадлежали ему самому и трём его женам, в четвёртой, маленькой, обитали прислужники и вдовцы-оленоводы. Кака постоянно жил в одной и той же яранге, он всегда топил её – любил пить у огня. Сюда же он приглашал и любую из жён. Занесённые снегом, жилища чукчи ничем не отличались сейчас друг от друга, и хоть Пурама всё-таки безошибочно угадал ярангу Каки, подъехать к ней незаметно, захватить шамана врасплох было никак нельзя. Незаметно подъехать не удалось бы даже и ночью: огромная свора собак подняла такой лай, что не только спящий, но и смертельно пьяный вскочил бы на ноги.

Но Кака в этот день не был пьян. Ещё вчера чутьё подсказало ему, что надо быть трезвым. И он благоразумно вышел встречать гостей – он приготовился к этой встрече.

Огромный даже возле крутого склона высоченной яранги, шаман остановился у самой двери. Вместе с приближением жданных гостей Кака корёжился всё больше и всё отвратительней. Он растрепал волосы, вытянув их из косы, потом начал медленно разводить в стороны локти; он изгибал шею и поворачивал голову вбок и вверх, устремляя взгляд чистого глаза в небо, а глаза с бельмом – в тундру, навстречу упряжкам. Наконец он растарачил пальцы и обнажил красные дёсны.

Когда упряжки остановились против него, к ним бросился ловкий прислужник. Куриль, однако, резко остановил его:

– Пошёл от оленей, холуй разбойника!

– Алерской ту-ундры правитель, всех диких зверей повелитель, – пропел с издёвкой Кака, подражая шаману-якуту, который давно приезжал в Улуро на большое камлание. – С крестом к шаману приехал? Некуда больше ехать, наверно? Из-под шаманской важенки молока жирного попить захотел?

Поладнее усевшись на нарте, Куриль вынул кисет и трубку.

– Сейчас народу соберётся побольше – я тебе объясню, зачем я приехал, – спокойно ответил он.

– Га! Га-га-га! – негромко засмеялся Кака, тряся животом. – Келе, духи мои, жёны и дети духов моих, спасите меня: лысый божий сын хочет меня проглотить. А горло – в петле!

– Не кричи, не кривляйся: я тебе не простолудин из дырявой яранги, – сказал с угрозой Куриль, видя, что начинает собираться народ. От нахальства шамана, от оскорблений, от ссоры, которая началась вот так – на улице, голова, но особенно лицо его горели огнём, и он величайшим усилием воли сохранял выдержку. – Проглочу. И ещё как! И келе тебя не спасут. А горло тебе перехватил я, а не ты мне. Хочешь – спасу? Пойдём торговаться.

– Ги-и-ги-ги... – вдруг тонким голосом опять захохотал шаман. – Он

меня запугать хочет и тут же спасти! А за это я должен Косчэ расшама-нить. Га-га-га... Живот от смеха бурчит. Никого не боюсь я – ни тебя, ни исправника, ни бога, которого нет, ни чертей, и ни духов. Мои духи сытые, как быки, сильные, как медведи, и собак у меня много – вон сколько собак у меня...

Что было делать? При людях сказать ему несколько слов, от которых он быстро опомнится? Горячий Ниникай поступил бы не так – дал бы в зубы ему, втолкнул бы в ярангу...

– Я приехал к тебе одну тайну открыть, – как можно спокойнее проговорил Куриль. – Ту тайну, которую сообщила мне Тачана перед смертью...

– Что? – испугался Кака, однако опять засмеялся. – Перетявкать собак моих захотел? Так я их сейчас натравлю. – И, повернувшись, Кака скрылся в яранге...

Куриль растерялся. Но с ним был Пурама, который приготовился ещё и не к такой встрече. Пурама вскочил с нарты и бросился вслед за шаманом. Куриль поднялся и решительно шагнул в высокую дверь-заванеску.

Кака не дошёл до полога – обернулся. В чоттагине⁹⁹, кроме него, никого не было.

Быстро, дрожащей рукой Куриль вынул из кармана бумагу, перевязанную толстой ниткой. Это была последняя бумага от исправника, полученная ещё до поездки в Среднеколымск; что в ней было написано – требование по ясаку или просто вызов в острог, – Куриль не знал, и возил её в кармане затем, чтобы перехватить Потончу и попросить его прочитать слова.

– Тебе придётся ехать со мной, – сказал он, разворачивая листок с фиолетовым орлом внутри колеса – печатью. – Если не хочешь со мной договориться, то придётся ехать в Среднеколымск.

Свалив голову набок, Кака одним глазом глянул в бумагу, вытянул, как гусак, шею и, тяжело дыша прямо в лицо Курилю, сказал:

– Птица страшная, с двумя головами, а я её не боюсь. Такой бумагой русские знаешь что делают? Зад вытирают, только сперва немного помнут...

– В этой бумаге написано: кто вредит божьим и царским делам, тот должен быть привезён в острог и посажен в тюрьму навсегда. А вот эти слова я прочту: «За насилие, за грабёж бить шомполами, потом пять зим тюрьмы...».

Куриль знал всего одну букву – «о»...

– Врёшь, – довольно спокойно сказал Кака. – Здесь, во всех тундрах, с бумагой говорить умеет один Потонча.

– Духи твои проспали: я научился читать... А тебе ехать в Среднеколымск всё равно придётся. Тогда у исправника я ночевал – помнишь, пришёл я утром? Он мне эту бумагу дал. Четыре казака тебя повезут. Поедешь без шума и без еды. И уж тогда я тебя не спасу. А вот найти тебя в тундре я помогу... Жди казаков!

Юкагир повернулся и, дойдя до двери, добавил:

– Тачана перед смертью раскрыла мне вашу тайну. Я всё знал и пустил тебя по ложному следу. Это я отослал Нявала к белым медведям,

⁹⁹ Чоттагин – общая часть яранги (чукот.).

я приказал Косчэ поддаться тебе, чтобы тайны твои раскрыть, я даже плохой слух о сыне пустил... А теперь Косчэ сам себе косы отрезал и сжёг твой поганый бубен.

Куриль врал безбожно. Но это подействовало! Кака выпрямился и сказал:

– Постой, Апанаа...

Видно, бог очень любит тех, кто несусветно врёт в его пользу. Так, по крайней мере, рассудил ошарашенный Пурама. Гости остановились.

– Неужели ты обошёл меня?..

– Обошёл, – твёрдо сказал Куриль.

– Что делать?.. – опустил шаман голову. – Но только я не хотел тебя съесть, убить. А ты? Зачем уезжаешь? Если меня победил, зачем казаков зовёшь?

– Ты унизил меня перед народом. Поспешил радоваться. Царём всех тундр захотел стать... Поехали, шурин.

– Уедешь – я пушу себе кровь из живота...

Зрячий глаз Каки был растращен, страшен, а смуглое лицо стало серым, бескровным. Куриль не мог упустить возможность взвинтить себе цену, но и опасно было переигрывать: возьмёт этот умеющий сатанеть человек, да и ширнёт себя ножиком под кулачку!..

– Ты на мои условия не согласишься, – тихо назначил общую цену Куриль.

– Соглашусь. Что скажешь, то будет... Эй! – повернулся Кака к людям. Он поймал взглядом прислужника. – Что ты стоишь, меркешкин! Распрягай оленей моих гостей!..

– Ты сейчас людям скажешь, которые там собрались, что испытывал меня как шаман, – потребовал первую плату Куриль. – Любовь мою к светлой вере испытывал.

Шаман бросился в дверь – и приехавшие услышали:

– Люди! Встречайте моего лучшего друга – голову юкагиров! Вы видели, вы слышали, как я испытывал его веру в бога? Мой друг ничего не боится, даже собак. И сын его – богатырь Косчэ-Ханидо – не шаман. Это я пустил ложный слух, чтобы Куриль приехал ко мне. Вот он – приехал! У меня с ним большой разговор. А богатыря Косчэ я жду в гости – давно не видел его...

Оставив людей в замешательстве, хозяин вернулся в тордох.

Сразу же выпугнув из-за полога младшую из трёх своих жён, которая после обеда голенькой млела под меховым одеялом, а теперь успела одеться, Кака дождался, пока шаги её стихли, и вдруг ощерился на Куриля, как волк на собаку или как собака на волка:

– А теперь я хочу знать, чем я ещё должен тебе заплатить?

Было ясно, что шаман очнулся и овладел собой. Но он не овладел своими чувствами – не сумел прикрыть ненависти к Курилю. И вот тут случилось неожиданное. Пурама, не размахиваясь, ткнул кулаком в разрисованную наколкой скулу шамана. Удар или был чересчур сильный, или чересчур неожиданный – только Кака передёрнулся, взмахнул рукой и грохнулся наземь. Падая, он успел схватиться за ремень сускара-ла, вся яранга вздрогнула, вода из чайника выплеснулась на притухший костёр, и пар вместе с пеплом тучей шарахнулся вверх.

– Сирайкан, меркешкин, суолоча! – подскочил к Каке Пурама, руга-

ясь на трёх языках. Он, бывалый охотник, хорошо знал, что даже зверь может притвориться убитым и сорвать когтями череп зеваке. Поэтому он занёс ногу для удара в лицо: – Он ещё собирается с нами тягаться! Кто два года ездил к Нявалу и грабил его? Кто брал песцов ни за что – за молчание? Ты! Кто душил арканом Косчэ? Ты! Кто ограбил Мельгайвача? Ты! Кто хотел забить до смерти сироту Пайпэткэ? Кто заманил вот в этот вонючий тордох жену Ниникая и пытался её изнасиловать? Ты, ты, меркешкин, разбойник с бубном!

Если бы Пураму не оттолкнул Куриль – быть бы шаману с этого дня или совсем косым, или уродом с переломанным носом.

– Н-ну? – спросил Куриль. – Ты согласен дальше пакостить мне? Или нет? Если я сейчас разозлюсь, то тебя ждёт не тюрьма, а пуля. Я ещё могу рассказать, что ты клятвопреступник, что ставишь подножку людям, которые выполняют волю царя. Ты мутишь народ против бога и против веры, а значит, и против царя! Не выкрутиться тебе, Кака. Если даже всех оленей своих захочешь отдать, и то не спасёшься: слышал, исправник сказал – олени царю не нужны... Я уеду сейчас – и конец тебе навсегда.

– Неужели убьёшь меня? – приподнял Кака голову. Он сидел возле потухшего очага. Между ним и Курилем качался туда-суда чайник. На разрисованной скуле шамана горел чёткий след от кулака Пурамы.

– Убью? – громко переспросил Куриль. – Тебя? Значит, ты не шаман, если спрашиваешь. Если шаман, то выгони нас отсюда, усыпи, заставь делать по-твоему! Не сумеешь. А Токио бы сумел... Ты не шаман. За бубен взялся, чтобы спокойно грабить и подлости делать.

– Ты тоже прикрываешься именем бога, – огрызнулся Кака. – Табун выиграл именем бога, обещал отдать его на строительство церкви, а сам присвоил его...

– Я в хлопотах за бога Христа потерял больше, чем этот табун! – тоже огрызнулся Куриль. – И потом – я не присвоил, меня царь наградил им – бумага об этом есть у меня!

– Э, бумага... Скажи, Куриль, что такое тюрьма? Тёмный дом?

– Да. Из камня. Свет туда не пускают ни днём, ни ночью. Есть дают муку, размешанную в воде. И так всё время кормят. А ещё в тюрьме мужчин превращают в женщин...

– Как это?

– Так. Мужик с мужиком живёт.

– Кок – кай... – протянул чукча. – Это лучше сгнить в тундре.

– Тебе долго сидеть в тюрьме, думаю, не придётся. Слышал – война? Пошлют на войну, заставят в германцев стрелять, а потом тебя всё равно германцы убьют. Вот там и сгниёшь.

Кака закричал, поднялся на ноги.

– Хватит пугать, – сказал он серьёзно. – Что сделать я должен, чтобы мы помирились.

– Сперва объедешь улурские стойбища и чукотские, ближние к нам. Говорить будешь людям, что слух о Косчэ – глупый. Мол, ссорился ты со мной и потому болтал что не надо, что испытывал мою веру – как хочешь. Согласен? На Малое Улуру поедешь. Сегодня.

– Нам, может, чаю попить? – предложил Кака вместо ответа. Радости в его голосе не было, но он соглашался. – Оставайтесь тут ночевать. Если что – жён могу позвать на ночь...

– Ага, зови – которым лет по восемьдесят... Но ты не думай, что объедешь стойбища – и откупишься. Это не только мне, но и тебе нужно. Если люди узнают, что ты арканом, насилием принуждаешь брать в руки бубен, то ты пропал как шаман. Верно я говорю? Или нет?

– Не верно! – зло сказал вместо Каки Пурама. – Нечего ему думать, что он шаманом останется. Мы ему всё равно спокойно спать не дадим.

– Кто пытался вмешиваться в мои дела – все сворачивали с дороги! – сказал с намёком на Ниникая Куриль. – Тридцать песцовых шкур привезёшь мне, Кака. Тридцать. И самых лучших...

– О-ой, – скобочился, будто от страшной боли, шаман. Ладонью он закрыл щёку с красной отметиной, словно только сейчас почувствовал страшный удар.

– Не стони. Это – по-божески. Сколько взял песцов у Нявала? А? И молчи. А то скажу – сто, и отдашь сто...

– Куриль, пожалей!

– Ты Нявала жалел? Песцы пойдут на строительство церкви. И ты подтвердишь, что даёшь добровольно.

– О-ой, Куриль. Ты же насильник больше, чем я. Шаман помогает церкви... Я бубен сожгу.

– Что тебе выгодней, то и делай. А песцов отдашь всё равно. Иначе Нявал поедет в управу и разорит тебя.

– Ладно, отдам, – согласился Кака. – Но больше не сделаю ничего!

– Сделаешь. Тридцатью шкурками откупиться собрался? – опять выскочил Пурама.

– Мой шурин будет молчать, или он уедет отсюда, – жёстко сказал Куриль, грозно повернувшись к нему. – Тут не колымская ярмарка... – Он стал ходить туда-сюда, успокаиваясь. – Кака, ещё одно дело. На попу будет учиться Сайрэ. Но Синявину может понравиться Косчэ-Ханидо. Однако он бубен держал. Так ты скажешь Синявину, что это была шутка. Это ведь так и было – парень для обмана взял его в руки.

Шаман скривил губы в усмешке и уставился в глаза Курилю как будто одиноким на его лице и потому очень пронзительным взглядом.

– Что, моему слову хочешь поверить? А если закричу: «Шаманил он»?

– Ну, что ж, Сайрэ будет попом. А Косчэ-Ханидо на писаря, на моего помощника будет учиться. А тебя люди растопчут ногами.

– Ладно. Кто будет попом – всё равно. Только если тебе это важно, то давай сговоримся: пусть Косчэ станет попом, но ты мне за это Халерху в жёны отдашь. У меня на неё живот чешется...

– Что-о? Халерху? – не пересилил наглости Пурама. – А ты не хочешь в тундре замёрзнуть? Как старый шаман Сайрэ?

Кака растерялся: это угроза или намёк на безрассудство, которое может кончиться плохо? А пока он думал, Пурама приготовил ответ:

– За Халерхой следят молодые ребята. Они убьют тебя, если ты к ней подойдёшь.

Шаман закрыл глаза, постоял молча, потом вкрадчиво заговорил, будто рассуждая сам с собой вслух:

– ...Да, последним, кажется, не я заходил к Тачане... Ты заходил... Помню... Но ты ещё раз хотел к ней зайти, а у неё отнялся язык...

– А что же ты духов не подослал? – прервал Куриль его воспоминания. – Они же у тебя первые сплетники! Против меня затевал дело, а за

мной не следил. Да дело-то какое – самое важное!.. Не шаман ты, Кака. И знать ты не мог и не можешь, что юкагирка сказала мне – голове юкагиров. А вот тебе моё последнее условие...

– Бей меня, Куриль, бей! Топчи, как хочешь, меня!

– Тебя при людях Косчэ будет бить – не я. Как раз такое условие. Он будет бить, а ты будешь молчать. Люди подумают, что Косчэ тебе мстит за сплетню. Вот тогда и совсем помиримся. Договорились? Ты стерпишь, если не хочешь попасть в тёмный дом и на войну...

– Я уеду сейчас, Апанаа...

– Поезжай. Может, Потончу встретишь? Тебе дать бумагу, чтобы он прочитал? Только обратно отдай!

– Не надо. Сожгу я её. Или... Ну, гок – поехал!

– В дороге, Кака, подумай: может, бросишь шаманство? Сожжёшь бубен – я тебе почёт и славу выхлопочу.

– Шаман я. А бога нет. Да что же это был бы за бог, если бы он заставлял людей меня почитать! Ты чепуху говоришь, Куриль. Ну, гок! Поехал. В тордохе напротив – прислужник мой. Он сделает всё. Я скажу. А чай жёны сейчас принесут.

Был уже вечер. Кака в свой тордох не вернулся – уехал.

...За шаманским пологом было тепло и уютно. Ветер стучался в ровдугу, но каркас шаманской яранги стоял очень крепко, так крепко, что даже жирник не вздрагивал. И всё-таки здесь, за пологом, было не очень спокойно: легонько покачивались деревянные духи, подвешенные на нитках, и тени от них будто брали разгон, чтобы бежать куда-то – за своим хозяином, что ли?

Куриль и Пурама лежали под одним одеялом. Они наелись, напились и покурили. Оба они сильно устали, но удивительно – не засыпали. Мир сплошного вранья и угроз, хитросплетений угроз и вранья не выпускал Куриля на свободу. А Пурама думал о боге: неужели и божий мир держится на вранье, неужели бог не умеет сам наказывать зло?

ГЛАВА 11

Слухи о скором крещении тундры взбудоражили всех – от смышлёного малого до несмышлёного старого. За время отсутствия Куриля эти слухи обросли нелепыми домыслами, что уже и нельзя было понять: приезжает ли поп Кешка из Нижнего или вот-вот спустится с облаков на улурскую землю сам бог. Перемешаться правде и чуду помогало и то, что с событием и впрямь оказалась связанной судьба богатыря и красавицы: Ханидо и Халерха были и придуманными, сказочными и в то же время живыми.

Как бы то ни было, но Халерха опять очутилась в центре внимания, только теперь уж прочно и неотступно. Внимание к ней обострилось не только по той причине, что по всем тундрам жили ею отвергнутые женихи. Тревожные вести поползли о её судьбе. Очень хотелось людям – простым людям, конечно, – чтобы в этот год шестая луна не была для неё коварной. С нетерпением ждали возвращения Куриля, который должен сказать, что шаман Кака всего-навсего зло пошутил или подумался глупо, по пьянке. Но, видно, тундру кто-то проклял на вечные

времена. Пока неуверенно ожидали добрых вестей, случилась беда – беда определённая, неотвратимая. У Халерхи умирал отец.

В последние годы Хуларха стонал всё чаще и чаще, особенно по ночам. И Халерха постепенно привыкла к стонам. Ей даже становилось не по себе, когда боль отпускала его – ей не хватало голоса единственного родного человека, отца, потому что если он стонет, то, значит, живёт... Уже больше трёх лет тордох Хулархи стоит на одном и том же месте: с больным, не ходячим отцом хозяйке-дочери не до кочёвки. Голодное время было три года назад, и многие старики, старухи завидовали Хулархе: он мог уехать в тот мир легко – по сравнению с ними, здоровыми, но голодными. Хуларха, однако, не умер: болезнь не одолела его, а от голодной смерти спасли брат Хулур, Пурама и прочие люди, приносившие то бульон в кружке, то кроху мяса. Много ли еды надо больному! И Халерха, деля с отцом милостыню, исхудала, сделалась белой, как снег, но не опухла, не умерла... Потом Хуларха болел как-то попеременно: иногда, получив угощение – пару глотков горькой воды, он приободрялся, даже вставал, но иногда по ночам он так громко стонал, что люди потихоньку просили бога впустить несчастного в мир его предков.

И вот наконец взбаламутилась тундра: Куриль уехал за женихом, а в Улуру началась суета – стали появляться нездешние люди: то купцы из дальних краёв, то целые семьи чукчей, то какие-то богачи, которых раньше никто и не видел. И вот в это-то время Хулархе вдруг сделалось плохо, да так плохо, как никогда ещё не было. Старик неожиданно стал разговаривать очень трезво, словно был здоровее здорового, и глаза его помолодели. Но при этом он нехорошо, безостановочно жадно дышал. Да что там жадно дышал! Он начал часто метаться на своей вытертой шкуре, хвататься руками за горло. Стонал он теперь не жалобно и не громко, но зато с хрипом, с безнадёжностью человека, который понял, что остался наедине со смертью.

Люди стойбища теперь и не знали, что делать. Что говорить старику, как и чем утешить его самого, чем утешить его дочь, о чём молить бога? С одной стороны, Хуларха мог и должен был вот-вот увидеть счастье своей Халерхи, испытать всеобщее почитание, и поэтому всем хотелось, чтобы он не умирал сейчас. С другой – всё могло обернуться плохо, так плохо, что лучше бы ему ничего этого и не узнать. Не легче было и с Халерхой, которую охраняли всякими способами от страшных шаманских слов. Ободрять её, утешать близким счастьем? Но ведь неизвестно, будет ли это счастье. А вдруг Кака правду сказал, вдруг Косчэ уже не жених её и не приёмный сын Куриля? Оставшись круглой сиротой, Халерха сразу после смерти отца почувствует над собой проклятие и, глядишь, умом тронется, как Пайпэткэ. Или, напротив, готовить её ко второму удару, намекать, что будут другие беды?... И так плохо, и этак, и с отцом плохо, и с дочерью плохо...

Прошло уже целых семь дней, а никто из трёх путников, уехавших за женихом, в стойбище не возвращался. И никаких новых слухов не привозили ни здешние люди, ни приезжающие издалека. Это казалось зловещим. А Хуларха был уже близок к полному успокоению. Вечером, когда боль от него отступила, он позвал людей и отдал предсмертные распоряжения – сказал, где его похоронить, какого оленя запрячь, что положить в могилу.

Порядок требовал вызвать шамана, который смягчил бы последние муки и рассказал бы о судьбе Хулархи в мире предков. Однако пойти на это было нельзя – боялись прогневить бога, теперь летающего, конечно, над самым Улуру, да и никто не осмелился бы вмешать любого шамана в сложное дело, которым заняты самые важные люди.

И тогда сказитель Ланга обошёл с десяток тордохов. Он позвал на совет самых мудрых и самых почтенных людей.

Собрались они поздним вечером – знали, что чаще всего смерть забирает больных перед утром.

– Если род остался без вожака, то люди сами решают, что нужно делать. Так говорится во многих сказках...

С этих слов мудреца Ланги начался разговор.

– Мужики, – продолжал он, – мне на старости лет показалось, что сказки придумывали для людей будущего, может, для внуков наших внуков... Но Куриля нет. Хуларха мучается так, что седые волосы на голове шевелятся, и в тот мир он может уехать без почестей и без всякого следа. Что будем делать?.. Кто знает, как провожают в тот мир при попах?

– Правильно говоришь, Ланга, – согласился дотошный старик Бахчэдэ. – Хуларха уезжает от нас перед крещением. Выходит, он богу нужен и с ним по-божьему надо. Я сам около русского умирающего не был, понятно. Однако, слышал, что русские стучат в железный звон. Не зря, видно, стучат. Может, они так просят бога облегчить муки? Может, просят скорей забрать? Может, передают ему скорбь живых?.. Не знаю, придумывать не хочу. Только они громко бьют в холохол. Вот слово моё.

– Ты верно сказал, Бахчэдэ, – согласился Ланга. – Я тоже слышал, только хотел, чтоб другой кто сказал. А то получится, что я вожак. А я – как вы. Я ещё слышал от одного якута вот что: над домом царя висит холохол величиной с наш тордох. Крестился якут, что это правда. В него и бьют, как начнёт умирать близкий к царю человек.

– Безбожник, однако, этот якут! – резко не согласился Хурул. – Врёт. Холохол такой оглушит царя. И если помирает близкий к царю, а значит, и к богу, человек, то зачем так громко просить бога? Он сам должен всё знать. О простом человеке надо громко просить.

Старики смущённо замолчали, и Ланга растерялся.

Первым опомнился Бахчэдэ. Он сказал:

– Брехня не брехня, а в Среднем остроге в холохол бьют. Чайгуургин говорил – попал один раз к смерти русского. У нас тоже так будет – Куриль говорил.

– Ладно, пусть так, – пошёл на уступку Хурул. – Однако где у нас холохол?

– Железо есть, медь есть! – сказал Бахчэдэ. – Громче всего звук от железа, а поёт лучше – медь. У кого что есть, в то и будем стучать. Кроме что можно сделать?! Ещё поговорим с Хулархой – пусть нам тайны откроет. Шамана нет, попа нет – с нами пусть разговаривает.

– Хорошо, – согласился Ланга. – Но я ещё скажу к этому: всё, что говорил Кака, называть враньём. Может, до него какие слухи дошли... Зачем ему новые муки? И греха не будет на нас: мы ведь правды не знаем.

Все согласились.

– Давайте и об этом поговорим, что будем делать, если Кака ошаманил жениха Халерхи, – предложил Бахчэдэ.

– Куриль не послушает нас, – вздохнул сказитель Ланга.

Все опустили глаза – согласились. Но не согласился Хурул – брат мирующего Хулархи.

– Что это так: всё Куриль да Куриль! – зло сказал он. – Куриль не дюже-то думал о больном и его дочери, когда голодное время было. Люди от себя отрывали – спасли. А теперь он хочет распоряжаться!.. На племянницу я тоже права имею.

Наступило молчание, тягостное и тревожное.

Наконец Ланга спокойно сказал:

– Если Косчэ-Ханидо взялся за бубен, то сделал он это не на радость Каке, а назло Курилю. Я думаю так. Тут может быть большая тайная ссора.

Это было слишком смелое подозрение: богатырь вступил в спор с самим головой. Но подозревал не кто-нибудь, а сказитель. И собравшиеся вдруг дали своим языкам волю.

– Если так, возьмём Ханидо под защиту. Он всё поймёт и сам бубен бросит.

– Свадьбу всё равно устроим.

– Пусть Куриль на попа учит Сайрэ. А Ханидо пусть обучится книги читать и слова заносить на бумагу.

– Верно, зачем богатырю быть попом?

– И Ханидо сумеет тогда все родственные линии нарисовать на бумаге.

– На бумаге сможет жалобу написать...

– Царю написать сможет, что нету в тундре ни чаю, ни табаку, что красивые шкурки отдаём за иголки...

– Написать можно, сколько людей помирает. Этак, мол, и песцов ловить некому будет...

Наверное, не было бы конца этим мечтам и пожеланиям, если бы не трезвый голос Хурула:

– Брат мой помирает...

И закричали старики от стыда.

– К Каке надо ехать, – сказал Ланга. – Пусть второй раз скажет, что тогда говорил. Если пьяный обманывал, то Хуларху можно утешить хорошими новостями.

– А если не врал, то надо сказать, что в большой юкагирской беде он виноват больше всех, – прибавил старик Бахчэдэ. – И пусть он забудет Олерскую тундру.

– Может, не одному поехать? – спросил охотник, самый молодой из собравшихся. – А? – В его очень скуластом лице и очень раскосых глазах была не только решимость немедленно ехать, но и скрытая решимость совершить непредвиденное.

– Нет, – мудро сказал Ланга. – Поедет один. Лучше бы двое – муж и жена – к родственникам.

Понимал сказитель, чем могла обернуться поездка горячих людей...

– Ладно, один поеду, – согласился охотник, давая понять, что ничего не случится.

Поздно разошлись мудрецы по своим тордохам. Но разошлись очень довольными. Знали они, что приезжие богачи уже второй день не выходят из высоченной яранги – обговаривают свои дела. А теперь вот и они, простые люди, тоже обговорили свои дела...

К Хулархе решили идти сразу: в это время ему бывает немного лучше, да и говорят, что молитвы в такую пору бог лучше слышит. Попутно сказали людям, что надо делать.

А небольшой несчастный тордох уже не был пустым: кроме самой Халерхи и её названной матери, а теперь самой близкой подруги, вдовы Пайпэткэ, тут уже засели мужчины и женщины, образовав круг, не замкнутый лишь у полога да у двери. Люди успели преподнести хозяину много предсмертных подарков и теперь сидели в ожидании самого главного – того, что задумал Ланга со стариками.

Угол полога был откинут, и мигающий жирник освещал Хуларху, полулежавшего на груди старой одежды. Щёки Хулархи совсем провалились, а скулы выпятились двумя белыми шишками. Руки он вытянул поверх потёртого одеяла из шкур, а вдоль рук, по бокам его, лежали варежки, мягкая обувь, свёртки, разные поделки из дерева и рога – подарки от людей, остающихся в этом мире.

Ланга вошёл первым, за ним Хурул, Бахчэдэ, потом остальные. В тордохе стало так тесно, что поворачиваться, шевелиться было совсем нельзя. Никто не курил, и лица легко угадывались в полумраке. Нужды разглядывать людей у Ланги не было, но ему бросилась в глаза голова старого Амунтэгэ – то ли оттого, что была она с плешью и чуть блестела, то ли из-за подслеповатого, но очень напряжённого взгляда, которым он встретил вошедших. Амунтэгэ был мужем давно умершей шаманки. «Неужели при людях решится просить Хуларху передать послание Тачане?» – насторожился Ланга. Набожный Хуларха открестился от сатаны, откажется встретиться с Тачаной на том свете, а пустоголовый Амунтэгэ, злой на его умершую жену Чирэмэдэ, на Халерху и Пайпэткэ, возьмёт да и что-нибудь ляпнет... «Как же мы не догадались занять его чем-нибудь?» – подумал Ланга, садясь у самых ног неподвижного Хулархи и спиной к Амунтэгэ.

– Ке, – начал он, – мы пришли поговорить с тобой и помочь тебе, как бог нас вразумил. Тебе сейчас вроде бы легче...

– Успокаиваюсь, друзья... успокаиваюсь понемногу, – сказал Хуларха. – Передышки стали длинней – значит, скоро уеду от вас...

– Ты с богом разговаривай больше.

– Да я уж сколько раз просил его. Видно, плохо он слышит меня...

– Вот и мы так рассудили: хотим помочь тебе, чтобы услышал он.

– Это для меня радость... большая радость... Я вижу, улурочи заботятся обо мне... И подарки вот принесли... Я много раз вспоминал твой рассказ, ке, Ланга... как одна старушка... великой неряхой была... и умерла... а потом ожила. Сказала, что бог на её подошве... чешую рыбью заметил... и не принял... Потом она – помнишь, ты говорил – чистоплотной стала... каких мир не видел... И через несколько лун совсем померла... Но на мне даже такого греха нет... вы же знаете, люди... И на Чирэмэдэ греха не было, а про дочь и говорить нечего...

– Мы знаем...

– И бог это видел... – раздались голоса.

– Молитесь за меня с чистой совестью...

– Ты, Хуларха, знаешь: тундру скоро будут крестить, – продолжал разговор Ланга. – Людей уже много приехало. И мы рассудили так: бог, наверно, решил принять тебя особо – не как других... Но ты сильно уж

мучаешься, и мы сговорились не только молить за тебя бога... Мы будем громко стучать, Хуларха...

– Стучать? Зачем же стучать?

– Нужно так, Хуларха, нужно, – сказал Бахчэдэ.

И Ланга начал пересказывать то, что они обговорили и обдумали с божьей помощью.

Рассказ этот сильно насторожил Хуларху. Ланга ещё не закончил, а из глаз его уже выкатывались слёзы, ручейками, опоясавшими бугорки скул. Он долго молчал в тишине – и было похоже, что только сейчас до несчастного старика дошла правда истинная: жизнь его в среднем мире кончается.

Но потом Хуларха как-то сразу повеселел. Он заворочался, погладил рукой шёрстку камусов, сшитых кем-то в подарок, и тихо проговорил:

– Я богу скажу, что люди моего рода добрые и хорошие. Попрошу его, чтобы он немного прибавил вам счастья и радости, чтобы немного жизнь облегчил...

Кто-то из женщин неожиданно и вроде бы без причины заплакал.

Хуларха напрягся, пытаясь улечься повыше, пошевелил плечами и сурово сказал:

– Плакать зачем же! Всё хорошо-то как обернулось... А я... Я скоро вернусь к вам. Вот Халерха моя выйдет замуж и родит сына, а вы приглядывайтесь к нему, приглядывайтесь: это я буду...

– А за кого она выйдет? – вдруг раздался голос за спиной Ланги. – Ты бы сейчас и решил, за кого ей выходить. Старые люди детей устроить должны, и ты не откладывал бы, Хуларха...

Амунтэгэ... Это он сказал.

Долго думать толпа не умеет. Зато толпа умеет быстро давать отпор.

– Что ты болтаешь!

– Из тайги, что ли, пришёл?

Голоса были резкими, но сдержанными – все, кто осаживал злого и тупоумного старика, понимали, что нельзя слишком наваливаться – это раскроет тайну. И всё-таки начался шум. А муж умершей шаманки или не понял, чего от него ждут люди, или не хотел понять.

– Что вы, мужики, женщины, я ведь дело спрашиваю! – стал оправдываться он. – Хуларха же не отдаст дочь за шамана.

Хуларха из последних сил привстал на локтях и замер.

– За какого шамана? – спросил он, расширяя глаза.

– Ну, Косчэ-то... как же, все знают...

– Хуларха, зачем ты хочешь сплетню услышать? – заглушил его голос Ланга. – Большой человек всегда опутан сплетнями, как русский нитками.

– Поддержи-ка меня, Бахчэдэ, – попросил Хуларха. – Под спину... Амунтэгэ, ты о Косчэ... говоришь?.. То-то я вижу, что его нет вместе с вами... И Куриля нет... И Ниникая... и Пурамы...

– Они завтра приедут! – поспешил заверить его Ланга. – Нявал-то аж к Мёрзлому морю уехал...

– Крестись... тогда поверю, что сплетня.

Несчастный сказитель сразу стал похож на мокрую сову, которая вдруг поняла, что дождь никогда не кончится, – он закрыл глаза и опустил голову.

– Так. Понимаю... Положи меня, Бахчэдэ, – тихо попросил Хуларха. – Кака ошаманил – некому больше...

Весь тордох будто провалился в могильную яму – так стало тихо в нём. Люди лишь поворачивали глаза, посматривая то на больного, то на его дочь.

Халерха сидела у костра рядом с Пайпэткэ, и лицо её многим было хорошо видно. Халерха окостенела. Она не только не шевелилась – она не дышала и не моргала. При первом слове «Косчэ» спина у неё выпрямилась, да так выпрямленной и осталась. Руки замерли на коленях, грудь не опускалась и не поднималась, а белое лицо и расширенные от ужаса, но всё равно маленькие глаза не оживлял даже пляшущий свет костра. И удивительно похожей на неё была сейчас такая же белолицая, с такими же маленькими глазами уже постаревшая Пайпэткэ. Она тоже выпрямилась и напряглась. Но только она не замерла – даже напротив, грудь её от глубокого дыхания так сильно ходила туда-сюда, что плечи то поднимались, то обваливались. Пайпэткэ в упор глядела в затылок Амунтэгэ, и, если бы всё это происходило в иное время, она, наверное, закричала бы или бросилась на ненавистного старикашку, который был когда-то её неродным жестоким отцом. Но она сдержала себя и негромко сказала:

– Кака его ошаманил. Они с тёткой моей Тачаной договорились, когда меня бить хотели, а Куриль не дал. И Амунтэгэ всё это знал, только молчал...

– Нет! – вскочил на колени Амунтэгэ. – Я не знал. Вот – крещусь: я не знал... Тачана, может, знала...

– Но если ты, изверг, знаешь не больше людей, то почему люди молчат, а ты говоришь? Потому, что люди слухам не верят. А ты веришь, выходит? Или больному хотел сделать больней?.. Хайче, если будет твоя воля отдать за шамана, за какого угодно шамана, я убегу из Улуро и Халерху увезу. Мне, сумасшедшей, бог всё простит...

А у Хулархи глаза разошлись в стороны. Ему стало плохо. Но он, уже ни на кого не глядя, всё-таки тихо проговорил:

– Ланга, голос твой хочу слышать...

И Ланга, царапая ногтями щёку, утыканную редкими белыми волосинками, начал говорить. Он говорил всё, как оно было и как есть сейчас.

До конца не дослушав, Хуларха сказал хрипло и тихо:

– Понимаю... жалели меня... Воля моя такая... дочь не будет женой шамана...

– Тогда скажи, за кого она может выйти, – спросил Бахчэдэ.

– За честного... человека... За очень смелого человека... Она чайка свободная – пусть решает сама... – Хуларха вдруг дёрнулся, и голова его свалилась на плечо, набок, будто шея вдруг стала мягкой.

Халерха громко вскрикнула и бросилась через людей к отцу. За ней бросилась Пайпэткэ.

Сидячая толпа тихо, но страшно ахнула и, не двигаясь с места, вся подалась вперёд.

Долго глядела Халерха в глаза отца, придерживая его голову, долго люди не шевелились, ожидая крика или плача сироты-невесты. Но произошло неожиданное: у старика вдруг шевельнулась, а потом согнулась в локте рука.

– Дышит... – крикнула Халерха и уронила на грудь отцу голову.

А народ не откликнулся вздохом облегчения, народ начал шептаться.

Это было только беспамятство. Не берёт, всё-таки не берёт его бог к себе – вот что видели люди.

Тордох опустел. Но никто не расходился. Бахчэдэ и Ланга стали советовать с людьми – что делать. И решили бесповоротно: надо сейчас обратиться к богу с мольбой – сейчас, потому что Хуларха и бог только что были рядом...

И растеклись люди по стойбищу, чтобы как можно скорее вернуться сюда же – на большое моление.

...Стояла холодная тихая ночь. Синий от лунного света морозный туман затопил озеро с берегами, сровнял низины, улёгся над тундрой. Большая луна сверкала лишь над макушкой Соколиной горы – там, наверху, туман сильно редел, а на едоме, где прилепилось стойбище, было ни светло, ни темно, как в дыму, как в чаду. Но если с вершины только могло показаться, что на землю опустились отяжелевшие тучи, то на скате, внизу, люди всерьёз сомневались – уж не вместе ли с богом снизилось небо?..

Приезжие люди давно спали в своих жилищах, когда улурочи обратились с первой серьёзной просьбой к богу Христу – взять в верхний мир православного человека, великомученика Хуларху. Сами улурочи, однако, и не предполагали, каким внушительным будет это моление. Человек двадцать пять или тридцать стали колотить палками по чугунным, железным и медным посудинам. Большинство топталось вокруг тордоха, но самый сильный лязг прорывался изнутри, через ровдугу – там изо всей мочи били железным прутом по огромнейшей сковородке. В морозном воздухе звуки чётко троились, отскакивая от горы напротив, да их ещё повторяло дальнее эхо – обрывистые берега озера. В этих повторях, доносившихся из тумана, было столько таинственного и неожиданного, что людей поначалу брала оторопь: казалось, что отзывается нижний мир, а не верхний, и некоторые начали было стучать потише. Но потом всё наладилось: это ведь вместе с людьми к богу обращалась сама земля – берега озера, озёрное дно, тундра за берегами... Сначала молились негромко, но затем почуяли, что звуки железа и дружный хруст снега под ногами заглушают слова, и тогда люди возвысили голоса: кто выкрикивал одно жаркое слово – «Господи!», кто причитал навзрыд, кто пел, срываясь на отчаянную мольбу во всё горло... И вскоре радетели Хулархи уже нисколько не сомневались, что будет успех, что лучшего им придумать было нельзя. Ничего подобного тундра не знала. И разве мог не услышать такого грома, такой мольбы властелин, парящий над тихой белой землёй?! Что же ещё, кроме этого, мог он услышать в морозную ночь?..

Уверенности ещё больше прибавилось, когда сбежалась толпа народа, окружившая вторым кольцом небольшой кособокий тордох. Гости Улуро, прервавшие сон, тревожно шептались, сочувственно охали, и то здесь, то там раздавалась мольба: «Господи, помоги им!», «Господи, облегчи муки несчастного!», «Господи, погляди на этот тордох!..».

И не хотели, не могли знать люди, какие муки испытывал умирающий, да ещё обессиленный дурной вестью старик. А муки были ужасны-

ми – ведь за годы болезни Хуларха привык к тишине, к такой тишине, в которой он слышал только свой стон да ласковый голос дочери. А сейчас дюжий парень с крутым плечом колотил железякой по огромнейшей сковородке. И даже дочь Халерха стучала по медной кружке.

Хуларха делал попытки подозвать хоть кого-нибудь. Он шевелил губами, морщил лицо, но всем казалось, что он убиенно и из последних страстей шепчется с богом...

Долго, бесконечно долго тянулся этот кошмар. Хуларха надеялся, что люди устанут, но люди ведь делали доброе дело, а оно требует и ума, и упрямства; менялись люди: одни отдыхали – стучали другие...

Разошлись далеко за полночь, перед утром, когда от тумана вообще ничего не было видно.

Хуларха весь обмяк и быстро заснул. А перед этим он еле слышно сказал Халерхе:

– Правду узнаю, тогда и помру...

ГЛАВА 12

Умер Хуларха через два дня, как раз перед тем, как в стойбище появились Куриль, Пурама и охотник, ездивший в Халарчу.

Так и не узнал он ни кривды правдивой, ни правды истинной.

Куриль и Пурама не сразу приехали в стойбище. Они научились оглядываться: доверять Каке было нельзя. Выждали и проверили...

Сейчас все трое подогнали упряжки к самому тордоху покойного.

Хуларха лежал возле потухшего очага на меховой подстилке. На пологе висела иконка, сильно блестевшая медным окладом, напротив неё горел на длинной бечёвке жирник. Всё честь по чести – как у христиан. У изголовья покойника сидела, будто замороженная сильным шаманом, совсем бледнолицая Халерха. Она не подала признаков жизни, когда появился Куриль. В тордохе были ещё брат Хулархи Хурул, два мужика с ним и Пайпэткэ. Хурул с мужиками готовились к похоронам, а Пайпэткэ убирала тордох.

Куриль сорвал с головы шапку и грузно бухнулся на колени. Он стал размашисто, медленно креститься на иконку, как будто вдавливая что-то пальцами в лоб, в грудь и в плечи. У охотника же вовсе подсеклись ноги – его словно дёрнули из глубины тордоху арканом: он упал и упёрся лбом в землю. А Пурама успел только шапку снять – согнувшись, он замер у входа, как кривой столб. Увидев утихшего, наконец избавленного от мук Хуларху, он в тот же момент поймал на себе ужасный, таинственно-внимательный взгляд бога Христа. Иконку в полторы четверти высотой Пурама и узнавал, и не узнавал: он сам привёз её из острога для отца Халерхи, а сейчас мог бы даже верой в Христа поклониться, что с ней что-то произошло. Грязно-зелёный оклад блестел, как золотой, а отчистить его никто не сумел бы – тонкая медь хрустит и ломается, как яичная скорлупа. Но главное, глаза у Христа невозможно переменились – стали совсем живыми, прозрачными, и борода порыжела, и луна за его головой сделалась светлой... Не хочешь, да остолбенеешь: обновившийся бог, как живой, глядит прямо в душу, а внизу, под ним, лежит настоящий покойник, без сомнения – Хуларха, муки которого

оборвались так неожиданно, перед крещением... А зять между тем не встаёт – молится, как в исступлении; не встаёт и охотник – вскинет голову, глянет на бога и опять уткнётся лбом в землю, шепчет, бормочет...

У Пурамы подкосились ноги. Он боязно перекрестился, покланялся и, не смея больше глядеть на икону, перебрался поближе к покойнику.

«Зачем, отчего всё в этом мире так происходит? – стал размышлять он, глядя на скрюченные пальцы знакомой руки Хулархи. – Ведь есть же какая-то сила – она упрямо тянет всё в одну сторону, а путь туда непонятный – кривой. Одно уладишь – другое разладится. Это же вроде могучего бегуна – он добежит, добежит, конечно, но зачем-то сам себе без конца подставляет ножку...»

Пурама украдкой взглянул на Куриля и обомлел. Глаза у зятя были закрыты – он как будто дремал. И шевельнулось в памяти то, что происходило снегов двадцать пять назад. Куриль тогда тоже дремал на камланиях. Но ведь как раз так и начинались его сомнения – сомнения в прежней вере, в силе шаманов!..

Долго, однако, сидеть у покойника приезжие не могли. Куриль открыл глаза, притянул к себе взгляд Пайпэткэ и показал ей на выход. Он встал, надел шапку и, больше не помолившись, не поглядев на иконку, вышел. За ним потянулись и остальные. Неподвижной осталась одна Халерха.

«Да нет, всё не так, – рассудил Пурама. – В Христе он всегда сомневался. А от Нявала должен приехать вовсе неверующим. Но что с ним случилось? В неверии сомневается? Или напоказ молился, чтобы другие верили? О чём он думал?»

Вытащив из сугроба свою новую суковатую палку, Куриль повёл Пайпэткэ, а с нею и всех мужиков подальше от входа.

– Пайпэткэ, – сказал он, останавливаясь, – передай Халерхе, моей несчастной махлэ¹⁰⁰, что мне и жене моей тяжело и тоже плохо. Но скажи, что мы её не оставим и в обиду никому не дадим – вот, при мужиках говорю. А ещё скажи, что слух о шаманстве Косчэ – это злая выдумка пьяного дурака. Косчэ скоро приедет – он при людях сведёт с Какой счёты... С Халерхой я ещё сам говорить буду.

– Что ж Ханидо с вами-то не приехал? – спросила запросто Пайпэткэ. – Ей облегчение было бы.

– На волка охотится он! На волка – понимаешь?

– К свадьбе готовится, значит?

– Мы же не знали. Сидим у Нявала, пируем... Потом насторожились – бог, наверно, насторожил... Пурама в тундру его отправил, а мы обратно...

Разговор оборвался: из стойбища шли мужики.

– Ну, ладно, Пайпэ, иди. Иди, у нас мужицкий разговор будет сейчас...

Шли не просто мужики, а как раз те, кто хотел как можно скорее увидеться с головой и кого голова тоже хотел увидеть. Впереди семенили ногами два старика, за ними шагал сказитель Ланга, важно переставлявший посох, а позади тесной кучкой ещё человек шесть. Куриль крепко сжал губы и медленно, как матёрый волк, отвернул голову в сторону.

Поздоровались.

– Я вижу, Ланга, ты вроде меня, с палкой начал ходить! – сразу же с

¹⁰⁰ Махлэ – дочь.

грубым налётом сказал Куриль.

Сказитель понял его и тоже, не задумываясь, ответил:

– Увидел сломанный кенкель – поднял. Думал, что твой...

– Если я сломаю кенкель, то только об голову врага, – твёрдо сказал Куриль.

– Мы тебе не враги, – поймал его на злости сказитель. Куриль обжёгся.

– Я о голове Каки сказал, – поправился он. – Только на этот раз она у него была пьяная... Однако и друзья большую беду могут накликасть. Вы своим самовластием не одну беду, а гору бед натворили. Вот – Хуларха на больных оленях от нас уезжает. Душа его ложью поранена; вы не дали до правды ему дожить. Кто вас просил?

– Он помирал, мучился! – оправдался Ланга.

– А вы железом грохотать начали, умники?

Старик и пожилые мужики смутились, как дети, уличённые в глупости.

– ...А свадьбу ждали? А на молодых-то всякие такие надежды имели? Об этом вы думали? А теперь что делать?... Ты, Ланга, больше не поднимай кенкель, если я даже сломаю его. Найдутся – поднимут...

И опять наступило молчание, тяжкое, безысходное.

– Мне выкручиваться теперь? Или вам? – продолжал голова. – Хорошо, за вас выкручусь. А вот скажите: попа покойником будем встречать?

Все стояли в кругу, не зная, куда спрятать глаза. Куриль зашвырял мужиков словами, как грязью. Возражать, говорить поперёк было бессмысленно: их голова всё на свете видит иначе, а ум его признали даже царские власти. И уж не стал ли Куриль головой сразу всех тундр?... Виноваты – значит, и виноваты.

Вместе со всеми молчал, не знал, куда спрятать глаза, и Пурама. Только переживал он вовсе не то, что переживали другие. Он один знал в точности, что сейчас происходит. Куриль прижимает людей, хочет их убедить, что они ни на что не способны, власть свою укрепляет. Перепугался! То, что он врёт, – это ладно: без вранья он теперь просто не может. Но злится-то он несправедливо, коварно: даже смерть человека, очень близкого человека, оборачивает в свою пользу... Да и это ещё ничего. Хуже, невыносимей совсем другое. В этой-то, новой беде он опять виноват! На подачки жил больной Хуларха! А дочь крохами от подачек питалась! Но они ж ему не чужие! Да если бы Хуларха видел, что в тордохе много еды, – он только от этого встал бы на ноги. Бульон бы ему хороший, водки почаще. Шамана Токио бы прислал, заплатил бы ему побольше...

Нехорошо Пураме стало, совсем нехорошо. Он чувствовал, что не может стоять рядом с зятем, не может слушать его...

– Мне надо жене показаться, – сказал он негромко. – Я, однако, поеду. И Пурама бочком вылез из круга.

«Стерпит, и это всё стерпит наш новый бог, – безнадежно вздохнул он, садясь на нарту. – А Куриля теперь ничто не удержит: вывернулся, в свою сторону будет гнуть. Эхе-хе... Ниникай ничего не сделает, я не сделаю, люди не сделают. Но неужели всё это стерпит высшая сила, которая выше Христа?..»

А мужики стояли, опустив головы.

– Ну, скажите: что будем делать?

– Что ж делать! – вздохнул Ланга. – Хоронить будем. Думаю так: человек он был простой, тихий. Тихо и похороним его...

– Тишиной и прощения будем просить, – поддержали его старики.

– Могилу роют? – спросил Куриль.

– К утру будет готова.

– Вот лодки-то у него не осталось, – пожаловался Хурул. – Жену схоронил в своей...

– Чего ж делать – ты брат, лодка есть у тебя. О чём разговор?.. Он что сказал перед смертью, когда вернётся?

– Первый мальчик у Халерхи будет он...

Куриль не ожидал такого ответа и пожалел, что спросил. Со свадьбой теперь можно было спокойно повременить: не он виноват в смерти отца невесты, а сами люди – вот пусть люди и подождут. Он один теперь разберётся, как поступить с женихом и невестой.

Но мужики ждали ответа, и он сказал:

– Понятно: Хуларха спешит правду узнать, даже у бога в счастливом мире не хочет долго пожить. Вот с какой тревогой он уехал от вас... Ладно. После похорон помогите Халерхе тордох переставить на новое место.

Но Хурулу не понравилось такое распоряжение: голова что-то крутит, петли какие-то делает.

– Ко мне она перейдёт, – возразил он. – Сироте одной оставаться? Зачем?

– Как я сказал, так и будет! – пристукнул Куриль палкой. – Вдесятером ничего хорошего не придумали. А вдвоём? Вы уж мне, мужики, не мешайте. Живите своей жизнью – забот, что ль, у вас мало! И вот что сразу скажу: я не хочу, чтоб вы за моей спиной что-нибудь важное делали, чтоб на сговор без меня собирались. Будем жить так: нету меня – ждите или посыльного отправляйте, а здесь я – идите ко мне. Другого ничего быть не должно. – Он помолчал и спросил: – Ниникай тут без меня не появлялся?

– Нет... Как с Пурамой уехал...

Куриль постоял, о чём-то подумал. Потом указал суковатой палкой на очень высокий каркас, вокруг которого вдалеке хлопотали люди:

– Как Ханидо появится, скажите, чтобы ко мне ехал сразу. Туда.

– А где... Ханидо? – спросил о самом главном Ланга.

– За духами Каки по тундре гоняется! – с величайшим достоинством ответил Куриль и шагнул через толпу. – Привезёт шкуру – посмотрите, чтоб дыр не было... А сейчас идите к своим очагам.

И юкагирский голова один, пешком пошёл между жилищ через стойбище. Он был одет очень богато и шагал медленно, важно, размеренно переставляя тяжёлую палку и чуть волоча её.

А люди давно ждали его возвращения от Хулархи и теперь стояли рядами, высказывали из жилищ, громко здоровались, иные неумело по-русски кланялись, многие шли рядом с ним или опережали его, чтобы всполошить соседей. Юкагиры из стойбища, юкагиры приехавшие, чукчи, ламуты, якуты, люди, уже не знающие своего рода-племени, – все перемешались, все заглядывали ему в глаза... Так, в сопровождении толпы, Куриль и дошёл до тордوخа своего дяди Петрдэ. То, что он испы-

тывал за это время, ему не удалось бы рассказать ни другу, ни побеждённому врагу, который, между прочим, только что появился в стойбище и прятался в тордохе Амунтэгэ. Куриль то чувствовал, что мёрзлая земля проминается под его властными ногами, то вообще ничего под собой не чувствовал. Разве об этом расскажешь?!

Похоронить Хуларху Куриль велел рано утром: в это время в каждой семье дела, от которых нельзя оторваться, приезжие спят, дети спят, богачи потягиваются за пологам.

Но похоронить потихоньку не удалось. Всё стойбище вышло на улицу. Видно, народ поверил Ланге, который в смерти отца Халерхи перед крещением видел важное, доброе предвестие. Вышли и богачи-купцы, вожаки родов, владельцы табунов, деловые люди, и даже шаманы. Это была их не бесхитростная дань юкагирам, на земле которых затевалось важное дело, – дань сородичу Куриля – хозяину дела... И получилось, что так многолюдно и пышно не хоронили ни одного бедняка во всех тундрах и во все времена. Правда, похоронщики поторапливались – они понимали всё. Куриль попросил шамана Токио покаланиить, и тот немного постучал в бубен – для порядка, и, почти ничего не сказав людям, смешался с толпой. Лодку с покойником укрепили на нарте и повезли на олене, которого выбрал сам Хуларха. Перед могилой закололи оленя и хлестали его кнутами, пока он не сдох. Опустили лодку с покойным хозяином в яму. Забросали землёй, поставили крест. И разошлись.

Потом были поминки. И тут уж Куриль не поскупился, а глядя на него, не поскупились и богачи. Были и водка, и чохон, и сладости – всё то, что попадает бедняку в рот редко, случайно.

Халерха возвращалась в стойбище вместе с Пайпэткэ и подругами. Самыми последними шли они. Не плакала Халерха. Перед ней двигалась огромная масса одетых в шубы людей, очень похожая на табун оленей, сбросивших перед весной рога; она смотрела им в спины – и душа её до самых краёв была наполнена благодарностью и к судьбе, и к Курилю, и к каждому, кто провожал отца – пусть даже только из любопытства. Могилы в тундре напомнили ей, как до ужаса просто хоронили в голодное время других, как хоронили мать, и она сейчас даже не думала о своём полном сиротстве. Правда, она невольно глотала комки, распиравшие горло, стирала пальцами слёзы и даже порывалась бежать назад, к могиле отца, но всё-таки не кричала, не билась.

На поминки она не пошла, велела подругам оставить её и скрылась в своём кособоком тордохе.

Остановившись у полога и выпустив из рук варешку, она упёрлась глазами в лицо Христа и горячо зашептала:

– Всесильный и добрый бог! Отец мой поехал к тебе. Ты помнишь, как бедно он жил и как голодал. Ты знаешь, как мучился он. Сделай так, чтоб отец у тебя был каждый день сытым и тепло одетым... Ты видишь: я осталась одна, светлолицый бог. Сделай, чтоб мне было легче – пошли поскорее мне сына. Ты ведь знаешь, что отец в сыне ко мне вернётся. А я воспитаю сына таким же честным и верным тебе, как Ханидо – мой муж и твой слугитель...

И вдруг, прервав молитву, она откинула полог. Там, за пологом, никого не было. Отца не было...

Ужас происшедшего вдруг пронизал её будто стрелами, пущенными

со всех сторон. Обезумев, Халерха метнулась к двери и выскочила наружу. Она не побежала, однако, она тут же остановилась, огляделась по сторонам в надежде увидеть людей, в которых можно было бы попытаться узнать отца. Но кругом никого не было, никто не шёл к её тордоху – ни из стойбища, ни с озера. Соколиная едома, сплошь заставленная тордохами и ярангами, дымила и копошилась, будто чужая, незнакомая, – сновали упряжки, туда-сюда двигались люди, там и здесь собирали каркасы приезжие, бегали стайками ребятишки. И Халерха поняла, что с ней в действительности случилось: она теперь сирота, круглая сирота...

Она, шатаясь, вернулась в тордох, закрыла руками лицо, плечом отвела в сторону полог и упала на залёжанную постель отца, закричав так, что заломило в висках.

Халерха потеряла рассудок – она давила пальцами горло, пыталась разорвать ворот шубы, грызла зубами рёбра ладоней и кричала, кричала, извиваясь и крутя головой, как помешанная.

Она металась долго и докричалась до того, что во всей голове со звоном стучала кровь, глаза от напряжения распухли до страшной рези, а в горле саднило. Рассудок вернулся к ней.

– Вот и всё, – сказала Халерха вслух. – Сирота. Как Пайпэткэ. И что захотят взрослые, то и сделают со мной...

Мысли её в отчаянии метнулись к правде, к той правде, которую она скрывала от себя, которой боялась, о которой так долго старалась не думать, веря старшим, веря красивым надеждам, зависти Пайпэткэ и подруг.

...Ей же с детства завязали глаза, с ней никто никогда не считался! Женитьба? Но это не она решила. Она подчинилась отцу, Курилю и всем людям. А к Ханидо не тянет её. И его к ней не тянет. Его нет три года, сердце его глухое. А почему с ней, с будущей женой священника или учёного головы, Куриль ни разу не потолковал, не сказал, как она должна жить при муже, какое особое предназначение ей уготовано, что хорошее для людей она должна делать всю жизнь? Она – игрушка? А женитьба – игра? Но хорошая ли это игра? Может, и людям, и Курилю только кажется, что хорошая?..

Халерха привсталась, сузила глаза, насторожилась, будто прислушалась к чему-то отдалённому.

...Да ведь и тогда, двадцать с лишним снегов назад, люди поверили самому мудрому старику Сайрэ и отдали Пайпэткэ шаманам – они не во вред себе сделали, они думали, что так будет лучше. Теперь люди верят самому умному – Курилю, опять старику, только теперь не шаманы, а бог и божьи дела требуют жертву. Но как люди, как Куриль узнали, что нужно богу? Ведь сейчас многие говорят, что Сайрэ тогда сам всё придумал. Может, и Куриль тоже придумал, что так будет лучше, а люди стали верить ему?.. Но разве старый Куриль не знает, что бог не даёт бедным по двадцать оленей, не даёт много рыбы, не даёт всем одежду и на каждый тордох не даёт по новой ровдуге? Не может быть, чтоб не знал. И выходит, что никакого особого предназначения нет – ни ей, ни Ханидо. А ведь Ханидо уже втянут во что-то. В обман?.. А ей приманку поставили: красивая, но бедная – значит, к богатству потянется, а теперь сирота – значит, назад пятиться некуда?.. А простые люди – как глупые дети: захотелось им видеть её сказочной юкагиркой...

И тут Халерха задрожала от холода, да так, что застучали зубы.

– Пусть проклянут меня все, – вслух сказала она, – хоть именем бога. За пастуха пойду, к добрым якутам уеду, на остров сбегу... Отец сказал, что я свободная.

Она повалилась на бок и снова заплакала. Но это была уже не истерика, а плач взрослой женщины, в сознании которой наступил перелом. Хриплый голос сделал её не похожей на нежную Халерху.

Плачущей её и застал Пурама.

Старый охотник откинул полог, сел рядом с ней, не спеша закурил.

– Махлё, – сказал он. – Мужикам от слёз становится хуже, женщинам лучше. Луна пожелтела уже – ты с половины дня плачешь. Пора опомниться. Я мяса принёс варёного. Может, поешь и поговорим заодно? А потом тордох переставим.

– Не хочу. И пить не хочу.

– Зря. Жить надо. Что делать-то... Ты послушай меня, послушай другого. Обдумай всё – спешить тебе некуда.

– Слушать как раз и не буду. Пайпэткэ послушала: до сих пор сумасшедшей считают.

– Э, то было давно! Теперь я не тот, сказитель Ланга не тот, таких, как Ниникай, не было. Многое переменялось.

– Я бы второй женой к Ниникаю пошла.

– Хороший Ниникай человек. Лучшего нету. Ханидо будет лучше. Не сразу – потом.

– А! Это я так. Ни за кого пока не пойду. С Пайпэткэ буду жить. Она издадека беду чуёт.

– Я тоже не хочу, чтоб ты попала в беду. Я скажу, чего ты не ждёшь. Не спеши выходить за Ханидо. Не спеши соглашаться...

– Да? – удивлённо посмотрела на Пураму Халерха. – Ты так говоришь, будто что-то переменялось. Пайпэткэ мне сказала, что ты послал Ханидо за волчьей шкурой. И как же мне всё это понять: Ханидо самый хороший, а выходить за него опасно? Вот уж и обман начинается.

– Если ты вспомнишь, что я с Курилем не в большой дружбе, то забудешь обратно свои слова. У Ханидо будет несладкая жизнь. И несладкая.

– Несладкая? При огромном наследстве? Он разве шаман? Может, пьяница или картёжник?

Они вышли из-за полога. Халерха сразу сняла подвешенную иконку, Пурама начал отвязывать полог. Поворачивая подарок Пурамы перед светом жирника, Халерха разглядывала лицо бога Христа. Жирник горел весь день, и сейчас он трещал, как живой, будто хотел что-то сказать или уже говорил что-то резкое и отрывистое.

– Несладкая жизнь среди моря оленей? – ещё спросила она.

– До наследства надо дожить, махлё. Он уедет в острог. А что будет потом – кто знает. Там, у русских, говорят, вода в речках мутная потекла. Я к тому поворачиваю, махлё, что и твоя жизнь будет нелёгкой, если женой его станешь. Чайке с орлом – хорошо бы, конечно, вместе летать, да ведь в небе – не на земле: там и гром, и молния ближе, и буран оттуда, и ливень. А он – Ханидо – и сейчас уже в тучи кидается...

– Что? В какие он тучи кидается? Что было с ним? – Халерха устала на Пураму, быстро моргая распухшими, но всё равно маленькими красивыми глазами.

– В мыслях, в мыслях, я говорю! – соврал Пурама. – Ты, однако, не сомневайся: не такой жизнь ваша будет, какую Куриль обещает. Ты с Ниникаем поговори, если мне веры нет. Он скажет, как я.

Пурама стал снимать полог. А Халерха, опустив руки, задумалась.

– Что же, Куриль, его богатый второй отец, об этих мыслях не знает? – спросила она.

– Знает. Курилю – да не знать?

– Вот, я говорила... В такой день... И Куриль придёт – будет путать. Все меня будут путать.

– Ладно, я до конца скажу и замолчу. Куриль ум его и решительность ценит. Повернуть надеется в свою сторону... Не согласна на трудную, а может, опасную жизнь – не соглашайся, откажи Ханидо и живи как знаешь.

Халерха прижала иконку к груди и тихо сказала:

– Господи! Голова кругом идёт. Понесёт меня, завертит...

– Боишься – не надо. Выйдешь за богача, за богатого парня, сделаешь добрым его – и хорошо. Ты, Халерха, дай-ка иконку – я на неё погляжу.

Подойдя к жирнику, Пурама начал вертеть свой подарок.

– Ты что, обменяла её на другую? Я вроде не такую привёз... Нет, вроде она. Гляди-ка, она – вот тут я пальцем узор сломал, когда вёз. Она что, обновилась? Сама?..

– Сама. Обновилась.

– Ну?... А когда? Как это было?

– Я божий пот с неё собирала.

– Чем собирала?

– Водой. Водой её поливала. Отца лечила. Пить давала ему.

– И она заблестела?

– Сперва ожили глаза. Потом узор стал золотым. Нет-нет, это не грязь была – я знаю. Чистой была вода...

– Угу, понимаю... Водой... – Пурама покосился на Халерху. Он зачем-то повернул иконку обратной стороной к свету, поскрёб почерневшую доску ногтем.

– Думала, оставит мне бог отца. Он же, бог-то, начал смотреть на меня. Не оставил. А я верила и от радости не спала!.. – Она тихонько всхлипнула и замолчала. Но потом из груди её вдруг вырвался хриплый, отчаянный крик. Она закрыла лицо руками, затряслась и опустилась наземь, обратившись в жалкий комочек.

Пурама ещё раз поцарапал ногтем иконку и вдруг бросил её на постель, как бросают шапку, нож или сбрую. Халерха вздрогнула, глянула на постель, потом на Пураму. Она всё поняла, но ничего не сказала.

– Халерха, – заговорил он. – Пойдём ко мне. С моей женой вместе плачете. И я там поплачу. В тепле побудешь, чаю попьёшь... Послушай и рассуди: это Куриль велел тебе быть в одиночестве. Значит, надо сделать наоборот.

– Нет, дядя Пурама, нет. Останусь. Родное жилище страшно бросать. Совсем страшно кочевать кумаланкой по людям.

– Ну, гляди, ты не маленькая... Давай переставлять твой чум.

Тордох покойного был самый ветхий – он еле стоял. Жерди отжили свой век – подгнили, крошились, дряхлую ровдугу пришлось снимать осторожно, чтоб не порвать, не сломать.

Невесёлое дело – переносить такое жилище. Но утешались тем, что переносили поближе к стойбищу, к людям.

Была уже ночь, когда Пурама зажжёт костерок посреди чуть обновившегося жилья.

Положив у очага холодное мясо, старый охотник хотел молча уйти, но Халерха задержала его:

– А Куриль, дядя Пурама, хочет сделать людям добро?

– Зять-то мой? Хочет. Он давно хочет. Только не сможет: толстый живот мешает...

– А Ханидо?

– Ханидо? А вот придет – у него и спроси. – И Пурама ушёл.

Согрев у костерка ноги и пожевав мяса, Халерха вдруг заснула. Прилегла – и тут же заснула. Сил больше не было: четыре ночи почти не спала.

Разбудил её говор. Открыла глаза – люди в тордохе.

Куриль пришёл не один. С ним были его дядя, старик богач Петрдрэ, и Пайпэткэ, пьяненькая после поминок. Богачи тоже не были трезвыми.

Сгорбленный старичок Петрдрэ приплёлся сюда из любопытства. Племянник Куриль сказал: «Пойдём обещание исполнять», – и это значило очень многое. Шутка ли, детей бедняков производили в люди, да ещё в какие люди! Богатство им отдают, а потом и власть. Такого в тундре ещё не бывало...

– Халерха, эмму¹⁰¹, сядь, – приказал Куриль. – Не ко времени разговор, но тянуть не могу. Сам бог торопит меня. Завтра Косчэ, твой жених, приезжает. Я говорить буду громко, пусть все услышат. – Он кивнул в сторону: тордох облепили люди – ровдуга кругом промялась, хорошо был слышен скрип снега. – Тебе отец сказал, что твоя линия по родству тянется к эрбэчканам?

– Да, говорил, – потупилась Халерха.

– Мы помолвку сделаем как можно скорей.

Халерха прикрыла рот толстой косой и посмотрела на Куриля исподлобья.

– Это не свадьба? – спросила она. – А свадьба когда?

– Махлэ, когда свадьба – не знаю. Жених твой в город поедет учиться. А учиться ему два, а может, три снега. Посмотрим, как все пойдёт...

Халерха закусила косу, а руки её так и упали вниз, на колени.

– ...Но хитрости тут нет никакой! – поспешил заверить её Куриль. – Ты жить у его родителей будешь. Я вам поставлю новый, совсем новый тордох. Я буду хорошо тебя одевать, привезу украшений, каких не носила ни одна юагирка...

Скупердяй Петрдрэ заёрзал от зависти и трясущимися руками стал вынимать кисет. Всё было правдой! Совершаются чудеса... Он незаметно глянул в лицо Халерхи, представил её в нарядах и униженно содрогнулся: ничего не изменишь – быть ей царицей тундры, красота её обессиливает...

– Ты её одаришь так, что она и родственников забудет, – сказал он угодливо.

– О, как я рад услышать такие слова! – воскликнул Куриль. – Первый раз ты родственников признал.

¹⁰¹ Эмму – ласкательное обращение.

– А как же! Я не чужой. Я эрбэчкан, и ты. И Ханидо наш потомок. А Халерха невестка моя...

– Ну, если родственник, то и поступать надо по-родственному. Сто оленей в день помолвки пригонишь.

Петрдрэ остолбенел.

– Как – пригонишь, как – сто? Что говоришь?

– Им нужно дать сто оленей, – повторил твёрдо Куриль. – Я не сказал двести – пусть они пока привыкают. А тебе зачем столько оленей: в тот мир с собой не возмёшь, Мэникан с таким наследством не справится. Сто, говорю.

– А ты?

– Я оленей буду на брёвна менять, и строителей буду кормить. Мои расходы один бог подсчитает.

Старик попался в капкан. Ох, как он пожалел, что сунулся в дело, которое и без него обошлось бы с лихвой. Но сироте отказать нельзя. Да тут ещё у тордоха столько ушей!

– Конечно!.. Размахнулся ты шибко. Расходы... Без полога не останься... Два раза по пятьдесят пришлю. Гок?

– Нет. Сразу.

– Господи! – взмолилась Халерха. – Сто оленей? Зачем? Что с ними делать? На троих! Ама, энэ, у меня стадо оленей!.. Нет, нет! – пересела она от гостей. – Не надо. Не хочу! Раньше бы, раньше – три снега назад... И украшения не покупайте: не буду носить – юкагирка я, была и буду беднячкой. Нет у меня мужа ещё, ни он, ни я, ни вместе мы ничего не решили.

– Апанаа, хайче, спать уходите, – начала подниматься на ноги Пайпэ-ткэ. – Тут пошёл не ваш разговор... Мой! – мутными, пьяными глазами она показала на выход, хотя сама никак не могла встать.

Люди шарахнулись от тордоха, когда из него выскочил богач-старикашка. Им можно было и расходиться: дела как будто налаживались.

ГЛАВА 13

Перед свадьбой жених должен уехать из стойбища и вернуться с добычей. Добыча – волк. Почему именно волк? Почему не дикий олень необыкновенной масти, не медведь, не красавица чёрно-седая лисица, не низка маленьких, но дорогих горностаев?..

Три дня гонял Косчэ-Ханидо оленью упряжку – и всё забывал, зачем его отправили в тундру; забывал, спохватывался, но опять забывал. Правда, волки не попадались. Однако не попадались они под копыта оленей, а дальше этого он смотрел лишь урывками. Впрочем, первые два дня он вообще об охоте почти не думал. Какая охота, если жизнь кривлялась, как шаманская рожа! Мысль о том, что его новая жизнь начнётся со свадьбы, не помогала. Невесту он выбрал не сам, радости от скорой женитьбы никакой не испытывал, о близости к женщине думал налётами, с нехорошей ухмылкой, каждый раз обрывая себя и оглядываясь по сторонам, точно в белой пустыне за ним кто-то мог незаметно следить. Лицо Халерхи перед ним не всплывало, а сам он и не пытался чётко представить его. Любви к Халерхе он никогда не испытывал, слухи о сватовстве

к ней задевали не чувства, а мысли – горькие мысли молодого шамана и вора. Сейчас ему было проще думать о Халерхе как о женщине без лица и души, но это быстро уводило его совсем к другим мыслям...

Утром четвёртого дня, проснувшись, Косчэ-Ханидо обнаружил в мешке только крошки варёного мёрзлого мяса. Сжевал их и сразу почувствовал голод. Еды он взял всего на два дня, да и выехал натошак, отказавшись есть мясо, оставленное Курилем, – пусть наедятся мать и отец. Косчэ-Ханидо привык к голодухе, но сейчас он почему-то стал не унылым, а злым. «А зачем это я буду волка душить? – рассудил он вдруг. – Мало я их переловил! Дедовский старый обычай... Возьму да и приеду так, на пустой нарте...»

Ослушаться Пураму, поступить по-своему было очень заманчиво. Вспомнился Ниникай, плюнувший на обычаи и не только не проигравший, но даже, напротив, завоевавший уважение и чукчей, и юкагиров. Но тут Косчэ-Ханидо подумал о том, что его ждут не просто с добычей: в шкуре волка не должно быть дыр от ножа, на коже не должно быть кровавых затёков, на шерсти – крови. «Что за обычай? – подумал он. – Кровавая схватка ведь сильнее о храбрости говорит! В ловкости дело, наверно. Но ловкость меньше, чем храбрость. Нет, видно, в том дело, что безоружный человек должен показать превосходство над хищником. Но тогда почему с оружием не идти на медведя? Предки разве не на самого сильного зверя равнялись?»

Косчэ-Ханидо привык в одиночестве находить на загадки жизни самый верный ответ – такой ответ, чтобы все сомнения отпадали. Он слышал не раз, что эрбэчканы, предки его, были мудрыми – в любой обычай они закладывали смысл большой и не такой, чтобы он просто угадывался. Они будто знали: если мысль легко залетит в человека, то так же легко и вылетит из него.

«Может, медведя мне привезти, и тоже без крови на шерсти? – подумал он. – Да... Но почему всё-таки нужен волк? Хищник он, враг человека – через оленя враг человека? Наверно, в олене всё дело. Жених должен сородичам доказать, что он сможет семью от голода и кумаланства спасти?.. Но почему нож нельзя вынимать?»

Отвязав от ноги аркан, который тянулся к оленям, Косчэ-Ханидо стал готовиться в путь. Он запрягал двух оленей – двух последних ездовых оленей, сбережённых отцом несмотря ни на что. Запрягал не топорпясь: разгадка обычая была слишком простой, к тому же неполной.

«А может, и не в оленях дело? Разве один волк несчастье приносит? А чёрная гибель оленей? Да ведь голод и кумаланство приходят с разных сторон, если даже олени здоровы и целы. Станет на дороге шаман – и останешься без тордоха и без упряжки, а найдётся такой богатч Тинальгин – и могилу своей жадностью выроет, детей не пожалеет... При чём же здесь волк?..»

Никак не разгадывалась загадка. А чутьё подсказывало, что в ней есть точный ответ, мудрость какая-то. «А не богачи ли придумали этот обычай – для своей пользы? Волки-то рыщут возле больших табунов... Мол, защищайте, люди, наше богатство... Да нет: у предков не было богачей. Или всё-таки были?»

Нервно перебирая вожжи, Косчэ-Ханидо постоял-постоял, и вдруг сел на нарту и хлестнул оленей.

«Я со своим смыслом поймаю волка, – сказал он себе. – На чёрта, на злого духа, на сатану аркан не накинешь. А волк – вот он, бегают, с хвостом, с зубами и ненасытным брюхом. Пусть он будет мне помесью злого духа и чёрта».

И началась охота – шутивая и азартная.

За эти три дня Косчэ-Ханидо незаметно добрался до мест обжитых, объезженных: он уже знал, что Улуро недалеко. В зимней мартовской тундре не только стаю волков, но и одинокого волка увидеть легко, особенно если хочешь увидеть. Не жалей только оленей – взберись на холм, оглядись, потом езжай на другой, опять оглядись. Кругом бело, проталин нет, и даже неподвижное серое пятнышко от глаза не ускользнёт. А заметишь кончики тальников – спускайся в ложбину: волки любят такие места... День был ясный и тёплый, невысокое солнце совсем не слепило, никакой дымки не висело над тундрой. Косчэ-Ханидо спешил, но оленей жалел: кто знает, что может в жизни случиться... И ему повезло – как раз в середине дня с маленького холма он заметил тень, рывками летящую через равнину. И тотчас свистнули вожжи. Олени шарахнулись с места, спустились вниз, как на крыльях, и с разгона вынесли Ханидо на ту же равнину. Тем временем волк одолел огромное расстояние и скрылся за горизонтом. Но он оставил следы. «Голодный, – решил Косчэ-Ханидо. – Бежит слишком легко. Не загнать бы оленей». А гнать оленей нужно было отчаянно: тёплый день разморил их, сделал ленивыми. Косчэ-Ханидо взялся за кенкель.

Началась охота-погоня.

Волк бежал с передышками, умно бежал. След его уже дважды взлетал на холмы, спускался вниз, а к середине равнины становился спокойным. Вот опять место, где волк сидел на поджате хвосте, отдыхая и глядя назад. Он знал хорошо, что на подъёме олени устанут, а когда появятся наверху, он отмахает остаток равнины, опять перелетит через холм, а там – передышка. Такую хитрость Косчэ-Ханидо разгадал быстро, и на третий холм не стал подниматься – он объехал его. Волк шарахнулся и стрелой полетел в низину, к подножию холма. Он пошёл на другую уловку – начал петлять, появляясь где-нибудь сбоку, в неожиданном месте. Но тут обмануть его было проще: упряжка круто сворачивала, срезала петлю, и не отдохнувший зверь бросался изо всей мочи дальше, насколько хватало сил. Он, однако, ещё и ещё пытался хитрить, изматывая оленей и человека и вырывая время для передышки. Но Косчэ-Ханидо сейчас не жалел своих безрогих оленей, он стегал их по чёму попало вожжами, бил кенкелем и кричал: он знал, что дальше им будет легче, надо лишь сбить с хищника спесь, заставить его бежать без оглядки. У самого Косчэ-Ханидо из-под малахая, из-под ворота шубы вырывался горячий пар, нательной рубахи на нём не было, и оленья кожа сделалась мокрой и мягкой. Но он не устал – он переносил и не такое.

Только к закату солнца волк поубавил прыти. Бежал он быстрее прежнего, но бежал куда глядели глаза, и это давало преимущество человеку. Стоило чуть завернуть упряжку, закричать, засвистеть, как волк подавался в сторону, нёсся туда, куда в начале погони ни за что бы не побежал.

Всё это, однако, не означало, что поединку приходит конец. Голод-

ный хищник может бежать несколько дней, а олени должны отдыхать.

Когда село солнце, Косчэ-Ханидо остановился. На сегодня было достаточно. Он знал, что за ночь волк далеко не уйдёт, если его не потревожить. Волк проверит, отстал человек или нет, потом поплетётся в сторону, сядет, отдышится хорошенько, может заснуть, может даже завыйть среди ночи.

За ночь он отдохнёт, но отдохнут и олени; олени, однако насытятся ягелем, волк оголодает ещё сильнее.

На всю длину распустив аркан, Косчэ-Ханидо привязал оленей и улёгся на нарту. Олени тоже лежали. После отчаянной гонки есть они не хотели и не могли. Луна быстро желтела, в синем высоком небе всё гуще и гуще сверкали звёзды.

«А волка всё-таки жалко, – подумал Косчэ-Ханидо, глядя на звёзды. – На нём всю свою злость человек вымещает. А он не во всём виноват... Да, я, кажется, понял обычай. Каждый жених должен гоняться за злом, как за волком. Он должен догнать волка – зло – и удушить его. Мудрые предки были...» – Он закрыл глаза и сразу начал дремать.

Но заснуть он не смог. Мокрая от пота одежда стала холодной. Пришлось встать, походить, согреваясь и на себе высушивая одежду. Сильно морозило. Кажется, завтра будет куда холодней, чем сегодня...

«Я – жених! – усмехнулся Косчэ-Ханидо. – К свадьбе волка ловлю. А все ждут...» Он сразу представил себе, с каким любопытством, с каким торжеством люди будут рассматривать шкуру волка: ведь он – Косчэ-Ханидо – богатырь, у него особенная судьба, от него многое ждут. «Чего они ждут от меня? – решительно сел он на нарту. – Что я могу?.. Постой, а как же так получилось, что за волком люди гоняются, душат его, а в жизни за настоящим злом никто... ну почти никто и не гоняется, не душит настоящее зло? Смелые, ловкие, сильные мужчины станут семейными и забывают, к чему призывает обычай. Теперь вот глядят на меня. А сами? Я – бог? Да если я и стану священником, что я смогу? Всю жизнь, как Куриль, потихоньку бороться со злом? Под крышей божьего дома людей на жадных богачей натравливать? Но кому дело какое – жадный богач или добрый!»

Он снова улёгся на нарту. Но взгляд его звёзды уж не притягивали.

«Гы! Старый Куриль – голова рода и молодой поп жадного Петрдэ превращают в доброго богача... – продолжал рассуждать он. – Смешно. Разобраться – Куриль жаднее других: на оленей души людей выменивает... Э, нечего лезть мне в попы. Головой лучше стану: всё наследство тогда получу. Получу и людям раздам... А сам охотиться буду!!!»

С доброй, наивной мыслью справедливо распорядиться богатством, которого ещё не было у него, Косчэ-Ханидо и заснул.

Олени поднялись среди ночи. Они сразу взялись разгребать копытами снег и жадно хватать мёрзлый ягель.

Косчэ-Ханидо спал крепко, но всё-таки вскочил он вовремя – перед рассветом. Нельзя было позволить оленям набить животы до отказа. Они отяжелеют, не смогут быстро бежать. Он укоротил аркан, снова прилёг на нарту. Заснуть он больше не мог: было морозно, холодно, но, слава богу, не ветрено.

На рассвете он быстро запряг оленей и, чтобы не вспоминать о еде, тут же поехал по волчьему следу. Сначала он вёл упряжку тихонько,

разглядывая следы и стараясь подкрасться к волку поближе. Но вот на снегу появилась промятина: тут зверь отдыхал. И Косчэ-Ханидо стегнул вожжами оленей. Поджав губу, он пронзительно свистнул, потом закричал. Впереди, у подножия холма, ночной птицей метнулась тень. Отдохнувший зверь опять пулей помчался вдаль и быстро скрылся за увалом равнины. Но и олени вполне отдохнули. Косчэ-Ханидо хлестал их нещадно и, к своему удовлетворению, видел, что они бросаются то в одну сторону, то в другую – это значило, что они очень бодрь. Охота на то и охота, чтоб пережить азарт и не думать о жалости к зверю. Но сейчас Косчэ-Ханидо не испытывал страсти, от которой колотится сердце, а глаза наливаются кровью. Напротив, он бешено гнался за волком с единственной целью – поскорее закончить всё. Другое дело, если б он думал о долгожданной свадьбе да собирался бы жить, как все. А тут просто обычай требовал, да подгоняла шутивая выдумка: волк – это злой дух и чёрт, которого надо поймать и прикончить руками.

«К вечеру в стойбище должен приехать», – решил он твёрдо и принялся ещё сильнее лупить оленей. Он бил их кенкелем и вожжами, то плавно, с оттяжкой, то отрывисто, резко. А сила в плече у него была страшной. Несчастные бедные олешки, высоко задрав безрогие головы, не просто неслись, подчиняясь воле хозяина, – они будто старались спастись, оторваться от жгучей нарты. День был безветренный, но крутой, морозный, с серым холодным небом. «Только бы снег не пошёл, – думал Косчэ-Ханидо. – Следы потеряю, тогда упущу».

Он мчался с такой быстротой, что временами ему казалось, будто тундра сама летит под упряжку, а олени лишь без усилий перебирают ногами.

До самого полудня без остановки и передышки продолжалась погоня.

Снег не шёл и не шёл, а у волка стали кончаться силы. Он уже не исчезал из виду, расстояние между ним и упряжкой начало медленно сокращаться.

В неглубокой, но длинной низине Косчэ-Ханидо и настиг его. Проваливаясь в снег, волк прыгал из стороны в сторону. Олени тоже метались, бросаясь то влево, то вправо – подальше от хищника, но твёрдая рука богатыря, жестокие удары заставляли их сближаться с врагом. Наконец волк оказался рядом. Косчэ-Ханидо уже приподнял аркан, чтобы бросить, однако волк вдруг сам повернул к упряжке и с неожиданной силой прыгнул. Лишь моментальным рывком вожжей Косчэ-Ханидо спас оленей, а может, и спасся сам – рядом с полозом промелькнула красная пасть с клыками и обезумевшие, светящиеся глаза. В одно мгновение оба оленя лежали бы на снегу с расплоскованными глотками. А что было бы дальше?.. По горячей спине Косчэ-Ханидо пробежал мороз. Глухая низина с торчащими кое-где верхушками тальника вдруг показалась ему приметной, особенной, мрачной; он почему-то подумал, что она не просматривается ни с какой стороны. И его охватило дурное, тревожное чувство. Он видел волка, с трусливо прижатым к брюху хвостом убегающего в противоположную сторону, а руки никак не подчинялись, не поворачивали оленей обратно. Давно забыл Косчэ-Ханидо тот день первой охоты, когда вот так же морозило спину, а руки дрожали; потом он совсем не боялся. Дней за десять

до появления Куриля, Ниникая и Пурамы он нечаянно напоролся на большую стаю волков, и не испытывал даже подобия страха – только раз оглянулся на всякий случай. А сейчас волк был один, да ещё загнанный, обречённый...

Однако зверь уже выбрался из низины и скрылся из виду. Косчэ-Ханидо опомнился.

– О-ок! – закричал он, резко поворачивая упряжку.

Убежать далеко волк не успел – барахтаясь в снегу, он терял последние силы. Косчэ-Ханидо нагнал его на равнине, метнул аркан и промахнулся. А пока упряжка неслась вперёд, зверь спохватился, взметнул снег и бросился к низине, назад. Чутьё подсказывало ему, что там, на неровном месте, оленям будет труднее бежать наверх, спускаться и разворачиваться. Но уже переживший чувство тревоги Косчэ-Ханидо тоже подумал об этом. Он не растерялся, немедленно повернул упряжку кругом, и теперь гнался с одной-единственной целью – не очутиться в проклятой низине. Суеверный страх мучил его душу. Как хищная птица на мышь, налетел он на волка. Бросил аркан – и мимо. А волк уже не повернул обратно. Косчэ-Ханидо торопливо собрал аркан, ещё раз метнул – и опять промахнулся. А низина была уже рядом. Волчьей морды Косчэ-Ханидо не видел, но воображение так и подставляло к его глазам красную пасть с клыками – эту пасть, эти сверкающие глаза он непременно увидит там, в промятине тундры, в яме. «Ведь у каждого человека есть в жизни яма, – со страхом подумал он. – Неужели эта – моя?.. Почему промахиваюсь? И теперь совсем не случайным казалось всё – и то, что волк долго бежал именно к этому, скрытому месту, и то, что он обессилен здесь, а не на равнине. А может, он вовсе не обессилен? Мысль о шамане Каке сразу превратила белый снег в чёрный. Руки ослабли. Олени, словно поняв сомнения человека, перешли с бега на шаг. Косчэ-Ханидо не раз слышал, что человек может увидеть духов, но после этого ничего рассказать о них не сумеет, потому что умрёт. Нет, он и сейчас не верил, что Как способен напустить на него злого духа, а ум его не помрачился, чтобы вдруг приметить у волка копыта. Но существуют шаманы сильные, существует шаманство – а разве сейчас не удобный случай для мести? О-о, как пришлась бы кстати всем шаманам и всей этой вере смерть Косчэ-Ханидо!.. «Может, на меня тёмная сила набросилась, а я и не знаю? – перебирал он в нерешительности вожди. – Неужели она хочет мне постромки обрезать? И сатана радовался бы, наверно... Или сам бог против меня за то, что я не как все? – Он боязливо глянул на небо и совсем приуныл: тучи сгустились и потемнели. – Ещё буран может начаться...»

Он сдвинул брови, оглянулся назад, туда, где никакой опасности не было. И вдруг прищурился, прикусил нижнюю губу.

– А я поймаю его. В яме, – проговорил он вслух. – Чёрт, сатана, злой келе – кто угодно – поймаю... А ну-ка я разгляжу – есть чёрный мир или нету его?..

Раззадорив себя решимостью, Косчэ-Ханидо погнал упряжку в низину.

А в низине снова оторопел. Волк не убежал далеко. Он сидел. Сидел, скособочив лобастую голову. Такого случая никто из охотников не рассказывал, и сам Косчэ-Ханидо не мог бы припомнить: хищник всегда

спасается бегством, до издыхания. Но волк не просто сидел – он выбрал местечко на возвышении, как раз там, куда не заскочит с разгона нарта и откуда удобней всего кинуться на упряжку. Передумать было поздно: остановиться – значило струсить. И парень ожесточился, расвирепел.

Человек умней и хитрей зверя. Косчэ-Ханидо, разогнав оленей, проскочил мимо волка на большом расстоянии, на таком расстоянии, что даже невероятный прыжок не достиг бы цели. Зато цели достиг аркан. Кажется, волк всё-таки прыгнул. Но Косчэ-Ханидо даже не оглянулся – аркан, одним концом обвязанный вокруг живота, заструнил, дёрнулся, чуть не срывая с нарты его самого. Но оглянуться всё же пришлось: аркан вдруг ослаб, точно порвался. Нет, это волк, кувыркаясь на привязи, перекусил его. Значит, петля затянулась как-то не так, наверное, на груди... Ремённый жгут легко скользнул за упряжкой, как глупый ненужный хвост.

Тут кого угодно схватила бы оторопь: дьявольщина, сатанинство!.. Но Косчэ-Ханидо уже не считался ни с чем. Руки его поспешно собрали аркан, пальцы связали узел-петельку. Ярость не подчинялась рассудку. И хоть он бросил волку слова: «Второй раз откусишь – живи, проклятая тварь: другого поймаю!» – отступать он уж не мог. Он повернул упряжку налево, на небольшой подъём, по которому мчался большими прыжками волк. Было сумрачно, и глаза у волка посверкивали. А бежал он не в сторону – он пересекал путь упряжке. Косчэ-Ханидо знал, что за этим может последовать, однако сворачивать не собирался. Напротив, он изо всех сил налегал на оленей, для которых «волк» означало «смерть», волей и жестокостью принуждал их сблизиться со смертью. Аркан, как чёрная молния, прынул вдогонку зверю, а в следующий миг Косчэ-Ханидо рванул оленей направо, потом круто назад.

Волки летают. Это Косчэ-Ханидо знал хорошо. И сейчас он громко захохотал, увидев мелькнувшего в воздухе зверя. Рывок под уклон был такой сильный, что заарканенный хищник чуть не опередил упряжку – он шмякнулся возле самой нарты, подпрыгнул и опять полетел вверх.

Но смеяться Косчэ-Ханидо поспешил. Проволочив волка и подтянув его близко к нарте, он наконец решил закончить дело. Выхватив нож, полоснул постромки. Олени, освободившись от тяжести, кувырком полетели в снег. А Косчэ-Ханидо схватил нарту и придавил ею волка, который успел подняться на ноги. Завязалась борьба. Придушить, или, как говорят юкагиры, усыпить волка – не такое простое дело. Не простое для всех – только не для сильного и ловкого Косчэ-Ханидо. И уж он постарался. Да только волк на этот раз попался проклятый. Человек может стать во много раз тяжелей самого себя. Однако как ни кряхтел богатырь, как ни наливался кровью, а нарта и он сам вместе с ней тряслись и подпрыгивали, будто под ними был сам медведь. Волк грыз копылья нарты, изворачивался, стремясь сбоку или через планки ударить когтистой лапой по лицу и рукам.

Впервые случилось такое: у богатыря не хватило сил. Да тут ещё олени мешали – они кружились на поводе, и повод задевал то за ноги, то за голову. И когда Косчэ-Ханидо понял, что волк всё-таки вырвется из-под нарты, он схватился за нож.

Шёл мелкий снег. Усилился и мороз. Был ли сейчас послеполудник, было ли предвечерье, парень не знал. Он сидел на нарте спиной к побеждённому зверю и ни о чём не думал. В душе была пустота. Он даже не размышлял, что предпринять дальше – ехать ли в Улуро с такой добычей и доказывать свою правоту, своё понимание смысла обычая или же без еды, голодным всё начинать сначала.

Отдохнув, он вяло поднялся и стал запрягать оленей, связывая постромки. Потом подошёл к добыче.

– Вот и весь тут злой дух... – проговорил он. – И сатана внутри этой же шкуры лежит... Э, в среднем мире есть только то, что я вижу. А чего не вижу, того нет, то людьми всё придумано – хитрецами и трусами...

Уложив окровавленную добычу на нарту и привязав её, он дал волю оленям, нетерпеливо рвавшимся даже от неживого врага.

На равнине к нему пришли невесёлые мысли. Всё у него не так. Свадебный подарок он везёт негодный, женится не по любви, а по чужой прихоти, и должен изображать сказочного счастливца. И перед людьми должен предстать как сама честность, непогрешимость, хотя в действительности он – и раскаявшийся шаман, и вор в обычном людском понятии. А что делать? Не сам себе он хозяин, да и ради любопытного будущего пятиться назад невозможно...

Вдали показалась упряжка. кто-то ехал навстречу.

Пурама ехал на доброй паре оленей – воспитатель Косчэ-Ханидо.

Когда они сблизились, старый охотник, не вставая с нарты сказал:

– А я думал, ты опять от людей убежал. С утра ищу тебя. Послезавтра поп приезжает... – Он замолчал, увидев окровавленного волка. – Это что ты наделал? Ке, ты шкуру испортил?

– Зло надо убивать чем угодно и как угодно, – спокойно сказал Косчэ-Ханидо.

– Ну, это я тебе своевольничать не позволю! Опозориться хочешь, меня опозорить задумал? Как покажем такого волка гостям?.. Вон как ты поиздевался над созданием природы – всего искромсал...

– У обычая должен быть смысл, – так же спокойно возразил Косчэ-Ханидо. – Не за созданием природы гоняются женихи перед свадьбой.

– Ты возьмёшь мою упряжку и сейчас же поедешь в сторону Норен-мола. Туда четыре якутских шагания. Поедешь в ту сторону. Там позавчера волчья стая задрала штук двадцать оленей у старика Петрдэ.

– Так ему и надо, – бесстрастно заметил Косчэ-Ханидо. – Вот тех волков и не нужно ловить!

– Ханидо! Ты злым будь, да в меру.

– А он жадный в меру?

Узкое старое лицо Пурамы растерянно вытянулось. Ответить парню нечего было.

– Почему хищника надо усыпить тихо и быстро? – спросил Косчэ-Ханидо.

– Для того чтобы дух природы не разгневался. А гнев его страшный: уродом человека сделает. И на других месть его перекинется.

– А кто же природой-то управляет – дух или бог?

Чтобы не отвечать на такой чересчур уж смелый вопрос, Пурама поднялся с нарты и начал развязывать дорожную сумку.

– ...Управлять природой должен кто-то один, – рассудил Косчэ-Ха-

нидо. – Иначе давно бы они поскандалили. И порядка бы не было... Я страшно хочу спать. А есть не хочу: притерпелся уже.

– Ляг на мою нарту – постерегу, – сказал Пурама. – Но только на – сначала поешь. А то силы не будет. И другого волка порежешь.

– Значит, зло усыпить надо? Чтобы оно крови своей не видело и не мучилось? – стоял на своём Косчэ-Ханидо.

– Ты что, хочешь жестокость свою показать? – вспыхнул Пурама. – Ну, поезжай и показывай, богатырь! Люди поймут, кто ты такой. А лучше всех разгадает тебя Куриль: ты только растопырь волку передние лапы да покажи кровавые дырки... И другим богачам покажи. И не видать тебе ни обучения, ни наследства, пустая твоя голова!

Глаза Косчэ-Ханидо скосились и замерли в щёлках. Воспитатель был намного мудрее воспитанника.

Чтобы совсем оборвать такой разговор и забыть начисто эту стычку, Пурама отдал парню сумку с едой и, помолчав, вдруг сообщил:

– У Халерхи отец умер. Вчера схоронили. Сирота теперь невеста твоя.

Глаза Косчэ-Ханидо так расширились, что он сразу сделался не похожим на юкагира.

– Да, Хуларха уехал от нас, – продолжал Пурама. – А дочь его сирота. Вот ты и думай, как будешь жить. Голову чаще студи на ветру...

Не было в небе звёзд. Косчэ-Ханидо лежал на нарте и глядел в темноту. Всё кувырком полетело – так он думал сначала, когда Пурама уехал, – придётся ему жить осторожной жизнью, быть скрытным и мудрым, жить, как Куриль. Жена – несчастная сирота... В душе его разлилось чувство жалости к Халерхе. Ему захотелось как можно скорее вернуться в Улуро, поговорить с Халерхой, утешить её. Она ведь ровня ему, она молодая, красивая, чистая. И Косчэ-Ханидо сразу вспомнил её лицо. Тут же поплыли в тёмную сторону все, с кем он резко столкнулся в жизни, – и богач Тинальгин, жрущий тухлятину, и грязный, подлый Кака, и Куриль со своими интригами и делами, в которых честное перемешалось с нечестным, а добро всегда подозрительно и ненадёжно.

С такими хорошими мягкими мыслями он и отправился в путь. Будет только помолвка, свадьбы не будет? Нет, будет свадьба! Хватит Курилю распоряжаться им. Ему третий десяток пошёл...

Ехал Косчэ-Ханидо на новой упряжке. Пурама уехал на его уставших оленях, а ему дал своих – лучших во всём стойбище бегунов.

...Только не знал богатырь, чем кончится эта вторая охота на волка. Не знал он, что нарвётся на огромную стаю, осатаневшую от тёплой оленьей крови. Вот эти чужие каргины, которых выхолил и закалил сам Пурама, сейчас, тёмной ночью, бегут легко, плавно и весело. Но они даже опомниться не успеют, как будут лежать на снегу с разорванными глотками. Три тяжёлые волчицы, обожравшиеся больше других, чуть приотстанут. И у одной из них шея хрястнет под полозом нарты, а две бросятся сперва на оленей, потом на юкагирского богатыря. С располосованными рукавами дохи, с ножом в руке поволочёт Косчэ-Ханидо нарту с добычей под ленивый, усталый вой сытых по самое горло разбойников.

ГЛАВА 14

Шаман Кака не выходил из тордоха Амунтэгэ. Через хозяина он узнавал новости и, поскольку слухи были сплошь не в его пользу, всё больше и больше пил горькую воду. Наконец ему стало известно, что Куриль собирает людей, – и не выдержал. Сообразил: от народа не спрячешься, без народа шаман – не шаман. Осунулся Кака, похудел. От водки, от плохих вестей и переживаний лицо его почернело, а глаз с бельмом покраснел. Не очень-то пьяным вышел он из тордоха. Но как только увидел толпу, тут же вернулся назад, опорожнил целую бутылку, и лишь после этого зашагал на сход.

То, что происходило у тордоха головы юкагиров, ошарашило бы любого шамана – хоть настоящего, хоть самозванца. Кака не раз видел большую толпу – на ярмарках и во время громких камланий. Но такую большую он не видел ни разу. Для него, однако, дело было не только в этом. Поп-то не приехал, и ничего важного нынче не ожидалось. Значит, народ собрался по прихоти Куриля. А с другой стороны, народ никто злыми собаками не сгонял – все они сами пришли, будто казаки на свист атамана. Юкагиры, чукчи восточные и чукчи западные, ламуты, якуты – кого здесь было больше, а кого меньше – не поймёшь и не прикинешь глазом. Никто не бродил как попало, никто не шумел, даже детишки не бегали и не орали. Все стояли тесной толпой, молча ожидая выхода человека, которого ох как хорошо знал Кака...

Богач-шаман давно решил, что ему делать, однако сейчас, подойдя к толпе, он понял, что сделать нужно больше, чем собирался. Кто-кто, а уж он-то знал точно, что происходит здесь. Обман совершался, нет, не великий, а величайший обман, и не только вот этих людей, а всей тундры, всего Крайнего Севера. Вечно пьяный шаман умел трезво судить. Дело Куриля, исправника Друскина и православной церкви он считал обманом не потому, что не верил в бога. Он понимал, что бог – как бы он ни назывался – мог существовать независимо от того, верит он или не верит; Кака давно рассудил: если Афанасий Куриль собирался бы осчастливить людей, сделать жизнь справедливой – божеской, он начал бы не с крещения тундры. Он сперва раздал бы своих оленей, а потом уж сказал: «Ты справедливый бог, я поступил справедливо – вот теперь я твой сын». Но он даже наследника чуть не сморил голодом. Значит, всё будет по-прежнему, значит, новая вера нужна ему, а не людям, чтобы прикрыться ею, чтобы ещё сильнее богатеть; она нужна ему, чтобы не к шаманам, а к нему богатство текло – для того он и суёт в попы своего наследника. Бог всё это терпит. И если он есть, то никакой он не справедливый. Да его вовсе и нет. Духи есть. Есть люди – шаманы, не такие, как он, Кака, а такие, как Токио, – вот они могут творить чудеса. А бог ничего на глазах у всех и не сделал... К тому же Куриль начал с обмана самого бога: наследник его, будущий поп, чёрной вере служил...

А что можно сделать? Поздно. Ничего сделать нельзя. И впрямь люди растопчут – даже шамана. Глаза развязать мог бы, пожалуй, один Ниникай – он ни Куриля, ни самого Друскина не боится, и люди считаются с ним. Но Ниникай ничего такого не сделает, он злой на шаманов – пусть, мол, новая вера задавит их. Над большим обманом Каки верх взял величайший обман.

Позади толпы стояли самые робкие люди, те, кто приехал сюда из любопытства, кто ещё не знает, примет ли новую веру или постарается не попасть под крещение. Тут больше всего было чукчей, и Кака, оказавшись среди своих, приободрился, засопел. Но он ошибся. Чукчи, вроде бы уступая ему дорогу, подавались в стороны, женщины прятались за мужчин. Чтобы не быть одному, он продвинулся дальше. А дальше стояли совсем незнакомые люди – эти не расступились, а шаракнулись вправо и влево. Поднялась суматоха. Кака рожи сейчас не строил, но был он и без того мерзок и страшен, и стоило ему пошатнуться, как дети визжали, женщины вскрикивали, а мужики пятились. В пьяных же глазах Каки люди вовсе метались, будто в толпе появился не он, а медведь. Идти дальше к тордоху было совсем опасно: перед ним теперь были сплошь юкагиры, которые могут и схватить за грудки, да с юкагирами вместе были ещё богачи-деляги, приехавшие к Курилю греть руки на строительстве церкви, – эти только и ждут, чтобы выслужиться. Кака не смел больше сделать ни шагу. Боясь скандала, который может кончиться осмеянием, он стоял посреди свободного места и раскачивался, будто дерево под круговым ветром.

Что делать? Он пришёл, чтобы доказать Курилю признание своего поражения и чтобы помириться с народом, но Куриль, видно, в таких доказательствах теперь не нуждался, а одно упоминание о Косчэ может вызвать смех или злобу, какие бы он слова ни сказал. В хмельной голове мысли мелькали коротко, жёстко. Он подумал: «С попом исправник может приехать. А Куриль скажет: сходку хотел шаман разогнать...». И всё-таки уходить было нельзя – после такого ухода останется бубен сжечь и косу отрезать.

– Ну-ну, люди... чего боитесь меня? – заговорил он, шатаясь, но не сходя с места; длинные руки его висели, как плети, – он не решался пошевелить ими, опасаясь нечаянно испугать женщин или детей. – Большое переживание у меня... и потому в-выпил... Каяться я пришёл... Избить самого себя... Н-нет, я сначала скажу. Эй, кликните там Куриля...

Но вызывать Куриля не пришлось. Куриль уже знал, что происходит возле тордохы: разговаривая с Мамаханом, он стоял у потайной, хитро прикрытой щели и прислушивался к словам богачей и к мирскому шуму.

Быстро и почтительно расступилась перед Курилем толпа. Ни с кем решительно не обменявшись взглядом, он уверенно, бодро зашагал к нарте, заранее поставленной для него. Недоверчивый Мамахан остался в тордохе: он не хотел, чтобы богачи вспомнили и догадались, кто метит в главные компаньоны к юкагирскому голове.

Поднявшись на нарту, Куриль увидел Каку, который тут же рванулся к нему, цапнув самого себя за грудки.

– Эй, Куриль... я п-пришёл!... – на ходу крикнул шаман. – Беда со мной... Ты обижаешься на меня? З-знаю... А что могу? И себе, и тебе вред делаю. Н-не хочу – делаю... При всех говорю: н-не по своей воле. В меня... вот сюда, – он постучал кулаком в грудь, – дух вранья залез. В-вру, всё вру... Не хочу – вру...

– Ты о чём говоришь, ке? – как ни в чём не бывало спросил Куриль.

– Э, тебе сказали, наверно, что я... раньше... людям болтал... Ты, мэй, плюнь на того, кто мои слова повторяет. Не был я у... этого... у Нява-

ла... Косчэ невинный парнишка! Пп- р-р-авославный!.. Это меня... духи Мельгайвача путают, И з-зачем я их з-забрал! Не был Косчэ шаманом... н-не ошаманивал я его... Ланга, слышь – не было этого. Всё. Ух-хожу.

– Ты не духов забрал, а оленей Мельгайвача! – насмешливо крикнул кто-то из молодых парней.

Кака отшатнулся назад, повернулся на голос, стал вроде бы бесмысленно пьяно моргать. Он соображал, уйти или ответить. А что ответить? Могло случиться, что и сам Мельгайвач стоял тут, поблизости. Но разговор о табунах был некстати и для Куриля. И, чтобы замаять его, Куриль поспешил шаману на выручку.

– Ке! Люди слова твои слышали. Иди, иди спать, – сказал он. – Ты на ногах не стоишь.

– Э, К-куриль... погоди!.. Я п-понял, что ты хочешь сказать... Я с-стою на ногах... и долго буду стоять... Только уж нет: божьему делу я не вредил и н-не буду вредить... Кто? Сосунок этот... – м-меня в подлости обвиняет? Мне, значит, веры нет? А Мельгайвач жив? Жив. Кто его спас? А? Бог? Или я?.. Ладно, если мне веры нет никакой, то в-вот! – Кака нагнулся и выхватил из-за голенища нож. – Я при всех сейчас живот себе распорю... Распорю!.. Люди, глядите!..

И шаман стал задирать доху. Нож с белой костяной рукояткой он держал во рту, чтобы способней было оголять двумя руками живот. Но пока он возился, мужики подскочили сзади и заломили ему руки за спину.

Куриль сошёл с нарты, чтобы Кака больше не видел его, не раздражался и в пьяной горячке не сболтнул чего-нибудь лишнего. Люди успокаивали Куриля:

– Он умом тронулся.

– Он и тогда приезжал пьяным. Никто не поверил ему...

Зря успокаивали: происшедшим Куриль был очень доволен. Распорядившись увести Каку и приглядеть за ним, он стал разговаривать с богачами и с простым людом, убеждая всех, что он никакого значения не придавал слухам о шаманстве наследника, поскольку слухи такие застали его в тордохе Нявала, когда он счастливо пировал вместе с Косчэ-Ханидо...

С шаманом возиться долго не пришлось: он покуражился, покуражился, да в сопровождении двух мужиков и отправился в стойбище.

Когда всё уладилось, Куриль снова поднялся на нарту. Толпа тут же стихла и начала уменьшаться – люди дружно притискивались к середине. Происшествие сильно взбодрило всех: исчезло последнее недоверие к Курилю, а саму попытку шамана ударить себя ножом истолковали определённо – вера в Христа всеильна. Правда, те, кто был поближе, заметили, что Кака слишком долго оголял свой живот. Но нож-то он всё-таки выхватил!

– Люди! – громко сказал Куриль. – Выслушайте меня. Я велю вам сесть на снег. Все садьте. Все!

Ребятишки первыми с радостью попадали наземь: теперь им всё будет видно – они ждали чуда. Простой люд начал усаживаться. А богачи переглядывались: послушаться или нет? Ими никогда и никто не понул.

– Мы все перед богом равны, – заметив их нерешительность, проговорил Куриль. – Я сел бы тоже, но меня видно не будет.

И богачи, закрихте, тоже опустились на снег.

– Братья мои и сёстры, – начал Куриль, сняв с головы малахай. – Выслушайте мои слова. Я сообщу вам важные вести. Вы знаете: не так давно я был приглашён в Средний острог – в Среднеколымск. Были там и другие знатные люди. Но я имел особый, большой разговор с его превосходительством исправником Колымской губернии господином Друскиным. По своей воле я посетил высокий дом бога и имел честь разговаривать с его светлостью, божьим посредником, отцом-священником Леонидом Синявиным. Самые близкие к богу и царю люди передают вам пожелание вечного счастья, спокойствия в вашей жизни и спокойствия ваших умов.

Голова юкагиров поклонился в пояс, придерживая руками живот. Ему в ответ народ тоже стал кланяться: сидя, люди кивали головами, сгибали и разгибали спины. Для юкагиров, посвящённых в божьи дела, поклоны уже были привычными, а вот чукчам приходилось приглядываться и подражать. Совсем свободный от сплетен и подозрений, Куриль торжествовал: душа его была переполнена радостью. Если бы он оказался здесь как посторонний, заезжий богач, он не сдержался бы – захохотал: северянину даже один человек, кивающий головой, кажется ненормальным, смешным, похожим на лошадь, а тут вразнобой головами кивала, да ещё изгибалась по-гусиному огромная масса людей. Однако Куриль сам перенёс в тундру обычай кланяться, и сейчас он был не только доволен сородичами, но и испытывал чувства, не похожие ни на какие другие, – толпа подчинялась ему, она походила на сборище голодных, а потому безвольных детей, готовых делать всё, что угодно. Это всеобщее подчинение его воле было более впечатляющим, чем казалось ему в мечтах. «Началось. Дожил. Слава богу», – шёпотом благодарил он судьбу, захлёбываясь от счастья. Сквозь слёзы радости оглядывал он с нарты людей, теперь признавших его силу и власть, какими не обладал ни один вожак рода, ни один шаман.

Люди наконец перестали кланяться и уже замерли, уставившись со всех сторон на Куриля, а Куриль в это время боролся с самим собой. Его прямо-таки распирало желание говорить, говорить, говорить. Он очень хотел выложить перед людьми все свои познания православной веры, он очень хотел рассказать, чем хороша эта вера и какой будет новая жизнь при ней. Однако язык не подчинялся такому желанию. Вообще-то ничего подобного Куриль объяснять толпе не собирался. Он созвал людей лишь для того, чтобы объявить, когда придет священник и как надо встретить его. Соблазнять их на принятие христианства, на обязательное крещение нужды не было: все юкагиры к этому приготовились, а чукчей – тех, которые не решились ещё, – должен был уговорить Ниникай, да он уже почти и уговорил их. Но сейчас Куриль чувствовал, что толпа ждёт серьёзного разговора, ждёт обещаний. Он ясно представил себе, как нехорошо получится, если не обнадёжить людей: расходясь, они могут подумать, что или Куриль сам ничего толком не знает, или в чём-то важном хитрит... Но совсем не одно и то же – за глаза рассуждать о судьбах людей, и смотреть в их лица, говорить толпе открыто и прямо. Куриль всем существом своим ненавидел шаманство, не сомневался он, что крещение сделает жизнь более светлой. Но никакого чуда от бога он вовсе не ожидал. И если уж знал он, как может чудо произойти, то к кре-

щению это никакого отношения не имело. Сказать, что простых бедных людей больше не будут грабить шаманы? Но они ещё будут грабить, и борьба с ними ещё впереди. А разве скажешь об этом народу! Тем более перед приездом посланцев власти и церкви – ведь власть и церковь запретили борьбу с шаманами, их устраивает двуверие. Да и знал Куриль, что церковь тоже не обойдётся без податей, и ещё неизвестно, кто больше потянет – церковь или шаманы. Хуже того, тянуть будут пока что вдвойне и втройне – и шаманы, и особенно новая вера...

Безвыходность положения вдруг сделала Куриля чёрствым и жёстким. Он рукой потянулся в карман и вынул оттуда бумагу – всё ту же бумагу, перевязанную толстой ниткой.

– По воле его светлости отца Леонида к нам завтра приезжает сюда божий человек – поп, – сказал наконец Куриль. – Он в дороге сейчас. И воля моя такая. Все люди, кем бы человек ни был – простым или богачом, шаманом, язычником, православным, здешним или приезжим, стариком или ребёнком, – все должны поклониться посланцу всевышнего бога. Я повелеваю всем вам принять веру в Христа и завтра опустить головы перед его всемогуществом. Мы построим для бога высокий дом – и бог будет спускаться к нам, мы призывать его будем не сковородками, а громкими колоколами, мы будем часто молиться ему и разговаривать с ним – и он нам поможет, потому что он всемогущ... Божью волю никто не знает, и я не знаю – простит ли он тех, кто не захочет быть окрещённым. Но кто готов, кто моё повеление принял – пусть тот сейчас подходит сюда и вот на этой царской бумаге оставит кровь своего сердца. Совсем чуть-чуть пустите из пальца кровь и приложите палец к бумаге... Сам я вместе с другими знатыми гостями исправника уже удостоверил свою преданность богу...

Сидящая толпа заворошилась. Неожиданным было всё это. Но и слишком серьёзным. Кровь – это кровь; все ощутили черту, которая нынче отделит прошлое от нового, неизвестного... К крещению многие были готовы, но бумагу взять никто пока не осмеливался. А тем временем прямо к нарте, на которой стоял Куриль, откуда-то с задов стал решительно пробираться впервые появившийся здесь Ниникай. Куриль сначала обрадовался, но потом растерялся, даже оторопел. Слишком поспешно приближался к нему многим известный чукча, шёл он не от тордоха, а через толпу – конечно, затем, чтоб на него обратили внимание. И когда Ниникай вдруг смело поднялся на нарту, Куриль посторонился и чуть было не упал, ступив ногой на обмёрзший катыш. Получилось неловко: новый человек будто столкнул юкагирского голову с возвышения. Ниникай, однако, не сгладил этой неловкости – не поддержал Куриля. Среди людей произошло движение, там и здесь заёрзали, зашептались. Юкагиры и ближние чукчи знали, что большой дружбы у этих двух богачей не получилось, и сейчас любопытству их не было меры. А прибывшие издалека почуяли несогласие и как бы скандал. На ногах Куриль всё-таки устоял, но ужас так и пронзил его с головы до пят: вот было бы дело, если бы он завалился у всех на виду!.. Лицо у него горело, сердце трепыхалось, как одинокая рыба в снасти. «О, бог Христос! Неужели вот так-то и ногу подставит?.. Какой тайный замысел приберёт?.. Неужели смута?.. Чего хочет добиться?..» – метался в мыслях Куриль, не зная, что изобразить на лице – покровительственную

ушмешку или жёсткость властителя, которому всё нипочём. Наконец он повернулся спиной к богачам и стал глядеть поверх сидячей толпы, сохранив на лице великомудрую непроницаемость. Мол, что ж, посмотрим, зачем выскочил ты.

– Чукчи, сородичи мои! – говорил Ниникай возбуждённо, стараясь выровнять дыхание: он впервые видел такое количество лиц, устремлённых в одно место – как раз на него, и только на него. – Хозяева-юкагиры! Приезжие люди! Постойте... Погодите прокусывать пальцы, подождите давать клятву своей разной и одинаковой кровью. Дайте сказать. Стоял, слушал – не вытерпел. А как вы, богатые люди, стерпели? Ну, бедные люди... понятно. А вы? Я спросить сначала хочу: чтой-то вы съехались и сошлись в одно место? Ярмарка тут? Не ярмарка: товаров не вижу. Или большое камлание? Почему шаманы без бубнов? Да и всего два известных шамана приехали. Один настоящий и умный, Токио, – вот он сидит, притих и за девками не гоняется, потому что давно женат. А другой – бессильный самозванец, злой дурак, бабник и пьяница – блюёт в тордохе Амунтэгэ...

У Ниникая сорвался голос: говорил он раздражённо, серьёзно, сердито, а получалось смешно. Да и слова потянули его не в ту сторону – не о шаманах он говорить собирался... Покашляв в кулак, он продолжал:

– Значит, не ярмарка и не большое камлание. Но вы съехались и сошлись. Я даже с Гижиги встретил людей... Никогда в глухой тундре не собиралось столько народа. Сказать, почему вы здесь? Скажу! Вот сидят молодые якуты. Они приехали издалека. Это деловые люди. Они хотят уговорить Куриля, чтобы он при строительстве божьего дома с ними имел дело, а не с Мамаханом. Ничего, договорятся между собой... Купцы и богачи хороший обмен почуяли, потому и приехали. И шаманы тут. Шаманы глядят: можно им приспособиться к новой вере или нельзя? А чего глядеть? Думаю, можно им приспособиться. Пусть шаманские духи с чертями дерутся, а людям добро делают. Бог разве будет против? Э, не согласятся шаманы. Потому что из десяти один настоящий. Остальные ни лечить, ни внушать не умеют. Злом запугивают, обманом живут и обогаются на зле и обмане. Верно я говорю, Афанасий Ильич?

Но богачи не одобряли слов Ниникая: не дело оголять тайны перед народом. Куриль всё это чуял, и в ответ лишь пробурчал что-то невнятное.

А Ниникай слишком увлёкся и решительно забыл, к чему он говорит это всё. И тут ещё с непривычки рот пересох. Произошла заминка.

– ...Шаманам, думаю, всё равно будет конец, – продолжал он, цепляясь за начатое. – Уйдёт язычество – и люди злых духов чертями будут считать. Вот на какое большое дело собрал вас голова юкагиров! Тордох твой, Куриль, пусть всегда будет высоким. Ты достоин великой чести...

– Спасибо, мой старый друг, спасибо за прославление. – Куриль в пояс поклонился людям. – Но ты всё сказал? А то холодно, и дела у каждого есть.

– Нет, нет, подожди! – переступил Ниникай на нарте, не давая подняться на неё Курилю. – Я живу среди юкагиров, и стал болтливым, как юкагир, – пошутил он. – Не сказал я, почему пришли простые люди. Им надо лунки долбить на озёрах и речках, рыбу ловить, за песцами охотиться надо, а они здесь... Мне русский человек прошлым летом сказал: «Люди Севера половину жизни спят, а половину проводят в страхе. По-

тому счастье они могут увидеть только во сне». Это неправда, что мы так много спим. Однако правда, что жизнь заморозила нас. Мы, чукчи, смеёмся над юкагирами – они плесенью, мол, покрылись. А мы сами-то ягелем обросли! Что, чукчи от голода и чёрной оспы не помирают? Все сыты? Яранги от запасов ломаются? А есть такие звери, которые родителей своих на тот свет отправляют? Мы, люди, делаем это. Что говорить много! Старые чукчи рассказывают, что за их жизнь ничего не переменялось. А у юкагиров и эвенов хуже стало... Вот вы все потому и съехались, и сошлись, что перемену ждёте. Так ведь я говорю? Ждёте! А будет перемена, и какая – об этом пусть Куриль расскажет. Он лучше всех знает... А я только скажу: спасибо ему и светлой вере за то, что они заставили Север зашевелиться. Что ж это мы свыклись со страхом, с темнотой и горем?!

– Спасибо тебе, мой старый друг! – опять поклонялся в пояс и опять засуетился Куриль, ставя ногу на нарту.

– Эге, погоди, погоди, Афанасий Ильич, – отстранил его разгорячившийся Ниникай. – У тебя, Куриль, будет много дней с людьми разговаривать. А я водку пить собираюсь. И дай мне сказать всё.

– Может, мне вовсе уйти? – бросил угрозу Куриль. – Может, ты заменишь меня? В тордох мне уйти?

– Ладно, быстро закончу. Я никак главного не могу сказать. А вот скажу – и пойду водку пить.

Это тоже была угроза, но угроза неотвратимая. Куриль же не посмел повернуться кругом – побоялся, что его признают бессильным, и побоялся скандала.

– Вот я и хочу сказать, почему люди съехались и сошлись, – продолжал Ниникай. – Получается, Афанасий Ильич, что люди сошлись не потому, что ты позвал! Это ты зря так думаешь... Тойоны, знатные, здешние и нездешние люди. Я тоже богач. Что ж мы молчим? Вы разве не видите, что тут происходит? Голова юкагиров всё делает как исправник! Он говорит: «Моя воля», «Я своей волей приказываю». И кровью клясться велит, как исправник в Среднеколымске. Стариков на снег посадил. Старики сами не знают – стоять им или сидеть? И вас посадил...

– Исправник разрешил ему делать всё, поп Синявин велел готовить людей к крещению, – раздался за его спиной голос.

– А-а... Это ты, Чайгуургин! – перекинулся Ниникай на голову восточных чукчей. – Что, и тебе понравилась полная власть? Или теперь вожаки родов, головы родов исправниками будут? А?... Я видел в остроге, как казацкий голова казаков своих в ряд ставит. Вроде юколы на жердь вешает. Крикнет на них – они разом головы в одну сторону. А кто не расслышит – того кулаком по щеке. И тот ничего, – молчит. Крикнет изо всех сил – они с одной ноги зашагают, да так прямо и пойдут – хоть лужа под ногами, хоть грязь. Одни говорят – для войны нужно так, другие говорят, что казаки должны людское происхождение забыть. Но мы – не казаки! У нас не должно так быть. Потому что люди тундры свободные люди...

Почувствовав, что такие слова нравятся богачам, завидующим голове юкагиров, что эти слова в их пользу сбивают с властителя спесь, Ниникай победно оглянулся. Оглянулся – и в лицо ему будто хлестнуло холодным снегом. В щёлках старческих глаз Куриля блестили слёзы,

а губы его были сжаты так сильно, что выдавали плач всей его души, плач ума и сердца. А кругом было неправдоподобно тихо. И богачи, и простые люди только дышали, выпуская над головами пар, и со всех сторон глядели на него, на Ниникая.

И дрогнул чукча, остепенился.

– Зачем тебе это всё, Афанасий Ильич? – спросил он уже одного Куриля, сойдя с нарты. – Зачем? Ты уже сделал великое дело, тебя вспоминать будут правнуки наших правнуков. Да я бы на твоём месте полтабуна променял на горькую воду и поил всех подряд... У тебя и так непомерная радость и огромная слава, а ты дальше идёшь... Люди, вы знаете, как крестят попы? – спросил он громко. – Ребёнка после рождения опускают в воду по шею и вынимают, а взрослых брызгают этой божьей водой. И всё. Светловолосому богу не нужна наша кровь... Зачем ты подражаешь исправнику, Афанасий Ильич? В Среднем остроге клятву давать причина была – как ты этого не понял!

Куриль стоял, как деревянный языческий истукан – не шевелился, лицо было непроницаемо, и даже слёзы не выкатывались из его глаз, хоть и блестели.

– Ладно, – сказал Ниникай, – я ухожу. Умом не сумеешь простить – сердцем можешь не прощать.

Он повернулся и пошёл через толпу, петляя, стараясь не задеть сидящих людей.

Для Куриля не было тишины, для него был провал в тишине – долгий и бездонный. Нет, ум его не помрачился. Конечно, несмотря ни на что, будет крещение, будут тайные от других встречи с попом, с исправником, будет строительство церкви и колокольный звон, многое будет. Но при этом прежний Куриль останется завязшим в каком-то тумане, а теперешний, униженный перед народом, поплетётся по жизни как посторонний, доделывающий чужие дела.

Тишина между тем отдалялась. Больные начали кашлять, слышались голоса детей, люди переговаривались. А богачи усиленно чмокали трубками и нетерпеливо побрякивали. И всё это было хуже, чем провал в тишине.

Он поднялся на нарту. В глазах растекался водянистый туман, лица людей расплывались пятнами.

– Люди, – говорил он, снимая с лысой головы малахай, – тридцать снегов я приближал эти вот дни. Теперь вы видите, как мне было трудно. Враги нападали, как хищники, капканы ставили на дороге, сплетни впереди меня пускали самые чёрные. А сегодня, как медведь, навалился мой друг... Вы ждёте, что я скажу? А я скажу совсем мало. В тундре должно быть спокойствие. Спокойствие и согласие. И я перед великим событием, перед светлым крещением отвечу на вражду умиротворением. Меня не соблазнит дьявол мстить шаману Каке за жестокую сплетню. Я не буду обижать бога Христа ссорой с другом своим Ниникаем. Начнём с прощения новую, согласную жизнь и будем молиться...

Куриль замолчал. Он сошёл с нарты и направился в гущу людей. Снова вынув всё ту же бумагу и распластывая её на груди, он продолжал:

– Братья и сёстры – дети Христа, завтра будет крещение. Завтра. Но сегодня мне нужна вот эта бумага со следами вашей крови. Завтра её увидит священник и поверит, что мы готовы принять новую веру... Я

не хочу принуждать – только по доброй воле. Пусть один человек из каждой семьи оставит на этой бумаге след. По одному человеку от каждой семьи...

Он смолк и замер на месте, сдвинув чуть поседевшие брови, плотно сжав губы и прикрыв глаза.

Никто не знал, что после своих слов переживал голова юкаги́ров. Одним казалось, что этот опалённый житейскими ветрами полный старик с жидкой, поседевшей растительностью на смуглом лице слишком мудр, другим – что он слишком хитёр, третьим – что он незаслуженно обижен и потому растерялся, четвёртым, напротив, казалось, что и у святого дела есть что-то нечистое, скрытое, как бы приятно ни выглядел человек. А Куриль испытывал ещё большее унижение: он видел себя со стороны маленьким, жалким, глупо стоящим посреди толпы с развёрнутой на груди бумагой. Он не приказывал, он просил. Власть – самая сильная из страстей...

Вот кто-то первым ткнул пальцем в бумагу. Сильно ткнул. И Куриль невольно приоткрыл глаза. И каково же было его удивление, когда он увидел Лангу! Этого он не мог ожидать. Ланга – первым?.. Радость охватила его: ведь за сказителем быстро и дружно пойдут почтенные люди, а значит – и все юкагиры... Так оно и случилось – почтенные люди стойбища, а вместе с ними их приезжие друзья – тоже старые люди – сразу столпились и начали как попало тыкать в бумагу пальцами. Народ вставал со снега, и вокруг Куриля, уже надевшего малахай, быстро образовалась толкучка.

Уже было ясно, что дело головы юкаги́ров – выигрышное, что на бумаге с лица и с изнанки не останется светлого пятнышка. Было-то ясно, но ведь с какой стороны на дело глядеть. Куриль умел глядеть на дело с разных сторон. А может, люди вовсе не ему доверие так дружно выказывают, может, и крещение, и сама вера тут ни при чём? Ниникай-то затем и вскочил на нарту, чтобы просто взбудоражить людей! Не потому ли первым подскочил к бумаге сказитель Ланга?

– Осторожно... Не сильно тыкайте, – раздражался он, не столько боясь, что окровавленная бумага прорвётся, сколько подозревая людей в недобрых мыслях.

Бумага была, уже совсем красной с обеих сторон, когда Куриль опомнился. Он поспешно и громко стал предупреждать:

– Не расходитесь!.. Пойдите!.. ещё не всё... Верните людей...

Бумагу поскорей унесли в тордох, и Куриль снова поднялся на нарту.

Ни о чём больше не думая и повинаясь лишь долгу, он громко, но уже без вдохновения заговорил:

– Люди, вы рано уходите! У меня ещё есть два дела к вам... Не толпитесь, не садитесь на снег! Я скажу вам, как надо встретить священника. Не все умеют правильно кланяться и не знают, что говорить... К нам завтра приедет из Нижнеколымска божий слуга. Послушайте, что надо делать. Как он приблизится к нам, все должны упасть на оба колена и потом кланяться, касаясь лбом снега... Давайте все сейчас упадём на колени... Все – и старые, и дети... Нет-нет, вы, знатные люди, сидите – вы всё умеете... А вы, люди, выбросьте из ума, что я похож на голову казацкой сотни: я просто хочу научить вас... Упасть на колени надо всем сразу. Ну, падайте!..

И огромная толпа бухнулась на колени. Не вся толпа сразу – многие детишки опоздали, кое-кто из стариков не расслышал слов Куриля.

– Теперь спины сгибайтесь, – приказал Куриль, – сгибайтесь, сгибайтесь... кланяйтесь... Хорошо. Только при этом надо ещё и креститься. Креститесь – потом сгибайтесь...

Это было такое зрелище, что у Куриля даже мороз по спине пробежал. Люди повиновались, люди стали совсем одинаковыми, люди забыли себя. И Куриль невольно подумал: «Вот так все будут сгибаться перед моим сыном Косчэ, и все будут при этом знать, что Косчэ под моей властью...». Ни с чем не сравнимое самочувствие повелителя опять омолодило юкагирского голову.

– Теперь хватит! – распорядился он. – Вставайте... А теперь хорошо меня слушайте. Снег отряхнёте потом – слушайте... Слова священника буду переводить я. Когда я скажу, по-юкагирски и по-чукотски, что поп желает людям тундры здоровья и счастья, вы должны все сразу ответить: «Спасибо». По-русски: «Па-си-во». Ну, скажите слово такое все вместе... – Куриль поднял обе руки и стал опускать и поднимать их. – Па-си-во...

То, что произнесла толпа, было не только не похоже на «спасибо», но и от «пасиво» ничего не осталось. Чукчи кричали: «Па-ачи-ве», кто-то громче других орал: «По-отьи-а-а»...

– Нет, – сказал Куриль, – не выходит. Надо: «Па-си-во»... Ну, по частям скажем: «Па-а», – так, – «си-и», – так, – «во-о»... – так. «Па-си-во... Па-си-во». Ладно, сойдёт... А теперь другие слова... Поп скажет, что жизнь в тундре сильно изменится, что всем будет удача, радость и счастье, тогда вы должны обратиться к богу: «Дай, бог!». По-русски: «Тай, бог!...». Все скажем эти слова... – Куриль опять поднял руки.

– Лай, бог! – прокричала толпа.

– Ещё раз...

– Лай, бог!

– Хорошо. Совсем хорошо и правильно получилось. А теперь ещё запоминайте. Когда поп начнёт прославлять бога Христа, возвеличивать его, называть всемогущим, вы должны сказать: «Слава богу». По-русски: «Слав бог». Это тоже совсем просто: слав бог...

– Сла-аб бог... – протянула толпа.

– Ещё!

– Слаб бог... Слаб бог...

– Всё! – воскликнул очень довольный Куриль, совершенно не понимая, чему он научил людей Севера на долгие годы. И его не насторожил чей-то отчаянный смех – он лишь строго посмотрел в ту сторону, где хохотали трое или четверо якутов.

– И моё последнее дело, – объявил Куриль, снова снимая шапку. Цветастой тряпичей он вытер лысую голову, от которой лишь теперь пошёл густой пар. – Сейчас мои пастухи пригонят две сотни оленей. Их надо забить. Пусть все женщины возьмут ножи и разделают туши. Перед крещением пировать начнём. Все! Ешьте, люди. И пейте. Горькая вода – будет... А рога надо сложить в кучу – на память об этом дне. С миром и радостью в сердцах расходитесь, люди. И будьте здоровы. Завтра – крещение...

ГЛАВА 15

О, эта ночь перед долгожданным крещением была необыкновенной и удивительной. Такого пиршества, такого разгула не помнил ни один старик, и ни один сказитель не смог бы сравнить эту ночь с какой-либо ночью в далёком прошлом.

Всё началось ещё с середины дня, когда женщины взялись свежевать забитых оленей. В жилищах и возле них запылали костры, всё кругом утонуло в запахах дыма и варёного мяса. И запахи эти не пропадали до самой глубокой ночи. Дело в том, что протрезвевший шаман Кака, узнав о щедрости юкагирского головы, тоже приказал пригнать из своего табуна два десятка оленей. Однако распорядился: мясо отдать собакам, которых было здесь великое множество. Куриль взбеленился, услышав такую новость. А что он мог сделать: не его ведь олени! Но он всё же нашёлся. Его пастухи отобрали в табуне Куриля самых худых, старых и болезненных оленей, пригнали их и забили. Это мясо отдали собакам, а жирные олени шамана попали потихоньку людям в котлы. Народ дорвался до вольного мяса – и все возбуждённо метались, не успевая есть и пить, кромсать туши, таскать лёд и хворост. Водку купцы сначала придерживали, надеясь на хороший барыш: народ, мол, начнёт приставать, и во всеобщем азарте и беспорядке можно будет ловко сгрести пушнину. Куриль, однако, почуял беду – и вскоре стало известно, что купец Мамахан срочно пригнал две нарты с бутылками и чохоном и намеревается раздать водку без платы. Ничего не оставалось приезжим купцам, как пустить свой товар за полцены...

В разгар суматохи, когда день угасал, через всё стойбище потянулись огромные табуны оленей. Это Куриль распорядился ошарашить, ошеломить богачей, особенно приезжих делег: мол, знайте наших, имейте расчёт, с кем вы собираетесь делать дела, мол, Улуро – центр всех тундр – богатством не удивишь. И тысячи его оленей заполонили всё пространство между жилищами. А народ просто терял голову от обилия мяса, от щедрости богачей, ото всего, что творилось вокруг.

И пошло, и поехало...

Малые дети бедняков, наевшись до отвала, заснули, будто убитые, освободив счастливых родителей. А дети постарше стеклись к кособогу кататься на санках, и так катались они, что гудела гора, а от криков и звонкого говора даже в стойбище дребезжало в ушах.

Был уже март, и в жилах молодых людей, успевших перезнакомиться или знакомых давно, бурлила горячая кровь. Парни и девушки, будто по давнему сговору, ещё при солнечном свете покинули стойбище – они увязались за табунами оленей, которых медленно гнали пастухи Куриля. Все слегка пьяные, крикливые и подвижные, они быстро отстали от табунов, как только стемнело. Ватаги распались. Там, в тундре, избавленные от родительских глаз и не боясь быть застигнутыми даже волками, парочки потеряли друг друга из виду. И было им хорошо и уютно на воле под звёздами; прямо на снегу предавались они порывам любви и страсти.

А к тому времени, когда молодёжь начала возвращаться, в стойбище шла гульба – повальная и безбожная, если, конечно, иметь в виду, что северяне тогда не знали, что бог Христос до своего воскрешения тоже

любил хлебнуть и облапить женщину. Встречнева луна хоть и не была в этот раз голодной, но и жирной она не была, и простой люд быстро хмелел и быстро дурел, дорвавшись до дешёвой горькой воды, крепкого табака и совсем дармового мяса. Растревожились поначалу души – завязались жаркие, до хрипоты разговоры, споры и пересуды, зачались песни у очагов и на вольной воле. Нет, ни лёд, ни вода озера никогда прежде не оглашались таким громким галдежом, такими разноязыкими песнями, а потом криками, визгом, воплями, бранью. Конечно, над шумом и гамом верх брали песни. Уж песен-то Соколиная едома наслухалась вдоволь. Но какими бы разными ни были песни, кто бы ни пел их, а было-то у них всего два мотива и два характера. Одни выплёскивались будто со дна души, их пели с горечью зауныния, с тоской каюра, который не видит звёзд и не знает, куда повернуть упряжку. Другие песни, напротив, казались нескладными, резкими и крикливыми, будто каюр опознал места, но едет, однако, по мёрзлым кочкам, гикая, окая и боясь свалиться, выпустить вожжи. Поздним вечером появились гуляки, которым не сиделось у одного очага. И хоть были они людьми взрослыми и семейными, но резвились они, как мальчишки. Чукчи, всегда шаманившие больше других, привезли с собой бубны, и вот теперь там и здесь раздавался гул с дробным звоном: у костров на воле хороводили мужики, оступаясь и падая в грязном снегу. Путаая юкагирок с чукчанками, а может, и не путаая, гуляки ловили женщин, выскочивших из жилища, – и тогда раздавался визг, хохот и крики вдогонку. И всё-таки далеко не всем в этот вечер и в эту ночь было радостно и хорошо. Немало людей страдало и мучилось: одуреть от водки, табака и жирного мяса было не трудно, но очень трудно было выйти из невыносимого положения. Одни валились наземь где-нибудь сзади жилища и остужали снегом горячее тело, стремясь сохранить в желудках не успевшую перевариться пищу. Другие, наоборот, старались избавиться от неё, чтобы снова и снова испытать счастье жевать и глотать. И разносились по стойбищу стоны, истошные вопли, рычание.

К самому разгулу веселья как раз и подоспели ребята, уходившие в тундру. И тут начались драки. У молодых свои счёты: не все были в тундре и не всё происшедшее там оказалось по нраву другим. Конечно, драка парней-северян не такая и страшная: шлёпают по ушам, царапаются, ну а тычки в плечо или грудь совсем безболезненны, потому что на каждом двойная одежда из шкур. Больше задора, криков и свирепых угроз, чем побоев. Драчливее всех – ламутские парни, высокие, хорошо одетые, в красивых шапках. Что перед ними приземистые юкагиры в своих истрёпанных дошках! Но юкагиры вёрткие, ловкие, да и на своей земле очень дружные. Впрочем, ламуты больше дрались между собой. Чукчи кричат меньше всех, терпят, но сдачи дают крепко. Сохраняют степенность даже в потасовке якуты. И всё-таки драка есть драка: трещит и летит клочьями шерсть, кровь от царапин, злобная ругань, крики и порывистая беготня. И, может быть, плохо бы кончилось это всё, если бы не вмешался Куриль, провожавший гостей-якутов. Он оставил гостей и оказался в кругу драчунов.

– Что, дерётесь? – оглядел он всех. – Ну деритесь, а я погляжу. Только деритесь по-настоящему, как русские, чтобы вокруг глаз синяки были, чтобы скулы пухли и зубы сыпались.

– Мы не русские, чтобы друг друга калечить, – буркнули за его спиной.
– Ничего. Попробуйте. А я погляжу. А завтра соберу покалеченных, узнаю, кто бил, и всех в Среднеколымск отправлю. Исправнику очень нужны драчуны – он их на войну посылает. Слышали про войну, сукины дети!

И гурьбу словно олень языком слизнул.

И очень быстро прекратились все драки. Никто не хотел идти на войну. Конечно, так выглядела гульба перед крещением с внешней лишь стороны. Но была у неё и другая сторона – деловая, серьёзная.

Простой люд спешил в этот вечер и в эту ночь завершить мену-торговлю. До ужаса жалкими были сделки, которые начались вместе с приездом гостей. Одному понравился нож с оловянной ручкой, другому позарез был нужен берёзовый кенкель, третий зарился на плоский стеклянный пузырь с пробкой, которая не вынималась, а свинчивалась; расшитые торбаса – на простые, однако с придачей, а в придачу – медная бляшка; ремень из коровьей кожи – на ремень из нерпичьей, но разной длины... Таким был этот незримый базар. Но что поделаешь – мир вещей бедного люда был тоже узеньким, жалким, и потому торги проходили с той же серьёзностью, с какой купец менял ситец на шкурки или порох на серебро. Ну, а если кто-нибудь приглядел медный чайник, то, чтобы сказать о желании выменять его, нужна была смелость. Вот такая смелость у многих и появилась лишь после кружки горькой воды.

Но был и другой базар – невольный, со слезами, жестокий и коварный. Правда, тут ничего не меняли. Тут отдавали и брали, расчёт здесь был вынужденный или скрытно нечестный. Взрослые решали судьбу детей. И случай для этого представился самый благоприятный: когда это ещё соберётся вместе столько народа! Многодетные родители хорошо знали, что рано или поздно грянет беда – и семья уменьшится. Определённо кто-то умрёт раньше срока. Надо отдать хоть одного ребёнка в другую семью. А бездетных семей немало: сколько женщин застудилось снегом, заменявшим им воду, и стало бесплодными! Таким жёнам ребёнка приходилось брать. Говорят, что у юкагиров вместо глаз плачет сердце. И именно поэтому в этот вечер и в эту ночь не было слышно плача. А между тем судьба не двух и не трёх детей была решена: завтра или послезавтра их поцелуют матери в тёплые лобики и проведут через кольцо из тальниковых прутьев... Судьбами детей распоряжались и по-другому. Но это были иные дети. Приехавшие успели приглядеться к семьям и к их потомству. И если родителям девочки приезжий ламут или юкагир сообщал, что у него есть сын, то это означало наречение, помолвку в детстве. Оставалось уточнить, не перекрестятся ли родственные связи. И вот начиналось распутывание родословных... Тут могли быть удачные сделки. Но чаще всего это были заведомо неудачные: умная, красивая девушка должна была выйти за глуповатого или испорченного болезнью. А что делать – это хоть давало уверенность, что дети не останутся на всю жизнь одинокими.

В общем, жизнь многолюдного и разноязыкого стойбища шла своим чередом, и всё происходившее накануне крещения как будто могло произойти точно так же, как если бы люди съехались на большое камлание или ради иного дела. Всё было так, но и не так. Если кто-то решался выменять медный чайник, то уж, конечно, думал о том, что, может быть, следует перебиться немного – до того времени, когда чаще

начнут приезжать из острогов купцы. И судьбу детей решали с расчётом на будущее. Одни считали жизнь в центре Улуру предпочтительней жизни в глубине тундры. Другие – наоборот, полагая, что на бойком месте будет трудней из-за всяких соблазнов, из-за новых порядков и притеснений.

Впрочем, и прямых разговоров о новых порядках и новой вере было достаточно. Но тут всё зависело от национальных и родовых обычаев, законов, привычек. Особенно в сложном положении оказались чукчи. Не все из них приехали по доброй воле. Многих Чайгуургин поднял на нарты угрозами и чуть ли не силой. И дело тут было не в духах-ке, в существование которых чукчи верили сильнее других, и не в шаманстве, которым они выделялись и славились. Заверение Чайгуургина, что старая вера не отменяется, и отчаянные нападки Ниникая на шамана Каку расшатали народ с разных сторон. У простых чукчей не вызвал тревоги закон бога Христа об одножёнстве: по две-три жены имели только большие шаманы да богачи. Замутил чукчей и чукчанок слух, который не опровергался никем, ни одним человеком. Если бы этот слух исходил от Каки, то его пропустили бы мимо ушей: прежним полным доверием шаман уже давно не пользовался. Но слух шёл от юкагиров, и хоть им сначала не верили, потому что оправдывался юкагирский обычай и отвергался чукотский, однако с годами подтверждений было всё больше и больше. Стал известен завет светловолосого бога Христа: не пожелай жены ближнего. Это означало, что муж должен жить только с женой, а жена – только с мужем. Иначе – грех. Грех? Но у чукчей всегда, во все времена было наоборот! И теперь так: не грех, а обыкновенное благодеяние, которое устраивает всех. Мужчины не понимали, как можно ограничивать гостеприимство. Разве еда, питьё и другие заботы о госте могут прикрыть скупость хозяина, если он не предложит свою жену? Сам-то хозяин тоже когда-нибудь станет гостем. Какая же это дружба!.. Да дело не только в скупости. Трудно, стеснительно вести разговоры мужчинам, если женщина для одного из них близкая, а для другого – чужая, лишняя, посторонняя. Женщины-чукчанки никогда не чувствовали себя рабынями, и не нужно было принуждать их становиться кратковременными наложницами: чукчанки всегда были свободны и ни с какими запретами вовсе не сталкивались. Это вполне соответствовало их извечной, врождённой доброте: чукчанка могла спокойно отдать последний кусок голодному, не думая о своём желудке... Словом, ни мужчины, ни женщины не видели здесь неприличия, и запрет бога Христа их не устраивал. Мужчины говорили: «Русский келе жестокий. Он всех нас хочет сделать чужими и жадными». А женщины горячо поддерживали их: «Если юкагирам нравится этот келе, то пусть они и молятся ему. Пусть, как дети, боятся чужого взгляда, пусть остерегаются чужих рук. Это одни куропатки смотрят на самцов и сохнут. А мы люди...».

Вот в таком настроении и приехало большинство чукчей и чукчанок на берег юкагирского озера. А тут, как нарочно, их ожидало новое и окончательное подтверждение слухов. Якуты, знавшие законы Христа не хуже русских и успевшие переспать с чукчанками, хитрили – уклонялись от разговоров о вере, обычаях и новых порядках. Зато иначе

вели себя совсем новые в здешних местах мужчины – зашиверские¹⁰² ламуты. Это были потомки первых на Севере христиан, приехавшие восстановить прерванную веру своих предков. Так вот эти мужчины не захотели, отказались ночевать в чукотских ярангах, и в спальные мешки к чукчанкам никто из них не полез. Они много молились и своей благочестивостью совершенно мутили чукчей. Но это был только один из обычаев. А вообще-то с христианскими не совпадали многие, и чукчи знали об этом.

И ещё неизвестно, дождались бы чукчи попа или нет, если бы не всё то, что происходило вокруг, и если бы среди них не было мудрых людей наподобие Ниникая. Вот ведь пришлось примораживать к верхушке каждой яранги крест, связанный из палочек или прутьев! Не отставать же им от других.

Чукчи – люди не слова, а дела. Они умеют молчать, и молчаливость их кажется то загадочной, то подозрительной. На самом же деле чукчи очень просты, просты и задумчивы. И в ночь перед крещением они больше пели, больше думали, чем говорили. Им уже было известно, что протрезвевший Кака – самый влиятельный их шаман – обходит тордохи и больше не пьёт, а упраскивает юкагиров забыть его сплетню. Это значило, что он и пьяный, и трезвый видит безвыходность своего положения. ещё знали чукчи, что Ниникай, так отчаянно нападавший при людях на Куриля, уже к вечеру был совершенно пьян. Стало быть, и Ниникай отступил, признав всеисилие Куриля. Да что юкагирский голова! Их, чукотский голова Чайгуургин во всём уподобляется Курилю и не сводит со своих сородичей глаз. Чайгуургин побывал во многих ярангах и всё интересовался, не забыли ли чукчи русских слов, которыми надо встречать попа. Больше того, он потемну послал в сторону Нижнеколымска бывшего гонщика, постаревшего Кымыргина, чтобы тот первым встретил попа. Кымыргин – чукча, значит, Чайгуургин хочет заверить посланца бога, что чукчи волнуются за него и ждут.

Куда было деваться самому упрямому чукче! Молчали, терпели, приглядывались и ждали.

Так было у ближайших соседей. Совсем иначе было у хозяев, у юкагиров. Эти поболтать любят! В обыденной жизни они тоже умеют долго молчать. Но терпение их лопается – и тогда держись: зашвыряют словами... Перед крещением им было о чём посудачить. Новую веру-то они уж давно решили принять, и теперь распутывали языками нити сложных событий в Улуро, стараясь предугадать, что же произойдёт в ближайшие дни и что можно ожидать в будущем.

Смерть отца Халерхи опечалила юкагиров, пригасила сказочные надежды: красавица-сирота – это не совсем то, что красавица-невеста с бедным отцом, счастливым, богатым и здоровым на старости лет. Однако в обычной жизни люди стали свидетелями кое-каких событий и перемен, прямо касающихся их очень долгих надежд. Не такие уж узкие у северян глаза, чтобы видеть одни следы на снегу. Юкагиры сразу заметили, что крещение будет происходить не на берегу Большого Улуро, где живут богачи и где собирают ясак, а на Соколиной едоме, на берегу Малого озера, где кочует самая беднота. Из этого они делали вывод, что если и не само счастье поворачивается к ним лицом, то, во всяком

¹⁰² Зашиверск – исчезнувший острог на Индигирке.

случае, новый бог, обещающий добрые перемены. Правда, был слух, что выбор такого места крещения – это большая хитрость. Но у новой веры много злобных врагов. Да и кто же пойдёт на обман стольких людей!.. Впрочем, добрые перемены начали появляться. Сперва жаднейший богач Петрда почти без уговоров отдал Халерхе и семье Нявала сотню оленей. Сотню! Этого даже во сне нельзя было предвидеть. Конечно, тут дело особое. Но вот сам Куриль забил для простых людей двести оленей. Двести! И ни одной шкуры себе не взял. Да на такую доброту он не был способен даже тридцать лет назад, когда лишь утверждался как голова. Но этого мало. После сегодняшней сходки многим казалось, что Куриль больше не выйдет к народу – из-за обиды и занятости другими, более важными делами. Но произошло неожиданное: Куриль стал обходить тордохи. И обходил он не один, да и не с пустыми руками: человек возил на нарте мешки, набитые разным добром. Голова раздавал подарки – кому варежки, кому шапку, одному торбаса, другому свёрток телячьих шкур, охотнику пачку пороха, девушке украшения. Удивительно это было. Теперь, на вечерней гулянке, судили: в чём дело? Задабривать юкагиров не было смысла – юкагиры и без этого все окрестятся. Можно было думать иначе: стыдно стало ему за своих обтрёпанных, слишком уж бедных сородичей. Табуны-то свои он показал приезжим, а вот бедность народа так и лезет в глаза. Дошки на юкагирах истёртые, обувка стоптанная. Многие женщины и девушки лишний раз боятся выйти из своего жилья – ждут темноты. А каково молодым перед молодыми приезжими? У приезжих, может быть, тоже не набиты мешки одеждой. Но у них есть что одеть на выезд. А у юкагиров потрёпанное – это единственное. Решится девушка-юкагирка надеть украшение – и выглядит смешно и жалко... Только вот штука: прорехи и дыры такими подарками не прикроешь. Каждому видна бедность. Тордохи – кособокие или дырявые завалюшки, вокруг них из-под снега торчит рухлядь, которую надо не беречь, а бросить в огонь, – гнилые закопчённые жерди, обломки нарт, старьё... Неужели Куриль задумал усовестить других богачей-юкагиров – мол, с новой верой надо и подобрать? Кто его знает. Но доброта есть доброта... К тому же расщедрился якут Мамахан, друг Куриля: горькую воду даёт, а сам ничего не берёт.

Вот так и получалось, что появились приметы кое-каких перемен. Верно, нельзя слишком надеяться – всё-таки праздник, событие очень большое. Но никто же не помнит, чтобы праздники были такими жирными.

Совсем иначе встретили крещение знатные люди – владельцы табунов, купцы, главари родов, дельцы и деляги. Эти не объедались. И горькая вода для них не была редкостью. Сто бутылок для них – это – тьфу! Даже глаза не скосят. Да ещё повернут дело так, что распитые сто бутылок народят ещё столько же. Торговали мало-помалу, обменивались. Племенные олени, собаки хорошей породы, дорогие изделия из шкур, клыки мамонта, американские нужные вещи и безделушки – вот что было предметами мены-продажи. Но всё это происходило так, между прочим, и сделки были скорее забавой, прихотью, чем серьёзной торговлей. Главное же состояло в том, чтобы узнать намерения Куриля и Мамахана и приглянуться им. Строительство церкви – это только начало. Не пришлось бы рубить острог, дома ставить, лабазы, а к ним дорогу тянуть.

ГЛАВА 16

Перед рассветом тьма загустела, и звёзды померкли. Хуораал давно перевернул свой ковш, да в предутренней дымке его и различить было трудно. Впрочем, Косчэ-Ханидо уж и не глядел на звёзды. Вытирая с лица иней, то и дело подтягивая штаны, он еле тащился, без конца проламывая ногами хрупкую корку снега. Сил у него оставалось мало, но нарту с привязанным к ней мешком он не бросал. Мыслей в голове никаких не было. Он знал, что не замёрзнет – рассвет поможет ему оглядеться, потом передышка – и уж на чьё-нибудь жильё он всё равно набредёт. А шёл он как будто верно. Единственное, что он старался делать, не останавливаясь ни на миг, – это не только шагать и тащить нарту, но ещё и дремать: горячий чай и еда силы вернут, а вот сонливость не одолеешь. Впереди у Косчэ-Ханидо был важный, самый важный день в его жизни.

Мужественные люди не считают мгновения и удерживают сердце от нетерпения. Косчэ-Ханидо не стонал: «Ох, скорее бы рассвело... Когда же тьма поредеет?..». Он месил ногами снег, порой увязая по пояс, и очень спокойно стал замечать, что терпение и действие сократили время – рассвет наступал.

Без особой радости он заметил чуть в стороне тёмную точку и, остановившись, сняв шапку, чтобы послушать, легко определил: оленья упряжка. Глядя на эту точку, он зашагал на неё, стараясь понять, куда она движется и как ему идти наперерез.

А упряжка двигалась напрямик на него. Это значило, что ездок зорко глядит по сторонам и хочет ему помочь.

Опять Пурама ехал. Косчэ-Ханидо остановился раньше, чем разглядел лицо своего воспитателя. Он уже знал: Пурама.

Обтрёпанный, донельзя уставший, он стоял с опущенной головой, и отдалённо не напоминая сказочного богатыря. Окоротив возле него оленей, Пурама не поднялся с нарты. Немного помедлив и шумно вздохнув, он сказал:

– Да... Теперь я вижу, что тебе действительно надо бубен держать... Учил, учил... старался... Как тебя, ке, волки не съели? Идэгэлгэ¹⁰³! Неслыханно: у охотника волки отняли ездовых оленей... Да каких оленей! Моих самых лучших волчатников.

Не все эти слова Косчэ-Ханидо слышал. Он опустился на снег и мгновенно забылся. Пурама вскочил и быстро спрятал в карман трубку, которую собирался набить табаком. Косчэ-Ханидо спал. Сварливость старого Пурамы сразу сменилась беспокойно-жалостливым причитанием:

– О, бог хойл¹⁰⁴... нет, бог Христос! Да ты из сил выбился, ке... Это я так, для порядка ругаюсь. Чёрт с ними, с этими каргинами, и чёрт с ними, с волками! Я бы мог и не посылать тебя. Да хотелось мне, чтобы ты ещё злей был и злым пошёл в новую жизнь...

Причитая, Пурама ловко выпряг одного оленя и так же ловко и быстро впряг его в нарту, которую приволок Косчэ-Ханидо.

– ...Э, да ты и править не сможешь... Ладно: поднимись, ляг на нарту – поспи. А я покурю... Куда нам спешить! Это даже лучше, что мы по-

¹⁰³ Возмущение.

¹⁰⁴ Бог хойл – языческий бог.

сле попа приедем. А то попу всё внимание будет, и ты в толпе потеряешься. После попа все тебя ждать начнут...

Они тронулись в путь, когда поднялось солнце и когда Косчэ-Ханидо поспал и поел. До Малого Улуру было не так далеко, если иметь в виду огромные расстояния в тундре.

В обжитых местах Косчэ-Ханидо всё удивляло – множество полосок от нарт, которые часто перекрещивались, какие-то не такие, слишком торопливые, что ли, следы зверей, огромные полосы истоптанного, исковыренного снега на месте прогона оленей, еле уловимые запахи, от которых он совершенно отвык, и настораживающая, не полная тишина. Потом показалось кочевье, вернее – один тордох. Когда подъехали, увидели на снегу тёмные круги от других, увезённых тордохов, мусор да пятна помёта. И у Косчэ-Ханидо заколотилось сердце. Он догнал Пураму и спросил:

– Всё стойбище туда, к нам, уключавало? Всё стойбище?

– О, у нас там такое творится! – сказал Пурама. – Людей – табуны. Не Соколиная едома, а кочкарник жилищ... Этой ночью гуляли. Я-то ночевал здесь – вот в том тордохе, у больной женщины, так отсюда расслышал песни. Крепко, видно, гуляли.

– Разве поп уже там?

– Нет. Я ж тебе говорил. Поп только сегодня приедет. Но Куриль во всём подражает русским, а у русских гульба в ночь перед праздником.

– Значит, не одни юкагиры съехались к нам?

– Какой там одни юкагиры! Отовсюду народ, из таких мест, где никто сроду и не был. А окрестные тундры наверняка без людей остались.

– И старики, и дети?

– Все там. И молодого народа много.

Косчэ-Ханидо и Пурама поняли друг друга. Парень как раз и спрашивал о молодых ребятах и девушках, только не прямо. Пурама же ответил прямо, однако с намёком: смотри, мол, готовься показаться достойным!

Замолчав, Косчэ-Ханидо стал озабоченно размышлять. Он невольно начал разглядывать свою одежку. Оба рукава дошки были порваны – один, обкрученный ремешком, будто ножом разрезан от плеча и до кисти, другой весь в мелких клочьях. Да вся доха-то только и могла годиться что на заплатки! И штаны не лучше.

– Ты как считаешь, ке, мне поехать вперёд и привезти тебе новую одежду, или ты вот так, как сейчас, в стойбище въедешь? – спросил Пурама вроде бы простосердечно.

– Не знаю, дядя. Надо подумать.

– А ты вслух рассуди.

– Можно и вслух. В новой дохе приеду, скажут: дурак – на охоту в новое наряжался. Или скажут: переоделся, чтобы покрасоваться... Но ведь, дядя, и в рванье тоже нельзя.

– Так. В рванье, значит, нельзя? Почему?

Косчэ-Ханидо немного подумал, а потом ответил с заминкой:

– Там... ребята-ламуты, наверное, вырядились!

Пурама придержал оленей.

– Ну, ты это брось так отвечать! – сказал он сердито. – Я тебе не мальчишка. Или ты в мыслях так высоко прыгнул, что всерьёз и поговорить не хочешь со мной?

- Я ответил как надо, – спокойно сказал Косчэ-Ханидо.
- Нет, не как надо! Ни намёка, ни иносказания в твоих словах не было.
- Значит, и хорошо. Я ответил так, как ты сам учил меня, дядя.
- Объясни. Может, мой ум так постарел, что я второго смысла не могу уловить?
- Второй смысл я для себя одного приберёг.
- Да?... Это уже разговор. Но ты скажи, чтобы я ехал спокойно. А ну, останови оленя.
- Может, хватит меня испытывать, дядя? – натянул вожжи Косчэ-Ханидо. – Я, кажется, ещё ару носил, но уже умел всё запоминать с первого раза...
- Вместо ответа – хвастаешь. Это плохо, – сказал Пурама. – Этак ты скоро думать начнёшь, что ты – божий избранник. Вроде твоего второго отца.
- Я во всём сомневаюсь, поэтому считать себя божьим избранником не могу, – возразил совершенно спокойно Косчэ-Ханидо.
- Так. Смело ответил. Но тебе о сомнениях надо молчать. – Пурама повалился на бок, чтобы удобней было вынуть кисет с трубкой. – Ну-ну, я хочу слушать.
- А чего слушать! Мне посередине жить надо.
- Правильно, молодец! – обрадовался Пурама. – Стоило за тебя исκαлечить Каку или в тёмный дом его посадить! Вот тут на нарте у меня в мешке дохода для тебя. И штаны, и торбаса. Так, среднее всё, приношенное...
- Да? Всё есть? – обрадовался и Косчэ-Ханидо. – Вот туда, в низинку, я заверну. Переоденусь. Кажется, совсем близко до нас?
- Не спеши. Покурим. Табак-то есть?
- Нету. И трубку потерял. Да я и курить отвык. Не хочу.
- Ты первым делом, как приедешь в острог, научись по-русски курить, – стал напутствовать Пурама. – Они, русские-то, из бумаги рожок на пальце скручивают и потом, как покурят, выкидывают его. Подражай им во всём – это они любят. Только не в этом дело... Ты сказал, что сомневаешься, есть ли Христос? И всё-таки думаешь стать попом? Как это – хорошо?
- Плохо это. Хуже, чем плохо... А почему ты меня спрашиваешь об этом? Что, Ниникай и с тобой поссорился? Ниникай мне сказал, что и у русских есть попы, которые сомневаются в божии. И ещё он сказал, что это даже хорошо, что на мне столько грехов. Правильно он сказал, – Косчэ-Ханидо поднял голову, уставился прямо в глаза Пураме и заговорил горячо, по-мальчишески: – У них там всё грязно, нечестно, всё у них – обман и жестокость. Как я пойду к волкам без ножа, без аркана, честный и чистый?
- Так... – удивился Пурама. – Ниникай, значит, посоветовал тебе стать попом? Он говорил мне другое...
- Нет, он и мне говорил другое. Это я сам так решил.
- Ну-ка, ну-ка... Я слушать хочу.
- Решил – и всё. У меня своя жизнь. Вон какую силу имеет шаман! Кругом подлец, а народ не отказывается от шаманства, и никто ему ничего сделать не может. А если священник будет совсем другим? Он всё сделает, все за него будут.

– Ладно, говори дальше, – потягивал Пурама тонкую трубочку и щурил глаза.

– Дядя Пурама! Всю жизнь Куриль хочет, чтоб у него был свой поп. из-за этого он идёт на всё – на любой обман, на делёж наследства, на усыновление вора. Я ведь вижу. Как мне не видеть! Да если бы у попа не было самой большой силы – стал бы он так?..

Пурама нахмурил брови, вынул изо рта трубочку и начал выбивать её о копылок нарты.

– Всё ты сказал – да? – спросил он. – А теперь меня послушай. Поп и шаман – это не одно и то же. Шаман сам себе хозяин. А за попом стоит старший поп. За тобой будет следить Синявин. А Синявин и исправник – вот это и есть одно и то же.

– Служитель бога подчинён богу, – не согласился Косчэ-Ханидо. – Мне Ниникай не говорил так, как ты говоришь.

– Молчи, если не знаешь. Не успел всё тебе рассказать Ниникай. А мне говорил. Он знает всё. В обоих острогах у него есть знакомые русские... Ты сказал – все пойдут за попом? Тинальгин не пойдёт. А не угодишь Курилю и Синявину – с тебя сан снимут. И ты никто, на всю жизнь.

– Как это снимут, что снимут? – удивился Косчэ-Ханидо.

– Мальчишка ты, – сказал Пурама. – Крест отнимут и всем скажут, что ты богоотступник. Понял?

Косчэ-Ханидо опустил голову и стал медленно разгребать ногой снег.

– Дай трубку. Я дымом голову успокою, – попросил он.

– Потухла. На – сам набей. Покури... Что я сказал – это, однако, так, для разговора. Я тебе скажу такие слова, что ты совсем переменишься. У русских большая смута. Очень большая. Бедные люди хотят своего царя посадить. Имя забыл. Ниникай знает – спроси. Я-то смекаю, что потому исправник и собирал всех богачей. Никогда же не собирал!.. А тут как раз и война у них началась – невозможно страшная, с германцами какими-то. Вода как замутится, так уж не с одного берега. Ты вот что: эти слова от меня слышишь – и держи в голове, на язык не выпускай. А то в тёмный дом попадёшь.

Для одичавшего парня всё это было настолько ново и неожиданно, что сразу же потеряло остроту и серьёзность. Косчэ-Ханидо поглядел на Пураму и, улыбаясь, спросил:

– И я попаду в такую мутную воду? Ха! Вот не знал...

– В какую воду ты попадёшь – неизвестно. В мутную, в светлую, – зло осадил его Пурама. – Но попадёшь. Я тебе только скажу: о попе брось думать, не дело это для богатыря. Притом всё может случиться... И вот что: шибко-то Ниникая не слушай. Ему в острогах наговорят – он и прыгает, как мальчишка. Может ногой мимо кочки попасть. Я ей-то... Халерхе... так и сказал: ты такой же, а по молодости – и хуже... Вот и весь разговор. Слушать тебя больше не буду. Бери мешок. И поехали.

Упряжка Косчэ-Ханидо улетела влево, в низину. Пурама тронул прямо, пока что шагом.

Когда они съехались снова, уже на возвышенности, с которой была видна даль родных мест, с Пурамой вдруг случилось то, чего с ним никогда не случалось: он прослезился. Всего один раз, да и то мельком, он взглянул на переодетого парня – и не вынес душевного трепета. В

новой пушистой дохе Косчэ-Ханидо стал вроде бы меньше ростом, но зато плечи его расширились, руки стали большими. Ремень, однако, был сильно затянут, и потому тело казалось вёртким и гибким. Новая шапка не успела покрыться инеем, и скуластое лицо со вздёрнутыми вверх остриями бровей, длинными щёлками глаз и опущенными уголками губ стало мужественным и, наверно, красивым – в мужской красоте Пурама не разбирался. Вот тут-то старый охотник, уже видевший озеро, и понял, что едет с настоящим богатырём. Он моментально представил себе, как их обоих встретит народ, и в крови заиграло мужество, ну а глаза невесты почему защипало. И вопреки всем своим прежним словам и мыслям он вдруг отчаянно пожалел, что не выпросил у Куриля какой-нибудь необыкновенной, волчьей или медвежьей дохи для богатыря, пожалел, что совсем не привёз ему рукавицы, считая, что у мужчины рукавицы должны быть заношенными.

Он пропустил Косчэ-Ханидо вперёд, но уже шагов через двести вынужден был поравняться с ним: парень остановил оленя.

– Ты куда смотришь, адо? – спросил он.

– Вон... Что это там? Через всю тундру жерди какие-то. А?

– Да я уж здорово не вижу... Ну да, жерди... Нет, это кресты из жердей...

– Правда, кресты. И так много!

– С полтысячи, должно быть... Вот зачем Куриль жерди года четыре копил... Это он дорогу попу указывает. Какую страсть человек к своему делу имел. Всё дочиста обдумал и рассчитал.

– Дядя. Я хочу, чтобы ты первым ехал, – сказал Косчэ-Ханидо.

– Не меня народ ждёт. Тебя!

– Нет. Я ничего не сделал, чтобы въезжать...

– Адо, не обижай людей. Тебя ждут.

– Я поеду сзади. Или ночью приеду один.

Пурама подумал и благодарно вздохнул.

То, что увидел, услышал и почуял носом Косчэ-Ханидо, когда перед ним открылась родная едома, теперь вроде и незнакомая, могло поразить не только отвыкшего от людей парня, но и жителя любого острога. В абсолютнейшем беспорядке всюду торчали жилища. И было их так много, что могла закружиться голова. И наверху каждого жилища – крест. И из-за множества этих крестов в душе Косчэ-Ханидо стало холодно, неприятно: он как будто въезжал в бескрайнее кладбище... Впрочем, порядок в этом великом стойбище всё-таки был – огромные тордохи и яранги богачей сгрудились в одном месте, все остальные, маленькие, были рассыпаны как попало вокруг. Снег был вытоптан до черноты, и всюду царил кавардак, как на якутском дворе, – нарты, клоуны снега, навоз, вороха топлива, красные пятна крови. В одном месте – огромные кони, в другом – маленькие, там олени, здесь своры собак. Собаки брехали по-разному – одни тывкали, рычали, визжали, будто среди них шёл отчаянный мелкий спор, другие – чукотские волкодавы – лаяли отрывисто, гулко, словно бухали из ружей, невидимые, но грозные, уверенные в себе существа... Чем только не пахло здесь! Рыбой, варёным мясом, горьким дымом костров и сладким табачным дымом, конским навозом и русским мылом, псиной, дёгтем, водкой, коровьим маслом... Была уже середина дня, народу пора бы сесть за еду, но люди

будто забыли об этом. И хоть на окраине стойбища въезжавших никто не встретил, кроме юкагирских мальчишек, и Пурама, и Косчэ-Ханидо уже видели толпы людей, заполнивших большое пространство на выезде в тундру перед жилищами знати.

ГЛАВА 17

Поп до сих пор не приехал. Его ждали с утра. Утром должен был приехать и Косчэ-Ханидо, которого тоже многие ждали – одни с нетерпением, другие так, из любопытства. Но вот день дошёл до середины, а не было ни того, ни другого. И люди начали волноваться. Большие, однако, тревожились за попа: как-никак, а Слепцов Кешка – поп русский, тундру он хорошо не знает, и хоть сопровождают его люди, конечно, испытанные, да ведь и они русские; какая была погода на их долгом пути, неизвестно, а встречающий Кымыыргин – человек ненадёжный... С рассвета Куриль отправил навстречу попу ещё пятерых мужиков на отборных оленях, и вот недавно один вернулся. Как отправленные в ночь вернулись к рассвету ни с чем, так и этот гонец нового не привёз.

Ланга соблазнил ребятшек первыми встретить сказочного богатыря, но они заждались, заигрались на окраине стойбища и проглядели. А когда спохватились, Пурама и Косчэ-Ханидо уже ехали мимо пустых жилищ.

Если бы Косчэ-Ханидо был один, он бы не растерялся – в момент подлетел бы к тордоху, который узнать не составляло труда, и скрылся бы от людских глаз. Толпа ахнуть бы не успела. Но с ним был Пурама, который вовсе не собирался рассесть толпу, хорошенько огрев оленя. Напротив, Пурама ехал важно и медленно, не считаясь с тем, что переживал сейчас бедный парень. Косчэ-Ханидо словно попал в буран, выскочив из ледяной воды. В висках у него что-то громко стучало, и стучало всего из-за одной мысли: куда глядеть и как глядеть? Если только вперёд, скажут, важничает, если по сторонам, то подумают, что он ищет признания. Быть суровым, серьёзным – плохо, улыбаться людям – ещё хуже. С сердечной тоской он подумал о том, как было бы хорошо, если бы он подъехал к толпе простым человеком, до которого нет никому никакого дела... А в толпе между тем произошло самое страшное для него. Сидевшие на нартах или на снегу вскакивали; расступаясь, люди грудились, образуя сплошную стену; со всех сторон, даже очень издали, решительно сдвигался народ – бегом, толкаясь, подпрыгивая, чтобы увидеть его. Лица, лица и лица... И, несмотря на полную растерянность, Косчэ-Ханидо невольно улавливал выражения этих лиц и, больше того, различал слова, а если не слова, то тон разноязычных голосов. Всё было разное – и лица, и голоса. Одни вздыхали так облегчённо и радостно что-то говорили и даже выкрикивали, что парня бросало в жар. Лица у этих людей светились или немели от глубоких и добрых чувств. Другие, наоборот, узили и косили глаза, перебрасываясь словами, тон которых говорил о чём угодно, только не о восхищении богатырём. Третьи – ещё хуже: кривили губы или вдруг отворачивались, открыто насмехаясь над парнем. И от этого у Косчэ-Ханидо леденело сердце. Но такая резкая разница, пестрота людских чувств быстро уравнивала

Косчэ-Ханидо. Тем более что он успел понять сложную истину: единого к нему отношения и быть не могло. По разным причинам ему завидовали, по разным ухмылялись и насмехались, и радовались его приезду, его судьбе тоже по разным причинам; неодинаковым было восхищение пареньков-юкагиров и старцев-ламутов... И стоило Косчэ-Ханидо вот так уравновеситься, как сразу к нему вернулось и самое необходимое – самообладание.

Он быстро смекнул, почему Пурама сворачивает не налево, к жилью Куриля, а направо – к тордохам родного юкагирского стойбища. Сейчас произойдёт самое неприятное и самое опасное – встреча с шаманом Какой. Конечно, шаман не решился поставить ярангу рядом с жилищами Куриля и других богачей. Он остановился в стойбище юкагиров. Почему в стойбище юкагиров? Ловчит, двуногий волк...

Толпа имеет чутьё. И хоть не всегда безошибочное чутьё, но сейчас она догадалась, куда и зачем направились эти два юкагира, теперь известных в одном ряду с Курилем. Настоящей лавиной рванулась толпа вслед за упряжками.

Кака и Амунтэгэ нынче не были пьяными. И тому была неожиданная причина. Старый дурак Амунтэгэ, прослышав, что людей будут брать на войну, утром засыпал себе глаза табаком. Муки он скрыл даже от друга Каки, который долго спал после пьянки, но потом сообщил ему, что ослеп. Он действительно плохо видел. И вот Кака остался тоже без глаз, потому что глаза приспешника были и его глазами. Шум толпы сильно насторожил Каку. Но он не знал и не увидел, выглянув из тордоха, кто именно приехал – поп ли, исправник ли, а может, чиновники русские. О Косчэ-Ханидо он не подумал: не может же быть, чтобы так встречали парнишку... Но толпа приближалась к тордоху – и тут сердце его оборвалось: не казаки ли едут за ним?

Кака отскочил от двери, когда увидел две однооленные упряжки и сидевших на нартах Пураму и ошаманенного сына Нявала. «Неужели и впрямь при народе бить будет?» – с ужасом подумал он, вдруг представив себе, чем это может кончиться. Он не выдержит унижения, что-то крикнет, и тогда толпа рассвирепеет...

Никакого уговора с Курилем насчёт этой встречи с Какой у Пурамы не было. Но он не зря ощупал мешок, привязанный к нарте Косчэ-Ханидо, когда парень спал перед дорогой. Пурама понял всё и знал, что надо делать.

Народ затих в ожидании, когда упряжки остановились возле самой двери тордоха. Было слышно только дыхание сотен людей да хруст снега под их ногами.

Не глядя ни на кого, Косчэ-Ханидо отвязал мешок, и они вдвоём с Пурамой тотчас скрылись в тордохе.

Шаман, напавив шапку до самых бровей и спрятав под неё уши, стоял за очагом, ухватившись рукой за сускалал: он уже получил оплеуху и знал, что надо за что-то держаться. Однако произошло вовсе не то, чего он ждал. Косчэ-Ханидо даже не поднял на него глаза. Он развязал мешок и бросил под ноги шамана волка, исполосованного ножом.

– Это твой самый сильный и самый злой дух – келе, – сказал он и, не задерживаясь, быстро вышел наружу.

Немыми, ничего не понимающими взглядами встретила толпа Ко-

счэ-Ханидо и Пураму. Что произошло? Что могло так быстро произойти – без разговоров, без малейшей задержки? Может, парень бубен ему вернул?.. И как только юкагиры сели на свои нарты, сверхлюбопытные храбрецы не выдержали и решительно отдёргнули дверь-занавеску.

Шаман стоял посреди тордоха, Амунтэгэ был за пологом. Возле ног шамана не было ничего, и ничего подозрительного вообще нигде не было. Но ведь Косчэ-Ханидо вошёл с тяжёлым мешком, а вышел с пустым!.. Что-то всё-таки произошло: не случайно же Кака стоит посреди тордоха вроде деревянного идола, врытого в землю.

Белый тордох Куриля был не то что большим, а громадным, невиданным. Под его куполом можно было поставить четыре бедняцких тордоха и ещё один сверху, над этими четырьмя. Да этого мало – сзади была прилажена пристройка, вроде большого крытого выхода. Косчэ-Ханидо только взглянул на это невиданное жилище и обомлел: он сразу определил, что каркас обтянут не меньше чем пятью слоями ровдуг, и, конечно, новых ровдуг. В уме моментально мелькнули числа: одной ровдуги хватит на три бедняцких ровдуги, а пять раз по три выйдет пятнадцать. Пятнадцать жилищ из одного! Это же целое стойбище!

Косчэ-Ханидо рывком выхватил из-за пазухи шкуру волка и, поспешно отдав её старикам-юкагирам, смело зашёл в тордох. Сердце у него колотилось. В глазах стояли два несравнимых жилища – вот это, огромное, новое, богатое и красивое, и жилище родного отца. Болотная грязная кочка возле чистенького холма.

Шкуру старики юкагиры осмотрели со всех сторон. Обычай охотиться на волка перед свадьбой существовал не у одних юкагиров, и особой славой волчатников пользовались ламуты. Поэтому старики юкагиры поспешили передать шкуру гостям, чтобы не было никаких кривотолков. Придирчивые мужики-ламуты с видом больших знатоков немедленно вывернули её и стали рассматривать белую кожу так, будто решалась судьба девушки – вышивальщицы бисером: не нарушен ли многоцветный узор хотя бы одной, плохо подобранной бисеринкой. О проколе и говорить нечего – это настоящий позор. Малейший кровоподтёк, царапина, ссадина считались таким изъязном, который навсегда опорочит жениха, какими бы иными достоинствами он ни обладал. А изъязн найти многим хотелось. У Косчэ-Ханидо были соперники – двенадцать отвергнутых Халерхой индигирских и алазейских красавцев. И были эти соперники не простыми парнями, а детьми богачей. К шкуре со всех сторон тянулись руки. И – о боже, что бы произошло, если б Косчэ-Ханидо отдал шкуру того волка, которого он подбросил шаману! Смысл такого подарка богачи раскусили бы сразу, но для простого люда шум подняли бы иной: прикинувшись простаками, жениха опозорили бы как охотника и обвинили его в глумлении над живым существом. Этого бы хватило, чтоб расстроить свадьбу, не пустить юкагира в острог на учёбу и сбить с Куриля спесь. Но, слава богу, на белой оскобленной коже никто не мог различить даже признака порчи. Тогда шкуру вывернули и стали пальцами разгребать шерсть – от шеи к хвосту.

– Я вижу, гости-ламуты вшей ищут, – раздался голос Ланги. Старик сказитель знал не один случай, когда пустяк, чепуха, круто меняли судьбу людей.

И ламутам, чтобы не ссориться, пришлось отступить. Молодые богачи во главе с парнями-ламутами тихо подались назад, а пожилые передали шкуру Ланге, громко сказав:

– Пусть женится парень. Волк усыплён или нартой, или вовсе руками.

А Косчэ-Ханидо тем временем сидел на оленьих шкурах и был ни жив ни мёртв. Куриль его не встретил приветствием: «Мэколдэк?»¹⁰⁵ – показал рукой, куда следует сесть, и продолжал возбуждённо разговаривать с Ниникаем, который сидел против него с опущенной головой. В тордохе больше никого не было, но Косчэ-Ханидо не глядел на богачей и не слушал их разговора. Он был потрясён богатством своего второго отца. Очага в тордохе не сооружали, но и без него тут было так тепло и так тихо, что совершенно пропадало представление о тундре, морозе, о существовании стойбищ, опасных зверей, каких-то убогих жилищ, даже толпы людей, собравшейся будто не возле тордохы, а где-то вдали, в ином мире. Весь пол до самых дверей был застелен пёстрыми оленьими шкурами. Четыре огромных полога, один из которых был шит только из белых шкур, оставляли ещё очень много свободного места. Белый полог, предназначенный для попа, был приоткрыт, и Косчэ-Ханидо видел внутри его стол – короб, застеленный толстой материей с бахромой, на котором в серебряных подсвечниках горели толстые свечи. Сверху, с онидигила, спускался витой ремень, а к ремню был подвешен узорчатый круг тоже с горящими свечками. Между пологам и по сторонам тордохы стояли огромные сундуки, окованные железными полосами. Лачи-дэдол был высоким, широким и длинным, а над ним на могучих крюках-сускарах в два ряда висели медные, до блеска начищенные чайники и котлы. На самом же лачи-дэдоле тоже стояли подсвечники, только свечи в них сейчас не горели. Сам Куриль был одет в новую белую доху, перед которой украшал орнамент из разноцветного меха и рыбьей кожи, да ещё был расшит сверкающим бисером... Косчэ-Ханидо переживал чувства полнейшей растерянности и отчаяния. Никогда в жизни, ни во сне после вечерних сказок, ни в мечтах о счастье он даже не приближался к тому миру, в который попал наяву...

Одичавшего в одиночестве парня стало быстро душить желание выскочить из тордохы, из этого неправдоподобного мира, и убедиться, действительно ли есть небо над головой и земля под ногами. Но он чувствовал, что стоит оказаться на воле, как родится нечеловеческая, неудержимая страсть вскочить на нарту – чья бы она ни была – и гнать, гнать оленей, гнать куда глаза глядят, лишь бы очутиться как можно дальше от Соколиной едомы. Там, в глухой тундре, в чужом или родном тордохе, он опомнится, обдумает всё, что увидел, разглядит с новой стороны и уж тогда примет решение, как дальше жить... Но Косчэ-Ханидо сидел и не двигался. Потому что вместе с этим желанием в нём исподволь пробуждалось смелеющее любопытство. Ведь тордох Куриля настоящий, и сам Куриль разнарядился не во сне, а в жизни. Что, если всё молчаливо вынести и стерпеть, сколько удастся, однако разглядеть этот мир поближе и поподробней? А вырваться из него можно в любой момент...

От горящих свечей рябило в глазах, но Косчэ-Ханидо продолжал гля-

¹⁰⁵ Мэколдэк? – юкагирское приветствие: «Приехал?».

деть только на пляшущие вверх огоньки. Он глядел неотрывно и чувствовал, что старается не видеть пёстрых шкур, которыми был внакат застелен весь пол тордоха. Он сидел на этих шкурах – и они, словно горящие угли, жгли ему зад, обтянутый штанами, чужими штанами, тому же Курилю принадлежащими. И всё-таки он не вытерпел – произнёс слова, которые давили горло и сами собой просились ему на язык, не вслух произнёс, про себя: «Тинальгин... Куриль – это Тинальгин, только умный, не одуревший... Сколько шкур берёг! А про нас не вспомнил. Нам ведь и двух хватило бы...».

Косчэ-Ханидо было не до разговора двух богачей – хозяина и Ниникая. К тому же он ничего не знал о скандале, происшедшем вчера на сходке, не знал, почему и как Ниникай появился в этом тордохе из сказки. Но чукча следил за Косчэ-Ханидо. И то ли он заметил бледность его лица и бешенство в щёлках глаз, то ли чукотским чутьём уловил что-то неладное, только он приподнял голову и сказал сквозь зубы, прерывая речь Куриля:

– Сиди. Молчи и слушай. Мы о тебе разговариваем...

Они, однако, прямо не разговаривали о нём. Да и вообще они только сошлись.

До приезда Косчэ-Ханидо произошло вот что. Куриль в своём праздничном одеянии, на виду у всего народа сам направился к Ниникаю, вызвал его, не заходя, правда, в ярангу.

– Мне говорить с тобой нужно, – сказал он. – Ты должен знать, чего не знаешь. Пойдём ко мне. Сейчас.

При таких обстоятельствах и на таких условиях хорошо отоспавшийся Ниникай молча зашагал рядом с Курилем. Одет он был не по-праздничному, просто, но чувства веселого любопытства и большого удовлетворения светились в его лице, и он этого не скрывал перед толпой...

До появления Косчэ-Ханидо они только успели выяснить, что каждый из них ожидал от другого в самом начале дружбы. И это было сплошным враньём: каждый силился доказать – вот, мол, каким я был ещё тогда, о чём думал. Ни о чём подобном они в те далёкие времена просто не могли думать – они сошлись на неприязни к дикости и темноте, а размеров всеобщей беды юкагиров и чукчей не видели, в борьбу со злом только втягивались, особенно Ниникай, и решительно не представляли, куда эта борьба их заведёт. Конечно, в торге о прошлом у Куриля «товар» был куда заметней. Однако и Ниникай не падал духом: если уж юкагирский король так унизился перед ним – при всём народе позвал к себе, то, значит, он тоже чего-то стоит.

– Ладно, Афанасий Ильич. Давай прежнее отсечём, – наконец предложил Ниникай перейти к делу. – Хорошо, ты окрестил тундру, победил шаманов, и тебе сказали: принимай полную власть...

– Кто мне сказал? – взъерошился Куриль, не дав договорить. – Сам я себе это сказал.

– Нет, давай так, как в жизни может произойти: исправник позвал тебя и сказал...

– Ты, Ниникай, слов моих не понимаешь, – опять прервал его разнаряженный хозяин. – Я сам себя позвал!

Ниникай убрал со лба чёлку волос и уставился на Куриля так, будто увидел его впервые.

– Это что-то новое в разговоре, – сказал он с настороженностью в голосе. – Или старое? Если старое, вчерашнее, то я ухажу.

– Правильно: новое. Только я знаю, где что говорить можно. Это ты высказываешь на народ и орёшь так, что слышно не только в острогах, но и в самом Якутске... Да называй меня кем хочешь: юкагирским исправником, здешним царём – не обижусь. Но я сделаю так, что со мной все будут считаться. Только считаться по-настоящему, а не как сейчас. Со мной будут советоваться, меня будут убеждать и просить. Но не распорядиться мной и моим народом.

– Так... – протянул Ниникай, улыбаясь и поглядывая на Косчэ-Ханидо: мол, смекай, куда дело идёт. – У тебя, значит, новая тайна. А скажи, Афанасий Ильич, если я такой глупый, болтливый, зачем же ты мне-то её раскрываешь? Вот ему одному, приёмному сыну, и сказал бы губами в ухо!

– Тебе говорю со смыслом. После вчерашней сходки, на которой ты топтал меня перед людьми, тебе осталось идти дальше – топтать меня вместе с исправником и, может, вместе с царём. А я не хочу, чтобы ты в тюрьме оказался. Смелые люди должны по тундре ездить, а не в каменном доме сидеть. Влияние твоё на чукчей и на юкагиров большое. Вот я и хочу, чтобы ты мне не вредил, а по возможности помогал.

Ниникай замер в ожидании новостей, хотя и не верил, что услышит что-то невероятное. Ну а угроза его не пугала, да она и не была новой.

– ...Двадцать снегов назад, Ниникай, я сидел на камланиях с закрытыми глазами. Люди думали, что я сплю. А я спал, спал, да и растоптал шаманство. Последние годы я больше с богачами, купцами и русскими начальниками нюхался, и ты решил, что я забыл, из какого я рода... Правда, я проглядел вот этого умного дурака! – Сверкающий бисером Куриль кивнул лысой головой в сторону Косчэ-Ханидо. – Я из-за него даже хотел задушиться – так мне было досадно. Он же мне обрезал обе постромки! Ты ещё не понимаешь, какое дело погигло бы из-за тебя?

– Я? Я, постараюсь понять, – вскинул свои острые брови Косчэ-Ханидо. – Новостей слишком много – я думать не успеваю. Видно, я жил в слишком маленьком тордохе, чтобы большие мысли понимать с половины слова.

– Хватит вспоминать прошлое! – одёрнул его Куриль. – Не было этого прошлого... Ке! Слышишь меня? – позвал он жену. – Принеси-ка нам три миски с мясом и чаю..

– Сейчас принесу! – отозвался услужливый голос из пристройки к заднему выходу.

– Так вот, Ниникай, – продолжал Куриль. – Сегодня ночью ты полежишь с открытыми глазами, поставишь рядом свою смуту и мою смуту и от тайного разговора с Косчэ-Ханидо ты откажешься.

– Не знаю. Сначала тебя послушаю, – честно сознался чукча.

Они замолчали: колыхнулась тяжёлая занавеска, незаметно прикрывавшая выход, и в тордохе появилась жена Куриля.

Еду готовили во втором, малом тордохе, поставленном сзади большого, туда и вёл другой, огороженный и утеплённый ход. Значит, хозяйственный угол – лачи-дэдол – здесь стоял так, для глаз.

Жена юкагирского головы была женщиной пожилой, но не знавшей никаких особенных тягот и потому расцветшей к старости, когда уле-

глись муки бесплодия. Большинство северянок уже на пятом десятке становятся некрасивыми – лица и шеи их покрываются сетью морщин, руки скрючиваются, будто злое чудовище незаметно, ночами, что ли, мнёт их кожу, выкручивает суставы. Лицо Ярхаданы Куриловой испещрили тоже морщины, только хорошая пища, постоянная жизнь в тепле, а не на ветру не позволили им стать глубокими трещинами. Ни один зуб у неё не выпал, и щёки не провалились, скулы не выпирали. Она много лет уже умывалась с мылом, и лицо, наверное, поэтому было чистым, опрятным. И руки у неё не одряхлели. Спокойствие, доброта, уравновешенность светились в её чуть великоватых глазах. Она была мягкой, какой-то уютной женщиной. Сегодня она разнарядилась под стать знаменитому мужу: домашняя пёстрая шубка с орнаментом была оторочена горностаями с чёрными хвостиками, на шее – снизок в десять чёрных тяжёлых бус, на запястьях – резные браслеты из мамонтовых клыков, а камусы сплошь усыпаны бисером. Косчэ-Ханидо от изумления даже рот раскрыл. Следя за тем, как Ярхадана ставит на пол доску с едой, он почему-то подумал: какое же это было бы счастье на всю жизнь, если бы вот такая женщина хоть один раз в детстве пришла к нему в полог и рассказала сказку! Но стоило жене Курилы выпрямиться, повернуться спиной, и Косчэ-Ханидо тут же увидел свою мать, любимую до безумия и до безумия жалкую.

Он не услышал приглашения пересесть к еде, но поднялся, быстро заметив жест Курилы. Глаза его словно залило горячим жиром: вдруг стало обидно за всю свою тяжкую, грустную жизнь.

Парящее мясо ели поспешно, как будто боялись, что поп захватит их за едой. Нет, просто еда была для двоих чужой, а для хозяина необязательной – он не хотел, чтобы гости смущались, и только изображал голодного.

Руки с браслетами опустили стеклянные гранёные стаканы. Для Косчэ-Ханидо это были диковинные прозрачные кружки без ручек, но он даже не удивился этой невидали. Он снова чувствовал себя человеком, лишь случайно и на короткое время попавшим в чужой для него мир.

Хозяйка разлила чай. Отпив половину стакана, Куриль вытер лоб пёстрой тряпицей и заговорил:

– Слушайте меня оба. Второй раз такого разговора не будет – я начну дело делать. На чьей тундре живёт Чайгуургин и все чукчи? На своей, на чукотской живут. Я и все юкагиры – на юкагирской, ламуты – на ламутской земле. А кто здесь настоящий хозяин? Мы? Мы уже давно только кочуем по тундре. А настоящие здесь хозяева русские и якуты. Кто распоряжается нашей пушшиной, кто сгребает её, скрывая настоящую цену? Потонча, Мамахан, Третьяков, Берёзкин – все якуты. Вон ещё Коновалов, тоже якут, из самого города руки тянет сюда. Нас грабят, а мы как будто не видим. А ты говоришь, Ниникай, что наши люди бедные только оттого, что наши богачи слишком богатые и слишком жадные. Американцы спрашивают у исправника разрешение на торговлю? Спрашивают. И исправник со своими советниками для царя долю берут. Якуты не спрашивают разрешения – хватают, и полный барыш – себе.

– Ты прав, – сказал Ниникай. – Якуты нам везут коровьи шкуры, водку, чай, нарты нам делают. Но торговля, конечно, не честная. Мы же не знаем, по какой цене пушнина идёт в городах.

– Вот и ты со мной соглашаешься! – заметил Куриль. – А для бедного человека разве не важно, сколько взять за песка чаю, табаку или пороха? Это даже для меня и для тебя важно. Может, надо в пять раз больше брать... Вот наши люди и не будут заваривать кипяток брусникой и траву не будут курить.

– Но если мы купцов за горло возьмём, то простым якутам жить тяжелее будет, – возразил Ниникай. – Мы же их одеваем, оленину им шлём, помогаем далеко ездить,

– А товар отчего дорожает? От нехватки и ещё от прижима. Простой товар не прижмёшь – испортится, загниёт. Его надо сбывать. И будет его не меньше, а больше. Потому он даже подешевеет. Да за ним скупщики и не гоняются. Пушнина – в ней нажива. Есть у нас и другой ценный товар – камусы, кость, лучшая рыба чир, шкуры морских зверей, языки и губы телячьи. Да мы только цены такому товару не знаем. Но товар этот наш! Вот мы и должны иметь от него главный барыш... Мы сами торговать будем. Чайгуургин согласен со мной, что нам своих купцов надо иметь. Я найду ловких мужиков, помогу развернуться им. А потом здесь, возле божьего дома, ярмарки буду устраивать. Товар сюда поплывёт, а поплывёт – тут и осядет.

– Мудрая у тебя голова, Афанасий Ильич! – сказал Ниникай, захваченный рассуждениями властного Куриля.

Однако этот властный Куриль тут же добавил, не обращая внимания на похвалу:

– Вот так я заставлю людей зашевелиться. От этого и нам будет выгода, и царю.

Ниникай даже выпрямился от растерянности. Он цокнул языком, будто в драгоценной шкурке обнаружил дыру.

– Ну, вот тут я уж не понимаю! – воскликнул он. – Сам сказал, что не согласен с русским владычеством, и сам собираешься им помогать. Может, ты и ясаккрепишь?

– Я хочу стать свободным соседом! Ни русским, ни якутам подручным не буду. А равноправным соседом буду. Потому и в рай не собираюсь скоро уехать, для того и веру общую принимаю, для того и хочу иметь своего попа и учёного помощника. Это я для тебя говорю, Косчэ-Ханидо. И у тебя в жизни будет эта цель. Запомни. Большой сосед не должен мучить маленького.

– Значит, ясак не отменишь?

– Нет!

– И царю помогать будешь?

– Буду!

– Так, – стукнул Ниникай гранёным стаканом о доску и поднялся на ноги. Но уходить он уже не собирался, начал шагать за спиной Куриля. – Почему? – спросил он.

– Потому, что с русскими у нас одна земля, разделённая только река и горами. А уйдут русские, ослабнет царь – к нам придут американцы. Эти совсем нам чужие. Они тут всё подгребут, всё увезут за море. И тогда нам конец. Знаешь, на каких они лодках плавают? На одну лодку могут загнать весь твой табун.

– Но и то, что царские люди делают, тоже не лучше. Они богачей-то терпят лишь потому, что с нас можно много содрать. А простой народ

для них – скот двуногий. Поборы, поборы – конца этому нет. Без подарков, без взяток в остроге не появляйся. У нас голод, люди родственников закапывать не успевают, а ясак давай! Да они за этот ясак хоть бы табаку гнилого прислали, хоть бы пороху, чтобы для них же зверей настрелять. Ничего. Вот эту серебряную побрякушку тебе прислали. И всё!

Куриль вздрогнул, чуть разжал плотно сомкнутые губы, но обмяк и насупился. Медаль у него висела на левой стороне груди, и, хоть она терялась на белой шубе, да ещё среди бисера, он всё-таки повернул голову вправо, бессмысленно уставившись на руки Косчэ-Ханидо.

– А под Рождество помнишь, как угрожал нам Друскин? – не успокаивался Ниникай. – Шомпола, тёмный дом, пуля в лоб...

– Ладно. Помолчи, – сердито сказал Куриль. – Вижу не меньше тебя... А медаль за продвижение светлой веры дана. – Он хотел налить ещё чаю из медного чайника, но раздумал, поставил чайник на место, отодвинул стакан. – Вот построю божий дом, укреплюсь немного и поеду к исправнику... с большим разговором...

Последние слова Куриль произнёс тихо и примирительно. Ниникай же ничего не ответил, и Косчэ-Ханидо показалось, что больше и говорить не о чем. Ему было обидно, нехорошо оттого, что замолчал Ниникай. Резко настроенный против властного и неимоверно богатого старика, бедняцкий сын Косчэ-Ханидо очень хотел, чтобы верх остался за Ниникаем, чтобы ушёл он из тордоха с поднятой головой. Тогда он почувствовал бы какую-то свободу и опору в этой свободе. Но сейчас верх оказался за Курилем, и справедливо за ним, потому что мысли его были смелыми, размашистыми и направленными на добро для всех. Ниникай же ни разу по-настоящему не прижал Куриля и не сказал, что можно и нужно бы сделать лучше того, на что решился Куриль. И хоть Косчэ-Ханидо хорошо понял, что чужой отец его, а верней, его властелин вроде бы дело ведёт к добру, на душе у него было нехорошо, как-то навыворот. Неужели придётся изменить своим чувствам и убеждениям – вдруг забыть прошлое, признать это прошлое маленьким, даже ничтожным – и полюбить Куриля?.. От этой последней мысли Косчэ-Ханидо невольно передёрнул плечами.

Но это только казалось парню, попавшему в водоворот событий, что у двух богачей нет больше мыслей. Он ошибался. Ниникай долго разглядывал диковинный хозяйственный угол юкагирского головы, а потом вдруг проговорил:

– Стало быть, ты поедешь к исправнику. Ну что ж... Только придётся тебе меня с собой брать.

– А как же. Возьму. Что я без Ниникая? – Куриль сидел неподвижно, положив на колени руки. Он смеялся над чукчей.

– Сорвёт он с тебя, Афанасий Ильич, медаль, сорвёт. И печать отнимет. И попадёшь ты... Это ведь смута! – Ниникай быстро подошёл к сидящему Курилю. – Ты что, Афанасий Ильич, не понимаешь, что это вызов царю?

– Если за такое дело возьмётся глупый, то, конечно, получится смута. И даже если умный не рассчитает, когда свой нрав показать, тоже загубит дело. Я с божьей помощью всё потихоньку улажу.

У Ниникая не было дружбы с врагами царя – со ссыльными. Но кое с кем из них он всё же встречался. Правда, основательно поразговари-

вать с ними не удавалось, к тому же он слабовато знал русский язык. И всё-таки главные намерения этих русских Ниникай хорошо понимал, ну а остальное домысливал, как хотел.

Сейчас, опять разглядывая богатый тордох Куриля, он напрягал всё своё воображение, стремясь догадаться, какими словами разбил бы самонадеянность юкагирского головы любой из ссыльных. А такие слова были, и очень верные, он это чувствовал. Знал же он, например, что русские давно живут так, как будут жить северяне по расчётам размахнувшегося Куриля, однако именно из-за такой жизни у русских и случаются вечные смуты. Только это не убедит его: к такому разговору он давно готовился – зашвыряет словами.

– Всё ты обдумал, Куриль, всё, – сказал Ниникай. – Только совсем забыл, что исправник завертелся не зря. Слухи-то – помнишь, я говорил? А вдруг это правда? Вдруг дела обернутся так, что купцы-якуты без товара останутся, а Друскин твой вместе с Томпсоном в Америку уплывёт? Что будет тогда?

Косчэ-Ханидо насторожился. А Куриль закричал и поднялся на ноги.

– Тогда ты вожаком станешь, а я – кумаланом, – сказал он, прикрывая спокойствием раздражённость. – И я погляжу... Ты первым делом оленей раздашь всем людям, а потом караваны погонишь в Якутск. Захочешь холмы ситца, чаю и табаку навозить в тундру. Но пока твои караваны туда доберутся, бунтари без тебя разграбят всё дочиста. И начнётся мор и людей, и оленей. А тогда уж придётся тебя провожать пинками... Пойдёт? Мальчишки! – резко остановился он. – Если нет бога, то чутьё у народа есть? Или народ сам себе враг?

– А ты хоть с одним ссыльным в жизни своей разговаривал? – закипел Ниникай. – Дураками считаешь их?..

И вдруг он словно споткнулся, оборвал речь. Зашевелилась сэспэ, и в тордохе появился шаман Кака.

Чёрт в спину толкает этого наглеца! Какой разговор оборвал!.. Косчэ-Ханидо чуть не вскочил, чтобы выпихнуть шамана обратно. Сдержался – только заиграл желваками скул.

ГЛАВА 18

Кака пришёл ответить на вызов Косчэ-Ханидо. Окровавленная туша волка лишила его покоя. Не испещрённая татуировкой половина лица была бледно-жёлтой, глаз с бельмом закатился вверх – и это говорило о том, что шаман взбешён до предела.

– Что тебе надо в моём жилье? – грозно спросил Куриль, вымещая на нём гнев: тут Ниникай задел его за живое, а под ногами ещё это чудовище путается.

– Апаная, – сказал шаман очень трезво, – там люди... Они требуют, чтобы я вышел к ним вместе с известным богатырём, твоим достойным сыном... Чтобы я при нём повторил раскаяние.

– Опять что-то задумал? – ещё более грозно сказал Куриль. – Сам небось и собрал народ. Смотри! На этот раз со мной не сторгуешься... Ладно, идите, объясняйтесь с народом.

Косчэ-Ханидо глянул на Ниникая, как бы стараясь проверить, стоит ли быть настороже. Чукча моргнул глазом, который слегка прикрывала длинная чёлка волос. И Косчэ-Ханидо напруг икру правой ноги, проверив, на месте ли нож.

Они вышли.

И только они вышли, как Куриль тут же подскочил к потайной щели и отодвинул кусок шкуры. Он не видел происходящего возле тордоха, зато всё хорошо слышал.

Станный народ столпился возле самого входа – одни старики и хорошо одетые парни. Косчэ-Ханидо насторожился, сразу сообразив, что дело серьёзное. Старики хмурились, незнакомые парни косились. Косчэ-Ханидо придал лицу ленивое выражение и ничуть не изменился, увидев разгорячённого Пураму, быстро ставшего между ним и шаманом.

Кака перекошил лицо: у него что-то срывалось.

К толпе между тем подходили местные парни – юкагиры и чукчи, а за ними самый разный любопытствующий народ.

И Кака опустил голову.

– Что? – спросил Пурама толпу. – Хотите поглядеть на юкагирского богатыря? Поглядите. А что ж не поглядеть! Можно бы и подраться. Только он злой и дерётся, как русский. Кого покалечит, тот всю жизнь будет молча сказки рассказывать о богатыре... Зачем людей столько собрал, Кака?

– Совсем не для драки люди пришли, – завертелся шаман. – Старики захотели, чтоб я ещё раз раскаялся.

– А молодых зачем за собой приволок? Чтоб они увидели, как тебя раскаиваться повезут в Среднеколымск? Я слышал – впереди попа едут казаки.

– Ты ум потерял, Пурама, – перепугался шаман. – Я раскаиваться хочу. Нынче я светлый, как лёд. А то пьяному не поверили.

– Кайся. Я тоже не слышал. Это мудрее, чем драка. Только не думай, что он тебя сразу простит. Может, он захочет пожаловаться исправнику.

Толпа напряглась в ожидании, ещё не зная, что может произойти. Старики были готовы услышать какое-то ужаснейшее разоблачение, а молодые собирались устроить такой злобный, злорадный шум, а может, и драку, что в суматохе встречи попа юкагирскому идолу-выскачке ничего не оставалось бы, как потихоньку скрыться без следа и примет. Угроза Пурамы и замешательство шамана-чукчи ничего не изменили и ещё ни о чём не говорили – просто начинался скандал. Но толпа решительно ничего не знала о подоплёке дела, не знала, что для Каки означает упоминание о казаках и исправнике.

– Нинхай! – свалил шаман голову набок и плаксиво перекошил лицо. – Глупый я, плохой человек. Пью на старости лет, говорю – не помню что. Пустил сплетню. Выкинь из сердца обиду.

Ожидавшие хлебнуть горячего ветра вдруг получили в лица брызги холодной грязи. Толпа зашипела, не понимая, что происходит, но чувствуя, что шаману уж невозможно противоречить самому себе.

– Тут что происходит? Ты зачем нас позвал? – набросились на Каку старики.

А Кака, воспользовавшись этим шумом, склонился над самым ухом Косчэ-Ханидо и быстро заговорил:

– Сволочь, меркешкин. Долго буду жалеть, что не задушил тебя в тот день... – Но тут толпа стихла, стараясь расслышать его слова, и шаман громче продолжил: – Вырви мой болтливый язык, нинхай, топчи моё лицо – твоя воля. Если этого мало – пей мою кровь, сейчас пей!..

В толпе кто-то с омерзением плюнул, кто-то сказал:

– Он одурачил всех нас, он сговорился юкагира превозносить!

А Кака ничего не хотел слышать. Снова склонившись к уху Косчэ-Ханидо, он опять зашипел:

– Двуногая ты собака. Не верь моим словам – я их обратно возьму, когда время придёт. Я буду пить твою кровь. Своими пальцами задушу. И передай это всё Курилю, если он не подслушивает. Игра начинается только. Ваши грехи – для меня сало, на котором я буду дальше жиреть... Прости меня, нинхай, прости. Пусть меня покарают юкагирские келе, пусть русский келе мне выбьет глаза, а ламутские оторвут язык. Пусть якутские келе отнимут мой бубен, если я даже не в своём уме повторю сплетню... Пятью пальцами молю тебя о пощаде...

Пока он так изувещивал, Косчэ-Ханидо наливался невыносимой ненавистью. Его большие и распухшие от мороза пальцы свернулись в огромный кулак. На эту вспышку вражды Косчэ-Ханидо сам вызвал шамана, подбросив ему волка с перерезанной глоткой. Но он считал, что Кака поймёт силу его ненависти и испугается. А он не испугался. И сейчас было самое время ударить его: нет же иного способа образумить шамана-бандита. Тем более что на этот счёт и договорённость была.

И он чуть не замахнулся. Однако пальцы его сами собой разжались. Какой-то голос подсказал ему, что с этого нельзя начинать большую жизнь. Да тут кстати из тордоха выскочил Ниникай, а за ним спокойно вышел Куриль. Все, кто столпился возле самого входа в тордох, притихли.

– Что тут за шум? – спросил Куриль, обведя всех будто бы удивлённым взглядом.

– Старые умные люди в игрушки играют! – зло ответил старый ламут. – Не достойно это, хозяин.

– Подождите, я ничего не знаю. Когда мне играть! Я вижу здесь почти всех женихов нашей красавицы! А вы-то чего пришли? Молодые, красивые, а бросились вот на эту тухлятину. Последнее дело – унижать соперника... Ты опять, Кака, хотел сплетню пустить, да испугался чего-то? Так я больше не потерплю. Собрал приезжих, которые не знают, что ты на обмане и злобе живёшь. Говори о моём сыне что хочешь. Ну, говори!

– Э, чукчи! – смело пошёл через толпу Ниникай. – Мы, может, прокатим его в тундру шаганий на пять и там бросим? Не бойтесь: он не шаман.

– погоди, Ниникай, – громко сказал Пурама. – Я, однако, поеду встречать казаков, а если их нет – подамся к исправнику. Скажу, что Кака смуту начал.

И попятилась, поползла толпа в стороны, освобождая вход в высокий тордох.

Куриль повернулся и скрылся за дверью.

– Уезжай из стойбища, – задержался возле Каки Ниникай, направлявшийся за Курилем. – Или ночь для тебя будет очень холодной.

Круто повернувшись, Кака бросился в тордох Куриля.

А хозяин тордоха уже сидел у стола-доски и тянулся рукой к бутылке, которую успела поставить догадливая жена. Увидев Каку, он громко сказал:

– Э, сын, Ниникай, а ну дайте под зад этому человеку, которого нельзя назвать человеком.

– Куриль! – бросился к середине тордоха шаман и скорей упал на колени. – Это не я начал. Он, твой зверёныш. Он заехал ко мне и бросил к ногам зарезанного, всего залитого кровью волка. Мы так не договаривались!

– Какого волка? – удивился Куриль, переводя взгляд на Косчэ-Ханидо, остановившегося у входа.

– Он обманывает, – ответил на его взгляд Косчэ-Ханидо. – Это не волк. Это его келе, его злой дух. Я убил его злого келе.

– Да вы что – черти! – стукнул Куриль дном бутылки о доску. – Откуда у него келе, и ты что говоришь, адо?

– Был у него келе, – серьёзно стоял на своем парень. – Он его напустил на меня, когда я оказался в тундре один. Теперь его нет.

– Ха-ха-ха! – вдруг засмеялся Куриль, откидываясь назад. – Был и нету? А? Как же ты теперь-то будешь, Кака? – Он снова изменился в лице, потянулся к миске, взял из неё кость – мосол от бедра – и бросил её шаману. – Держи. Это подарок мой.

– Зачем мне кость! Я не собака! – оскорбился Кака. Он бросил её обратно на доску, повалив сразу стакан и бутылку.

– Возьми, я сказал! – сверкнул глазами Куриль. – Грызи её. И думай. Я буду к тебе приезжать, а ты будешь показывать мне эту кость. Если она пропадёт, я буду знать, что ты забыл моё последнее предупреждение. Я всё слышал, что ты шептал моему сыну, сволочь! – Он так стукнул своей пухлой рукой по доске, что вся посуда подпрыгнула и загремела.

Кость опять оказалась возле шамана.

– Куриль, – вступил в разговор Ниникай. – Я вчера разговаривал с Мельгайвачом. Он ждёт русских. Хочет, чтоб они ему жалобу написали. Решил забрать у Каки свой табун. Надо помочь ему. Сайрэ – его сын – должен жить побогаче...

– Олени мои! – рявкнул Кака.

– Врёшь. Не твои. А тридцать шкурок привёз? Или нет?.. Расплачивайся. А потом уходи с нашей дороги: мы раздавим тебя.

– Но сперва я убью вот этого выродка, – остервенел Кака, пальцем показывая на Косчэ-Ханидо.

– О-о ты какой! – отшатнулся Куриль. – Значит, не зря шептал – всё-таки крови хочешь?

– Мы с тобой враги, Куриль. На всю жизнь. Но мы взаимно связаны. И ты тоже иди на уступки. Не трожь мой табун и поклянись новой верой, что позволишь мне шаманить по-прежнему, и тогда я не трону его и буду нем, как налим.

– Так. Не ошаманил и ставишь условия? Кровь или уступки? Хорошо: если ты так, то и я так. Ханидо! – крикнул Куриль. – Что стоишь – у него нож в руке!

– Какой нож? – вздрогнул Кака, не сообразив, что надо скорей оглянуться.

Ханидо прыгнул, повалил шамана спиной на шкуры, моментально придавил коленом одну его руку, а вторую руку начал крутить, вставляя в кулак шамана нож.

– Ниникай, Пурама, зовите народ, откройте дверь! Он хотел убить меня!

– Куриль, подожди. Останови. Что ты делаешь! – трепыхался Кака. – Я согласен на всё. Останови...

– Нет. Хватит. Мне надоело. Я должен убрать тебя.

– Пожалей, Куриль... Ноги буду лизать... – И он зарыдал.

– Ладно, – смягчился Куриль. – Прекратим.

Приподнявшись, Кака закрыл руками лицо и спрятал голову между колен.

Наступило молчание. Шаман был сокрушён. Куриль между тем взял бутылку и стал наливать водку.

Под бульканье водки Кака тихо проговорил:

– Не думал я, что ты на такую подлость способен... Я подлый, но и мне далеко до тебя.

– Ты меня с детства помнишь, Кака. Это вот Ниникай дрался. А я за всю жизнь никого не толкнул. Но теперь вижу, что зло языком не перешибёшь. Силой буду давить. Выпей, забирай кость и вон с моих глаз. Во второй раз я доведу до конца дело.

Кака ушёл, даже не вытерев рта и не оглянувшись: кость он засунул в карман на ходу. Сразу вслед за ним ушёл и Ниникай, узнавший от Куриля больше, чем думал узнать, и не захотевший продолжать прерванного разговора. Исчез и Пурама.

Властелин сундры остался один на один с молодым богатырём, своим преемником.

– Ч-чёрт! Времена наступили... Говоришь, что не хотел говорить, делаешь, что не собирался делать. Ни голове, ни ногам отдыха нет, – пожаловался он. – Ты, Ханидо, согласен жить такой жизнью, какой живу я? А-а, не отвечай; согласен не согласен – придётся. Я начал с сомнения в силе шаманов. А к чему пришёл? Слышал, о чём спорил я с Ниникаем? Не забыл, что шаман говорил тебе в ухо? Ты начинаешь с ненависти ко всякому злу, сразу и действуешь. А чем кончишь? Подумай! Сто раз подумай. Боюсь я, что ты раньше времени шею сломаешь. Зла много, и зло разное. Разберись, с каким злом как надо бороться. Юкагирский род и так вымирает. Уполовинились наши стойбища. К погостам подходить страшно. Сделаешь шаг неверный – зло объединится и восторжествует. Но торжествующее зло мстительно и пощады не знает. Не всякий совет принимай, не всякому разговору верь. Нетерпеливых людей развелось нынче много. Почему не сказал мне, что собираешься волка подкинуть Каке? Послушал Ниникая и Пураму? И чуть за ножи не схватились?

Дверная занавеска заколебалась, и в тордох просунулась голова Пурамы. Куриль, тяжело шагавший взад и вперёд от хозяйственного угла до самого большого сундука, остановился.

– Мне у ихнего жилья стоять, как казаку? – спросил Пурама. – Поможет есть люди. Я ушёл.

Куриль не ответил, но помрачнел и задумался. Шурин открыто грубил, напоминая о своей свободе и силе.

– Да... Но где же поп? – вдруг спросил Куриль самого себя. – И по-

сильные не возвращаются... Адо, иди во второй тордох. Еды много – ешь, что хочешь. И ложись там спать. Вечером, может, к невесте своей зайдёшь? Да, зайдёшь. Так надо: народ этого ждёт.

– Дядя Апанаа, – спросил Косчэ-Ханидо. – Нельзя ли... как это сказать... Ну, чтоб я сам решил, жениться мне или нет.

– Совсем отказываться ты не можешь. Сейчас не можешь. Время тяни. Я ей сказал, что будет только помолвка. Посмотрим... Но народ ждёт, и ты сегодня должен встретиться с ней.

– Хорошо, – сказал Косчэ-Ханидо и вздохнул.

Он живо поднялся. Однако выходов из тордوخа было два, и он спросил:

– А мне... через какую дверь сюда заходить? Можно я буду ходить через заднюю?

– Вот это мне нравится! – похвалил Куриль. – Мне нравится твоя скромность и твоя затаённость. Но ты можешь входить и выходить, в какую посчитаешь нужным. А когда можно, когда нельзя – об этом тоже сам будешь догадываться. Только постарайся всегда быть под рукой, чтоб не искать.

– А во втором тордохе есть полог, хоть маленький, где бы я мог оставаться один?

– Есть. Там всё устроено. Да, постой. Вот ещё что скажу. Мы тогда... волосы тебе как попало обрезали. Видно, что косы были. Я пришлю человека – пусть обрывает. Пураму придётся просить. Но вы осторожно там, чтобы мёрзлый комар не услышал, а то оживёт и полетит... И потом... надо всё вымыть – лицо, голову, шею, руки и ноги. Чтобы не потом пахло, а мылом. Кеша... ну, значит, поп Иннокентий чтоб не сказал Синявину, что ты – дикарь.

Косчэ-Ханидо нахмурился, помрачнел. Богатырь, воспитанный по-старинному, должен мыться? Куриль понял его и продолжал:

– Теперь многие юагиры моются. Времена переменялись. Я похож на женщину? А я давно пеной моюсь. И Ниникай давно. Русские и американцы нас за глаза неумытыми называют. А это – презрение. И новая вера требует, чтобы каждое утро мочить лицо.

Шумно вздохнув ещё раз, Косчэ-Ханидо закрыл глаза и покачулся: стало быть, назад пути нет. Его, сына Нявала, значит, и в самом деле поворачивают к новой жизни, забирают из одного мира и переносят в другой? И он согласился? Мыться водой и пеной... К чему он только не привыкал! Он и ушёл в глубокой задумчивости, но тут Куриль громко шлёпнул себя ладонью по лбу.

– Господи! Я ум потерял. – Он расширил глаза и повернулся к белому приоткрытому пологу, за которым висела икона, только сейчас замеченная Косчэ-Ханидо, стоявшим как раз напротив. – Умывания не было. Обряд не соблюли. Господи! – Куриль перекрестился. – Забыл. Как же так? А? – Он пристально глядел в лицо приёмному сыну, будто Косчэ-Ханидо был в это утро здесь и не напомнил ему. – Не успеваю... один. Ведь предусмотрел, что народ веселиться должен, костёр и игры всякие... А про это забыл. Прости меня, бог Христос!

– Но дядя Апанаа только сейчас говорил, что юагиры моются, – заметил Косчэ-Ханидо.

– Моются! Кто моется, а кто забывает. А чукчи совсем не моются. Да

разве в том дело! Надо было всем сказать. Чтоб обряд получился. Чтоб намочили даже грудным детям лица. Вот почему нет божьего человека. Я забыл, а бог не забыл. Как крестить тундру, если народ грехи перед ним не смыл? Вот же беда какая.

По телу Косчэ-Ханидо пробежала дрожь: неужели всё это правда – бог ждёт, пока тундра умоется?

Одна тревога оттеснила другую. Хоть голова юкагиров по-настоящему и не верил в нового светловолосого бога, он всё-таки призадумался. И в самом деле: народ в честь него не умылся – и поп приближаться не хочет.

Но где Кымыыргин? Где другие посыльные?

Как только Косчэ-Ханидо ушёл, появился Чайгуургин.

Голова восточных чукчей ярангу свою поставил рядом с тордохом юкагирского головы. Это, правда, была уже не яранга, а жильё, похожее на тордох. Чукча велел приподнять жерди, развести их пошире и связать по-юкагирски. Верх обтянул не двумя, а четырьмя ровдугами. И так же, как у головы юкагиров, пол весь застелил шкурами, а в чоттагине поставил стол, на котором зажёл целый костёр свечей. Пять больших пологов соорудил он, и один из них, самый богатый, в котором висела икона и для тепла горело два жирника, тоже вроде бы предназначался попу. Нет, голова чукчей вовсе не собирался перетягивать к себе попу. И чтоб в этом не было сомнений, он надел простую доху. Лишь рукавицы из белых камусов должны были отличать его от других богачей: в его руках власть. Богатый же полог он устроил с расчётом, что это станет известно попу. Понимал голова чукчей, что надо напоминать о себе, решительней прибавиться к тем, кто крупные и успешные дела разворачивает.

– На каких ты условиях послал Кымыыргина? – спросил его Куриль, как только он оказался в тордохе.

– Успокойся, мэй. Я обещал ему хороший подарок, если он первым встретит попу, – ответил Чайгуургин. – Больше ничего.

Он врал: в условии было ещё кое-что. Кымыыргин должен был провезти попу через чукотскую тундру, а уж потом повернуть в Улуру. Знал Чайгуургин, что с крещением чукчей может произойти неприятность, а это ударило бы его. Кымыыргин и должен был нахваливать Чайгуургина, показывать тундру, говорить, что все стойбища по приказу головы снялись и перекочевали в Улуру. И тогда, если бы что случилось, виноват был бы народ, а не он, голова... Впрочем, этот крюк много бы времени не отнял – поп в середине дня всё равно должен был оказаться в Улуру. Так что обман был не большим.

– А Кака к этому не причастен? – спросил Куриль.

Чайгуургин перекрестился:

– Я посылал. Кымыыргин постарел. Он теперь не срезает постромки... Ему только хочется немного разбогатеть. А я ему обещал двух оленей.

Долго разговаривать Курилю и Чайгуургину не о чем было. Но когда сходятся вожак двух родов, да ещё соседи, остальные богачи теряют свой вес и стараются не лезть им на глаза. Сейчас юкагир и чукча нарочно тянули время: чукча набивал себе цену – пусть другие знают, что Курилю есть о чём с ним так долго беседовать, Куриль же терпел пустую и вялую болтовню – одному тяжело было в пустом тордохе.

ГЛАВА 19

Так и не приехал поп в этот день.

А на следующее утро люди, прошедшие в тревоге всю ночь, подумали, что Куриль рехнулся, что его околдовала какая-то неразумная сила, заставившая взяться за труд, который можно бы сделать когда угодно, только не в это время. Властелин рано поднялся. Одетый в простую неказистую дошку, он сходил к своим юкагирам и с двумя разбуженными мужиками направился на пустырь – туда, где был сложен огромный, высотой с тордох, костёр, который должны были зажечь при появлении на дороге попа. Рядом с этим костром были свалены рога от двухсот оленей, рановато забитых два дня назад. Вот из этих рогов Куриль и начал сооружать холм – памятник в честь крещения северян, памятник самому себе.

Невыспавшийся люд стал появляться по одному, по два, а потом кучками; одни приходили, другие уходили. Это не было любопытством, это была тревога, тревога за Куриля, за его разум и за всё его дело. Народ уже знал, что не только окрестности Улуро, но и вообще все тундры до тайги, до Алазеи и чуть ли не до моря объезжены и осмотрены и что нигде нет священного каравана. Всю ночь подъезжали упряжки с одним и тем же известием: «Нет никого». Якуты ночью ворожили на картах, а люди тундры, склоняясь у очагов, выжигали на костях – оленьих лопатках – узоры, гадая, где, в каком месте должен быть караван. Гадальщики на костях отправили в тундру не одного посыльного, но вот уже рассветало, посыльные один за другим возвращались, а толку не было никакого. Может, поп и все русские давно уж замёрзли?.. С утра собрать бы совет богачей, старых мудрецов, а то и шаманов, и решать, что делать. Отправить бы лучших гонщиков по дороге в острог, авось встретился бы каюр и хоть стало бы известно, действительно ли священника нет в том остроге. В конце концов посадить всех мужиков на нарты – тундра большая, кто-нибудь да привёз бы точные новости. Ничего такого Куриль не делал. Он сооружал памятник.

Памятник из оленьих рогов – штука далеко не простая. Нужно так уложить эти коряги, чтобы не только было красиво, стройно, но чтобы сооружение это не поползло после таяния снега. Не скособоилось и не рухнуло, обратившись в простую кучу. Куриль трудился старательно и серьёзно, не обращая внимания на людей. Он стоял наверху, а мужики подтаскивали рога. Нижний ярус был весь перепутан ремнями; ремни-то потом сгниют, но рога будут сцеплены так, что устоят на трех точках и ничем их не растащишь, не свалишь, если, конечно, умело сложить. И Куриль старался. Случайные сцепления его не устраивали, он пригораживал каждую пару так, чтобы она сама держалась и держала другие пары. Он без конца шатал уложенные рога, стучал ногами по срезам черепов, вертелся, как огромная птица на сплошь дырявом гнезде.

Когда на вершине кучи Куриль укрепил последнюю пару самых больших, самых ветвистых рогов, на пустыре никого уже не было. Но это его не смутило. С задранной головой он ходил вокруг памятника, отдалялся от него, потом опять приближался, и наконец, сказав мужикам, что, мол, здорово получилось, как-то вдруг решительно зашагал прочь. Он глядел себе под ноги и не заметил, как оказался несколько в

стороне от своего жилья. Повернул, зашагал быстрее и скрылся в тордохе.

Никто не знал, что было на душе у него. Да он и сам не знал. Впрочем, и знать было нечего – душа его попала в какой-то провал, совсем опустела. В тордохе он не зашёл в свой полог, не позвал жену. Он сел посередине, сгорбился и так, молча, не поднимая головы, сидел до тех пор, пока не появился сказитель Ланга.

Старик в голых руках принёс штук десять костей – оленьих лопаток.

– Апанаа, – сказал он, – погляди... Может, ум твой соединит в одно разные предсказания и достигнет настоящую правду?

Он разложил перед Курилем кости. Не пошевелив ни одним пальцем, упавший духом властелин повёл ленивым взглядом слева направо и быстро спросил:

– А ты что об этом скажешь? Ты веришь гаданиям?

– Люди боятся, что от них отвернётся светлая вера. Об этом говорит их ночная работа – линии на оленьих лопатках...

Куриль неожиданно двинул ногой, и разложенные кости полетели куда попало.

– Гадание и шаманство – одно и то же! – сказал он. – А люди наши разучились гадать на костях.

Ланга не поверил, однако, что Куриль не понял смысла его слов. А гнев не испугал его.

– Но если светлая вера отвернётся от нас, – сказал он, то и ты людям нужен не будешь.

И только теперь властелин опомнился.

– Вы опять собирались ночью? – спросил он.

– Да, – ответил Ланга. – Если ты для нас хорошее делаешь, то почему не считаешься с нами? Мы же хотим помочь тебе!

Поднявшись на ноги, Куриль зло прищурился, как-то поджал губы и, всё-таки сдерживая себя, сказал:

– Если ты хочешь помочь мне, то иди к нашим и передай моё распоряжение: сегодня все должны совершить обряд умывания. Все – дети, взрослые, старые, убогие. Иди. Но прежде заверни к Чайгуургину и ламуту Косчэ Татаеву – пусть они сразу ко мне идут. А больше никакой помощи мне не надо.

– Хорошо, – ответил Ланга, тоже прищурившись. – Но я пойду только к своим, к юкагирам. А посыльным пусть у тебя бегают Косчэ-Ханидо. Я для этого стар.

И он ушёл.

Не было никакого труда догадаться, что Косчэ-Ханидо вчера вечером не заходил к Халерхе. Вот и злится Ланга. Значит, недовольны и люди.

Куриль направился в малый тордох.

Ещё не закрыв за собой сэспэ, он позвал:

– Адо, ты спишь или проснулся?

Косчэ-Ханидо сразу же вышел на голос.

– Ты вчера не сделал то, что я тебе приказал?

– Не сделал, дядя Апанаа. Я не мог.

– Так ничего не получится дальше. У тебя жизнь такая, что ты должен всё делать – можешь или не можешь.

– Дядя Апанаа, я вчера ночью понял, что из меня не выйдет такой помощник, какой тебе нужен...

От этих слов у Куриля подломились ноги. Он сразу вспомнил скрюченный палец Нявала, которым он тыкал себя в грудь: «Вот тут что-то такое есть, чего и переломить нельзя...». Чтобы не повторил Косчэ-Ханидо этих слов, Куриль просто сказал:

– Она мне то же самое говорила.

– В этом и дело. Она же глянет на меня, как на бычка, а я на неё – как на важенку. Не могу.

– Но народ ждёт вашей встречи. Пурама меня чуть за грудки не схватил, когда я не стал говорить о свадьбе.

– Глупый народ! – с жаром сказал Косчэ-Ханидо. – Что я им – сказочный богатырь? Я мужицкий сын. Но ведь и в сказках богатыри... чувства имели.

– В сказках! А в жизни как? Отдают – и всё. Ладно. Народ, правильно, глупый. Но надо. Покажись и уйди.

Огромное стойбище умывалось.

О, это было событие перед крещением!

С самими юкагирами было не просто. Юкагиры не так давно стали мочить свои лица. Началось это с крещения новорождённых, которых смельчаки повезли в острог. Там детей окунали в лохань, и поп настаивал, чтобы взрослые тоже мыли руки и лица. Ещё раньше Куриль стал на виду у всех обливать из медного чайника свою лысую голову, а жена его мылить и полоскать волосы в греющем железном корыте. Но всё это было не постоянно. Кому захочется полоскаться зимой, в морозы и вьюгу, при нехватке топлива, посуды и просто воды! Да и в тёплые дни умывались больше для вида: плеснут из ладошки – вот и готово. Впрочем, обряд умывания многими так прямо и понимался: мочить лицо, а не грязь смывать. Правда, в божьи праздники, особенно почему-то в Егорьев день, весной, руки и лица пенили мылом. Малые дети, глубокие старики в счёт не шли. И к бегающей ребятне не очень-то приставали. В острогах взрослые слышали, как русские женщины жалуются – их дети тоже неумытыми бегают...

Сегодня день был холодный, с сизым морозным ветром. И умываться надо было всем, по-настоящему умываться.

Юкагирская часть стойбища задымила сильнее – начали растапливать лёд и снег. Начали – и задумались. После крещения хитрить не придётся. Значит, работы прибавится – лёд таскать, топлива запастись больше. А чем вытираться? Хорошо, если есть холст, рубаха, клочок ситца. А если нет? Пыжиком? Но после вытирания пыжиком всё лицо бывает в шерсти. Есть, правда, выход – сушиться возле огня. А мыло? Его выменивать надо. Но на год сколько нужно его? И дополнительная посуда нужна – чайник или котёл, а эти вещи недёшево стоят, да и где выменять их?

Всё не просто на Севере. И в тягость, в большую тягость этот простой христианский обычай.

И всё-таки у юкагиров не так было сложно. Приноровились. Девушки моются тёплой водой и не визжат. Ребятишки не ждут, когда матери вытрут их, – бросаются к очагам и сушат мордашки. А смельчаки-ребята моются за тордохами, потом бегут с лошадиным гогом и, как

жеребят, подпрыгивают... И в грустной, и в весёлой суматохе прошло нынешнее умывание.

Но куда хуже было соседям чукчам! Они умывались впервые.

В старину чукчи обязаны были даже от струй дождя защищать лица. Потом, однако, обычай смягчился: мочить лицо под дождём стало можно – это, мол, дух воды, келе, мочит. Но рука человека не смеет плескать воду в глаза и мыть кожу! А сегодня, холодным утром, и отныне в любую погоду надо собственными руками мочить лицо! И не только мочить, но ещё натирать русской пеной, которая хоть и пахнет приятно, но зато – говорят – как ножом режет глаза. У чукчей и привычки нет никакой, и с водой труднее, и с обсыханием: костры в их ярангах горят очень редко.

Шагая от Куриля, голова халарчинских чукчей Чайгуургин озадаченно бормотал:

– Распорядиться легко... А попробуй – уговори!.. А где топливо брать? Лёд надо колоть... А в чём мыться?.. Он предупредить забыл! Царь...

К Ниникаю направился Чайгуургин. Ниникай моется каждый день – один из всех чукчей. Но по дороге к нему Чайгуургину попадались яранги. И он стал зло стучать ладонью по отвесной ровдуге:

– Всем умываться приказываю! Грейте воду. Идите к юкагирам за мылом. Кто не достанет, ко мне идите. Умываться всем, даже грудных детей умывать. Грязных поп не будет крестить.

Ух, времена настали! Женщины, стискивая зубами курительные трубки, выглядывали из яранг, как звери. Мужчины притихли. И никто, конечно, не выливал чай в снег, не бросался добывать топливо, чтобы заново разжечь костры и растопить лёд, который надо принести с озера. Чайгуургин чувствовал неприязнь и всё больше наливался злостью и на Куриля, и на своих чукчей. Он не оповещал людей, а грубо приказывал им. Но толку не было. Чукотская часть великого стойбища не зашевелилась.

У Ниникая он появился лишь после того, как обошёл все яранги и побывал у Лелехая – своего племянника. С Лелехаем он и пришёл к восточному чукче.

– Мужики, – растерянно заговорил он, обращаясь к племяннику и хозяину. – Никто не слушается меня. Никто. Надо дело спасать. Не будет нас поп крестить. Это же бунт против веры. Я пропаду. А вы были когда-то друзьями – помогите скорее мне.

– Надо сперва понять, почему не слушается народ. А уж потом и разговаривать с ним, – сказал Ниникай. – А чтобы исправнику подражать, для этого и ума не нужно.

– Ругай меня какими хочешь словами, но помоги, – взмолился Чайгуургин.

– Нет попа. И люди начали сомневаться – может, отменяют крещение. – Ниникай был в меховых штанах и холщовой рубаше-косоворотке, он как раз собирался на умывание – в руках держал кусок мыла.

Чайгуургин беспомощно плюхнулся на пол.

– Как же мне быть? Поп всё равно приедет – я знаю.

– Ты, мэй, уверен, что Кака через Кымыргина ничего не подстроил?

– Уверен! – твёрдо ответил Чайгуургин. – Он ведь давно с Какой разошёлся. Мне он служил и служит. Кормлю его я.

– Тогда ничего понять невозможно. – Ниникай только теперь протянул руку Лелехаю – молча поздоровался с ним по-русски. – Пошли все втроём умываться на двор. А там поглядим... Жена, выноси корыто. А сын пусть ящик несёт.

Три богача – все в рубахах – отправились соблазнять народ. Лелехай радовался встрече с Ниникаем, но в то же время злился на дядю, который забрал у него половину жердей и половину ровдуги и заставил его с семьёй ютиться в уродливом тесном жилье. И всё-таки он пошёл умываться, но не из-за сочувствия к дяде, к беде его, а из-за восхищения перед Ниникаем, который так далеко ушёл от него и стал таким заметным и смелым.

Первым на холодном ветру стал умываться хозяин. Он так сильно мыл лицо, отфыркивался и кричал, что из соседних яранг стали высовываться головы. Его сменил толстенький Лелехай. Этот мылся впервые, и шумел он куда сильнее своего старого друга: он и подражал Ниникаю, и вопил от железного холода, и пугался тому, что вода попадёт за пазуху. Неуклюжий и старый Чайгуургин, уже дрожавший, как собачонка, посчитал неудобным орать и фыркать. И всё-таки крикнул так, что в ответ ему забрехали собаки. Он не вытерпел – мыло попало в глаза: отскочив от корыта, он стал хватать грязный снег под ногами и стирать им проклятую пену; ничего не видя и чуть не падая, голова чукчей позорно бежал как-то боком, пока не налетел на ярангу.

К счастью, не много чукчей могло посмеяться над своим вожаком, который совсем недавно так грозно приказывал добывать это самое чёртово мыло. Однако смех даже немногих людей был злорадным – и, конечно, никто из них не соблазнился, не стал подражать богачам.

И всё осталось по-прежнему.

Спас от беды Чайгуургина, а всех халарчинских чукчей от всеобщего отчуждения враг новой веры шаман Кака.

Шаман появился как раз в тот момент, когда беспомощный голова чукчей надумал идти ссориться с Курилем, чтобы хоть таким образом показать свое рвение, к тому же он верил, что лишь Куриль способен наладить дело. Шаман в одной руке держал бубен, в другой колотушку. Чайгуургин чуть не попятился назад, когда увидел его.

– Что ты задумал? – со страхом в голосе спросил он. – Ух-ходи! Христом-богом тебя прошу.

– Мэй, ты напрасно серчаешь и напрасно боишься меня. – Шаман прикрыл бубном уродливую половину лица. – Я не совсем дурак. Иду новому келе послужить. Большую силу надо хоть раз уважить.

Чайгуургин бросился назад к Ниникаю.

А Ниникай успокоил:

– Он поможет тебе. Пусть привыкает делать хорошее дело. – И тут же насторожил: – А не знает ли он что-нибудь о попе? Не с радости ли взялся за бубен?

– Как будто нет... – теперь уже неуверенно ответил Чайгуургин.

А в соседней яранге уже грохотал бубен. Шаман призывал исполнить новый обряд – чукчи, мол, гости у юкагиров, а быть неуважительными гостями – значит поссориться. И он сломил упрямство сородичей.

Умывались чукчи, однако, не на ветру, а в ярангах. Не в каждой яранге – в двух-трёх, где появилась посуда, взятая у Ниникая, у юкагиров.

Умывание чукчей закончилось лишь к середине дня. Закончилось нехорошо, тревожно. Те, кто умылся раньше, звали к себе шамана Каку: мыло многим разъело глаза, дети плакали, девушки места не находили – глаза у них были красными, у стариков сами собой текли слёзы. И Кака начал шаманить, несказанно радуясь этой будто с неба упавшей возможности.

Встревоженный грохотом бубна и сообщениями о беде, Куриль появился у чукчей вместе с целой толпой богачей и приближённых. Был вместе с ними и тихий якутский шаман Токио. Юкагиры знали, что если от мыла заболят, воспалятся глаза, то надо делать примочки – прикладывать мокрый холодный пыжик. Но Куриль не зря не прогонял Токио. Он верил в силу его внушения – и им вдвоём действительно легко удавалось уложить пострадавших за пологи с примочками на глазах.

Это неожиданное событие до конца расстроило и без того надорванного Куриля. Никаких слухов о попе до сих пор не было, а тут, как нарочно, скандал с умыванием, вмешательство шаманов. Его даже не утешала мысль, что сегодня – хотя и по воле случая – шаманы впервые служили ему, и служили именно так, как он об этом мечтал.

День угасал, попа так и не было.

Шёл мелкий снег. Ветер носил его, поднимал над землёй, тревожно вздымал над ярангами и тордохами. Было похоже, что начинается вьюга. И Куриль, шагая обратно к себе, чувствовал жар во всём теле: вьюга – это конец поискам, это конец надежды. Огромное разноязычное приунывшее стойбище как будто насупилось, затаилось. Оно может за этот вечер и эту ночь вспомнить свои надежды, своё любопытство, гульбу, нетерпение, обещания вожаков, а утром вдруг тихо, зловеще зашевелиться и оседать, уменьшаться в размерах и безудержно потечь в разные стороны...

Молча дошли Куриль с Чайгуургином до яранги Оммая. Каждый предчувствовал, как будет горько, тяжело и одиноко сидеть в огромных, неуютных жилищах-хоромах, но ни тот, ни другой не хотел зазывать в гости. О чём говорить! Говорить надоело. И так бы молча они разошлись, если б не заметили одновременно упряжку, летевшую по дороге из тундры. Оба на миг остановились, а потом разом, рывком зашагали вперёд. Снег был редким и мелким, и они видели белые тучки вокруг упряжки – снежную пыль и пар.

– Едут! – крикнул Куриль и побежал, чтобы скорее оказаться возле тордоха.

Почти лёжа на нарте, головой рассекая ветер, как очумелый, нёсся на паре безрогих оленей сам Пурама, весь закиданный снегом. Дорога шла вниз, и он из-за пыли, снега и отчаянной скорости не всё хорошо видел перед собой. Далековато, шагах в тридцати от тордоха, он оттолкнулся от нарты и, пробежав шагов десять, всё же упал. А каргины от неожиданного облегчения растерялись и чуть не налетели сначала на Куриля, а потом на Чайгуургина.

Куриль, забыв о достоинстве, продолжал бежать к шуруну.

– Ну, говори, что там такое случилось! – закричал он на бегу. – Пурама, говори.

Он никуда не посылал Пураму.

– Что! Синявин, сам Синявин к нам едет. Только след лежит на восток – обратно!

– Как – на восток?

– А так – на восток! Сам видел.

– Не его, может, след!

– Ну, я стар, чтоб меня поправлять! След от кибитки. А вместе с Синявиным едет Губаев Макарий, дьячок.

– От кого вести такие?

– Человек из Среднеколымска. Ждать его нечего – к ночи притащится.

– А почему... а как ты попал на эту дорогу?

– Так. По-своему мы рассудили.

– Гы! По-своему... Вместе с Лангой?

– Какая тут разница! Рассудили – и всё. Не Кешке Слепцову к нам ехать... по таким-то делам!

– Это, пожалуй, верно, – согласился Куриль. – А следы Кымыыргина там были? Кибитка одна?

– Не одна. То рядом, то впереди кто-то ехал. Конечно, Кымыыргин...

– Не может быть, чтобы мой проводник заблудился! – с дрожью в голосе заметил Чайгуургин. – Может, Ляунит забыл что-нибудь в Среднеколымске?

– А, что ты бормочешь! – рассердился Куриль. – Отец Леонид не ребёнок. Кымыыргин крутит. Я и предчувствовал это.

– Ляунит мог заболеть. Он первый раз в тундре.

– Нет, не похоже это на правду! – возразил Пурама. – На повороте я видел потухший костёр и пустую бутылку. И дорога идёт не совсем на восток, а немного на север. Что, Кымыыргин не знает, где Среднеколымск?

– Далеко туда? – спросил Куриль, не подозревая, как смутился и растерялся Чайгуургин, теперь уже не понимавший, зачем его посыльному понадобилось так долго и так бессмысленно возить по тундре служителей бога: пусть корыстным, однако не зловредным был их уговор.

– Да не близко отсюда, – ответил Пурама. – Я перед утром уехал. Ну, конечно, крутился...

– А снег там шёл?

– Я и привёз его к вам: ветер оттуда.

– Тьфу! – сплюнул Куриль. – Ладно. Искать будем. Чайгуургин, снаряжай мужиков – десять упряжек. И пусть твои люди кликнут Татаева – ламуты тоже поедут. А с юкагирами – я. И ты, Чайгуургин, собирайся... Пурама останется здесь. Пурама за меня останется. Я велю быть всё время в моём тордохе и распоряжаться от моего имени.

– Это как я буду распоряжаться? – оторопел Пурама.

– Так: полная власть.

– Ну, ладно. Можно и повластвовать! – усмехнулся старый охотник.

– А я серьёзно, – сказал Куриль.

– Если серьёзно, тогда я с Ниникаем буду совет держать.

– Да, я давно чую, что юкагиры могут и без меня обойтись, – со злым намёком заметил Куриль. – Только лёд на Улуро не поломайте, а то рыба вся вымерзнет. А теперь я хочу знать поточней, где нужно искать святой караван.

Синявин едет! Это для Куриля было вроде зимней радуги и вроде зимнего грома. Конечно, поп Слепцов перед Синявиным – это всё равно, что Синявин перед самим богом. Честь для тундры неслыханная! Для тундры и Кешка Слепцов великий. А тут – сам священник Синявин... Можно ум потерять от счастья. Но с другой стороны – это очень тревожно. Пурама не просто прав, он страшно прав. Знать, там, в Среднеколымске, есть подозрение, что в Улуру не безобидное дело задумано! Там всё на весах вешают и всему цену определяют. И, может, цену опасной считают? Недоверие? Или хотят предупредить, всё взять в свои руки?..

Очень радостно и очень тревожно стало на душе Куриля. Что ж, придётся стелиться перед Синявиным и дьячком сплошной песцовой шкуркой, ублажить и одарить так, чтобы не осталось у них сомнения – тундра в ногах у Среднеколымска, Якутска и Петербурга. А там будет видно...

Уже темнело, когда из стойбища одновременно выехало ни много ни мало – тридцать упряжек. Куриль ехал на четырёх оленях, Чайгуургин – тоже. Все должны были разъехаться по направлению растопыренных пальцев, немного охватив дорогу на Среднеколымск, но в основном – на север. Потом все делают заворот к дороге или поворачивают назад. Куриль с Чайгуургином и с Косчэ-Ханидо едут северней всех и дальше всех – в расчёте на большой заворот и большую удачу.

С самого начала надо было уехать как можно дальше. Ночью караван будет стоять, и если его не найдут, то утром его увидят, догонят и перегонят, куда бы он ни направлялся... Куриль молил бога: лишь бы русские не замёрзли. А Чайгуургин дрожал от страха: если беда – он пропал. С ужасом вспоминал Чайгуургин слова Ниникая и Куриля, подзревавших Кымыргина в связи с Какой. И ругал он себя с головы до пят – свой маленький ум, свои ноги, зашагавшие к старому гонщику: знал ведь он, что Кымыргин в последнее время ждёт подачек, намекает на несчастную жизнь. А если Кака пообещал не два оленя, а двадцать?

Ночь, как назло, была тёмной. Тучи висели низко, без синих просветов. Шёл мелкий снег. Бурана как будто не ожидалось, но всё-таки было плохо, что падал снег: следы пропали, олени даже и не пытались найти их нюхом. Вот если б к утру расчистилось небо. Тогда бы плохое обернулось хорошим: на белом проще увидеть кибитку, а свежий след будет единственным.

Впереди ехал Косчэ-Ханидо. За полтора дня он так отдохнул, столько съел доброй пищи, даже сластей, что теперь чувствовал запас сил, пожалуй, на пол-луны.

Понравилась новая жизнь Косчэ-Ханидо. Голод – он делает злым человека. А насытится – подобрееет, и прошлые беды как-то сами собой, незаметно отстанут, тёплый туман отделил пережитое от настоящего. Дня через два привезут отца с матерью, будут у них олени, будет новый тордох. После крещения он станет жить у Куриля, а родные – на Малом Улуру. Не один раз он приедет к матери и отцу. Правда, Куриль, Ниникай, Пурама не сняли с них тяжести, хоть и плакали они от счастья в ту ночь. Но проживут на людях, убедятся, что всё прощено даже богом, и, возможно, поймут истину нового, уже не ихнего времени: теперь иная цена поступкам, теперь перед злом нельзя быть трусливым.

Снял Куриль с сердца Косчэ-Ханидо и самую неудобную тяжесть. Не принуждает к женитьбе, даже как будто готов согласиться, что это не обязательно. И Халерху не принуждает. А это иное дело. Он сам поглядит на неё. И она пусть на него поглядит. Три снега прошло. Какая теперь она, какая сейчас? Её сватало не меньше тридцати женихов. Разве такое бесследно проходит! Вместе с тем у неё так долго и так мучительно умирал отец; теперь он умер, и она круглая сирота. Ото всего этого может и порча произойти – будет она теперь то радостной и счастливой, то плаксивой и злой. Вины её нет, но зачем такая ему? Жизнь его будет сложной, а по молодости и опасной – и начнёт нелюбящая жена, как Пайпэткэ, волосы рвать... А может, всё и не так, может, жизнь её сделала самой умной и самой рассудительной женщиной, да он ей не подойдёт – грубый и молчаливый, воспитанный по-старинному, дикарь в сравнении с нынешними парнями. Будет поглядывать на других, а это тоже не жизнь... А что касается людей, то мало ли какая блажь им пришла двадцать три снега назад, ещё при полной власти шаманов. Теперь-то всё по-другому, да и старых людей не много осталось.

Рассуждая так о своей жизни, Косчэ-Ханидо всё-таки не испытывал грусти. Даже зная, что Халерхе, конечно, было бы хорошо, если б он сразу увиделся с ней, зная, что сейчас ей немного обидно, он тем не менее чувствовал себя вполне хорошо. Вырвался он из чёрного мира, теперь сыт, одет, окружён вниманием – и всё ещё впереди. И с матерью и отцом всё хорошо будет – что ещё надо!.. Не было детства, пришлось долго испытывать боль? Ну и что? Зато теперь во всём теле сила, бодрость, уверенность...

Очень хотелось Косчэ-Ханидо в эту ночь отличиться – первым увидеть заблудившийся караван. Во всех жилищах спрашивать будут: «Кто отыскал?». Конечно, ответ должен быть только один: «Богатырь Ханидо». Впрочем, он и не сомневался, что так всё и случится. Не сравнить же его молодые глаза с глазами Куриля и Чайгуургина...

Не один Косчэ-Ханидо старался в эту ночь отличиться. Однако прославиться не было суждено никому: никаких признаков человека ни на глаз, ни на слух не попало.

Лишь на рассвете, когда мороз высоко поднял тучи, а снег ко всеобщей радости перестал, каждый из ездовых пережил короткое, но обманчивое торжество, заметив справа или слева упряжку, которая – увы – оказывалась не кибиткой, а соседней упряжкой. Они прочесали тундру, едомы, холмики и тальники, как русская женщина костяным гребешком волосы. И без толку.

Неожиданно для всех показалось солнце. Оно уже стояло над горизонтом, когда у сплошных туч обнаружился край. Солнце было огромным. Оно осветило уставшие лица мужчин, зажгло огоньки в глазах оленей, которым теперь было легче бежать, видя перед собой и близь, и даль.

– Теперь ты отстань, – приказал Куриль Косчэ-Ханидо. – Встретим священника – не лезь ему на глаза. Так надо.

Отстал Косчэ-Ханидо. Пригорюнился: вспомнил, что на нём не один грех. Но всполошился, стегнул оленей вожжами.

– Там... глядите! что-то чернеет там! – Он рукой показывал вправо, на край огромной равнины, где, кроме маленьких холмиков, ничего не было видно.

Упряжки остановились.

– А ниже крайнего слева – едома... Там. Вон что-то торчит. Ну ведь ясно, что это не куст и не яранга – верх какой-то прямой...

– Неужели кибитка?

– Я тоже не вижу, – сказал Чайгуургин.

– А-а, – болезненно сморщился Косчэ-Ханидо. – Может, я один туда съезжу?

Вместо ответа Куриль сильно стегнул оленей. Он так ничего и не видел, но уверенность Косчэ-Ханидо сейчас была высшей властью.

Он, как и Чайгуургин, долго ещё не мог разглядеть что-либо определённое, однако уши его слышали всё более уверенные крики Косчэ-Ханидо, а глаза уже видели слева четыре упряжки, летевших, будто на состязаниях, как раз туда, куда мчался и он.

Потом ниже холма что-то ярко, резко сверкнуло, будто осколок солнца ударился в снег и погас. Что может в зимней тундре блестеть?

– О, бог! – воскликнул Куриль.

– О, хойл! – по привычке, ошарашенно выкрикнул Чайгуургин, ставшийся обогнать юкагира.

– О, величественный, о, могучий, – лепетал Куриль, не помня себя от радости.

Заснеженная, необыкновенно большая по этим местам кибитка стояла на склоне едомы, а рядом с ней утонула в снегу нарта, на которой лежал человек, привязавший себя арканом к шестёрке оленей. Все сразу замёрзли? Или живые?.. Но сейчас даже те, кто летел по снегу, словно по воздуху, не могли бы сказать о себе – живые-то сами они или нет. Лаз в кибитку был закрыт шубой, а шубу вместе с крышей густо присыпал снег. Чайгуургин ткнул ногой Кымыыргина. Живой. Спал, зашевелился. Куриль тихо захохотал, как зарыдал; чуть не падая, но всё же крестясь, он нёсся к кибитке.

Все остальные – поп, дьячок и каюр – тоже спали себе преспокойно, забыв всё на свете. Над ними сиял медный крест, прибитый к верху кибитки.

ГЛАВА 20

– Что такое? А?.. О господи: я вижу Курилова... – Синявин спросонья тарашил глаза, путаясь в шубах, под которыми грелись все трое – он, дьячок и каюр, свернувшийся кренделем в ногах возле лаза. – Афоня, друг мой бесценный, приехал, нашёл!..

Каюр мигом выкатился на снег, а отец Синявин подался вперёд, облапил юкагирского голову, не считаясь с тем, что был он в белой нижней рубаше, а шубу Куриля покрывал густой иней. Тёплой мохнатой щекой он прижался к холодной щеке торжествующего, счастливейшего из северян человека.

– Прости, Христом прошу тебя: прости, отец Леонид! – бормотал Куриль, чувствуя слёзы в глазах. – Виноват я, до смерти ругать буду себя, до смерти...

– Что ты, полноте, Афанасий Ильич! – Синявин тянул руку к плечу Чайгуургина, который теснил Куриля, пытаясь просунуть голову

внутри кибитки. – Здравствуй, друг мой большой Чайгуургин! Здравствуй. Приехал и ты?.. Как же нашли-то вы нас?

– Третий день ищем. Да глаза у нас узкие, и видим мы узко. Все дороги из Нижнего перекрыли, а ума не хватило глянуть на большую дорогу. Прости нас, тёмных, отец Леонид... Кто ж о чести такой мог подумать?..

– Да нет вашей вины! Нет. Скорей уж я виноват. А людей своих и себя зачем принижать? Я поехал к народу простому, но умному, смелому, по нашим понятиям героическому, а если угодно – и непокорному.

Трудное слово «героическому» Куриль не понял, но слова «непокорный народ» были ему очень понятны. Однако к чему он это сказал? Намекает на пир у исправника? Или ещё что-то имеет в виду?

– Правда твоя великая, отец Леонид, – ответил он и сразил священника мудростью, о которой тот уже знал, но которая превосходила все его прежние представления: – Ты к народу непокорному едешь. Народ мой не покорился чёрной, дьявольской вере. Но он упадёт к ногам твоим, и ты скажешь, что у Христа нет детей ласковых, как они...

– Спасибо тебе, Афанасий Ильич, – растроганным голосом ответил Синявин, – ты хорошими словами встретил меня. Но я слышу – там твои люди. Я хочу поздороваться с ними. Они непокорны такой суровой природе...

Он выбрался из кибитки в чём был – в чёрных штанах, заправленных в торбаса, и в двух белых рубахах. Тёмная рыжеватая борода с нитками проседи и кипа длинных таких же волос делали голову его очень большой и внушительной.

Мужики, а их уже было много, увидев попа, разом бросились на колени и уткнули головы в снег. Синявин от неожиданности даже вздрогнул, однако посерьёзней и привычно поднял белую руку, начертил в воздухе крест.

– Встаньте, дети мои, – сказал он по-юкагирски. – Встаньте, дети мои, – повторил он по-чукотски.

Мужики приподняли головы и, упираясь руками в снег, замерли, с величайшим удивлением разглядывая попа, знающего столько языков.

– Афанасий Ильич, прикажи им подняться, – сказал Синявин, чувствуя, что здешний властелин перестарался. – Спасибо вам, люди, спасибо за радение и труды. Я не забуду вас.

Иностранцу не надо великим быть, надо знать хоть несколько местных слов – и произойдёт чудо. Поп был своим. Мужики окружили его, смело разглядывали необыкновенную бороду, голубые глаза, белые руки, рубахи, пуговицы на них, курчавые волосы под бородой, на груди. И было начался разговор, но Чайгуургин быстро прервал его.

– Отец Ляунит должен одеться, – сказал он по-чукотски. – Мы должны беречь отца Ляунита.

А Куриль вышел вперёд и стал распоряжаться.

Он приказал разломать нарту и запалить костёр, двум мужикам велел ехать и завернуть всех тех, кто ещё искал караван, а остальным мчаться в Улуро, в стойбище – к Пураме.

Вышел одетый дьячок, а Синявин скрылся в кибитке. Богачи метнулись к дьячку, вспомнив, что не оказали ему почестей и внимания. Но тихий дьячок всё понимал: он обнял Куриля и Чайгуургина, которые рассыпались перед ним мелким бисером.

Поп, одетый в медвежью шубу, высунулся из кибитки и замер. Он с удивлением глядел на широкоплечего невысокого парня, который невероятно легко ломал ручищами нарту. Он прищурился и подумал: «Ого, какими богатырями окружил себя мудрый Афоня! Шутки шутить не собирается...».

– На дорогу выпьем, пожалуй, – сказал он, показывая нераспечатанную бутылку.

Больше всех костёр и водка были нужны Кымыргину. Он спал под открытым небом, спрятав лицо в согнутые руки. Сейчас он одиноко сидел на своей нарте и дрожал всем телом, как родившийся на снег мокрый телёнок, – от холода и сознания своей огромной вины. Поп Синявин заметил это и стал что-то искать возле кибитки. Он разгрёб ногой снег – и все увидели мёрзлые куски русских пышек и несколько гранёных стаканов.

– Старик, надо выпить, – сказал по-чукотски Синявин Кымыргину. – Почему ничем не накрылся, как не замёрз?

– Отец Ляунит, проводник – мой, – вмешался Чайгуургин. – Не выпьет, пока не разрешу. А я не знаю, что с вами случилось, сколько дней вы блуждаете и почему попали в беду.

– Никакой вины его нет! – ответил Синявин. – Мы в дороге три дня, а блуждаем недавно. Я попросил его показать тундру, а потом потеряли дорогу.

– Чтобы он не терял дорогу, я свяжу его и отправлю к исправнику, – грозно сказал Куриль.

– Ну, Афанасий Ильич, зачем ты так круто? Я же сказал: вины его нет. Мы хорошо разговаривали – у него трудная жизнь... кажется, неудачная. Я поил его сам. Не нужно больше об этом. Душами людей, Афанасий Ильич, занимаемся мало. А любой человек – это душа. Вот беды откуда идут.

Чайгуургин поджал хвост. Он-то знал, что на душе у Кымыргина. Обиделся к старости: не удалось разбогатеть.

Но кто ж виноват, что на состязаниях выигрывает хозяин гонщика, а не гонщик. Других правил нет снегов уже тридцать... Но Чайгуургин успокоился: пронесло.

Кымыргин молча выпил, обтёр губы, ушёл к оленям.

Загорелся костёр. Появилась еда – мороженный чир, оленина, юкола и ещё водка. Куриль не ездил пустым. И Чайгуургин тоже не ездил. Поп принёс пирогов, пышек и сала. Дьячок вычистил снегом стаканы. Нарту поставил возле костра. Сели на снег, рядом с нартой-столом.

– Пусть в тундре начнётся новая жизнь. С богом! – сказал Синявин и потянул полный стакан.

– С богом! – ответили остальные.

Ночь езды – это тяжёлое дело. А стакан водки на голодный желудок – это дело весёлое. Куриль и Чайгуургин не успели прожевать мясо, как захмелели. И на глазах подобрали. Куриль подозревал всех троих – Косчэ-Ханидо, каюра и Кымыргина, которые осматривали кибитку перед дорогой.

– Откуда, ке? – спросил он каюра.

– Из Среднего. Там живу.

– Вот где ошибка. Надо было нашего брать, который знает здешнюю тундру.

– Я каюров не нанимаю, – ответил Синявин. – Пантелей Пантелеичу лучше известно, кого посылать. Человек этот надёжный.

«Га! – удивился Куриль. – Исправник наушника приставил к попу. К другу. Вот это дела».

– Да, – сказал он вслух, – в тундре верный человек лучше знающего.

– Он очень надёжный, – повторил Синявин. – Зря волновались.

Закусив, сразу двинулись в путь. Куриль не захотел сесть в кибитку и предложил Синявину ехать на нарте. Он сказал:

– Дом на полозьях, может, и хорошо. Однако наша езда совсем другая. Для памяти надо попробовать, отец Леонид.

В действительности он не хотел разговаривать при каюре, а узнать новости ему нужно было как можно скорей. Синявин, однако, уже ездил на нарте – с Кымыыргинном. Но он всё понял и ответил:

– Что ж, посмотрим, как правит голова юкагиров.

И поп сел на нарту, обхватил Куриля сзади.

Караван тронулся в путь.

Они совсем немного отделились от Чайгуургина и от кибитки – и Синявин сразу заговорил:

– Важное дело меня потянуло сюда. Не крещение...

– Это я понял сразу, – ответил Куриль.

– Ты мудрый человек. Но ты не всё знаешь, и потому поскользнуться можешь... беду накликаешь.

– Я? Накликать беду? – удивился Куриль. – А я ничего не собираюсь делать. Ты окрестишь тундру, я церковь построю. И всё. Это смысл моей жизни. А что же ещё?

Знал он, что Синявин ждёт от него откровения, полной доверчивости. Однако кто же с такой быстротой доверяется! Тем более в большой игре.

Но Синявин, немного подумав, сказал:

– Ничего. Познакомимся ближе – разговоримся. Свою особую власть хочешь в тундре установить?

Это было ужасно.

– Как – особую? – повернул Куриль голову. – Ты страшные слова говоришь. Я это не заслужил.

– Ты слишком стараешься. Больно широко размахнулся. Это настояжало. Надо было потише.

– Не понимаю. Наверно, стар стал.

– Понимаешь.

– Нет. На Рождество-то? Пантелей Пантелеич и ты благословили меня? Я делаю – и виноват? Мне царь медаль прислал – как я могу плохо стараться?

– Ты слишком многое скрываешь, – продолжал поп своё, не приняв во внимание как будто убедительного ответа. – И многое покрываешь. А это разве не настояжит?

– Что я скрываю? Кого прикрываю?

– Ну как же? Шаман плевал на Христа при людях? Он же смуту хотел устроить! Ты не донёс.

– А ещё?

– И ещё скажу. Твоего умного парня – Константина-то ошаманили? Ошаманили. А ты не приехал. И сейчас молчишь. Простил шаману, чтобы чукчи за тебя были?

– Так-так... А ещё?

– Друг твой – чукча, молодой чукотский богач, со ссыльными встречался!

– Так. Ладно. – Куриль стегнул оленей. – Много новостей для меня. А я думал, попы божьими делами занимаются.

– Попы тоже люди. Попы разные. Я волей бога при исправнике оказался, на отшибе, на Колыме, а тут особая жизнь. Никуда не денешься от мирских дел.

Осведомлённость русских потрясла Куриля. Мысли его метались, как стая чаек, попавших в тордох с запутанным онидигилом. У русских были подкупленные люди, а он, северянин, доверчивый, как ребёнок, даже подумать об этом не мог.

Русские опередили его. Обо всём, решительно обо всём догадались. А раз догадались, то и знают, что делать. Это ужасно... Но как поведёт себя поп? От него очень многое будет зависеть. Пока Синявин вроде бы хочет понять и помочь. Надо его одарить с головы до ног. Что ему дать? Песцов? А сколько? Но, может, шкурки дарить оскорбительно для него: от живой твари, воняют, да что шкурки – для носки много ли надо, а менять он не будет... Серебро дать? Или золото? Серебро есть у Куриля, а золота очень мало. «У Потончи выменять? У него золота много. Но он же ограбит...» И вдруг совсем обессилел Куриль: золота мало, а много вещей нельзя подарить – каюр расскажет исправнику, и Синявину веры не будет. Можно бы и каюру дать. Но тогда надо дать и дьячку. Только всё это тоже станет известно исправнику, раз у него в стойбище есть свои люди.

Долго думал Куриль, но наконец сказал:

– Придётся ехать к исправнику. Окрестишь – и вместе поедем. Отдам печать. Ищите другого... тихого. Я устал. Кости просятся в лодку.

Он, конечно, кривлялся. И Синявин знал это.

– Сдать дела, отстраниться – это, любезный Куриль, просто. Однако я удивлён: что же ты не перечишь мне? Неужели не приготовился? Знал, что я еду не просто так, и ничего объяснить не хочешь.

– Что объяснять? Всё неправда.

– Как же неправда?

– Так. Я придержу оленей, а ты оглянись назад. Кто едет последним? Кымыргин должен ехать. А кто перед ним, за кибиткой?

– Кто?

– Ну, Костя мой. Константин...

– Не может быть... Это который нарту руками ломал?

– Который в бубен бьёт и по утрам заплетает косы. Он первым твой караван увидел. А то бы мы мимо проехали. Нарту сломать – это что. У него свадьба скоро, три дня назад он на свадебную охоту ездил – обычай у нас такой, – так он двух волков задушил. Руками. Один волк – чуть меньше оленя...

– Волка руками?

– Усыновил я Костю давно. А воспитывал его мой шурин, первый враг шаманов.

– Ты меня обрадовал, сильно обрадовал, Афанасий Ильич. Утешил. Ну, слава богу. Что ж ты меня не познакомил-то с ним?

– К скромности приучаю, чтоб не лез в глаза.

И Синявин примолк. Он оглянулся ещё раз.

– Хм. Чудно...

– У меня есть враги. Они всякие сплетни пускают, – сказал Куриль. – А что шаман Кака на Христа плевал, то это было. Только он пьяница. Видит, что новая вера бьёт его по рукам – вот, пьяный, и одурел. Но он уже два дня кается. При всём народе хотел себе живот распороть, только опять пьяный был – качался, все видели. И никакой смуты не было. Что, о пьяной болтовне исправнику доносить? Сгоряча исправник застрелил бы его – а на кого народ пальцем бы показал? На меня. Нет, так править я не хочу. Потом, шаман не юкагир – чукча. А это – вражда. Чукчи креститься не стали бы... и так с ними плохо.

– Н-да-а, – пропел Синявин. – Не зря я поехал. Вблизи всё по-другому. Ты меня успокоил. Очень боялся я...

– Чего боялся? Что шаманы смуту начнут? Га, они опоздали. И мало осталось их. За ними народ не пойдёт. Тихо у нас.

– Нет, я другого боялся. Думал, что ты ради крещения тундры решил всё претерпеть, а потом...

– А потом поднять голову? Рога выставить? – досказал Куриль. – Нет, какие у нас рога – солдат нет, врагов царя нет. Только олени рога... Но я не понимаю тебя: сам обвинил, что я прикрываю шаманство и на этом хочу выиграть во вред власти и церкви, а теперь сказал, что боялся за меня и потому сам поддерживать ехал?

– Афанасий Ильич... – со вздохом, как-то загадочно проговорил Синявин, – и ничего не добавил.

А Куриль и не стал ждать пояснений. Он стегнул каргинов и тоже решил помолчать. Ему далеко не всё было известно, но главное, как показалось ему, он теперь понимал. Очень плохо, что русские насторожились и хотят придержать, припугнуть северян. Но к плохому примешалось хорошее: священник Синявин определённо не соглашается с этим. Почему? Кто знает. Может, больно стало за несчастных людей, вымирающих год от года, может, решил предотвратить ещё худшую жизнь, а может, хочет как-то прославиться – получить белую шапку, уехать в Якутск, а исправник ему мешает. Синявин об этом не скажет.

И перепугавшийся Куриль приободрился: большое дело уже началось, и у него есть поддержка.

Они очень долго ехали молча, пока Синявину стало невмоготу: ошмётки снега, летящие из-под копыт, попадали ему в лицо, и он прятал голову, уткнувшись лбом Курилю в шею, от сидения боком спину его ломило.

– Как бы мне пересесть, – попросил он.

– Нельзя. Гнать левой рукой не могу. Немного поедем потише.

Так, потихоньку, они и выехали не то на гребень огромной заструги, не то на перелом тундры. С этого чуть заметного возвышения дорога пошла вроде бы вниз. Теперь надо бы ехать быстрее, но священник Синявин, заметив длиннейший, бесконечный ряд жердей с поперечными крестовинами, разжал руки, освободился от Куриля и сказал:

– Останови. Что это здесь такое? Сроду не видел.

– Путь богу Христу, – натянул вожжи Куриль. Он сразу снял рукавицы, и от его рук пошёл пар.

– Да, постарался, – сказал Синявин, вставая. – Даже перестарался... Догор, – обратился он по-якутски к каюру кибитки, в которой сидели

дычок с Чайгуургином, – поезжай потихоньку вперёд. Ох, Курилов, Курилов! Православной церкви указал путь. В тебя просто влюбиться можно.

– Как дела в Среднеколымске? – спросил Куриль, пропустив мимо ушей похвалу.

– Что Среднеколымск! – вздохнул Синявин. Он проводил взглядом сурово замкнутого Косчэ-Ханидо, глядя при этом лишь на его руки в больших рукавицах. – Река Колыма только отражает небо. А небо мутное.

– Опять из Якутска пришла бумага? И опять с плохими вестями?

– С плохими. На войне-то всё хорошо, говорят. А беспокойство у нас большое.

– Ты можешь рассказать мне всю правду?

– Рассказать можно. Тебе бы кстати-то знать. Да ведь ты человек непонятный. Скажи, Курилов, сколько раз ты собираешься жить?

– Я?.. Юкагиры верят, что можно два раза жить. Но у меня нет кровных детей, значит, и жизнь у меня одна.

– Одна! И у меня тоже... А не боишься ли ты и одной не дожить?

Губы Куриля сразу сжались так, что стали напоминать маленький лук. Он отвернулся от бородатого гостя и пошёл поправлять на оленях сбрую. А когда вернулся, продолжил:

– Мои предки, говорят, пошли от медведя и женщины. Я эрбэчкан. Потому такой видом и нравом. Я только не сосу палец. Другие сосут и потом отмораживают. У меня все пальцы целы. За жизнь ухватился крепко.

– Нет. Ты просто в толк не можешь взять очень многого, – загорячился Синявин, нервно выдирая из бороды сосульки. – Ты со всех сторон под ударом. Ты знаешь, сколько ссыльных у нас и ещё на этапах сколько? А кто эти ссыльные – знаешь? Думаешь, это грабители, которые могут отобрать твой табун? Это учёные, умные люди. Перед иным из них наш Друскин... пень, прости мою душу грешную. А вожди бунтарей пишут в книгах: богачи должны быть уничтожены. У-ни-чтоже-ны! Приезжай – я тебе прочитаю. Думаешь, в ледяную пустыню их ни за что посылают? Здесь, в тундре, ты идёшь вторым за исправником. Это – одно. А с другой стороны вот что. Четвёртого дня Друскин спросил меня: «А не заменить ли нам голову юкагиров?». Ты понимаешь? Я же не понимаю, как ты живёшь, как ты не видишь опасностей!

Куриль устался в голубые глаза попа и, словно в отчаянии, с надрывом сказал:

– А что делать, Синявин! Мы вымираем. Не я, так другой, третий начнёт сопротивляться. Собака старая и та помирать не хочет. А если бунтари умные, как ты говоришь, то почему они меня не поймут?

Синявин с такой силой вздохнул, что это было похоже не на вздох, а на хрипение мученика.

ГЛАВА 21

Пайпэткэ поседела. Поседела среди белого дня, от счастья.

Она шла к Халерхе, когда в стойбище ворвались первые вестовые. Крики «Едут! Едут!» заставили её остановиться, но потом она побежа-

ла, чуть не падая: изо всех жилищ выскакивали люди, надевая на ходу варежки, подпоясываясь, что-то крича и устремляясь в одну сторону – к выезду в тундру возле жилищ богачей. Пайпэткэ влетела в тордох подруги, обняла её, как мужчина, – сильно и горячо – и вдруг ослабла, плюхнулась на пол, на шкуру у очага.

– Ой, да какая же ты счастливая, Халерха! – запела она, откинувшись назад и блаженно раскачиваясь. – Какая ты счастливая! Ум потерять можно от счастья...

– А что там случилось? – Халерха по привычке теребила кончик косы, и руки у неё задрожали.

– Едут. Посланец бога, великий Куриль и твой Ханидо! Одевайся. Жених твой вместе с посланцем бога едет! Неужели это в жизни бывает? Ну что ты стоишь?! А я-то... а я-то какая была несчастная! Как я выходила замуж? Господи! За урода, за грязного старика. Тайком от людей... Господи! – Пайпэткэ сжала руками голову и заголосила по-старушечьи – тоненько и негромко.

Эти причитания и плач не были новостью для Халерхи – она уже привыкла к ним. К тому же несчастная женщина лучше всех в стойбище знала, как неопределённо положение молодой красавицы-сироты. И поэтому Халерха даже не попыталась утешить её.

Она просто сказала:

– Иди одна. Я не пойду.

Слёзы у Пайпэткэ сразу пропали. Она встала и уже как заговорщица-сваха негромко, но напористо заговорила:

– Не пойдёшь – будешь жалеть. Сейчас сам народ толкнёт вас друг к другу. И тогда всё кончится. И Куриль перестанет хитрить, и ты больше не будешь куклой-сироткой.

– Соединит нас народ? – прервала её Халерха. – Как же это случится?

– Так. Не твоё дело. Пурама где ночевал? У Куриля. Думаешь, мы не увидели в этом пользу? Он полночи разговаривал с Ярхаданой. За тебя Ярхадана. Она очень добрая и хочет на старости лет слово своё сказать.

– Пайпэ! Ты разве забыла, что и тебя народ соединил с Сайрэ? А что вышло из этого, а?

– Господи, что ж ты равняешь! Гадкий старик, у которого всё отсохло, шаман кривой и сопливый – и Ханидо! Дура. Ты дура... Хотя нет: я не могла выбирать, а ты можешь. Ты вольная – можешь уехать. Но ты для меня, для меня стань счастливой! Ну, прошу тебя, одевайся. – Она обхватила ноги подруги и затряслась в почти беззвучном рыдании. – Ты только увидишь его – и полюбишь. Посмотри, какой он красивый и молодой. – Пайпэткэ жадно глядела, снизу в её. Но Халерха спокойно ответила:

– Он не пришёл ко мне. Занимается большими делами – и пусть. Не хочу я, чтоб меня толкали к нему. Отпусти меня! А если вы что-нибудь сделаете, я обману всех вас... Вон сколько ребят мимо моего тордоха на озеро ездят...

Пайпэткэ стояла на коленях, опустив голову и плечи.

– Ладно, – сказала она безнадежно. – Как хочешь. Не видишь своего счастья.

– Не вижу, – согласилась Халерха. – И ты не видишь. Не обижайся: не одинаково мы понимаем счастье. А самое большое счастье, которое

люди могли бы сделать, – это никому ничего не навязывать! Почему вы этого не понимаете? Оставьте меня! Какое счастье, если у меня умер отец!

И Пайпэткэ остыла.

– Пойдём просто так, – предложила она. – Все там... А? На глаза лезть не будем.

– В чём мне идти? – вдруг, вопреки своей твёрдости, сказала Халерха. – Шуба какая...

– А... а Куриль тебе не подарил? – удивилась Пайпэткэ.

– Конечно, нет.

– Тогда иди в старой. Пусть это глаза колет всем. И ему.

– Костёр надо снегом присыпать.

И они пошли. Обе в сильно заношенных шубках, но обе такие красивые, такие похожие, что не здешние люди могли подумать, что это знатные, самоуверенные мать и дочь из-за высшей скромности не захотели выделяться в толпе.

Из жилищ продолжали выходить люди. Но это были теперь старики и старухи, которых поддерживали женщины, калеки, которых вели под руки, слепые, высоко поднимавшие ноги и боявшиеся потерять детишек-поводырей; двое безногих, отморозивших ноги, мужчин, тяжело дыша, ползли по снегу без всякой помощи.

Несколько якутов бежало назад, чтобы поскорей надавать пинков собакам, которые подняли невообразимый вой, словно предчувствуя беду.

А у дороги, на выезде в тундру, творилось что-то немыслимое. Смешно и страшно было смотреть на толкучку людей, давивших друг друга на совершенно открытом месте. Как будто на бескрайней пустой равнине существовал какой-то невидимый круг, в котором обязательно должны находиться все и не попавшие в который будто рисковали жизнью. День ушёл за середину, вчерашний ветер почти совсем стих; светило солнце, было морозно. Борясь за место возле дороги, толпа горячо дышала, и ветерок относил чуть в сторону белый трепетный пар.

Властвовал здесь Пурама. В сущности, дел у него было немного – разъединить толпу пополам, чтобы дорога осталась свободной. Сперва он хотел вытянуть эти две половины как можно подальше, чтобы священник Синявин дольше ехал через народ и чтобы всем было видно его. Но толпа жила своей жизнью. Разнаряженные богачи стали впереди всех и лишь усмехались, когда Пурама просил их пройти вперёд, – им не хотелось издалека возвращаться назад, вслед за попом. Ну а простой люд всё прибывал и прибывал и не умещался между белым тордохом Куриля и знатью. Пурама с помощниками-парнями рассекали толпу, но толпа за их спинами тут же смыкалась. Все хотели быть поближе к дороге.

Постаревший охотник к знати больше не подходил, потому что уловил ухом одну как будто уместную и весёлую шутку, но которая в самом деле была оскорбительной: мол, распоряжаться толпой – это вовсе не то, что распоряжаться стадом оленей. Курилю такую шутку никто бы не бросил. И Пурама толкался в гуще простых людей. Духом он, однако, не падал: он знал новость, которую ещё знал только один человек, привезший её и быстро уехавший отсыпаться, – Кымыргин. Если было бы

можно, старик здорово пустил бы её в оборот, стегнув, как вожжами, всех богачей по самодовольным лицам. Но он молчал и лишь напряжённо искал глазами одного парня или его мать, которым он должен был рассказать эту новость.

Пураме нужна была Пайпэткэ, и он увидел её издалека. Бросив дело, к которому, впрочем, никто его не принуждал, он перехватил её вместе с Халерхой на пустыре, возле памятника из оленьих рогов.

– Где твой сын? – налетел он на неё, как сокол намышь. – Где Сайрэ? Я все глаза проглядел!

– А зачем он тебе, Пурама? – не особенно встревожилась Пайпэткэ, зная, что время сейчас хлопотное, и предполагая, что парня нужно куда-то послать.

– Его надо одеть в новую шубу. Его поп в острог, на обучение забирает. Вместе с Ханидо он поедет.

– Ладно тебе шутить. Уж ты-то не считай меня дурочкой. Он тут, в толпе, раньше всех убежал.

Но у Пурамы шапка была на макушке, узкое лицо его не обещало лёгкой улыбки.

– Мне шутить и смеяться некогда! Вон сколько дел у меня!! – кивнул он на толпу. – Говорю: едет он в Среднеколымск. Кымыргин сам от Синявина и Курилы слышал. Они стукнули по рукам, как купцы. Значит, всё.

Пайпэткэ бледнела, всё сильнее и сильнее прикусывая нижнюю губу.

– Ай! – крикнула она, отыскивая рукой опору.

Халерха подхватила её.

– Да некогда мне истерику слушать! – почти закричал Пурама и этим образумил её. – Найди его. Беги в мой тордох. Там, в верхнем мешке у полога, есть шуба – немного приношенная, но хорошая. Одень его – и сюда. Пусть будет у меня на глазах.

Даже в далёком детстве Пайпэткэ так не бегала, как сейчас. И только сумасшедшей она прыгала так, как прыгала позади толпы, высматривая своего сына.

Перестав наблюдать за ней, Пурама сказал Халерхе:

– А ты не слушай её. Свой ум имей. Но сегодня весь вечер никуда не ходи. Поняла?

– Поняла, дядя.

Только вечером Пайпэткэ узнала, что волосы у неё поседели. От счастья люди тоже седеют.

А Халерха попала в самый водоворот. Не успела она приблизиться к шумящей толпе, как возле неё объявились парни, девушки, потом ещё парни – хорошо знакомые, плохо знакомые и совсем неизвестные. Она так растерялась, что совершенно не могла управлять собой. Она лишь видела угодливые и горделивые лица красивых, стройных, разодетых парней да чувствовала, что помимо желания продвигается через толпу всё дальше и дальше.

И она оказалась там – рядом со знатью.

Небольшой караван люди увидели издалека. Увидели сначала кибитку – очень высокую и широкую, и стоило кому-то сказать, что движется божий дом, как по толпе загуляла эта нелепая весть. Но весть

была не совсем нелепой. Над кибиткой вдруг что-то ярко сверкнуло, и не белым огнём, а золотым. Толпа ахнула от удивления и начала тесниться, предчувствуя чудо и боясь этого чуда. А когда стоящие впереди различили оленей, толпа зашевелилась и потекла. Люди бросились вправо и влево, выравниваясь по богачам.

Первой упряжкой правил Куриль, Но все глядели на бородатого человека, который стоял на коленях сзади него. За ними ехал Чайгуургин и второй человек, тоже возвышавшийся сзади. Потом шла упряжка с одним ездоком, наконец – кибитка с большим медным крестом наверху.

Шагах в ста караван остановился. Все ехавшие поднялись с нарт, собрались в кучку возле кибитки, что-то ещё помедлили и потом важно двинулись на толпу.

Всё, что происходило сейчас, было настолько удивительным, что народ растерялся. Все думали, что поп проедет через толпу и скроется в тордохе у Куриля. А тут оказалось, что все движутся прямо в толпу, и пешком!

Первым медленно шагал не сам поп, а его помощник. И хотя дьячок нёс на груди икону в сверкающем ободе, никто понять не мог, почему главный священник идёт сзади него. Это было тем более удивительно, что с иконы глядела женщина, а не Христос. На голове дьячка была шапка с высоким верхом, жидкие волосёнки свисали вдоль щёк, редкая борода пряталась под иконой, голубые глаза терялись в глубоких ямках. Был дьячок худым, угрюмым и как будто больным. Зато совсем по-другому выглядел поп. Толстый, в медвежьей шубе, он светился здоровьем и, казалось, совсем не устал. На его голове сидела круглая шапка-боярка, сшитая из дорогого, не здешнего меха; из-под шапки на плечи спускались волнистые волосы; на животе – ниже густой, огромной, просто чудовищной бороды – висел большой узорчатый крест, сияющий золотом. Однако главное было не это.левой рукой поп нёс дымящий сизым дымом очаг, держа его за золотые цепочки. Он нёс его как-то неосторожно и, страшнее того, вдруг начал встряхивать его и раскачивать, будто собираясь со всего маха кинуть в толпу, а может, и в стойбище... За священником шли двое: справа – Куриль в белой богатой дохе и без шапки, слева – Чайгуургин, тоже без шапки. Последним шагал Косчэ-Ханидо, держа под мышкой две толстые книги, а в опущенной руке шапки – свою и Куриля.

Толпа стояла как заворожённая.

И вдруг шагах в десяти от людей дьячок упал на колени, приподняв икону и спрятав за неё голову. И словно два невидимых существа быстро потянули ремень под ногами толпы, сбивая каждого с ног.

Тундра была на коленях, тундра кланялась новому богу.

– Господи Иисусе Христе, владыка небесный, да исполнилась воля твоя, да прими под десницу свою разноплеменных детей и рабов своих, жаждущих и любящих тебя... во веки веков!.. – Голос посланца бога был густым, как осенняя тьма, и сильным, как рёв медведя.

Смысла чужих слов, произнесённых то скороговоркой, то нараспев, понять, конечно, никто не смог – и от этого страшный, неслышанный голос казался таинственным, неземным. Люди отчаянно кланялись и крестились. Чувство страха перед неведомым было в самой крови северян, и вдруг короткая, оборвавшаяся молитва напрягла всех до преде-

ла. Может, сейчас с неба послышится другой, ещё более грозный голос? Нет, ответного голоса не раздалось – и люди удивлялись: зачем же так грозно разговаривать с богом?

Убедившись, что люди не встанут со снега, пока не будет знака, поп подошёл к дьячку, велел подняться с колен и сразу заговорил. Теперь его голос был ласковым и земным, да и заговорил-то поп по-юкагирски!

Уже первые два слова всех подняли на ноги.

– Дети мои! На вашей земле, в вашей тундре, в ваших жилищах, в ваших семьях и в ваших душах наступил новый день...

– Слаб бо-ог! – раскатисто и протяжно, не дав попу передохнуть, прокричала толпа.

Синявин быстро моргал. Он не ожидал, что его перебьют, он не ожидал, что люди так хорошо подготовлены. Однако что эти люди кричат?! Дьячок, стоявший рядом, повернул к нему голову и открыл рот. Оба они отчётливо слышали: «Слаб бог». Синявин глянул на Куриля, но тот был непроницаем – он смотрел поверх толпы, куда-то за озеро, и думал бог весть о чём. Сан обязывал здешнего властелина духа быть мудрым. Учить или переучивать толпу, тем более возмущаться её поведением, он не мог. К тому же – в отличие от исправника – Синявин не только не испытывал отвращения к северянам, но и глубоко жалел их. Три здешних языка знал он. И всё это, вместе взятое, помогло ему понять, что никакого подвоха тут нет, что люди искренне прославляют Христа. Он прикрыл глаза, давая понять дьячку, что ничего особенного не случилось.

– Православная вера – всемогущая вера, – опять заговорил Синявин, но теперь по-чукотски.

Толпа вскрикнула от удивления. Люди медленно, но уверенно двинулись ближе к попу, охватывая приезжих со всех сторон. Лица их ожили, повеселели. Поднялся одобрителный шум. Поп замолчал, ожидая, пока прекратится движение. Опомнившись, Куриль стал махать руками, останавливая толпу. Когда воцарился порядок, поп продолжал:

– Новая вера сильно изменит всю вашу жизнь. Вы больше не будете жить в сплошном чёрном страхе. Вы будете бояться одного светлого бога, который наказывает только за грехи. Поэтому в промыслах ваших будет больше удачи. У очагов будет больше радости.

– Ла-ай, бог! – закричала толпа.

Дьячок опять вздрогнул и обернулся к Синявину. Он был бледен, как снег. Но Синявин видел до уморы невинные лица, сопливые носы, искрящиеся надеждой и восхищением глаза – и сердито махнул рукой, приказывая дьячку успокоиться. И ещё несколько раз народ прокричал «Слаб бог!» и «Лай, бог!» в ответ на речи Синявина.

Куриль стоял в особенном напряжении. Он не только учился у попа разговору с народом, но ещё и хотел понять, можно ли надеяться на Синявина, на его поддержку и на его защиту. Он знал, что Синявин не желает зла людям Севера, знал, что у него с исправником нет настоящей дружбы, что говорить он может только угодные царю и церкви слова, – и всё-таки рассчитывал приметить никому не приметное. Перед Синявиным столько людей, всё идёт так живо, согласно и складно, но воспринять это можно по-разному. Можно обрадоваться и понять,

можно перепугаться и замахать руками, отрешиваясь. Куриль следил за словами попа, за его лицом, за его движениями. Однако слова Синявина были неожиданно сбивчивыми, неуверенными, мелкими. Да вот он уже и замолчал. Так быстро!.. Уходит...

Синявин, подняв крест на уровень глаз, будто пряча лицо, и, со звоном встряхивая очаг, двинулся прямо в толпу.

«Что у него на уме и на сердце, что он понял, что скажет?» – переживал Куриль, шагая вслед за Синявиным. Его и Чайгуургина окружили знатные люди. У Куриля сильно замёрзла лысина, он надел шапку – и тогда все богачи тоже надели.

А простой люд опять начал падать перед священником. При этом юкагиры вскрикивали:

– О хойтэгэ!

– О хэвкинчэ! – говорили ламуты.

– Айыы таңара! – привычно падали на колени якуты.

А чукчи лишь поражались всему, что видели, и не знали, какие слова сказать великому келе, которому они, однако, не очень хотели верить.

– Гочмей! Какомэй! – повторяли они – и всё-таки падали на колени.

От удивительного очага, которым махал священник, шёл вовсе не дым, а видимый запах. Для северянина запах дыма многое значит и говорит о многом. Сладкий же запах от священного очага хватал за душу, переносил в какой-то иной, не здешний мир...

Шагая среди богачей, Косчэ-Ханидо мало что видел. Мелькали руки молящихся, до блеска вытертые колени штанов, не то потерянные, не то брошенные на снег рукавицы; изредка он перехватывал взгляды, полные растерянности, удивления, беспомощности. И вдруг его словно обожгло кипятком. Халерха! Да, Халерха... Она промелькнула и скрылась, но он видел её. Она в плохонькой дошке, края рукавов блестят, лицо бледное-бледное, глаза – как у ребёнка перед страшной озёрной волной, припухшие губы как будто вздрагивают – может, шепчут молитву. Она скрылась из вида, когда упёрлась лбом в истоптанный снег. В одной ступне от её головы промелькнули ноги шагающих богачей, и на спину ей полетел грязный снег. Как же так получилось, что он, Косчэ-Ханидо, друг её детства, шагает в тесной толпе самых богатых людей, рядом с Петрдэ и самим Тинальгином, а она, круглая сирота, осталась там, в толпе бедняков и калек? У него защемило сердце. Куда понесла его жизнь? Зачем? Как он мог согласиться на это?

Продолжая шагать, Косчэ-Ханидо вдруг до отчаяния возненавидел всех и каждого в отдельности, кто важно шёл впереди, по бокам, сзади. «Вот все они вместе, – жестоко рассуждал он. – Они говорят разные слова, ругаются, что-то доказывают, враждуют, но вот все они вместе, и с ними – поп, крест, новая, никому не понятная вера. Сила у них, вся сила у них. Куда от неё денешься, что против неё сделаешь?! И я среди них. Почему я среди них? В грехах – вот почему. Честного не примут к себе!»

Сильный треск костра, налёты жаркого воздуха, клубы дыма в безоблачном небе ещё сильнее распалили чувства и мысли Косчэ-Ханидо. Солнце заметно свалилось к закату.

О великий бог! – на разных языках понял, что произошло самое ужасное, чего он никак не ожидал: Куриль уходит, Куриль переломился. Всего несколько дней назад Косчэ-Ханидо слышал такие бодрые, та-

кие горячие и молодые слова, полные решимости, самоуверенности, – и вдруг всё это забыть... Догадка была простой и верной: там, в тундре, Синявин сказал Курилю что-то такое, отчего и произошёл перелом. «Исправник... убирает его с дороги, – решил он. – Потому и приехал не поп из Нижнего, а он, Синявин...»

Косчэ-Ханидо был прав. Беспощадная истина перешибла вожака юкагиров, как палка сосульку. Конец дружбе с исправником. Пантелей Друскин бесконечно двуличен, жесток и неприступен. И что бы теперь ни говорил поп Синявин, как бы ни защищал его, а исправник – это исправник.

Плохо, совсем плохо стало на душе Косчэ-Ханидо. Огромный, богатый тордох как будто начал разваливаться...

И тут совсем некстати закричал Петрдрэ:

– Да, видно, к тому оно и идёт. Я говорил... Раз уж оно дело такое: божий дом, ярмарка, книжки, божьи и царские люди. Тут голова должен и писарем быть. Только больно он молод...

Это прямо касалось Косчэ-Ханидо, который как раз и должен ехать учиться на писаря: как сказал в дороге Синявин, на попу должен учиться человек помоложе. Все богачи уже знали, что приёмный сын Куриля не будет попом.

– Так ведь старого писаря где найдёшь! – ответил старику Петрдрэ Тинальгин. – А молодой – как раз хорошо. И парень он добрый. Я не забуду до смерти, как он осчастливил меня – сто, нет, кажется, полтораста оленей спас для меня. Сколько их было, нинхай?

Тинальгин явно заигрывал. Он как будто забыл, что оленей было около ста и что Косчэ-Ханидо обманул его. Не услышав ответа, он продолжал:

– Мы так и должны – помогать друг другу. Ляунит правильно это сказал.

И тут Косчэ-Ханидо сорвался.

– Кому я сделал добро? – высоко поднял он свои приметные брови.

– Мне. Неужели забыл? Год был какой, а ты меня пожалел. Мог бы мимо пройти.

– Я оленей спасал. От волков. А делать тебе добро, жалеть тебя я не собирался. Старик Тинальгин забыл, что в тот день он меня, моих мать и отца отправлял в могилу.

Он встал, схватил с сундука шапку и быстро исчез из виду, оставив двух стариков-богачей и всех, кто слышал его, немыми, растерянными.

А что ему было терять! Что мог сделать ему Петрдрэ – дядя вдруг ослабевшего Куриля: всё равно учиться пошлют. Ну, а Тинальгин съел и может обтереться: не ему лезть с жалобой к Курилю. Остальные же ссору поймут как она есть, и даже злорадствовать будут.

Нанюхавшись ладана и свечной гари, Косчэ-Ханидо прямо-таки удавился о свежий морозный воздух.

Ох, как хорошо было на воле! Солнце уже укатилось в дальние земли, а луна ещё не взошла, однако было светло: огромный костёр полыхал во всю силу. Пламя прыгало, озаряя вверх белую тучу дыма, по красному снегу метались длинные тени – вокруг костра толпился народ. Там громыхали бубны, то стихая, то усиливаясь, оттуда неслись чёткие, складные голоса – и всё это значило, что народ начал хороводить.

Немного подумав, Косчэ-Ханидо зашагал к костру. Рассудил он отчаянно: «Да завалился бы он, этот тордох! Кто я им – сосунок? В таком мире послушником не проживёшь...».

И всё-таки хороводить он не пошёл. Ноги сами свернули вбок, в темноту, туда, где жили чукчи. К кому же с такими плохими вестями было идти, если не к Ниникаю!

Он не знал, где живёт Ниникай, но ярангу богача всегда найти просто. И он сразу нашёл её. Однако яранга была пуста. Не раздумывая, Косчэ-Ханидо направился в противоположную сторону – ближе к берегу, к Пураме. А вот тордох Пурамы ничем не отличался от всех других. На том месте, где он раньше стоял, вообще ничего не было. Да ведь юкагирские жилища к хотонам¹⁰⁶ не привязаны, как якутские: за три года сколько было перекочёвок!.. Заходить-спрашивать он не хотел, чтоб не нарваться на разговоры и не застрять.

И ушёл Косчэ-Ханидо в тундру, на крутой берег озера. Там он встретил восход луны, там и обдумывал своё будущее.

Теперь у него была почти полная определённости: он не будет попом – и это, наверное, хорошо. Какой из него поп?! Надо скорее налаживать жизнь: привозить родителей, ставить тордох, получать от Петрдэ сто оленей – а он их пригонит, теперь, с перепугу, пригонит быстро. И потом собираться в дорогу, в новую жизнь. Что ещё? Да, сватовство... Даже не сватовство – сперва просто встреча. Ох, как тяжело ему было идти к Халерхе! Но надо, и как раз надо сегодня идти. Иначе будет ещё тяжелей.

К Халерхе он пошёл поздно – всё ждал, когда начнётся самый разгар хороводных плясок у большого костра, когда всем будет не до него и не до Халерхи.

И он только поравнялся с крайним тордохом, как нарвался на неожиданность.

– Апанаа, праздник плохой: купцы горькую воду придерживают.

Шагах в десяти стояли два мужика и Куриль. Косчэ-Ханидо присел рядом с нартой, приставленной к жерди.

– Это я приказал, – ответил Куриль мужикам, – чтобы вы без штанов не остались.

Сказал и пошёл. У него что-то под мышкой – не то большой свёрток, не то неполный мешок. «Куда это он?» – удивился Косчэ-Ханидо и из любопытства быстро, но осторожно двинулся в ту же сторону, прячась за каждый тордох. Но долго прятаться не пришлось: Куриль свернул влево, туда, где жила Халерха. Уж тордох Халерхи Косчэ-Ханидо знал. «Подарки понёс. Надо же, вспомнил... Увидел её в залинялой шубе – совесть проснулась? А может, другое – может... сватать пошёл?»

Он нерешительно поплёлся назад, отыскивая свой след на озёрный берег.

Было похоже на то, что Куриль круто переменял решение. Если среднеколымские власти угадали его намерения и резко осадили его, то теперь надо, конечно, браться за простые дела. «Наверное, свадьбу затеет, чтобы опять как-то себя показать, чтобы люди от него не отвернулись», – рассуждал Косчэ-Ханидо.

Большой костёр в тундре – большая редкость. Топлива мало, и за-

¹⁰⁶ Хотон – хлев, коровник (якут.).

готовить его непросто. Вообще сама жизнь в тундре заставляет делать только необходимое. А большой костёр – это лишь развлечение. Без огня на Севере не прожить. С обыкновенным костром связана вся история здешних народов. Когда-то, в давние времена, предки улурочи все были равными и все зависели от охоты и рыболовства. Это были совсем уж печальные времена. Сойдутся охотники – оба голодные, и угостить нечем друг друга. Но разойтись, как звери, они не хотели и не могли. И тогда зажигали костёр. Огонь согревал их, у огня можно было потолковать, посоветоваться. В те времена северяне и научились слушать костёр и с огнём разговаривать. Огонь может возражать человеку или подтверждать его мысли; в костре что-то пищит, и пищит по-разному: писк бывает протяжный и жалобный, а бывает короткий, отрывистый – значит, согласный, вселяющий веру. Постепенно улурочи начали заниматься оленеводством. И жизнь как будто улучшилась. Но к добру всегда прилипает зло. Появились лень, жадность и зависть, один человек стал нанимать другого в работники. Появились богачи, шаманы и всякие проходимцы. И огонь снова стал согревать голодных, помогать бороться за жизнь.

Но жизнь без радости разве жизнь? И люди опять обратились к огню. Большие костры стали у северян ритуальными. Их зажигали дважды в году – в день пробуждения солнца, после круглых ночей, и весной, когда солнце и ночью уже не скрывалось за горизонт. В больших стойбищах устраивали кое-когда ещё и костры дружбы и счастья, а вернее, надежды на счастье.

И всё-таки большой костёр – редкость. Ритуал не всегда исполнялся, а повод повеселиться, похороводить часто сжирала беда или несчастье.

Самоуверенный, размахнувшийся голова юкагигов не предвидел беды, свалившейся на его огромный тордох. Но что делать – не тушить же костёр, не разгонять хоровод. Тем более, что Синявин захотел посмотреть на танцы.

Сытые, подвыпившие богачи вышли из белого храма-тордеха и сразу остановились. Много людей, отойдя от костра подальше, глядело вверх, и они тоже стали глядеть. Зрелище было величественным и таинственно-страшноватым. Дым от большого костра разделился: белый, тяжёлый клубился тучей, освещённый самим костром, а лёгкий, тёмный, курчавым столбом уходил в вышину и невесть где терялся. Да тут ещё хмуро светила луна – красная, с чёрным ущербом. А по земле, по истоптанному снегу метались тени от каждого человека, а вокруг костра под грохот бубнов и выкрики колесом ходил хоровод... Всё это так действовало на Синявина и на дьячка, что оба они, глядя в небо, невольно перекрестились. Они перекрестились, не обратив внимания, что на них смотрит множество глаз. Люди вдруг начали падать на колени и тоже креститься. Даже несколько богачей опустилось на снег. И только теперь Синявин понял, в чём дело. Ведь это тундра через огонь и дым дотянулась до неба – и раз попы крестятся, значит, в этом огромный смысл.

Но последствия оказались ещё более удивительными. Один из юкагигов бросился к своему тордоху, схватил нарту и, подняв её над головой, понёсся к костру. Он прорвал круг хоровода и бросил нарту в огонь. Туча искр шагнула вверх. И тут от костра в разные стороны по-

бежали люди. И не успел Синявин опомниться, как народ уже тащил к огню всё что попало, – жерди, ровдуги, чурбаки, запасы тальника. Поднялась суматоха. Люди у костра визжали, кричали, прыгали.

– Что происходит? – испугался Синявин. – Что они делают? За нарту же целого оленя отдают на ярмарке! Останови их, Куриль.

– Не остановишь. Людей страсть охватила. Это дань богу... Христу.

– Но они всё пожгут! А они очень бедны – я уже это увидел. У них всё на счету. Останови.

– Ничего. Этим от нищенства не спасёшь. Да ты не бойся: хлам пожгут – легче кочевать будет.

Нехорошо стало Синявину. И он решительно зашагал к костру, явно намереваясь образумить народ. И только теперь богачи и их люди побежали вперёд.

Остановили, успокоили они охваченных истеричной страстью к большому огню северян.

Синявин хотел уйти. Но Куриль остановил его и тоже успокоил:

– Ничего. Всё хорошо. Сейчас будем плясать.

А толпа уже плотным кольцом стояла вокруг костра.

Куриль толкнул Константина Татаева – ламутского голову, известного танцора и хороводника. И для него этого было достаточно. Он вышел вперёд. А раз вышел Татаев, то, наверно, и у калек, усевшихся на снегу, зачесались давно отмороженные ноги. Ламуты, юкагиры и даже чукчи – мужчины и парни, женщины и девочки – тут же бросились в круг, разорвали его и тоже схватили друг друга за локти. Громко, с многозначительными, дружными перерывами ударили бубны. Хоровод качнулся, закричал и завертелся по истоптанному снегу.

Это был старинный ритуальный танец с криканием, выкриками слов и фраз, которые произносил ведущий. У танца-хоровода история была длинной и сложной. За много-много лет ничто в нём не изменилось, кроме слов, которые обновлялись из поколения в поколение. Слова в точности не повторялись, но смысл их всегда сводился к пересказу жизни простых людей, их надежд, пожеланий, радостей. А у криканий был свой, добавочный смысл: всё в этой жизни даётся с большим трудом. Танец-хоровод долгие годы был общим для юкагиров, ламутов и чукчей. Но вот уже лет шестьдесят чукчи не танцевали его, ламуты на Индигирке возродили свой старинный танец «хэгэ». Виноваты были шаманы, а больше всех юкагир Сайрэ. На людской вражде, на больших скандалах, на межродовых подозрениях жирели шаманы, на всём этом они верней всего обретали славу и власть. ещё молодым шаманом Сайрэ сказал юкагирам: «Не позволяйте чукчам плясать вместе с вами, гоните чукотских шаманов от юкагирских костров». И танец дружбы зачах. А вот теперь с божьей помощью он воскрес.

Как живое, прочное колесо, хоровод то убыстрял, то замедлял бег. Колесо это хоть и кричало, но вертелось оно весело и легко. Словно на сильном ветру раздымались подолы чукотских кукашек, юкагирских дох и ламутских передников. В воздухе так и сверкали щетки – подошвы. От напряжения, от жары лица быстро покрывались потом. За Татаевым трудно было угнаться: ламуты издавна были оленеводами, всю жизнь они бегали за оленями и кричали, оттого они неустанные, лёгкие, громкоголосые. Татаев не плясал, а летал, да ещё успевал при-

думывать и выкрикивать изречения. Хоровод прославлял бога Христа, отца Леонида, мудрого Куриля, заверял светловолосого бога, что деревянный дом для него будет скоро построен...

Синявин рукой обнимал Куриля и беззвучно плакал. Слёзы текли мимо большого носа и пропадали в густой бороде.

Промокнув глаза белым платком, он вдруг сказал, отдавая дьячку рукавицы:

– А что, разве мы уже хуже других? Плясать, хороводить – не грех.

Будто предвидя это своё желание, поп в тордохе успел переодеться. На нём была сейчас заячья шуба, на ногах – лёгкие торбаса. Вот только бороду он не сменил, а то бы его не узнать.

К этому времени многие обессилели. Женщины выходили из круга, хватаясь за сердце и вытирая пот рукавицами. А иные не пот вытирали, а слёзы: танец напоминал им далёкое детство.

Куриль и Синявин плясали рядом, держа друг друга за локти. Оба они крихтели, оба повторяли слова прославления бога и великого божьего дела. Синявин легко приспособился к танцу и уже не обращал внимания на слова Татаева, который кричал во всю мочь: «Теперь люди Севера будут счастливыми навсегда...».

И народ ликовал. Шутка ли, божий посланник вместе со всеми и в обнимку с их вожаком пляшет.

Поп и Куриль устали довольно быстро – слишком толстыми, жирными были они. Устал и Татаев. И все трое вышли из круга.

И снова напоказ людям Синявин обнимал и чуть ли не целовал Куриля.

Пока отдыхал Татаев, набираясь сил, чтобы плясать с одними ламутами, в круг вошёл Ниникай. Он был тоже навеселе. Все знали, однако, что Ниникай хороводит почище Татаева, и толпа даже вскрикнула от удовольствия: опять предстояла горячая пляска.

Дробно застучали бубны, опять призывая людей смотреть и слушать. Начался новый танец. Куриль и Синявин насторожились; Синявин даже стал мять и выкручивать рукавицы.

А Ниникай громко, с напевом заговорил:

– Люди холодной тундры, солнце не балует нас ни теплом, ни светом. Давайте соединим наши костры и согреем сердца... Один ледяной ветер сечёт наши лица и души. Давайте в обнимку жить, как в этом танце, и ветер не одолеет нас!

– Это ведь Ниникай? – спросил поп.

– Да, отец Леонид. Он молодой, но мудрый. Для светлой веры очень многое сделал.

– Да, да, я припоминаю, как он крест целовал...

– Он людей к братству зовёт.

– Это хорошо. Это угодно Христу. – Поп помолчал, потом спросил: – Ты, кажется, в дружбе с ним был? Почему в гости его не позвал?

– А... в гости?.. Только приехал он. В Булгунях я его посылал, – соврал он.

– Это туда, где храм будем строить?

– На примете три места. Он объезжал.

– Ну и отлично.

– Победа, победа, победа! – кричал Ниникай. – На Малом Улуро весна. Победа, победа, победа! В пути заблудился Апанаа...

Раздался хохот. Не громкий и не всеобщий, но всё-таки он говорил о том, что народ понимает, куда метнул аркан Ниникай.

– О господи! – шутливо взмолился поп, поворачиваясь спиной к хороводу. – Я, однако, устал. Пошли, Афанасий Ильич. Ниникай твой лишнего выпил и тебя со мной путает: заблудился-то я!

ГЛАВА 23

Косчэ-Ханидо осторожно пошевелил ладонью истёртую кожу-сэ-спэ, нерешительно потоптался у входа.

– Пайпэ, это ты? – раздался голос. – Заходи, я ещё не ложилась.

– Халерха, – сказал Косчэ-Ханидо, не просовывая головы, – это я. Ты не могла бы выйти сюда?

– Кто «я»? – не узнала она грубоватого голоса.

– Ну я: твой жених, твой дьявол, друг, враг, ну, не знаю, кем я тебе довожусь, – Ханидо.

Не последовало никакого ответа. Ни звука, ни шороха. Эта тишина тянулась так долго, что Косчэ-Ханидо почувствовал боль в пятке, как будто полдня простоял на одной ноге.

Наконец какой-то другой голос сказал:

– Заходи.

В тордохе тлела кучка углей, рядом, на чурбаке, горела свечка. Халерха сидела на шкуре и шила доху, протянув ноги к углям. У чурбака лежали обрезки меха – и это говорило о том, что она уже давно так сидит. Она глядела прямо в лицо Ханидо, который сделал два шага и опустился на пол, смущённо отыскивая предмет, на котором можно было бы остановить взгляд. Лучше всего было смотреть на пламя свечи.

– Малаак¹⁰⁷, – сказала Халерха, – значит, пришёл, жених?

Косчэ-Ханидо болезненно пошевелил одной бровью и отвёл глаза в сторону. «Гы, чего она смотрит в лицо, как шаманка, – подумал он. – Женихи к смелости приучили?» Но тут же моментально смягчился: у неё ни матери, ни отца – смелость от незащитности.

– Что ты шьёшь? – спросил он.

– Шубу. Себе. Не хватало собачьего меха, а вот принесли.

– Та-ак. Передник, наверно, красивый. Покажешь?

– Как у всех. Шуба лёгкая – осенние оленята. Камешки вшила – подол будет казаться тяжёлым. Завтра можно свадьбу справлять...

Косчэ-Ханидо поиграл желваками скул.

– Я знаю, что заслужил твои злые насмешки, – сказал он. – Только и ты должна понимать меня: всё без моей воли делается.

– Богатырь не имеет воли, – сказала Халерха, брезгливо скривив пухлые губы. – Удивительно. Ты, значит, считаешь: у тебя нет воли, у меня нет воли – и мы сойдёмся, и будем такими жить, и будут нами распоряжаться кому как захочется?

– Халерха! У меня есть воля. И посильней, чем ты думаешь. Я, наверно, последний раз с тобой разговариваю вот так. Потом если и будут разговоры, то совсем другие. Я скоро уеду – надолго, ну, а ты – я вижу – уедешь раньше меня.

Маленькие глаза Халерхи округлились в раздавшихся щёлках, рука

¹⁰⁷ Малаак – «ну» или «ну давай».

как будто сама отложила в сторону шубу, а высокая грудь подобралась, словно из неё сразу вышел весь воздух. А Косчэ-Ханидо, напротив, подался вперёд, растерянно сощурил глаза и сдвинул брови. Не зная причины её неожиданного испуга, он о чём только не подумал в этот момент – и о том, что Халерха, может быть, с самого детства любит его, и о том, что он причинил ей ужасную боль, ей, сироте, ещё не выплакавшей всех слёз по отцу. Но он ошибался.

– Вот ты, значит, какой! – проговорила она, уже презрительно щуря глаза. – Вечером присылаешь свата, а к ночи являешься сам и говоришь, что даёшь мне свободу? И это ты назвал большой силой воли.

– Какого свата я присылал! – отшатнулся Косчэ-Ханидо. – Ты... ты... что? – Он не находил слов, боясь обидеть её и в то же время подозревая, что – да, могла произойти пакостная история. И, чтобы заранее отвести от себя ненависть, он добавил: – Я не научился ещё быть подлецом.

Но Халерха не отвечала ему. Она была уже на ногах – возле полога. Косчэ-Ханидо ожидал, что она скроется от него и на этом всё кончится. Но произошло другое. Халерха откинула полог, что-то взяла и повернулась к нему.

– Это чья рукавица? – спросила она, быстро приближаясь к нему. – Левая, от сердца...

Косчэ-Ханидо уже стоял на коленях.

– Моя... Да, моя... Ярхадана мне новые подарила. Её Куриль тебе передал?

– Куриль. Что теперь скажешь?

– Я могу поклясться богом, матерью, отцом: это он сделал сам, без меня. Я как раз на коленях – хочешь, переkreщусь? Или давай побегу за ним...

Халерха оттаяла. Жалкие плечи её облегчённо обвисли. Но радости на лице не появилось.

Она положила рукавицу на чурбак возле свечи и опустилась на прежнее место.

– Дай мне её, – потребовал Косчэ-Ханидо, на коленях перебираясь к свече. – Ты никому не сказала? Если нет, то никто и не будет знать.

– Сиди. Я верну её, как обычай велит.

– А как он велит? А-а, понимаю... Ты должна отвергнуть меня, и чтобы люди об этом знали? Ну что ж, я согласен. Мне все стараются побольней сделать.

Между ними был всего один шаг. И была между ними пропасть. Оба они чувствовали и то, и другое. И оба только сейчас начали смотреть друг на друга то со смелостью друзей детства, то со страхом созревших людей, знающих, что может между ними случиться, то с любопытством сверстников, ищущих перемены один у другого.

А сердца-то у обоих стучали! И сильно стучали.

Косчэ-Ханидо вдруг увидел вокруг Халерхи много трепещущих огоньков, блеск серебряных и медных подсвечников, а позади всего этого – богатые, высокие пологи. Её лицо было таким белым, таким нежным, чистым и аккуратным, что от него как будто исходил еле заметный свет, – и Косчэ-Ханидо поневоле вспомнил другое, не такое скуластое – неживое лицо матери бога Христа, вокруг которого тоже был свет... И тут, забыв обо всём, он оглядел Халерху со смелостью

мужчины, который должен поверить своим глазам. Косой пробор на голове и за спиной две толстые косы – значит, распушив волосы, она сваливает их набок, наклоняет голову и... смеётся, зная, что любой человек от изумления вытаращит на неё глаза. Да нет, она теперь не умеет, наверно, смеяться. А если б умела? Ведь можно же вернуть ей радость! Только ни один красавец-ламут, ни один муж-богач быстро не заставит её радоваться. Брови у нее чёткие, без пушка, нос прямой, по щекам не расползся, рот маленький, губы припухшие... Косчэ-Ханидо ещё мальчишкой слышал от ребят, что русские прижимаются друг к другу губами, если хотят пожениться. Он смеялся над таким странным и, наверно, нехорошим обычаем. Сейчас он вспомнил обо всём этом лишь после того, как невольно ощутил дрожь во всём теле – никогда не испытанную, слишком приятную дрожь: ведь эти припухшие губы могут коснуться его щеки или лба... А грудь Халерхи опускалась и поднималась, и он, не успев погасить одну дрожь, уже чувствовал другую, более сильную... И совсем его смутила неожиданная перемена глаз Халерхи: ведь она встретила его неприятным, каким-то не юкагирским, чересчур смелым взглядом, а теперь глаза её больше прятались от встречи с его глазами, и был в них диковатый испуг оленёнка, который боится поглаживания.

Не мог даже представить себе Косчэ-Ханидо, как сильно переживала сама Халерха эту перемену своего состояния. Она очень хотела сохранить ту же выдержку, которой вполне хватило на всех женихов и которая позволила ей с достоинством встретить суженого. И всё дело-то было в его грубых больших руках да в острых бровях, которые взлетали концами на лоб. Ей было страшно представить, что эти руки обхватят её. Она тогда пропадёт, она потеряет все силы, она перестанет быть Халерхой. А эти брови, как два крыла падающей птицы, будут распахнуты над всей её жизнью – над жизнью безвольной и не самостоятельной.

Угольки в очаге уже покрылись пеплом, а они всё молчали. Косчэ-Ханидо нашёл как отвлечься: он начал разглядывать верх жилья Халерхи. Ровдуга была двойной, старая оказалась внизу, и на ней было столько заплаток, что думалось уже не о самой Халерхе, а обо всей её жизни.

Она заметила, что к нему вернулось самообладание, и сказала:

– После смерти отца я больше всего стала бояться, что моей жизнью будут распоряжаться другие. А как же так получилось, что даже тобой распоряжаются?

– Почему ты так думаешь?

– Ты сам сказал. Да и теперь – тебя начали сватать и даже не предупредили.

– Куриль? Он... как бы это сказать... В нём человечности мало. Для людей старается большие дела делать, а человека и забывает.

Халерха вздохнула.

– А бывает хуже, – продолжал Косчэ-Ханидо. – Не считается с человеком, согнуть его хочет. Мне Пурама сказал, что тебе надо говорить всю правду. Не обижайся на мои слова, но я не хотел... свататься. И Куриль отговаривал меня. А потом... ну, почуял он, что выгоднее сблизить тебя и меня, и схватил рукавицу.

– Я тебе сразу поверила, – ответила Халерха. – Со мной он так же.

Теперь вздохнул Косчэ-Ханидо.

– Но ты не думай, что Куриль всегда мной будет распоряжаться, – сказал он. – Я и пришёл об этом поговорить.

– Постой. Иди, Ханидо, принеси тальника – холодно, – сказала она просто и ласково. – А я чаю согрею.

Косчэ-Ханидо не пошёл, а прямо-таки сорвался с места. Ласковый голос, простота просьбы словно отсекали его жуткое прошлое, всю его жизнь в напряжении.

Оказавшись под звёздами и луной, он почувствовал такую лёгкость в душе, что лишь опасность оказаться услышанным в соседних тордо-хах удержала его от нестерпимого желания засмеяться на всё оледенелое озеро.

А Халерха в это время плакала. Чайник у неё был с водой, она быстро повесила его над очагом и тут же ушла за полог, прикрыла лицо ладонями и зарыдала.

Нехитрые хозяйские хлопоты позволили им прийти в себя.

Когда разгорелся костёр, они сели так же, как и сидели до этого.

– Ты сказал, что дядя Пурама велел тебе говорить правду, – начала она. – Ты знаешь, мой отец умер плохо – с подозрением. Ему сказали, что ты шаманил.

Лицо Косчэ-Ханидо сразу стало холодным. Проклятие! Ну вот только что всё было хорошо, ладно – и вдруг это напоминание... Сколько же раз он говорил себе – не надо ничему радоваться, ничему! Потому что в жизни всё хорошее скоротечно и ненадёжно, как запас пищи в голодный год.

– Не шаманил я! – сказал Косчэ-Ханидо, но сказал слишком резко. Руки его начали беспокойно оправлять костёр. Своего раздражения он и не заметил бы, но на него смотрели упрямые и недоверчивые глаза Халерхи. И тогда он понял, что надо выкручиваться. – Ты же знаешь, что этим слухом Кака хотел навредить Курилю! Разве ты не понимаешь, что новая вера бьёт по шаманам?

– Но он всё-таки навредил, – заупрямилась Халерха. – На попа будет учиться Сайрэ, а не ты.

Косчэ-Ханидо впервые услышал такое истолкование новостей, но он не растерялся.

– Никому он не навредил – себе навредил! – сказал он, но опять сказал чересчур раздражённо.

– Да ты что это злишься? – прервала его Халерха, ещё больше насторожившись.

– Народ ничего не знает, а рассуждает. – Косчэ-Ханидо поднял глаза на Халерху, и смутился: в своей настороженности невеста его была так непосредственна, так глубоко озабоченна и так красива, что резкий разговор мог непоправимо обидеть её. – Я перерос, – смягчился он, – лет мне больше, чем нужно. А Сайрэ моложе. И ещё ты должна знать... одну правду. Мне Куриль сказал, что я буду учиться не на попа, а на его помощника. Я к этому и готовлюсь. Тундре нужен учёный человек.

– Люди всё равно говорят, что бог Христос не хочет тебя в свой дом впускать, – стояла на своём Халерха.

– Ну и пусть говорят. Люди не знают, что им не поп нужен, а учёный человек с большой властью.

– Зло учёностью не побьёшь, – вздохнула Халерха. – Но бога зло испугается.

– А я знаю, что зло никакого бога не боится, – сказал Косчэ-Ханидо. – Знаю. Даже бывает, что зло с хорошей верой объединяется.

– Ты опасные слова говоришь!

– А, опасные... На что я решился – там всё опасно. Попы не только богу подчиняются, но и власти. Я целый день был с попом Синявиным и теперь знаю это. Тут дядя Пурама всё правильно мне говорил.

– Значит, Сайрэ будет Курилю подчиняться? – быстро заморгала красивыми глазками Халерха. – Вот не думала.

– Мне он будет подчиняться, – сказал Косчэ-Ханидо. – Сегодня Куриль всем богачам – при Синявине и дьячке – сказал, что как построит церковь, так перестанет быть головой. А к этому времени и я выучусь. А чтобы не опоздать, я буду очень быстро учиться.

– Неужели Куриль уходит?

– Сказал так. Я, правда, ещё не совсем верю в это. Он хитрый. Ты, Халерха, не говори никому, потому что в том мире всё на тайнах держится.

– Господи, зачем же я буду тебе вредить! – быстро перекрестилась Халерха.

Она приподнялась и палкой сняла закипевший чайник.

– Подожди, я хочу слушать тебя, – сказала она, уходя за посудой. – Мне тут Куриль гостинцев принёс. И сахар, и сладости мучные, и чохон, и даже какие-то сладкие ледышки в бумажках.

– Ох и старик, – многозначительно вздохнул Косчэ-Ханидо. – Задабривает! Он лучше бы в голодный день мяса прислал.

– Ты слишком злой, Ханидо. Это просто подарок при сватовстве.

– Нет, задабривает! Меня через тебя задабривает. Сказать почему? Без учёного помощника он ничего русским властям не докажет. Я ему очень нужен.

– Я вижу, ты любишь похвастаться.

– Я говорю что есть.

Халерха села совсем рядом с Косчэ-Ханидо – так, что, разливая чай, она стала касаться локтем его руки. Когда-то она была смелой девчонкой. Сейчас из-за этой её смелости у Косчэ-Ханидо заколотилось сердце и застучало в висках. – Скажи, а зачем учёность нужна? – спросила она. – Научишься ты выводить ниточки на бумаге – что из того?

– Из этого очень многое. Всё из этого. – Близость Халерхи придала ему отчаянной храбрости. – Я всё перепишу на бумагу. Всё. Ум человека не удержит того, что удержит бумага. На ней можно счёт записывать. Я буду каждый год записывать, сколько юкагиров рождается, а сколько умирает. Куриль говорит, что юкагирский род может совсем пропасть. Мы царю напишем об этом.

Измучённая этими рассуждениями, Халерха замерла, немо уставившись на друга детства.

– Какой ты умный, – прошептала она.

А у Косчэ-Ханидо от похвалы, от этого её изумления вдруг стали мутнеть глаза. Все мысли исчезли, тордох зашатался. Он глядел ей в лицо и чувствовал, что плывёт к Халерхе. Горячая чашка жгла ему руку, а он не отпускал её и всё плыл, плыл к испуганному покрасневшему лицу, к высокой груди, к маленьким ногам, хотя и плыть-то некуда было, потому что сидели они совсем рядом.

Халерха уронила чашку и, словно обварившись, вскочила на ноги.

Она не вскрикнула и далеко не отбежала. Их разделила тучка пара. Он видел, как Халерха тяжело дышит, приложив кулачки к горлу.

Он опустил голову, медленно поставил на доску чашку.

Молодые сердца, души, рассудки были сейчас напряжены так, что если бы ураган перевернул тордох, то ни она, ни он, наверное, не обратили бы на это внимания.

А было уже очень поздно. В тордох не доносились песни, крики и хохот, не слышно было и скрипа снега под ногами людей. Только на все голоса брехали собаки.

Собачий лай и напомнил им, что стойбище уgomонилось и спит.

Медленными шагами Халерха приблизилась к Косчэ-Ханидо. Он не поднял головы. Тогда она опустилась рядом с ним на колени и положила руку на его шею.

– Ну что с тобой, Ханидо? – ласково заговорила она. – Так хорошо рассказывал – и вдруг...

– Не знаю. Одичал я, наверно, совсем. Одиночество... Всю жизнь в одиночестве... Плохо мне. Я пойду.

– Ты никогда не обижай меня, а? Ведь я сирота. Тётя Пайпэ рассказывала, что Потонча обещал ей золото, обещал уплыть с ней через море на счастливую землю. А чем всё кончилось? Ты занят большими мыслями и большими делами, ты будешь в остроге жить, станешь учёным и очень богатым. И сам не заметишь, как я не буду нужна тебе.

– Ты всегда мне будешь нужна. Всю жизнь! – сказал Косчэ-Ханидо и повернул к ней лицо, полное мужской муки и счастливого унижения.

– Но ты ведь не любил меня. Ты и свататься не хотел. А как доказывал только сейчас, что пришёл проститься! Значит, просто ум потерял на время. Пройдёт это, пройдёт, милый.

– Знала бы ты, чем были заняты мои мысли, мог ли я о тебе много думать.

– Ты Расскажи – может, я и пойму. Или тайна какая? Ты кругом в тайнах.

Рука Халерхи лежала на его шее – и он вдруг ужаснулся: не почувствует ли она этой рукой обрезанные волосы. Да тут ещё и сказал, что не нужно, сам подтолкнул к подозрению. Снять её руку было опасно, и он сидел смирно, пока не понял, как хорошо сделал, что не пошевелился, – ведь его просто подстриг Пурама, сильно зарос он там, в одиночестве. А пока он додумался до такого нехитрого оправдания, Халерха, не дождавшись ответа, вздохнула:

– Молчишь. Как же я могу тебе верить? – Она отняла руку. – Я взрослая, мне столько же лет, сколько тебе. И я могу рассудить жестоко и прямо. Не бывает так в жизни, чтобы настоящей любви что-нибудь помешало. Разве зря во всех сказках говорится, что чем трудней человеку, тем сильнее его чувства. А уж если не так было всё, то и расчёт простой: или чувств не было, или случилось что-то ужасное. Почему ты за три года не приехал ни разу?

Косчэ-Ханидо молчал. Он знал, что Халерха тысячу раз права. Да, было много ужасного, и, может, поэтому оледенели все чувства. Но надо было ответить, а он правду сказать не мог.

– Страшного ничего со мной не случилось, – как можно спокойнее заговорил он. – Было совсем другое. И я, конечно, всё бы тебе сказал... потом.

– А я должна знать не потом, а теперь, – настаивала Халерха.

Сохраняя всё то же спокойствие, Косчэ-Ханидо взялся подбрасывать на угольки несгоревшие кончики тальника. Согнувшись, он подул на угли, потом выпрямился.

– Халерха, – сказал он. – Неужели ты думаешь, что там, в безлюдной тундре, среди зверей, я стал плохим, подлым? Разве ты меня только сейчас узнала?.. Ты сильно переменялась. Я молчу о тебе, ты меня тоже настораживаешь...

– Да?

– Я не Мэникан, который не умеет переносить горе и без конца сватается к тебе. Плохо мне будет, когда откажешь, но я смирюсь. Только мне кажется, Халерха, что ты собираешься жить с расчётом. Пусть я мало о тебе думал, пусть одичал и вот так, глупо, потерял голову. А ты? У тебя самой не было ко мне ничего. Ты подчинялась чужой воле и отказывала этим самым... как их... целому стойбищу женихов. Теперь ты со мной разговариваешь так, будто прикидываешь: хуже я их или нет? Скажу одно – буду хорош, скажу другое – плох. А я думал в тебе человечность, сердце найти. И шёл я к тебе, чтоб отвести душу.

Он взял над ней верх, и она приостыла. Вдруг поглубевшим голосом она сказала:

– Если б у меня были отец и мать, я, может, больше о чувствах думала бы. Теперь я должна жить и чувствами, и умом. Как ты, такой умный, не можешь понять! Забыл судьбу Пайпэткэ?

– Но Потонча был заезжим жуликом. Тогда власть была у шаманов. А я хочу, чтоб у нас всё как у людей было. И на людях. И я не похож на Потончу.

– Ханидо, – сказала, вздохнув, Халерха. – Все на твоей стороне. А я просто женщина. Нет, я должна жить умом. Каким ты стал – я не знаю.

– Ты, кажется, хочешь простой и спокойной жизни. Тогда, конечно, возвращай рукавицу.

Халерха встала. Она подошла к чурбаку и, размышляя, начала мять оплывший вокруг свечи воск. Свеча догорала, и она хотела продлить жизнь огоньку.

Косчэ-Ханидо смотрел на неё снизу вверх и снова слышал, как в висках всё гулче и гулче стучит кровь. От свечи на лицо Халерхи падал свет, он оттенял и без того красивые, нежные черты: припухшие красные губы, аккуратный нос, чёткие ободки вокруг глаз.

– Я пришлю завтра или через день рукавицу, – сказала она, сдвигая брови. – Свою рукавицу, с левой руки. Это будет согласие.

Он глядел на неё и не верил своим ушам. Как будто не она говорила, или она, но не ему.

Однако Косчэ-Ханидо не успел до конца осознать радость, как услышал слова:

– Но будет условие...

Халерха подошла к нему и села так, что колени её оказались на его ноге. Она смотрела прямо ему в лицо.

– Скажи, Ханидо: тебе хоть немножко понравился мир, в котором ты живёшь эти дни? – спросила она.

– Да.

– Чем?

– Тем, что только изнутри того мира можно делать большие дела. Что бедняк может?

– Какие дела?

– Со злом бороться. А ты какое условие ставишь?

– Вот ты и расскажешь мне, какая жизнь у нас будет с тобой. Я знать хочу, что ты собираешься делать. Не будешь ведь ты всю жизнь писать одну бумагу царю.

– Вся неправда, вся беда оттуда идёт – это я знаю. Даже доброе дело они так поворачивают, что оно злом становится.

– Охо-хо, – очень тяжело вздохнула Халерха и вдруг уткнулась лбом в грудь своему жениху. – Ты не справишься с ними. Нет. И я очень боюсь.

– Конечно, не справлюсь, если буду только на коленках стоять и лбом упираться в землю. Не знаю... Есть у меня с кем счёты сводить.

Халерха выпрямилась и устало, медленно повторила:

– Я очень боюсь. Очень.

– Можно и без боязни, – сказал Косчэ-Ханидо. – Можно получить от Куриля долю, никуда не ехать и жить. Станем добрыми богачами, как Ниникай.

Они молчали.

– Вот ты кое-что и сказал. За эти три года у тебя появились враги? – спросила она.

– Появились.

– Кто?

– Потом расскажу. Поздно уже.

– Хорошо. Иди. Нет, я тебе тоже тайну свою открою. Чтобы и ты мне все свои тайны открыл. Я хочу отдать тебе своё сердце.

– Сердце? Это как же ты сделаешь?

– Дай твою руку.

– Левую? На.

– Ой, что у тебя за рука! Железный капкан. – Она ощупывала и распрямляла его крепкие пальцы. – Прижми ладонь к моему сердцу. Вот так. Слышишь, там моё сердце бьётся?

Как же он мог услышать! Тут было в пору своё-то сдержать, чтобы оно не вырвалось. Ни к одной девушке или женщине Косчэ-Ханидо и пальцем не прикасался.

– Там как будто муха жужжит, – сказал он, отнимая руку.

– Нет. Подожди. Это так через мех. – Она быстро расстегнула шубу почти до пояса, обнажив цветастую ситцевую рубашку. – Дай руку.

Грудь была твёрдой, трепетной и горячее, будто тело живой рыбы, но не с холодной, а с тёплой кровью. Парень наверняка сгорел бы от новизны ощущения, от молодой страсти, если бы не такой неожиданный, очень сильный стук сердца, отдававший в грудь. И было уже ощущение более сильное, будто под рукой оказалась целиком вся жизнь этой красавицы сироты, подруги детства, почти жены, но ещё не жены.

– Возьми, Ханидо, моё сердце. Моё сердце – твоё.

– Но тогда и ты возьми моё сердце.

Он левой рукой расстегнул рубашку, и маленькая рука Халерхи сама, как мышка, скользнула ему за пазуху.

– Моё сердце – твоё! – сказал Косчэ-Ханидо.

И они одновременно, словно из огня, вырвали руки и стали поспешно застёгиваться.

Потухла свеча. В костре уже не было пламени, и угольки покрывались пеплом.

– Я сделала всё, что могла, – проговорила в темноте Халерха. – Ты в моих чувствах теперь сомневаться не можешь. И ты поймёшь, почему я уронила чашку. – Она встала и вдруг жестоко, как это могут лишь одни женщины, проговорила: – Но это ещё ничего не значит. Сколько дней будешь молчать о себе, столько дней и я буду носить обе свои рукавицы. Иди, Ханидо.

ГЛАВА 24

Тордох Куриля в эти дни превратился в божий дом, в церковь – не хватало лишь колокольной с колоколами.

Многим, и в том числе самому Курилю, представлялось, что священники будут ходить из жилища в жилище, будут петь и всех подряд обрызгивать божьей водой или же для крещения соберут народ в одном месте, под открытым небом. Но оказалось, что, напротив – народ должен идти к священникам, да не гурьбой, а поодиночке или семьями, причём каждого будут расспрашивать и записывать. Это меняло многое. Куриль немедленно приказал убрать из тордоха сундуки, мешки, начищенную посуду и прочее богатство. И началось превращение жилища в церковь. Свободное пространство стало совсем огромным, а высоченные пологи и круг свечей под онидигилом заставляли задираť головы, как в цеякви. На столе водрузили икону в позлащённом окладе, выставили блестящие подсвечники, заменив на полу дорогие шкуры простенькими разожгли посередине бездымные угли, бросив туда ладана. А поп нарядился в серебряную рясу, которая переливалась всеми цветами радуги. Вот и оставалось лишь зазвонить в колокола.

Первые желающие были встречены спокойными, ласковыми словами Синявина: «Встань с колен, сын мой» или «дочь моя», «подойди ко мне – не бойся меня».

Всё это совершенно не походило на истощающее камлание в темноте.

Однако, несмотря на всё это, первый день крещения привёл и Синявина, и дьячка, и богачей, и простых людей в замешательство, из которого не просто было найти выход.

Оказалось, что не только старики и старухи, но и не все взрослые знают, сколько им лет. Давно прошли времена, когда юагиры каждый прожитый год отмечали раной на теле. Теперь календаря никто никакого не вёл, и, чтобы вывести истину, приходилось звать родственников или знакомых. А как позовёшь их, если они повымерли? Ещё больше было неясностей, путаницы с именами. Дело в том, что юагиры имели то языческие имена, то случайные клички, то христианские имена с отчествами и фамилиями самого разного происхождения. В путанице с именами были повинны ещё и шаманы, нарекавшие людей по своему произволу. Словом, порядка тут не было никакого. Пурама всю жизнь был Пурамой, то есть «возвышающимся», хотя имел ещё и христианское имя – Иван. А вот Халерха была только Чайкой. Косчэ-Ха-

нидо носил и русское имя, и кличку – Костя-Орлёнок. У него была также фамилия: он принадлежал к эрбэчканам, а почти все эрбэчканы имели одну родовую фамилию, переделанную из языческого самоназвания, – Кириловы. Курили – это «духом земли отмеченные» люди, а Куриловы – это уже по-русски, вроде бы «дети куривших». Был род сплошь Третьяковых, род Ягловских, род Татаевых. Голова юкагиров Куриль, или Курилов, сразу был назван по-христиански – Апанаа, стало быть, Афанасием. Но у отца его не было божьего имени, значит, сына не могли величать, не могли записывать на бумагу. И тогда Афанасий, едва разбогатев на оленьегонных состязаниях, объявил себя сыном пророка Ильи и стал Ильичом.

Ковырнул дьячок Губаев истину – и в ужас пришёл. Как записывать год рождения? Как отделить крещёных от некрещёных? И сверить не с чем – церковных книг он захватить, конечно, не мог.

Вот и зачесали затылки посланцы бога. И крещение было решено пока прекратить.

Тяжёлое бремя свалилось на плечи дьячка. Но Макарий Губаев претолочно, лучше Синявина, знал языки – все, начиная с якутского. К тому же он оказался человеком мудрым и решительным. Он знал, что деяния отца Леонида никто не станет ни проверять, ни исправлять, ни оспаривать. Какая разница юкагиру, ламуту, чукче, в каком году он родился? Паспорта им не получать, в обучение и на службу не поступать, судебные тяжбы не заводить. И с именами всё просто. Раз ты Андрей, то и ходи себе Андэрэем, а для порядка сбрызнем во второй раз. Синявину же будет сказано: некрещёный он – это нижнеколымский поп случайно обмочил его на Пасху и, не расслышав имени, назвал так. Не мелочиться же в великом деле! И не беда, если фактически некрещёный таковым и останется: раз был слух, что человека ребёнком возили в острог – значит, крещён.

Очень помогало дьячку принимать окончательные решения пристрастие к водочке. Нет, он честно начал ходить в стойбище, расспрашивать людей, записывать, кому нужно явиться к попу. Но уже в первый день, потемну, его на обратном пути сопровождали три мужика, поддерживая под руки и под спину. Верные он принимал решения или неверные, того никто не мог знать. Синявин на Макария не сердился – замены ему нет ни здесь, ни в Среднеколымске.

И всё-таки дьячок Губаев наладил дело. Уже на второй день был порядок, и крещение пошло без задержек.

Для большинства это выглядело так. Огромный бородатый посланец бога в сказочном одеянии стоит с непроницаемым лицом у иконы. Кругом огни свечей, блеск позолоты и серебра и удивительный запах дыхания бога. Поп властен, но ласков. Опустит на колени перед собой, положит на голову крест, скажет, что крестится раб божий, махнёт метёлочкой, брызнет божьей водицей и отпустит с миром. А перед этим дьячок запишет, что нужно, в книгу. И всё. За спиной у дьячка, справа и слева, стоят два парня – Константин и Сайрэ. Они сгибаются, когда Макарий начинает царапать бумагу, – учатся грамоте. Разодетый Куриль сидит на чурбаке сбоку стола, широко расставив ноги и положив на колени руки. Он то походит на сказочного властелина, следящего, как исполняется его воля, то на хозяина, уставшего от забот и дремлющего среди дня.

Для иных же всё это выглядело не так. Одни смело рассматривали диковинное одеяние русского служителя бога, прикидывая, земного ли оно происхождения или небесного. Другие, одним глазом глядя в живот попу, вторым следили за дьячком с сизым носом и еле сдерживали смех. Макарий и впрямь выглядел жалко и смешно. Одет он был в чёрный зипун, на голове чёрная засаленная шапочка; космы прямых волос свисают на стол, и из-за этих волос таращатся голубые глаза – ну точь-в-точь сова с сизым клювом, выглядывающая днём из жухлой травы. В руке у него стрела с железным концом, ею он выводит мудрости на бумаге, обе руки измазаны чёрной краской – чернильница разболталась в дороге, а помыты руки некогда. И над этой совой с убийственно серьёзными лицами склоняются два дюжих парня, которым надо не царапать бумагу, а пешнями лёд бить на озере. А уж если такие весёлые люди случайно увидят, как за пологом поп крестит младенца, – пропала вера: великое таинство омовения совершается в том самом железном корыте, в котором жена Куриля полощет своё лицо и волосы. Для многих людей и сам хозяин тордоха Куриль перестал быть великим, загадочным: отстраняют его от дел – есть отчего закрывать глаза.

Как бы то ни было, но дела потихоньку шли, время летело. Крестил поп лишь до обеда, а потом спал – отдыхал перед вечерним пиром.

Но вот однажды утром Синявин решил поглядеть, что же ему удалось совершить. Он забрал книгу и начал считать. Сосчитал и пришёл в ужас. За три дня он не окрестил и сотни людей.

Они были втроём за белым пологом: он, Куриль и дьячок.

– Худо наши дела идут, – сказал отец Леонид. – Я верил, что будет лучше. Если ещё окрестится столько, то всё равно худо. А ведь столько ещё не будет?

– Чукчей много, – ответил Куриль. – Но как они пойдут – разве узнаешь?..

– Чем объяснить сие можно? – спросил поп, закрывая книгу. – Что ты скажешь на это, Макарий?

– Так ведь какая-то оторопь наступила, – ответил дьячок. – Вроде весёлости поубавилось.

– Тебе бы того – в кружки поменьше заглядывать! – выговорил ему поп. – Что, разве не угостят тебя господа, как обратно вернёшься? Достойной серьёзности люди не видят.

– Отче, прости: каюсь я. Но, ей-богу, ни с кем я не бражничаю. Спроси у людей – даже не ем.

– Это и худо. Закусывать надо. Э, да что говорить! Иди зажигай свечи. Выпроводив дьячка, поп устался на хозяина и сказал:

– Тебе бы надо к людям сходить, Афанасий Ильич. А ты всё со мной да со мной...

Куриль хорошо понял Синявина. Умён бородатый – видит, в чём суть. Куриль, конечно, предполагал, что крушение больших надежд, кровная обида на исправника и угроза уйти на покой отразятся на делах уже начатых.

За эти дни он хорошо всё обдумал и почувствовал, что можно попытаться продолжить большую игру. Ведь если Синявин увидит, что без юкагирского головы дела эти заскрипят, как нарта по песку, то он непременно будет доказывать Друскину, что Куриль вовсе не зря

старался, что он просто предвидел опасности. А раз Синявин приехал с добрыми намерениями, то неудачи его тоже заденут, и тогда можно будет рассчитывать на его помощь. Словом, это было коварством, а попросту – шантажом, и опасным, рискованным шантажом. Но что делать, иначе же нет никакой надежды на будущее. Но вот всё это случилось, и Куриль вдруг понял, что далеко зашёл. Он-то играет крупно, он может остаться у власти, может уйти, а вот народ пострадает. «Так, наверно, нельзя», – подумал он, глядя в книгу и делая вид, что понимает написанное.

– Что-то у меня к Чайгуургину пропало доверие, – сказал он после раздумья. – Сегодня чукчей крестить, а он вчера ко мне не пришёл.

Синявин взял у него книгу предварительных записей. Он увидел в ней сплошные языческие, чукотские имена.

– Иди к нему сам, Афанасий Ильич, – попросил поп. – Иди сейчас, пока ещё утро. Боюсь, что твой отказ быть головой насторожил его. Афанасий Ильич, зачем ты об этом сказал? Ну ведь мог бы мне одному. Ах, какой ты неверный!

Куриль сидел рядом с ним на его постели – на ворохе шкур – и вертел в руке малахай.

– Обидел меня исправник, сильно обидел, – сказал он, подёргивая чуть седыми бровями. – Так я старался!.. А в мои годы стараться не просто.

– Обида обидой, а дело делом.

– Сорок лет я думал о деле. Да, видно, бог на меня злится за что-то: старался – плохо, ударили за старание, теперь обвинение будет за плохое старание. Нет, мне придётся печать возвратить поскорей.

Голубые глаза Синявина стали совсем ледяными.

– Ты недостойные речи ведёшь, – сказал он. – Недостойные. Лукавишь, хитришь. Это нехорошо. Подозрительно это.

– Обижать меня можно? А мне обижаться нельзя? – упрямо стоял на своём Куриль. – Ладно. Я от подозрений уйду. Сделаю всё, чтоб ты довольным остался. А уедешь – я за тобой. Отдам печать исправнику. Слова ни одного не скажу – и к себе, табуны буду пасти. Ну а церковь и без меня построят. Вон сколько деловых людей и купцов приехало на оленях, на лошадях, на собаках.

От этих слов у Синявина сами собой закрылись глаза. Злость к Курилю смешалась с растерянностью.

– Теперь я и впрямь ничего не пойму, – сказал он. – Может, мы забыли, что ты не русский, и обидели, как своего, слишком жестоко. Может, напротив, ожесточился ты. Но уж давай выясним всё. Ты разве не понимаешь, что если отдашь печать, то люди твои сразу скажут, что это я отнял у них вожака. Они и сейчас подозревают. Опомнись, Афанасий Ильич: люди отвернутся от веры, строить церковь не согласятся, на русских обиду затаят в душах.

– Ну, ты зря так говоришь. Юкагиры скорей от меня отвернутся, чем от Христа. Веру они называют светлой, а кто ж при темноте отворачивается от света? Я и бог... Ты меня слишком дорого оценил.

– Не надо, Афанасий Ильич, не надо. Словами всё можно прикрыть. А на деле? Вред и ущерб уже есть. Неисправим – будет обида на Средне-колымск, на царскую власть, на меня.

Куриль перестал теребить малахай и поднял голову.

– Может, и так, – согласился он. – Но это плохо, однако. Тут правда твоя.

– Никому пользы от этого – ни тебе, ни мне, ни людям, ни делу. – Поп бросил книгу на шкуры. – Да и мне-то как являться в епархию? Сто душ окрестил.

– Нет, я так не хочу. Я людей к светлой вере вёл сорок лет...

– Ну вот ты и прозрел. Обида, она застит глаза... Давай всё это оставим. Ты знаешь теперь, что мне не только божьими, но и мирскими делами приходится заниматься. И чего уж там: исправник все дела решает со мной. Ты есть голова, и головой останешься.

– Да-а, – закричал Куриль, закрывая ладонью глаза. – Нехорошо получилось. Да ведь обратно не повернёшь.

– Всё в божьей власти, – спокойно и с намёком сказал Синявин. Он встал и потянулся к серебряной рясе, висевшей у самого полога на жерди, давая понять, что разговор окончен.

Куриль надел малахай и вышел, вздыхая с притворной тяжестью. Зная, что Синявин смотрит ему в спину, он поплёлся к выходу, сильно сгорбившись и волоча ноги. На самом же деле он торжествовал: вот и Синявин признал его ум и силу. А Синявин – это не Кешка Слепцов. «Может, вот так, понемногу, и приучим их. Сначала приучим не обижать, а потом – и считаться с нами».

Он шёл к Чайгуургину, хорошо зная, как образумить его.

Голова чукчей жил рядом, шагах в тридцати. Яранга была огромной. Но этот срезанный холм вдруг расплылся перед глазами: Куриль увидел крест на другой, меньшей яранге, а на кресте – четырёх шайтанов, подвешенных к перекладине. Он даже зажмурился, не веря глазам. Но когда посмотрел снова – остолбенел. Да, на кресте висели шайтаны.

Это была яранга Оммая, чукотского богача. Куриль ворвался в неё, как медведь.

Оммай стругал замороженного чира. Это был хитрый, но очень весёлый, шутливый человек лет сорока пяти. Сейчас он, однако, лишь покосился на Куриля и дела не бросил. А Куриль стал быстро расстёгивать на груди шубу. Он вытащил нательный золотой крест и, держа его за цепочку, подошёл к нему.

– Ты это видел хоть раз? – спросил Куриль, еле сдерживая бешенство.

Оммай чуть приподнял голову, рука его замерла. Крест был с распятием: золотой человечек висел с опущенной головой, прибитый гвоздями. Ноздри у Оммая дрогнули и расширились.

– Так будет со мной? – спросил он.

– Хуже будет, если разозлишь бога, – ответил Куриль. – Бог очень добр к верным людям, а грешников не щадит. Слышал?

– Я бога не отрицаю. Но у нас есть келе. Их предавать нельзя: я человек честный.

– Широко живёшь: две жены, две веры...

– Я не бедняк, чтобы жить узко. Ты хочешь, чтобы твои табуны охранял один бог, а я хочу, чтобы моих оленей охраняли ещё и духи.

– Смотри, как бы защитники не отвернулись. Одна родная мать для ребёнка лучше двух неродных: перессорятся, а ребёнок в болоте утонет.

И ни бог, ни келе слушать тебя не станут, призывай их не призывай...

– Ладно, подумаю.

Ушёл Куриль от Оммая с тяжёлым чувством. Если колеблются богачи, простой люд не выманишь из яранг.

А богачи колебались. Куриля поджидала куда более тревожная новость. Чайгуургина не оказалось в стойбище. Он ещё вчера поехал к своим табунам. В яранге его не только не горели свечи, как в первый день, но свечей вообще не было, и везде царил такой беспорядок, будто семья готовилась к перекочёвке.

Перепуганный Куриль вернулся к себе и без утайки всё рассказал попу.

Но Синявин не стал злиться и доказывать свою правоту – мол, я говорил...

– Ничего, – вдруг успокоил он Куриля. – Собирай всех богачей и купцов. Я буду службу служить.

Расстройство дел в главном тордохе унюхал и чукотский шаман Кака. Он встал пораньше, весело постучал в бубен, выпил вместе с Амунтэгэ, поел, вышел и уселся на нарте. Он поглядывал на чукотскую часть стойбища и на большой белый тордох Куриля.

Вскоре он кликнул Амунтэгэ.

– Иди-ка узнай, что там такое, – распорядился он. – Куриль бежит, а вот теперь приспешник его побежал. Зашевелились, черти рогатые! ещё не так зашевелитесь!

Многое знал шаман. Знал он, как сильно не понравилось чукчам, что их переписывают на бумагу.

Неожиданное решение Куриля отойти в скором времени от борьбы поначалу Каку сильно насторожило. Он испугался, что после Куриля головой юкагиров непременно станет Косчэ-Ханидо – молодой богатырь – учёный, теперь люто ненавидящий шаманов, а в особенности его. Потом появится попик Сайрэ – получукча, сын Мельгайвача, который будет мстить за отца... Но вот вчера сам голова чукчей попятился в тундру, и это дико обрадовало Каку. Это говорило о том, что дела в большом тордохе вообще идут кувырком.

Вернулся Амунтэгэ быстро. Он сообщил, что всех богачей и купцов собирает русский священник. И Кака, шурясь после сильной затяжки дымом, рассудил про себя: «Уж не взялся ли за дела сам поп? Ещё возьмет да и даст Курилю более страшную власть...».

И он решил: «Надо идти туда. Я тоже богач».

– А это кто там спешит? – спросил Кака.

– Ниникай вроде идёт, – ответил Амунтэгэ.

– И он почуял неладное.

Ниникай действительно быстро шагал к большому тордоху и действительно был обеспокоен. Его на сходку ещё не позвали, он ничего об этом не знал и шёл потому, что надо было идти. Его тоже тянуло острое любопытство. Ниникай давно знал, что с Курилем случилась беда, но он всё же не верил, что так вдруг кувырком полетели все великие намерения юкагирского головы. Однако день шёл за днем, а новых слухов не появлялось. Встретиться с Курилем, даже глазами, он не хотел, боясь уподобиться злорадствующему мальчишке. И Косчэ-Ханидо почему-то нигде не появлялся. Пурама же при встрече лишь пожимал плечами.

Вообще-то Ниникаю очень хотелось сказать Курилю хоть несколько слов: мол, вот так с нами считается среднеколымская власть. Но вчера вечером он тоже узнал, что накануне крещения чукчей сам Чайгуургин подался из стойбища. И в сердце зародилась тревога. Куриль всё-таки всю жизнь действовал, делал, что мог. А как же теперь?.. Неужели его прижали всерьёз, а из-за этого всё поползло в болото?

Ниникай в тордохе увидел дьячка – церковного писаря, сидящего у горящих свечей за столом, и Косчэ-Ханидо, листавшего у очага толстую книгу.

Он перекрестился и подошёл прямо к дьячку.

– Я хочу принять православную веру, – сказал Ниникай по-чукотски.

– Как зовут? Из богатого рода?

– Ниникаем зовут. Из богатого.

– А-а, припомнил. Сейчас батюшку позову... Ниникай – значит «парень». Это ещё ничего. Я вчерась переписывал чукчей – не имена, срам один, прости господи. – Макарий хохотнул в кулак.

У Ниникая напряглись ноздри.

– Чукчи унижают себя потому, что боятся злых духов!

– Я о том слышал. Только не знал, что можно уж так-то себя унижать.

– Дикарям можно. Гадкие у нас имена. Есть даже вонючие. Смех тут, однако, плохой – примем русские имена, а злые духи всех нас сожрут.

Длинное, худое лицо дьячка вытянулось ещё сильнее и застыло, лишь голубые глаза удивлённо бегали вверх-вниз, с одежды Ниникая на его лицо, с лица на одежду. Но Макарий был очень сообразительным. Он хорошо понимал намёки: церковная служба вся хитроумная.

Поднявшись из-за стола, Макарий Губаев подошёл к Ниникаю и, глядя ему в глаза своими сквозными глазами, тихо сказал:

– Ваши духи свирепо-злые. Только тебе-то что! Откупишься, чай.

И он отвернулся, пошёл к белому пологу.

– Отец Леонид, – сообщил он, – раб божий перед иконой.

Ниникай стоял в полной растерянности. Ответ дьячка был таким неожиданным, что он даже не мог рассудить: становиться на коленки или не становиться.

Появился Синявин. От полога до стола было не больше трёх шагов, но поп, сверкая длинной одеждой и неся перед собой крест, шёл так стремительно, будто хотел переступить через человека, пройти беспрепятственно сквозь тордох и исчезнуть в тундре. Ниникай, однако, не упал на колени – он был тоже настроен решительно, тем более что слова дьячка придали ему уверенности.

– Готов ли ты, сын мой, принять православную веру? – певучим голосом спросил среднеколымский бог, остановившись и чуть не касаясь крестом лица Ниникая.

– Готов. Я два раза клятву давал.

– Боголюб. Это похвально. И по церковным делам ездил – это тоже похвально... Если не ошибаюсь, Ниникаем зовут?

– Я громко назвал себя, как вошёл. Да, Ниникаем.

– Я о тебе слышал давно. Ты, говорят, смело нарушил родовые обычаи. Это было сколько – лет двадцать тому? А вот узнал тебя в день приезда. Ты водил хоровод у большого костра.

– Наш разговор с моим крещением связан? – перебил его Ниникай.

– Да, конечно! – ответил поп. – Имя нужно новое дать. А какое? Ниникай похоже на Николая. Это бы просто. Но царя-батюшку так зовут. Имя большое. Может, мы не будем спешить и подумаем вместе?

Священник в открытую намекал на свою осведомлённость и на неблагонадёжность чукчи.

– Я пришёл принять православную веру! – резко осёк его Ниникай.

Раздался хлопок. Это Косчэ-Ханидо, листавший книгу, неумело закрыл её, не рассчитав силы. И получилось, что разговор будто наткнулся на что-то твёрдое, неподатливое.

Поп медленно опустил крест. Он измерил Ниникая глазами, правда, осторожнее, чем дьячок.

Прошуршал белый полог, и к столу решительно подошёл Куриль. Он, конечно, подслушивал, как всегда.

– Га, Ниникай здесь! – сказал он со сдержанной радостью и озабоченно. – А я сижу там – задумался. Вот он-то и нужен мне. Это брат известного богача Тинелькута, богач Ниникай. Я о нём говорил. Он Чайгуургина заменит нам. Только он и заменит. Отец Леонид, от чукчей у меня совсем нет помощника – сам видишь. Мамахан – якут. Благослови Ниникая.

Синявин сверкнул глазами, потом сощурился и в тяжёлой озадаченности так наклонил голову, что бурая бородаща переломилась на впалой груди и выпирающем животе.

– Ну-ну, – пропел он с потайным смыслом. – Возвращение старой дружбы? Не знаю, не знаю...

Лицо Куриля стало жёстким и злым, губы плотно сомкнулись.

– Дозволь нам, отец, самим разобраться. Если я нужен Среднеколымску, доверься мне. Ниникай стоит между чукчами и юкагирами, в почёте у бедных людей и у знатных...

– Ну-ну, – прервал его поп, и теперь, кажется, это означало согласие. – Разбирайтесь. Я ведь не власть, я священник. Власть – ты. Он, кстати, на пиру не был, а быстро понял, что ты споткнулся. Теперь пусть поможет. Да, какое же имя запишем в книгу?

– Фамилия будет Губаев, – сказал Ниникай.

– Да? – удивился Синявин. – Как у Макария?

– А имя хочу иметь такое же, как у Афанасия Куриля: Афанасием буду.

– Та-ак, – ещё сильнее удивился Синявин, – Я вижу, и впрямь к примирению дело идёт? А по батюшке как? Тоже со смыслом?

– По отцу буду Иваном.

– В честь кого? Чего уж скрывать...

– У Куриля шурин Иван – Пурама.

– Ну вот его я не знаю, – сказал Синявин.

Он зашелестел одеждой, подошёл к столу, отесняя чукчу. Почему-то оглядевшись по сторонам, резко махнул рукой – скорее, мол, на колени.

– Отче наш, Иисусе Христе, крестится раб твой Губаев, по имени Афанасий, сын Ивана. Да пребудет он в лоне церкви твоей православной, да вразуми, защити его и помилуй. Аминь.

Ниникай крестился и кланялся, и в момент, когда он приподнял голову, поп махнул травяным веничком и обдал лицо его холодной водой.

Быстро, ни на кого не глядя, Синявин направился к пологу и скрылся там.

Ниникай встал, вытер ладонью лицо, глянул на Куриля, вздохнул, поклонился дьячку. Он хотел уходить, но Куриль остановил его:

– Здесь будь. Отец Леонид вызывает всех знатных людей.

Сказал и быстро ушёл через заднюю дверь.

Придя в себя, Ниникай приблизился к очагу и сел рядом с Косчэ-Ханидо, который почему-то продолжал стоять на коленях.

– Что здесь случилось? – еле слышно спросил он, вынимая трубку.

– Длинная злая игра... Давят друг друга... Чукчи сегодня... разлад... – Косчэ-Ханидо шевелил книгу, чтоб приглушить разговор.

– Кто наверху?

Вместо ответа Косчэ-Ханидо кивнул на белый полог, но пояснил:

– До нынешнего утра.

– Перемены будут?

Косчэ-Ханидо снова кивнул:

– Уже. Вернул ему полную власть.

– С испугу. Понял твои слова. Хорошо.

– Да. Только не мне хорошо. К нему недоверие – значит, ко мне.

– Выйти нельзя? – спросил он.

Косчэ-Ханидо искажил лицо, давая понять, что это решительно невозможно. И тогда Ниникай сообразил, что ему даже сидеть и шептаться с Косчэ-Ханидо опасно: Синявин может выглянуть, и ученик его попадёт под подозрение.

Ниникай встал и снова пошёл к столу.

– Афанасий Губаев хотел бы угостить Макария Губаева, – сказал он. – Жена будет ждать.

– Благодарствую, не могу, – ответил дьячок. – Только по службе.

– На сердце будет обида.

– Если обиду завернуть в шкурку, то обиды не станет, – тихо-спокойно ответил Макарий.

– Это просто. А честь дороже.

– Нет, никак не могу. Благодарствую.

Проходя мимо Косчэ-Ханидо, Ниникай подумал: «Трудно придётся парню в остроге. Всё на боязни, на подозрении. Хуже, чем при шаманах».

ГЛАВА 25

Неповоротливы богачи по утрам. Конечно, иное дело, если бы что-то случилось с их табунами, с их запасами, тут бы каждый из них штаны завязывал на бегу. Но сегодня их созывал священник, да ещё по своим делам, и неужели им следовало бежать, не поев как следует или прервав еду! Тем более что тревога священника им была уже хорошо известна.

Синявин ждал-ждал богачей, рассердился и послал к ним Косчэ-Ханидо, приказав намекать, что речь на сходке пойдёт о строительстве церкви.

И это сильно подействовало. Правда, нашлись проницательные люди – молодые дельцы-якуты, которые пришли в тордох Куриля после первого вызова.

Постепенно собрались все, кто был давно в силе и кто рвался к знатности из всех жил. Даже оба шамана пришли – Токио и Кака. Шаман Токио ничем от других богачей не отличался: упитанный, хорошо одетый, он сел, где пришлось, и больше не двигался с места. А вот Кака сразу нарвался. Он не знал, зачем собралась знать. Сначала он сел поближе к столу, чтобы враги не забывали, что он – тоже сила. Однако богачи шушукались, и он уловил: говорить будут о строительстве церкви. Тогда Кака встал и пошёл назад, беспокоя важных людей. Устроился он возле крайнего ложа – поближе к выходу невозможно было пробраться.

Отец Синявин вышел вместе с Курилем и дьячком. Они появились из второго, заднего выхода.

– Доброе утро вам, господа! – сказал Синявин и перекрестил всех сразу медным крестом.

В ответ собравшиеся так замахали руками, крестясь, что пламя свечей заметалось, будто от ветра.

– Господа, труды мои подходят к концу, – продолжал поп. – Я свершаю их по воле господ бога вездесущего и всемогущего, по воле сына его государя-императора, царя России и всех окраин российских. Дела идут хорошо, я очень ими доволен, я благодарю вас за участие в них – и да помолимся нашему богу всевышнему.

И все опять стали креститься. Потом поп сказал:

– Я должен сотворить службу сейчас. Однако перед тем хочу вам сказать о вразумлении, которое мне удалось с божьей помощью сделать мудрому вожаку юкагиров Курилову Афанасию Ильичу. Невозможно дать согласие на его отход от божьих дел и дел земных, но богоугодных. В эти дни я говорил ему, что высшее духовенство службу несёт до глубокой старости, до преставления. Ну, а в земных делах не молодым же решать, что верно, а что суть ошибочно. Избавим его от мелких дел – и силы в нём возродятся...

Врал поп, как безбожник: ничего подобного он не говорил Курилю в течение этих дней. Однако он врал смело, и богачи верили каждому его слову. Да ведь верь или не верь, соображай быстро или медленно, а от правды никуда не уйдёшь: Куриль взял верх, подгрёб Синявина. В тордохе народ собрался разный, но и тёмному богачу-скряге, и ушлому подрядчику было легко оправиться от растерянности и понять, что его теперь не объедешь, не обойдёшь – за спиной у него все сразу: исправник, церковь, царь, бог – и перед простыми людьми он не в долгу. На него сейчас так и смотрели, как на человека необыкновенного, очень мудрого и упрямого, не похожего ни на кого. И никто не хотел знать, какой сложной и ущербной была вся эта правда.

А Куриль стоял у стола, разглядывал скатерть, заделанную свечным воском и чёрной краской – чернилами, и хмурился, хмурился непритворно. Он уже до сродки пережил радость этой ущербной победы, а сейчас мысли его метались, как ветер, который никак не выберет направления. Всё случилось в точности так, как говорил Ниникай: «На тебе власть. Что будешь делать?». А что же действительно делать после крещения? Он стар, десять лет выжидать не сможет. Что сказать богачам, каким предстать перед ними? Напомнить о своём преемнике? Или завести речь о крещении, которое не закончилось, о строительстве церкви?

Но его опередил и вырубил русский поп.

– ...Я хочу, чтобы дело это при мне началось, – услышал он слова Синявина. – Здесь Тарабукин?

– Я здесь.

– Сбор пушнины можно начать сегодня, как разойдёмся. Афанасий Губаев поможет тебе.

– Я такого не знаю, – сказал Мамахан.

– Вчера он был Ниникаем.

– А, Ниникай? Он Афанасий теперь? Два Афанасия? Подойдёт. Честный он человек.

– Лучшего сборщика вы не найдёте, чем я! – раздался от двери голос. – Я соберу в два раза быстрее. Сказать, сколько у каждого шкурок в мешках?

Это был Потонча, приехавший только сегодня – и как раз к нужному времени.

Начался шум. Стрекочущий смех Потончи разжигал его, как порох, который подсыпают в костёр. Все до единого знали, что косоплечий, сгорбленный человечек говорит о себе правду. Но все были против – богачи вдруг испугались его, а купцы, те всегда ревновали и ненавидели. Потонча же на то и рассчитывал: Куриль с Мамаханом оценят весь этот шум, не сейчас оценят, потом... И расчёт этот был серьёзным вполне – разве Ниникай, сборщик пушнины, начнёт вздыхать вместе с бабами! Одному Мамахану такой честный нужен, чтобы жульничать одному по следам честного. Потонча тоже жульничает, только дело будет сделано веселей и быстрее.

Воспользовавшись заварушкой, Синявин направился к своему пологу, кивнул дьячку, который тут же пошёл за ним.

А богачи стихли. Им показалось, что торги оскорбили попа. Но они ошибались. Очень скоро из-за полога донеслось пение, которое тут же сбилось на быстрый говор, а говор опять перешёл в пение. И богачи поняли: началась служба.

Мысли Куриля в это время вертелись вокруг брёвен, топоров, лошадей, запряжённых в сани, и всего прочего, что было связано со строительством божьего дома. И он сильно растерялся, когда почувствовал тесноту в горле, а на глазах – слёзы. Да ведь это же церковное пение, настоящее церковное пение! Там, за пологом, будто за ширмами клироса, поёт сам Синявин, а дьячок, разжигая кадило, причитает ему. И это здесь, в тундре... И большая икона стоит, и свечей много – как в церкви... А богачи, купцы, деляжки забыли о спорах – они все молятся, и лица у них какие-то незнакомые, вроде бы одинаково мудрые. И шаман Кака молится. Да ведь молится он!

И Курилю вдруг стало не стыдно за свои слёзы. Ноги его подломились, и он грузно упал на колени.

Наконец появился поп, а за ним – дьячок. Поп на ходу говорил и пел, помахивая кадилом, а дьячок смотрел в книгу, которую нёс перед самым лицом. Голос Синявина был густым, богатырским, а голос Макария, положившего книгу на стол и сказавшего что-то вдобавок, был тоненьким, бабьим. Но такая разница в голосах не могла удивить северян, привыкших к диким камланиям. Их удивляло другое: определённости происходящего, чёткая согласованность и ещё серьёзность лиц кра-

сиво одетых служителей бога. И ото всего этого разные голоса будто разными путями проникали в самую душу, а таинство слов, навсегда записанных в книге, отрывало мысли от всего земного, привычного...

Вдруг оборвав пение, поп обычным голосом приказал:

– Открывайте дверь – пусть люди заходят. Потеснитесь немного. – И он как ни в чём не бывало продолжал пение – службу.

А за тордохом действительно было много людей. Первым вошёл Пурама, за ним старики, ребятишки, женщины, молодые ребята. В тордохе стало невыносимо тесно. Теперь уж никто и креститься не мог. А поп пел, говорил, звенел кадилом, обдавая людей сладким дымом, и дьячок своевременно, в лад напоминал ему что-то, поддакивая тонким голосом, будто звонкое эхо.

Словами восхваления бога, просьбами к богу закончилась долгая служба.

Тордох молчал. Люди не верили, что всё кончилось, что никаких новостей от бога поп не услышал. И как будто наступило всеобщее разочарование. Оно длилось долго, пока люди не поняли, что не будет никаких новостей и разгадок, не будет ни страхов, ни радостей, ни тревог, ни попреков. Вот так ровно, спокойно и пойдёт жизнь без камланий. Хорошо.

Поднявшись с колен, Куриль негромко заговорил:

– У нас будет свой божий дом. У нас будет новая жизнь. Кто же теперь согласится назад идти? Кто пойдёт на камлание? Вот ещё какие слова я скажу. Люди и господа. Божий и царский посланник отец Леонид не хочет, чтоб я отошёл от дел. И я повинуюсь. – Куриль перекрестился. – Но я оказался плохим хозяином. Лучше меня никто не знает, сколько сил нам отдаёт наш величайший друг отец Леонид Синявин. Он просто мог в тундре замёрзнуть. А вот я его никак ещё не отблагодарил. Войди к нам, отец Леонид, – позвал он.

Синявин, конечно, всё слышал. Белый полог метнулся – Синявин откинул его за спину. Он не сделал ни шагу. Лицо его было настороженным, бледным, и всё-таки радостным.

– Константин, принеси, что я приготовил, – распорядился Куриль. – Золота нет у меня. Вот крест на груди да у жены серьги. Да ведь золото разъединяет людей. Я подарю тебе мех. Он тёплый.

Косчэ-Ханидо вынес связку песцовых шкур. Их было двенадцать. Но это было на счёт, а глаза видели белое облако. Даже круглый дурак понял бы, что одни боги могут владеть этим мехом. Белизна ослепительная, концов шерстинок не видно – они растворяются в воздухе.

– Прими, во имя Христа, наш отец...

– Спасибо, Ильич, – проговорил Синявин, не двигаясь с места. – Спасибо, родной. Только я не могу до такой красоты дотронуться. Нет, не могу.

Куриль уже стоял возле попа, и связка пуха легла на его плечо, затмив серебро одеяния.

– Хорошо, хорошо. Я беру, – сказал поп. – Но я прошу подойти Мамахан. Подойди, господин Тарабукин.

Мамахан, перешагивая через людей, стал пробираться к попу.

– Возьми, божий слуга: я отдаю этот дар вам, православные люди. Пусть это будет моей долей в строительство божьего дома.

Синявин передал мех, перекрестил его и обнял Куриля.

Что тут было! Все вскочили на ноги, началась толкотня, одни богачи ринулись к выходу, крича во всё горло: «Сейчас и моя доля будет», другие искали, кого бы послать вместо себя, третьи вытаскивали кожаные кошель и отсчитывали серебряные монеты. Людей охватила страсть. Казалось, что все вдруг захотели завтра же увидеть готовый дом с колокольней...

Но это всё были богатые люди, а простой народ только глазами хлопал – бежать в тордох за одной шкуркой было и соблазнительно, и стыдно.

В этой сутолоке и горячке лишь один человек казался спокойным. Он даже не поднялся на ноги, он сидел у крайнего полога и зачем-то царапал ногтем растатуированное лицо. Всё, что сегодня видел и слышал Кака, истрепало, измяло, искалечило его тело, ум, сердце и душу. Это был не старый шаман, а старый, дырявый, пустой, никому не нужный мешок. Кака сам не знал, почему он решил всё вынести, остаться здесь, хотя уже с первых слов бородатого человека ему стало ясно: конец, надежды нет никакой. Чайгуургин будет волосы рвать на себе и всех чукчей палкой погонит креститься. Куриль разорит, запрячет в каменный дом, а сказитель Ланга придумает сказку о страшном шамане и мудром богатыре, одетом в белую шубу. Все эти мысли вдруг накрыла одна небольшая, но очень близкая мысль. Песцовые шкурки! Куриль вспомнит своё условие, и придётся садиться на нарту. Тридцать шкурок! Легче аркан на шею надеть. Это же серебро, золото, которое не трепется, не гниёт...

Надо было немедленно уходить отсюда. Стоит сейчас Курилю только увидеть его – и тридцати шкурок как не бывало! Вон уже кто-то несёт над головой белое золото...

Но Кака не уходил. В его голове пробивалась мысль, которая, может, поправит хоть что-нибудь. Не тридцать бы шкурок, а десять... Если первым принять крещение? А? Пойдёт тогда Куриль на уступки? Нет, не пойдёт. Но если рискнуть? Что для него значит крещение? Ничего. Тьфу на это крещение. А двадцать шкурок может остаться в мешке.

И надо же было случиться такому, что как раз в этот момент колебаний к Каке подошёл Сайрэ.

– К столу велено подойти, – сказал он, зло играя косыми глазами.

И Кака пошёл.

Иконы на столе уже не было. А за столом сидел Косчэ-Ханидо. Он держал в руке гранёную палочку с острым чёрным концом, а перед ним на столе лежала бумага. За эти дни он научился писать цифры, и сейчас пытался делать пометки – сколько сдают песцов. Возле него столпились дьячок, Куриль, Мамахан, Ниникай и ещё несколько богачей. Но попа не было здесь.

– Что скажешь, Кака? – спросил Куриль. – Мне показалось, что ты крестился.

– Ваш бог, может, и сильней, – ответил шаман, – но вы его почитаете плохо.

– Как это плохо?

– Столько задниц я никогда не видел. Попа встречали, а забыли, что бог на небе. Головы в ноги попу, а что богу показывали?

– Тебе показывали, а не богу! – сказал Куриль. – Ты ведь сзади стоял? Дьячок прыснул в кулак, богачи захохотали, и первый раз за многие годы захохотал Косчэ-Ханидо.

– Доля твоя! – грозно сказал Куриль, обрывая смех. – Или забыл?

– Пусть разойдутся немного люди. Я вашу веру нынче приму.

– Куриль, – сказал Ниникай. – Подожди, прервём разговор. Я чувю, он предлагает дело.

– Ты думаешь? Ага, понимаю... Ну ладно. Иди, Кака, посиди.

Было уже за середину дня, когда шаман Кака принимал православную веру. К этому времени в стойбище возвратился Чайгуургин.

Голова чукчей узнал обо всём от Кымыргина, который помчался сообщить ему новости. Чайгуургин прямо с нарты влетел в тордох. Влетел – и замер. Кака стоял против попа, дьячок чесал волосы за ухом, сидя на том же месте – за столом, возле иконы. Куриль озадаченно потирал свою лысину.

Три жены у Каки, а записать законной можно одну. Но это ещё полбеды. Старшая жена бездетная, зато дети есть у средней и младшей. Как быть с детьми?

А ведь всё шло хорошо. Куриль и Ниникай сошлись с Какой на пятнадцати шкурках. Потеря была огромной, но выгода казалась просто великой. Одно дело – покончить с шаманом, с крупным шаманом. Только эта победа не имела цены. Однако ещё важнее было другое. Стоит окреститься шаману – и все чукчи сегодня-завтра окажутся на коленях перед попом. Но сухой берег близко, а из болота не вылезешь. Кака уже согласился считать законной одну жену. Какую – он ещё не решил, но сдвиг всё-таки есть. А вот дети? Тут все растерялись и не знали, что делать.

Чтобы хоть как-то исправить ошибку, из-за которой дрожали ноги, Чайгуургин решил смело вмешаться и проявить суровость вожака рода. Он подошёл к иконе, размашисто перекрестился и, словно был совершенно невинен и чист, грубо сказал:

– Говоришь, у тебя дети? У твоей младшей жены все дети на Потончу похожи. Ты сам болтаешь об этом.

– Пьяный я ещё не то болтаю. Сам знаешь, что я наговорил вот на него, на сына Курилова. Умные люди не верят мне. Все дети мои.

– Брось старшую – она всё равно скоро в тот мир попросится.

– Я привык к ней, как к матери!

– Ты ко многому привык... А средней с детьми отдели часть табуна. У неё дети взрослые.

– Жить с младшей, с этой собачьей важенкой? Да она только о том и думает, чтобы с гостями поспать!

– О господи! Это ли не грехи тяжкие? – Синявин перекрестился, махнул рукой и быстро ушёл к себе.

– Ну, что будем делать? – спросил Куриль.

– Не знаю, – ответил Кака. – Не по моей воле. Я хочу – вы не можете.

– Ты за старую жизнь цепляешься, – сказал Ниникай. – Три жены – и все вы жирно живёте. А жир на обмане да на крови замешан. Молчи, на крови! Ладно, иди, думай. И мы подумаем. Костёр раздуй – холодно.

Куриль ушёл за свой полог. Чайгуургин метнулся за ним.

– Что ты к нему пристал? – заговорил чукча. – И без него обойдёмся.

А почему Ниникай вмешивается?

– Нет, друг мой, теперь не обойдёмся без них, – с ненавистью посмотрел на него Куриль. – Если б ты не бросил народ свой в такое время, всё хорошо было бы. А ты бросил!

– Но первым попятился ты, – возразил Чайгуургин. Вместо ответа Куриль постучал кулаком себя по лбу и указал на перегородку, за которой сидел Синявин: мол, думай, что говоришь. И для Синявина он сказал:

– Я не пятился. Мой народ весь окрещён. Ладно, дело нужно спасать. Ниникай утром ещё окрестился, а после этого веру принял один Тинальгин. Ниникай не повлиял! Никто не пришёл больше, а все знают, что поп их ждёт. На Каку только надежда.

– Я пойду выгонять! – встрепенулся Чайгуургин. – Только не посылай Ниникая.

– Ниникай вместо тебя!

– Как вместо меня? – испугался Чайгуургин.

– Так. Отец Синявин и я приказали. А ещё оплошаешь раз – и уже исправник прикажет. Понял мои слова?

Их разговор оборвал злой шёпот в тордохе, какая-то тихая ссора. Чайгуургин задрал полог и увидел всех трёх жён Каки, которых выпроваживал муж, но которые уходить не хотели.

Тихая перебранка сразу перешла в громкую, как только вышли Чайгуургин и хозяин тордоха.

– Вот приехали, вот они! – тарачил бельмо Кака. – Кто их звал? Это ты, сучка, подговорила их. Мужиков много здесь – я буду пить, а ты с гостями валяться!

Он схватил младшую жену за воротник и потащил её к выходу. Пинком ударил её в бок, та вылетела из тордоха, упала, но упал и сам Кака, только назад.

– Мы к русскому келе пришли, мы кресты носить будем, – спешила объяснить происшедшее старшая из трёх жен – старушка, одетая в новенький керкер.

– Я, я вас так сейчас окрещу палкой, дуры пустоголовые! – Кака уже был на ногах и глазами искал, что бы такое схватить.

– Кака, перестань – здесь божий дом, а не ваша яранга! – вмешался Куриль. – Идите наружу и объясняйтесь.

Выпроваживать семейство Каки было опасно – узнают правду, перегрызутся, и никто к попу не придёт больше. Но что делать? То же самое произойдёт и здесь, только в скандале сам поп будет замешан.

В общем, надежда на Каку пропадала.

Подгоняя стадо своих жён в направлении каравана, только что прибывшего из Халарчи, Кака быстро объяснил женщинам, что от него требует поп и почему он один решил окреститься – крещение он будто бы принимает только затем, чтобы не попасть на войну. И мудрость хозяйина уже была признана, как вдруг навстречу им – сам Мельгайвач с женой.

– Куда? – спросил Кака, поглядев на своего пастуха зверем.

Но Мельгайвач сам был страшен в этот момент – он шёл к попу, чтобы принять крещение и заодно сделать попытку рассчитаться с Какой. Ничего Мельгайвач не ответил. А Кака всё понял и поплёлся за жёнами

теперь не просто смиренный, а безразличный ко всему в среднем мире. Все страсти, пережитые им, не шли ни в какое сравнение с тем, что на него сейчас надвигалось. Мельгайвач отнимет полтабуна, а может, и больше. А это будет и концом шаманства его, потому что все от него отвернутся. Потом ненависть, месть – и всё пропало. Но может быть хуже: назовут страшными русскими словами – антихристом, изувером, припомнят всё, свяжут и отвезут в Среднеколымск. Оленей и добро отдадут царю...

Надо спастись. А как?

Начали разгружать караван, ставить ярангу.

А тем временем Мельгайвач сидел вместе с попом и головой юкагиров и рассказывал другу исправника, посланцу бога, жуткую, дикую историю своей жизни. Синявин знал эту историю, но с тех пор лет прошло много, не всё он помнил, да и совсем иной, более страшной предстала она на живой исповеди самого пострадавшего. Погоня за богатством, обман и подлости, вражда между шаманами, коварство шамана Сайрэ, старика, захватившего в жёны сиротку-красавицу, зависть к славе его, потом безумие – распоротый живот и чудовищная подлость Каки – выродка, проходимца – шамана, отнявшего половину богатства и взявшего богача в пастухи... Теперь Мельгайвач хочет стать христианином и просит восстановить справедливость – заставить Каку вернуть подло захваченное богатство.

Долго думал Синявин. Однако ничего определённого не сказал. Сказал, что он не власть, а священник, что он тем не менее подумает, посоветуется, как быть.

Ушёл от попа Мельгайвач православным – Иваном Ивановичем Мельгайвачом; единственная жена его стала Анной.

За это время шаман Кака ничего хорошего не придумал. Но всё же решил: надо идти к Курилю, унизиться перед ним и попросить пощады.

Куриль уже знал, что так оно и случится, – он ждал его.

Они встретились в малом тордохе.

– Решать будет исправник, – сказал Куриль. – Но я кое в чём помогу.

Они перешли в большой тордох. Куриль поговорил с Синявиным, и окончательный суд был таким: старшую жену Каки записать его матерью, младшую – сестрой, а законной женой – среднюю, причём все дети считаются родными законной жены. Кака знал, что всё это будет лишь на бумаге, и согласился. Но у него была и другая, более важная причина дать такое согласие.

Ушёл он очень довольным.

А Куриль с Синявиным и Губаевым поскорей принялись за еду. Они спешили, поскольку вот-вот должны были появиться чукчи. Впрочем, крещения уже ждали две чукчанки, гости Ярхаданы – жена Ниникая с подругой. Потом ожидалась жёны Каки, которых шаман обещал соответственно подготовить.

Дело шло уж к вечеру, когда в тордох влетел, будто спасаясь от стаи голодных волков, Иван-Пурама. Старик закричал:

– Отец Синявин, Куриль, чукчи бегут!

– Куда бегут? – высунул Куриль из-за полога свою лысую голову.

– В Халарчу. Куда им кроме бежать!

– Как это – в Халарчу?

– Разбирают яранги. Вот, рядом с вами Оммай снял ровдугу, а там две семьи укладывали уже, и многие оленей пригнали из тундры.

Синявин откинул полог.

– Всё-таки уезжают? – спросил он. – А в чём дело?

– Каку не надо было крестить! – Пурама погрозил Курилю пальцем. – Я им говорил, что со мной нужно совет держать, с мужиками нашими. Не все дела за богатыми пологами сделаешь.

– Я прошу не кричать здесь! – обозлился Куриль. Но Пурама властелина совсем не боялся.

– И Халерху надо было давно окрестить! – продолжал он. – И с почестями окрестить. Народ недоволен и этим.

Нырнув за полог, Куриль схватил малахай и с шумом выскочил из тордоха.

– Неужели такой двуличный шаман? – спросил Пураму Синявин. – Он же сам настаивал на крещении. Как он мог это повернуть против веры, которую только что принял?

– Да он и не скрывает, что у него два лица. Даром, что ли, одна половина морды чистая, а другая в наколке? Только нынче он сделал так, что его обвинить нельзя. Не отлучишь от церкви его: не он, а жёны сказали, что русский бог ребятишек у матерей отнимает.

Синявин перекрестился, пробормотал что-то, а вслух сказал:

– Да, вот это серьёзно. Тебя, старик, зовут Пурамой? Спасибо тебе за радение. Константин! – позвал он Косчэ-Ханидо, который сидел за столом вместе с Макарием. – Налей нам водки.

Когда Пурама с батюшкой выпили, Косчэ-Ханидо, взявший у них опустевшие кружки, остановился на полпути к пологу. Он словно хотел что-то спросить, но не решался. Пурама это заметил и по-отцовски сурово сказал:

– А ты вот что, богатырь домашний: царапать бумагу учись, но и на свет почаще выскакивай. Чтоб сегодня был у невесты. А то я из двери аркан накину и выволоку.

...То, что увидел Куриль, сделав всего десяток шагов от тордоха, было ужасным. Вместо яранги Оммая стоял голый каркас. Да это ещё бы и ничего. Но таких каркасов-скелетов виднелось вдалеке много – не меньше десятка. Вся чукотская часть стойбища суетилась – везде стояли упряжки, люди бегали, сворачивали на снегу ровдуги, тащили к упряжкам вещи.

Сам не свой, будто в мокрой оледеневшей одежде, Куриль поплёлся туда, к чукчам. Он не заговорил с Оммаем, который увязывал на нарте поклажу, не заговорил и с Меветом, только начавшим снимать ровдугу. Он вообще не собирался ни с кем говорить, потому что все слова давно были сказаны.

Ниникай и Чайгуургин ходили отдельно по этому исчезающему стойбищу. Они были похожи на бессильных хозяев, уставших бороться с огнём и понявших, что обгоревшие жерди в дело уж не годятся.

Много здесь было ламутов и юкагиров. Юкагиры не знали, что делать: им, хозяевам, надо бы помогать отъезжающим – таков был обычай, но помогать они не могли.

Куриль остановился возле одной из упряжек, совсем готовой к отъезду.

– Не обижайся на нас, Апанаа, – сказал чукча, закуривая на дорогу. – Мы люди свободные и жить будем по-своему.

Ничего ему не ответил Куриль. И ничего на дорогу не пожелал.

Вернулся он опустошённым. Очаг не горел, свечи стали огарками, а иные потухли совсем. Шкуры-подстилки вокруг очага были истоптанными, грязными, задранными, будто через тордох прогнали стадо голодных оленей. Как нарочно, за столом одиноко сидел не кто-нибудь, а каюр Синявина, словно ожидающий приказа собираться в дорогу. При появлении хозяина каюр – до крайности молчаливый и незаметный человек неизвестного рода – встал и ушёл через задний выход. В другое время Куриль легко смекнул бы, что человек этот не случайно появился в решительный момент, что сейчас он выслушивает и вынохивает. Но Курилю не до этого было. Он подошёл к столу, постоял, поглядел на каракули, нацарапанные карандашом на листе бумаги, и опустился на пол.

Из-за полога появился Синявин, одетый в заячью шубу.

– Ну что, – спросил он, – удержать невозможно?

В ответ Куриль покачал головой.

– Да-а, тут есть над чем крепко задуматься.

Поп начал шагать туда-сюда вдоль пологов.

Вошёл Косчэ-Ханидо с охапкой топлива. Поп задержал его и спросил, указывая на задний выход:

– Там... никого? Никто меня там не ждёт?

– Слуга переобувался. Ушёл. Мне тоже уйти?

– Нет, нет! Как раз нам тепло нужно. И богачи уехали? – спросил Синявин у Куриля.

– Почти все. Скажи, отец Леонид Синявин, почему бог не остановит их?

– Почему? О, об этом не спрашивают – пути господни неисповедимы. – Поп глубоко вздохнул и повторил вразяжку: – Неисповедимы. Человек, значит, не может постичь мысли и дела божьи. Не сиди, Афанасий Ильич, под столом – это нехорошо.

– А сам ты как думаешь?

– Ошибок мы с тобой наделали много. Ты крупно играешь – и ошибки твои крупные. Но у тебя хоть утешение есть. А вот я не играл, однако ошибки мои покрупнее твоих. И утешения никакого. Да вылазь ты из-под стола! Это у русских считается неприличным.

– Э, какая теперь разница, где сидеть! – Куриль закричал, но всё-таки начал вставать. – Как на глаза покажусь людям – не знаю.

– Вот уж тебе-то, право слово, нечего падать духом. – Поп сел за стол, поднял лист бумаги с каракулями Косчэ-Ханидо. – Ты разве в ответе за чукчей? Нет. У них свой голова. А юагиры твои почти все окрестились. Церковь будет, поп будет, учёный помощник – тоже. Вот глянь – за четыре дня Константин счёт научился изображать на бумаге. Ты можешь не сокрушаться.

– Но чукчи отвергли христову веру! А мы с ними соседи. Это большой удар.

– Конечно, большой, – согласился Синявин. – Однако и в нём у тебя есть утешение.

– Это какое?

– А такое. Не понимаешь? Теперь ведь ясно, что ты старался не зря,

что чутьё тебя не обманывало. Усердие было по разуму. И ты всегда можешь сказать, что дело испортил сам Среднеколымск.

– Я порядочный человек! – встрепенулся, как птица, Куриль. – Я умею тайну беречь.

– Да, я сожалею о том разговоре. Тут я ошибся, и крепко ошибся. Но и ты в толк возьми: тревожно у нас, очень тревожно. И ещё возьми в толк: я ехал с мыслью взять тебя под защиту.

– Да? – удивился Куриль. – Это мне непонятно. И угрожать ехал, и защищать.

– Тут просто всё. Вот ты сам себе памятник из рогов поставил. А знаешь ли ты, что тебе памятник возвести нужно из камня? Чтобы веками не сгнил?

– Как? После такого провала? Каменный памятник? Не смеёшься ли ты, отец Леонид? Может... задабриваешь?

– Я говорю правду, как есть. И не задабриваю. А вот в Среднеколымске скажу, чтобы тебя не только оправдывали и задабривали, но и возвеличивали.

– Не понимаю, за что, – развёл руки Куриль. – За провал?

– Ну, провала полного нет, – не согласился Синявин. – Есть и успех. Церковь вперёд продвинулась. С твоей помощью. А знаешь ли ты, что православная вера и не должна была победить?

– Как так – не должна?

– Обыкновенно. Шаманство – это не просто дьявольщина, а шаманы не просто слуги сатаны. Шаманство – это часть язычества, многовековой веры. Вот дело в чём.

– Конечно, они едины, – согласился Куриль. – Но какая тут новость?

– Язычество – это дикость, это вся ваша жизнь. Ты боролся против шаманов, а получилось, что боролся с дикостью, со всей вашей жизнью. Вот за что тебе надо памятник ставить.

– И ты так скажешь исправнику? – насторожился Куриль.

Поп не ответил. Он встал и пошёл к костру, который успел раздуть Косчэ-Ханидо. Куриль пошёл следом за ним.

– Нет, я так не скажу, – вздохнул Синявин, грея над костром руки, – онидигил был долго открыт, тордох сильно выстудился. – Я многое понял здесь, Афанасий Ильич, очень многое понял.

– Скажи. Мне интересно. Или тайна большая? Может, ему, Константину, уйти?

– Нет, зачем же ему уходить! – запротестовал Синявин. – Как раз ему и нужно знать правду. Да я уже всё и сказал. Поражение потерпела православная церковь. Хотя и не полное, но поражение. Не подходит вам христианство. Шаманство подходит вам. Вот о чём я раньше не думал!

– А ламуты? А юкагиры? Мы все теперь носим кресты. И ты сам говорил...

– Эх, Афанасий Ильич... Какое же христианство, если никто не знает канонів его. Никто ведь не знает законов божьих! Ламуты восстанавливали христианство, но, к сожалению, опять христианство слепое. А юкагиры... У юкагиров лучше пошло потому, что случилось это не вдруг, а весьма постепенно, да и обычаи ваши ближе к христовой вере. Нет, что ты ни говори, а христианство не победило. И мы с тобой не виноваты ни в чём.

Куриль бросился от костра.

– Какие я слышу слова! – зашумел он, отмахиваясь руками, будто от злых комаров. – Какие слышу слова! Зачем же я жизнь прожил? А?

Он вдруг подскочил к Синявину и, смело, даже с ненавистью глядя ему в лицо, зачастил:

– Может, тундре темнота подходит? Может, правильно, что мы нищие? А? Может, нам о добре, о свете и думать не нужно?

– Да бог с тобой, Афанасий Ильич! Опомнись, – бормотал поп, пятясь назад. Он ещё потому испугался, что поднялся в рост Косчэ-Ханидо, в глазах которого тоже сверкала обида и злость.

– А ты видел наши жилища? – продолжал натиск Куриль. – Пошли Макария, пусть он пересчитает заплаты на всех тордохах. У него счёта не хватит. Рвутся ровдуги – кочевать люди не могут. А у нас холодно, и на одном месте не проживёшь...

И тут, наконец, обозлился Синявин.

– Перестань, Афанасий Ильич, перестань! – грозным басом окоротил он его. – Гнев на мне вымещаешь? Очнись и опомнись!

В широко открытых глазах Синявина было что-то такое, отчего Куриль в одно мгновение обессилел. Он гораздо тише сказал:

– Прости, отец Леонид. Это я так... Выхода нету. Мысли мечутся в голове... – Он повертел пальцами перед своим лбом, сник и со вздохом опустил на грязный пол.

Сел и Косчэ-Ханидо.

– И ты с такими мыслями хочешь к исправнику ехать? – спросил Синявин.

– Да уж теперь молчать не придётся, – ответил Куриль. – И тебе прославлять меня не придётся. К моему приезду расскажи всю правду о тундре. Ты её видел и знаешь. Пусть исправник эту правду поймёт.

– Афанасий Ильич. Не при отроке твоём пусть будет сказано это, только я за пять дней научился не верить тебе. – Синявин сделал шаг от костра, но тут же остановился и с неожиданным гневом вдруг почти закричал: – Иди, распорядись забить половину своего табуна! Раздай мясо и шкуры! И не будет заплат на ровдугах. Поезжай к исправнику – он тебе это же скажет. И ты быстро найдёшь с ним общий язык. И тут вся цена радения за несчастных. Я не люблю несерьёзной игры. И притворных слёз не люблю. Бог Христос не сбросит с неба по сто оленей на каждого юагира. Тяжело – что поделаешь! Русскому мужику не легче, но он терпит, однако. – Синявин хотел уйти за свой полог, но остановился и, для примирения, что ли, добавил: – А в тундре всё хорошо и спокойно. Никто ничего не ждёт. И на сходках никто крамольных речей не произносит¹⁰⁸...

¹⁰⁸ Синявин Леонид Григорьевич – среднеколымский священник. Отрёкся от сана, перешёл на сторону Советской власти и в 1922 году за помощь большевикам был расстрелян белобандитами в устье р. Индигирки вместе с известным революционером В. Д. Котенко.

ГЛАВА 26

На третий день ожиданий Халерха больше не сомневалась: семья Нявала, Куриль, Пурама, Ниникай, а может, и ещё какие-то люди связаны круговой порукой и скрывают что-то более важное, чем она думала раньше. Косчэ-Ханидо не приходил, даже в стойбище не показывался, и это подталкивало к догадке, что он боится раскрытия какой-то тайны, и так боится, что с помощью своих попечителей хочет запутать её, поставить в безвыходное положение.

Но Халерха не была старухой, живущей одной своей правотой. Она не могла забыть того дня, когда жених её, суженый от рождения, шагал сквозь толпу вместе с самой высокой знатью, да ещё позади служителей бога. Она не затыкала уши, когда Пайпэткэ и её сын рассказывали о Косчэ-Ханидо, с утра до ночи занятого делами, к которым не допускают даже князей. И уж, конечно, не прошёл для неё бесследно тот поздний вечер, вдруг кончившийся её выдумкой – обменом сердцами.

Это противоречие чувств и рассудка невесть почему вспыхнуло в ночь перед несостоявшимся крещением чукчей.

Бурные, суматошные дни, полные новостей, облегчили её страдания – её отпустила боль потери отца. Она уже не рассчитывала, как в первые послепохоронные дни, долго быть разборчивой или совсем одинокой; ей снова стали понятны жадные взгляды парней и мужчин – уже знакомых и незнакомых, спешивших понравиться ей перед отъездом.

В эту ночь вопреки всем дурным подозрениям Халерха почувствовала, что Косчэ-Ханидо непременно сейчас должен быть с ней. Она стала ждать его с вечера, она прислушивалась к шагам и замирала, когда шаги приближались. Но Косчэ-Ханидо так и не появился. И ей бы приуныть, но в полной тьме, едва согревшись под одеялом, она ощутила вокруг себя тёплый туман, который всё резче и резче просекали солнечные лучи. Сдавлив скрещёнными руками груди, она увидела над собой лицо Косчэ-Ханидо – то одичавшее лицо, которое она видела, когда уронила чашку. Он был первым, кто дотронулся до неё, кто вот так, в безрассудстве, забыл всё на свете и чуть не лишил рассудка её. Это была тяжёлая ночь зрелой девушки, готовой стать женщиной и испытать материнство. Опыневшей от страсти, ей долго казалось, что сейчас в жизни всё было бы проще, что она, конечно, забыла бы о своих нелепых условиях, если бы он так глупо не одолел свою страсть. Она не знала, сколько всё это тянулось – четверть ночи или полночи. Только в конце концов она откинула одеяло и, босая, в одной ситцевой рубашонке, выбралась из-за полога. В потёмках нащупав палку треноги, остановилась, задумалась. И в самом деле: какие условия она может выставить – она, хоть и красавица, окружённая женихами, но круглая сирота – юкагирка, выращенная подаяниями и заботой сородичей! Зачем, ради чего она будет искать какую-то правду, докапываться до мужских тайн, если за парня готова пойти любая девушка из любой тундры, из любой богатой семьи, если у жениха какая угодно поддержка, если ей, наконец, будет хорошо с ним? Ну, узнает она что-то плохое о Косчэ-Ханидо, откажет ему, выйдет замуж за незнакомого человека. А тот человек, конечно, не поймёт её так, как свой парень, с ним всё может пойти вразлад, и тогда любовь к Косчэ-Ханидо изломает всю её жизнь...

Халерха начала рассуждать. Начала – и сладкий, тёплый туман быстро превратился в холодный мрак.

Дрожь заставила её скрыться под одеялом. Она никак не могла согреться, а сон не подступал.

Хорошо, значит, свадьба, долгая жизнь вдали друг от друга и редкие встречи. Пусть. Дело не в этом. Его будут учить, воспитывать, направлять русские, царские люди. Вот где опасность! О людях царя, о русских людях Халерха слышала разное. Хорошие русские люди живут особо, сами собой, иные из них вызывают в народе то удивление, то восхищение, многие северяне дружат с ними, гостят у них. Но на жизнь стойбища влияют плохие русские люди. От них без конца приходят угрозы, они всё берут, берут и берут, но ничего не дают, богачи везут им большие подарки, а сами становятся более хитрыми и более жадными. Но Халерхе известно ещё и более страшное. Эти злые русские люди прячут других людей в тёмные каменные дома, бьют непослушных и даже убивают из ружей. Северян они, правда, не мучают, не убивают, но это, может быть, потому, что северяне сильно боятся их и угождают, унижаются... А Косчэ-Ханидо попадёт именно к этим плохим русским людям. А если у Косчэ-Ханидо на душе грех, а не просто связь с шаманом Какой? Если он натворил что-то такое, из-за чего вся семья сбежала от людских глаз? А ведь он наверняка нарушил законы рода! Плохие, но хитрые русские люди всё узнают, до всего докопаются, и, если он им будет нужен, они возьмут его в услужение, он перестанет быть юкагиром.

Обо всём этом Халерха думала не впервые. Но сейчас она была более жестокой к себе и к Косчэ-Ханидо, который, в сущности, прятался от неё. Она потому не щадила сейчас ни его, ни себя, что хорошо представляла, как бьётся у неё в животе человек и как молодой её муж там, в остроге, за чужой бутылкой горькой воды хвастается своим умом, силой и победами над врагами. Это ведь он сейчас распускает перья, особенно перед ней, а там, в Среднеколымске, где есть и тёмный дом, и казаки с длинными, как палка, ножами и с ружьями, там он забудет, что собирался писать царю бумагу о бедных, вымирающих юкагирах.

Нет, может быть, Халерхе и в самом деле лучше приглядеться к ребятам попроще, хотя бы к высоким, красивым, неунывающим ламутам? Вернуть Косчэ-Ханидо рукавицу, и пусть он больше не прячется от неё, пусть занимается большими делами. А людям она может сказать, что не согласна жить в разлуке, не по-человечески. Нет, она всё равно попытается ждать ещё несколько дней, однако не только свадьба, но и помолвка сейчас ни к чему.

Вот так и метнулась Халерха от своих чувств. Осознав это, она испугалась. «Что это я о нём плохо думаю? – опомнилась она. – К другим не придиралась...» Не так давно, отказывая женихам, она бралась починить им одежду, подпоровшуюся в дороге, угощала, чтобы смягчить обиду, хотя еды и чая у неё с отцом всегда было немного. И не спрашивала, что они собираются делать в жизни.

«А зачем ему идти в услужение к не нашим людям? – спохватилась она. – Он вернётся сюда! Если что – я ему все волосы повывёртываю...» Халерха знала, что Косчэ-Ханидо пригласился русским священникам. Пайпэткэ и Сайрэ рассказывали ей, что он уже сидит над бумагой и даже пытается разговаривать с книгой. И она задумалась, вытащила

из кармана одеяла босые ноги, приподнялась и под грудью рукой придавила сердце, которое усиленно колотилось... Ведь царю можно написать о жадных богачах, о купцах-обманщиках, о жестоких шаманах. И о том, что в голодный год не нужно собирать ясак, и о русском лекаре, которого надо прислать в Улуро и Халарчу, и о том, что в тундре мало чая, а его пьют все, мало табаку, а его курят и женщины, и мужчины, и молодые, и старые. Можно написать даже о его нехороших жестоких людях в Среднеколымске. И всё это – на одной бумаге! Посидеть целый день, всё написать – и царь будет знать, как плохо живут юкагиры и почему они вымирают. Царь получит бумагу, ужаснётся, заступится за бедных людей и накажет нечестных, несправедливых, жестоких и злых.

И вот в её мыслях Косчэ-Ханидо уже становился признанным вожаком. Но тут она опять насторожилась: не для всех он будет хорошим. Вдруг те, на кого он пожалуется, со всех сторон набросятся на него и сообщат царю, что всё это – ложь? А если сам царь заступится за своих людей, а те заступятся за неправых – богатых и хитрых? Тогда Косчэ-Ханидо пропал – его просто убьют. Ведь даже Куриль, заиндевевший от мудрости, награждённый царём и поднявший на нарты окрестные тундры во имя бога, даже Куриль хочет бросить дела и стать простым оленеводом. А ведь он совсем немного не угодил русским властям, так немного, что вины его никто и не знает.

Но тут Халерха вздохнула и улеглась. Разве Косчэ-Ханидо глупый, чтобы написать такое письмо? Уж если она видит опасности, то он вместе с Курилем видит их в тысячу раз лучше. Они будут хитрыми, осторожными, терпеливыми. Без врагов он не обойдётся. Но как же его одолеешь, если он один способен писать царю, если и церковь будет в его руках! Ему даже не страшно самому написать на нехорошего, несправедливого человека, поругаться с властью, отдать печать и не называться головой рода – всё равно главным останется он. И молодые ребята к нему потянутся – к учёному и богатырю, и старые люди, и обиженные, и обидчики, и здешние, и приезжие. И любой голова юкагиров будет считаться с ним. Он всё перепишет на бумагу; он будет знать то, что не знает никто; он сможет доказать, убедить, рассудить по справедливости, подсказать, где искать правду; к нему поедут люди из всех стойбищ. Когда он вернётся из Среднеколымска, Куриль уже церковь построит, а где церковь, там и ярмарка, и дома не из шкур, а из дерева – может, он захочет построить юкагирский острог?

Но это уже были мечты о совместной жизни. С ними Халерха и заснула.

Спала она мало и рано проснулась. Но проснулась совсем не уставшей, словно никаких мук ночью и не было.

В тордохе было холодно, неуютно и вроде бы тесно. По ровдуге дробно, налётами шелестел жёсткий снег. Онидигил она заткнула неплотно, и из светлых дырочек просеивались снежинки. Подойдя к очагу, Халерха сняла с чайника крышку, увидела замёрзшую воду, махнула рукой и обернулась к иконе, привешенной к пологу. Она привыкла разговаривать с богом Христом, и, хоть сейчас лица его не было видно, она знала, что он глядит на неё.

– Я уйду в новую жизнь, бог Христос, – заговорила она. – Уйду... Я не поеду в сторону Индигирки, ни в Халарчу не поеду, ни к якутам в

тайгу. Я не хочу быть просто женщиной для мужчины... Да ты и обидишься: ты спустился к нам, а я – от тебя. Нет, я хочу быть ещё ближе к тебе. Я хочу тебе помогать. А помогать я буду тебе через Косчэ-Ханидо. Я знаю – ты Косчэ-Ханидо заметил, ты не против, чтоб он делал твои дела. Помоги ему. Пусть он никогда не делает зло. Пусть побеждает зло справедливостью и добром. Правда ведь, что зло нельзя злом победить? Потому что если злом ответить на зло, то родится ещё одно зло, а может быть, не одно. Ты ведь не хочешь, чтобы всё осталось как при шаманах? Пусть очень большую силу свою Ханидо никогда не применит к человеку, пусть его ловкость, хитрость и ум не обернутся жестокостью. А мне ты, великий бог, помоги хоть немножко. Научи и меня разговаривать через бумагу. Я хорошо вышивать умею, и я буду стараться. Тогда мы вдвоём твою волю исполним быстрее и лучше.

Халерха помолилась. Взяв палку, она вытащила из онидигила старую шкуру, впустила свет и оглядела своё жильё так, будто оно стало уже чужим, будто очень скоро, прямо сейчас, навсегда покинет его. Нет, надо ещё умыться, поесть, чаю попить, а сперва надо очаг растопить.

За хозяйскими хлопотами её и застал Пурама. Это было как раз то время, когда в тордохе у Куриля поднялась тревожная суматоха. Пурама предвидел, что день для Куриля будет тяжёлым, он чувствовал, что большое дело может кончиться плохо, и он знал, почему могучий родственник его опять нарывается на беду. Куриль ни с кем не держит совета, всё предусмотреть не успевает, погостить у простых чукчей времени не нашёл, а в юкагирское стойбище и дорогу, наверно, забыл. Самого Пураму он ни к каким делам не пристроил, а разве Пурама не выручал его, не помогал в беде? И не дай бог чукчам показать нрав – он уж тогда не промолчит.

И самое время, ни на что несмотря, всё-таки отпраздновать свадьбу. Уж давно, самой первой, надо бы окрестить Халерху – при народе, с шумом и почестями, надо было распорядиться свадьбу готовить, взбодоражить людей ещё одной радостью. Нет! Забежал потемну, как вор, к родственникам, бросил гостинцев и скрылся. А что Халерхе с этой варежкой делать? Разве не видит она, что он опять крутит и тянет!

– Махлэ, – сказал Пурама, разжигая очаг. – Косчэ ждёт ответа. И люди не понимают тебя. Сегодня четвёртый день.

– Он должен прийти ко мне. Такой у нас договор, – ответила Халерха.

Пурама решительно запротестовал:

– Нет. Так не положено. Жених своё слово сказал. Разве ему ещё упрашивать нужно? Нет так уж нет.

– Ему упрашивать не придётся. Я согласилась. Но я сирота, и нет ничего страшного, если он придёт ещё один раз.

Крыть Пураме было нечем. Он знал всё. Он пришёл не выяснять и не удивляться. Но всё же надеялся, что Халерха смиритесь и отступится от условий. Не получилось.

– Значит, всё от него зависит? – спросил он, не выдавая ни себя, ни жениха. – Ну, тогда я пойду узнавать. А то народ не понимает. Правда, дел у него очень много. С утра до ночи, с утра до ночи... Я сейчас же его сюда приведу.

– Не надо его приводить. Пусть он сам придёт ко мне вечером. И пусть ничего не боится – так ты ему и скажи. А то, что я хотела узнать,

я спрошу у тебя. Если он придёт вечером, утром Пайпэткэ или ещё кто-нибудь принесёт ему мой ответный подарок.

– О чём же ты хочешь спросить?

– О его врагах. Кто они? Он сказал, что нажил врагов.

– Враги? У Косчэ-Ханидо? – удивился старик, не боясь греха. – Он сказал, а ты испугалась? Первый враг у него – Куриль, потом – я... Да как же ты не поймёшь, что он перед тобой хотел взрослым себя показать! Мол, у него есть враги.

– Они от людей убежали. Так делают люди, чтоб наказать себя.

– Правильно, они наказали себя – ты верно сказала! – умело повернул разговор Пурама. – Нявал-то... он думал, что на новых местах сын его сядет на нарту и будет песцов давить. А мы приехали на беду: обтрепались, как кумаланы. Первый снег-то после голодного года был везде неудачный, а в тех местах песец совсем убежал. Они кочевать. А на другом месте песец вовсе и не водился. Что, возвращаться в Улуру пустыми? Позор. На третье место укочевали. И опять без толку. У них сейчас шкурок десять – остальные проели. Э-э, бедному так-то не разбогатеть.

Халерха и верила, и не верила Пураме. Кромсая ножом юколу, она то замирала, то со злостью перерезала рыбий хребет.

– Я другое хотела сказать, – не удовлетворилась она.

– Ты подозреваешь Нявала в грехах? Старого человека? – накинулся на неё Пурама. – Или Косчэ-Ханидо, которого я воспитал по-старинному? От кого ты слышала, чтобы бедные люди грешили? Врагами бедных не могут быть честные люди. Это запомни один раз на всю жизнь. А то начнёшь защищать Потончу, Петрдэ, Тинальгина, Каку, Мэникана. Но ты даже и так не подумала.

Эти слова Пурамы заставили Халерху беспомощно раскрыть рот. Сколько мук ей причинила неверная мысль, сколько сомнений она родила! Ведь если Пурама что-то соврал, защищая воспитанника своего, то в одном он всё равно прав: не мог Косчэ-Ханидо совершить больший грех, чем совершают они, злые люди без жалости и без сердца, Халерха облегчённо вздохнула: теперь уж ничто не смутит её.

А Пурама, догадавшись, что выстрелил точно, решил поскорее спрятать добычу в мешок.

– Я не с плохими словами, не с упрёком к тебе пришёл. Тебя искалечило прошлое зло и беспомощность перед злом, – сказал он. – И в женихе, в муже своём ищи не страх, а опору – он мыслит правильно. А сегодня встречай гостей. Люди придут тебя поздравлять. Иди в мой тордох. Там три бутылки, мясо – всё жена приготовила.

Счастливый день поздравления Халерхи, придуманный мужиками, был не очень-то радостным. Никто из именитых людей не пришёл. Обижаться, правда, нечего было – сперва русский поп службу пел, потом собирали дары на постройку церкви, а дальше всё пошло кувыром – чукчи отказались креститься. И всё-таки было скучно, несладко, как будто решительно разъединились именитые, богатые люди и простые, бедные. До Куриля даже слух не дошёл. Если бы интересовался, то всё бы, конечно, знал.

Уже смеркалось, когда Косчэ-Ханидо сказал Курилю, что идёт к Халерхе.

– Иди, – решил безразлично Куриль, занятый тяжкими мыслями: он

ковырялся в душе отца Леонида и всё больше склонялся к разгадке – русский священник точно так же мечется, как и он сам, не зная, кого поддерживать, на кого злиться.

В тордохе у Халерхи было тихо, как-то задумчиво, словно собрались хорошие родственники и, сумерничая, размышляют о жизни. Людей было много для маленького тордохы: сказитель Ланга, Пурама, Хурул, Пайпэткэ, старушка и две подруги хозяйки – девушки-юкагирки. Другие гости в течение дня приходили и уходили, а эти остались, зная, что должен появиться жених. Халерха ворошила прутиком тальничок в ярко горевшем костре. Лицо у неё раскраснелось. Молодые слушали стариков, вспоминая прошлое и наставлявших своими суждениями невесту и подружек её. Всё это были разговоры не прямые и не назойливые.

Как только вошёл Косчэ-Ханидо, Ланга замолчал, но никто не зашевелился, не выразил бурной радости. Парня это смутило, но он быстро сообразил, что таким приёмом его сразу хотят поставить на место: он их сородич, он такой же юкагир, как и они, он ничего особенного не сделал ещё. Может, тут было и недовольство им, засевшим в богатом тордохе.

– Пришёл? – тихо поприветствовала его Халерха.

– Э, пришёл, – развёл руки Косчэ-Ханидо, давая понять, что подарка он не принёс.

– Ну, садись, – сказала она, указывая место в двух шагах от себя. – Скоро чай закипит. Чаю попьёшь? Или голодный?

– Попью.

Он боялся смотреть на неё. Короткого первого взгляда было достаточно, чтобы смутиться. С таким пылающим лицом Косчэ-Ханидо Халерху ни разу не видел: это лицо, согретое у очага, к тому же необыкновенно, по-новому красивое, сразу воспламенило и чувства, и мысли: «Жена. Свой тордох. Никого. Прижаться щекой к этой горячей щеке...».

– А я скажу о цветах, – продолжала прерванный разговор Пайпэткэ. – Кто как, а я перед смертью буду видеть цветы. Это сейчас бог меня осчастливил, и я седине рада – стало как будто светлей. А то одна чернота. Закрою глаза – чернота, и ничего хорошего не вспоминается. Только цветы... Чернота – и цветы. Слышь, Халерха! Ты не помнишь, как мы с тобой на берегу Улуро лежали – в траве и цветах? Ты вот такой была маленькой. Тогда цветов я тоже не видела, а потом, слышь, закрою глаза – и жёлтые, белые пятна... Только скажу я о жизни: как человек к цветку относится, такой он и есть сам. Якут увидит первый цветок – хватъ его сразу и давай нюхать, кряхтеть от счастья. А потом изомнёт пальцами, выкинет. И меня, бывало, Потонча схватит, целует, будто я малый ребёнок, да ещё губу сосёт и вроде язык мой кусать собирается. И зачем? Бросил меня, жизнь поломал. А чукча, муж мой настоящий, Мельгайвач, ходил по подснежникам. Ни за что ногу не обнесёт, раздавит цветок. В красоте чукчи ничего не понимают. Женщину знаю, ламутку, с детства. Засохла она в семье. А была-то какая! Смелая, умелая. Что плясать, что вышивать. Ламуты – они красоту понимают. Вон наряженные какие. Как ни полезет она в карман к мужу, а там цветок, то вялый, то вовсе сухой. Рвёт. А зачем? Ну пусть бы себе рос! Чудней всех – русские люди. Эти жадные к красоте и от жадности к ней глупости делают. Увидят

цветы – и давай рвать. Хап, хап, в одну руку, в другую, охапку к груди прижимают. А дома засунут охапку эту в котёл с водой и ждут, пока цветы приживутся. Ни у кого корней цветы не пускали, а они всё равно рвут и в воду суют...

– А юагиры? – негромким голосом прервал рассказ Косчэ-Ханидо. Он давно уже чувствовал, что рассказ этот касается одного его да ещё Халерхи.

– Юагиры? – скосила глаза на него Пайпэткэ. – Ну, про них ты лучше меня знаешь. – Она встала, вздохнула и начала надевать шапку, собираясь уйти. – Рвать уже научились, и тоже охапками, засушить могут. Осталось попробовать в воду совать и ждать, пока корни пустят. Зато юагиры делают то, чего никто не делает – жуют цветы. Как олени. И тебя, Ланга, видела, и тебя, Пурама. Даже видела, как Куриль жуёт. Глаза закатите, о больших делах думаете и жуёте цветки. Я ведь незамужняя – за мужиками всё замечаю.

Подружки Халерхи сдержанно засмеялись, прикрыв ладошками рты.

– Всё смеётесь, а Халерха не смеётся, – заметила Пайпэткэ.

Она шагнула к выходу, а ей навстречу, лёгкий на помине, не кто-нибудь, а сам Потонча.

– Э-э, все знакомые тут! Я пришёл! – Купчик-пройдоха был навеселе. Он вытягивал вперёд правую руку, на которой висела тяжёлая связка бус – красных, белых и ещё каких-то, мелких и крупных. – Девки со стариками тут... Ке-ке-ке... А я подарки принёс.

Косчэ-Ханидо встал. Он потеснил Пайпэткэ и вдруг рванул книзу бусы. Он Потончу не ударил. Он обошёл его, откинул сэпсэ и швырнул бусы во двор с такой силой, что было слышно, как они просвистели в воздухе.

Опешивший Потонча замер с открытым ртом. А Косчэ-Ханидо сказал:

– Если доживёшь до тех дней, когда я головой стану, ты будешь по берегу Мёрзлого моря объезжать Алерскую тундру. Иди, собирай свою приманку.

Выгнать вошедшего гостя, да ещё гостя-купца, отнять у него подарок и выбросить – это само по себе было страшным, невиданным в тундре скандалом. Гостя вообще нельзя не впустить. Но это тем более было скандалом, что после бегства чукчей именно Потонча – вместо Ниникая – мог рассчитывать на сбор пушнины для строительства церкви. Потонча хоть и был выпивши, однако сообразил, что это вовсе не скандал по пьяному делу и даже не выходка чересчур ревнивого жениха, – тут произошло что-то более важное.

– Я, кажется, не к юагирам попал и, кажется, не в Улуро, – сказал он серьёзно. – К разбойникам, однако, попал... на Колымском тракте. Пойду спрошу Куриля.

Это была угроза, и не шуточная.

Чтобы не вскакивать, не задерживать опасного купчика силой, Пурама громко окликнул его:

– Попов, погоди! Перед тем как пойдёшь жаловаться Курилю, послушай меня. У нас в Среднеколымске теперь будут свои люди: Ханидо и Сайрэ. Я слышал, исправник не очень любит тебя...

– А если пожалуешься Курилю, – добавил Ланга, – то сюда больше не приезжай. Мы сами привезём из острога, что будет нужно. Вот Хурул будет ездить на его оленях. – Он указал на Косчэ-Ханидо. – У него будет много оленей.

Уже сидевший на своём прежнем месте и спокойно ковырявший прутиком угольки в костре, Косчэ-Ханидо удивился осторожности стариков. Он сказал:

– Куриль не разрешил Попову собирать песка. Ни для церкви, ни на вывоз. Только сейчас так решили. Отпустите его.

– Как не разрешил? – в момент отрезвел Потонча. Косчэ-Ханидо повернул к нему голову. Все затихли.

– Попов, у тебя, говорят, есть золото. Часть этого золота ты должен был принести сюда. Ты задолжал его вот этой женщине. – Косчэ-Ханидо кивнул на Пайпэткэ. – А ты принёс стеклянные бусы. Это нечестно. Или ты другие имел намерения?

Кажется, Потонча только сейчас догадался, что седая женщина, стоявшая перед ним, это и есть Пайпэткэ.словно волк, напоравшийся на охотников и свирепых собак, он сверкнул глазами, присел и задом попятился к выходу.

Некоторое время в тордохе была тишина. Косчэ-Ханидо знал, что случай дал ему возможность скомкать и отбросить все подозрения, загустевшие вокруг него в родном стойбище. Происшедшее было уж слишком наглядным, и он весь горел огнём неловкости, полнейшего смущения. Да тут ещё обе девушки, забывшие о чести подружек невесты, настолько уж откровенно, угодливо любовались им, что только от этих взглядов можно было провалиться в подземный мир.

Пайпэткэ попала в глупое положение. Она суежилась за спиной жёниха, шумно дышала, не зная, какие сказать слова.

Встал Пурама. Он подошёл к Косчэ-Ханидо и дал ему ласковый подзатыльник.

– Ну-ну, – сказал он удовлетворённо и ушёл из тордохы. За ним поднялся Ланга.

– Богатырь вырвал из рук подлого богача подарок. Он размахнулся и бросил бусы в самое небо. И они стали чёрными звёздами... Я, наверно, буду рассказывать так. – Ланга поднял свою палку. – Счастья вам, молодые. Пусть над вами сверкают звёзды из чистого золота.

Хурул, брат отца Халерхи, растрогался, стал быстро развязывать мешочек, который всё время держал при себе.

– Халерха, – сказал он. – Я тут двух песчишек тебе принёс. Одного отдай Курилю – для божьего дома, другой будет подарком на свадьбу.

– Ой, дядя, родненький мой! – прижала руки к груди Халерха, не дотрагиваясь до шкурок, лежавших уже на коленях. – Ну, вот я сейчас и заплачу.

Всё время молчавшая бабка, которая терпеливо сидела здесь из ей одной известного любопытства, полезла за пазуху.

– Махлё, – сказала она, – как уж станешь царицей, так надень вот эту шапку. – Старуха вытащила какое-то чудо: мелкий мех горностаев и грубый крашеный нерпичий мех шапки был усеян бисером, бусами и подвесками. – Это я в девичестве сшила. Ждала, как бы надеть, да вот и состарилась. Ни в одну голодовку не променяла. Узор немного ламут-

ский, но ведь ламуты нам ближе всех.

Халерха мигом ссутулилась возле старушки и лицом уткнулась в её колени. Плечи её задрожали.

О, как жалели подружки невесты, что ещё днём вручили свои подарки!

А Пайпэткэ, так и не найдя, что сказать, вдруг громко заголосила, круто повернулась к выходу и ушла.

Потом ушли все остальные.

Жених и невеста долго сидели молча. Из носика чайника давно извергался пар, но даже и сейчас ни он, ни она не обращали на это внимания.

Когда Халерха совсем успокоилась, Косчэ-Ханидо взглянул на неё, потом на диковинную шапку, утонувшую в белом меху, опустил голову и сказал:

– Я, однако, пойду.

Она сказала:

– Ну подари что-нибудь. Трубку, кисет – там, в кармане...

– Ничего нет у меня, – ответил Косчэ-Ханидо.

– Ну что-нибудь.

Косчэ-Ханидо в это время был очень и очень злой. Он хорошо представлял себе, что увидят его глаза, что случится с его сердцем, если Халерха наденет вот эту сверкающую шапку, а на плечи положит песцов. Да разве ему с такими ручищами, с такими злыми губами быть её женихом!

– Я завтра уезжаю туда... на север, – сообщил он почему-то угрюмо. – Привезу мать и отца.

Халерха отрывисто, сильно вздохнула:

– Я такая счастливая. Всю ночь буду молиться.

– А мне будет плохо.

– Тебе? Почему?

– Так. Грудь что-то давит. Наверное, душа почувствовала разницу – какая ты, какой я.

– Какой ты – это я знаю. Потому что я других ребят видела... самых лучших. Ты лучше всех, и мне никого больше не надо. Мои уши ни о ком не хотят слышать, а глаза никого не хотят видеть. Ты.

– Всё равно я думаю по-другому. Но я хочу, чтобы ты знала: тебя одну я буду любить, и до самой смерти. Халерха! Я неправду сказал – у меня есть подарок. С ним я пришёл.

– Правда? Какой?

– Только его нельзя в руки взять, нельзя спрятать и нельзя другим показать. Но самое плохое – ты можешь и не увидеть его.

– Как так? – Халерха заёрзала, придвигаясь к Косчэ-Ханидо.

– Ты увидишь его. Для этого ты должна сильно любить. И должна понять силу моей любви, потому что у меня нет ничего дороже... Я дарю тебе радугу. Большую, яркую.

– Радугу? – обомлела Халерха. – Ты радугу мне принёс? Мне – радугу? – Лицо её смеялось, а из глаз вдруг выкатились слезинки. Начав быстро моргать, беззвучно смеясь и плача одновременно, она сдерживала себя, чтобы не броситься к своему суженому, который вовсе не ожидал, что выдумка его произведёт такое впечатление. – Мне – радугу? – по-

вторяла она. – Да ты бы, как только приехал, прибежал бы и крикнул, что привёз радугу!.. – Она вдруг смутилась и, вздохнув, продолжала: – Никто из других женихов не догадался... Всё табуны, всё меха, всё мешки с добром... даже золото предлагали... А ты догадался... Да какое богатство мне не нужно! Мне радость нужна!

– Смотри, Халерха, вверх, долго смотри, – прервал её Ханидо. – Радуга очень яркая. Как останешься одна – смотри вверх... Сам я видел её только один раз. Но она есть! Это правда – есть радуга! И она всегда будет гореть над тобой всеми цветами северного сияния...

– Ты стал говорить так, будто нас что-то разъединит. Я ведь скоро... женой тебе стану.

– Халерха, ты неправильно меня поняла. Это совсем не важно – станешь ты моей или не станешь. Даже если ты станешь женой другого, над тобой всё равно будет радуга. Она будет светиться от огня моего сердца.

– Милый ты мой Ханидо! – Халерха обхватила его шею рукой, очень легко наклонила к себе и сильно прижала к груди его голову. – Я тебя никому не отдам и ни о ком даже думать не буду. Немножко пугает меня твоя резкость. Но со мной ты будешь спокойней. А давай так: пусть радуга одним концом упирается в твою грудь, а другим – в мою. Знаешь, получится что? Чем дальше мы окажемся друг от друга, тем больше и выше радуга будет...

На следующий день, поздним утром, Халерха в сопровождении Пайпэткэ шла к попу принимать новую веру и новое имя. Было солнечно и морозно. Халерха часто приостанавливалась, вертела головой или задирала голову вверх. Пайпэткэ подталкивала её, но ничего не понимала; ей лишь казалось, что счастье слишком уж распирает красавицу сироту, её молоденькую подружку. А Халерха действительно была счастлива, однако головой вертела потому, что следила за облачками пара, вырывавшимися из её рта. Она знала: радуга живёт в пару и в водяных брызгах. Правда, вчера ночью она видела радугу и в дыму, возле самого онидигила. Отец Синявин в это утро был в неплохом настроении. Во время завтрака Макарий сообщил ему, что собрано уже сто с лишним шкурок, а это означало, что можно искать подрядчиков для заготовки леса. Немного расстраивала Синявина предстоящая встреча с невестой его будущего ученика – после крещения ей придётся сказать не очень приятную новость. Но что делать – сказать придётся. Это расстройство, однако, неожиданно стало серьёзным – в тордох начал собираться народ. Ламуты и юкагиры, будто сговорившись, подходили и подходили.

– В чём дело? – спросил Синявин хозяина.

– Любопытство простое, – ответил Куриль. – Невеста будущего моего помощника, первого учёного человека. Красавица кроме того...

Халерха вошла в тордох и не очень-то растерялась. Она даже не подумала о том, что люди собрались из-за неё, а об убранстве богатого тордох она много слышала и сейчас только сравнивала, таким ли он представлялся ей.

Синявин и Куриль вышли без промедления, как только народ притих. И вот тут Халерха всё поняла и растерялась.

– Подойди ко мне, дочь моя! – приказал огромный человек в нео-

быкновенной одежде, которую вообразить Халерха просто была не в состоянии.

Она пробралась между людьми, сняв на ходу шапку, и остановилась против Синявина. Она глядела снизу вверх в бородатое лицо огромного человека, боясь перевести куда-нибудь взгляд. Сердца у неё сейчас не было – колотящимся сердцем стала вся грудь. Да ещё хорошо, что глаза её не заметили Косчэ-Ханидо, а то бы она села наземь и никакими уговорами её никто бы не смог поднять. Косчэ-Ханидо между тем сидел за пологом Куриля, а полог был рядом. За пазухой, как раз возле сердца, Косчэ-Ханидо прятал маленькую рукавичку, принесённую ранним утром старушкой, той самой старушкой, которая подарила вчера Халерхе драгоценную шапку...

Рука Синявина поднялась к бороде и начала теребить её. Голубые глаза расширились и долго оставались похожими на нарисованные глаза бога Христа.

– О господи! Прелесть какая, – сказал поп по-русски, но тут же перешёл на юкагирскую речь: – Апанаа, я вижу чудо. Откуда же она здесь такая? Ведь это цветок! В плоской холодной тундре – и такие цветы? Да где же они прячутся тут?!

Жар волнами гулял по лицу Халерхи. Она ничего не могла понять, она совершенно растерялась, она перестала чувствовать своё тело. Сзади столько притихших людей, трепещут горящие свечи, справа, со стола, с иконы, куда-то вбок, словно тоже стесняясь, смотрит мать бога, голова дьячка замерла – подрагивают лишь космы его волос. И огромному человеку в сверкающей одежде, человеку, не похожему ни на кого, нужна какая-то неземная смелость, уверенность, власть, чтобы так свободно себя вести, улыбаться, говорить, поворачиваться...

Халерха хотела встать на колени, но поп тут же, очень осторожно, придержал её обеими руками.

Что было дальше, она толком ничего не запомнила, врезалось в память слово «Мария» да красные губы священника, говорившего ей как будто самые ласковые слова.

Халерху называли Марией – по имени святой девы Марии.

Очень быстро всё кончилось. Она опомнилась только на воле. Пай-пэткэ заглядывала ей в лицо и удивлялась: всех брызгали водой, а её не брызгали, вместо этого поп помазал ей чем-то лоб.

А за пологом отца Леонида в это время происходил разговор, который затмил бы тучей солнечный день Халерхи и её жениха.

– Афанасий Ильич, – сказал Синявин, решивший до конца довести дело. – Сейчас я понимаю многое, очень многое... Я хочу твоим людям добра, только добра. Ты в этом не сомневайся. Но много добра я не могу сделать. Я в таком же положении, как и ты. Как быть с этой красавицей и с твоим богатырём Константином? Нельзя им пока жениться. Нельзя.

– Как так? Почему нельзя? – перепугался Куриль. – Она предназначена только ему. Народ двадцать три снега ждёт! Э, так нельзя. Она тридцати женихам отказала.

– Тогда Константин не сможет поехать учиться. Школа-то церковно-приходская. Не реальная, а церковная.

– Но он же не будет попом!

– Это ничего не значит. Все, кто там учится, не могут быть близкими к женщине. Телесная чистота – это закон.

– Отец Леонид! – взмолился Куриль. – Помоги. Христом прошу: помоги. Одарю, чем хочешь.

– Я хорошего тебе сделаю много. Но на это пойти не могу, – отрезал Сиявин. – Не позволяет сан.

Ох как хотелось в этот момент голове юкагиров намекнуть о своей неуверенности в существовании бога Христа и узнать до конца, не появилась ли в душе у Сиявина такая же неуверенность! Но он смолчал – не решился.

Они долго и грустно молчали. А потом Куриль тихо спросил:

– Ехать парням надо теперь?

– Нет, к весне. С последней нартой отправишь.

– Вот. Время есть, а свадьбы не будет. Ой как нужна эта свадьба.

– Да что ты так убиваешься? Двадцать три года ждали, а два не сумеют? Совсем молодые ещё.

– Ну хорошо... Я только прошу тебя, отец Леонид: поговори там с якутами, с моим другом Уччу Слепцовым и с моим дальним родственником по якутской крови Ботто Иваном. Пусть они возьмут по одному из моих парней. Где же им жить в Среднеколымске? А Уччу Слепцов очень грамотный человек. И если парням нужен ещё грамотный человек, то можно попросить помочь Арбая Тарасова из Сылгы-Ытара.

– Уччу Слепцов и Арбай Тарасов – на подозрении у властей! – резко ответил Сиявин. – Замешаны в политических делах. Под наблюдением у полиции.

– Что ты такое говоришь, Сиявин! – побледнел Куриль. – Это мои друзья. Это хорошие люди. Это ты ошибаешься, спутал, наверно.

– Я хорошо знаю людей, – твёрдо ответил Сиявин. – Не ошибаюсь я. И Слепцова, и Тарасова перетянули к себе доктор Мицкевич и учёный Гуковский. Все они против царя и против бога.

– Да это что же такое делается на свете! – перекрестился Куриль. – Под носом у исправника? А? Мои друзья, учёные люди...

– Бурлит Россия, Афанасий Ильич, бурлит... Парни твои будут жить у меня. Так верней... А вместо свадьбы можно устроить помолвку.

ГЛАВА 27

Огромный караван богачей оставил озёрный берег, Соколиную едому, и после долгого путешествия остановился у Чукочьей реки. Вместе с караваном двигалась и крытая кибитка, в которой ехали Куриль и отец Сиявин. Много мест было осмотрено. Но Сиявину больше всего понравился мыс на левом берегу Чукочьей реки, где в эту реку впадала узенькая, никогда не высыхающая виска с якутским названием Туустаах, то есть Солёная виска. Когда-то, переходя эту виску, русский человек уронил в воду мешочек с солью, но не сумел вынуть его и умер потом «сонной смертью», оставшись без соли. Несмотря на печальную славу этой речушки, отец Сиявин всё же решил именно здесь, на мыску, начать строительство церкви. Со всех сторон этот мысок ограждали холмы и пригорки, заросшие хоть не густым, но всё-таки леском. Сия-

вин смотрел далеко вперёд: он хотел, чтобы якутские семьи, взбродившие по Булгуняху, Балаганнаху, по Сумарину и Дулбе, съехались в одно место и обосновали новый очаг жизни на Севере. Куриль был в восторге от такого решения – это всем хорошо: и юкагирам, и чукчам, и ламутам.

Два влиятельных мудреца, не уверенных в завтрашнем дне, пытались вершить новые большие дела. Их окружавшие богачи и дельцы, пока не чуявшие тревоги, прикидывали и примеряли, какая им от всего этого будет выгода, что, где, как и в каком количестве можно будет хватать и загребать, что можно выхитрить сейчас и выманивать в будущем.

Народ с нетерпением ждал вестей, ждал возвращения каравана. Народ видел, что тундра и впрямь понемногу зашевелилась; он надеялся на добрые перемены.

А в это время бедняцкий сын, молодой богатырь, вступивший в большую жизнь и в большую борьбу, Костя-Орлёнок прокладывал по огромной тундре узенький след – он пытался навести порядок в своих личных делах, чтобы они не связывали ему руки, не бередили душу. Он ехал на север, к проклятому месту своей беды, чтобы увезти оттуда отца и мать, вернуть к человеческой жизни, осчастливить своими успехами.

Стойбище на Соколиной едome готовилось и к его встрече: шумным празднеством должны завершиться события, о которых начали думать и говорить больше двадцати лет назад.

Косчэ-Ханидо собирался в дорогу в большом возбуждении. Ведь не прошло, в сущности, и десяти дней, как он вернулся из страшного самоизгнания, а в жизни его произошли невероятные перемены. Перемены эти будут происходить и дальше, и никто их не остановит, ничто не удержит... Он покидал стойбище, когда богачи, священники и дельцы были ещё на месте, когда все они готовились к новым делам, он покидал стойбище сразу после крещения Халерхи, и всё это напрягло его, придало уверенности.

Однако он уезжал не в соседнее стойбище.

Как только Косчэ-Ханидо оказался на белой равнине и, оглянувшись, понял, что он один, сердце его сразу стало стучать по-иному. И чем дальше он углублялся на север, тем всё сильнее и сильнее его мучили недобрые мысли. Отец и мать Косчэ-Ханидо должны будут держать ответ перед сородичами. Любопытство пощады не знает, оно угомонится только тогда, когда ошиплет загадку, как птицу. Мать же Косчэ-Ханидо больная, припадочная. А он оставит родных надолго. «Какую разорить надо, – подумал Косчэ-Ханидо. – И поскорей». Эта мысль не только успокоила его, но и раззадорила. Он обрадовался этой мысли. Действительно, всё складывается так, что было вполне возможно свести счёты с шаманом, совсем обезвредить его. Какую теперь ненавидит не только исправник, но и поп Синявин, и все русские духовники. Но это не всё. Сам Мельгайвач взялся сводить с ним счёты. И как раз Сайрэ – побочный сын Мельгайвача – окажется в Среднеколымске, рядом с Синявиным. Чего же ещё желать! Косчэ-Ханидо останется умно и ловко направлять это дело.

Вот так и приближался Косчэ-Ханидо к знакомым местам, то забы-

вая стегать оленей и промерзая до самых костей, то вдруг, крикая, обжигая оленьи бока вожжами.

Хорошо, что ничего не знал он о тайном разговоре Синявина с Курилем. Мысли о расстроенной на целых два года свадьбе сильно придавили бы парня.

Пурга началась поздно вечером, когда Косчэ-Ханидо попал на дорогу, по которой ездил сюда шаман. Самой дороги, правда, и не было – всё занесло снегом, был путь, направление. Но он не ошибался и очень обрадовался – путь шёл по берегу речки как раз до тордоха; он не раз добирался сюда, проверяя следы шамана. Так что и буран теперь бы его не испугал.

К ночи северный ветер, дующий с моря, будто остервенел. Леда-ной, резкий, он гнал тучи снега, а порывы его были такими жестокими, что даже закалённый-перезакалённый Косчэ-Ханидо временами чуть не вскрикивал от отчаяния: так ведь дьявол может и душу выхватить. Оленей подстёгивать не приходилось – на них была вся надежда: осту-пится хоть один, вывернет ногу – и всё, конец, отпрячь не успеешь, замёрзнешь. Никакой непогоды Косчэ-Ханидо не боялся, а тут начал робеть и тревожиться: не проехал ли он заворот – лошинку. И уж, конечно, в голове была одна упрямая мысль: поставить оленей в затишье и скрыться за дверью тордоха.

Лишь глухой ночью он наконец добрался до знакомого заворота. С колотящимся сердцем проехал лошинку и в нерешительности потянул вожжи. Кроме высоких сугробов, заструг, ничего тут вроде и не было. Проехал чуть дальше и радостно подстегнул оленей. Сквозь тьму и летящий снег он заметил верхушку тордоха, который словно бы прова-лился под снег. Ночью никто не топит, однако ожидая увидеть искры, вылетающие из онидигила, и не увидев их, он почему-то спрыгнул с нарты, бросил оленей и побежал, ничего не соображая, через заструги. Подбежал и растерялся – тордох был завален снегом чуть ли не до са-мого дымохода. В отчаянии он упал в том месте, где раньше был вход, и тычком, обеими руками, как заступом, ударил в снег. Пальцы прошли тонкий свежий налёт и ударились, будто о дерево. Сугроб зазвенел. И в ушах зазвенело от страшной догадки – снег, значит, смёрзся кругом, и, значит, давно никто из тордоха не выходил... Он бросился на проти-воположную сторону, сделал круг. Нет никаких следов, всё вылизано ветром. «Уехали. Куда? Где искать?..» Но рука выхватила нож – и ровдуга свистнула, разрезанная сверху до самого снега. Он не удержался на но-гах и упал в дыру, будто в страшный погреб якутского богача. Внутри был такой мрак, какой и не снился обитателям нижнего мира. Косчэ-Ха-нидо спрятал нож, вытащил серники, подаренные дьячком, чиркнул – зажгёт палочку с красной головкой. Кругом снег, рядом замёрзшая со-бачонка, полог не шевелится. «Откуда здесь собачонка?» Он тронул её и отдёргнул руку: она была твёрдой, как камень. Второй серник зажгёт. Начал искать топливо, будто других забот не было. Присвечивая спич-кой и разгребая снег, он облазил на четвереньках весь пол. Но ни пру-тика, ни остатков плавника не нашёл. А на полог не смотрит – боится. «Жердь, жердь изломать», – решил он и бросился выдёргивать стойку, державшую полог. Вырвал, упал. Придавленный снегом, ветхий тордох затрещал и осел. В темноте Косчэ-Ханидо ударил жердь о колено – куда

там: толстый тальник крепче лиственницы. Его колотила дрожь: он знал, что полог раскрылся, повиснув на одном уголке. Но, боясь зажечь спичку, оттягивая время, он вынул нож и начал стругать деревяшку, на которой даже на ощупь знал каждый сучок и каждую трещину. И уже настругал немного, однако не вытерпел, отбросил жердь, спрятал нож и чиркнул спичкой.

Они лежали рядом – мать и отец. Нявал перед этим как будто рассматривал на ровдуге заплаты, вспоминая по каждой из них прошлые годы, и так заснул навсегда со сдвинутыми бровями. Жена его словно и мёртвой металась – пальцы рук были скрючены, голова запрокинута, шея сильно выпячена вперёд, вместо зрачков – белки в щёлках. Что происходило здесь, Косчэ-Ханидо понял в одно мгновение, как только догадался, что грудь отца обсыпана не снегом и не мукой, а серым порошком, отравой. Спичка уже догорела, когда он заметил блестящую жестяную банку, лежавшую у ног, на скомканном одеяле. Этой банки никогда не было дома, но он точно знал, что в ней яд: некоторые богачи, спасая от волков табуны, достают у американского купца точно такие банки, отдавая за штуку по два-три песца да ещё по несколько волчьих шкур. Значит, американский купец приезжал сюда; он и оставил здесь собачонку. Как он попал сюда – случайно ли, через Каку, – об этом Косчэ-Ханидо не хотел думать. Его первым желанием было схватить банку и быстро, заедая снегом, наглотаться отравы. Но его удержала мысль: «Вся семья отравилась...». Без размышлений он понял, что это плохо, что это хуже любых его будущих мук, хуже прижизненной славы вора и обманщика бога. Если б родители его ушли из жизни дней десять-двенадцать назад, когда он не ждал возвращения в стойбище, он ушёл бы за ними немедленно. Однако сейчас он сказал себе: «Нет, надо как-то не так умереть...».

Потом его охватил ужас положения, в котором он очутился. Прорезанная ровдуга стучала от ветра, как бубен, холод был такой же, как под открытым небом, ледяная пустыня, два дня самой быстрой езды до Улуро, мёртвых двое, а нарта одна, он голодный, уставший, а там, за тордохом, пурга и ледяной ветер... Что делать?

Он долго ходил в полной тьме, потом сел и погрузился в мысли, в которых был сплошной мятущийся мрак. Потом вставал, снова ходил.

Не все дети хоронят родных – иные умирают раньше. Но юкагиры не помнили случая, чтобы кто-нибудь из детей оказался вот в таком положении. Косчэ-Ханидо долго плакал, метался, орал до хрипоты, не боясь быть услышанным. Несколько раз он вскакивал и начинал проклинать свою жизнь, проклинать и духов, и обоих богов, и верховную силу, которой не придумал названия. Он проклинал их за упрямство в жестокости, которое они проявляют к одним и тем же людям, не зная в том меры; он спрашивал их: чем лучше его другие, те, кто не знает ни голода, ни нужды и кто не попадает в беду, как он, как Пайпэткэ, Халерха, как Хуларха, Нявал и их жёны?

К концу ночи Косчэ-Ханидо взял себя в руки, сел и так молча сидел до тех пор, пока не почувствовал безразличие ко всему, даже какую-то лёгкость. И он бы заснул, а заснув, замёрз бы наверняка, потому что к утру морской ветер, пригнавший снежные тучи, уже не морозил с предупреждением, а сразу превращал всё живое в камень. Слава умному

Пураме – это он вколотил ему в голову: чуеть холод – значит, живёшь. Он стал кусать нижнюю губу, но губа ничего не чувствовала. Однако и этого усилия оказалось достаточно, чтобы встать, загрести рукой снег, а потом тереть им лицо. Стал ходить, приседать, бить локтями по жердям каркаса. Наконец зажёл спичку, поглядел на отца и мать. Варёжкой смёл с груди отца порошок, забрал банку с отравой. Решил выбираться наверх, через дыру. Когда выбирался, разогнал кровь и совсем ожил.

Бросил банку и втоптал её в снег.

Уже занималась заря, когда он отыскал оленей, сытых и улёгшихся за застрогой.

Он возвращался в стойбище, не сомневаясь, что теперь многое в жизни пойдёт не так, как предрешили судьба и люди и как задумал он сам.

Приехал Косчэ-Ханидо ночью, пробыв в дороге почти четверо суток. За это время на Соколиной едоме многое изменилось. Ламуты уюковали, уехали оба священника. Жилищ стало в три раза меньше. Но большой тордох Куриля и большая яранга Чайгуургина стояли на месте. Не разъехались дельцы, напротив, для них сейчас было самое время.

Здесь стояла звёздная ночь. По дыму из большого тордеха Косчэ-Ханидо определил, что у Куриля засиделись гости.

Так оно и было. Когда он чуть приоткрыл сэспэ, там шёл ещё пир. Пировали по-свойски, не напоказ: горел очаг, на сускарале висел котёл, пол не был застелен холстом; все курили и пили горькую воду – кому сколько захочется. Делили будущие барыши, прикидывали, кто за счёт чего и кого обогатится.

Он не стал вызывать Куриля, а пошёл к Ярхадане в малый тордох.

Весть, привезённая им, чуть не свела с ума спавшее стойбище. Очень скоро из дымоходов полетели искры – юагиры раздували костры, бросали в них жир: это было последней данью, угощением ушедших из среднего мира людей.

Первым прибежал Ниникай, за ним Пурама, но Пурама не прибежал, а приехал, собираясь тут же отправиться в путь. Ниникай назад – тоже готовить упряжку. Стал собираться народ.

– Что с ними случилось? – спросил на ухо Пурама.

– Думаю, заболели, – ответил Косчэ-Ханидо.

– Сразу обои? Ладно, потом расскажешь. Крепись. Сердце сожми рукой и ум не теряй.

Халерха прибежала, откинула полог, встретилась взглядом с женихом-сиротой и бросилась на мешки с добром Куриля, спрятав лицо, чтобы не было слышно рыданий.

Явился Куриль. Он был трезв от страшной вести и грозно выгнал всех из тордеха, даже жену. Одна Халерха осталась – он её, кажется, среди мешков не заметил.

Насколько гневен он был к посторонним, настолько растерянным и унизительно мягким оказался перед приёмным сыном. Глаза у Косчэ-Ханидо были воспалены, веки набухли, под нижней губой синела рана. Это уже был не парень, а мужчина, хлебнувший лиха.

Куриль стоял, опустив голову. Что мог он сказать?

– Уйдёшь от меня? – Он нашёл в себе мужество не оправдываться, даже как будто брал всю вину на себя. Не услышав ответа, тяжело вздох-

нул и опустился на постель Косчэ-Ханидо. – Неужели это могло случиться? Нет бога. Нет. Отчего умерли-то? Как думаешь?

– От болезни. Сперва мать – у неё снег был на лице... – Он упрямствовал, скрывая правду. – Зачем же мы не послали за ними? А? На второй бы день? Люди, разве мы люди? – Он закрыл рот ладонью, сдерживая хрипение, и стал качаться из стороны в сторону.

– Да... – вздохнул Куриль. – Сразу отца и мать... Это беда... Что упрекать друг друга, что рассуждать... Я скажу так: ты волен, можешь уйти от меня. Их не вернёшь. Но если сумеешь задавить в сердце обиду, останься. Уйдёшь – беда перекинется на других, на наше дело. Я бы на твоём месте остался, ну, чтобы мстить. – Он неожиданно засуетился и раздражённо, громко добавил: – Да, чтобы мне, мне мстить!

– Не надо, дядя Апанаа, не надо! – схватился за сердце Косчэ-Ханидо. За покойниками уехали трое – Пурама, Ниникай и Хурул.

Для всех это были сложные дни. Куриль прервал все переговоры с дельцами. Сказал, что, кто потребуется, того он найдёт. Поскольку Косчэ-Ханидо ничего подозрительного не делал, продолжая жить у Куриля, люди верили, что Нявал и жена умерли от болезни. Сильно насторожил всех приезд шамана Каки. Но Кака не пытался встретиться с Курилем, он даже сказал, что заехал случайно и первый раз слышит о такой страшной беде. Умел хитрить дьявол: он ждал поддержки Куриля в своей тяжбе с Мельгайвачом.

Тяжелее всех переживала беду Халерха. Вообще-то ей, сироте, только что схоронившей отца, было бы не так уж и тяжело. Но к ней не приходил Косчэ-Ханидо, и она думала, что ему настолько плохо, что он не вспоминает о ней. А она любила, и сильно любила его, и потому страдала из-за его боли. За все эти дни он так и не встретился с ней.

Покойников привезли утром на пятый день. Они были с головой укутаны одеялами из оленьих шкур и привязаны к нартам ремнями. Перенесли их в тордох Ланги. Для сказителя это было неожиданной честью, так как Куриль поссорился с ним. Теперь голова, видно, пошёл на попятную. Ко времени оказалась нерасторопность Куриля, который так и не поставил новый тордох Нявалу, а то бы пришлось обживать его мертвецам.

Несмотря на столь шумное принятие христианства, хоронить решено было по-старому. Покойники не были окрещёнными. Впрочем, никто толком не знал, как хоронят при новой вере. Да и русские священники уехали.

Юкагирские похороны, если они не спешные, длятся семь дней. Три из них покойников не беспокоили. В это время шла подготовка к похоронному ритуалу, а он не так прост. Оказалось, что для покойницы трудно найти лодку – в стойбище их оказалось всего пять: одна принадлежала Нявалу, а вторую надо было у кого-то взять. У кого? И как жить с тремя оставшимися? С берега чира не наловишь. Лодка из лиственницы – ветка – стоит очень дорого, да за ней нужно очень далеко ехать – к якутам, в тайгу. Потонча, заискивая перед Косчэ-Ханидо и Курилем, предложил похоронить в гробах. Он готов был уехать к якутам. Однако Ланга напомнил ему, что если случится великий потоп, то покойники останутся под водой и не смогут всплыть. Расчувствованный своими словами, Ланга и отдал свою ветку. А раз хозяин отдал, перечить нель-

зя – жалеть для покойников грех. Иначе было с одеждой. Тут расщедрился Куриль. И была в этой щедрости злая ирония судьбы бедняков. Всю жизнь Нявал с женой проходили в линье и рваньё, а нарядились по-настоящему лишь после смерти. Нявала положили в лодку в белой шубе из шкур летних телят, а жену – в мягкой, серой, с блестящим ворсом, и в рукавицах из осенних камусов. Всю эту одежду старательно, как живым, шили в эти дни женщины. Две могилы для родственников в тундре не роют – земля мёрзлая даже летом, рыть тяжело. Но тут опять вызвался Потонча – он взялся выкопать одну из двух ям. Мужчины выстругивали из дерева нож, курительные трубки, лук со стрелами, сооружали два чума.

Стойбище опять оживилось – стали съезжаться чукчи-соседи. Беда бедняков – беда общая.

За эти три дня Косчэ-Ханидо сильно разочаровал сородичей. Он так плакал, так убивался, не стесняясь людей, что Пурама не выдержал и на второй день сказал:

– Я думал, что воспитал богатыря, а вышло, что из парня воспитал женщину.

Это не помогло. Тогда Куриль прислал Халерху. Он хотел устыдить жениха перед невестой. Халерха ласкала его при людях, тёрлась щеками о его лоб, однако всё получилось наоборот: Косчэ-Ханидо плакал ещё сильнее, будто и с ней прощался.

Самый важный день на похоронах – четвёртый. Именно в этот день покойники на оленях «уезжают» в тот мир, а люди прощаются с их душами. В этот день произошло два события, сильно настороживших и народ, и знаменитую невесту.

В середине дня покойников заворачивали в куски ровдуги, чтобы затем отвезти к тому месту у двух чумов, где произойдёт прощание с душами. Халерху попросили приподнять старуху – оледенелую свекровь – со стороны головы. Она привычно подsunула руки под плечи, напряглась, покраснела – и не приподняла. У неё не хватило сил. Хорошо зная, что это дурная примета, Халерха испугалась.

– Отца я одна поднимала, – сказала она, оправдываясь. – Что со мной? Свекровь недовольна мной, обижается на меня...

Люди недоуменно переглядывались, но поспешили утешить её: мол, беда чересчур большая, все силы потерять можно. А сами стали шептаться: недовольна свекровь невесткой – наверно, считает, что слишком красивая, красавицы ведь чаще, чем простенькие, попадают в беду, мучаются и других мучают.

Повезли покойников на высокогрудых, настоящих ламутских оленях. И запрягли не по одному, как обычно, а по два. Сам Куриль взялся заколоть оленей Нявала. Подъехали к чумам, остановились. Перекрестившись, Куриль вынул нож. Люди с разных сторон держали оленей – они могут шархнуться и перевернуть нарту. Брызнула кровь. Жертвенные животные свалились и стали биться. Но люди продолжали поддерживать их, чтобы они не вскочили. Потом началось самое главное: оленей стали стегать вожжами, и первым за это взялся Куриль. Предсмертные судороги означают бег оленей в том мире, и колют их с тем расчётом, чтобы агония продолжалась как можно дольше. А если олень при этом сдвинет нарту с покойником, торжеству провожающих не бы-

вает предела. Сейчас, после жестоких ударов, сразу оба оленя вывернулись – один встал на колени передних ног, другой попытался подняться на задние. В радостном иступлении народ закричал:

– Нявал! Крепче держи вожжи!

– Видишь, какие бодрые у тебя олени!

– Ох, какие у тебя олени, Нявал!

Вожжи перехватил Пурама. А он был лучшим гонщиком. Под его ударами едва не случилось чудо: оба оленя снова метнулись, чуть не вскочили на ноги, а нарта рывком сдвинулась с места.

– Ок! Ок! Эк! Эк! – кричал Пурама, со свистом замахиваясь вожжами.

Народ ликовал.

А Пурама подскочил к Косчэ-Ханидо.

– Иди, направь сам оленей отца, – сказал он.

– Оставь меня, дядя, – зло огрызнулся воспитанник.

Разгорячённый Пурама сразу сник и притих.

А тем временем другие люди так же подгоняли оленей, на которых неслась в лучший мир мать Косчэ-Ханидо. Но возле этой упряжки в большинстве были женщины: так полагалось – в жизни уезжавшую женщину тоже провожали женщины. Вот тут-то, во время отъезда старухи в тот мир, и случилась вторая беда. Невестке тоже предложили погнать оленей. Халерха была суеверной и не отказалась. Она схватила вожжи, начала стегать, но олени, к всеобщему удивлению женщин, даже не замечали её ударов. Она стегала, а у животных уже остановились глаза. Хурул выхватил у неё вожжи. Напрасно – всё уже было кончено.

Теперь люди были убеждены: свекровь недовольна невесткой. Прячась от косых взглядов, Халерха затерялась в толпе. Назло женщинам она подошла к Косчэ-Ханидо и взяла его за руку.

А дальше оставались поминки и похороны. Покойников положат в чумы, перед их входами разожгут костры, которые будут гореть и днём, и ночью, до погребения. От жертвенных оленей ничего не останется – их съедят у костров, кости, рога, копыта сожгут. Съеденное мясо будет считаться съеденным покойниками. Люди непрестанно, сменяя друг друга, будут кормить огонь. Сын покойников будет обязан каждый день посидеть у костров и улыбаться – его улыбка станет улыбкой покойных. Потом тела положат в лодки и захоронят. На могилах начнётся веселье – люди будут пировать, прыгать, шутить, бороться, петь песни умерших и как можно громче смеяться. Ведь их сородичи уехали в лучший мир, а они не должны скорбеть – жизнь и без того скорбная. И ещё будут ругать покойных: они и бесстыжие, и плохие, они такие – сякие. Не глумление это, а смягчение той же скорби.

...К вечеру Косчэ-Ханидо успокоился. Он долго сидел у одного костра, потом у другого и всё думал, думал и думал. Халерха не отходила от него ни на шаг. Он изредка бросал на неё вопросительные взгляды и отворачивался.

Эти его взгляды Халерха поняла по-своему. Вздохнув и опустив голову, она сказала:

– Сироты мы с тобой. Вот правда.

Он пристально посмотрел ей в лицо, и вдруг встал и пошёл. Она настороженно следила, куда он идёт. А когда поняла, что идёт он куда попало, кажется, в сторону от стойбища, побежала за ним. Обняв его за

спину, легко повернула и повела в свой тордох. Им нечего было бояться, стыдиться – они почти муж и жена.

В тордохе Халерхи никого не было. Косчэ-Ханидо сел на привычное место у очага, который сегодня ни разу ещё не горел. Она села рядом, заглянула в чайник – есть ли вода. Но его какой-то страшный, отчаянный взгляд заставил её забыть обо всём. А Косчэ-Ханидо вдруг стащил с головы шапку, прикрыл ею лицо и грубо, негромко, по-мужски зарыдал. Халерха тут же притянула его к себе, прижала к груди голову и стала тереться щекой о его макушку.

– Ну, не плачь. И-и! И-и! – успокаивала она его. – Не плачь. Как маленький. Я так долго не плакала.

– Да ничего ты не знаешь! – попытался высвободиться Косчэ-Ханидо. – Если бы ты знала... – И снова закатился рыданиями.

– Я знаю, всё знаю, – не придавала Халерха значения этим словам. – Успокойся. Мне, что ли, заплакать?

– Я виноват в их смерти. Я!

– Да, да. Но как ты мог знать, что они заболеют!

– Не болели они – отравились. – Он решительно выпрямился. – Они отравились ядом. Из-за меня.

– Что ты такое сказал? – испуганно подобрала под себя ноги Халерха. – Ты ум теряешь.

– Нет, не теряю. Врал я тебе, всё врал. Я почти три года шаманил. Да, шаманил. Это знают Куриль, Пурама, Ниникай. Кака меня ошаманил. Я не хочу больше молчать. Я должен облегчить душу. Не могу я тебя в обмане держать. Нам не судьба быть вместе. Обман вот чем кончился для меня, для матери и отца. Пусть счастья не будет мне, но на обмане какое счастье!

Халерха напряжённо моргала, разглядывая его лицо, в котором было так много незнакомого ей: ожесточённости к себе самому и к своим врагам, отчаяния и мальчишеской беспомощности.

– Говори до конца, – потребовала она. – Из-за того, что ты стал шаманом, а потом срезал косы, они не могли отравиться.

– Они считали меня вором! И я не мог убедить их, что я не вор. Клянусь тебе своей жизнью, не воровал я. Нет! Я только...

– Что только? Ты все, все слова говори.

– Я трёх оленей Тинальгина убил. Но я мстил ему. А не воровал. А мясо мать не хотела бросить. В то голодное лето... из-за шкур всё началось – мы обтрепались. А Куриль не догадался приехать и узнать, что нам нужно. А, зачем всё говорить! Я их из лука, ни разу не промахнулся... в горло... Кака не знал этого. Но почему люди сбежали, разве не ясно: грех, преступление, и очень тяжкое. Куриль всё простил. И Пурама. А Ниникай даже сказал, что я правильно сделал.

Косчэ-Ханидо больше не плакал, даже носом не дёргал. Губы и веки у него были распухшими, но глаза светились. Очистил душу, и ему стало легче.

Он встал.

– Что же ты дальше собираешься делать? – Халерха смотрела ему в глаза снизу вверх.

– На что решился, то делать и буду. Я ненавижу всех их, всех этих довольных и жирных, жадных и бесчеловечных. От рождения до самой

смерти у них полны животы мясом. Тинальгина, Петрдэ, Каку, Чайгуурина – всех ненавижу. И Куриля. Мстить буду им.

– И Куриля? – уже с лёгкой насмешкой переспросила она.

– Наполовину его ненавижу. Он хоть что-то делает. Он уже многое сделал. Но у него задние ноги бегут к людям, а передние – к богачам. По-всякому буду мстить. Как придётся. И никаких писем не буду царю писать. В остроге есть люди – учёные. Они тоже... Я их спрошу... А теперь я уйду, Халерха.

Он поглядел ей в глаза, надел шапку, заморгал и отвернулся, ушёл.

Она не остановила его.

Прошло много дней. Стойбище на Соколиной едоме давно стало таким же, каким оно и было всегда. Ничего не изменилось. От прежних событий и следов на снегу не осталось – пургой замело. Но приближалась весна. Прошёл праздник Егорьев день, появились проталины, и кто-то даже видел летящих гусей.

В один из таких солнечных дней в стойбище приехал Косчэ-Ханидо – он жил в Булгуняхе у Куриля. Приехал к Сайрэ – увезти его в далёкий и неведомый для обоих Среднеколымск.

Знал Косчэ-Ханидо, что Халерха никуда ни с кем не уехала, что живёт она в том же тордохе, одна.

Сборы Сайрэ были недолгими – он уже знал, что за ним приедут. Ханидо не выходил из тордохы, молча наблюдая, как хлопочет седая, счастливая Пайпэтокэ.

А когда стали привычивать к нарте мешок, Ханидо вдруг оставил людей, собирающихся провожать их в далёкий путь, и пошёл к Халерхе.

Он застал её неожиданно – Халерха заплетала косу, свалив набок густые и длинные чёрные волосы.

– Пришёл, – поздоровался он. – Сейчас уеду. Не увидимся, может. Пришёл сказать: нет без тебя жизни.

– Поезжай, Ханидо, – сказала она. – Поезжай. Попытай счастья.

– И ты будь счастлива. Если добром хоть раз вспомнишь меня, постарайся увидеть радугу над собой.

Основные издания Семёна Кури́лова

Увидимся в тундре. *Якутск, 1961.*

Ханидо и Халерха. – *М., 1969.*

Новые люди. – *М., 1975.*

Чаундаур. – *Якутск, 1979.*

Встретимся в тундре. *Л., 1990.*

На палеосибирском языке

Снова поставил я в озере сетки,
Можно теперь запалить костерок...
Что ж припоздали вы, чайки-соседки,
Что не летите на горький дымок?
Славно сварить бы уху мне из чира –
Перчик душист, и приправа сладка...
Только добыча сквозь сеть проскочила –
Рыба быстра, а вода глубока!
Ну, не беда, я чаёк приготовлю,
Хлеба и масла в достатке припас...
Что же вы, чайки, затеяли ловлю,
Вьётесь над озером? Как я без вас?
Или мне рыбы на ушку подбросьте,
Или со мною отпробуйте чай...
Я приглашаю, соседки, вас в гости,
Ну, налетай, всё, что есть, подбирай!
Эх, легкокрылые, осень подходит,
Время вам в тёплые мчатся края...
Я при любой здесь останусь погоде –
Родины нету другой у меня.
Чайки над озером. Берег пустынный,
Стелется дым костерка по воде...
Если я тундру однажды покину,
Счастья уже не сыскать мне нигде!

Выдающийся писатель сибирского Севера Семён Курилов, юкагирский художник слова, широкую известность получил после смерти. Он, положивший начало литературе на юкагирском языке, умер на восходе творческой жизни – в сорок четыре года. Юкагиры – малочисленный и очень древний народ, язык их относится к числу реликтовых. Писатели-юкагиры появились лишь в послевоенное время, и самый яркий из них Семён Курилов (1935–1980). Семён Николаевич Курилов владел русским, якутским, эвенским и чукотским языками.

Писатель родился в устье Колымы в семье оленеводов, и трудовую жизнь, после начальной школы, начинал как оленевод. Крепким здоровьем, необходимым для выживания в тундре, не отличался, и работал затем киномехаником, радистом, корреспондентом районной газеты. Писать рассказы и очерки начал в 50-е годы, когда сотрудничал в Нижнеколымской районной газете. Первое напечатанное произведение – рассказ «Увидимся в тундре» (1961 год, вошёл в сборник произведений молодых писателей Севера). Начинающий писатель сразу же обратился к более крупной форме, словно знал, что жизнь его коротка, – приступил к повестям и роману. Молодой журналист погрузился в историю

своего народа, записал большую тетрадь юкагирских легенд и преданий. Они вошли в ткань его романа «Ханидо и Халерха». Вторая книга «Новые люди» вышла в свет в 1975 году.

Семён Курилов был направлен на Всесоюзное совещание молодых писателей. Его роман «Ханидо и Халерха» вызвал удивление, даже шумный успех. При жизни автора роман выдержал восемь изданий на русском, якутском, украинском, казахском, латышском, затем на английском, французском и японском языках. Постоянно издаётся он и в наступившем веке.

Проза Курилова – начальная эпоха юкагирской литературы. Древний и малочисленный народ имел только мифы и предания, письменности не было, и первые писатели из юкагиrow начинали в XX веке на русском языке. Перевод первого юкагирского романа был трудно исполнимой задачей: где же найти знатоков языка, на котором говорит несколько десятков человек. Письменность на нём появилась только на грани 60–70-х годов усилиями братьев Куриловых. Семён Курилов сам правил переводы своих повестей на языки народов Севера, из которых самый многочисленный – якутский. А это язык совершенно другой, далёкой традиции: юкагирский язык принадлежит к уральской семье (в ней он самый древний из сохранившихся, самый архаичный), а якутский – к тюрко-монгольской группе алтайской языковой семьи.

У этого древнего народа особая история, правда, восстанавливается она лишь по сказаниям, употребляются здесь также лингвистические и генетические сопоставления. В неолите, предположительно девять тысяч лет назад, юкагиры начали движение с Урала на восток и, очевидно, освоили по пути громадное пространство северной Азии. В Забайкалье они могли столкнуться только с палеоазиатами, и у них есть предания о длительной войне с чукчами и коряками. Тунгусы пришли сюда позднее, много после них – тюрки (якуты), а их потеснили буряты. Русские (казаки) принесли в Забайкалье оспу и другие болезни, от которых у северян не было иммунитета. Число юкагиrow резко сократилось, кроме того, три века их поглощала ассимиляция.

Каждый род-фратрия (по 30–60 человек) говорил на особом диалекте, тундровые и таёжные юкагиры плохо понимали друг друга. Об архаичности культуры говорят остатки матриархата в быту (жених после свадьбы переходил жить в дом невесты). Архаичностью отличался и шаманизм юкагиrow. Умершего шамана, отца-лидера рода, не хоронили, а освобождали кости от мяса, высушивали их и раздавали по юртам; на праздниках шамана поминали как родича. Много было оберегов от злых духов, поклонялись хозяевам гор, лесов и рек.

По языку, вернее по языкам-диалектам, юкагиры – изоляты (палеосибирским называют этот совершенно особый язык). Есть отдалённое сходство с ненцами и нганасанами, с угро-финнами, с палеоазиатами, а также американоидами (индейцами). Письменность им заменяли пиктографические рисунки, опять же похожие на индейские. Русская письменность принята в XX веке. Семён Курилов писал на родном языке кириллицей. К настоящему времени юкагиrow сохранилось около

тысячи, причём меньшая часть их в быту общается на родном языке. Общего названия – юкагиры – сами они не знали, назывались омоками, одулами, анаулами, олюбэнцами, ходынцами и чуванцами. Это самоназвания диалектных групп.

Первый переводчик с юкагирского высказался с пиететом: «Для меня Семён Курилов не просто писатель, а нечто большее, необъяснимо значительное, непреходящее... В своём первом интервью с корреспондентом «Литературной газеты» он высказал лейтмотив всего его творчества: «Я хочу, чтобы слово *юкагир* знал каждый». В эти слова Семён вложил всю глубину боли за судьбу, настоящее и будущее своего умирающего, многострадального народа... В течение многих лет мы с Семёном жили сложными судьбами Ханидо и Халерхи, повседневными заботами мудрого Куриля, светлыми мыслями несчастной красавицы Пайпэткэ и смелого охотника Пурамы, оказавшихся в духовном плену шаманов... Как бы предчувствуя свой близкий конец, Семён жил, творил по большому счёту, торопился поведать всему человечеству о своём народе.... Казалось бы, человек, взращённый суровой тундрой, и сам должен быть по природе суровым. Но душа Семёна была нежной, ранимо-хрупкой, доброй».

Прозаик изобразил переломную эпоху. Сюжетное завершение – предреволюционное время. С. Курилов воссоздал быт малочисленного северного народа, о котором толком никто ничего не знал. Обычаи, одежду, жилища и нартовый транспорт писатель воспроизвёл с сыновней любовью. Главное же – характеры близких ему людей, родившихся в жестокой тундре между реками Индигиркой и Колымой, рядом с полюсом холода – Оймяконом. Замечательна вписанность характеров в природу. Ещё более интересны современному читателю религиозные традиции народа, шаманизм, без которого нельзя понять культуру северных племён.

Важное место в романе отведено юкагирским легендам и преданиям, в которых оживает культ зверей. Опорной можно считать легенду о поисках счастья. Точны описания народных игр, камлания и пляски, не оторвавшейся от традиционного ритуала, разнообразных церемоний. Но толкование романа как этнографического будет ошибкой. Этнография – это наблюдение со стороны, здесь же – самосознание народа и формирующейся в нём личности. Фольклорное происхождение имеют имена героев: Ханидо – «орлёнок», Халерха – «розовая чайка», Сайрэ – «орёл».

С. Курилов, выросший в атмосфере родоплеменного общества, проделал путь-бросок от мифа к литературе. Его особенно оценили японские и европейские писатели. В широком, мировом контексте это забота о судьбе традиционной культуры, о выживании малых народов в машинной цивилизации. Своеобычны сравнения, взятые из народного присловья: «Сайрэ вскипел, как горячий жир от капли воды», «снежно-белые зубы, блестящие, как пуговицы на шинели городского начальника», «завертел головой, как сова на гнезде», «водка завертелась, как бурун в протоке», «скалами возвышались белые яранги», в них

«жизнь кривлялась, как шаманская рожа». И в речи персонажей изобилуют пословицы и поговорки: «Все беды одним ремнём связаны», «Неправда плавает поверху, как жир на воде», «Если волк не съест телёнка до костей и жил, телёнок выживет».

Детально и достоверно изображено развитие самосознания центрального героя Куриля. В нём несомненны автобиографические черты, этот персонаж явился из семейных преданий. Вначале он верил в духов местности, с благоговением внимал шаману, а затем усомнился в его силе. Преодоление предрассудков, противостояние шаманам – борьба за души соплеменников. Дальше идёт Ханидо: «Всех богачей ненавижу. Мстить буду им». Любовь Ханидо и красавицы-сироты Халерхи – сквозной драматический сюжет романа. Это древний устойчивый мотив. Вспоминаются «Тристан и Изольда», «Ромео и Джульетта», «Лейли и Меджнун», «Василий и Софья»... Такие произведения есть у каждого народа, и драма любящих лучше всего освещает национальный уклад. Важная тема романа – приобщение малого северного народа к христианству. Священник Синявин (лицо историческое) разочаровался в своей миссии: юкагиры – дети природы, их обычаи неотделимы от «язычества».

Сюжетный стержень романа – эпическое сказание. Ханидо – образ богатыря-правдоискателя. Он борец за счастье народа, в этом его судьба, предназначение. Но сознание его раздваивается между старым и новым. В советское время муслировался убийственный лозунг: «Ускоренное развитие бесписьменных народов». В реальности это значило одно: похоронить культуру этого народа, выкорчевать её с корнями. Ханидо останавливается перед этим девизом: «Я не хочу жить под стеклянным колпаком. Это не моя тундра». Писатель хотел взять в «светлое будущее» нелёгкое прошлое своего народа. Ведь оторвать себя от тундры – для него это было немыслимо.

А. КЕРЖАК



Том 6. Содержание

Ханидо и Халерха

Книга первая. Люди «Среднего мира» 6

Книга вторая. Новые люди 231

Произведения Семёна Курилова 464

А. Кержа. На палеосибирском языке 465

Содержание серии

- Том 1.** *Георгий Дмитриевич Гребенчиков (1883–1964).* Выдающийся прозаик Сибири. В серии опубликованы: «Былина о Микуле Буяновиче», «Ханство Батырбека», «На Иртыше», «Любава», «Волчья жизнь». Русский, Томск.
- Том 2.** *Николай Георгиевич Доможиков (1916–1976).* Поэт и прозаик, автор первого романа на хакасском языке. В серии опубликованы: роман «В далёком аале», стихотворения. Хакасия.
- Софрон Сергеевич Тотыш (1907–1980).* Шорский писатель. В серии опубликованы: «Сказки Шапкайя», «Записки молодого кама». Горная Шория.
- Том 3.** *Григорий Гибивич Ходжер (1929–2006).* Нанайский писатель. В серии опубликован роман «Амур широкий». Нанайский район Хабаровского края.
- Том 4.** *Ким Николаевич Балков (1937–1920).* Народный писатель Бурятии. В серии опубликованы: степная поэма «Проклятие Баальбека», романы «Берег времени», «Будда», рассказ «Балалайка».
- Том 5.** *Юрий Сергеевич Рытхэу (1930–2008).* Первый писатель Чукотки. В серии опубликованы: повести «Когда киты уходят», «След россомахи», «Под сенью волшебной горы».
- Том 6.** *Семён Николаевич Курёлов (1935–1980).* Первый юкагирский писатель. Опубликованный в серии роман «Ханидо и Халерха» переведён на европейские языки. Якутия.
- Том 7.** *Владимир Михайлович Санги (1935 г. р.)* Первый писатель из нивхов. В серии опубликованы: роман «Женитьба Кевонгов», повести и рассказы «Ложный гон», «Легенды Ых-мифа», «Семипёрая птица». Сахалин.
- Том 8.** *Юван Николаевич Шесталов (1937–2011).* Основоположник письменной литературы народа манси. В серии опубликованы повести: «Тайна Сорни-най», «Когда качало меня солнце», «Синий ветер каслания». Ханты-Мансийский округ.
- Том 9.** *Дибаш Берукович Каинчин (1938–2012).* Народный писатель Республики Алтай. В серии опубликованы: повести «С того берега», «Голова жеребца», «Абайым и Гнедко», «Крик с вершины», «Его земля», рассказы разных лет.
- Том 10.** *Еремей Данилович Айпин (1948 г. р.).* Один из самых значительных писателей российского Севера. В серии опубликованы романы: «Ханты, или Звезда Утренней Зари», «Божья мать в кровавых снегах». Ханты-Мансийский округ.
- Том 11.** *Софрон Петрович Данилов (1922–1993).* Народный писатель Якутии. Публикуется роман «Красавица Амга».
- Том 12.** *Роман Харисович Солнцев (1939–2007).* Писатель, поэт, драматург, критик. Родился в селе Кузкоево Татарской АССР. В серии публикуются стихи разных лет, повести «Год провокаций», «Поперека», «Иностранцы». Красноярск.
- Том 13.** *Салчак Калбак-Хорёкович Тёка (1901–1973).* Тувинский писатель. В серии опубликована трилогия «Слово арата». Республика Тыва.
- Куулар Николай Шагдыр-оолович (1958 г. р.).* Современный писатель Тувы. В серии опубликованы: рассказы «Свидание после охоты», «В стране Тана-Херела», стихотворения. Республика Тыва.
- Том 14.** *Анна Павловна Неркажи (1952 г. р.).* Родилась в горах Полярного Урала в семье ненца-оленьвода. В серии опубликованы повести: «Анико из рода Ного», «Белый ягель», «Илир», «Молчащий». Ямало-Ненецкий округ.

Одна семья. Библиотека народов Сибири

Том 6

Семён Николаевич Курилов

Избранное

Литературно-художественное издание

Автор идеи, разработчик проекта

Г. К. Скарлыгин

Разработчик проекта,
редактор книжной серии

Д. В. Барчук

Редактор-составитель

А. П. Казаркин

Технический редактор

О. В. Карташов

Корректор

И. А. Сердюк

Данное издание рекомендовано
для учащихся старших классов общеобразовательных школ,
колледжей, для студентов высших учебных заведений,
а также для широкого круга читателей, интересующихся
современной сибирской литературой.

Издание Томской писательской организации.

Заказ № 029. Тираж 650 экз.

Подписано в печать 16.05.2022 г. Печать офсетная.

Формат 140х240 мм. Гарнитура Cambria.

Отпечатано в типографии ООО «Издательский дом «Д-Принт»,
г. Томск, ул. Герцена, 72 б. Тел. (3822) 52-20-99

Электронная почта: dp@rde.ru